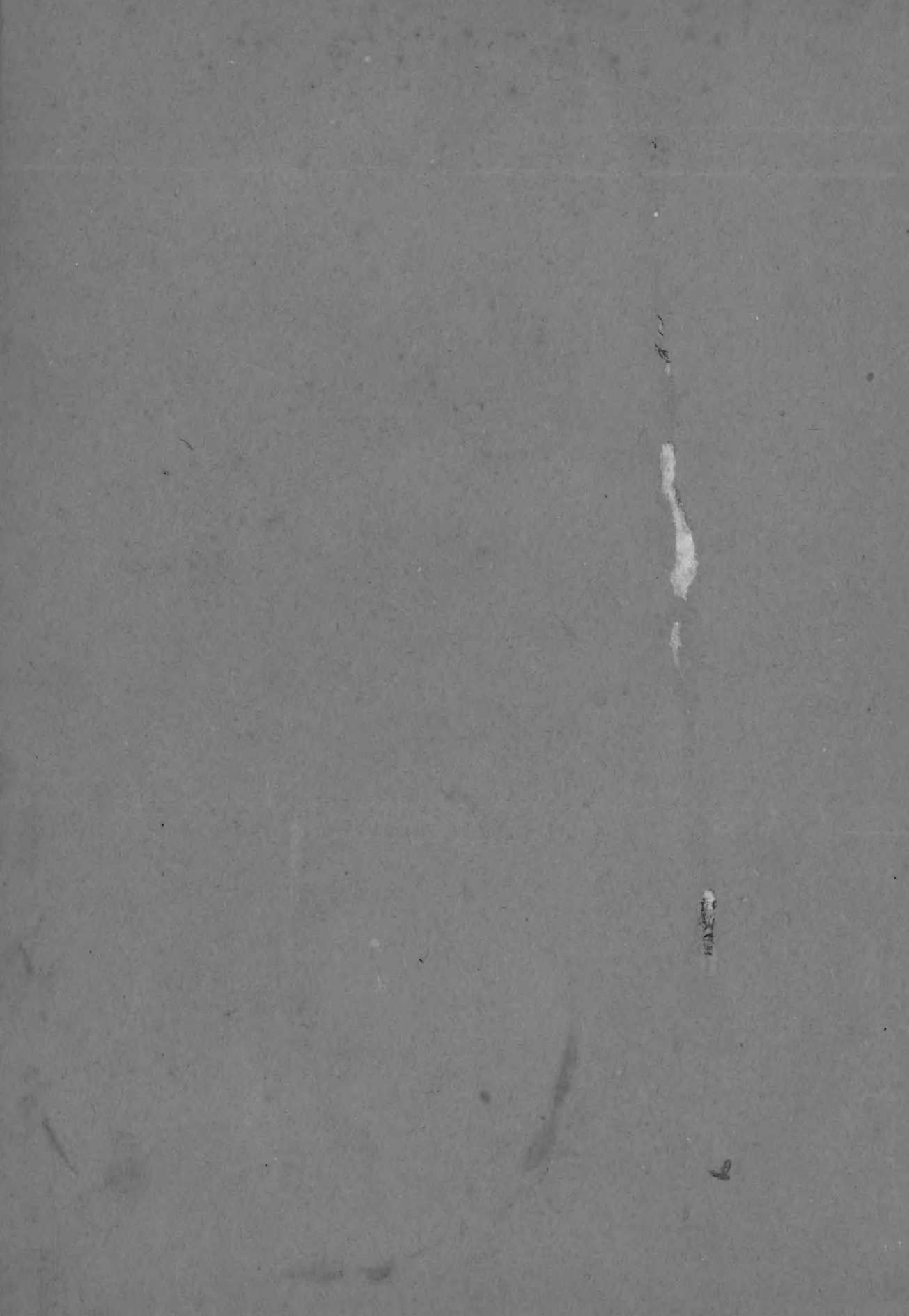
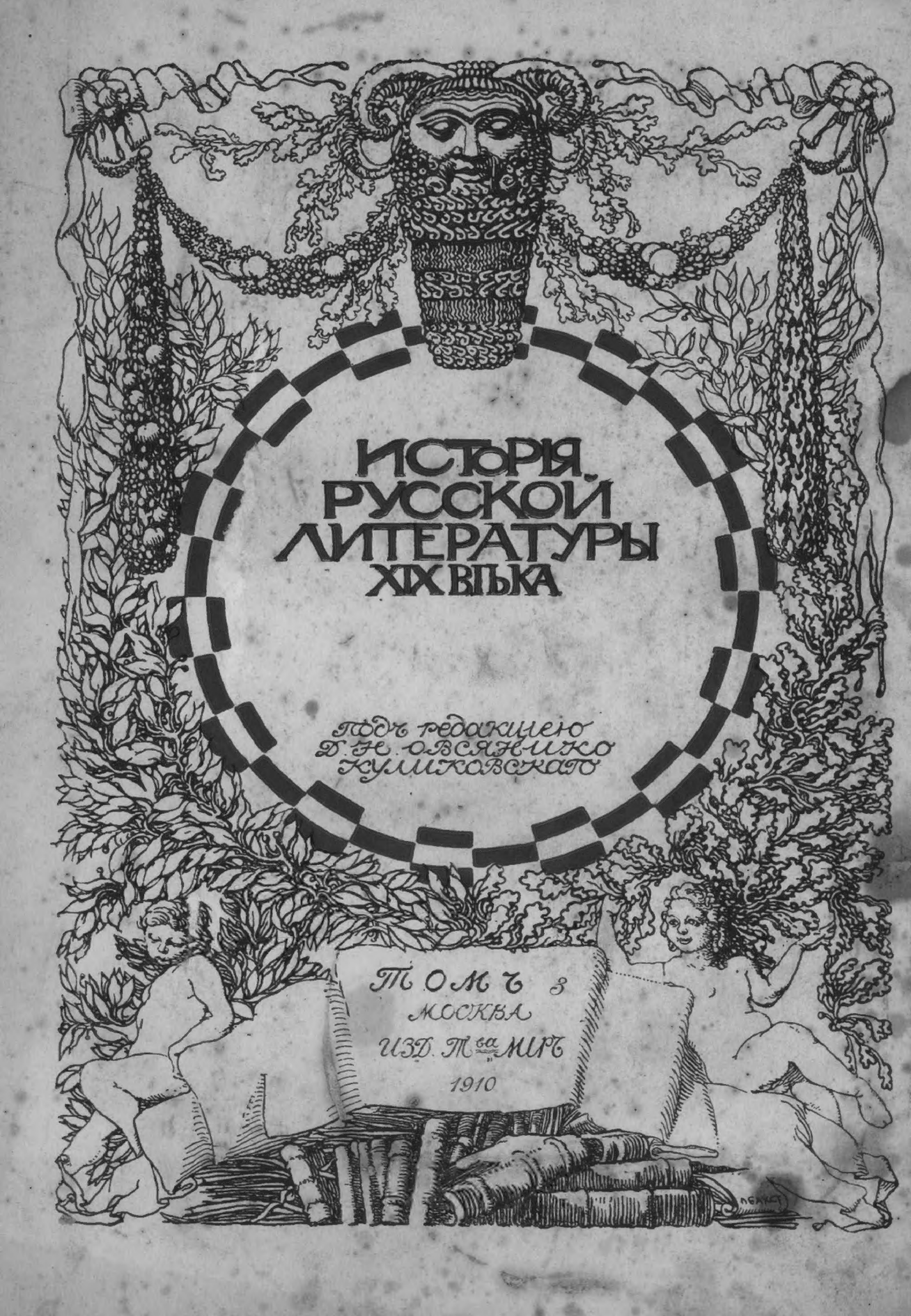




90							
100							
110							
120							
130							
140							
150							
160							





ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВѢКА

подъ редакціею
Д. Ф. Овсянникова
Куликовскаго

Т. О М Т 3
МОСКВА
ИЗД. ПЕЧАТЪ
1910



И С Т О Р І Я
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
XIX в.

подъ редакціей

Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКАГО,

при ближайшемъ участіи

А. Е. ГРУЗИНСКАГО и П. Н. САКУЛИНА.



ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в.

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

Д. Н. ОВСЯНИКО - КУЛИКОВСКАГО.

ПРИ БЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТІИ

А. Е. Грузинскаго и П. Н. Сакулина.

Сотрудники: Ю. И. Айхенвальдъ, К. И. Араба-
жинъ, К. К. Арсеньевъ, Г. В. Балицкий, О. Д. Ба-
тюшковъ, Н. Л. Бродскій, В. Брюсовъ, С. А. Вен-
геровъ, Ю. А. Веселовскій, Ч. Вѣтринскій, А. Г.
Горнфельдъ, А. Е. Грузинскій, М. В. Довнаръ-За-
польскій, И. Н. Игнатовъ, И. И. Замотинъ, Р. В.
Ивановъ-Разумникъ, В. В. Каллашъ, А. А. Корниловъ,
Н. И. Коробка, В. Г. Короленко, В. П. Кранихфельдъ,
Н. О. Лернеръ, Е. А. Ляцкий, Б. А. Маркевичъ,
Л. Мартовъ, Н. М. Мендельсонъ, Д. Н. Овсянико-Ку-
ликовскій, Н. К. Пиксановъ, Г. В. Плехановъ, А. Н.
Потресовъ, Н. С. Русановъ. (Н. Е. Кудринъ), С. О.
Русова, В. Ф. Саводникъ, П. Н. Сакулинъ, Н. А.
Янчукъ, А. И. Яцимирскій и др.

Томъ III.



Изданіе Т-ва „МІРЪ“.

МОСКВА.

NOTOPH

РАССКАЗЫ

XIX в.

ИЗДАНИЕ

В. И. КУШНЕРОВЪ И К^о. ПИМЕНОВСКАЯ УЛ., С. Д.

МОСКВА

А. Е. КУШНЕРОВЪ И К^о. ПИМЕНОВСКАЯ УЛ., С. Д.

В. И. КУШНЕРОВЪ И К^о. ПИМЕНОВСКАЯ УЛ., С. Д.
МОСКВА
А. Е. КУШНЕРОВЪ И К^о. ПИМЕНОВСКАЯ УЛ., С. Д.
МОСКВА



Типо-литогр. Т-ва И. Н. КУШНЕРОВЪ и К^о. ПИМЕНОВСКАЯ УЛ., С. Д.
Москва—1910.

РК0009

Пензенская областная
юношеская библиотека

Изд. № 89303

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

1855—1868 г.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Историческій очеркъ эпохи 60-хъ годовъ.

А. А. Корнилова.

Эпоха, получившая въ литературѣ наименованіе эпохи шестидесятыхъ годовъ, иначе называемая эпохой великихъ реформъ, охватываетъ первыя 10—12 лѣтъ царствованія Александра II. Конецъ предыдущей эпохи опредѣляется внѣшнимъ образомъ достаточно рѣзко смертью императора Николая и крушеніемъ его режима, послѣдовавшимъ вслѣдъ за неудачами Крымской войны. Начало новой эпохи ознаменовалось всеобщимъ стремленіемъ къ тому „преображенію всей жизни“, которое выразилось спустя нѣсколько лѣтъ въ великихъ преобразованіяхъ шестидесятыхъ годовъ и могущественно перевернуло вверхъ дномъ весь народный и общественный строй, сложившійся вѣками.

Такимъ образомъ началомъ эпохи шестидесятыхъ годовъ безспорно признается 1855 годъ. Гораздо труднѣе опредѣлить съ точностью ея конецъ. Осуществленіе отдѣльных реформъ, несомнѣнно принадлежащихъ къ циклу реформъ 60-ыхъ годовъ, оттянулось къ началу и даже къ срединѣ слѣдующаго десятилѣтія (городская реформа—1870 г., уничтоженіе рекрутчины и введеніе всеобщей воинской повинности—1874 г.). Съ другой стороны опредѣленные проявленія не только правительственной, но даже и общественной реакціи начинаются уже съ 1862—1863 гг. (въ связи съ петербургскими пожарами, польскимъ возстаніемъ и вмѣшательствомъ иностранныхъ державъ).

Наиболѣе рѣзкимъ внѣшнимъ фактомъ, опредѣляющимъ конецъ освободительнаго періода, можно считать выстрѣлъ Каракозова и начавшуюся вслѣдъ за нимъ бѣшеную реакцію, явившуюся рѣзкимъ поворотнымъ пунктомъ въ исторіи русской жизни. Къ этому моменту (къ 1866 г.) относится и окончательное закрытіе тѣхъ органовъ мысли, которые являлись типическими носителями идей шестидесятыхъ годовъ, и съ этого же времени началось рѣшительное искаженіе великихъ преобразованій этой эпохи.

Въ этой главѣ мы дадимъ историческій очеркъ эпохи 1855—1866 гг. и заключимъ его обзорѣніемъ реакціонныхъ мѣръ и общественнаго настроенія, сложившагося въ концѣ шестидесятихъ годовъ, имѣя въ виду, что элементы общественной жизни и мысли, давшіе содержаніе слѣдующему періоду семидесятихъ годовъ, стали опредѣляться не ранѣе 1868 года.

Непосредственнымъ толчкомъ, вынудившимъ императора Александра II вступить съ самаго начала царствованія на путь великихъ преобразованій, признаются безспорно обидныя для національнаго самолюбія неудачи Крымской войны. Эти именно неудачи раскрыли передъ глазами и всего общества и самого правительства съ небывалою яркостью всѣ язвы тогдашняго государственнаго и общественнаго строя Россіи и всѣ послѣдствія „удушающаго принципа“ тогдашняго режима. Режимъ этотъ къ концу царствованія императора Николая I сталъ до того невыносимъ, что самые искренніе и глубокіе патріоты, какъ Кошелевъ, Ив. Аксаковъ, Хомяковъ и другіе, готовы были признать „даже пораженіе Россіи сноснѣе и даже для нея и полезнѣе того положенія, въ которомъ она находилась въ послѣднее время“ (А. И. Кошелевъ, „Записки“, стр. 84). На войнѣ, въ которой противъ насъ приняли участіе передовыя страны Европы, прежде всего обнаружилась, конечно, наша боевая несостоятельность (при изумительномъ геройствѣ войскъ), обусловленная некультурностью нашей страны, выражавшейся и въ отсталости вооруженія арміи, и въ печальномъ состояніи военнаго хозяйства, и въ отсутствіи удобныхъ и скорыхъ путей сообщенія—до такой степени, что враги, высадившіеся на нашей территоріи, могли съ бѣльшими удобствами и быстротою снабжать свои арміи провіантомъ и боевыми припасами, нежели мы, русскіе, у себя дома. Тутъ ярко сказалось отсутствіе въ нашей странѣ развитой промышленности и торговли, а въ связи съ этимъ и сколько-нибудь удобныхъ путей сообщенія. Наши финансы также оказались въ плачевномъ состояніи, и военныя издержки пришлось, вслѣдствіе отсутствія кредита, покрывать выпускомъ бумажныхъ денегъ, а это произвело кризисъ, отъ котораго Россія не могла оправиться потомъ многіе годы. Наконецъ, обнаружилась нищета правительства въ духовномъ отношеніи, вслѣдствіе полнаго разобщенія его съ моральными и умственными силами страны. Все это доказало полную несостоятельность существовавшаго тогда государственнаго и общественнаго строя и настоятельную необходимость коренныхъ преобразованій.

Однако, всѣмъ было ясно, что ни серьезное преобразование государственнаго управленія и финансовой системы страны, ни свободное и быстрое развитіе промышленности и торговли не были возможны при наличности крѣпостнаго права, которое являлось въ тогдашней Россіи основаніемъ всего ея общественнаго строя. Неудобство этого строя давало уже давно себя чувствовать, и въ настоящее время можно считать положительно установленнымъ, что въ теченіе

первой половины XIX вѣка окончательно сложились матеріальныя условія, неизбѣжно требовавшія его измѣненія.

Въ ряду этихъ условій самымъ кореннымъ было уплотненіе населенія, которое, особенно въ болѣе населенныхъ центральныхъ черноземныхъ губерніяхъ, требовало измѣненія существовавшихъ приѣмовъ помѣщичьяго хозяйства въ сторону его интенсификаціи, такъ какъ даровой рабочей трудъ крѣпостного, при обиліи рукъ и ртовъ, содержавшихся въ помѣщичьихъ экономіяхъ, оказывался чрезвычайно мало продуктивнымъ и содержаніе крѣпостныхъ становилось годъ отъ году невыгоднѣе. Это положеніе обострялось еще болѣе участившимися въ первой половинѣ XIX вѣка неурожаями хлѣбовъ. Между тѣмъ сдѣлать подневольный трудъ болѣе продуктивнымъ оказывалось невозможнымъ. На фабрикахъ и заводахъ, которые пробовали завести помѣщики въ первой половинѣ XIX столѣтія, крѣпостной трудъ не выдерживалъ конкуренціи съ трудомъ вольно-наемныхъ рабочихъ; а между тѣмъ глубокія измѣненія техники въ фабричномъ производствѣ западныхъ государствъ Европы и особенно быстрое введеніе машинъ и другихъ улучшеній требовали соотвѣтствующихъ преобразованій и въ русскомъ фабричномъ производствѣ. Необходимой интенсификаціи сельскаго хозяйства и фабричнаго производства препятствовалъ также недостатокъ денежныхъ капиталовъ и отсутствіе благоустроеннаго кредита при чрезвычайной задолженности большей части помѣщичьихъ имѣній. Такимъ образомъ крѣпостные въ помѣщичьихъ хозяйствахъ нѣкоторыхъ губерній становились обузою, и къ концу николаевскаго царствованія въ центральныхъ черноземныхъ губерніяхъ дѣло доходило до того, что ненаселенныя имѣнія стали цѣниться выше населенныхъ. То обстоятельство, что содержаніе крѣпостныхъ стало невыгоднымъ, въ свою очередь до крайности ухудшало ихъ положеніе, дѣлало это положеніе окончательно невыносимымъ и, разумѣется, обостряло взаимныя отношенія между помѣщиками и ихъ крестьянами. Это выражалось въ учащеніи волненій и бунтовъ помѣщичьихъ крестьянъ и случаевъ убійствъ отдѣльныхъ помѣщиковъ и управляющихъ помѣщичьими имѣніями. Все это заставляло даже завязатыхъ крѣпостниковъ подумывать уже въ сороковыхъ и пятидесятихъ годахъ о необходимости ликвидаціи крѣпостныхъ отношеній.

Такъ складывались матеріальныя условія и, благодаря имъ, передъ Крымской войной мысль объ отмѣнѣ крѣпостного права была присуща уже не однимъ идеалистамъ и либераламъ сороковыхъ годовъ: она не была чужда и зауряднымъ помѣщикамъ, поскольку они способны были уразумѣть окружающую ихъ дѣйствительность.

Во время войны правительство было въ свою очередь поставлено въ чрезвычайное затрудненіе волненіями крѣпостныхъ крестьянъ, вспыхнувшими во многихъ губерніяхъ въ связи съ манифестами 1854 г. о морскомъ ополченіи и 1855 г. о народномъ ополченіи. Эти манифесты, сопровождавшіеся воззваніемъ синода, которымъ православ-

ные призывались на защиту церкви и отечества, вызвали въ крестьянахъ одновременно и подъемъ горячихъ патріотическихъ чувствъ и стремленіе къ неповиновенію помѣщикамъ и мѣстнымъ властямъ, такъ что правительству пришлось въ годину опасной для государства войны усмирять при помощи военныхъ командъ возставшія на защиту отечества патріотически настроенныя народныя массы. Немуद्रено, что послѣ этого кн. Горчаковъ, бывшій главнокомандующимъ въ Севастополѣ, сказалъ государю, когда военныя дѣйствія прекратились: „хорошо, что мы заключаемъ миръ; дольше воевать мы были не въ силахъ. Миръ дастъ намъ возможность заняться внутренними дѣлами и этимъ должно воспользоваться. Первое дѣло—нужно освободить крестьянъ, потому что здѣсь узелъ всякихъ зол“. Рѣшимость правительства приступить къ кореннымъ преобразованіямъ выразилась и въ слѣдующихъ заключительныхъ словахъ манифеста, изданнаго по поводу мира: „При помощи небеснаго промысла, всегда благодѣющаго Россіи, да утверждается и совершенствуется ея внутреннее благоустройство; правда и милость да царствуютъ въ судахъ ея; да развивается повсюду и съ новой силою стремленіе къ просвѣщенію и всякой полезной дѣятельности, и каждый, подъ сѣнію законовъ для всѣхъ равно справедливыхъ, всѣмъ равно покровительствующихъ да наслаждается въ мирѣ плодами трудовъ невинныхъ“.

Еще сильнѣе сознаніе необходимости коренныхъ преобразованій проникало представителей тогдашняго образованнаго общества. „Мы сдались,—писалъ тогда Ю. Ф. Самаринъ,—не передъ внѣшними силами западнаго союза, а передъ нашимъ внутреннимъ безсиліемъ. Это убѣжденіе, видимо проникающее всюду и вытѣсняющее чувство незаконнаго самодовольствія, такъ еще недавно туманившее намъ глаза, досталось намъ дорогою цѣною; но мы готовы принять его, какъ достойное вознагражденіе за всѣ наши жертвы и уступки...“ „Чѣмъ бы ни болѣла земля: усыпленіемъ мысли, застоємъ производительныхъ силъ, разобщеніемъ правительства съ народомъ, разъединеніемъ сословій, порабощеніемъ одного изъ нихъ другому,—всякій подобный недугъ, отнимая возможность у правительства располагать всѣми подвластными ему средствами и, въ случаѣ опасности, прибѣгать безъ страха къ подъему народной силы, воздѣйствуетъ неизбѣжно на общій ходъ военныхъ и политическихъ дѣлъ“.

Такъ думали въ то время одинаково и славянофилы (Самаринъ, Аксаковъ и Кошелевъ), и западники (Грановскій и Кавелинъ), и радикалы, вродѣ Чернышевскаго, тогда еще совсѣмъ неизвѣстнаго, и патріоты, вродѣ редактора „Москвитянина“ Погодина. Этотъ послѣдній даже выразилъ свои мнѣнія нѣсколько раньше и смѣлѣе другихъ, еще въ 1854 г., въ письмахъ, адресованныхъ къ самому императору Николаю. Въ журналахъ, при существовавшихъ тогда цензурныхъ условіяхъ, ничего подобнаго, даже намеками, сказать, разумѣется, было нельзя. Поэтому, когда при началѣ восточной войны 1853—1855 гг. заглавное и, казалось, совершенно уничтоженное

общественное мнѣніе стало сначала робко, а потомъ все смѣлѣе шевелиться и поднимать голову, то единственной возможной для него формой выраженія оказались рукописные памфлеты, записки и письма, ходившіе по рукамъ, какъ контрабанда, а иногда направлявшіеся при помощи нѣкоторыхъ сановниковъ даже и въ придворныя сферы *). Замѣчательно, что Погодинъ, указывавшій въ своихъ письмахъ съ полною откровенностью и даже рѣзкостью на необходимость коренного измѣненія всей внутренней и внѣшней политики и административной системы, оговаривался въ письмѣ къ Адлербергу, что большая часть сужденій и даже выраженій въ его запискахъ принадлежитъ собственно не ему, а принадлежить „обществу“ и слышана была имъ въ Петербургѣ и Москвѣ. „Я,—пишетъ онъ,—не хотѣлъ ихъ ни смягчать, ни измѣнять, ни полировать, думая, что въ сыромъ своемъ видѣ они должны быть извѣстны правительству для его высшихъ соображеній“. Еще замѣчательнѣе было то, что авторъ этихъ писемъ, человѣкъ, несомнѣнно, искательный и своекорыстный, не только не опасался какихъ-либо полицейскихъ воздѣйствій за свое рѣзкое осужденіе существовавшей системы, а, наоборотъ, мечталъ, какъ видно изъ его дневника, то о мѣстѣ оберъ-прокурора синода, то о постѣ посланника въ Вѣнѣ. Въ этомъ нельзя не видѣть самага рѣшительнаго указанія на то, что неизбежность коренныхъ измѣненій тогдашняго общественнаго и административнаго строя выяснилась до степени полной очевидности еще при Николаѣ.

Съ воцареніемъ Александра II это сознаніе и соотвѣтствующее общественное настроеніе быстро охватило болѣе широкіе круги тогдашняго такъ называемаго „образованнаго общества“. „Здѣсь, въ Петербургѣ,—писалъ въ одномъ письмѣ начала 1856 г. К. Д. Кавелинъ,—общественное мнѣніе расправляетъ все болѣе и болѣе крылья. Нельзя и узнать больше этого караванъ-сарая солдатизма, палокъ и невѣжества. Все говоритъ, все толкуетъ вкось и вкривь, иногда и глупо, а все-таки толкуетъ и черезъ это, разумѣется, учится. Если лѣтъ пять-шесть такъ продлится, общественное мнѣніе, могучее и просвѣщенное, сложится и позоръ недавняго еще безголовья хоть немного изгладится“. И. С. Аксаковъ, извѣздившій въ это время довольно много губерній, особенно на югѣ Россіи,—сперва въ качествѣ ополченца, а затѣмъ по дѣламъ комиссіи, производившей слѣдствіе о злоупотребленіяхъ при снабженіи крымской арміи припасами,—свидѣтельствуетъ въ своихъ письмахъ къ роднымъ, что въ провинціи тоже замѣчалось начало общественнаго движенія среди болѣе молодыхъ и честныхъ людей, которыхъ самъ Аксаковъ объединяетъ общимъ наименованіемъ „послѣдователей Бѣлинскаго“. Въ Тамбовской губерніи это броженіе ознаменовалось даже арестами и

*) До Николая Павловича изъ писемъ, предназначавшихся для него Погодинымъ, дошло, повидному, одно. Оно было прочтено имъ, несмотря на необычную смѣлость содержанія и тона, безъ гнѣва и даже вызвало снисходительное благоволеніе къ автору.

о ъскамі, начавшимися арестомъ Н. А. Мордвинова (въ 1855 г.), вскорѣ, впрочемъ, прекращенными по распоряженію высшаго правительства.

Образованное общество того времени представляло собой весьма тонкій и не особенно разнородный по своему составу слой. Въ составъ его входили, если не считать отдѣльныхъ представителей высшаго аристократическаго круга, главнымъ образомъ лица средняго дворянскаго помѣщичьяго класса и чиновники съ высшимъ образованіемъ: учителя, врачи, нѣкоторые лица судебнаго и административнаго персонала. Но лицъ, получившихъ высшее образованіе, и ранѣе было немного, а съ 1849 г. по повелѣнію императора Николая даже въ столичныхъ университетахъ число студентовъ всѣхъ факультетовъ, кромѣ медицинскаго, было опредѣлено комплектомъ въ 300 человѣкъ. Но и изъ окончившихъ курсъ въ университетахъ многіе, вступивъ въ службу и замкнувшись въ тѣсный кругъ семейныхъ и хозяйственныхъ интересовъ, обростали мохомъ и при полной безгласности послѣднихъ лѣтъ николаевскаго царствованія теряли всякій интересъ къ общественнымъ дѣламъ и даже вкусъ къ чтенію немногихъ существовавшихъ тогда газетъ и журналовъ, почти лишенныхъ, впрочемъ, всякаго общественнаго содержанія.

Однако, ударъ, нанесенный національному самолюбію, и бѣдствія, перенесенныя во время осады Севастополя, были настолько сильны, что заставили очнуться и искать выхода не только прежнихъ читателей и почитателей Бѣлинскаго или слушателей Грановскаго, но и людей мало просвѣщенныхъ и мало сознательныхъ. Даже торгово-промышленный классъ, представлявшій тогда еще почти сплошное „темное царство“, зашевелился и потянулся къ прогрессу. Журналы и газеты конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ полны статьями, замѣтками и извѣстіями, касающимися коммерческихъ отношеній, успѣховъ и нуждъ русской торговли и промышленности, проектовъ новыхъ желѣзнодорожныхъ сообщеній и организаціи кредита и кредитныхъ установленій. Необычайныя трудности снабженія нашихъ войскъ всѣмъ необходимымъ, въ высшей степени разорительная подводная повинность, которую пришлось вынести на своихъ плечахъ въ особенности южнымъ губерніямъ, блокада нашихъ портовъ, огромные расходы на содержаніе дѣйствующихъ армій и войскъ, поставленныхъ на военное покоженіе, а также народнаго ополченія, уничтоженіе огромныхъ запасовъ и заготовокъ непріателемъ на берегахъ Азовскаго и Чернаго морей, не говоря уже о гибели массы рабочихъ силъ въ Севастополѣ и временномъ отвлеченіи еще большихъ массъ отъ хозяйства,—все это страшно истощило производительныя силы страны. Но въ то же время огромные выпуски бумажныхъ денегъ и наличность огромныхъ заготовокъ и поставокъ для арміи въ связи съ всеобщимъ сознаніемъ необходимости немедленной постройки новыхъ желѣзнодорожныхъ линій и окончанія начатыхъ до войны вызвали небывалое движеніе и оживленіе въ коммерческой средѣ. Еще до заключенія мира стали возникать новыя

промышленныя предпріятія, появились увлекательные проекты, которые начали вытягивать на свѣтъ божій скопленные и залежавшіеся капиталы. Этому же отчасти содѣйствовало распоряженіе о пониженіи процента по вкладамъ, которое повлекло за собой массовое вынутіе вкладовъ, лежавшихъ въ казенныхъ кредитныхъ установленіяхъ. Постройка новыхъ желѣзнодорожныхъ линій была, однако, сдана иностраннымъ капиталистамъ, и потому русскіе капиталы направились на основаніе различныхъ акціонерныхъ компаній и другихъ предпріятій со складочнымъ капиталомъ, которыя росли въ это время, какъ грибы. Благодаря всѣмъ этимъ обстоятельствамъ и несмотря на огромные убытки, нанесенные войной производительнымъ силамъ страны, годы 1855 и 1856 вспоминались въ послѣдующіе годы русскими капиталистами, какъ золотое время.

Успѣхъ и расцвѣтъ этого движенія, возникшаго въ странѣ, только что истощенной войной, были, конечно, эфемерны и кратковременны. Быстротѣ наступленія кризиса содѣйствовали и неумѣлыя финансовыя мѣропріятія правительства, и разразившійся въ 1857 г. всемірный торгово-промышленный кризисъ. Тѣмъ не менѣе лихорадочное оживленіе промышленности, послѣдовавшее вслѣдъ за Крымской войной, хотя и отозвалось черезъ нѣсколько лѣтъ цѣлымъ рядомъ банкротствъ и разореній отдѣльныхъ капиталистовъ, дало однако же могущественный толчокъ развитію русской промышленности и капитализма, а начавшаяся въ томъ же 1856 г. усиленная постройка желѣзныхъ дорогъ, несмотря на всѣ промахи, ошибки и злоупотребленія, сопровождавшіе это дѣло, еще болѣе упрочила поворотъ къ новой эпохѣ экономическаго развитія русскаго государства. Для окончательнаго упроченія этого поворота необходима была отмѣна крѣпостного права и коренная перестройка дѣйствовавшей административной системы, въ смыслѣ установленія въ странѣ элементарныхъ основаній гражданской свободы и правового порядка. Къ этимъ преобразованіямъ и направились соединенныя усилія передовыхъ государственныхъ дѣятелей и наиболѣе просвѣщенныхъ представителей общества конца пятидесятихъ годовъ.

Правительство стало тогда во главѣ преобразовательнаго движенія; оно являлось инициаторомъ коренныхъ преобразованій. Общество на первыхъ порахъ было охвачено какимъ-то безграничнымъ оптимизмомъ. Оно готово было привѣтствовать съ необыкновеннымъ единодушіемъ каждый шагъ правительства по пути отмѣны тѣхъ суровыхъ и нелѣпыхъ ограниченій, которыми скована и опутана была русская жизнь послѣ революціи 1848 года. Всеобщій восторгъ въ обществѣ вызывали не только отмѣны запрещенія выѣзда за границу или ограниченій, тяготѣвшихъ надъ университетами; не только разрѣшеніе новыхъ, болѣе полныхъ изданій Пушкина, Гоголя и Кольцова, но даже отчетъ министра народнаго просвѣщенія Норова за 1855 г., обѣщавшій произрастаніе обильныхъ плодовъ науки и нравственнаго преуспѣянія на почвѣ „столь тщательно приготовленной и

нынѣ согрѣваемой царственной благостью“. Этотъ отчетъ будущій непримиримый радикалъ Чернышевскій перепечаталъ тогда въ „Современникѣ“, въ увѣренности, что „читателямъ будетъ пріятно съ новою благодарностью къ монарху припомнить весь рядъ тѣхъ знаковъ Державнаго вниманія къ развитію нашего просвѣщенія, которыми такъ прекрасно ознаменованъ былъ истекшій (1855) годъ“.

Это было время, когда передовыя группы русскаго общества еще не дѣлились на либераловъ и радикаловъ, и даже старые раздоры и распри между западниками и славянофилами были на время забыты въ виду свѣтлыхъ и радостныхъ перспективъ ближайшаго будущаго. Это было время, когда почитатель и ученикъ Бѣлинскаго Кавелинъ писалъ нѣжныя письма другу и единомышленнику Шевырева Погодину, когда Н. Г. Чернышевскій писалъ одни только похвалы и комплименты и славянофиламъ „Русской Бесѣды“ и „Русскому Вѣстнику“ Каткова. Этотъ розовый оптимизмъ и единокудіе сопровождались чрезвычайно скромной программой преобразованій, которую Чернышевскій формулировалъ въ 1856 г. въ слѣдующихъ словахъ: „Въ самомъ дѣлѣ, чего хотимъ мы всѣ?—увеличенія числа учащихся и выучивающихся; усиленія научной и литературной дѣятельности; проложенія желѣзныхъ дорогъ; разумнаго распредѣленія экономическихъ силъ и т. д.“... Подъ „разумнымъ распредѣленіемъ экономическихъ силъ“ разумѣлось упраздненіе крѣпостного права, о чемъ говорить открыто въ печати не разрѣшалось до 1858 года.

Правительство также не имѣло опредѣленной программы. Подъ вліяніемъ неудачъ Крымской войны императоръ Александръ созналъ необходимость широкихъ преобразованій, ясно видѣлъ необходимость приступить къ ликвидаціи крѣпостного права, понималъ необходимость простора и свѣта, чтобы воспитать въ обществѣ нѣкоторую самостоятельность и умѣніе вести общественныя дѣла, но не зналъ, какъ приступить къ этимъ реформамъ. Онъ былъ воспитанъ въ атмосферѣ „удушающаго принципа“ и его окружали люди, привыкшіе дышать тѣмъ же воздухомъ. Свѣжихъ людей онъ боялся, свѣжіе идеи и взгляды его шокировали даже тогда, когда они шли, казалось, навстрѣчу его собственнымъ намѣреніямъ. Онъ хотѣлъ приступить къ преобразованію общественнаго и государственнаго строя страны при помощи старыхъ совѣтниковъ своего отца, къ которымъ относился съ чрезвычайною бережностью. Болѣе молодые бюрократы, тронутые идеями вѣка, вроде Николая Милютина, казались ему революціонерами...

Императоръ Александръ твердо рѣшилъ приступить къ ликвидаціи крѣпостного права, сознавая, что безъ этой реформы обновленіе государства невозможно, и онъ гласно выразилъ свой взглядъ на это дѣло дворянству, собранному въ Москвѣ на коронацію лѣтомъ 1856 года; но государю непремѣнно хотѣлось, чтобы эта реформа совершилась не диктаторіально, а какъ бы по волѣ самого дворянства; подготовительную же разработку вопроса онъ поручилъ

новому секретному комитету, составленному изъ старыхъ министровъ послѣднихъ лѣтъ николаевскаго царствованія. Работа въ комитетѣ, составленномъ изъ этихъ господъ, пошла чрезвычайно вяло и неумѣло, несмотря на цѣлый рядъ замѣчательныхъ записокъ, проектовъ и соображеній, переданныхъ въ комитетъ по Высочайшему повелѣнію и составленныхъ передовыми представителями дворянской мысли того времени, какъ Ю. Самаринъ, кн. Черкасскій, Кошелевъ, Кавелинъ, Унковскій и другіе.

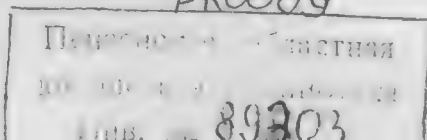
Въ составѣ комитета,—кромѣ министра внутреннихъ дѣлъ Лапскаго, расположеннаго къ реформѣ,—были только два человека, по-видимому, искренно желавшіе двинуть дѣло: великій князь Константинъ и генералъ Ростовцевъ; но оба они были совершенно неподготовлены и неосвѣдомлены въ этомъ вопросѣ. Трудно сказать, сколько времени протянулись бы безжизненные засѣданія этого комитета и чѣмъ бы они кончились *), если бы виленскому генералъ-губернатору Назимову не удалось получить заявленіе литовскихъ дворянъ о желаніи ихъ освободить крестьянъ на извѣстныхъ условіяхъ. Дворянамъ этимъ очень не нравились введенныя у нихъ инвентарныя правила, сильно стѣснявшія ихъ распоряженія въ имѣніяхъ; а потому они предпочитали ликвидировать крѣпостное право, при чемъ мечтали однако же о безземельномъ освобожденіи крестьянъ. Императоръ Александръ рѣшилъ воспользоваться этимъ заявленіемъ и, вопреки мнѣнію большинства окружавшихъ его совѣтниковъ, подписалъ 20 ноября 1857 г. рескриптъ на имя Назимова, составленный по приказанію государя въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Этимъ рескриптомъ дворянамъ литовскихъ губерній разрѣшено было приступить къ составленію проекта устройства ихъ крестьянъ на новыхъ основаніяхъ, съ тѣмъ, чтобы при этомъ были соблюдены слѣдующія три главныя условія:

1) Помѣщикамъ сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянамъ оставляется ихъ усадебная осѣдлость, которую они, въ теченіе опредѣленнаго времени, пріобрѣтаютъ въ собственность посредствомъ выкупа; сверхъ того, предоставляется въ пользованіе крестьянъ надлежащее, по мѣстнымъ удобствамъ, для обезпеченія ихъ быта и для выполненія ихъ обязанностей передъ правительствомъ и помѣщикомъ, количество земли, за которое они или платятъ оброкъ, или отбываютъ работу помѣщику.

2) Крестьяне должны быть распредѣлены на сельскія общества, помѣщикамъ же предоставляется вотчинная полиція.

3) При устройствѣ будущихъ отношеній помѣщиковъ и крестьянъ должна быть надлежащимъ образомъ обезпечена исправная уплата государственныхъ и земскихъ податей и денежныхъ сборовъ.

*) Въ 1857 г. до опубликованія рескрипта 20 ноября 1857 г. члены этого комитета—министръ государственныхъ имуществъ Н. М. Муравьевъ и госуд. секретарь В. И. Бутковъ—позволяли себѣ во время служебныхъ поѣздокъ по Россіи увѣрять всюду дворянство, что толки о реформѣ не приведутъ ни къ чему.



Для составленія проектовъ положеній учреждались дворянскіе комитеты въ каждой изъ трехъ литовскихъ губерній и затѣмъ общая комиссія въ Вильнѣ.

Черезъ нѣсколько дней такой же рескриптъ послѣдовалъ на имя петербургскаго генераль-губернатора Игнатьева по случаю еще ранѣе заявленнаго петербургскимъ дворянствомъ желанія урегулировать свои отношенія къ крестьянамъ.

Рескриптъ 20 ноября былъ разосланъ въ копіяхъ губернаторамъ всѣхъ губерній, на случай, не пожелаетъ ли дворянство каждой губерній приступить къ устройству своихъ крестьянъ на такихъ же основаніяхъ. Затѣмъ оба рескрипта были опубликованы во всеобщее свѣдѣніе.

Этимъ актомъ правительство безповоротно двинуло крестьянскій вопросъ къ его разрѣшенію. Важно было не столько содержаніе рескриптовъ, сколько именно фактъ ихъ опубликованія. Содержаніе рескриптовъ при ближайшемъ ихъ анализѣ могло, разумѣется, вызывать большія возраженія. Оно, безъ сомнѣнія, не могло бы удовлетворить крестьянскихъ надеждъ и упованій, разъ помѣщики оставались собственниками всей земли и въ связи съ этимъ за ними предполагалось сохранить вотчинную власть. Крестьяне не только ждали полного освобожденія отъ крѣпостного права, но они надѣялись во многихъ мѣстностяхъ, если не повсемѣстно, что вся земля будетъ, напротивъ, передана имъ, а помѣщикамъ царь будетъ выдавать жалованье. Но въ содержаніе рескриптовъ они не вникали, а фактъ опубликованія давалъ имъ твердую надежду, что дѣло такъ или иначе на этотъ разъ будетъ сдѣлано, и они во всѣхъ губерніяхъ съ небывалымъ спокойствіемъ выжидали въ теченіе 3-хъ слѣдующихъ лѣтъ результатовъ работъ губернскихъ комитетовъ и высшихъ правительственныхъ установленій. Съ другой стороны, опубликованіе рескриптовъ дѣлало немыслимымъ для помѣщиковъ какой бы то ни было губерніи не просить объ открытіи и у нихъ комитета для устройства быта крестьянъ. Иначе имъ грозило, конечно, народное возстаніе и расправа съ ними ихъ крѣпостныхъ. Наконецъ, опубликованіе рескриптовъ вынесло крестьянскій вопросъ изъ стѣнъ канцелярій и секретныхъ комитетовъ на гласное всенародное обсужденіе. Отнынѣ онъ не могъ быть оставленъ безъ скорого и опредѣленнаго разрѣшенія.

Вотъ почему этотъ шагъ правительства былъ встрѣченъ съ восторгомъ всѣми передовыми органами печати: и Чернышевскій, и Герценъ, и Катковъ, и Аксаковъ съ одинаковымъ энтузіазмомъ привѣтствовали молодого монарха, предпринявшаго этотъ рѣшительный шагъ. Въ этотъ моментъ освободительное настроеніе правительства достигло своего апогея и этотъ же моментъ объединилъ въ послѣдній разъ въ свѣтломъ и радостномъ настроеніи всѣхъ представителей передового русскаго общества. Это настроеніе ярко выразилось въ извѣстномъ обѣдѣ, устроенномъ въ Москвѣ по подпискѣ стараніями

Кавелина, Погодина и Каткова. На этомъ обѣдѣ, объединившемъ цвѣтъ высшей интеллигенціи обѣихъ столицъ, предметомъ восторженныхъ и безусловно искреннихъ овацій былъ портретъ императора Александра II.

Въ теченіе ближайшихъ мѣсяцевъ по ходатайствамъ дворянства губернскіе комитеты по устройству крестьянъ были открыты одинъ за другимъ во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ были помѣщичьи имѣнія. Работы этихъ комитетовъ сопровождались повсемѣстно небывалымъ подъемомъ общественной мысли и интереса къ общественнымъ дѣламъ вообще, а къ крестьянской реформѣ въ частности. Провинція оживилась въ высшей степени; „люди, никогда ничего не читавшіе, стали, по свидѣтельству современниковъ, читать и учиться“. Вслѣдъ за крестьянскимъ вопросомъ возникла масса другихъ: вопросы о самоуправленіи, о судеустройствѣ (и въ частности о судѣ присяжныхъ), о свободѣ печати, о народномъ образованіи (и въ частности объ образованіи женщинъ и о воскресныхъ школахъ), о финансахъ и о кредитѣ, о постройкѣ желѣзныхъ дорогъ и многіе другіе обсуждались и въ журналахъ, въ которыхъ въ это время впервые появились отдѣлы политики и внутреннія обозрѣнія, и въ общественныхъ собраніяхъ, и въ частныхъ домахъ. Въ провинціальныхъ городахъ, гдѣ еще недавно т. н. „образованное общество“ занималось одними сплетнями, танцевальными вечерами да картами, стали устраиваться на частныя пожертвованія и усиліями отдѣльных лицъ женскія гимназіи, публичныя библіотеки, воскресныя школы.

„Вы рискуете теперь,—писалъ одинъ русскій дипломатъ, побывавшій въ Россіи лѣтомъ 1858 года,—пріѣхавъ въ Россію, не узнать ея. По внѣшности все кажется то же, но вы чувствуете внутреннее обновленіе во всемъ, вы чувствуете, что начинается новая эра... Самые отсталые скептики, самые строптивые противники прогресса должны признать, что въ эти два года общественное мнѣніе въ Россіи сдѣлало огромные успѣхи. Читайте наши газеты и журналы, послушайте, что говорится въ блестящихъ салонахъ и скромныхъ домахъ, и вы будете поражены работой, которая совершается въ головахъ. Со всѣхъ сторонъ идеи и свѣтлые взгляды вытѣсняють мало-по-малу старую рутину, которая прежде—даже и во время войны—не стѣснялась ничѣмъ, кичилась своимъ невѣжествомъ и своей глупостью“.

Въ какой-нибудь Керчи, разоренной войной и едва оправившейся отъ разгрома ея бомбардированіемъ 1855 года, выписывалось въ 1860 г. 46 разныхъ газетъ и журналовъ и нѣкоторые изъ нихъ (напр., „Современникъ“) въ нѣсколькихъ десяткахъ экземпляровъ, а всего 319 годовыхъ экземпляровъ на сумму 3359 рублей; въ такихъ захолустныхъ городахъ, какъ Новомиргородъ или Бахмутъ, въ 1859—60 гг. выписывалось болѣе 20 экз. одного „Современника“. Въ отдѣльныхъ губерніяхъ „Современникъ“ выписывался въ это время въ 200 и болѣе экземплярахъ.

Подписка на журналы и газеты росла очень быстро изъ года

въ годъ до 1861 г. Этотъ годъ является въ этомъ отношеніи для того времени кульминаціоннымъ пунктомъ. Тиражъ „Современника“ достигъ тогда 7000 экз. въ годъ, „Русскаго Вѣстника“ — 5700, „Отеч. Записокъ“, „Русскаго Слова“ и „Времени“ — до 4000 каждого изъ нихъ; изъ еженедѣльныхъ газетъ аксаковскій „День“ печатался въ 7750 экз., изъ ежедневныхъ: „Московскія Вѣдомости“ (редакціи В. Корша)—7750, „С.-Петербург. Вѣдомости“ (Очкина)—8000, „Сѣверная Пчела“ (Усова)—5000, „Сынъ Отечества“ (Старчевскаго)—20.000.

Кромѣ этихъ газетъ и журналовъ, имѣли довольно значительное распространеніе: „Библ. для чтенія“ (Дружинина), „Вѣкъ“ (Вейнберга), юмористич. журналъ „Искра“ (7000 экз.), газеты: „Русскій Дневникъ“, „Русская Газета“, казенный журналъ „Морской Сборникъ“ и др.

„Современникъ“, основанный Пушкинымъ и обновленный Бѣлинскимъ въ 1847 г., спѣшилъ въ это время возстановить забытые принципы 40-хъ годовъ и старался влить въ общество какъ можно больше просвѣтительныхъ и гуманныхъ идей и полезныхъ знаній. Въ немъ въ это время печатали свои произведенія, кромѣ Некрасова—его редактора, Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ, Григоровичъ, Островскій, а публицистами его были Чернышевскій и съ 1857 г. юный Добролюбовъ.

Болѣе блѣдныя „Отечественныя Записки“ и „Библіотека для чтенія“ старались по возможности тянуться за нимъ.

Въ Москвѣ въ 1856 году сталъ издаваться „Русскій Вѣстникъ“ Каткова и Леонтьева, объединившій вокругъ себя въ первое время московскихъ либераловъ и западниковъ, группировавшихся около только что скончавшагося Грановскаго. На первыхъ порахъ въ него вошли даже и нѣкоторые изъ славянофиловъ, какъ, напр., Аксаковъ, при чемъ С. Т. Аксаковъ печаталъ въ немъ въ 1856 г. отрывки изъ своей „Семейной хроники“. Но въ томъ же 1856 г. стала выходить и „Русская Бесѣда“—органъ московскихъ славянофиловъ, подъ редакціей Кошелева и Ив. Аксакова. Съ открытіемъ губернскихъ комитетовъ при „Русской Бесѣдѣ“ сталъ издаваться (въ 1858 г.) спеціальный журналъ, посвященный крестьянскому вопросу,—„Сельское благоустройство“, въ которомъ помѣщали свои статьи извѣстные участники крестьянской реформы: Ю. Самаринъ, Кошелевъ, кн. Черкасскій и другіе. Болѣе консервативнымъ представителемъ помѣщичьихъ интересовъ явился „Журналъ для землевладѣльцевъ“, основанный въ 1858 году Желтухинымъ.

Правительство, желавшее послѣ войны пробужденія общества, на первыхъ порахъ сочувствовало этому движенію, пока оно не проявляло слишкомъ большой самостоятельности. Изъ правительственныхъ изданій особенно „Морской Сборникъ“ сознательно будилъ мысль, вызывалъ на обмѣнъ взглядовъ и даже подавалъ примѣръ обличенія различныхъ злоупотребленій и безобразій въ тогдашнемъ административномъ строѣ.

Среди такого общественнаго подъема и возбужденія началась работа губернскихъ комитетовъ по крестьянскому дѣлу. Мы не пишемъ здѣсь ихъ исторіи, но не можемъ, однако же, не остановиться на ходѣ ихъ работъ и на существѣ ихъ постановленій, потому что въ связи съ направлениемъ ихъ дѣятельности и въ зависимости отъ опредѣлившихся въ нихъ стремленій и интересовъ возникли, а затѣмъ и сложились тѣ общественныя группировки, которыя раздѣлили на партіи мыслящее общество въ шестидесятыхъ годахъ. Засѣданія большинства комитетовъ протекали бурно, а кое-гдѣ сопровождались даже жестокими схватками и иногда кончались скандалами. И не мудрено. Здѣсь разрѣшались вѣками сложившіяся отношенія, затрогивавшія самые кровные интересы народныхъ массъ съ одной стороны, помѣщичьяго сословія—съ другой. И хотя въ комитетахъ засѣдали представители одной стороны—дворянской, однако же и среди нихъ оказались лица, пытавшіяся такъ или иначе брать на себя защиту крестьянскихъ интересовъ или по крайней мѣрѣ стремившіяся въ рѣшеніи этого важнѣйшаго вопроса русской жизни стать на государственную точку зрѣнія.

Нельзя, однако же, отрицать, что въ постановленіяхъ губернскихъ комитетовъ прежде всего и ярче всего сказалось отчетливое пониманіе помѣщиками своихъ собственныхъ выгодъ и интересовъ. Поэтому и проекты губернскихъ комитетовъ различныхъ губерній отличались между собою главнымъ образомъ въ зависимости отъ различія въ мѣстныхъ экономическихъ условіяхъ. Рѣшающую роль при этомъ играла принадлежность однѣхъ губерній къ числу земледѣльческихъ черноземныхъ, а другихъ къ числу нечерноземныхъ промышленныхъ. Въ первыхъ изъ нихъ главную, иногда исключительную цѣнность помѣщичьихъ имѣній составляла земля, во вторыхъ—доходъ помѣщика обуславливался сторонними неземледѣльческими заработками и промыслами крестьянъ, и потому главную цѣнность имѣній составляли крѣпостныя души. Въ первыхъ губерніяхъ во многихъ имѣніяхъ существовала собственная помѣщичья запашка и, слѣдовательно, огромное значеніе имѣла барщина; во вторыхъ—крестьяне большею частью были на оброкѣ, земля нерѣдко находилась въ полномъ ихъ распоряженіи, но благосостояніе и ихъ самихъ и господъ ихъ зависѣло отъ заработковъ и промысловъ, большею частью отхожихъ. Въ земледѣльческихъ-хлѣбородныхъ губерніяхъ помѣщики очень боялись сразу уничтожить барщину и потому желали переходнаго срочно-обязаннаго періода; въ то же время они охотно соглашались на безземельное освобожденіе крестьянъ, хотя бы и безвозмездное, и мечтали о томъ, чтобы по окончаніи переходнаго срочно-обязаннаго положенія вся земля осталась въ полномъ распоряженіи помѣщика. Но такъ какъ они знали, что правительство, больше всего опасавшееся бунтовъ, не согласится на безземельное освобожденіе крестьянъ, то они обнаруживали стремленіе елико возможно урѣзать надѣлы, даже и тѣ, которые они хотѣли отвести на время переход-

наго срочно-обязаннаго періода. Опасаясь сразу лишиться барщины и потому настаивая на необходимости этого срочно-обязаннаго періода, они понимали, какъ трудно будетъ заставить крестьянъ, объявленныхъ лично свободными, отбывать повинность въ пользу помѣщика, и потому требовали сохраненія, по крайней мѣрѣ на весь срочно-обязанный періодъ, крѣпкой вотчинной власти, права безотчетно наказывать временно-обязанныхъ крестьянъ и т. п. По отношенію къ правительству въ этихъ губерніяхъ обнаружилось довольно скоро оппозиціонно-аристократическое направленіе и стремленіе къ мѣстному самоуправленію на аристократическихъ началахъ.

Комитеты промышленныхъ губерній боялись, главнымъ образомъ, одного: какъ бы съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права не лишиться безвозмездно тѣхъ доходовъ, которые помѣщики этихъ губерній имѣли отъ заработковъ и промысловъ крестьянъ. Зарботки эти при крѣпостномъ правѣ были такъ значительны, что цѣнность промышленныхъ имѣній вообще была выше, нежели земледѣльческихъ. Помѣщики этихъ губерній, по большей части не заинтересованные въ сохраненіи барщины, опасались, что во время срочно-обязаннаго періода имъ трудно будетъ получать съ своихъ крестьянъ, объявленныхъ лично свободными, прежніе оброки. Они не безъ основанія полагали, что въ этомъ имъ не поможетъ и сохраненіе въ ихъ рукахъ вотчинной власти.

Поэтому они предпочитали единовременную и полную ликвидацію крѣпостныхъ отношеній, но не иначе, какъ при условіи полученія денежнаго выкупа за потерю цѣнности принадлежащихъ имъ имѣній. Они требовали при этомъ выкупа не за землю, отдаваемую крестьянамъ, которая цѣнилась въ промышленныхъ нечерноземныхъ губерніяхъ очень дешево, а за личность своихъ крѣпостныхъ крестьянъ. Когда же правительство провозгласило принципъ безвозмездной отмѣны крѣпостнаго права на личность крестьянъ, то они стали стремиться вознаградить себя либо неимовѣрно преувеличенной оцѣнкой усадебъ, либо назначеніемъ повышенныхъ оброковъ, которые и подлежали бы впослѣдствіи выкупу. Земельный надѣлъ они охотно соглашались оставить крестьянамъ, но размѣръ его старались опредѣлить такъ, чтобы крестьянамъ нельзя было обойтись впослѣдствіи безъ дополнительныхъ заработковъ или безъ арендованія у помѣщиковъ занадѣльныхъ участковъ. Къ вопросу о вотчинной власти помѣщики этихъ губерній относились гораздо равнодушнѣе и многіе изъ нихъ охотно поступались своими вотчинными правами. Въ политическомъ отношеніи здѣсь преобладали стремленія либерально-демократическія, выражавшіяся въ требованіи ограниченія полицейскаго и бюрократическаго произвола и въ проектированіи всесословнаго волостного, уѣзднаго и губернскаго самоуправления.

Таковы были стремленія губернскихъ комитетовъ въ главномъ и общемъ, но во многихъ изъ нихъ, какъ извѣстно, единогласнаго рѣшенія не состоялось и отъ большинства членовъ отдѣлились болѣе

прогрессивныя меньшинства, которыя представили свои собственные проекты. Извѣстно, что эти послѣдніе послужили впослѣдствіи главнымъ основаніемъ для работъ редакціонныхъ комиссій. Слѣдуетъ, однако, имѣть въ виду, что не всѣ меньшинства могутъ быть признаны безусловно прогрессивными. Не говоря о тверскомъ комитетѣ, въ которомъ въ большинствѣ оказались либералы, въ нѣкоторыхъ комитетахъ разниа между проектами большинства и меньшинства обуславливалась вовсе не большей или меньшей прогрессивностью взглядовъ, а просто различіемъ мѣстныхъ условий и интересовъ въ различныхъ мѣстностяхъ одной и той же губерніи *).

Въ работахъ своихъ губернскимъ комитетамъ приходилось считаться съ программой, данной имъ правительствомъ въ 1858 г. въ дополненіе и разъясненіе рескрипта 20 ноября. Эта программа была выработана ловкимъ крѣпостникомъ Позеномъ, сумѣвшимъ въ этомъ случаѣ воспользоваться неосвѣдомленностью Ростовцева, отъ котораго съ 1858 г. зависѣлъ главнымъ образомъ ходъ работъ по крестьянскому дѣлу. Позень, однако же, не могъ въ одной и той же программѣ удовлетворить помѣщичьи интересы и земледѣльческихъ, и промышленныхъ губерній. Самъ онъ былъ помѣщикомъ Полтавской губерніи и программу свою примѣнилъ, главнымъ образомъ, къ интересамъ земледѣльческихъ хлѣбородныхъ губерній. Поэтому въ губернскихъ комитетахъ противъ нея возставали главнымъ, образомъ, помѣщики промышленныхъ нечерноземныхъ губерній.

Проекты губернскихъ комитетовъ поступили въ образованныя въ 1859 г. въ Петербургѣ при Главномъ Комитетѣ редакціонныя комиссіи. Во главѣ ихъ поставленъ былъ генераль-адъютантъ Я. И. Ростовцевъ, пользовавшійся особымъ довѣріемъ Государя и успѣвшій къ этому времени довольно близко ознакомиться съ порученнымъ ему дѣломъ. Въ составъ комиссій вошли отчасти чиновники разныхъ вѣдомствъ, между которыми были лица, глубоко преданныя дѣлу реформы, какъ Милютинъ и Соловьевъ, отчасти помѣщики, взятые главнымъ образомъ изъ числа членовъ меньшинства нѣкоторыхъ губернскихъ комитетовъ. Изъ нихъ выдающуюся роль въ этомъ дѣлѣ сыграли кн. Черкасскій и Ю. Ф. Самаринъ — представители земледѣльческихъ черноземныхъ губерній, умѣвшіе, однако, въ важныхъ случаяхъ стать выше сословной, помѣщичьей точки зрѣнія.

Въ редакціонныхъ комиссіяхъ проекты губернскихъ комитетовъ подверглись, какъ извѣстно, существенной передѣлкѣ, въ связи съ проясненіемъ взглядовъ на крестьянскій вопросъ самого правительства подъ вліяніемъ двухлѣтней, хотя и стѣсненной цензурой, но все же гласной разработки вопроса въ печати. Трудами комитетовъ редакціонныя комиссіи воспользовались, главнымъ образомъ, какъ матеріаломъ, очень мало считаясь съ выраженной въ нихъ

*) Изложенный взглядъ на труды губернскихъ комитетовъ мнѣ приходилось уже нѣсколько разъ излагать въ различныхъ моихъ работахъ по исторіи крестьянской реформы и общественнаго движенія 60-хъ годовъ.

волею дворянства. Журналы редакціонныхъ комиссій печатались въ 3000 экз. и рассылались по губерніямъ, встрѣчая, конечно, весьма непріязненную критику дворянства. Между тѣмъ еще лѣтомъ 1858 г., объѣзжая губерніи, въ которыхъ начались тогда работы губернскихъ комитетовъ, государь объщалъ дворянамъ, что представители комитетовъ будутъ приглашены въ Петербургъ для участія въ окончательной разработкѣ положеній. Они и были приглашены въ двѣ очереди,—по мѣрѣ окончанія работъ въ комитетахъ,—по два депутата отъ каждого комитета; но имъ не было предоставлено возражать противъ работъ редакціонныхъ комиссій въ главномъ комитетѣ въ присутствіи государя, какъ они надѣялись, а лишь въ редакціонныхъ комиссіяхъ, при чемъ они могли высказываться словесно и письменно. Они подвергли работы редакціонныхъ комиссій рѣзкой и беспощадной критикѣ, но эти заявленія ихъ не получили практическаго значенія, хотя и были напечатаны въ видѣ приложенія къ матеріаламъ редакціонныхъ комиссій. Правительство не дало ходу нападкамъ дворянскихъ депутатовъ на труды редакціонныхъ комиссій, и сами депутаты не были допущены въ главный комитетъ, потому что къ этому времени (1859 г.) въ правительственной средѣ явились уже опасенія, что такимъ образомъ можетъ быть положено у насъ начало образованію „разноцвѣтныхъ партій“, которыя будутъ стремиться захватить власть въ свои руки.

Тѣмъ не менѣ сперва привлеченіе дворянства къ участію въ рѣшеніи государственнаго вопроса первостепенной важности, а затѣмъ окончательное разрѣшеніе этого вопроса бюрократическимъ путемъ—и притомъ во многомъ наперекоръ стремленіямъ и заявленіямъ дворянства—и послужило къ образованію въ средѣ дворянства рѣзко оппозиціоннаго настроенія по отношенію къ правительству. Выходки захоластныхъ дворянъ, настроенныхъ крѣпостнически, противъ передовыхъ членовъ губернскихъ комитетовъ начались еще ранѣе во время работъ самихъ комитетовъ. Поэтому правительство поспѣшило сдѣлать распоряженіе о воспрещеніи обсужденія крестьянскаго вопроса въ дворянскихъ собраніяхъ 1858 и 1859 годовъ.

Въ 1858 г. это воспрещеніе прошло гладко; но въ 1859 г. оно вызвало рядъ протестовъ въ связи съ заявленіями депутатовъ дворянскихъ комитетовъ въ редакціонныхъ комиссіяхъ и съ адресами, поданными нѣкоторыми изъ нихъ государю. Среди депутатовъ первой очереди (или перваго приглашенія, какъ они назывались) преобладали депутаты комитетовъ промышленныхъ губерній. Они протестовали противъ проектовъ редакціонныхъ комиссій главнымъ образомъ въ либеральномъ духѣ, требуя болѣе рѣшительной ликвидаціи крѣпостныхъ отношеній безъ всякаго переходнаго періода и на началахъ обязательнаго выкупа барщины и оброковъ. Они требовали въ то же время обузданія административнаго произвола, коренной судебной реформы съ введеніемъ суда присяжныхъ и широкаго мѣстнаго самоуправленія на началахъ демократическихъ—всесословныхъ.

Депутаты второго приглашенія, — среди которыхъ преобладали депутаты комитетовъ черноземныхъ губерній и западнаго края, — были настроены гораздо болѣе крѣпостнически. Къ тому же они явились въ моментъ смерти Ростовцева, когда многимъ казалось, что замѣнившій его гр. Панинъ, имѣвшій репутацію крѣпостника, будетъ содѣйствовать измѣненію проектовъ редакціонныхъ комиссій въ сторону поддержанія дворянскихъ интересовъ. Поэтому заявленія этихъ депутатовъ, лишеныя сколько-нибудь яркой политической тенденціи, клонились, главнымъ образомъ, къ сохраненію вотчинной власти помѣщиковъ и обезземеленію крестьянъ послѣ краткосрочнаго переходнаго періода. Однако жъ и эти депутаты, и въ особенности нѣкоторые единомышленники ихъ, успѣвшіе выступить нѣсколько раньше (братья Мих. и Ник. Безобразовы, генералъ С. И. Мальцовъ, гр. В. П. Орловъ-Давыдовъ и др.), выставили также извѣстныя политическія desiderata, сводившіяся къ ограниченію бюрократическаго произвола при помощи особыхъ прерогативъ дворянскому сословію. Хотя эти прерогативы не шли дальше совѣщательнаго участія дворянства въ государственныхъ дѣлахъ и организаціи мѣстнаго самоуправленія на аристократическихъ началахъ, однако же, критика существующей бюрократической системы была такъ рѣзко изложена въ ихъ заявленіяхъ, а особенно въ запискѣ не бывшаго депутатомъ Мих. Безобразова, что вызвала противъ себя сильный гнѣвъ императора Александра II и даже карательныя мѣры противъ самого Безобразова, несмотря на то, что онъ былъ роднымъ племянникомъ предсѣдателя главнаго комитета кн. Орлова.

Заявленія депутатовъ дворянскихъ комитетовъ мало отразились на рѣшеніи крестьянскаго вопроса, хотя въ послѣдней стадіи хода этого дѣла крѣпостникамъ удалось провести нѣкоторыя поправки въ интересахъ дворянства. Въ общемъ и главномъ проекты редакціонныхъ комиссій были приняты Главнымъ Комитетомъ и проведены, благодаря энергичному вмѣшательству самого императора Александра, черезъ Государственный Совѣтъ. Но заявленія депутатовъ въ исторіи русскаго общества получили важное значеніе, послуживъ началомъ двухъ различныхъ теченій въ дворянской средѣ — одного либерально-демократическаго, которое развилось главнымъ образомъ среди дворянства промышленныхъ нечерноземныхъ губерній, и другого — конституціонно-аристократическаго, распространеннаго главнымъ образомъ среди дворянства земледѣльческихъ черноземныхъ губерній, при чемъ оба эти теченія были остро оппозиціонны по отношенію къ правительству въ шестидесятыхъ годахъ.

Адресы депутатовъ перваго приглашенія, особенно тотъ изъ нихъ, который былъ подписанъ 5-ю депутатами съ Унковскимъ во главѣ и въ которомъ наиболѣе ярко изложены либеральныя требованія, были поддержаны на дворянскихъ собраніяхъ нѣкоторыхъ (сѣверныхъ нечерноземныхъ) губерній, особенно Тверской и Владимирской. Тверское дворянское собраніе 1859 года, въ которомъ

предсѣдательствовалъ тотъ же Унковскій, горячо протестовало противъ распоряженія правительства не касаться крестьянскаго вопроса, такъ какъ распоряженіе это нарушало права дворянства, и послало государю съ экстреннымъ поѣздомъ желѣзной дороги жалобу, составленную въ довольно рѣшительныхъ выраженіяхъ. За это Унковскій былъ отрѣшенъ отъ должности, а затѣмъ онъ и помѣщикъ Европеусъ (бывшій петрашевецъ) посланы были въ Вятскую и Пермскую губерніи. Дворянамъ приказано было произвести выборы губернскаго предводителя (вмѣсто Унковскаго) и уѣздныхъ непремѣнно въ положенный срокъ. Они исполнили это безпрекословно, но въ 8 уѣздахъ изъ 12 никто не пожелалъ баллотироваться въ уѣздные предводители; въ губернскіе баллотировались двое и оба были забаллотированы. Въ честь Унковскаго тутъ же состоялась подписка на 12 стипендій его имени при Московскомъ университетѣ. Съ этихъ поръ духъ оппозиціи прочно укоренился въ тверскомъ дворянствѣ.

Еще ранѣе стало разстраиваться единодушіе между правительствомъ и печатью. Въ томъ самомъ 1858 г., въ началѣ котораго Герценъ, Чернышевскій и Аксаковъ такъ горячо и трогательно прославляли императора Александра II за его смѣлый приступъ къ крестьянской реформѣ, изобильно посыпались цензурныя кары и противъ петербургской и противъ московской печати. Въ Петербургѣ вызвала бурю та самая статья Чернышевскаго, въ первой части которой онъ славословилъ царя-реформатора, а во второй перепечаталъ въ извлеченіи проектъ освобожденія крестьянъ, составленный Кавелинымъ и въ которомъ Кавелинъ признавалъ необходимымъ выкупъ повинностей. Попечитель петербургскаго учебнаго округа кн. Щербатовъ получилъ (какъ главный начальникъ петербургской цензуры) за эту статью выговоръ, а Кавелинъ, только что приглашенный въ преподаватели къ наслѣднику престола, принужденъ былъ подать въ отставку. Въ Москвѣ гоненія были воздвигнуты противъ либеральнаго цензора Крузе, который послѣ ряда цензурныхъ непріятностей за пропускъ статей по крестьянскому вопросу въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и „Сельскомъ Благоустройствѣ“, неполнивъ согласныхъ съ правительственной точкой зрѣнія, былъ отставленъ отъ должности, при чемъ московскіе литераторы съ Катковымъ и Кошелевымъ во главѣ устроили ему демонстративные проводы и собрали въ его пользу капиталъ по подпискѣ въ 50.000 рублей. Это былъ первый общественный протестъ противъ правительственныхъ распоряженій въ царствованіе Александра II.

При такихъ условіяхъ Чернышевскій очень быстро освободился отъ того оптимизма, съ которымъ онъ склоненъ былъ еще въ началѣ 1858 г. относиться къ прогрессивнымъ правительственнымъ мѣропріятіямъ. Но разочарованіе его и редакціи „Современника“, въ которой въ это же время рядомъ съ нимъ укрѣпляется Добролюбовъ, не ограничивалось этимъ; еще въ большей степени оно вызывалось своекорыстными стремленіями большинства дворянскихъ губернскихъ комите-

товъ по крестьянскому дѣлу. Чернышевскій въ это время рѣшительно занимаетъ непримиримую позицію по отношенію къ дворянству и къ буржуазному либерализму, кладя въ основаніе своихъ экономическихъ статей и изслѣдованій социалистическую доктрину (Фурье). Добролюбовъ не менѣе рѣзко обрушивается на дворянскій либерализмъ въ знаменитыхъ статьяхъ „Что такое обломовщина?“ и „Когда же придетъ настоящій день?“ Внутри „Современника“ происходитъ борьба между новыми его руководителями и писателями-беллетристами сороковыхъ годовъ, дававшими тонъ этому журналу со времени Бѣлинскаго. Борьба эта оканчивается не въ пользу послѣднихъ, и „Современникъ“ съ 1859 г. становится опредѣленно органомъ русскаго радикализма, поддерживаемаго писателями-разночинцами съ крупными публицистическими и беллетристическими талантами.

Настроеніе купечества, быстро развивавшагося въ сознательный общественный классъ подѣ влияніемъ событій 1855—1856 гг., становится къ концу пятидесятихъ годовъ также все болѣе скептическимъ и оппозиционнымъ по отношенію къ правительству подѣ влияніемъ промышленнаго кризиса, съ одной стороны, и неудачной финансовой и экономической политики самого правительства—съ другой. Особенно обостряется это недовольство отдачей всего дѣла постройки желѣзныхъ дорогъ въ руки иностранныхъ капиталистовъ.

Подѣ влияніемъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ ко времени изданія манифеста 19 февраля 1861 г. объ освобожденіи крестьянъ, несмотря на то, что реформа совершилась въ сущности на болѣе либеральныхъ основаніяхъ, нежели тѣ, которыя были положены въ основу рескрипта 20 ноября 1857 г., во всѣхъ почти слояхъ русскаго общества не осталось и слѣда того розоваго и радостнаго настроенія, которое ознаменовало первые годы царствованія Александра II. Къ этому времени скептицизмъ и довольно острое критическое настроеніе проникаетъ уже всѣ элементы и классы русскаго общества, въ средѣ котораго началась та политическая дифференціація, то дѣленіе на „разноцвѣтныя партіи“, котораго такъ опасалось правительство.

Вскорѣ это настроеніе ярко выразилось въ студенческихъ волненіяхъ и въ томъ отношеніи къ волновавшимся студентамъ, которое обнаружилось въ широкихъ общественныхъ кругахъ; столь же опредѣленно оно выражалось въ это время въ органахъ радикальной печати, а въ особенности въ „Современникѣ“, въ „Русскомъ Словѣ“ и, наконецъ, еще болѣе открыто и рѣзко въ распространявшихся прокламаціяхъ и подпольныхъ листкахъ, которыми въ 1861 г. давала уже о себѣ знать нарождавшаяся революціонная партія и которые распространялись и читались повсюду.

Крестьяне, спокойно ждавшіе манифеста о волѣ въ теченіе послѣднихъ четырехъ лѣтъ, встрѣтили положеніе 19 февраля въ большинствѣ мѣстностей не только безъ ликованія и радости, но даже съ разочарованіемъ. Впрочемъ, во многихъ мѣстахъ они растолковали его по-своему и прямо отказывались отъ исполненія барщин-

ныхъ работъ, которыя по положенію были сохранены на два года, а иногда и отъ уплаты оброковъ; кое-гдѣ они встрѣтили объявленіе манифеста открытыми безпорядками. Начались въ разныхъ губерніяхъ усмиренія, порки, стрѣльба въ народъ, при чемъ въ Казанской губерніи въ селѣ Безднѣ было болѣе ста человѣкъ убитыхъ и раненыхъ. Ю. Самаринъ въ одномъ частномъ письмѣ того времени остроумно называлъ эти попытки безграмотнаго народа растолковать права свои по положенію шире, нежели они были въ дѣйствительности, „своего рода процессомъ чтенія положенія“; но на общество эти усмиренія и экзекуціи производили гнетущее впечатлѣніе. Начались демонстраціи (вродѣ щаповской панихиды по убитымъ въ Безднѣ крестьянамъ); стали распространяться слухи, что волненія 1861 г.—только прелюдія народнаго возстанія, которое разразится лѣтомъ 1863 г., такъ какъ народъ ждетъ къ тому времени объявленія „чистой воли“ и передачи ему всей земли.

Между тѣмъ въ правительственныхъ кругахъ обнаружилиcя симптомы реакціи, которые выразились прежде всего въ отставкѣ Ланского и Милютина и назначеніи министромъ внутреннихъ дѣлъ Валуева, который всячески старался при проведеніи крестьянской реформы въ жизнь повернуть дѣло въ пользу помѣщиковъ. Почти въ то же время министръ народнаго просвѣщенія Ковалевскій — человѣкъ сравнительно гуманный и доброжелательный—былъ замѣненъ самодуромъ и завзятымъ реакціонеромъ гр. Путятинымъ. Эта реакція въ высшихъ сферахъ объяснялась отчасти утомленіемъ императора Александра, которому приходилось съ значительнымъ напряженіемъ выдерживать въ теченіе всего хода крестьянской реформы натискъ реакціонныхъ интригъ, запугиваній и наговоровъ въ окружавшей его средѣ, отчасти впечатлѣніемъ, производимымъ на него рѣзкими нападками радикальной печати и симптомами общественнаго недовольства, которые постоянно представлялись ему, какъ грозящіе признаки революціи и разложенія. Реакція эта, отражавшаяся прежде всего стѣсненіями печати, естественно въ ней же и вызывала отпоръ и озлобленіе. Въ рѣзкости отпора аксаковскій „День“ не уступалъ при этомъ радикальному „Современнику“. Еще рѣзче отзывался на эту реакцію заграничный „Колоколъ“ Герцена, нападки котораго все чаще задѣвали теперь самого императора Александра. Но въ направленіи всѣхъ этихъ журналовъ, отражавшихъ передовыя теченія, преобладавшія въ то время въ обществѣ, въ 1861 г. уже замѣчается огромная разница. „Современникъ“, сдѣлавшійся къ этому времени окончательно представителемъ русскаго радикализма, базировавшагося на социалистическомъ основаніи, съ 1859 г. рѣзко нападаетъ и на дворянскій и на буржуазный либерализмъ, высмѣивая его половинчатость и рѣзко осуждая экономистовъ и публицистовъ манчестерской школывродѣ В. П. Безобразова и В. Ржевскаго, писавшихъ въ это время въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. „Колоколъ“ Герцена не только не поддерживалъ его въ этомъ, но въ двухъ рѣз-

кихъ статьяхъ („Very dangerous“ и „Лишніе люди и желчевики“) старался обнаружить безтактность и неумѣстность не только безпардоннаго „Свистка“ въ „Современникѣ“, но и такихъ статей, какъ добролюбовская „Что такое обломовщина?“. Несомнѣнно, что, несмотря на социалистическую подкладку своего міровоззрѣнія, Герценъ до 1861 г., т.-е. до начала поворота Каткова направо, гораздо ближе чувствовалъ себя къ „Русскому Вѣстнику“ Каткова, нежели къ „Современнику“ Чернышевскаго и Добролюбова.

„Русское Слово“, сдѣлавшееся съ 1861 г. органомъ Писарева, Зайцева и Шелгунова, было спеціальнымъ провозвѣстникомъ „нигилизма“. Главной своей задачей оно ставило въ это время не достиженіе какихъ-либо социальныхъ преобразованій, а освобожденіе личности во всѣхъ сферахъ, въ особенности же отъ всевозможныхъ предразсудковъ и авторитетовъ. Главнымъ орудіемъ въ борьбѣ съ предразсудками и авторитетами, опутывавшими личность, „мыслящіе реалисты“ „Русскаго Слова“ считали распространеніе естествознанія, въ отрицаніи же авторитетовъ они дѣйствовали съ такимъ азартомъ и рѣзкостью, что приводили въ ужасъ даже наиболѣе доброжелательныхъ и либеральныхъ цензоровъ, вродѣ А. В. Никитенка.

Славянофилы въ проведеніи своихъ взглядовъ, въ одно и то же время и ретроградныхъ—поскольку они стремились къ возсозданію старинныхъ устоевъ русской жизни—и радикальныхъ—поскольку они отрицали всякое вмѣшательство государственной власти въ частный и общинный бытъ,—обнаруживали такую прямолинейность и рѣзкость, что цензурное вѣдомство давило и преслѣдовало и ихъ съ неменьшей беспощадностью, нежели радикаловъ „Современника“ и нигилистовъ „Русскаго Слова“. „Русская Бесѣда“ не выдержала этого гнета и закрылась въ 1859 г.; въ томъ же году на второмъ номерѣ прекратилъ свое существованіе и „Парусъ“ Ив. Аксакова. Лишь въ концѣ 1861 г. Аксаковъ предпринялъ новую еженедѣльную газету „День“.

„Русскій Вѣстникъ“ Каткова и Леонтьева въ 1861 г. оставался еще вѣрнымъ представителемъ началъ политическаго либерализма съ манчестерской подкладкой и стремленіемъ къ англійскому конституціонализму. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ того времени еще участвуютъ Салтыковъ, Унковскій, Головачевъ, Тургеневъ и Кавелинъ. Но уже въ томъ же году Катковъ начинаетъ нападать не только на „нигилистовъ“, но и на радикаловъ, и это приводитъ его въ слѣдующемъ году сперва къ крупной полемикѣ, а затѣмъ и къ полному расхожденію съ Герценомъ и Огаревымъ, при чемъ однако жъ Тургеневъ не только печатаетъ въ 1862 г. въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ своихъ „Отцовъ и дѣтей“, но остается его постояннымъ сотрудникомъ вплоть до 1868 года.

Новый петербургскій журналъ братьевъ Достоевскихъ „Время“ не играетъ въ 1861 г. замѣтной политической роли; „Отечественныя записки“ Краевского продолжаютъ довольно безцвѣтное существо-

ваніе; „Библіотека для чтенія“, перешедшая въ 1861 г. (въ виду болѣзни Дружинина) подъ редакцію Писемскаго, дѣлаетъ новые шаги вправо. Остальные органы печати не имѣютъ большого значенія.

Къ осени 1861 г. революціонное настроеніе въ обществѣ, копившееся и развивавшееся въ теченіе предшествовавшихъ двухъ лѣтъ, достигло значительнаго напряженія. Этому способствовали: разочарованіе въ надеждахъ, возбужденныхъ либерализмомъ правительства въ годы, непосредственно слѣдовавшіе за крымской войной; жестокія усмиренія крестьянскихъ волненій весною и лѣтомъ 1861 года; колебанія правительства въ отношеніи степени свободы, которая предоставлялась печати; стѣснительныя и безтактныя мѣры противъ студенческихъ вольностей, принятыя новымъ министромъ народнаго просвѣщенія гр. Путятинымъ; польское движеніе и слухи о стѣснительныхъ мѣрахъ противъ поляковъ, которые дѣятельно стремились связать въ это время дѣло своего національнаго освобожденія съ освободительнымъ движеніемъ въ Россіи. Въ сентябрѣ 1861 г. появляется въ Петербургѣ извѣстная прокламація „Къ молодому поколѣнію“, составленная однимъ изъ любимыхъ поэтовъ и публицистовъ „Современника“ М. И. Михайловымъ. Прокламація эта, ставившая весьма радикальныя политическія требованія и написанная въ духѣ ультиматума царствующей въ Россіи династіи, произвела большое впечатлѣніе и въ обществѣ и въ правительственной средѣ. Вслѣдъ затѣмъ, въ октябрѣ, въ университетахъ обѣихъ столицъ разразились студенческіе беспорядки, которые вынесены были на улицу и грубо подавлены полиціей при участіи войскъ. Студентовъ, въ числѣ нѣсколькихъ сотъ, разсадили по казематамъ въ Петербургѣ и Кронштадтѣ, а по выходѣ ихъ оттуда публика носила ихъ на рукахъ. Государь, недовольный грубыми и безтактными дѣйствіями Путятина и петербургскаго генераль-губернатора Игнатьева, отставилъ ихъ обоихъ, замѣнивъ перваго изъ нихъ Головиннымъ, имѣвшимъ репутацію либерала, а второго—гуманнымъ и добродушнымъ генераломъ кн. Суворовымъ. Но въ декабрѣ начались обыски и аресты среди литераторовъ, подозрѣвавшихся въ составленіи и распространеніи прокламацій. Первымъ былъ арестованъ Михайловъ, затѣмъ Обручевъ. Между тѣмъ появились новыя произведенія подпольной печати. Изъ нихъ наибольшее впечатлѣніе произвелъ „Великоруссъ“, котораго вышло три номера, требовавшій немедленнаго выкупа крестьянскихъ земель на счетъ государства, созванія народныхъ представителей для выработки конституціи и созыва такого же учредительнаго собранія въ Варшавѣ для выработки особой конституціи Царства Польскаго. Въ ту же зиму въ Петербургѣ образовано было первое революціонное общество „Земля и Воля“, съ отдѣленіями въ провинціи и съ заграничными связями, съ программой, аналогичной той, которая изложена была въ „Великоруссѣ“. Главнымъ организаторомъ и того и другого было, повидимому, одно и то же лицо — Н. А. Серно-Соловьевичъ, опублико-

вавший лѣтомъ 1861 г. въ Берлинѣ за своею подписью очень смѣлую критику на положеніе 1861 г. въ брошюрѣ „Окончательное рѣшеніе крестьянскаго вопроса“. Уполномоченный общества „Земля и Воля“ въ бесѣдѣ съ Герценомъ въ Лондонѣ опредѣлялъ число его членовъ въ нѣсколько сотъ въ Петербургѣ, въ нѣсколько тысячъ въ провинціи.

Закрытіе петербургскаго университета вслѣдствіе безпорядковъ 1861 г. повлекло за собой попытку со стороны нѣкоторыхъ профессоровъ организовать народный университетъ въ городской думѣ (и въ нѣкоторыхъ другихъ аудиторіяхъ); но послѣ ареста одного изъ популярнѣйшихъ профессоровъ П. В. Павлова за извѣстную рѣчь о тысячелѣтіи Россіи (въ мартѣ 1862 г.) и скандала на лекціи Костомарова, не желавшаго допустить сбора пожертвованій для высылававшагося Павлова во время своей лекціи, университетъ этотъ былъ закрытъ самими инициаторами дѣла.

Въ дворянской средѣ въ это время происходитъ величайшее броженіе, при чемъ оппозиціонное настроеніе здѣсь продолжаетъ развиваться по тѣмъ двумъ теченіямъ, которыя возникли и опредѣлились во время разработки крестьянской реформы. Одно изъ нихъ—либерально-демократическое—достигаетъ сильнѣйшаго своего выраженія въ заявленіяхъ тверскаго дворянства въ собраніи, происходившемъ въ декабрѣ 1861 и январѣ 1862 гг.; другое группируется вокругъ адреса, имѣвшаго цѣлью добиться конституціи и политическихъ правъ для привилегированныхъ сословій.

Тверское дворянство, указывая на то, что положеніе 19 февраля 1861 г. отнюдь не удовлетворило назрѣвшихъ народныхъ нуждъ, требовало коренныхъ преобразованій финансовыхъ, административныхъ, судебныхъ; но при этомъ оно указывало, что „осуществленіе этихъ реформъ невозможно путемъ правительственныхъ мѣръ, которыми до сихъ поръ двигалась наша общественная жизнь. Предполагая даже полную готовность правительства провести реформы, дворянство глубоко проникнуто — по выраженію тверскаго постановленія — тѣмъ убѣжденіемъ, что правительство не въ состояніи ихъ совершить. Свободныя учрежденія, къ которымъ ведутъ эти реформы, могутъ выйти только изъ самого народа, а иначе будутъ только одною мертвою буквою и поставятъ общество въ еще болѣе натянутое положеніе. Посему дворянство не обращается къ правительству съ просьбою о совершеніи этихъ реформъ, но, признавая его несостоятельность въ этомъ дѣлѣ, ограничивается указаніемъ того пути, на который оно должно вступить для спасенія себя и общества. Этотъ путь есть собраніе выборныхъ отъ всего народа безъ различія сословій“.

Тверскіе мировые посредники въ свою очередь постановили руководствоваться впредь въ своей дѣятельности не правительственными распоряженіями, а общественнымъ мнѣніемъ, выразившимся въ постановленіяхъ этого дворянскаго собранія. За это они были

арестованы (въ числѣ 13), привезены въ Петербургъ и посажены въ крѣпость, — въ тѣ самыя казематы, изъ которыхъ только что были выпущены студенты. Послѣ пятимѣсячнаго заключенія они были приговорены сенатомъ къ лишенію нѣкоторыхъ правъ и двухлѣтнему заключенію въ смиренительномъ домѣ. Отъ этого послѣдняго они были, впрочемъ, освобождены по ходатайству генераль-губернатора кн. Суворова.

Постановленія тверскаго собранія 1862 г. вполне согласовались съ настроеніемъ передовыхъ слоевъ петербургскаго общества. Чернышевскій въ „Письмахъ безъ адреса“, написанныхъ имъ черезъ нѣсколько недѣль послѣ этихъ постановленій тверскаго собранія, заявляетъ, что требованіе всеобщей реформы, истолкователемъ которыхъ явилось дворянство, нельзя считать результатомъ какихъ-либо личныхъ побужденій или сословныхъ интересовъ. Если бы у другихъ классовъ общества были свои органы для выраженія ихъ требованій и стремленій, они высказали бы то же самое. Они сдѣлали бы это—по мнѣнію Чернышевскаго—еще съ большей энергіей, нежели дворянство, потому что общіе пороки нашего государственнаго строя отразились на нихъ гораздо сильнѣе.

Дворянская агитація олигархическаго направленія, проявившаяся также въ рядѣ дворянскихъ собраній, особенно въ московскомъ и петербургскомъ, гдѣ инициаторами ея опять явились братья Бездобразовы и гр. Орловъ-Давыдовъ, выразилась въ рядѣ озлобленныхъ нападокъ на положеніе 19 февраля, но уже съ чисто сословной дворянской точки зрѣнія. Въ адресѣ, проектъ котораго ходилъ по рукамъ и подъ которымъ подписывались дворяне этой категоріи, проводилась мысль, что дворянству, интересы котораго нарушены реформой 19 февраля, должна быть дана компенсация въ видѣ дарованія дворянству политическихъ прерогативъ. Поздиѣ фрондеры этого направленія, весьма распространеннаго среди дворянства въ 60-хъ годахъ, группировались около газеты „Вѣсть“, основанной въ 1863 г. подъ редакціей В. Д. Скарятина и Н. Н. Юматова.

Среди дворянъ прогрессивнаго образа мыслей были, впрочемъ, въ это время люди и еще иного третьяго направленія, которые отчасти сходились со взглядами тверскаго собранія въ отношеніи необходимости коренныхъ преобразованій финансовыхъ, административныхъ и судебныхъ въ духѣ либерально-демократическомъ, но которые въ то же время были убѣждены, что въ Россіи въ 1862 г. не было еще достаточно подготовленныхъ общественныхъ элементовъ для конституціоннаго представительнаго образа правленія. Люди этого типа утверждали, что къ конституціи и къ представительному образу правленія надо еще подготовиться и лучшую школу для этого видѣли въ мѣстномъ самоуправленіи, проекты котораго разрабатывались въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ съ 1859 года. Въ 1862 г. наиболѣе ярко и опредѣленно эту точку зрѣнія проводилъ К. Д. Кавелинъ. Отчасти къ ней примыкали: съ одной стороны—И. С. Тур-

гевъ, съ другой—Ю. Ф. Самаринъ и кн. А. И. Васильчиковъ. На этомъ пунктѣ Кавелинъ и Тургеневъ поссорились съ Герценомъ и Огаревымъ, которые готовы были, разумѣется въ видѣ компромисса, поддерживать даже олигархическое дворянское теченіе, если только хоть этимъ путемъ можно было добиться ограниченія самодержавія.

Броженіе, развившееся въ зиму 1861—1862 гг. во всѣхъ кругахъ общества и завершившееся лѣтомъ 1862 г. извѣстными петербургскими пожарами, породило не только серьезныя опасенія въ правительственномъ кругу и панику среди обывателей, но отразилось и за границей, гдѣ составилось довольно распространенное убѣжденіе, что Россія находится наканунѣ революціи. Это убѣжденіе въ банкирскихъ кругахъ влекло за собой чрезвычайно скептическое отношеніе къ русскимъ финансамъ, положеніе которыхъ, дѣйствительно, становилось годъ отъ году затруднительнѣе. Несмотря на то, что правительство съ 1862 г. стало публиковать роспись и приступило къ важнымъ преобразованіямъ въ финансовой системѣ, выработаннымъ по проекту Татаринова (введеніе единства кассы и установленіе на болѣе правильныхъ основаніяхъ государственнаго контроля), тѣмъ не менѣе кредитъ нашъ за границей упалъ весьма низко. Въ виду этого правительство сочло даже необходимымъ черезъ министерство иностранныхъ дѣлъ официально воздѣйствовать на общественное мнѣніе Европы. Тотчасъ послѣ петербургскихъ пожаровъ министръ иностранныхъ дѣлъ князь Горчаковъ писалъ одному изъ нашихъ пословъ за границей: „Морская ширь,—по выраженію Расина,—нигдѣ не бываетъ спокойна. Такъ и у насъ. Но равновѣсіе возстановляется. Когда волны вздымаются, какъ теперь, повсюду, было бы наивно утверждать, что море тотчасъ утихнетъ. Главная задача поставить плотины тамъ, гдѣ общественному спокойствію или интересу, а въ особенности существу власти, угрожаетъ опасность. Объ этомъ и заботятся у насъ, не отступая отъ пути, который нашъ августѣйшій государь начерталъ себѣ со дня вступленія на престолъ. Нашъ девизъ: ни слабости, ни реакціи. Его начинаютъ понимать въ Россіи. Нужно больше времени, чтобы акклиматизировать его въ Европѣ, но я надѣюсь, что очевидность убѣдитъ наконецъ самые предубѣжденные умы...“

Преслѣдованія правительства въ 1862 г. были направлены главнымъ образомъ противъ повременной печати. „Современникъ“, „Русское Слово“ въ Петербургѣ и аксаковскій „День“ въ Москвѣ были пріостановлены на 8 мѣсяцевъ. Опять начались обыски и аресты среди писателей-журналистовъ. Арестованы были и посажены въ крѣпость: Чернышевскій, Николай Серно-Соловьевичъ, Писаревъ и др. Вскорѣ они были преданы суду Сената, который отнесся къ нимъ безпощадно, несмотря на явную недостаточность уликъ. Михайловъ, Чернышевскій, Обручевъ и Серно-Соловьевичъ были сосланы въ каторжныя работы, Писаревъ посаженъ въ крѣпость на 4 года. Пострадали и многіе другіе.

Противъ Герцена правительство пыталось и ранѣе принимать мѣры дипломатическимъ путемъ, хлопоча черезъ пословъ при иностранныхъ дворахъ о запрещеніи „Колокола“ въ разныхъ странахъ; но путь этотъ оказывался недѣйствительнымъ, и „Колоколъ“ не только свободно распространялся за границей, но проникалъ и въ Россію въ значительномъ числѣ экземпляровъ, которые размножались еще здѣсь разными домашними способами. Въ 1862 г. правительство рѣшилось на болѣе смѣлую мѣру. Оно дозволило открытую продажу одного герценовскаго памфлета съ довольно ловкими возраженіями и примѣчаніями къ нему нѣкоего барона Фиркса, подъ псевдонимомъ Шедо-Феротти ¹⁾. Этимъ обстоятельствомъ воспользовался и Катковъ, выступившій съ 1861 г. противъ петербургскихъ нигилистовъ и социалистовъ, а въ 1862 г. ополчившійся и на Герцена, послѣ того какъ Герценъ обрушился въ „Колоколѣ“ на статью Каткова о русскихъ литературныхъ и политическихъ партіяхъ. Полемика эта вскорѣ приняла не только острый, но даже ожесточенный характеръ и послужила своего рода прелюдией къ той передвижкѣ общественнаго настроенія, которая произошла въ слѣдующемъ году подъ вліяніемъ событій, связанныхъ главнымъ образомъ съ польскимъ возстаніемъ.

Въ 1861 и 1862 гг. образованное русское общество относилось къ польскому движенію и къ полякамъ, стремившимся къ возсозданію своей національной самостоятельности, въ большинствѣ своемъ съ сочувствіемъ, и если въ концѣ 1861 г. нѣкоторые органы печати (вродѣ аксаковскаго „Дня“) становились въ оборонительное положеніе по отношенію къ несправедливымъ нападкамъ заграничныхъ польскихъ органовъ на русскую народность и къ притязаніямъ польскихъ патріотовъ на присоединеніе къ Польшѣ Литвы и Западной Руси, то и въ этой полемикѣ соблюдалась извѣстная корректность и сохранялось нѣкоторое сочувствіе къ положенію поляковъ. И Аксаковъ и Катковъ въ 1862 г. ничего не имѣли противъ возстановленія Польши въ границахъ Царства Польскаго 1815 г., при чемъ Аксаковъ даже считалъ наиболѣе достойнымъ исходомъ, съ точки зрѣнія русской народной чести, вывести войска и отозвать русскія власти изъ Царства Польскаго. Начавшееся въ январѣ 1863 г. открытое возстаніе поразило многихъ возмутительностью перваго своего акта, выразившагося въ избіеніи спящихъ солдатъ. Но главнымъ образомъ патріотическія чувства въ русскомъ народѣ и въ обществѣ были возбуждены послѣдовавшими вслѣдъ затѣмъ угрозами вооруженнымъ вмѣшательствомъ со стороны западно-европейскихъ державъ и въ особенности вызывающимъ поведеніемъ Наполеона III.

Патріотическое одушевленіе охватило тогда широкіе слои русскаго общества и выразилось въ рядѣ рѣзко и горячо составленныхъ

¹⁾ За попытку раскритиковать Шедо-Феротти и разоблачить участіе въ этомъ правительства Писаревъ и попалъ тогда въ крѣпость на 4 года.

адресовъ и другихъ демонстрацій. Это общественное настроеніе выручило правительство въ трудную минуту и дало ему возможность гордо и твердо отстранить грозившее Россіи иностранное вмѣшательство. Но оно же явилось началомъ коренной передвижки въ общественномъ мнѣніи страны, которое сильно повернулось направо. „Нигилисты“, революціонеры и въ особенности „Колоколъ“ Герцена въ глазахъ широкихъ общественныхъ круговъ были сильно скомпрометированы своими связями съ польскимъ движеніемъ. Герцена въ это время многіе изъ недавнихъ его почитателей стали трактовать какъ измѣнника своему отечеству, а Катковъ, явившійся главнымъ руководителемъ патріотическаго движенія, сдѣлался въ своемъ родѣ героемъ дня. Самъ онъ со страстью бросился теперь въ борьбу со всѣми дѣйствительными и предполагаемыми врагами русской государственности и въ этой борьбѣ безъ разбора наносилъ удары многому изъ того, чему самъ поклонялся и служилъ еще недавно.

Къ счастью, правительство не могло воспользоваться этими первыми проявленіями общественной реакціи и отказаться отъ задуманныхъ и предпринятыхъ имъ преобразованій, потому что эти преобразованія обуславливались для него необходимостью подъема экономической производительности страны и упорядоченія государственнаго хозяйства. Оно имѣло всѣ данныя опасаться, что отказъ отъ преобразованій неминуемо повлечетъ за собой окончательное паденіе нашего кредита за границей и вызоветъ государственное банкротство. Этимъ опасеніемъ, несомнѣнно, была внушена и та дипломатическая нота Горчакова, которую мы выше цитировали и которая стремилась убѣдить весь западный міръ именно въ томъ, что курсъ нашей внутренней политики, взятый съ начала царствованія, остается непоколебленнымъ. Реформы поэтому продолжались, но онѣ разрабатывались канцелярскимъ путемъ, безъ непосредственнаго участія общественныхъ элементовъ (хотя проекты и публиковались во всеобщее свѣдѣніе), и изъ-подъ нихъ было выкинуто теперь въ значительной мѣрѣ то демократическое основаніе, въ отстаиваніи котораго еще недавно сходились и тверское дворянство, и Аксаковъ, и Чернышевскій.

Вслѣдъ за финансовыми преобразованіями, выработанными главнымъ образомъ Татариновымъ, двинуты были въ ходъ: новый университетскій уставъ, судебная реформа, земское самоуправленіе и, наконецъ, проектъ новыхъ законовъ о печати, не говоря о цѣломъ рядѣ законодательныхъ вопросовъ, связанныхъ съ устройствомъ быта крестьянъ. Разрабатывались также податная реформа, городское положеніе и подготавлилась реорганизація арміи и воинской повинности на новыхъ началахъ; но осуществленіе этихъ послѣднихъ преобразованій оттянулось за предѣлы шестидесятихъ годовъ.

Финансовыя реформы 1862 г. внесли серьезныя улучшенія въ технику финансоваго управленія, устранили многія злоупотребленія и потому послужили отчасти основаніемъ къ упроченію

расшатаннаго государственнаго кредита, но всѣ онѣ, какъ и акцизная реформа, упразднившая откупа и всѣ связанныя съ ними злоупотребленія, являлись въ сущности все же лишь преобразованіями аппарата, при помощи котораго велось государственное хозяйство. Основныя черты самой системы государственнаго хозяйства остались неприкосновенными: составныя части бюджета остались въ сущности прежнія и растущая тяжесть казенныхъ податей и сборовъ попрежнему ложилась непосильнымъ бременемъ на плечи народной массы. Не говоря о косвенныхъ налогахъ, даже болѣе справедливое распредѣленіе прямыхъ податей отложено было *ad calendas graecas*, а выкупные платежи, далеко превышавшіе во многихъ мѣстахъ доходность отведенныхъ крестьянамъ угодій, какъ обнаружилось вскорѣ, въ корни подрывали производительныя силы страны.

Въ то же время, несмотря на крупныя улучшенія финансоваго аппарата, текущая финансовая политика велась не особенно искусно. Бюджеты заключались съ растущими изъ года въ годъ дефицитами, которые неизмѣнно погашались новыми выпусками неразмѣнныхъ бумажныхъ денегъ. Избытокъ ихъ на рынкѣ спутывалъ всѣ коммерческіе расчеты, вызывалъ цѣлый рядъ дутыхъ предпріятій, въ особенности банковыхъ, которые затѣмъ быстро банкротились и въ свою очередь вызывали банкротство другихъ промышленныхъ предпріятій. Постройка желѣзныхъ дорогъ, отданная въ началѣ царствованія въ руки иностранныхъ капиталистовъ, образовавшихъ „Главное общество“, велась съ такими злоупотребленіями и растратами акціонернаго капитала, что стоимость выстроенныхъ въ 1858—1862 гг. линій оказалась болѣе чѣмъ вдвое дороже нормальной. Это отпугнуло отъ участія въ сооруженіи русскихъ желѣзныхъ дорогъ всѣхъ болѣе солидныхъ иностранныхъ капиталистовъ и повело къ пріостановкѣ на нѣсколько лѣтъ самага дѣла, несмотря на всеобщее убѣжденіе въ шестидесятихъ годахъ въ необходимости скорѣйшей постройки дорогъ для оживленія нашей промышленности.

Проектъ новаго университетскаго устава, выработанный особой комиссіей, былъ широко разосланъ министромъ народнаго просвѣщенія Головиннымъ на заключеніе разнымъ свѣдущимъ лицамъ не только въ Россіи, но и за границей. По этому проекту университетскимъ совѣтамъ давалось нѣкоторое самоуправленіе, хотя власть попечителя была сохранена. Предполагалось совѣтамъ предоставить право легализовать и тѣ формы проявленія студенческой корпораціи, какія сами совѣты признавали бы допустимыми; но при послѣдующемъ разсмотрѣніи головнинскаго проекта въ особомъ комитетѣ подъ предсѣдательствомъ гр. Строгонова это предположеніе было забраковано. Въ концѣ-концовъ уставъ, утвержденный 18 іюня 1863 г., хотя и возстановилъ до нѣкоторой степени автономію профессорской коллегіи, уничтоженную въ 1835 г., но зато онъ сильно стѣснилъ пріемъ въ университеты постороннихъ слушателей, который широко практиковался въ первые годы царство-

ванія Александра II и къ которому успѣла уже привыкнуть чрезвычайно сочувственно относившаяся къ этому публика.

Юристы, вырабатывавшіе новые судебные уставы — основныя положенія которыхъ были опубликованы въ 1862 г., — положили въ основу ихъ принципы полной независимости судебныхъ учреждений отъ администраціи, что гарантировалось главнымъ образомъ несмѣняемостью судей и устраненіемъ права министерства награждать ихъ чинами и орденами. По всѣмъ уголовнымъ дѣламъ, кромѣ мелкихъ полицейскихъ проступковъ и правонарушеній, предположенъ былъ судъ присяжныхъ; вводилось въ уголовный процессъ состязательное начало и учреждалось особое сословіе присяжной адвокатуры. Однако же и здѣсь первоначальные проекты были значительно урѣзаны. Система служебныхъ поощреній не была уничтожена, хотя принципъ независимости и несмѣняемости судей и былъ принятъ. Но особенно существеннымъ отступленіемъ отъ общихъ принциповъ было устраненіе суда присяжныхъ отъ сужденія по дѣламъ о государственныхъ преступленіяхъ и нарушеніяхъ законовъ о печати.

Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ вырабатывалось въ особой чисто бюрократической комиссіи, образованной еще въ 1859 г. Лишь нѣкоторые вопросы, связанные съ этимъ положеніемъ, были предложены на обсужденіе дворянскихъ собраній сессіи 1861—1862 гг. Въ самой комиссіи боролись два направленія. Представителемъ одного изъ нихъ былъ первый ея предсѣдатель Н. А. Милютинъ, представителемъ другого сдѣлался П. А. Валуевъ, лично предсѣдательствовавшій въ комиссіи со времени своего назначенія министромъ внутреннихъ дѣлъ. Милютинъ въ основу работъ комиссіи положилъ сознаніе необходимости дать новымъ учрежденіямъ больше довѣрія, больше единства и больше самостоятельности. Въ то же время онъ полагалъ, что по составу своему земскія учрежденія должны быть всесословны, при чемъ каждое сословіе должно быть представлено въ нихъ равномерно. Валуевъ стремился ограничить самостоятельность земства и особенно желалъ дать въ земскихъ собраніяхъ преобладаніе дворянству. Однако, ухищренія Валуева не имѣли успѣха въ Государственномъ Совѣтѣ, гдѣ компетенція земскихъ учреждений была расширена между прочимъ предоставленіемъ имъ нѣкотораго участія въ завѣдываніи школами, и распредѣленіе гласныхъ между землевладѣльцами и сельскими обществами уравнено соотвѣтственно землевладѣнію тѣхъ и другихъ. Тѣмъ не менѣе къ положенію о земскихъ учрежденіяхъ, опубликованному 1 января 1864 г., многіе отнеслись скептически. И. С. Аксаковъ, удовлетворенный вполне основными положеніями судебной реформы, отказывался видѣть въ земскомъ положеніи дарованіе обществу самоуправленія, а видѣлъ въ немъ лишь порученіе выборнымъ представителямъ общества извѣстныхъ правительственныхъ функцій подъ контролемъ правительственныхъ властей. Совер-

шенно иначе смотрѣлъ на земскія учрежденія Кавелинъ. „Отъ успѣха земскихъ учреждений,—писалъ онъ въ одномъ частномъ письмѣ 1865 г.,—зависитъ вся наша ближайшая будущность и отъ того, какъ они пойдутъ, будетъ зависѣть, готовы ли мы къ конституціи. Пора бросить глупости и начать дѣло дѣлать, а дѣло теперь въ земскихъ учрежденіяхъ и нигдѣ больше“.

Въ земскую созидательную работу уходятъ въ это время и тѣ демократически настроенные дворяне, которые въ 1862 г. заявляли радикальныя политическія требованія и которыхъ въ послѣдствіи Михайловскій удачно окрестилъ „кающимися дворянами“. Главнымъ гнѣздомъ этого типа земскихъ дѣятелей является Тверская губернія и въ особенности новоторжскій уѣздъ; но отдѣльные представители этого типа попадаютъ и въ другихъ мѣстахъ.

Другая вѣтвь дворянской оппозиціи, съ олигархическими стремленіями, также бросается въ земскую дѣятельность, но и здѣсь она стремится прежде всего организовать вновь дворянско-конституціонное движеніе, которое вскорѣ находитъ себѣ выраженіе въ извѣстномъ адресѣ московскаго дворянскаго собранія 1865 г. Въ адресѣ этомъ государь приглашался довершить реформы „созваніемъ общаго собранія выборныхъ людей отъ земли русской для обсужденія нуждъ, общихъ всему государству“. Но при этомъ въ качествѣ этихъ народныхъ представителей московскому дворянству—въ противоположность заявленіямъ тверскаго дворянства 1862 г.—представлялись главнымъ образомъ люди, выбранные дворянствомъ изъ своей среды.

Въ началѣ 1863 года, когда правительству было еще совершенно неясно, чѣмъ кончится польское возстаніе и можно-ли будетъ удержатъ отъ присоединенія къ нему западныя литовскія бѣлорусскія и малорусскія губерніи, Валуевъ, бывший тогда министромъ внутреннихъ дѣлъ, самъ представилъ императору Александру II записку, въ которой предлагалъ учредить центральное представительство земскихъ государственныхъ гласныхъ съ совѣщательнымъ участіемъ въ законодательствѣ при реформированномъ Государственномъ Совѣтѣ. Валуевъ въ то время указывалъ на это, какъ на подходящее средство подогрѣть лояльныя и патріотическія чувства русскаго общества, давъ ему въ развитіи государственныхъ учреждений „шагъ впередъ“ передъ крамольною Польшею. Но такъ какъ возстаніе было подавлено прежде, чѣмъ этотъ проектъ успѣлъ сдѣлаться извѣстнымъ обществу, то онъ и былъ положенъ подъ сукно и забытъ до послѣднихъ лѣтъ царствованія. Въ 1865 г. императоръ Александръ былъ далекъ отъ предположеній этого рода. Адресъ московскаго дворянства не былъ имъ принятъ и въ предупрежденіе подобныхъ ходатайствъ со стороны дворянства другихъ губерній былъ данъ рескриптъ на имя Валуева, въ которомъ указывалось, что совершившіяся преобразованія достаточно свидѣтельствуютъ о постоянной заботливости государя улучшать и совершенствовать въ имъ самимъ въ предопредѣленномъ порядкѣ разныя отрасли государственнаго

устройства; что „право вчинанія“ въ этомъ отношеніи принадлежитъ исключительно ему и „неразрывно сопряжено съ самодержавной властью“; что прошедшее въ глазахъ вѣрноподданныхъ должно быть залогомъ будущаго, но что никому изъ нихъ не предоставлено предупреждать попеченія Государя о благѣ Россіи; что никто не призванъ принимать на себя ходатайства объ общихъ пользахъ и нуждахъ всего государства и что подобныя „уклоненія отъ установленнаго порядка“ могутъ только затруднить исполненіе его предначертаній.

Этотъ рескриптъ не помѣшалъ, впрочемъ, петербургскому земству въ первой же его сессіи (1865 г.) вновь выдвинуть вопросъ о необходимости расширенія дарованныхъ земству правъ и о созывѣ центральнаго земскаго собранія для обсужденія хозяйственныхъ пользъ и нуждъ, общихъ всему государству. Инициаторами этого заявленія явились также дворяне-конституціоналисты съ аристократическими тенденціями (царскосельскій предводитель Платоновъ, гр. Андрей Шуваловъ и др.).

Дворяне-конституціоналисты этого типа раздѣлялись въ это время на двѣ части—болѣе умѣренныхъ, группировавшихся вокругъ Каткова, органы котораго „Русскій Вѣстникъ“ и „Московскія Вѣдомости“ (съ 1863 г.) сдѣлались выразителями этихъ дворянскихъ тенденцій,—и болѣе радикально настроенныхъ въ своихъ олигархическихъ стремленіяхъ, группировавшихся около скарятинской „Вѣсти“, органа, соединявшаго въ себѣ конституціонныя стремленія съ открытыми крѣпостническими тенденціями. Какъ тѣ, такъ и другіе съ самаго открытія земскихъ учрежденій вели борьбу противъ демократическихъ чертъ всесословнаго земства и неоднократно поднимали вопросъ и въ земскихъ собраніяхъ и на страницахъ „Московскихъ Вѣдомостей“ и „Вѣсти“ объ измѣненіи избирательной системы, установленной положеніемъ 1 января 1864 г., въ сторону ея аристократизаціи.

Радикальные круги общества—революціонеры и такъ называемые „нигилисты“—были послѣ репрессій 1862 г. и въ особенности послѣ подавленія польскаго возстанія совершенно разгромлены. Всѣ почти выдающіеся писатели публицисты, бывшіе властителями думъ молодого поколѣнія въ началѣ 60-хъ годовъ, сидѣли теперь по тюрьмамъ или были въ ссылкѣ; нѣкоторые бѣжали за границу. Въ университетахъ чистка была произведена такая, что, когда въ 1863 г. петербургскій университетъ былъ, наконецъ, открытъ послѣ полуторогодового закрытія, въ него не былъ допущенъ ни одинъ изъ студентовъ, замѣшанныхъ въ безпорядкахъ 1861 года или въ какихъ-либо политическихъ исторіяхъ.

Когда „Современникъ“, и „Русское Слово“ стали вновь выходить съ начала 1863 года, то непосредственное участіе въ редактированіи этихъ журналовъ уже не могли принимать ни Чернышевскій (сидѣвшій въ ожиданіи приговора въ Петропавловской крѣпости), ни Пи-

саревъ (просидѣвшій въ крѣпости цѣлыхъ 4 года). Въ „Современникѣ“, правда, печатался въ этомъ году знаменитый романъ Чернышевскаго „Что дѣлать?“, но завѣдывали журналомъ другія лица: Пыпинъ, Антоновичъ, Жуковский. Салтыковъ, бывшій однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ „Современника“ въ эти годы, совершенно не раздѣлялъ идей, проповѣдывавшихся въ романѣ „Что дѣлать?“. Наоборотъ, защитниками и поклонниками этихъ идей явились Писаревъ и другіе писатели „Русскаго Слова“, которыхъ Салтыковъ презрительно обзывалъ „вислоухими“, а Антоновичъ угощалъ статьями еще болѣе бранными. Сотрудники „Русскаго Слова“ и издатель его Благосвѣтловъ болѣею частью не оставались въ долгу, и мало-по-малу взаимная братоубійственная полемика въ этихъ передовыхъ органахъ русской мысли стала занимать чуть ли не больше мѣста, чѣмъ борьба съ проявленіями и дѣятелями реакціи.

Положеніе печати было нелегкое. Цензурою въ это время завѣдывали сразу два вѣдомства: предварительною цензурою завѣдывало министерство народнаго просвѣщенія, а общее наблюденіе за направленіемъ печати и инициатива карательныхъ мѣръ переданы были въ руки министра внутреннихъ дѣлъ Валуева, который неустанно обращался къ министру народнаго просвѣщенія Головнину съ указаніями на неблагонадежность того или иного органа печати и на попустительство цензоровъ.

При выработкѣ новаго закона о печати сказались оба эти вліянія: болѣе умѣренное—Головнина, и болѣе репрессивное и въ то же время іезуитское—валуевское. Полное освобожденіе отъ предварительной цензуры было признано невозможнымъ; оно давалось лишь столичнымъ органамъ повременной печати и книгамъ извѣстнаго объема. Но и съ освобожденіемъ отъ предварительной цензуры столичные газеты и журналы оставались подъ постояннымъ Дамокловымъ мечомъ произвольныхъ административныхъ каръ и взысканій, въ видѣ предостереженій и пріостановокъ (до 6 мѣсяцевъ), не говоря о судебныхъ скорпіонахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшеніе новыхъ повременныхъ изданій ставилось въ полную зависимость отъ произвола министра внутреннихъ дѣлъ. Таковы были основныя черты новаго закона о печати, изданнаго 6 апрѣля 1865 года.

Съ 1864 года—отчасти подъ вліяніемъ романа „Что дѣлать?“—среди молодежи начинаютъ мало-по-малу возникать кружки, мастерскія и артели на особыхъ началахъ. Но всѣ такія попытки были, въ сущности, довольно поверхностны: онѣ имѣли характеръ моды и не возбуждали въ молодежи настоящаго энтузіазма. Небольшія волненія, поднявшіяся было въ 1864 г. въ медико-хирургической академіи и какъ будто грозившія переброситься и въ университетъ, были однако же безъ труда потушены и не отозвались ничѣмъ въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Среди полнаго политическаго затишья раздался 4 апрѣля 1866 года выстрѣлъ Каракозова. Это покушеніе для всѣхъ было до того

неожиданно, что въ первую минуту оно было приписано не „нигилистамъ“, а полякамъ. Это было первое покушеніе на жизнь императора Александра II. Оно вызвало всеобщій переполохъ. Всѣ наперерывъ стремились засвидѣтельствовать свои вѣрноподданныческія чувства. Некрасовъ унизился то того, что на одномъ банкетѣ поддакивалъ Муравьеву, когда тотъ говорилъ, что надо вырвать зло съ корнемъ и что во всемъ виновата литература; онъ пошелъ еще дальше и написалъ въ это время два фальшивыхъ стихотворенія—одно въ честь Муравьева, другое въ честь Комиссарова, гдѣ послѣдній былъ выставленъ народнымъ героемъ. Некрасовъ думалъ путемъ этихъ заискиваній спасти среди ожидавшихся всеобщихъ репрессій свой „Современникъ“; но это ему не удалось, и „Современникъ“ былъ закрытъ 28 мая 1866 г. по высочайшему повелѣнію навсегда вмѣстѣ съ „Русскимъ Словомъ“, которое было еще до того временно приостановлено.

Герценъ, пораженный извѣстіемъ о покушеніи на жизнь Александра II, писалъ въ „Колоколъ“ (отъ 1-го мая 1866 г.): „Мы поражены при мысли объ отвѣтственности, которую взялъ на себя этотъ фанатикъ“...

Въ Петербургѣ началась ужасная травля. Хватали и обыскивали кого попало. Такъ какъ большая часть наиболѣе видныхъ руководителей радикальной печати была уже въ ссылкѣ, то теперь хватали второстепенныхъ. Нѣкоторые литераторы, какъ Зайцевъ и Курочкинъ, отсидѣли ни за что, ни про что по нѣсколькимъ мѣсяцамъ въ одиночномъ заключеніи. Несмотря, однако же, на безцеремонность сыска и на чрезвычайныя мѣры, принятыя Муравьевымъ, которому было поручено разслѣдованіе по поводу этого событія, несмотря на широкую помощь публики, въ концѣ-концовъ выяснено было лишь существованіе въ Москвѣ ничтожнаго кружка революціонеровъ, состоявшаго изъ очень молодыхъ людей, только собиравшихся организовать соціально-революціонную пропаганду въ разныхъ мѣстахъ Россіи.

Но незначительность открытой Муравьевымъ революціонной организаціи не помѣшала на этотъ разъ укорененію тупой и упорной реакціи, которая началась на другой же день послѣ покушенія Каракозова и продолжалась непрерывно до послѣднихъ лѣтъ царствованія Александра II.

На самого императора Александра этотъ выстрѣлъ произвелъ неизгладимое впечатлѣніе, и враги преобразованій поспѣшили этимъ воспользоваться. Уже черезъ нѣсколько дней послѣ покушенія одинъ изъ упорнѣйшихъ реакціонеровъ гр. Д. А. Толстой, бывшій съ 1864 г. оберъ-прокуроромъ Синода, напалъ на Головнина въ комитетѣ министровъ въ присутствіи государя. Головнинъ принужденъ былъ уступить свое мѣсто Толстому. Уволены были одновременно: петербургскій генералъ-губернаторъ кн. Суворовъ и шефъ жандармовъ Долгоруковъ, признанный устарѣлымъ. На мѣсто Долгорукова на-

значенъ былъ болѣ молодой и болѣ ловкій представитель придворной аристократической партіи гр. П. А. Шуваловъ.

Рѣше всего реакція сказала въ направленіи дѣлъ въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Хотя уставъ 1863 г. и не былъ отмѣненъ, но, въ видахъ обузданія студентовъ, 26 мая 1867 г. изданы были особыя правила, отдававшія молодежь подъ двойной надзоръ университетскаго начальства и полиціи. У Толстого была въ запасѣ полная система обскурантно-реакціонныхъ мѣръ, долженствовавшая перестроить соотвѣтственнымъ образомъ весь строй высшаго, средняго и низшаго образованія въ Россіи, и осуществленіе этой системы сдѣлалось однимъ изъ важнѣйшихъ реакціонныхъ предпріятій послѣдующаго періода русской жизни.

Вновь назначенный шефъ жандармовъ Шуваловъ вмѣстѣ съ Валуевымъ и присоединившимся къ нимъ Зеленымъ (министромъ государственныхъ имуществъ) подали вскорѣ послѣ 4 апрѣля 1866 года особую записку о необходимости усиленія губернаторской власти въ видахъ обузданія броженія, будто бы развивавшагося въ это время въ провинціи. И хотя противъ этой записки, совершенно противорѣчившей всѣмъ только что проведеннымъ преобразованіямъ, представили вѣскія возраженія въ комитетѣ министровъ министры юстиціи и финансовъ (Замятинъ и Рейтернъ), но самъ императоръ положилъ на ней, по настоянію Шувалова, резолюцію, въ которой указалъ, что всѣ свѣдѣнія, доходящія до него изъ внутреннихъ губерній (конечно, черезъ того же Шувалова и Валуева), „подтверждаютъ необходимость принятія неотложно предполагаемыхъ мѣръ“. И хотя мѣры эти имѣли безусловно законодательный характеръ, ихъ рѣшено было принять въ административномъ порядкѣ.

Въ связи съ этимъ министру юстиціи было приказано предложить особымъ циркуляромъ чинамъ судебнаго вѣдомства являться къ губернаторамъ по ихъ требованіямъ и вообще оказывать имъ должное уваженіе, какъ представителямъ высшей власти въ губерніяхъ. Даже Катковъ выразилъ тогда сомнѣніе въ законности этого распоряженія, очевидно въ корнѣ подрывавшаго принципъ независимости судебнаго персонала отъ администраціи. Министръ внутреннихъ дѣлъ Валуевъ въ союзѣ со скорятинской „Вѣстью“ дѣлалъ въ это время отчаянныя попытки совершенно поколебать принципъ независимости судей, и хотя на этомъ пути онъ встрѣтилъ довольно стойкое сопротивленіе со стороны новыхъ судебныхъ учреждений, однако же, министерству юстиціи пришлось при помощи довольно элементарной уловки сильно ограничить этотъ принципъ по отношенію къ судебнымъ слѣдователямъ, вмѣсто которыхъ оно стало назначать „исправляющихъ должность слѣдователей“, которые несмѣняемостью уже не пользовались.

Земству, едва начавшему свою дѣятельность, пришлось также очень скоро испытать на себѣ всю силу упрочившейся реакціи. 21 ноября 1866 года вышелъ первый законъ, стѣснявшій земскія учре-

жденія въ правѣ обложенія торгово-промышленныхъ предпріятій. Такъ какъ капиталы, переданные земству при самомъ его возникновеніи, были ничтожны, а земля, въ особенности крестьянская, и безъ того была обременена налогами свѣше мѣры, то законъ этотъ ставилъ земства въ очень трудное положеніе. Когда же петербургское губернское земство рѣшилось (въ январѣ 1867 г.) протестовать противъ этого закона и противъ вообще невнимательнаго и враждебнаго отношенія къ нуждамъ и заявленіямъ земскихъ учреждений со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ, то оно было тотчасъ закрыто и управленіе земскимъ хозяйствомъ Петербургской губерніи передано было въ руки администраціи, а наиболѣе вліятельные земскіе дѣятели—предсѣдатель губернской управы Н. Ф. Крузе и гласный гр. Андрей Шуваловъ—были высланы, какъ зачинщики противоправительственной агитаціи—первый въ Оренбургъ, а второй за границу. Вскорѣ новыя распоряженія правительства, стѣснившія оглашеніе постановленій земскихъ собраній въ печати и давшія дискреціонныя права предсѣдательствовавшимъ по закону въ земскихъ собраніяхъ предводителямъ дворянства, еще болѣе стѣснили и парализовали дѣятельность земства. Къ многочисленнымъ заявленіямъ и ходатайствамъ земскихъ собраній министерство внутреннихъ дѣлъ усвоило себѣ въ это время систематически враждебное и огульно отрицательное отношеніе. Такое отношеніе было возведено въ принципъ и выражено съ циничной откровенностью въ запискѣ, представленной въ министерство въ 1867 г. псковскимъ губернаторомъ Обуховымъ. Записка эта была тотчасъ разослана Валуевымъ прочимъ губернаторамъ, какъ образецъ. Она была тогда же опубликована въ Берлинѣ съ ѣдкими примѣчаніями Ю. Ф. Самарина и съ рѣзкой отвѣдью на нее кн. А. И. Васильчикова.

На общество всѣ эти мѣры производили гнетущее впечатлѣніе. „Самые опасные внутренніе враги наши, — записываетъ въ своемъ дневникѣ умѣренный прогрессистъ Никитенко, — не поляки и не нигилисты, а тѣ государственные люди, которые дѣлаютъ нигилистовъ: это закрыватели земскихъ учреждений и подкапыватели судовъ“. Не говоря объ умѣренно-либеральныхъ газетахъ того времени, какъ „Голосъ“ Краевского или „Петербургскія Вѣдомости“ Корша, даже Катковъ, сдѣлавшійся вполнѣ консерваторомъ, отмѣчалъ въ это время (въ 1868 г.) въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ „неблагопріятное для земскихъ учреждений направленіе правительственныхъ мѣръ“, которое подѣйствовало на нихъ „мертвящимъ образомъ“.

Какъ уже было отмѣчено выше, большая часть писателей, вышедшихъ свой голосъ въ началѣ 60-хъ годовъ и пользовавшихся особенной любовью общества, находились въ это время кто въ каторжныхъ работахъ (Чернышевскій, Михайловъ, Обручевъ, Серно-Соловьевичъ), кто въ административной ссылкѣ (Лавровъ, Щаповъ, Шелгуновъ, Флеровскій и др.), кто въ крѣпости (Писаревъ), кто эмигрировалъ за границу. „Сплоченныхъ литературныхъ кружковъ, къ

которымъ могли бы пристать начинающіе писатели,—вспоминалъ вполнѣ въспоминаніи объ этомъ времени Глѣбъ Успенскій,—ничего тогда налицо не было. Все удручало насъ и дѣлало одинокими. А между тѣмъ общество, вступавшее въ совершенно новый періодъ жизни, требовало отъ литературы— и имѣло на это право—многосложной и внимательной работы“.

Такая работа началась въ новомъ періодѣ русской жизни—въ семидесятыхъ годахъ. Въ концѣ же шестидесятыхъ и въ литературѣ и въ обществѣ царили полный разбродъ и растерянность.

Среди этой всеобщей растерянности и подъ покровомъ безгласности и возродившагося административнаго произвола получаютъ полный ходъ самыя низкія и грязныя злоупотребленія. Въ это время, послѣ нѣкотораго застоя, обусловленнаго торгово-промышленнымъ кризисомъ конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, вновь разгорается до невѣроятной степени желѣзнодорожное грюндерство, въ которомъ принимаютъ участіе даже нѣкоторыя земства, биржевыя спекуляціи и ажіотажъ, при содѣйствіи раздаваемыхъ правительствомъ концессій и гарантій.

Такъ горестно кончилась „эпоха великихъ реформъ“, и хотя въ 1866 году еще не всѣ предпріятыя преобразованія были осуществлены, хотя нѣкоторыя изъ нихъ осуществились лишь въ семидесятые годы, однако же, уже въ 1866 году начинается реакціонная передѣлка только что совершонныхъ преобразованій. Эта передѣлка продолжалась многіе годы и дала содержаніе законодательной дѣятельности нѣсколькихъ десятилѣтій. Сложная работа и броженіе, начавшіяся въ это время въ средѣ самого общества, составляютъ содержаніе исторіи общества и общественнаго движенія слѣдующаго періода.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Общественныя и умственныя теченія 60-хъ годовъ и ихъ отраженіе въ литературѣ.

Р. В. Иванова-Разумника.

Шестидесятые годы вносятъ въ русскую литературу, въ общественную и умственную жизнь русскаго общества совершенно особую, новую струю. Выступаетъ на сцену новая сила и рѣзко мѣняетъ соотношеніе силъ сороковыхъ-пятидесятихъ годовъ: западничество и славянофильство быстро заслоняются новымъ теченіемъ, растущимъ, что называется, не по днямъ, а по часамъ. Вѣчная распря отцовъ и дѣтей становится въ эту эпоху особенно острой, особенно рѣзкой; и всѣ чувствуютъ, хотя и не всегда ясно понимаютъ, что случилось что-то новое, важное, опредѣляющее собою дальнѣйшее общественное и умственное развитіе на цѣлыя десятилѣтія.

Что же случилось? Классическій отвѣтъ на это былъ данъ уже въ началѣ слѣдующаго десятилѣтія. „Что случилось? — Разночинецъ пришелъ. Больше ничего не случилось. Однако, это событіе, какъ бы кто о немъ ни судилъ, какъ бы кто ему сочувствовалъ или не сочувствовалъ, есть событіе высокой важности, составившее эпоху въ русской литературѣ; и первостепенную важность этого событія должны признать рѣшительно всѣ стороны. Пусть одни утверждаютъ, что отсюда идетъ паденіе русской литературы, пусть другіе говорятъ, что съ этихъ именно поръ она стала достойна своего имени,—одно вѣрно: явилось нѣчто, значительно измѣнившее характеръ литературы и имѣющее будущность, предѣлы которой трудно даже предвидѣть“... (Михайловскій, „Отечественныя Записки“, 1874 г., кн. III).

Вотъ обобщающій фактъ, подъ угломъ зрѣнія котораго необходимо разсматривать общественныя и умственныя теченія шестидесятыхъ годовъ и послѣдующихъ десятилѣтій. Появленіе на исторической сценѣ „разночинца“ и его борьба за идейную гегемонію, быстрая побѣда и не менѣе стремительный идейный крахъ—вотъ вся виѣшняя сторона общественнаго развитія русской интеллигенціи шестиде-

сятыхъ годовъ. Наша задача—вскрыть то содержаніе, которое проявлялось въ этихъ ви́шнихъ формахъ.

Шестидесятые годы рѣзко раздѣляются на двѣ половины. Первая—пятилѣтіе съ 1856 по 1861 годъ. Это періодъ головокружительнаго подъема, гигантскаго роста, быстрого общественнаго развитія; въ то же время это эпоха общественнаго „довѣрія“ къ начинаніямъ правительства—правда, довѣрія быстро уменьшающагося съ конца 1858 г., но все же позволяющаго правительству провести дѣло освобожденія крестьянъ. 1861-й годъ—гребень волны, высшая точка, достигнутая и интеллигенціей и бюрократіей; 19-е февраля дало народу то освобожденіе, за которое уже сто лѣтъ боролись лучшіе представители русскаго общества. Въ это же время достигаетъ апогея силы и вліянія сперва дѣятельность геніальнаго Герцена, затѣмъ „великаго русскаго ученаго“ Чернышевскаго и его младшаго товарища, Добролюбова; въ дѣятельности двухъ послѣднихъ соединено все наиболѣе цѣнное, что далъ шестидесятымъ годамъ „разночинецъ“. Затѣмъ наступаетъ переломъ и начинается вторая половина шестидесятыхъ годовъ, пятилѣтіе 1861—1866 г. Правительство еще продолжаетъ проводить задуманныя раньше реформы (судебные уставы, земскія учрежденія), но въ то же время широко развиваетъ репрессивную дѣятельность. Начинаются кровавыя и безсмысленно жестокія усмиренія крестьянскихъ движеній; послѣ пресловутыхъ петербургскихъ пожаровъ лѣтомъ 1862 года (повидимому, происшедшихъ не безъ участія крайнихъ реакціонеровъ) начинается дикое преслѣдованіе интеллигенціи, красочно описанное позднѣе Салтыковымъ въ его „Господахъ ташкентцахъ“. Польское возстаніе приводитъ къ санкціонированной свыше дѣятельности Муравьева-вѣшателя; наконецъ, покушеніе Каракозова (4 апр. 1866 г.) служитъ началомъ „бѣлаго террора“, заканчивающаго собою „эпоху великихъ реформъ“ и возвращающаго насъ чуть ли не къ николаевскимъ временамъ. И параллельно съ этимъ такое же паденіе происходитъ и въ области общественной мысли второй половины шестидесятыхъ годовъ. Послѣ появленія прокламацій 1861 года, послѣ ссылки Михайлова, послѣ смерти Добролюбова, послѣ вопіющаго „процесса“ Чернышевскаго и осужденія его на каторжныя работы, послѣ, наконецъ, паденія „Колокола“ и потери Герценомъ вліянія въ широкихъ кругахъ общества—русская мысль попробовала вступить на иной путь и попытаться вести общественную борьбу путемъ созданія широкихъ кадровъ интеллигенціи, „мыслящихъ реалистовъ“. Такова была проповѣдь Писарева въ лучшіе годы его дѣятельности, 1862—1866 гг.; но одновременно съ этой проповѣдью шло и доведеніе ея до абсурда въ „писаревщинѣ“, въ крайнихъ формахъ „нигилизма“. Цѣнные элементы этого теченія были сохранены и переработаны въ послѣдующемъ развитіи русской мысли; къ концу же шестидесятыхъ годовъ получили перевѣсъ его отрицательныя стороны, такъ что и съ этой стороны шестидесятые годы въ своей второй половинѣ были ознаменованы паденіемъ великой

волны общественнаго и умственнаго теченія. Мы увидимъ, что вся эта общая схема подтверждается всѣми частными фактами, къ обзорѣнію которыхъ мы и обратимся.

Прошло не болѣе года со дня смерти Николая I, а уже въ общихъ чертахъ опредѣлилось взаимное отношеніе общественныхъ группъ, дѣйствовавшихъ въ первую половину шестидесятыхъ годовъ. Правда, въ первое время еще не было рѣзкой дифференціаціи: послѣ паденія николаевскаго режима всякое „либеральное“ слово казалось словомъ единомышленника. Западникъ Кавелинъ, англоманъ Катковъ, государственникъ и консерваторъ европейскаго типа Чичеринъ, манчестерецъ Вернадскій, радикаль-соціалистъ Герценъ, славянофилы Кошелевъ, Самаринъ, Аксаковы, демократъ-соціалистъ Чернышевскій—всѣ они въ это первое время общественнаго пробужденія старались находить другъ у друга точки соприкосновенія, а не линіи расхожденія. И самъ Чернышевскій, столь безпощадно нетерпимый впоследствии къ чужому мнѣнію, старается въ это время сгладить противорѣчія, найти общую почву съ человѣкомъ другого направленія. „Русскому Вѣстнику“ Каткова Чернышевскій желаетъ успѣха и вѣритъ, что „успѣхъ его будетъ оправданъ и упроченъ его благороднымъ направленіемъ и литературными достоинствами“ („Современникъ“, 1856 г., № 2); повидимому, говоритъ Чернышевскій, „Русскій Вѣстникъ“ будетъ органомъ художественной критики (которой не могъ сочувствовать авторъ „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности“), но несмотря на это, по мнѣнію Чернышевскаго, „литература наша можетъ отъ этого только выиграть, ибо каждое опредѣленное, твердое, вѣрное себѣ направленіе имѣетъ цѣну уже потому, что въ основаніи его лежитъ убѣжденіе“ („Совр.“, 1856 г., № 4). Еще ярче высказываетъ Чернышевскій подобное же мнѣніе, привѣтствуя славянофильскую „Русскую Бесѣду“, неизбѣжность „жаркихъ преній“ съ которой онъ предвидитъ. „И однако же мы отъ искренняго сердца повторяемъ свое привѣтствіе „Русской Бесѣдѣ“..., потому что считаемъ ея существованіе въ высокой степени полезнымъ для нашей литературы вообще и въ частности для тѣхъ началъ, противъ которыхъ возстаетъ она, которыя для насъ дороже всего, которыя мы защищали и всегда будемъ защищать“... („Совр.“, 1856 г., № 6). Это характерно для самаго начала шестидесятыхъ годовъ: миролюбіе прирожденнаго трибуна и безпощаднаго полемиста Чернышевскаго доходило до того, что погодинскій „Москвитянинъ“ онъ признаетъ „небезполезнымъ журналомъ“, и готовъ найти смягчающія обстоятельства для автора пасквильной статьи противъ покойнаго Грановскаго—В. Григорьева, котораго даже умѣрениѣйшій Кавелинъ заклеилъ произведшимъ въ то время большой эффектъ „физиологическимъ очеркомъ“ „Слуга“ („Русск. Вѣстн.“, 1857 г., № 5).

Но дифференціація была неизбѣжна не потому, что въ литературѣ есть и не могутъ не быть такіе В. Григорьевы; слишкомъ раз-

лично были возрѣнія на центральные вопросы русской жизни, на необходимыя реформы, на способы и предѣлы ихъ осуществленія. Въ двухъ направленіяхъ работала общественная мысль шестидесятихъ годовъ—въ области соціальной и политической; съ одной стороны, подготавливался громаднѣйшій сдвигъ въ области земельныхъ отношеній, а съ другой—выяснялась неизбежность тѣхъ или иныхъ политическихъ „гарантій“, которыя позволяли бы вести „легальную“ борьбу за соціальныя условія. Община или частное землевладѣніе?—вотъ центральный вопросъ, вокругъ котораго разгорѣлась борьба въ первую половину шестидесятихъ годовъ,—борьба, продолжавшаяся съ тѣхъ поръ вплоть до начала XX вѣка.

Въ этомъ центральномъ вопросѣ шестидесятихъ годовъ партіи раздѣлились самымъ разнообразнымъ образомъ. Западникъ и либераль Кавелинъ талантливо защищалъ общину, западникъ и либераль Вернадскій неудачно, но ожесточенно на нее нападалъ; славянофилы стояли, конечно, за общинное владѣніе, и съ ними былъ вполне солидаренъ Чернышевскій, занявшій первое мѣсто въ ряду сторонниковъ общины. Его талантливые и грубовато-ѣдкіе выпады противъ западниковъ-манчестерцевъ, его многочисленныя статьи въ пользу общиннаго землевладѣнія составляютъ во многихъ отношеніяхъ тотъ центръ, въ которомъ пересѣкаются самые различные пути общественной мысли первой половины шестидесятихъ годовъ. Кромѣ того, и сама эволюція взглядовъ Чернышевскаго на общину въ связи съ отношеніемъ къ правительственной политикѣ крайне характерна для этой эпохи подъема общественной волны; постепенное крушеніе вѣры русскаго общества въ реформы свыше и обусловленный этимъ постепенный переходъ его съ либеральнаго пути на путь революціонный—все это съ наибольшей ясностью выразилось въ Чернышевскомъ, въ эволюціи его взглядовъ. Поэтому, прослѣдивъ за этой эволюціей въ періодъ 1856—1861 гг., мы тѣмъ самымъ нагляднѣе всего выяснимъ направленіе основного общественнаго теченія этой эпохи.

Уже въ статьяхъ 1856—1857 годовъ („Замѣтки о журналахъ“, „О поземельной собственности“ и др.) Чернышевскій началъ, съ одной стороны, борьбу противъ либераловъ-манчестерцевъ, а съ другой—выясненіе возможности и необходимости сохраненія общиннаго землевладѣнія при грядущемъ освобожденіи крестьянъ. При этомъ—полное довѣріе къ правительственнымъ начинаніямъ и полная увѣренность, что правительство прислушивается къ голосу общественнаго мнѣнія и будетъ съ нимъ считаться при практическомъ осуществленіи реформы. Послѣ появленія знаменитыхъ рескриптовъ отъ 20 ноября, 5 и 24 декабря 1857 г. Чернышевскій пишетъ статью „О новыхъ условіяхъ сельскаго быта“ („Современникъ“, 1858 г., № 2), начиная ее восторженнымъ панегирикомъ Александру II; эпиграфомъ къ статьѣ Чернышевскій беретъ слова псалтири: „возлюбилъ еси правду и возненавидѣлъ еси беззаконіе, сего ради помаза тя Богъ твой“... Но какъ разъ за эту статью Чернышевскаго и послѣдовала

первая цензурная кара *)—первый ушатъ холодной воды на голову Чернышевскаго: такъ прислушивалось правительство къ голосу общественнаго мнѣнія. Чернышевскій пытался еще нѣкоторое время сохранить довѣріе къ широтѣ реформаціонныхъ начинаній правительства; уже три-четыре мѣсяца послѣ отмѣченнаго эпизода онъ одобряетъ—хотя и безъ прежняго восторженнаго тона—нѣкоторыя мѣропріятія правительства; онъ привѣтствуетъ учрежденіе губернскихъ комитетовъ, отдавая имъ преимущество передъ бюрократическимъ способомъ выработки и проведенія реформъ; онъ надѣется, что „дворянство, конечно, сознаетъ и, безъ сомнѣнія, оправдаетъ оказанное ему довѣріе“... („Совр.“, 1858 г., № 6). Но и тутъ его ждало жестокое разочарованіе: хотя дворянство, подъ сильнымъ давленіемъ свѣше, и „оправдало довѣріе“ бюрократіи, но сдѣлало оно это далеко не въ томъ направленіи, какого ждалъ и желалъ Чернышевскій отъ дворянства и отъ правительства. Окончательная разочарованность Чернышевскаго въ реформахъ свѣше относится ко второй половинѣ 1858 года—послѣ первыхъ шаговъ этихъ же самыхъ встрѣченныхъ привѣтствіемъ Чернышевскаго губернскихъ комитетовъ, послѣ выяснившейся громадности выкупной суммы, принятой и комитетами и правительствомъ. Чернышевскій предвидѣлъ, что эта громадная сумма (отягощенная уменьшеніемъ крестьянской надѣльной земли) ляжетъ тяжелымъ бременемъ на плечи освобожденнаго мужика; отсюда его горькое разочарованіе—конечно, не въ общинѣ, а во всей проводимой свѣше реформѣ отмѣны крѣпостного права.

И Чернышевскій со стыдомъ вспоминаетъ свою былую восторженность, свою довѣрчивость и „глупость“, свой либеральный энтузіазмъ; онъ видитъ, что надо продолжать борьбу за общину, но только иными путями. Одержавъ блестящую побѣду надъ теоретическими противниками общины, Чернышевскій—а въ лицѣ его и все передовое общество той эпохи—потерпѣлъ пораженіе на почвѣ практическаго осуществленія общинныхъ идеаловъ въ ихъ полномъ размѣрѣ. „...Я стыжусь самого себя,—пишетъ Чернышевскій въ концѣ 1858 года:—мнѣ совѣстно вспоминать о безвременной самоувѣренности, съ которою поднялъ я вопросъ объ общинномъ владѣніи. Этимъ дѣломъ я сталъ безразсуденъ, скажу прямо—сталъ глупъ въ своихъ собственныхъ глазахъ... Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь сдѣлать это, какъ могу. Какъ ни важенъ представляется мнѣ вопросъ о сохраненіи общиннаго владѣнія, но онъ все-таки составляетъ только одну сторону дѣла, которому принадлежитъ. Какъ высшая гарантія благосостоянія людей, до которыхъ относится, этотъ принципъ получаетъ смыслъ только тогда, когда уже даны другія низшія гарантіи благосостоянія, нужныя для доставленія его дѣй-

*) Въ этой статьѣ Чернышевскій доказываетъ невозможность сохраненія „обязательнаго труда“ при новыхъ условіяхъ сельскаго быта—разрушеніи крѣпостной зависимости. Статья эта сильно озлобила крѣпостниковъ, мечтавшихъ удержатъ барщину и оброкъ даже послѣ освобожденія крестьянъ.

ствію простора...“ („Совр.“, 1858 г., № 12, „Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія“). Эти низшія гарантіи—свобода общинной земли отъ долговыхъ обязательствъ или, по крайней мѣрѣ, незначительная величина этихъ обязательствъ по сравненію съ земельной рентой. Все это, по цензурнымъ условіямъ, выражено Чернышевскимъ въ формѣ намековъ: онъ самъ заявляетъ, что ему „трудно объяснить причину своего стыда...“ Разумѣется, „трудно“—такъ какъ онъ не могъ высказать своей мысли во всей ея полнотѣ. И только позднѣе—въ „романѣ изъ начала шестидесятыхъ годовъ“, „Прологъ“, не предназначенномъ для подцензурной печати, Чернышевскій могъ ясно и подробно выразить свою мысль. Эта его мысль въ то же самое время есть мысль большей части радикальной русской интеллигенціи тѣхъ годовъ; путь отъ либерализма къ революціонности—вотъ направленіе главнаго общественнаго теченія 1858—1861 гг.

Въ этомъ романѣ „Прологъ“ Чернышевскій (подъ именемъ Волгина) такъ относится къ проектамъ освободительныхъ реформъ: „Толкуютъ: освободимъ крестьянъ! Гдѣ силы на такое дѣло? Еще нѣтъ силъ. Нелѣпо приниматься за дѣло, когда нѣтъ силъ на него. А видите, къ чему идетъ: станутъ освобождать. Что выйдетъ?—сами судите, что выходитъ, когда берешься за дѣло, котораго не можешь сдѣлать? Натурально, что: испортишь дѣло, выйдетъ мерзость... Эхъ, наши господа эмансипаторы, всѣ эти ваши Рязанцевы *) съ компаніей! Вотъ хвастуны-то! вотъ болтуны-то! вотъ дурачье-то!..“ Волгинъ—не оппортунистъ; ему нужно или все, или ничего: „я не желаю, чтобы дѣлались реформы, когда нѣтъ условій, необходимыхъ для того, чтобы реформы производились удовлетворительнымъ образомъ“. Съ землей или безъ земли освободить крестьянъ? вѣдь это же колоссальная разница! „Нѣтъ, не колоссальная, а ничтожная,—находилъ Волгинъ.—Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю безъ выкупа. Взять у человѣка вещь, или оставить ее у человѣка, но взять съ него плату за нее—все равно... Вопросъ поставленъ такъ, что я не нахожу причинъ горячиться даже изъ-за того, будутъ или не будутъ освобождены крестьяне...“ Это уже полное разочарованіе въ реформѣ,—это уже переходъ съ пути оппозиціоннаго на путь революціонный: только самъ народъ можетъ завоевать себѣ землю и волю. Въ разговорѣ съ однимъ, „усатымъ старикомъ“, крѣпостникомъ-помѣщикомъ, Волгинъ высказываетъ это съ полной ясностью и грозитъ народнымъ возстаніемъ. „—Хорошо; грозите, милостивый государь: ваши угрозы не слишкомъ-то страшны,—отвѣчаетъ ему крѣпостникъ;—войско разгонитъ вашихъ милыхъ мужичковъ.

— Я знаю это, милостивый государь; будетъ разгонять, пока будетъ разгонять,—отвѣчаетъ Волгинъ-Чернышевскій.—И до той поры, пока будетъ разгонять, вамъ нечего бояться.

*) Подъ именемъ Рязанцева въ романѣ выводится Кавелинъ.

— Милостивый государь, о чемъ вы говорите, позвольте васъ спросить?

— О томъ, милостивый государь, что мужицкій бунтъ не важная опасность для васъ. Войско легко разгонитъ мужицкіе бунты.

— Вы грозите революціей, милостивый государь?

— Понимайте, какъ вамъ угодно...“

Такъ переходила на революціонный путь демократическая часть русскаго общества, недовольная реформой, она грозила революціей; такъ зарождалось то настроеніе, которое обусловило собой возможность появленія „Земли и Воли“—первой революціонной организаціи той эпохи (членомъ этой организаціи, судя по многимъ даннымъ, былъ и Чернышевскій). Правда, Чернышевскій впослѣдствіи утверждалъ, что хотя онъ и грозилъ революціей, но не вѣрилъ въ нее: „Грозить революціей, какъ я погрозилъ этому усатому старику?.. Кто же повѣрилъ бы? кто не расхохотался бы? Да и не совсѣмъ честно грозить тѣмъ, во что самъ же первый вѣришь меньше всѣхъ“ („Прологъ пролога“). Но онъ писалъ это тогда, когда бросалъ ретроспективный взглядъ на прошлое изъ-за частокола сибирской каторжной тюрьмы; въ разгаръ же освободительнаго движенія и особенно въ годы 1861—1863 онъ думалъ и вѣрилъ иначе—это достаточно подтверждаютъ заключительныя строки его романа „Что дѣлать“, проникнутыя твердой увѣренностью въ близкое торжество революціи*).

Такъ думала, такъ вѣрила радикальная часть русской интеллигенціи первой половины шестидесятыхъ годовъ; если перелистовать герценовскій „Колоколъ“ за 1858—1863 гг., то наростаніе этихъ мыслей и чувствъ не можетъ не броситься въ глаза: то, что Чернышевскій принужденъ былъ говорить эзоповскимъ языкомъ, въ свободномъ журналѣ Герцена высказывалось во всеуслышаніе, съ точками надъ і. Да и не одни радикалы и демократы-соціалисты ожидали великихъ событій въ ближайшіе годы—этихъ событій боязливо ждали и въ совершенно иныхъ сферахъ, какъ мы это знаемъ теперь изъ разныхъ записокъ и мемуаровъ того времени. Ждали съ нетерпѣніемъ и съ опасеніемъ: что скажетъ народъ? чѣмъ отвѣтитъ онъ на куцую реформу освобожденія, на тяготы выкупныхъ платежей, на нищенскіе надѣлы, на присвоеніе помѣщиками занадѣльныхъ общинныхъ отрѣзовъ? А народъ—безмолвствовалъ. Были отдѣльныя вспышки, подавленные съ безсмысленной жестокостью; но во всей своей массѣ

*) Послѣднія страницы этого романа зашифрованы Чернышевскимъ довольно прозрачно. „Дама въ траурѣ“—это та же Волгина позднѣйшаго романа „Прологъ пролога“, т.-е. О. С. Чернышевская (которой, кстати замѣтить, и посвящены оба романа). Ея трауръ зимой 1862—3 г. имѣетъ причиной судьбу Чернышевскаго, въ это время заключеннаго въ Петропавловской крѣпости; ея истерическіе монологи почти слово въ слово соответствуютъ записямъ „Дневника“ Чернышевскаго; всѣ частности разговоровъ какъ нельзя болѣе ясно подтверждаютъ такую расшифровку. Наконецъ, „мужчина лѣтъ тридцати“ послѣдней главы—это самъ Чернышевскій, освобожденный послѣ предполагаемой революціи 1865 года..

народъ молчалъ или, по крайней мѣрѣ, не дѣйствовалъ. А реформа была совершена безповоротно. Надо было искать новыхъ путей для достиженія прежней цѣли; эти новые пути стали намѣчаться во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Замолкли споры на социальныя и экономическія темы; вопросъ объ общинномъ или частномъ землевладѣніи совершенно исчезъ изъ журнальной литературы той эпохи; на первый планъ выступили вопросы личной морали; властителемъ думъ сдѣлался Писаревъ. Но здѣсь мы уже переходимъ отъ общественныхъ къ умственнымъ теченіямъ шестидесятыхъ годовъ.

Если выступленіе на историческую сцену разночинца ознаменовалось поворотомъ общественной мысли въ сторону революціоннаго социализма, то не менѣе рѣшительнымъ и революціоннымъ было это выступленіе и въ области умственныхъ теченій и въ области освященныхъ вѣками бытовыхъ отношеній. Изъ всего послѣдняго только эмансипація женщины стала прочнымъ достояніемъ русскаго общества, въ этомъ отношеніи и понынѣ стоящаго впереди Западной Европы; все же остальное имѣло чисто-временное значеніе и умерло вмѣстѣ съ шестидесятыми годами. Разрушеніе эстетики, разрушеніе философіи, разрушеніе морали—вотъ отрицательная работа шестидесятниковъ, по поводу которой они могли сказать (и говорили) словами Бакунина: страсть разрушенія есть въ то же время и созидательная страсть. Они разрушали многое изъ того, что дѣйствительно слѣдовало разрушить: эстетику и метафизику эпигоновъ праваго гегельянства, мораль худосочнаго и лицемернаго обывательскаго альтруизма; и, надо отдать имъ справедливость, многое изъ того, что они разрушали, такъ и не возродилось съ тѣхъ поръ въ русской общественной мысли. Но то, что они пытались созидать на мѣстѣ разрушеннаго, оказалось въ свою очередь лишь временнымъ заблужденіемъ и также не было воспринято духовными наслѣдниками шестидесятниковъ. Разрушивъ нѣмецкую эстетику и обывательскую мораль, шестидесятники поставили на ихъ мѣсто принципъ утилитаризма; отвергнувъ философію и метафизику, они замѣнили ихъ сперва фейербахизмомъ, а затѣмъ и низшими формами матеріализма, представляющими, какъ извѣстно, одну изъ гибридныхъ формъ той же самой метафизики. Но самимъ шестидесятникамъ все это казалось окончательнымъ, безповоротнымъ, научнымъ рѣшеніемъ вопросовъ философіи, морали, искусства.

Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ среди русской интеллигенціи царило сперва шеллингянство, затѣмъ гегельянство; къ началу сороковыхъ годовъ совершился знаменитый „разрывъ съ Гегелемъ“, ярко сформулированный Бѣлинскимъ, послѣ чего властителями думъ стали, съ одной стороны, французскіе социалисты, а съ другой—нѣмецкіе лѣвые гегельянцы, пытавшіеся влить въ форму философіи Гегеля радикальное политическое содержаніе, соединенное съ полнымъ „свободомысліемъ“ въ области религіи. Но всѣ эти эпигоны гегельянства не создали и не могли создать ничего удовлетворяю-

щаго потребности чело́вѣка въ цѣльномъ міропониманіи; головою выше ихъ былъ Л. Фейербахъ, вліяніе котораго на русскую мысль было особенно сильнымъ.

Родоначальникомъ русскаго фейербахизма былъ Герценъ, мало-по-малу самостоятельно приходившій отъ гегельянства къ тому циклу мыслей, которыя составляютъ всю силу философіи Фейербаха. Самодовлѣющее значеніе, самодовлѣющая цѣнность жизни, признаніе самоцѣльности чело́вѣка, знаменитая формула *homo homini deus*— все это для Герцена было подтвержденіемъ его самыхъ сокровенныхъ, самыхъ завѣтныхъ мыслей; въ своемъ „Дневникѣ“ 1842—1845 гг. онъ высказываетъ это какъ нельзя яснѣе, точно такъ же, какъ и въ „Быломъ и думѣхъ“. Въ 1847 г. Герценъ написалъ первую главу „Съ того берега“; въ этой книгѣ мы находимъ дальнѣйшее самостоятельное развитіе идей Фейербаха: провозглашается самоцѣнность жизни, на мѣсто Бога и чело́вѣчества ставится чело́вѣкъ, жизнь объявляется высшимъ мѣриломъ, высшимъ критеріемъ всего существующаго.

Въ этомъ же самомъ 1847 году впервые познакомился съ философій Фейербаха Чернышевскій. „... Случайнымъ образомъ попалось желавшему сформировать себѣ научный образъ мысли юношѣ одно изъ главныхъ сочиненій Фейербаха,—писалъ впослѣдствіи (въ 1888 г.) о себѣ въ третьемъ лицѣ Чернышевскій.—Онъ сталъ послѣдователемъ этого мыслителя; и до того времени, когда житейскія надобности отвлекли его отъ ученыхъ занятій, онъ усердно перечитывалъ и перечитывалъ сочиненія Фейербаха. Лѣтъ черезъ шесть послѣ начала его знакомства съ Фейербахомъ, представилась ему житейская надобность написать ученый трактатъ. Ему казалось, что онъ можетъ примѣнить основныя идеи Фейербаха къ разрѣшенію нѣкоторыхъ вопросовъ по отраслямъ знаній, не входившимъ въ кругъ изслѣдованій его учителя... Онъ пожелалъ быть истолкователемъ идей Фейербаха въ примѣненіи къ эстетикѣ...“ Такъ Чернышевскій задумалъ и написалъ въ 1853 году свою знаменитую диссертацию „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“, съ которою впослѣдствіи Писаревъ хотѣлъ вести эру „Разрушенія эстетики“, какъ озаглавлена одна изъ его статей.

Чернышевскій желалъ быть только истолкователемъ идей Фейербаха; слѣдуя за этимъ философомъ и примѣняя его общіе принципы къ области эстетики, онъ положилъ во главу угла своего изслѣдованія понятіе жизни, какъ высшаго эстетическаго критерія. Уже самое опредѣленіе понятія „прекраснаго“ онъ сводитъ къ этому критерію: „прекрасное есть жизнь,—говоритъ онъ:—прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни“. И развивая эту мысль далѣе, онъ дѣйствительно только слѣдуетъ за основными положеніями Фейербаха. Прекрасное мы видимъ или въ природѣ,

или въ субъективной фантазіи, или, наконецъ, въ обьективированной фантазіи—въ искусствѣ; главнымъ вопросомъ диссертациі Чернышевскаго является вопросъ объ отношеніи прекраснаго въ природѣ къ прекрасному въ искусствѣ, вопросъ объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности. Ясно, какъ можетъ и долженъ рѣшать этотъ вопросъ Чернышевскій, стоя на занятой имъ позиціи: „онъ дѣлаетъ выводъ изъ той мысли Фейербаха, что воображаемый міръ есть только передѣлка нашихъ знаній о дѣйствительномъ мірѣ“, говорилъ впослѣдствіи самъ о себѣ Чернышевскій (въ предисловіи 1888 года къ предполагававшемуся третьему изданію „Эстетическихъ отношеній“). И въ самой диссертациі Чернышевскій подчеркивалъ, что вся ея сущность заключается въ „апологіи дѣйствительности сравнительно съ фантазіей, въ стремленіи доказать, что произведенія искусства не могутъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью“... Искусство принижалось по сравненію съ жизнью; жизнь была объявлена прекраснѣе искусства.

Было ли все это дѣйствительно „разрушеніемъ эстетики“? И да, и нѣтъ. Нѣтъ—такъ какъ „ученіе о прекрасномъ“, эстетика, не только не разрушалось, но, напротивъ, укрѣплялось на новыхъ основаніяхъ; да—потому что искусство низводилось на степень технического пособія для науки, простого суррогата дѣйствительности. Съ одной стороны наука, по словамъ Чернышевскаго, признаетъ эстетическія переживанія „столь же существенными, какъ потребность ѣсть и пить“; а съ другой—искусство признается лишь слабымъ и блѣднымъ отраженіемъ жизни. Для того, чтобы окончательно „разрушить эстетику“, нужно было сдѣлать еще нѣсколько шаговъ въ томъ же направленіи: прежде всего замѣнить эстетическія отношенія утилитаристическими отношеніями искусства къ дѣйствительности, критерій „прекраснаго“ искать въ принципѣ „полезнаго“; а затѣмъ—свести эстетическія переживанія на степень низшихъ фізіологическихъ реакцій организма, признать эстетическое чувство аналогичнымъ и равнымъ по значенію хотя бы вкусовымъ раздраженіямъ. Эти шаги были немедленно сдѣланы сперва Добролюбовымъ, затѣмъ Писаревымъ и его послѣдователями.

Добролюбовъ занимаетъ выдающееся мѣсто въ исторіи русской критики; его вліяніе на молодежь шестидесятыхъ годовъ было очень велико; но въ исторіи развитія умственныхъ теченій этой эпохи онъ играетъ очень скромную роль. Находясь подъ сильнымъ вліяніемъ Чернышевскаго, почти исключительно отдавашагося разработкѣ социально-экономическихъ вопросовъ, Добролюбовъ сталъ развивать въ области литературной критики мысли своего старшаго товарища и учителя. Онъ сдѣлалъ дальнѣйшій шагъ на пути разрушенія эстетики: отношенія искусства къ дѣйствительности онъ сталъ разсматривать не эстетически, а утилитаристически, беря критеріемъ цѣнности искусства принципъ полезности. Къ этой точкѣ зрѣнія былъ близокъ и Бѣлинскій въ послѣднемъ періодѣ своей дѣятельности,

не доходя, однако, до крайняго примѣненія этой теоріи; въ шестидесятихъ годахъ этотъ принципъ получилъ всестороннее развитіе и былъ доведенъ до своего логическаго предѣла и въ области морали и во всѣхъ другихъ областяхъ человѣческой дѣятельности. Фейербахъ былъ дополненъ Бентамомъ и Миллемъ (книга послѣдняго „Утилитаріанизмъ“ была тогда переведена на русскій языкъ); наиболѣе яркимъ и цѣльнымъ выраженіемъ новаго міровоззрѣнія была знаменитая статья Чернышевскаго „Антропологическій принципъ въ философіи“ („Современникъ“, 1860 г., №№ 4 и 5).

Въ этой своей статьѣ Чернышевскій все еще оставался послѣдователемъ Фейербаха и его „антропологизма“, хотя и отклонялся отъ этого ученія во многихъ частныхъ вопросахъ, подходя ближе къ догматическому матеріализму. Впрочемъ, самъ Чернышевскій считалъ себя вѣрнымъ ученикомъ именно Фейербаха. Во „второй коллекціи“ своихъ „Полемическихъ красотъ“ („Совр.“, 1861 г., № 7), отвѣчая критикамъ „Антропологическаго принципа въ философіи“, Чернышевскій вполне ясно называетъ своимъ учителемъ Фейербаха, хотя и не приводитъ этого запретнаго въ то время имени. „Теорія, которую считаю я справедливой,—пишетъ Чернышевскій,—составляетъ самое послѣднее звено въ ряду философскихъ системъ... По одному историку (философіи) теорія эта справедлива, по другому несправедлива, но всѣ они единодушно скажутъ вамъ, что эта теорія дѣйствительно послѣдняя, вышедшая изъ гегелевской точно такъ же, какъ гегелевская вышла изъ шеллинговой... Но вамъ все-таки можетъ быть не ясно дѣло, вамъ, вѣроятно, хотѣлось бы узнать, кто же такой этотъ учитель, о которомъ я говорю? Чтобы облегчить вамъ поиски, я, пожалуй, скажу вамъ, что онъ—не русскій, не французъ, не англичанинъ;—не Бюхнеръ, не Максъ Штирнеръ, не Бруно Бауеръ, не Молешоттъ, не Фохтъ,—кто же онъ такой? Вы начинаете догадываться: должно быть Шопенгауеръ!—воскличете вы, начитавшись статей г. Лаврова. Онъ самый и есть, угадали...“ *) Такимъ образомъ, не имѣя возможности прямо назвать Фейербаха, Чернышевскій дѣлаетъ это косвенно, но достаточно ясно; въ то же самое время онъ отгораживается отъ представителей догматическаго матеріализма (Бюхнера, Молешотта, Фогта).. И однако, въ его статьѣ имѣются явные элементы именно догматическаго матеріализма, къ которому все болѣе и болѣе приближалось теченіе русской мысли этой эпохи.

Что такое этотъ „антропологическій принципъ“ въ пониманіи Чернышевскаго? „Принципъ этотъ,—отвѣчаетъ Чернышевскій,—состоитъ въ томъ, что на человѣка надо смотрѣть какъ на одно суще-

*) Чернышевскій имѣетъ въ виду „Три бесѣды о современномъ значеніи философіи“ Лаврова, напечатанныя въ „Отеч. Зап.“ 1861 г., № 1, и главнымъ образомъ книжку Лаврова „Очерки вопросовъ практической философіи“, отвѣтомъ на которыя и была статья Чернышевскаго „Антроп. принципъ“. Въ этой своей статьѣ Чернышевскій, кстати сказать, сравниваетъ значеніе Шопенгауера въ философіи со значеніемъ Каролины Павловой въ русской поэзіи.

ство, имѣющее только одну натуру, чтобы не разрѣзывать человѣческую жизнь на разныя половины, принадлежащія разнымъ натурамъ...“ Борьба съ дуализмомъ, проповѣдь монизма—все это дѣйствительно входило въ „антропологизмъ“ Фейербаха; но Чернышевскій подошелъ гораздо ближе къ догматическимъ матеріалистамъ въ своемъ объясненіи процесса жизни. Вѣдь и догматическій матеріализмъ тоже боролся съ дуализмомъ, вѣдь и онъ тоже проповѣдывалъ монизмъ въ его наиболѣе некритической формѣ. Именно на этой почвѣ и происходило въ шестидесятыхъ годахъ „разрушеніе философіи“. Философія сводилась къ физиологіи нервной системы и обращалась въ одну изъ отраслей естествознанія; все же, лежащее внѣ этого (т.-е., иначе говоря, вся философія), объявлялось ни къ чему ненужнымъ хламомъ, эквилибристикой мысли, шарлатанствомъ, схоластикой XIX вѣка. Когда въ отвѣтъ на антропологическую философію Чернышевскаго одинъ изъ профессоровъ философіи, Юркевичъ, попытался между прочимъ указать, что точка зрѣнія догматическаго матеріализма устраняетъ лишь дуализмъ метафизическій (тѣло—душа), но безсильна противъ дуализма гносеологическаго (не-я—я), то Чернышевскій не счелъ нужнымъ дать на эти возраженія какой-либо отвѣтъ, кромѣ соболѣзнующей насмѣшки и ссылки на свои дѣтскія семинарскія тетрадки, въ которыхъ можно найти всѣ положенія „идеалистической“ философіи Юркевича... При томъ вліяніи, какимъ пользовался въ эти годы Чернышевскій, такое насмѣшливое пренебреженіе импонировало и не могло не импонировать широкимъ кругамъ читающей публики. Писаревъ, подобно тому какъ это было и въ области эстетики, только поставилъ точки надъ і, окончательно отвергнувъ всякую философію, кромѣ философіи здраваго смысла. Всякая другая философія—только „схоластика, праздная игра ума... Гдѣ современное значеніе подобной философіи? Гдѣ ея оправданіе въ дѣйствительности? Гдѣ ея права на существованіе?“ („Схоластика XIX вѣка“, 1861 г.). Право на существованіе имѣетъ только „философія очевидности“, какой считалась въ то время система догматическаго матеріализма. И необходимо отмѣтить, что Писаревъ уже окончательно смѣшиваетъ философію Фейербаха съ этой системой естественно-научнаго матеріализма: для него Фейербахъ и Молешоттъ—мыслители одной и той же школы, одной вѣры, одной религіи (см. Собр. соч. Писарева, I, 361 sqq.).

Итакъ, „разрушеніе эстетики“, „разрушеніе философіи“—все это шло crescendo, начиная съ Чернышевскаго, среди русской интеллигенціи шестидесятыхъ годовъ; „разрушеніе морали“ было проведено не менѣе рѣшительно и не менѣе послѣдовательно, при чемъ и въ этой области одно изъ первыхъ словъ принадлежало тому же Чернышевскому и было высказано въ той же его статьѣ „Антропологическій принципъ въ философіи“. Ученіе англійской школы философовъ о происхожденіи и сущности нравственности было принято шестидесятниками какъ откровеніе и какъ несомнѣнная, строго-научная

истина. „... Уже разрѣшенъ вопросъ о подведеніи всѣхъ часто разнорѣчащихъ между собою человѣческихъ поступковъ и чувствъ подъ одинъ принципъ,—убѣжденно заявляетъ Чернышевскій, — какъ разрѣшены вообще почти всѣ тѣ нравственные и метафизическіе вопросы, въ которыхъ путались люди до начала разработки нравственныхъ наукъ и метафизики по строго-научному методу“... Вопросъ морали разрѣшенъ принципомъ личной пользы, какъ единственнымъ побудителемъ и двигателемъ человѣка. Альтруизмъ—миѳъ, самопожертвованіе—сказка („жертва—сапоги въ смятку“): „надобно бываетъ только всмотрѣться попристальнѣе въ поступокъ или чувство, представляющіеся безкорыстными, и мы увидимъ, что въ основѣ ихъ все-таки лежитъ та же мысль о собственной личной пользѣ, личномъ удовольствіи, личномъ благѣ, лежитъ чувство, называемое эгоизмомъ...“ Это чувство лежитъ въ основѣ даже величайшаго самопожертвованія, даже жертвы жизнью въ имя идеи: „все-таки основаніемъ служить личный расчетъ или страстный порывъ эгоизма“... Эти мысли, эти положенія—въ корнѣ разрушающія всю старую систему морали, основанную на принципѣ долга—легли во главу угла всего міровоззрѣнія шестидесятниковъ, придали ему совершенно своеобразную окраску. Быть можетъ, ярче всего было обрисовано это разрушеніе старой морали, это новое міровоззрѣніе въ знаменитомъ романѣ Чернышевскаго „Что дѣлать?“ (1863 г.).

Въ этомъ романѣ—квинтъ-эссенція всѣхъ общественныхъ идеаловъ шестидесятниковъ, ихъ моральныхъ, философскихъ и эстетическихъ взглядовъ и воззрѣній. Тутъ и непоколебимая вѣра въ ближайшую побѣду, въ политическое освобожденіе (даже срокъ предсказанъ — 1865-ый годъ); тутъ и описаніе будущаго блаженства при социалистическомъ строѣ, который также не очень отдаленъ отъ насъ („смѣнитса немного поколѣній“) и который описанъ намѣренно лубочными красками въ духѣ фурьеризма; тутъ и рядъ эстетическихъ положеній, мимоходомъ высказываемыхъ въ насмѣшливой бесѣдѣ автора съ „проницательнымъ читателемъ“; тутъ и вполне опредѣленная матеріалистическая философія; тутъ, наконецъ, и практический отвѣтъ на вопросъ „что дѣлать?“ (мастерскія Вѣры Павловны; медицина; изученіе естественныхъ наукъ). Но кромѣ всего этого—или вѣрнѣе, на ряду со всѣмъ этимъ—лейтмотивомъ романа несомнѣнно является проповѣдь теоріи утилитаризма, дающая главный отвѣтъ на вопросъ, какъ жить и что дѣлать. Начиная съ главы „Гамлетовское испытаніе“, въ которой Лопуховъ проповѣдуетъ эту теорію Вѣрѣ Павловнѣ; продолжая монологами и размышленіями Лопухова, убѣждающаго себя, что „жертва—сапоги въ смятку“; продолжая, далѣе, взаимными самопожертвованіями Лопухова и Кирсанова, самопожертвованіями якобы на почвѣ эгоизма (глава „Теоретическій разговоръ“) и разсужденіями Рахметова о нравственности; кончая четвертымъ сномъ Вѣры Павловны и разговорами Чарльза Бьюмонта, Лопухова-тожъ—однимъ словомъ, съ начала и до конца

романа мы вездѣ находимъ настойчивую проповѣдь теоріи утилитаризма, теоріи личной выгоды и пользы. „То, что называютъ возвышенными чувствами, идеальными стремленіями—все это въ общемъ ходѣ жизни совершенно ничтожно передъ стремленіемъ каждаго къ своей пользѣ и въ корнѣ само состоитъ изъ того же стремленія къ пользѣ...“ Такъ убѣждаютъ другъ друга дѣйствующія лица романа, такъ убѣждаетъ читателей авторъ. И даже типъ Рахметова—этого аскета и подвижника во имя идеи (конечно, все той же идеи русской революціи, какъ ясно изъ романа), человѣка, жертвующаго всей своей личной жизнью во имя принципа, даже этотъ типъ не вскрываетъ передъ Чернышевскимъ всей невозможности строить мораль на принципѣ личной выгоды, пользы. „Человѣкъ происходитъ отъ обезьяны, а потому положимъ душу за други своя“—эта извѣстная шутка Влад. Соловьева о шестидесятникахъ болѣе близка къ истинѣ, чѣмъ многія серьезныя мнѣнія объ этой эпохѣ русской общественной мысли. „Человѣкъ въ своихъ поступкахъ руководствуется исключительно эгоизмомъ“, а потому „умрите за общинное начало!“—вотъ двѣ дословныя фразы Чернышевскаго, соединенныя нами въ одно цѣлое; человѣкомъ двигаетъ только личная выгода, а потому положимъ душу за общее благо.

Какъ бы то ни было, но „разрушеніе морали“ было рѣшительное—шестидесятники думали даже, что разрушеніе это было окончательное. И—что самое важное—оно не было исключительно теоретическимъ; нѣтъ, всѣ главные выводы новой морали были немедленно проводимы въ жизнь. Взять хотя бы разсужденія Рахметова о ревности, о любви, объ отношеніи къ женщинѣ: все это не было отвлеченнымъ построеніемъ автора, все это было претворено въ плоть и кровь; разрушеніе старыхъ моральныхъ догмъ, стараго бытового уклада было несомнѣннымъ фактомъ, было дѣломъ рукъ разночинца. И какъ бы къ этому факту ни относиться, но во всякомъ случаѣ его громадное практическое значеніе не можетъ быть оспариваемо: достаточно вспомнить хотя бы то раскрѣпощеніе и освобожденіе русской женщины, которое совершилось именно въ шестидесятыхъ годахъ и которое осталось навсегда прочнымъ завоеваніемъ этой эпохи.

Это положительное значеніе, это созиданіе новыхъ формъ жизни на мѣстѣ разрушаемаго стараго уклада надо особенно подчеркнуть, такъ какъ въ настоящее время есть тенденція слишкомъ свысока смотрѣть на крайне раціоналистическое теченіе шестидесятыхъ годовъ. „Разрушеніе философій“, „разрушеніе эстетики“, „разрушеніе морали“ было съ теоретической стороны, конечно, совершенно безнадежнымъ предпріятіемъ; что осталось отъ этого „разрушенія“ черезъ десятокъ-другой лѣтъ? И, конечно, очень легко показать всю несостоятельность шестидесятниковъ, ихъ морали, основанной на принципѣ личной выгоды, ихъ философій, воздвигаемой на основѣ догматическаго матеріализма, ихъ эстетики, отрицающей цѣнность ис-

куства. Но не надо при этомъ забывать громаднаго положительнаго значенія всѣхъ этихъ разрушительныхъ теорій, которыя принесли гораздо больше практической пользы, чѣмъ теоретическаго вреда. Каковъ былъ главный аргументъ всѣхъ „разрушителей“? „Вотъ ultimum нашего лагеря,—отвѣчаетъ Писаревъ:—что можно разбить, то и нужно разбивать: что выдержать ударъ, то годится; что разлетится вдребезги, то хламъ: во всякомъ случаѣ бей направо и налѣво, отъ этого вреда не будетъ и не можетъ быть“ („Схоластика XIX вѣка“). И вотъ Чернышевскій бьетъ по философіи, Писаревъ бьетъ по Пушкину, Добролюбовъ бьетъ по цѣлому ряду общественныхъ предразсудковъ; эстетика, этика, философія—все подвергается ихъ ударамъ. И что же? Пушкинъ остался невредимъ, а многіе общественные предразсудки дѣйствительно были разбиты; философія, этика, искусство остались цѣлы, а та палка, которою ихъ били—теорія утилитаризма и догматическій матеріализмъ—оказалась слишкомъ хрупкой и сама разлетѣлась вдребезги. Да, этотъ принципъ вѣренъ: „что разлетится вдребезги, то хламъ“... Много ошибочныхъ ударовъ наносили шестидесятники и несомнѣнно приносили этимъ временный вредъ; но еще больше нанесли они ударовъ дѣйствительно вѣрныхъ, и общественное развитіе русскаго общества многимъ обязано имъ. Говоря словами Михайловскаго, въ эпоху шестидесятыхъ годовъ были по заслугамъ низвергнуты съ пьедестала многіе „насъ возвышающіе обманы“, хотя поставленные на ихъ мѣсто „низкія истины“ далеко не всегда выдержали испытаніе удара и въ свою очередь скоро оказались разбитыми вдребезги. Послѣднему обстоятельству много способствовали тѣ крайности, къ которымъ пришло умственное теченіе второй половины шестидесятыхъ годовъ и которыя были объединены кличкой „нигилизма“. Крайности эти связаны отчасти съ именемъ Писарева, а еще больше съ воззрѣніями его слишкомъ прямолинейныхъ послѣдователей.

Если умственное теченіе первой половины шестидесятыхъ годовъ съ достаточной степенью точности характеризуется именемъ Чернышевскаго, то умственное теченіе второй половины этой эпохи характеризуется именемъ Писарева. Ясная и рѣзкая разница существуетъ между этими двумя теченіями мысли, несмотря на всѣ ихъ точки соприкосновенія: если „Современникъ“ 1858—1862 гг. былъ органомъ демократовъ-соціалистовъ, то „Русское Слово“ 1862—1866 гг. стало органомъ демократовъ-индивидуалистовъ; Чернышевскій былъ главнымъ представителемъ первыхъ, Писаревъ—главнымъ представителемъ вторыхъ. Основнымъ вопросомъ первыхъ былъ вопросъ соціально-экономическій, основной проблемой вторыхъ была проблема индивидуально-этическая—въ этомъ ихъ разница; но въ то же время рѣшеніе соціально-экономическаго вопроса являлось путемъ къ разрѣшенію запросовъ индивидуально-этическихъ, и, наоборотъ, рѣшеніе индивидуально-этической проблемы должно было повести къ разрѣшенію и соціально-экономическихъ вопросовъ—въ этомъ связь

этихъ двухъ умственныхъ теченій. Чернышевскій разрѣшалъ социальный вопросъ о „голодныхъ и раздѣтыхъ“ стройной экономической теоріей землевладѣльческой общины, долженствующей перейти въ высшую фазу своего развитія и привести къ торжеству социалистическихъ идеаловъ, чѣмъ будутъ разрѣшены и всѣ индивидуальныя запросы человѣческаго духа. Писаревъ, наоборотъ, рѣшалъ вопросъ о „голодныхъ и раздѣтыхъ“ путемъ проповѣди самосовершенствованія и расширенія кадровъ интеллигенціи, „мыслящихъ реалистовъ“, слѣдствіемъ чего неизбѣжно явится и рѣшеніе этой группой людей социальна-экономическаго вопроса.

Если первое изъ этихъ умственныхъ теченій было дѣломъ разночинцевъ, то второе характеризуетъ собою міровоззрѣніе „кающихся дворянъ“; это опять-таки слова Михайловскаго, который во многихъ своихъ статьяхъ далъ ясную характеристику этихъ основныхъ общественныхъ и умственныхъ теченій шестидесятыхъ годовъ. „Возмущенная честь“ разночинцевъ требовала немедленнаго рѣшенія социальнаго и политическаго вопросовъ, немедленнаго признанія правъ личности, государственныхъ гарантій ея свободы; „уязвленная совѣсть“ кающихся дворянъ требовала немедленнаго рѣшенія индивидуально-этической проблемы, отвѣта на вопросъ: какъ мнѣ жить свято, чтобы выплатить свой долгъ народу? Но въ концѣ-концовъ оба эти теченія не могли не слиться въ одно, такъ какъ слишкомъ было ясно, что уплата долга народу должна заключаться не въ одной индивидуальной „святости“, но и въ рѣшеніи тѣмъ или инымъ путемъ главнаго вопроса всего народа—вопроса социальнаго, вопроса о „голодныхъ и раздѣтыхъ“.

Тѣмъ или инымъ путемъ; но какимъ же именно? Чернышевскій, какъ мы знаемъ, сперва вѣрилъ въ возможность рѣшенія этого вопроса путемъ правительственныхъ реформъ, но скоро понялъ всю несбыточность своихъ надеждъ и стыдился своей былой либеральной наивности, своей „глупости“, какъ онъ самъ выражался; онъ началъ тогда надѣяться на революцію, въ близость которой, однако, самъ плохо вѣрилъ. Хотя и очень вѣроятно, что Чернышевскій былъ авторомъ воззванія „къ барскимъ крестьянамъ“, но онъ не вѣрилъ въ дѣйствительность крестьянской революціи: „мужицкій бунтъ не важная опасность для васъ; войско легко разгонитъ мужицкіе бунты“, говоритъ Волгинъ-Чернышевскій въ романѣ „Прологъ пролога“ помѣщику-крѣпостнику. Итакъ, вѣра въ социальный переворотъ сверху была скоро признана слишкомъ наивною, а надежда на социальный переворотъ снизу была признана мало обоснованною; остался третій путь—возложить всѣ упованія на средній слой общества, на радикальную интеллигенцію, на революціонную силу мысли. Отсюда проповѣдь Писарева, призывающая къ самосовершенствованію, къ созиданію интеллигентныхъ кружковъ, къ расширенію кадровъ „мыслящихъ реалистовъ“. Когда этихъ „мыслящихъ реалистовъ“ образуется большое число, то „самъ собою разрѣшится вопросъ о

голодныхъ и раздѣтыхъ“, заявляетъ Писаревъ; иначе говоря — социальную революцію произведетъ не правительство, не „народъ“, а интеллигенція, „мыслящій пролетаріатъ“.

Таковы были общественныя чаянія и ожиданія Писарева; во главѣ угла его міровоззрѣнія стояла „интеллигентная личность“, и это опредѣлило собою общее направленіе его міровоззрѣнія. Писаревъ закончилъ „разрушеніе“ эстетики, философіи, морали для того, чтобы освободить личность отъ связывающихъ ее путъ; по этому пути онъ шелъ вслѣдъ за Чернышевскимъ, всегда подчеркивая свою солидарность съ этимъ дѣятелемъ первой половины шестидесятыхъ годовъ. Либеральные и консервативные журналы 1861 — 1866 гг. („Отечественныя Записки“, „Библіотека для чтенія“, „Время“, „Русскій Вѣстникъ“ и др.) съ торжествомъ указывали „Современнику“, что Писаревъ совершаетъ лишь *reductio ad absurdum* идей Чернышевскаго, полагая слѣдовать по его стопамъ. Это, конечно, не совсѣмъ такъ: Писаревъ, правда, во многомъ шелъ дальше Чернышевскаго, но не доводилъ воззрѣнія послѣдняго до ихъ логического тупика, какъ это вскорѣ сдѣлали не въ мѣру рьяные послѣдователи Чернышевскаго и Писарева. Однако, дѣйствительно справедливо то, что болѣе рѣзкая и прямая формулировка Писаревымъ взглядовъ „мыслящихъ реалистовъ“ много способствовала выясненію несостоятельности этихъ взглядовъ; въ концѣ шестидесятыхъ годовъ взгляды эти дѣйствительно были доведены до абсурда.

Началось съ того, что знаменемъ новаго теченія былъ объявленъ романъ Чернышевскаго „Что дѣлать?“. Въ своей статьѣ „Мыслящій пролетаріатъ“ Писаревъ призналъ, что „никогда еще (это) направленіе... не заявляло себя на русской почвѣ такъ рѣшительно и прямо, никогда еще не представлялось оно... такъ рельефно, такъ наглядно и ясно“, какъ въ этомъ романѣ. И правы всѣ литературные рутинеры, ненавидящіе и клянущіе этотъ романъ — „конечно, они правы: романъ глумится надъ ихъ эстетикой, разрушаетъ ихъ нравственность“... Главная же вина романа въ томъ, что онъ могъ сдѣлаться и дѣйствительно сдѣлался „знаменемъ ненавистнаго имъ направленія, указалъ ему ближайшія цѣли и вокругъ нихъ и для нихъ собралъ все живое и молодое“... Эти ближайшія цѣли, по мнѣнію Писарева, — разумѣется, концентрація интеллигенціи, увеличеніе числа „мыслящихъ реалистовъ“; ближайшія средства для этого — „научное міровоззрѣніе“ (т.-е. догматическій матеріализмъ) и окончательное разрушеніе имъ всякой этики, эстетики, философіи.

„Разрушеніе эстетики“ (такъ озаглавилъ Писаревъ одну изъ своихъ статей 1865 года) было произведено мыслящими реалистами подъ прикрытіемъ имени Чернышевскаго, но заходило гораздо дальше первоначальныхъ намѣреній автора „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности“. Чернышевскій имѣлъ все же нѣкоторый эстетическій критерій, онъ признавалъ прекрасное въ искусствѣ и жизни; правда, нѣсколько позднѣе онъ вмѣстѣ съ Добролюбо-

вымъ замѣнилъ этотъ эстетическій критерій критеріемъ утилитаристическимъ, говоря не о красотѣ, а о полезности того или иного художественнаго произведенія. Писаревъ пошелъ еще дальше: опираясь на диссертацию Чернышевскаго, онъ заявилъ, что окончательнымъ критеріемъ прекраснаго является критерій физиологическій. „При томъ опредѣленіи прекраснаго, которое дастъ намъ авторъ („Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности“), эстетика, къ нашему величайшему удовольствію, исчезаетъ въ физиологін и гігіенѣ“, пишетъ Писаревъ („Разрушеніе эстетики“). „Когда это превращеніе эстетики,—заявляетъ онъ въ другой статьѣ,—сдѣлается уже общеизвѣстной и общепризнанной истиной, тогда мы будемъ изучать и анализировать только тѣ пріятныя ощущенія, которыя могутъ сдѣлаться полезными или вредными для нашего здоровья и для нормальнаго развитія нашей рабочей силы...“ („Посмотримъ!“ 1865 г.). Такимъ образомъ эстетическія переживанія отождествляются съ вкусовыми или обонятельными раздраженіями; живопись, поэзія и музыка (т.-е. зрѣніе и слухъ) настолько же входятъ въ область физиологін, какъ вкусъ, обоняніе или осязаніе. „Великій поваръ Дюссо“, „великій Рафаэль“, „великій Бетховенъ“—все это величины одного порядка. Если какое-либо вкусовое, зрительное, слуховое и др. раздраженія доставляютъ мнѣ удовольствіе, то анализировать его должна физиологія, а дать ему оцѣнку — гігіена. Все же, что привходитъ въ эстетику сверхъ этого, подлежитъ упраздненію; всѣ эти „чувства прекраснаго“ и тому подобные насъ возвышающіе обманы суть только видоизмѣненія полового чувства, проявленія „irritatio spinalis“ (такъ заявлялъ въ „Русскомъ Словѣ“ В. Зайцевъ). Любовь вѣдь тоже есть ни что иное, какъ исключительно половое влеченіе.

Нѣтъ необходимости подробно останавливаться на аналогичномъ отношеніи „мыслящихъ реалистовъ“ конца шестидесятыхъ годовъ къ философіи, къ морали: и въ той и въ другой области пришлось бы отмѣтить такое же доведеніе до крайности главныхъ положеній позитивнаго міровоззрѣнія, при несомнѣнномъ пониженіи широты кругозора. Мѣсто Фейербаха занимаетъ Бюхнеръ и родственные ему писатели; уваженіе къ авторитету Бюхнера настолько велико, что Писаревъ, напримѣръ, въ своей статьѣ объ Огюстѣ Контѣ (1865 г.) считаетъ нужнымъ говорить объ отзывѣ Бюхнера о Контѣ и посвящаетъ большую статью „Физиологическимъ картинамъ“ Бюхнера. Отъ Фейербаха къ Бюхнеру—это большой регрессивный шагъ; догматическій матеріализмъ, эта примитивная форма метафизики, и не менѣе примитивная философія здраваго смысла стали господствующими во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ. И вполне естественно, что одновременно съ отрицаніемъ всякой „умозрительной философіи“ зародилось и отрицательное отношеніе вообще къ теоріи, къ идеалу, къ теоретическому базису міровоззрѣнія. Писаревъ скоро отказался отъ этой крайне поверхностной точки зрѣнія, но многіе

изъ „мыслящихъ реалистовъ“ остались вѣрны ей еще въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ.

Вообще чѣмъ дальше шло время, тѣмъ неизбежнѣе становился идейный крахъ міровоззрѣнія шестидесятниковъ: слишкомъ непримиримы были противорѣчія отдѣльныхъ частей этого міровоззрѣнія. Но для того, чтобы противорѣчія эти стали достаточно очевидными, надо было довести ихъ до послѣднихъ логическихъ предѣловъ, до ихъ крайняго развитія. Писаревъ много способствовалъ этому; еще больше способствовала этому вся масса разночинной интеллигенціи, проводившая теоріи въ жизнь гораздо дальше и прямолинейнѣе ихъ литературнаго проявленія. „Нигилизмъ“ шестидесятыхъ годовъ не могъ не притти въ концѣ-концовъ къ собственному саморазрушенію.

„Нигилизмъ“—это слово, впервые въ русской литературѣ употребленное Надеждинымъ еще въ тридцатыхъ годахъ по поводу поэзии Пушкина, а въ срединѣ шестидесятыхъ годовъ воскрешенное Тургеневымъ устами Базарова *)—стало съ этихъ поръ ходячимъ терминомъ, безсодержательнымъ вслѣдствіе своей широты. Нигилистами называли и Чернышевскаго, и послѣдователей Писарева, и Базаровыхъ, и народовольцевъ конца семидесятыхъ годовъ; такая наивная терминологія, конечно, не можетъ быть сохранена, что не мѣшаетъ этому слову имѣть вполне точный, опредѣленный смыслъ. Подъ нигилизмомъ слѣдуетъ понимать отрицаніе всѣхъ цѣнностей—и объективныхъ, и субъективныхъ; такой нигилизмъ ограниченъ довольно узкими рамками и обыкновенно бываетъ спорадическимъ явленіемъ, неизбежнымъ, но недолговѣчнымъ эпизодомъ въ умственной жизни общества. Въ настоящее время смѣшно, конечно, вспоминать обвиненіе въ „нигилизмѣ“ Надеждинымъ Пушкина, съ такой силой отстаивавшаго субъективную цѣнность жизни; не менѣе странно было бы называть нигилистомъ Чернышевскаго, борюнагося и за благо народа и за счастье человѣческой личности, или даже Писарева, въ лучшую пору его дѣятельности (1863—1866 гг.). Дѣйствительными представителями нигилизма были лишь люди второй половины шестидесятыхъ годовъ, доведшіе до крайности принципъ отрицанія и выбросившіе за бортъ всѣ и объективныя и субъективныя цѣнности міровоззрѣнія; нигилизмъ, какъ общее отрицаніе не виѣшнихъ формъ, а и всего внутренняго содержанія, былъ лишь временнымъ эпизодомъ въ развитіи общественной мысли.

Базаровъ Тургенева, Череванинъ Помяловскаго („Молотовъ“), Лопуховъ, Кирсановъ, Рахметовъ Чернышевскаго, Рязановъ Слѣпцова („Трудное время“), Раскольниковъ Достоевскаго, затѣмъ герои романовъ Писемскаго „Взбаламученное море“ и Лѣскова „Некуда“—вотъ рядъ литературныхъ типовъ различной художественной цѣн-

*) Впрочемъ, еще за четыре года до появленія „Отцовъ и дѣтей“ Тургенева нѣкій „заслуженный профессоръ В. Бревн“ выпустилъ въ Казани курьезную книжку „Физиологическо-психологическій сравнительный взглядъ на начало и конецъ жизни“: въ книжкѣ этой онъ сражается съ nihilist'ами, по его выраженію.

ности, но нарисованныхъ въ одно и то же время (1861—1866 гг.) и долженствующихъ изображать „нигилиста“ съ положительной или отрицательной стороны. Однако, называть всѣхъ ихъ нигилистами—значить поддерживать ту неясность понятій, о которой рѣчь была выше; общее у большинства изъ перечисленныхъ типовъ заключается только въ томъ „отрицаніи“, которое выше мы охарактеризовали словами Писарева: „что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержать ударъ, то годится“, а потому—„бей направо и налево, отъ этого вреда не будетъ и не можетъ быть“... Но такое отрицаніе прекрасно уживается съ признаніемъ высшихъ объективныхъ цѣнностей. Базаровъ, напримѣръ, отрицаетъ „все“—и искусство, и поэзію, „и страшно вымолвить что“, т.-е., казалось бы, всѣ и объективныя и субъективныя цѣнности; но въ то же время онъ говоритъ о себѣ: „вѣдь тоже думалъ: обломаю дѣль много, не умру, куда! задача есть, вѣдь я гигантъ!..“ Не все, значить, онъ отрицаетъ, есть у него завѣтная цѣнность, есть свой Богъ, есть задача, требующая гигантскихъ силъ. Мы знаемъ, что это за задача: это задача революціоннаго возрожденія Россіи, стоявшая передъ русскими демократами послѣ крушенія ихъ вѣры въ правительство (дѣйствіе романа происходитъ въ 1859 году). И самъ Тургеневъ поставилъ точку надъ і, заявивъ въ послѣдствіи: „если Базаровъ называется нигилистомъ, то надо читать революціонеръ“...

Почти то же самое можно повторить о цѣломъ рядѣ другихъ „нигилистовъ“, главнымъ образомъ о тѣхъ изъ нихъ, которые обрисованы съ положительной стороны. Какіе же „нигилисты“ всѣ герои Чернышевскаго, хотя бы, напримѣръ, тотъ же Рахметовъ, заполненный все той же революціонной идеей и приносящій ей въ жертву всю свою жизнь? Или герои романовъ Слѣпцова и Омулевскаго („Свѣтловъ“), точно также поставившіе цѣлью жизни это завѣтное слово „революція“? Народъ, благо народа—вотъ высшая объективная цѣнность всѣхъ этихъ „нигилистовъ“, какъ ни стараются они выставить себя „трезвыми эгоистами“, чуждыми всякаго „романтизма“; если это называть нигилизмомъ, то мы очень запутаемся въ терминологіи. Всѣхъ такихъ людей Писаревъ назвалъ „реалистами“ и очень стоялъ за это слово (въ своей полемикѣ съ Антоновичемъ), указывая, что онъ первый приложилъ къ нимъ это названіе. Если мы пожелаемъ найти въ художественной литературѣ типъ нигилиста, то намъ придется обратиться не къ Базаровымъ, Рахметовымъ, Рязановымъ и Свѣтловымъ, а къ отрицательнымъ типамъ, нарисованнымъ такъ называемой „реакціонной беллетристикой“—къ романамъ Писемскаго, Лѣскова, Ключникова. Но и во „Взбаламученномъ морѣ“, и въ „Некуда“, и въ „Маревъ“ мы не найдемъ реального типа нигилиста шестидесятыхъ годовъ, а найдемъ коллекцію уродовъ и злодѣевъ (особенно въ романѣ Лѣскова), нарисованныхъ слишкомъ по-суздальски. Одинъ только гениальный Ф. Достоевскій подошелъ близко къ психологіи „нигилизма“ въ типѣ Раскольниковъ; но гро-

мадное философское значеніе „Преступленія и наказанія“ заслоняетъ собою отъ насъ бытовое значеніе этого романа. Принципъ абсолютнаго эгоизма, выведенный какъ слѣдствіе изъ естественныхъ наукъ и являющійся въ то же время результатомъ отрицанія всякихъ объективныхъ и субъективныхъ цѣнностей, несомнѣнно, былъ присущъ нигилизму конца шестидесятыхъ годовъ: Достоевскій только углубилъ этотъ несомнѣнный фактъ теоріей Раскольникова „все позволено“ (впослѣдствіи еще болѣе имъ углубленной въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“). А что этотъ фактъ несомнѣненъ, мы знаемъ изъ неоспоримыхъ показаній очевидцевъ; однимъ изъ главныхъ является въ этомъ случаѣ Михайловскій, самъ пережившій въ концѣ шестидесятыхъ годовъ полосу „нигилизма“, но вскорѣ сумѣвшій выйти изъ этой мертвящей полосы; другимъ очевидцемъ, но уже „стороннимъ свидѣтелемъ“ былъ Герценъ, которому пришлось въ концѣ шестидесятыхъ годовъ близко столкнуться съ „нигилистами“ русской эмиграціи.

„Русскій нашъ нигилизмъ въ своемъ началѣ былъ, собственно, одно безплодное отрицаніе, — рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ Пироговъ: — какая-то вялая обломовщина въ чисто русскомъ вкусѣ. Сидитъ, лежитъ и отрицаетъ. Дважды два — четыре: а кто мнѣ сказалъ, что дважды два четыре? На то Богъ умъ далъ. А кто его, этого Бога-то, знаетъ? Это идеаль. А что такое идеаль? Выше того, что видишь и щупаешь, ничего нѣтъ — и прочее и прочее въ этомъ родѣ. Такихъ, по крайней мѣрѣ, господъ я встрѣчалъ подъ названіемъ нигилистовъ...“ Эта характеристика относится къ тому времени развитія воинствующаго „реализма“, когда въ его задачу входило отрицаніе всего стараго, ломка направо и налево; но Пироговъ не замѣтилъ положительнаго значенія этого теченія, его политической революціонности, его стремленія къ благу народа. Мы знаемъ, что, по мысли Тургенева, Базаровъ — не только „нигилистъ“, но и революціонеръ; такимъ же является по мысли Чернышевскаго — Рахметовъ, такими были даже Лопуховъ и Кирсановъ. Крайне интересно, что въ этихъ людяхъ Чернышевскій хотѣлъ видѣть будущихъ реформаторовъ и спасителей Россіи; не лишнее привести здѣсь его предсказанія о будущности этого типа людей. „Недавно родился этотъ типъ, — писалъ Чернышевскій въ 1863 году, — и быстро распложается. Онъ рожденъ временемъ, онъ знаменіе времени, и сказать ли? онъ исчезнетъ вмѣстѣ со своимъ временемъ, недолгимъ временемъ. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью. Шесть лѣтъ тому назадъ этихъ людей не видѣли; три года тому назадъ презирали; теперь... но все равно, что думаютъ о нихъ теперь; черезъ нѣсколько лѣтъ, очень немного лѣтъ, къ нимъ будутъ взывать: спасите насъ! и что будутъ они говорить, будетъ исполняться всѣми; еще немного лѣтъ, быть можетъ и не лѣтъ, а мѣсяцевъ, и станутъ ихъ проклинять, и они будутъ согнаны со сцены, ошиканые, срамимые. Такъ что же, шикайте и срамите, гоните и проклиняйте, вы получили отъ нихъ пользу, этого для нихъ довольно, и подъ шумъ шиканья, подъ громъ проклятій они сойдутъ со сцены гордые и

скромные, суровые и добрые, какъ были...“ Такою рисовалась Чернышевскому грядущая революція (мы знаемъ, что онъ ждалъ ее къ 1865 году) и неизбежная за нею реакція; дѣятелями этой революціи должны были стать тѣ самые „реалисты“, которыхъ еще „не видѣли“ въ 1857 году, которыхъ „презирали“ и бранили „нигилистами“ въ 1860—1 гг... Въ этихъ людяхъ Чернышевскій хотѣлъ видѣть главныхъ дѣятелей грядущей революціи, жертвующихъ личнымъ счастьемъ общественному благу.

Случилось иначе. Вслѣдствіе цѣлаго ряда общественныхъ условий, лучшіе изъ этихъ людей были лишены возможности служить обществу; никакой революціи не послѣдовало, а бѣлый терроръ реакціи 1866 и слѣдующихъ годовъ нанеся сильный ударъ мечтаніямъ лучшихъ изъ „реалистовъ“. Къ этому времени и относится не столько появленіе, сколько проявленіе того дѣйствительно нигилизма, т.-е. отрицанія всякихъ и объективныхъ и субъективныхъ цѣнностей, о которомъ мы упоминали выше. Непослѣдовательный утилитаризмъ выродился и не могъ не выродиться въ систему самого послѣдовательнаго абсолютнаго эгоизма; „мыслящіе реалисты“, какъ типъ, обратились въ нигилистовъ. Какъ случилось это превращеніе, объ этомъ красочно и подробно рассказываетъ Михайловскій въ своей статьѣ „Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ“ (1870 г.); онъ показываетъ, какъ поколѣніе начала шестидесятыхъ годовъ стало бороться съ „насъ возвышающимъ обманомъ“ во всѣхъ областяхъ общественной и личной жизни, какъ оно стало на мѣсто этого возвышающаго обмана ставить „низкія истины“, какъ дошло оно на этомъ пути до крайности, до расхожденія теоріи съ непосредственнымъ чувствомъ. „Напримѣръ: жертва есть сапоги въ смятку. Отцы наши (въ эпоху до крымской войны) много, слишкомъ много толковали о величій и необходимости жертвъ, о жертвахъ Богу, отечеству, народу, любящему человѣку и проч., и проч. Это были лукавыя рѣчи, насъ возвышающій обманъ. И когда чаша переполнилась и пролилась, мы стали искать соотвѣтственныхъ низкихъ истинъ... Сначала пошло въ ходъ обличеніе. Открылось, что толки о жертвахъ вполне совмѣстимы съ обереганіемъ собственной шкуры во что бы то ни стало, съ поставкой на армію сапогъ безъ подошвъ и гнилой муки и т. д. За обличеніемъ слѣдовала провѣрка старыхъ идеаловъ, затѣмъ изслѣдованіе реальнаго дна круга явленій, связаннаго съ понятіемъ жертвы и самоотверженія. Реальное дно оказалось весьма просто: человѣкъ есть эгоистъ, каждый его шагъ, даже повидимому самый великодушный и самоотверженный, направленъ цѣликомъ къ пользамъ и наслажденіямъ его самого; самоотверженіе есть только частный случай самосохраненія; жертва есть фикція, нѣчто въ дѣйствительности не существующее—сапоги въ смятку. Останавливаясь на этой формулѣ, мы упускали изъ виду, что, во-первыхъ, расширение личнаго я до степени самоотверженія, до возможности переживать чужую жизнь—столько же реально, какъ и самый грубый эгоизмъ; и что, во-вторыхъ, формула—жертва есть сапоги въ смятку—

не покрываетъ нашего психическаго содержанія, ибо болѣе чѣмъ когда-нибудь мы были готовы приносить всевозможныя жертвы“... (Ор. cit., 38—39). И такимъ же путемъ строились и другія „низкія истины“ шестидесятниковъ. Любовь исчерпывается половымъ влеченіемъ; нравственно все, что естественно; наука должна служить исключительно практическимъ цѣлямъ... Эти и тому подобныя „низкія истины“ были для шестидесятниковъ лишь теоретическими положеніями міровоззрѣнія, а не практическими правилами поведенія; непосредственное чувство плохо подгонялось подъ эти параграфы эгоистическаго кодекса. И отказъ отъ всякихъ объективныхъ и субъективныхъ цѣнностей,—нигилизмъ—начался только тогда, когда непосредственное чувство перестало противорѣчить этому кодексу эгоизма, когда эти ошибочныя въ своей односторонности теоретическіе принципы стали въ то же время и правилами поведенія, когда эти мертвыя формулы были изолированы отъ живого процесса ихъ выработки. Въ той же своей статьѣ Михайловскій ясно обрисовываетъ это начало конца реализма, его вырожденіе въ отрицаніе всякихъ моральныхъ цѣнностей, въ нигилизмъ.

„...Мы вынесли много ломки, страданій и внутренней борьбы изъ-за этого разлада нашихъ скрытыхъ идеаловъ съ нашимъ открытымъ реализмомъ,—говоритъ Михайловскій въ этой своей статьѣ 1873 г., цитатой изъ которой мы заключимъ характеристику нигилизма.—Теперь все это уже улеглось. Кто сумѣлъ выкарабкаться, кто погибъ жертвой разлада, кто затонулъ въ омутѣ мелкой жизни, кто до сихъ поръ тянетъ старую канитель, но уже безъ стараго увлеченія и азарта. Недалеко отъ насъ это время—всего нѣсколько лѣтъ, но въ эти нѣсколько лѣтъ утекло такъ много воды, что будто цѣлая пропасть отдѣляетъ насъ отъ недавней поры исканія низкихъ истинъ для ниспроверженія насъ возвышающихъ обмановъ. Приливъ кончился, начался отливъ. Какъ волны морскія, отхлынувъ отъ берега, оставляютъ на немъ рыбъ, моллюсковъ, которымъ предстоитъ умереть внѣ родной стихіи, такъ и волны нашего общественнаго движенія, отхлынувъ, оставили на берегу вышеприведенныя краткія и грубыя формулы, которыя сами по себѣ, безъ оживляющаго насъ недавно духа, мертвы...“ (Ibid.) И вотъ эти-то мертвыя формулы стали практическими правилами поведенія нигилизма; виѣшняя форма осталась прежней, но одухотворявшее ее содержаніе медленно умирало. Такъ совершалась духовная агонія идеологій шестидесятника-разночинца и паденіе самаго этого общественнаго типа, съ такой силой и бодростью начинавшаго свое общественное служеніе десятью годами ранѣе, принявшагося за работу съ такой вѣрою въ высшія цѣнности человѣческаго духа.

Цѣнныя наблюденія надъ этой печальной эволюціей типа разночинца-шестидесятника оставилъ намъ Герценъ, не одинъ разъ обращавшійся къ характеристикѣ „нигилизма“ въ различныхъ стадіяхъ его развитія. Герценъ не могъ сойтись близко даже съ лучшими изъ представителей разночинцевъ шестидесятыхъ годовъ—съ Чернышев-

скимъ и Добролюбовымъ; противъ нѣкоторыхъ тактическихъ (и, по мнѣнію Герцена, безтактныхъ) литературныхъ приѣмовъ этихъ руководителей „Современника“ Герценъ выступилъ съ довольно рѣзкой статьей „Very dangerous!!!“ еще въ 1859 году („Колоколъ“ № 44). Чернышевскій ѣздилъ по этому поводу въ Лондонъ объясняться съ Герценомъ, но понять и простить другъ другу многое, разъединяющее ихъ, два эти представителя различныхъ поколѣній и различныхъ общественныхъ типовъ не могли. Для Чернышевскаго Герценъ былъ представителемъ типа лишнихъ людей, чѣмъ - то вродѣ „хорошаго остова мамонта, интересной ископаемой кости, принадлежащей міру иного солнца и другихъ деревьевъ“; для Герцена Чернышевскій былъ представителемъ типа „желчевиковъ“, озлобленныхъ разночинцевъ, исполненныхъ желчи и отравы, но представляющихъ хотя болѣзненный, однако и явный шагъ впередъ. Но, предсказывалъ Герценъ, и эти „желчевики“—лишь кратковременные дѣятели на поприщѣ развивающагося русскаго сознанія: „лишніе люди сошли со сцены, за ними сойдутъ и желчевики, наиболѣе сердящіеся на лишнихъ людей. Они даже сойдутъ очень скоро... Смѣна имъ идетъ; мы уже видимъ, какъ... являются совсѣмъ иные люди съ непочатыми силами и крѣпкими мышцами, и, можетъ, намъ, старикамъ, еще придется черезъ болѣзненное поколѣніе протянуть руку кряжу свѣжему, который кротко простится съ нами и пойдетъ своей широкой дорогой...“ („Лишніе люди и желчевики“). Кое-что въ этомъ Герценъ предсказалъ вѣрно: дѣйствительно, шестидесятники скоро сошли со сцены, а черезъ ихъ головы протянули руку Герцену представители народничества семидесятыхъ годовъ, Лавровъ и Михайловскій *). Но Герценъ упустилъ изъ виду тяжелый процессъ разложенія идеологій шестидесятника, тяжелый періодъ идейнаго междуцарствія конца шестидесятыхъ годовъ съ его нигилизмомъ. Этому явленію Герценъ посвятилъ не мало вниманія, когда увидѣлъ, что „желчевики“, которыхъ онъ не сумѣлъ оцѣнить, замѣнились не „свѣжимъ и здоровымъ“ поколѣніемъ, а поколѣніемъ, доведшимъ до крайности всѣ виѣшнія и внутреннія противорѣчія людей начала шестидесятыхъ годовъ. Сперва пришли Базаровы, затѣмъ Лопуховы и Кирсановы, затѣмъ уже и представители дѣйствительнаго нигилизма. Между книгой и жизнью, замѣчаетъ Герценъ, существуетъ обоюдостороннее взаимодействие: „книга беретъ весь складъ изъ того общества, въ которомъ возникаетъ, обобщаетъ его, дѣлаетъ болѣе нагляднымъ и рѣзкимъ и вслѣдъ затѣмъ бываетъ обойдена реальностью. Оригиналы дѣлаютъ шаржу своихъ рѣзко отгнанныхъ портретовъ и дѣйствительныя лица вживаются въ свои литературныя тѣни... Русскіе молодые люди... послѣ 1862 года почти всѣ были изъ „Что дѣлать?“ съ прибавленіемъ нѣсколькихъ базаровскихъ чертъ...“ („Еще разъ Базаровъ“, письмо первое). Эти шаржированные Базаровы и Лопу-

*) Герценъ замѣтилъ и оцѣнилъ центральную статью Михайловскаго „Что такое прогрессъ?“; въ письмѣ къ Огареву отъ 1869 г., порицая тяжелую виѣшнюю форму изложенія, онъ замѣчаетъ однако, что „сущность хороша“.

ховы были шагомъ назадъ сравнительно съ „желчевиками“, людьми съ широкимъ кругозоромъ, несмотря на всю свою нетерпимость; „съ появленіемъ этихъ новыхъ людей горизонтъ нашъ не расширился, а сузился“, рассказываетъ Герценъ. Послѣ нихъ пришли, наконецъ, типичные нигилисты, „тѣ ультра, тѣ угловатые и шершавые представители новаго поколѣнія, которыхъ можно назвать Собакевичами и Ноздревыми нигилизма“, и которые представляютъ „черезчурную крайность“ въ развитіи своего поколѣнія; правда, Герценъ надѣялся, что „все это переработается и перемелется“, но онъ не могъ не впасть въ уныніе, видя, какъ „многообѣщающіе всходы проросли... дантистами нигилизма и базаровской безпардонной вольницы“ („Общій фондъ“, „Былое и думы“). Эти представители нигилизма уперлись въ тупикъ, довели до абсурда скрытыя противорѣчія міровоззрѣнія шестидесятыхъ годовъ; міровоззрѣніе это было разрушено не ударами противниковъ, а внутреннимъ процессомъ саморазложенія.

Этимъ закончились шестидесятые годы. Слѣдующему десятилѣтію предстояло разобраться въ полученномъ наслѣдствѣ, отдѣлить пшеницу отъ плевелъ, построить новое зданіе на старомъ фундаментѣ и примирить взгляды и воззрѣнія разночинцевъ и кающихся дворянъ. Мы знаемъ, что и тѣ и другіе довели въ шестидесятыхъ годахъ свои воззрѣнія до тупика: гипертрофія „уязвленной совѣсти“ кающагося дворянина привела его къ бесплодной въ общественномъ отношеніи теоріи личной „святости“, а гипертрофія „возмущенной чести“ разночинца привела его въ концѣ-концовъ къ самоудовлетворенію въ теоріи абсолютнаго эгоизма, къ отрицанію всякихъ цѣнностей—къ нигилизму. Это былъ тупикъ, изъ котораго не было выхода. Надо было вернуться назадъ, надо было соединить все здоровое, что дали русскому сознанію шестидесятые годы; сдѣлать это выпало на долю критическому народничеству семидесятыхъ годовъ въ лицѣ его главныхъ представителей—Лаврова и Михайловскаго. Въ 1868—1870 гг. появляются знаменитыя „Историческія письма“ Лаврова, вскорѣ начинается „хождение въ народъ“; теорія абсолютнаго эгоизма отбрасывается въ сторону, какъ явно ложная: все это—капитуляція разночинца кающемуся дворянину. Но и послѣдній съ этихъ поръ принимаетъ отъ разночинца идею личности; благо народа и благо личности сливаются въ единомъ критеріи Михайловскаго и этимъ преодолевается тотъ нигилизмъ, который такъ рѣзко отвергалъ всяческія цѣнности.

Все это, конечно, тотчасъ же находитъ отраженіе и въ художественной литературѣ семидесятыхъ годовъ, подобно тому, какъ въ литературѣ шестидесятыхъ годовъ ярко отразились всѣ общественныя и умственныя теченія эпохи. Литературныя теченія и литературная критика шестидесятыхъ годовъ освѣщаютъ съ разныхъ сторонъ тѣ соціальныя, этическія и эстетическія воззрѣнія, которыя мы отмѣтили въ настоящей статьѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Литературное и критическое движеніе шестидесятихъ годовъ.

Ч. Вѣтринскаго (Вас. Е. Чешихина).

Общественное движеніе первой половины царствованія Александра II вызвало значительный подъемъ литературныхъ силъ. Содержаніе литературы одновременно растетъ и въ ширь и въ глубину, общественные вопросы и интересы громко заявляютъ въ ней о себѣ, и въ свою очередь литературныя произведенія иногда создаютъ и опредѣляютъ настроеніе, даютъ въ обществѣ форму неяснымъ еще для него, смутнымъ глубокимъ стремленіямъ и теченіямъ. Значеніе и авторитетъ художественной и критической литературы подняты на огромную высоту. Прежнія литературныя споры о формѣ и языкѣ, о романтизмѣ и натуральности давно забыты. Полновластная, присущая безсознательно почти всѣмъ, стихія—художественный бытовой реализмъ. Все вниманіе критики и читателей направлено на общественное содержаніе и смыслъ литературныхъ созданій, и все рвется впередъ, говорить о новой общественной жизни, о новомъ строѣ и новыхъ людяхъ. Литература и критика, какъ въ тридцатые и сороковые годы, дышатъ особо напряженной жизнью, и эта энергія жизненнаго расцвѣта дѣлаетъ это время особо плодотворнымъ для дальнѣйшаго литературнаго движенія и особо интереснымъ для историка.

Съ внѣшней стороны это время можетъ быть удобно, въ цѣляхъ обзора, раздѣлено на два періода. Первый изъ нихъ, отъ 1855 года до освобожденія крестьянъ, обнимаетъ время радужныхъ пылкихъ надеждъ на скорое и полное обновленіе родины. Тогда развертывается съ необыкновеннымъ блескомъ художественная дѣятельность „плеяды сороковыхъ годовъ“ и критическая дѣятельность непосредственныхъ преемниковъ Бѣлинскаго—Чернышевскаго и Добролюбова. Съ освобожденія крестьянъ все болѣе и болѣе выясняется въ общественномъ сознаніи, что дѣйствительное обновленіе Россіи встрѣчаетъ тысячи препятствій со стороны правительствующей олигархіи и бюрократіи и связанныхъ съ ними общественныхъ слоевъ. Еще въ

сороковые годы намѣчалось извѣстное разслоеніе въ литературно-общественныхъ взглядахъ. Теперь оно сказывается рѣзко. Выступить въ весьма острой формѣ вопросъ не только о правительствѣ и его системѣ, съ одной стороны, и обществѣ—съ другой, но и вопросъ о явленіяхъ внутри этого общества, возникаетъ вопросъ объ отцахъ и дѣтяхъ. На сценѣ такъ называемый нигилизмъ и руководство общественнымъ мнѣніемъ и литературною критикой отъ „Современника“, гдѣ подвизались Чернышевскій и Добролюбовъ, на время переходитъ къ критику „Русскаго Слова“ Писареву. Въ то же время происходитъ жесточайшая борьба противъ этого теченія, и намѣчаются настроенія, которыя разовьются и получаютъ преобладаніе въ семидесятыхъ уже годахъ.

I.

Съ самаго начала новаго царствованія и въ особенности послѣ заключенія парижскаго міра (1856 г.) русское общество охвачено какимъ-то лирическимъ порывомъ стремленій ликвидировать прошлое и начать новую жизнь. Герценъ прекрасно формулировалъ, еще въ письмѣ Александру II при вступленіи его на престолъ, тогдашній, довольно скромный минимумъ общественныхъ желаній: „Государь, дайте свободу русскому слову,—писалъ изгнанникъ:—уму нашему тѣсно, мысль наша отравляетъ нашу грудь отъ недостатка простора, она стонетъ въ цензурныхъ колодкахъ. Дайте намъ вольную рѣчь!.. намъ есть что сказать міру и своимъ! Дайте землю крестьянамъ! Она и такъ имъ принадлежитъ. Смойте съ Россіи позорное пятно крѣпостного состоянія, залѣчите синіе рубцы на спинѣ нашихъ братьевъ—эти страшные слѣды презрѣнія къ человѣку“.

Исполненіе этихъ пожеланій рисовалось съ конца 1857 г. въ непосредственной близости. Общее восторженное настроеніе выразилось въ извѣстномъ гимнѣ Ивана Аксакова „На новый 1858 годъ“ („День встаетъ багряный и пышный“), въ радостныхъ привѣтствіяхъ поэтовъ Некрасова, Плещеева, Майкова, Бенедиктова, Розенгейма и друг. Типическимъ образцомъ этой лирики, переполнившей тогда журналы, можетъ служить, наприм., слѣдующее стихотвореніе Жемчужникова, въ которомъ характерна именно туманная неопредѣленность ликования:

Мы долго лежали повергнуты въ прахъ,
 Не мысля, не видя, не слыша;
 Казалось, мы заживо тлѣли въ гробахъ,
 Забита тяжелая крыша;
 Но вспыхнувшій свѣточъ вдругъ вышелъ изъ тьмы,
 Какъ будто бы рѣчь прозвучала,—
 И всѣ, вострепнувшись, воспрянули мы,
 Почувявъ благое начало...
 Въ насъ сердце забилося, духъ жизни воскресъ,
 И гимномъ хвалы и привѣта
 Мы встрѣтили даръ просіявшихъ небесъ
 Въ рожденіи слова и свѣта.

Герценъ въ эту пору сказалъ свое „Нынѣ отпускаеши“ знаменитую статью въ „Колоколѣ“, начинавшеюся словами: „Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!“, и Чернышевскій, вскорѣ столь скептическій и холодно враждебный, горячо сравнивалъ дѣло Александра II съ реформой Петра Великаго, говорилъ о его „всемірно-историческомъ значеніи“, о грядущемъ благословеніи временъ Александра II славою, высочайшею въ мірѣ.

„Медовый мѣсяцъ русскаго прогресса“, какъ называютъ иногда это начало шестидесятыхъ годовъ, создалъ, прежде всего, покаянную „обличительную“ литературу. Само правительство спѣшило тогда заявить, что оно не защищаетъ „злоупотребленій“, что они должны быть обличаемы.

Типичнымъ представителемъ этого обличительнаго, съ дозволенія начальства, и ликующаго жара былъ давно забытый, а тогда весьма популярный поэтъ Михаилъ Павловичъ Розенгеймъ (1820—1887). Его стихи (первое ихъ собраніе вышло въ 1858 г.) содержатъ безчисленное множество общихъ мѣстъ о позорѣ злоупотребленій и взяточничества, но все изображено въ столь общихъ и нереальныхъ чертахъ, что, конечно, настоящіе герои взятки и произвола чувствовали себя весьма мало затронутыми... Тѣмъ болѣе, что авторъ, обличая „воеводъ“, въ то же время, не отрѣшался отъ лозунговъ официальной народности. Розенгейму вторили Бенедиктовъ и др.

Въ томъ же духѣ либеральной трескучей фразы шумѣлъ имѣвшій тогда огромный успѣхъ водевиль графа В. А. Соллогуба „Чиновникъ“. Герой комедіи, либеральный чиновникъ Надимовъ, вызывалъ въ театрахъ бурю рукоплесканій, когда—по ремаркѣ автора—„съ чувствомъ“ декламировалъ: „Надо плакать и каяться, и слезами покаянія стереть пятно (взяточничество), наложенное на насъ вѣками. Надо вникнуть въ самихъ себя, надо исправиться, надо крикнуть на всю Русь, что пришла пора—и, дѣйствительно, она пришла—искоренить зло съ корнями!“. И устами Надимова авторъ требовалъ, чтобы каждый, „кто дорожитъ честью своего края, пожертвовалъ собой, и, не гнушаясь мелкихъ должностей, въ себѣ показывалъ бы другимъ образецъ“. Николай Михайловичъ Львовъ (1821—1872) въ pendant къ этому написалъ водевиль „Не мѣсто человѣка красить, а человекъ—мѣсто“, герой котораго, кандидатъ университета, занялъ изъ этихъ побужденій мѣсто становаго пристава.

До сихъ поръ сохранили значеніе немногія произведенія, въ которыхъ „злоупотребленія“ были освѣщены не въ качествѣ уклоненій отъ нынѣ якобы водворенныхъ началъ правды и законности, но какъ порожденія прочнаго бытового уклада русской жизни, какъ нѣчто неразрывно связанное съ ея общественно-политическимъ нестройствомъ.

Первое мѣсто принадлежало здѣсь, конечно, М. Е. Салтыкову, съ 1856 года печатавшему въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ „Губернскіе очерки“. Первые „разказы подъячаго“ вводили въ особый міръ все-

властія провинціальной администраціи и канцеляріи надъ крестьянствомъ, мѣщанствомъ, мелкимъ купцомъ, инородцами, старообрядческимъ міромъ. Развертывалась галлерей портретовъ дѣятелей губернской администраціи вродѣ хищнаго и благонамѣреннаго Порфирія Петровича. Общій гоголевскій тонъ этой сатиры нравовъ не исключаетъ значительной доли самостоятельности мотивовъ Салтыкова. Теплое отношеніе къ мелкой служебной сошкѣ, которая втягивалась во взяточничество исключительно подъ давленіемъ нужды и влачила самое жалкое существованіе („Первый шагъ“); міръ острожниковъ, среди которыхъ было также множество жертвъ полицейскаго крючкотворства и судейской волокиты прежняго чудовищнаго приказнаго суда; странники и богомольцы, въ скитаніяхъ которыхъ авторъ уловилъ поэтическіе мотивы исканія правды и мечты о лучшемъ будущемъ,—все это вмѣстѣ произвело на читателей огромное впечатлѣніе. „Губернскіе очерки“ Чернышевскій тогда же объявилъ не только прекраснымъ литературнымъ явленіемъ: „эта благородная и превосходная книга принадлежитъ къ числу историческихъ фактовъ русской жизни. „Губернскими очерками“ гордится и долго будетъ гордиться наша литература. Въ каждомъ порядочномъ чловѣкѣ русской земли Щедринъ имѣетъ глубокаго почитателя. Честно имя его между лучшими и полезнѣйшими и даровитѣйшими дѣтьми нашей родины“. Любопытнымъ показателемъ этого впечатлѣнія было заявленіе въ одномъ изъ журналовъ молодого критика Басистова о томъ, что гоголевскій періодъ русской литературы теперь кончился и начался новый—щедринскій.

Въ „Губернскихъ очеркахъ“, подъ очевиднымъ вліяніемъ радужнаго настроенія въ обществѣ, Салтыковъ относился къ изображаемому быту, какъ къ явленію уже отживающему. „Прошлыя времена хоронятъ!“—рисовалась ему цѣлая процессія вымирающихъ типовъ города Крутогорска. Но въ дѣйствительности Крутогорскъ только уступилъ мѣсто всероссійскому Глупову, съ которымъ сатирику далѣе и приходится считаться въ теченіе многихъ лѣтъ. Одною изъ чертъ сатиры Салтыкова навсегда останется преслѣдованіе и осмѣяніе старой крѣпостной Россіи, дѣйствующей подъ новыми ярлыками, новыми лицами въ администраціи, обществѣ, семьѣ новой Россіи.

Вслѣдъ за Салтыковымъ рядъ беллетристовъ также старается, усвоивъ внѣшнюю его манеру, дать обличеніе дореформенныхъ порядковъ. Но по цензурнымъ условіямъ „обличителями“ не было дано сколько-нибудь исчерпывающей картины основы дореформеннаго быта—крѣпостного права; лишь отрывками, въ связи съ обличеніями „злоупотребленій“ чиновничества, затрогивались тѣ или инныя стороны крѣпостного быта. Изъ подражателей Щедрина обратили на себя вниманіе рассказы и повѣсти Андрея Печерскаго (П. И. Мельникова, чиновника-расколовѣда): „Поярковъ“, „Медвѣжій уголъ“, „Старые годы“; далѣе, заставляли говорить о себѣ: „Откупное дѣло“ В. Н. Елагина (1831—1863), „Провинціальныя воспоминанія“ И. В. Сели-

ванова († 1882) и др. Въ концѣ-концовъ литература этого рода измелъчала до крайности. Лучше всего она обрисована въ современной остротѣ Помяловскаго; въ романѣ „Молотовъ“ одинъ беллетристъ-обличитель сознается, какъ онъ пишетъ: „откроешь сводъ законовъ, прочитаешь статьи, нарушишь ихъ и припишешь это какому-нибудь чиновнику... при этомъ обстановочка маленькая, современный духъ... ну, и ничего, платятъ за это деньги—все же на „табакъ годится!“... Беллетристика часто сливалась здѣсь съ первыми попытками публицистическаго отношенія къ жизни. Такъ, въ 1859 г. нашумѣлъ рассказъ Павла Ивановича Якушкина, беллетриста-этнографа, о томъ, какъ посадилъ его подъ арестъ псковскій полицеймейстеръ Гемпель, заподозривъ въ немъ злоумышленника. Между художественной сатирой и текущею публицистикой съ ея обличеніями создавалась тогда промежуточная область, которою всецѣло занялась „Искра“, сатирическій журналъ, въ 1859 году основанный остроумнымъ поэтомъ, переводчикомъ Беранже, В. Курочкинымъ и карикатуристомъ Н. Степановымъ. „Искрѣ“ удалось собрать вокругъ себя много видныхъ литературныхъ силъ, и въ теченіе ряда лѣтъ она была грозой для провинціальныхъ администраторовъ; страхъ попасть въ „Искру“ сдерживалъ многихъ. Со своими карикатурами, стихами-пародіями, рассказами и обличительными корреспонденціями, въ которыхъ подъ прозрачными псевдонимами узнавали себя провинціальныя города и ихъ дѣятели, „Искра“ долгіе годы была органомъ живой прогрессивной мысли. Вслѣдъ за „Искрою“ шли и другіе юмористическія изданія 50—60-хъ годовъ, „Гудокъ“, „Заноза“ и другія, и даже толстые журналы завели у себя фельетонно-сатирическія приложенія; особенную извѣстность завоевалъ „Свистокъ“ при „Современникѣ“.

Потокъ ликованія, гимны „хвалы и привѣта“, такъ же, какъ и поверхностное обличительство, должны были вскорѣ уступить мѣсто болѣе серьезной общественной мысли и ея отраженіямъ въ литературѣ. Общее согласіе и солидарность могли быть только мимолетны. Всѣ сходились только въ томъ, что старою дорогою итти невозможно. Соглашались, какъ умѣренно либеральный цензоръ Никитенко, что „главный недостатокъ царствованія Николая Павловича тотъ, что все оно было—ошибка. Возставая цѣлыя 29 лѣтъ противъ мысли, онъ не погасилъ ея, а сдѣлалъ оппозиціонною правительству“. Само собою разумѣется, что давняя оппозиціонность этой мысли могла быть только на короткое время сглажена готовностью со стороны правительства итти на уступки требованіямъ жизни, экономического развитія и гуманнаго общественнаго мнѣнія. Ждали огромнаго соціальнаго перестроя: крѣпостное право, административный и бюрократическій произволъ, старый судъ, система образованія и т. д.; и т. п.—все должно было претерпѣть громадныя измѣненія или совершенную отміну. Понятно, что назрѣвшія реформы, которыя диктовались государству инстинктомъ самосохраненія, не

могли быть совершены однимъ почеркомъ пера; онѣ должны были преодолевать громадное треніе и сопротивленіе со стороны всѣхъ заинтересованныхъ въ сохраненіи стараго порядка общественныхъ силъ, и главныхъ изъ числа ихъ—дворянства и правящей бюрократіи. Ихъ дружныя усилія затормозить реформы или добиться по крайней мѣрѣ того, чтобъ онѣ возможно обмелѣли и возможно меньше затронули прежнихъ господъ положенія, были безуспѣшны. Скоро выяснилось, что само реформирующее правительство очень чутко прислушивается къ этимъ голосамъ, и тогда, конечно, не могло не возродиться снова оппозиціонное правительству настроеніе со стороны друзей реформы.

Эта оппозиція была во много разъ усилена тѣмъ, что къ ней примкнули новые слои русскаго образованнаго общества. Ломка сословныхъ перегородокъ, ростъ государства, увеличеніе числа учебныхъ заведеній, болѣе свободный доступъ въ университеты, экономическое оживленіе послѣ застоя,—все это содѣйствовало тому, что на общественную арену, въ томъ числѣ и въ литературу, хлынулъ „разночинецъ“. Въ умственной жизни страны появленіе разночинца становится замѣтно уже въ концѣ сороковыхъ годовъ (петрашевцы, кружокъ И. Введенскаго). Теперь эта разночинная интеллигенція, выходящая изъ духовнаго, чиновнаго и мѣщанскаго сословія, даетъ преимущественную окраску общественнымъ настроеніямъ и литературѣ. Оппозиція правительству естественно дѣлается тѣмъ болѣе опредѣленною и рѣзкою, что оно, стремясь сохранить свои абсолютныя права, попрежнему держится дворянскихъ и бюрократическихъ интересовъ, а разночинецъ хорошо знаетъ на горькомъ опытѣ, что такое преобладаніе правъ и преимуществъ дворянства и бюрократіи. Интеллигенція прежняго состава, преимущественно дворянскаго, люди сороковыхъ годовъ, съ наступленіемъ эпохи реформъ, довольно легко были готовы удовлетвориться тѣмъ, что дѣлало правительство, когда стремилось придать абсолютическому государству нѣсколько болѣе европейскій видъ. Эта старая интеллигенція не раздѣляла того глубочайшаго исконнаго недовѣрія и нерасположенія къ дворянскому правительству, какимъ проникнута разночинная интеллигенція; напр., благодушно полагаясь на добрую волю правительства, эти люди не смущались бюрократическимъ ходомъ реформъ, хотя многіе охотно готовы были сказать „все для народа“.

Новая интеллигенція, въ лицѣ своихъ талантливейшихъ представителей, отвернулась прежде всего отъ поверхностнаго обличительства и обязательной фразы о достигнутыхъ родиною успѣхахъ—„въ настоящее время, когда...“. Въ лицѣ Чернышевскаго (въ его публицистикѣ) она преслѣдовала всякій поверхностный либерализмъ, довольствующійся видимостью реформъ, и усвоила себѣ совершенно радикальное—въ религіи, философіи и общественности—міровоззрѣніе, со склонностью къ социалистическимъ идеямъ. Настроеніе кри-

тическое, оппозиціонное, по мѣрѣ того, какъ опредѣленіе становится яснымъ, что реформамъ скоро будетъ конецъ, переходить въ революціонное. Итакъ, эфемерность недавней общей солидарности правительства и общества становится очевидною, и скоро ничто ни въ литературѣ, ни въ публицистикѣ не напомнитъ о медовомъ мѣсяцѣ шестидесятыхъ годовъ.

II.

Возбужденіе критической мысли, такъ отличающее обозрѣваемый нами періодъ, сказалось съ особою силою въ литературной критикѣ. Наиболѣе вліятельными представителями ея были Николай Гавриловичъ Чернышевскій (1828—1889) и Николай Александровичъ Добролюбовъ (1836—1861).

И тотъ и другой прежде всего ученики Бѣлинскаго. „Литературныя стремленія, одушевлявшія критику гоголевскаго періода (т.-е. Бѣлинскаго),—заявить первый въ началѣ 1856 года въ своихъ „очеркахъ“ этого періода (въ „Современникѣ“),—кажутся намъ, какъ и всѣмъ здравомыслящимъ людямъ настоящаго времени, вполне справедливыми; мы всѣ привязаны къ ней горячею любовью преданныхъ и благодарныхъ учениковъ“. Близость Чернышевскаго къ Бѣлинскому такъ велика, что во многихъ случаяхъ онъ воспроизводитъ цѣликомъ цѣлыя страницы Бѣлинскаго, какъ лучшее выраженіе и своихъ взглядовъ на предметъ, какъ, напр., въ статьяхъ о Пушкинѣ. И точно также Добролюбовъ въ благоговѣйной замѣткѣ по поводу выхода въ свѣтъ сочиненій Бѣлинскаго (1859) признаетъ: „въ Бѣлинскомъ наши лучшіе идеалы“. Не въ меньшей мѣрѣ надо усмотрѣть въ обоихъ также вліяніе Герцена и особенно зарубежной полосы его дѣятельности. Еще въ Саратовѣ, учителемъ гимназіи, Чернышевскій мечтаетъ пойти по стопамъ Герцена. Добролюбовъ, ученикъ Чернышевскаго, долженъ быть признанъ ученикомъ Герцена, въ особенности въ области взглядовъ на народъ,—у Добролюбова замѣтно болѣе идеалистичныхъ, нежели у Чернышевскаго.

Какъ Бѣлинскій, оба лидера радикализма шестидесятыхъ годовъ—послѣдователи Фейербаха, Бруно Бауера и пр., атеисты и материалисты, и какъ у Фейербаха, съ его знаменитымъ тезисомъ—*homo homini Deus*—высочайшее уваженіе къ человѣческой личности, защита ея неотъемлемыхъ нравственныхъ правъ и достоинства—основной, религіозный по энергіи своей, мотивъ ихъ проповѣди. Разумъ несетъ съ собою освобожденіе личности, онъ дастъ власть и побѣду надъ всѣми враждебными человѣку темными силами. Представленіе о соціально-экономическихъ силахъ, которымъ подчинена личность въ большей или меньшей степени, только временами мелькаетъ у нихъ, они по преимуществу просвѣтители и рационалисты, защитники освобождающей умъ и чувство науки. При этомъ наука понимается еще довольно широко, отнюдь не въ смыслѣ только естествознанія, какъ это увидимъ вскорѣ у Писарева. И въ каче-

ствѣ такой же просвѣтительной силы высоко поставлено и искусство. „Современное міросозерцаніе считаетъ науку и искусство такими же насущными потребностями человѣка, какъ пищу и питье“ (Чернышевскій, изложеніе диссертациі). „Какъ ни высоко цѣнимъ мы значеніе литературы, но все еще не цѣнимъ его достаточно: она неизмѣримо важнѣе почти всего, что ставится выше ея. Байронъ въ исторіи человѣчества лицо едва ли не болѣе важное, чѣмъ Наполеонъ, а вліяніе Байрона на развитіе человѣчества еще далеко не такъ важно, какъ вліяніе многихъ другихъ писателей, и давно уже не было въ мірѣ писателя, который былъ бы такъ важенъ для своего народа, какъ Гоголь для Россіи“ (изъ первой статьи о „гоголевскомъ періодѣ“). Ту же вѣру въ силу литературы хранитъ и Добролюбовъ все это время: „при извѣстной степени развитія народа литература становится одною изъ силъ движущихъ общество“ и т. д. („Литературныя мелочи“ и др.). Но „не надо намъ слова гнилого и празднаго, погружающаго въ самодовольную дремоту и наполняющаго сердце пріятными мечтами, а нужно слово свѣжее и гордое, заставляющее сердце кипѣть отвагою гражданина, увлекающее къ дѣятельности широкой и самобытной“ (ibidem). Литературно-критическая дѣятельность Добролюбова была лирическимъ манифестомъ новыхъ общественныхъ воззрѣній, исповѣдуемыхъ съ глубокою серьезностью, искренностью и страстью. И у Чернышевскаго, и у всѣхъ другихъ публицистовъ, къ нимъ примкнувшихъ, мы находимъ то же чаяніе будущаго соціальнаго вѣка, и оно окрашиваетъ ихъ рѣчь и въ области чисто литературной, и критической.

Общая схема эстетическихъ понятій этой группы писателей дана была Чернышевскимъ въ его „Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности“. Какъ самъ онъ объяснилъ въ послѣдствіи, онъ желалъ приложить къ эстетикѣ начала теоріи познанія Фейербаха: „онъ дѣлаетъ выводъ изъ той мысли Фейербаха, что воображаемый міръ только передѣлка нашихъ знаній о дѣйствительномъ мірѣ, производимая нашей фантазіей въ угожденіе нашимъ желаніямъ; что эта передѣлка блѣдна по интенсивности и скудна содержаніемъ сравнительно съ впечатлѣніями, производимыми на наши мысли предметами дѣйствительнаго міра“. Отсюда вытекли положенія диссертациі: „истинное опредѣленіе прекраснаго таково: „прекрасное есть жизнь“; прекраснымъ существомъ кажется чело-вѣку то существо, въ которомъ онъ видитъ жизнь, какъ онъ ее понимаетъ; прекрасный предметъ—тотъ предметъ, который напоминаетъ ему о жизни... Дѣйствительность не только живѣе, но и совершеннѣе фантазіи. Образы фантазіи только блѣдная и почти всегда неудачная передѣлка дѣйствительности... Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нѣкоторой степени познакомить насъ съ тѣми интересными сторонами жизни, которыхъ не имѣли мы случая испытать или наблюдать въ дѣйствительности... Воспроизведеніе

жизни—общій характеристическій признакъ искусства, составляющій сущность его; часто имѣютъ они и значеніе приговора о явленіяхъ жизни“...

Эти мысли были высказываемы уже Бѣлинскимъ и носились въ воздухѣ, какъ выраженіе стремленій къ дѣйствительной жизни вза-мѣнъ отвлеченныхъ разговоровъ о ней, на что обречена была мысль во всю предыдущую эпоху. Педантическое и сухое изложе-ніе диссертациі Чернышевскаго, предложенной на одобреніе про-фессоровъ старо-эстетической школы (какъ извѣстно, одобренія дис-сертациі не получила), не даетъ понятія, почему такое впечатлѣ-ніе произвела защита диссертациі въ 1855 году въ молодыхъ ли-тературныхъ кругахъ. „Это была цѣлая проповѣдь гуманизма, цѣлое откровеніе любви къ человѣчеству, на служеніе которому призыва-лось искусство“, съ восторгомъ вспоминаетъ объ этой защитѣ Шел-гуновъ. Воинствующій характеръ диссертациі и общественная под-кладка этихъ эстетическихъ воззрѣній гораздо яснѣе выражены въ статьѣ Чернышевскаго 1854 года (когда диссертациі была уже напи-сана) по поводу перевода сочиненія Аристотеля „О поэзіи“, сдѣлан-наго Ордынскимъ.

Чернышевскій въ этой рецензіи откровенно ополчается на хо-дятія фразы о сущности искусства, повторяющія все то же, что го-ворилось въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, въ пору романтиче-скихъ понятій объ искусствѣ, хотя само искусство и въ частности литература уже ушли отъ этихъ понятій на дѣлѣ: „Художникъ идеа-лизируетъ природу и людей. Сущность искусства въ созданіи идеа-ловъ. Въ человѣкѣ есть предчувствіе“ и потребность чего-то лучшаго и полнѣйшаго, нежели блѣдная и скучная дѣйствительность (проза жизни, по выраженію романистовъ), которой не удовлетворяется его бессмертный духъ. Это лучшее и полнѣйшее (идеалъ) живо пости-гается художникомъ и передается жаждущему человѣчеству въ со-зданіяхъ искусства“. Эти понятія Чернышевскій противопоставляетъ болѣе раннему, высказанному Аристотелемъ, но гораздо глубже раз-витому Платономъ представленію объ искусствѣ, какъ подражанію, что на современный языкъ переводится какъ „воспроизведеніе дѣй-ствительности“ и что вполнѣ соотвѣтствуетъ болѣе современному и глубокому пониманію искусства.

„Искусство для искусства“, говоритъ онъ—„мысль такая же странная въ наше время, какъ „богатство для богатства“, „на-ука для науки“ и т. д. Всѣ человѣческія дѣла должны служить на пользу человѣку, если не хотятъ быть пустымъ и празднымъ за-нятіемъ: богатство существуетъ для того, чтобы имъ пользовался человѣкъ, наука для того, чтобы быть руководительницею человѣка; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на безплодное удовольствіе“... И Чернышевскій горячо подчеркиваетъ роль искусства въ качествѣ образовательнаго и про-свѣтительнаго средства.

Въ устраненіе недоразумѣній самъ Чернышевскій горячо оспариваетъ утвержденія людей, „не считающихъ эстетики наукою, заслуживающею особаго вниманія, готовыхъ даже сказать, что эстетика ни къ чему не ведетъ и ни на что не нужна и, что пустоту ея мѣшаетъ видѣть развѣ только темнота ея“; онъ относитъ такія понятія на счетъ господствующихъ въ мертвой теоріи представленій объ „идеализирующемъ“ значеніи искусства. Особо и не разъ подчеркиваетъ, что формулируемый имъ взглядъ не есть „отрицаніе искусства“, превращеніе его въ служебную и тенденціозную публицистику. „Автономія — верховный законъ искусства, — говоритъ онъ вслѣдъ за Бѣлинскимъ (въ статьѣ о Щербинѣ):— пусть пишетъ онъ (поэтъ) въ такомъ родѣ, къ какому влечетъ его талантъ въ данное время,—хотя бы то была поэзія радости, примиренія. Кто имѣетъ право требовать отъ поэта, чтобы онъ насилывалъ свой талантъ? Можно требовать только, чтобы онъ старался развить себя, какъ чловѣка“.

Подобно этому и Добролюбовъ, собственно, не отрицаетъ эстетическихъ критеріевъ, и если статью о „Наканунѣ“ Тургенева и началъ проническою фразою: „эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень“, то разумѣетъ въ данномъ случаѣ пустопорожнее переливаніе фразъ о „красотахъ“ произведенія въ духѣ отвлеченнаго идеальничанья. О законности въ извѣстныхъ случаяхъ, именно эстетической критики (а не только публицистическаго освѣщенія даннаго художникомъ матеріала) Добролюбовъ говоритъ, напр., въ статьѣ о Достоевскомъ.

„Но подымать вѣчные законы искусства, толковать о художественныхъ красотахъ по поводу созданій современныхъ русскихъ повѣствователей — это такъ же смѣшно, какъ развивать теорію генераль-баса въ поощреніе тапера, не сбивающагося съ такта, или пуститься въ изложеніе математической теоріи вѣроятностей по поводу ошибки ученика, невѣрно рѣшившаго уравненіе первой степени“...

Такимъ образомъ, не эстетическій, но публицистическій методъ, болѣе или менѣе полное освѣщеніе соціального элемента въ художественныхъ созданіяхъ стоятъ на первомъ планѣ въ литературной критикѣ у обоихъ дѣятелей „Современника“.

Чернышевскій, съ исчерпывающею для своего времени полнотою, освѣтилъ въ своихъ „Очеркахъ гоголевскаго періода русской литературы“ общественно-воспитательную роль непосредственно предшествующей литературы и критики, особенно Гоголя и Бѣлинскаго. Тогда же, не менѣе чѣмъ Гоголь, поставленъ высоко Пушкинъ, вскорѣ жертва Писарева: „Каждая страница его (Пушкина) кипитъ умомъ и жизнью образованной мысли... Каждый стихъ, каждая строка бѣглыхъ замѣтокъ Пушкина затрогивала, возбуждала мысль, если читатель могъ пробудиться къ мысли. Это значеніе Пушкинъ продолжаетъ сохранять до нашего времени... Въ исторіи русской образованности Пушкинъ занимаетъ такое же мѣсто, какъ

и въ исторіи русской поэзіи... И да будетъ безсмертна память людей, служившихъ музамъ и разуму, какъ служилъ Пушкинъ“. Такъ и Добролюбовъ любитъ Пушкина, „какъ честь своей родины, какъ одного изъ вождей ея просвѣщенія“; „память Пушкина,—говоритъ онъ объ изданіи его сочиненій, — какъ будто еще разъ повѣяла жизнью и свѣжестью на нашу литературу, точно окропила насъ живой водой и привела въ движеніе наши окостенѣвавшіе отъ бездѣйствія члены“, и по поводу соприкосновенія Пушкина съ настроеніями официальной народности доказываетъ, „что и въ самыхъ уклоненіяхъ своихъ отъ здравыхъ идей (свободолюбія), въ самомъ подчиненіи рутинѣ Пушкинъ не доходилъ никогда до обскурантизма и даже поражалъ, когда могъ, обскурантизмъ другихъ“. Изъ современныхъ писателей и Чернышевскій, и Добролюбовъ горячо и ѣдко преслѣдуютъ тѣхъ, кто замыкается въ узко кружковыхъ наблюденіяхъ и готовыхъ консервативныхъ шаблонахъ общественно-литературныхъ взглядовъ. „Русская критика не должна быть похожа на щепетильную, тонкую, уклончивую и пустую критику французскихъ фельетоновъ... Рѣзкій тонъ... во многихъ случаяхъ это единственный тонъ, приличный критикѣ, понимающей важность предмета и не холодно смотрящей на литературные вопросы“ (Чернышевскій). Эта рѣзкая опредѣленность сужденій—отличительная черта критики шестидесятыхъ годовъ, вскорѣ доведенная и до послѣдней степени нетерпимости, въ болѣе поздней полемикѣ и критикѣ Писарева и Антоновича.

Эта критика задачею своею ставитъ по преимуществу „разъясненіе тѣхъ явленій дѣйствительности, которыя вызвали извѣстное художественное произведеніе“ (Добролюбовъ). „Реальная критика,—какъ называетъ публицистическій методъ Добролюбовъ,—относится къ произведенію художника такъ же, какъ къ явленіямъ дѣйствительной жизни: она изучаетъ ихъ, стараясь опредѣлить ихъ собственную норму, собрать ихъ существенныя характерныя черты“. Въ такомъ изученіи и разъясненіи данныхъ художественнаго произведенія критика нерѣдко давала значительное углубленіе и расширеніе смысла художественныхъ образовъ.

Отъ послѣднихъ критика идетъ непосредственно къ жизни. Типическая въ этомъ родѣ статья дана, напр., Чернышевскимъ о тургеневской „Асѣ“: „Русскій человѣкъ на rendez-vous“. Вялый герой повѣсти, прозѣвавшій любимую дѣвушку по нерѣшительности и неспособности понимать, что дѣлаетъ по неумѣнію дѣйствовать въ критическій моментъ, безпощадно карается критикомъ, какъ живое лицо. Не мало было тогда образованныхъ людей, которые въ тотъ моментъ русской исторіи, платонически сочувствуя освобожденію крестьянъ, все еще, однако, медлили рѣшительно стать на сторону реформы и работать для нея. И рѣчь о повѣсти Тургенева сливается съ страстнымъ памфлетомъ, направленнымъ противъ этихъ людей. Такой человѣкъ „не привыкъ понимать ничего великаго и

живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношенія и дѣла, къ которымъ онъ привыкъ. Это первое. Второе, онъ робѣетъ, онъ безсильно отступаетъ отъ всего, на что нужна широкая рѣшимость и благородный рискъ, опять-таки только потому, что жизнь приучила его только къ блѣдной мелочности во всемъ". Статья заканчивается замаскированнымъ, но страстнымъ призывомъ, пока не поздно, развязать мирно и полюбовно все крѣпостныя отношенія, чтобы не очутиться образованному дворянству въ трагикомическомъ положеніи неудачнаго Ромео.

Этотъ типъ критическихъ статей съ величайшимъ жаромъ и блескомъ развилъ въ „Современникѣ“ (съ 1858 года) Добролюбовъ. Благодаря тонкому эстетическому чутью онъ не ошибался въ выборѣ дѣйствительно крупныхъ художественныхъ созданій и писателей, въ приложеніи къ которымъ этотъ методъ былъ плодотворенъ, „въ которыхъ жизнь сказала сама собою, а не по заранѣе придуманной программѣ“. Выбирая вещи, чуждыя тенденціозности, Добролюбовъ вовсе не сталъ говорить съ „Тысячѣ душъ“ Писемскаго, считая, что вся общественная сторона романа насильно пригнана къ заранѣе сочиненной идеѣ. Но „Обломовъ“, „Наканунъ“, драмы Островскаго, т.-е. произведенія, давшія матеріалъ для наиболѣе знаменитыхъ статей Добролюбова, имъ были прежде всего признаны произведеніями именно высоко-художественными, во всей полнотѣ и широтѣ воспроизводящими жизненную правду явленій общественности. Преобладающія настроенія Добролюбова, вылившіяся въ этихъ знаменитыхъ статьяхъ, были и преобладающимъ интересомъ всего этого времени. Затаенныя гражданскія стремленія и возникавшее уже революціонное настроеніе излилось въ страстномъ словѣ Добролюбова съ увлекающею сознаніе силою и блескомъ. Определеніемъ „Что такое обломовщина“ тогдашнее поколѣніе сосчитывалось съ крѣпостническимъ прошлымъ родины, съ инертностью общественной жизни, съ атрофіей инстинктовъ общественной самодѣятельности, и „обломовщина“ отнынѣ, казалось, безвозвратно загоняется въ тѣ уголки и захолустья русской жизни, въ одномъ изъ которыхъ доживалъ свои барскіе дни самъ Илья Ильичъ. вмѣстѣ съ Добролюбовымъ пробуждавшееся сознаніе всматривалось въ „темное царство“, раскрытое имъ въ пьесахъ Островскаго. Критикъ своимъ вдумчивымъ анализомъ показалъ въ перспективѣ, за забавными жанровыми сценами изъ жизни купечества, особенности общаго строя всей русской жизни, раскрылъ общій смыслъ специально-купеческаго самодурства и далъ почувствовать, что дѣло не въ грубыхъ нравахъ одного только сословія, а въ томъ, что возможность самодурства разлита во всемъ русскомъ бытовомъ укладѣ: вездѣ, гдѣ есть старшіе и младшіе, начальники и подчиненные, богатые и бѣдные, царствуетъ все тотъ же самодуръ. „Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ“ Добролюбовъ увидѣлъ въ образѣ Катерины изъ „Грозы“, ха-

рактизовавъ этотъ типъ, какъ ростокъ молодого сознанія, который, не мирясь съ окружающею тьмою, инстинктивно тянется къ свободѣ и свѣту. Эти ростки еще гибнутъ, потому что не пріспѣло еще ихъ время. „Когда же придетъ настоящій день?“ — въ этомъ вопросѣ-заглавіи статьи о „Наканунѣ“ излилось все тревожное нетерпѣніе тогдашняго передового общества, не удовлетворявшагося немногочисленными уступками правительства: когда же, скоро ли наступитъ время, когда общественнымъ силамъ не придется уже перегорать въ безплодномъ бездѣйствіи, и въ статьѣ Добролюбова звучалъ ободряющій голосъ, увѣренность во всякомъ случаѣ, что „канунъ недалекъ отъ слѣдующаго за нимъ дня, всего-то какая-нибудь ночь раздѣляетъ ихъ!“ И русскимъ будущимъ Инсаровымъ Добролюбовъ съ надеждой указываетъ въ статьѣ „Забитые люди“, что эти забитые, униженные и оскорбленные, „несмотря на наружное примиреніе съ своимъ положеніемъ, ...чувствуютъ его горечь, готовы на раздраженіе и протестъ, жаждутъ выхода...“.

Но лучшія свои надежды и упованія Добролюбовъ возлагаетъ на народъ. Онъ съ любовью слѣдитъ на плоховатыхъ разсказахъ Марка-Вовчка за проявленіями чувствъ собственнаго достоинства и стремленія къ свободѣ въ русскомъ простолюдинѣ („Черты для характеристики русскаго простонародья“) и рыхлому барству съ его фразою, лѣнью, апатіей и распущенностью любовно противопоставляетъ поработенную, но не развращенную крестьянскую массу. „Не такова эта живая, свѣжая масса: она не любитъ много говорить, не щеголяетъ своими страданіями и печалями и часто даже сама ихъ не понимаетъ хорошенько. Но ужъ зато, если пойметъ что-нибудь этотъ „міръ“, толковый и дѣльный, если скажетъ свое простое, изъ жизни вышедшее слово, то крѣпко будетъ его слово, и сдѣлаетъ онъ, что обѣщалъ! На него можно надѣяться“... (Статья о „Губернскихъ очеркахъ“).

Таковы преобладающія настроенія Добролюбова, вылившіяся въ его лучшихъ статьяхъ. Возвышенный лиризмъ ихъ, въ соединеніи съ цѣломудреннымъ чувствомъ мѣры и мѣстами съ тонкою ироніей, подымалъ и настраивалъ души молодежи живымъ стремленіемъ къ творческой дѣятельности, къ подвигу. Эти черты его дѣятельности властно покорили ему сознаніе молодыхъ умовъ и сдѣлали его имя, на ряду съ публицистическимъ обаяніемъ Чернышевскаго, однимъ изъ первенствующихъ въ шестидесятые годы.

Въ сравненіи съ Добролюбовымъ большинство критическихъ статей Чернышевскаго кажется блѣдно и суховато, но и мимо нихъ нельзя пройти молча. Большинство ихъ относится къ дѣятелямъ недавняго прошлаго, но, освѣщая съ общественной стороны и современныхъ новыхъ писателей, Чернышевскій проявляетъ не мало проницательности, напр., въ статьяхъ и замѣткахъ о Левѣ Толстомъ Писемскомъ, Плещеевѣ и т. п.

Преимущественно занимаетъ Чернышевскаго въ его критиче-

сихъ статьяхъ общая фізіономія разбираемаго писателя; онъ стремится опредѣлить основныя черты отношеній автора къ дѣйствительности, уступая въ этомъ своему личному пристрастію, на которое самъ указываетъ, къ разрѣшенію чисто психологическихъ задачъ. Въ общемъ опредѣленія Чернышевскаго весьма мѣткі и удержались въ литературной критикѣ. Замѣчательна въ этомъ отношеніи статья о Л. Н. Толстомъ, лучшее, что написано о великомъ писателѣ за шестидесятые годы. Чернышевскій констатируетъ, что талантъ Льва Толстого развивается съ каждымъ новымъ произведеніемъ, но... „эти двѣ черты—глубокое знаніе тайныхъ движеній психической жизни и непосредственная чистота нравственнаго чувства, придающія теперь особенную фізіономію произведеніямъ графа Толстого, останутся существенными чертами его таланта, какія бы новыя стороны ни выказались въ немъ при дальнѣйшемъ его развитіи“... Статья оканчивается однимъ изъ тѣхъ предсказаній, блистательное оправданіе которыхъ составляетъ славу всякаго критика: „Мы предсказываемъ, что все, данное донинѣ графомъ Толстымъ нашей литературѣ, только залогомъ того, что совершитъ онъ впослѣдствіи; но какъ богаты и прекрасны эти залогомъ!“

Но что отдѣляетъ критику шестидесятихъ годовъ отъ Бѣлинскаго и его сверстниковъ, это—несвязанность ея съ тѣми традиціями нѣсколько барскаго эстетизма и идеализаціи интеллигенціи сороковыхъ годовъ, которыми отличались равно и Герценъ, и Тургеневъ, и другіе беллетристы, вышедшіе изъ „натуральной школы“. Въ противоположность этому Чернышевскій и Добролюбовъ, выходя изъ иной среды, таили въ себѣ временами ярко вспыхивавшее недовѣріе къ дворянской, барской интеллигенціи и къ лучшему ея представителю въ лицѣ типа „лишнихъ людей“. Герой ихъ времени, мечта ихъ и идеалъ, который былъ признанъ молодежью осуществленнымъ въ лицѣ ихъ самихъ, это—никакъ не мятущійся въ сомнѣніяхъ и, можетъ быть, только на словахъ нашедшій выходъ изъ нихъ герой „Монологовъ“ Огарева. Чернышевскій, цитируя именно „Монологи“, ждетъ „рѣчи человѣка, который становится во главѣ историческаго движенія съ свѣжими силами.... который, привыкнувъ къ истинѣ съ дѣтства, не съ трепетнымъ экстазомъ, а съ радостною любовью смотритъ на нее; мы ждемъ такого человѣка и его рѣчи, бодрѣйшей, вмѣстѣ спокойнѣйшей и рѣшительнѣйшей рѣчи, въ которой слышалась бы не робость теоріи передъ жизнью, а доказательство, что разумъ можетъ владычествовать надъ жизнью, и человѣкъ можетъ согласить свою жизнь со своими убѣжденіями“. Взамѣнъ Рудиныхъ, и Добролюбову „видится уже другой общественный типъ, людей реальныхъ, съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ. Благодаря трудамъ прошедшаго поколѣнія, принципъ (то-есть свободное отъ узъ консервативныхъ традицій міровоззрѣніе) достался этимъ людямъ уже не съ такимъ трудомъ, какъ ихъ предшественникамъ... Осмотрѣвшись вокругъ

себя, они, вмѣсто туманныхъ абстракцій и призраковъ прошедшихъ поколѣній, увидѣли въ мірѣ только человѣка, настоящаго человѣка, состоящаго изъ плоти и крови, съ его дѣйствительными, а не фантастическими отношеніями ко всему внѣшнему міру. Они въ самомъ дѣлѣ стали мельче, если хотите, и потеряли ту стремительную страстность, которою отличалось прошедшее поколѣніе; но зато они гораздо тверже и жизненнѣе... На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое существенное благо; эта точка зрѣнія отражается во всѣхъ и поступкахъ и сужденіяхъ“.

Итакъ, основной интересъ этой группы литературной критики—человѣкъ въ обществѣ, вопросы жизни послѣдняго, освобожденіе личности и общества. Эта критика не отрицаетъ собственно эстетическихъ критеріевъ, но относится къ нимъ съ нѣкоторымъ равнодушіемъ; искусство-забава—для нея предметъ пренебреженія. Новыхъ людей влечетъ къ себѣ больше всего жизнь, какъ трудъ и борьба за свои идеалы, за освобожденіе человѣчества и родины, и въ искусствѣ имъ нужно воплощеніе именно такой жизни, этихъ идеаловъ и стремленій. Задача слова для нихъ воспитаніе общественности русской именно въ этомъ направленіи, и отсюда вражда не только ко всему, въ чемъ воплощается застой, но и ко всему слабодушному и нерѣшительному, отсюда большая симпатія къ художнику-отрицателю, какъ Гоголь, предъ художникомъ-созерцателемъ, какъ Пушкинъ, и т. д.

Въ противоположность этому Пушкинъ становится исключительнымъ знаменемъ настроенія, которое дичится тревогъ и бурь общественной борьбы и всему въ искусствѣ предпочтетъ спокойное имъ наслажденіе. Эстетизмъ, барскій складъ интеллигенціи сороковыхъ годовъ въ этомъ преимущественномъ поклоненіи Пушкину, безспорно, сказался замѣтно. Въ литературной критикѣ явился теперь видный противникъ гоголевскаго натурализма, въ лицѣ Дружинина. Въ эти годы онъ, подъ несомнѣннымъ вліяніемъ общаго подъема литературы, высказывается гораздо серьезнѣе и опредѣленнѣе, нежели въ недавнихъ „письмахъ иногородняго подписчика“, поражавшихъ разбросанностью и немотивированностью критическихъ опредѣленій. Теперь въ рядѣ большихъ статей онъ развиваетъ цѣлую теорію тихаго наслажденія искусствомъ, стоящимъ выше жизни.

Дружининъ теоретически высоко ставитъ Гоголя, но „что бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляемъ себя не къ холоднымъ его читателямъ) нельзя всей словесности жить на однѣхъ „Мертвыхъ душахъ“. Намъ нужна поэзія. Поэзіи мало въ послѣдователяхъ Гоголя, поэзіи нѣтъ въ излишне реальномъ направленіи многихъ новѣйшихъ дѣятелей. Самое это направленіе не можетъ назваться натуральнымъ, ибо изученіе одной стороны жизни не есть еще натура. Скажемъ нашу мысль безъ обиняковъ: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своимъ сатирическимъ направленіемъ.—Противъ того сатирическаго направленія, къ которому привело насъ неумѣренное подражаніе Гоголю, поэзія Пушкина мо-

жетъ считаться лучшимъ орудіемъ... Предъ нами (въ произведеніяхъ Пушкина) тотъ же бытъ, тѣ же люди,—но какъ это все глядитъ тихо, спокойно и радостно“. Тишина, покой и радостность, какъ идеаль поэзіи, мотивировались теоріей искусства всесторонняго, объемлющаго жизнь во всей полнотѣ, стоящаго выше практической жизни. „Твердо вѣруя, что интересы минуты скоропреходящи, что человѣчество, измѣняясь безпрестанно, не измѣняется только въ однѣхъ идеяхъ вѣчной красоты, добра и правды, поэтъ въ безкорыстномъ служеніи этимъ идеямъ видитъ свой вѣчный якорь. Пѣснь его не имѣетъ въ себѣ преднамѣренной житейской морали и какихъ-либо другихъ выводовъ, примѣнимыхъ къ выгодамъ его современниковъ, она служитъ сама себѣ наградою, цѣлью и значеніемъ. Онъ изображаетъ людей, какими ихъ видитъ, не предписывая имъ исправляться, онъ не даетъ уроковъ обществу, или если даетъ ихъ, то даетъ безсознательно. Онъ живетъ среди своего возвышеннаго міра и сходитъ на землю, какъ когда-то сходили на нее олимпійцы, твердо помня, что у него есть свой домъ на высокомъ Олимпѣ“. Подъ вліяніемъ личныхъ склонностей и предубѣжденій Дружинина его критика и шла преимущественно въ сторону признанія и одобренія именно тѣхъ писателей, кто смотритъ на жизнь свѣтло, спокойно и радостно. Ему удалось написать нѣсколько теплыхъ страницъ о Тургеневѣ, „не какъ современномъ поучителѣ, не какъ скептикѣ и создателѣ живыхъ типовъ, но какъ тонкомъ и истинномъ поэтѣ“, объ Обломовѣ и о томъ, чѣмъ милъ Обломовъ, о двухъ-трехъ второстепенныхъ писателяхъ. Но сколько нибудь значительнаго вліянія на умы ему не удалось пріобрѣсти. „Этими искусно спеченными пирогами съ „нѣ-томъ“ никого не накормишь“, зло сказалъ о статьяхъ Дружинина Тургеневъ.

Критика Чернышевскаго и Добролюбова съ одной стороны и Дружинина съ другой—это крайняя лѣвая и крайняя правая литературно-критическихъ взглядовъ этого періода. Между ними колеблются взгляды другихъ писателей періода, выступавшихъ въ критикѣ. Мысль объ общественной роли искусства захватываетъ въ большей или меньшей степени всѣхъ, начиная съ представителя тридцатыхъ—сороковыхъ годовъ Хомякова, который въ своей отвѣтной рѣчи Льву Толстому, при избраніи его въ члены Общества любителей россійской словесности, отстаивалъ право искусства на воспроизведеніе волнующихъ общественную жизнь временныхъ интересовъ. И вся остальная критика этого періода болѣе или менѣе держится метода публицистическаго, интересуясь преимущественно общественнымъ значеніемъ литературныхъ произведеній, лишь уступая Чернышевскому и Добролюбову въ опредѣленности своихъ взглядовъ и особенно послѣднему въ его страстномъ поднимающемъ лиризмѣ.

Такъ, въ сравненіе съ Добролюбовымъ совершенно не шелъ критикъ „Отечественныхъ Записокъ“ Степанъ Семеновичъ Дудышкинъ (1820—1886), довольно вдумчивый, но мало талантливый и безстраст-

ный ученикъ Бѣлинскаго. Руководящими онъ признавалъ „главныя начала художнической дѣятельности, выведенныя изъ изученія послѣднихъ произведеній Пушкина“, стараясь провести среднюю линію между Харибдой голой общественной дидактики и Сциллой оторваннаго отъ общественности отвлеченнаго художничества. „Литературное произведеніе, которое служить однимъ общественнымъ цѣлямъ,—писалъ онъ,—не есть еще произведеніе художественное; точно такъ, какъ художественное произведеніе, которое ничего не допускаетъ, кромѣ праздної и безплодной игры фантазіи, не есть еще произведеніе искусства“, и онъ настойчиво подчеркиваетъ: „стать въ уровень съ идеею въ томъ объемѣ, какъ она выработана современною наукою, въ томъ значеніи, которое она получаетъ, какъ послѣднее слово исторіи,—это одна изъ первыхъ потребностей и вѣстѣ заслугъ каждаго писателя. Кто не имѣетъ никакого отношенія къ этой идѣѣ, тотъ не имѣетъ и значенія въ современной литературѣ“. Дудышкинъ поэтому полемизировалъ съ Дружининымъ. Но онъ возставалъ и противъ „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности“, какъ противъ приниженія самостоятельной роли искусства, и въ общемъ его статьи или проходили мало замѣченными, или вызывали недоразумѣнія своею неопредѣленностью и неясностью.

Не имѣла самостоятельнаго значенія и критика журнала „Русскій Вѣстникъ“, въ которомъ помѣщали отдѣльныя критическія статьи Николай Филипповичъ Павловъ (1805—1864), авторъ нашумѣвшаго разбора соллогубовскаго „Чиновника“, П. В. Анненковъ, Николай Дмитриевичъ Ахшарумовъ (1819—1893), самъ Катковъ и другіе. То же самое надо сказать о критическомъ отдѣлѣ журнала „Атеней“ (гдѣ явилась упомянутая статья Чернышевскаго объ „Асѣ“) и „Русской Бесѣдѣ“, органѣ славянофиловъ, куда приглашенъ былъ Аполлонъ Григорьевъ. На первомъ планѣ критической литературной дѣятельности были всецѣло Чернышевскій и Добролюбовъ, съ ихъ публицистическимъ методомъ критики, игравшимъ не только литературную, но и общественно-двигательную роль.

III.

Шестидесятые годы—время прежде всего критическое. „Переоцѣнка цѣнностей“ захватываетъ теперь уже не тѣсные кружки, какъ было въ сороковые годы, а обширные круги и цѣлые слои общества, сдвинутые съ мѣста основнымъ соціальнымъ переворотомъ времени, освобожденіемъ крестьянъ. Соотвѣтственно этому и въ художественной литературѣ имѣютъ наибольшій успѣхъ тѣ произведенія, въ которыхъ болѣе или менѣе глубоко затронуты всѣмъ равно важныя, широкіе общественные мотивы. Основной мотивъ—продолженіе того же, что въ сороковыхъ годахъ, суда надъ крѣпостнымъ укладомъ русской жизни. Литература воспроизводитъ борьбу общественныхъ настроеній недавняго еще времени, отголоски славянофильства и запад-

ничества, типы лишнихъ людей въ большей полнотѣ и опредѣленности, чѣмъ то было возможно ранѣе. Русское барство отъ вершинъ его до мелкопомѣстныхъ землевладѣльцевъ, съ присущими ему спесью и безсознательно жестокимъ отношеніемъ къ низшимъ и зависимымъ; разложеніе администраціи и стараго суда и общая подкупность, съ которою безсильны бороться попадающіе въ этотъ омутъ немногіе представители людей „новой породы“ (выраженіе Некрасова въ „Машѣ“); безтолковое русское воспитаніе, калѣчащее молодежь („въ насть подъ кровлею отеческой не запало ни одно жизни чистой, человѣческой, благотворное зерно“); пробужденіе къ сознательной жизни женщины, семейный вопросъ и т. д.,—все это было у всѣхъ на умѣ и на устахъ. Бытовой романъ, творя этотъ судъ надъ старой неправдой, продолжаетъ итти въ глубь русской жизни, выдвигая чисто демократическій идеалъ трудовой жизни, въ противоположность помѣщичьему и вообще барскому бездѣлю и существованію на готовыхъ хлѣбахъ. И наконецъ, въ этотъ же періодъ литература, не теряя связи съ реальными условіями русской жизни, ставитъ гораздо болѣе широкіе и важные вопросы—чисто общечеловѣческіе и міровые, о недостаткахъ и сущности культуры не только русской, но культуры вообще, и здѣсь русской литературѣ суждено было впервые встать въ признанный уровень литературъ міровыхъ.

Наиболѣе популярный писатель этого періода безспорно Тургеневъ. Имъ даны въ это время: кромѣ перваго сборника повѣстей сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, „Рудинъ“ (1856), „Ася“ (1858), „Дворянское гнѣздо“ (1859), „Наканунъ“ (1860). Тургеневъ изъ всей „плеяды 40-хъ гг.“ былъ несомнѣнно художникомъ наиболѣе и разносторонне образованнымъ; личный интимный другъ Бѣлинскаго, Герцена, Грановскаго, западникъ по всѣмъ своимъ убѣжденіямъ и склонностямъ, онъ не могъ не отразить въ особой полнотѣ движеніе общественно-критической мысли, свершавшееся въ глубинахъ общества и выразившееся появленіемъ въ немъ людей новаго склада и интересовъ. „Рудинъ“—это итогъ умственной жизни сороковыхъ годовъ, поскольку она воплощалась въ рядовомъ интеллигентномъ человѣкѣ той поры, когда „свободно рыскалъ звѣрь и человѣкъ блуждалъ угрюмо“. Въ образѣ героя романа Тургеневъ воплотилъ двѣ стороны движенія русской мысли. Рудинъ—лишній человѣкъ, со всѣми отрицательными чертами этого типа, съ склонностью къ блестящей фразѣ и неспособностью къ упорному систематическому труду, съ холоднымъ головнымъ энтузіазмомъ предъ великими идеями вѣка. Но авторъ не разстанется съ нимъ на этомъ, а показываетъ этого члена знаменитыхъ кружковъ тридцатыхъ—сороковыхъ гг. въ положеніи вѣчнаго скитальца по лицу родной земли, гдѣ не нужны ни его знанія, ни его вдохновенный даръ слова, властно зажигающій сердца молодежи высокимъ порывомъ къ добру и свѣту, и заставляетъ читателя простить ему все за искру, въ немъ не угасавшую. Не много въ художественной литературѣ такихъ трогательныхъ стра-

ницъ, какъ заключительная встрѣча Рудина съ былымъ его товарищемъ Лежневымъ, встрѣча осядлаго по природной флегматичности человѣка съ вѣчнымъ перекасти-полемъ, въ которомъ воплотился неистребимый взыскующій града духъ. Конецъ Рудина на іюньскихъ парижскихъ баррикадахъ 1848 года налагаетъ послѣдній штрихъ на этотъ глубоко жизненный образъ, силою художественнаго обобщенія поднятый до высоты не только русскаго, но и общечеловѣческаго типа скитальца-интеллигента.—„Дворянское гнѣздо“ въ свою очередь воспроизводитъ умственную атмосферу въ провинціи незадолго до крестьянской реформы, при чемъ характерно для эпохи, что западникъ Тургеневъ всѣ свои непосредственно-жизненные общественныя симпатіи влагаетъ въ уста лишняго человѣка — славянофильской складки. Авторъ сводитъ своего Лаврецкаго съ поверхностнымъ западникомъ-бюрократомъ Паншинымъ и заставляетъ разбить послѣдняго на всѣхъ пунктахъ. Въ Лаврецкомъ, неудачникъ въ личной жизни, рисуется новый, только нарождавшійся въ жизни типъ, родственный спокойному Лежневу, типъ упornaго работоспособнаго человѣка, какой особенно дорогъ былъ въ тѣ годы, вдругъ потребовавшіе отъ Россіи новыхъ и новыхъ работниковъ во всѣхъ областяхъ. Переставъ думать о собственномъ счастьѣ, о своекорыстныхъ мечтахъ, онъ утихъ, но,—по словамъ автора,—„не утратилъ вѣры въ добро, постоянства воли, охоты къ дѣятельности, онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ быть своихъ крестьянъ“. И читатель охотно вѣритъ, что такъ дѣйствительно было, узнавъ на протяженіи романа во всѣхъ изгибахъ эту простую, твердую и стойкую душу, которая нашла таки выходъ изъ положенія „лишняго“. Его благословеніе молодымъ силамъ.—было дѣйствительно привѣтомъ силамъ молодой Россіи отъ лучшихъ людей уходившаго поколѣнія.—„Наканунъ“ выводитъ на сцену эти молодые силы наканунѣ разгара освободительныхъ надеждъ, воспроизводитъ смутное стремленіе ихъ къ подвигу и самоотверженной дѣятельности. Но въ самомъ русскомъ обществѣ авторъ не находитъ еще людей, способныхъ къ такому все захватывающему порыву, и героиня повѣсти уходитъ за болгаринѣмъ Инсаровымъ, ибо только за нимъ стоитъ „молодое, славное, смѣлое дѣло!.. натянуты струны, звени на весь міръ или порвись!“ Пламенная статья Добролюбова была живымъ комментариемъ къ настроенію романа и къ суровому самоосужденію Шубиныхъ: „Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все—либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели, да палки барабанныя... Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, какъ рыба въ воду“. На вопросъ: „когда жъ наша придетъ пора? когда у насъ народятся люди?“, авторъ устами своего Увара Ивановича сначала отвѣчаетъ:

„дай срокъ — будутъ“, а кончаетъ романъ тѣмъ, что на этотъ же вопросъ „Уваръ Ивановичъ поигралъ перстами и устремилъ въ отдаленіе свой загадочный взоръ“. Но молодое поколѣніе уже не сомнѣвалось, что близко время, когда выступятъ эти будущіе люди, ибо отъ русской великой освободительной борьбы и отъ настоящаго дня настѣ, по выраженію Добролюбова, отдѣляется „одна только ночь“. По этимъ тремъ романамъ Тургенева можно шагъ за шагомъ слѣдить за нарастаніемъ общественныхъ настроеній эпохи. Читателей того времени захватывало отразившееся здѣсь пробужденіе молодыхъ силъ страны, увлекалъ проникающій эти романы культъ молодости и высокихъ порывовъ ея. Здѣсь не было лести молодежи, но глубоко искренняя идеализація, особенно обаятельная въ изображеніи душевной жизни молодыхъ дѣвушекъ Тургенева. Наталья, Ася, Лиза, Елена — какъ бы олицетвореніе всей молодой Россіи. Двѣ первыхъ, готовыя энергично отстоять, если нужно будетъ, право на свое женское непосредственное чувство — обѣ ошиблись въ первой своей чистой и глубокой любви, отдавъ ее слабому или ничтожному человеку. Не ошиблась Лиза, выбравъ чутьемъ человека, на котораго всегда можно положиться, но вся она — какъ „геній чистой красоты“ — слишкомъ чиста для грязной житейской суеты и, какъ покаянная жертва дворянской неправды, уходитъ отъ жизни, и только Елена находитъ въ себѣ тотъ неизсякаемый источникъ внутренней силы, который поведетъ ее на борьбу и подвигъ рядомъ съ сильнымъ и героическимъ избранникомъ ея сердца. Въ этихъ женскихъ образахъ доселѣ живетъ все обаяніе, которое когда-то создало Тургеневу страстную любовь и симпатію читателей, когда каждая думающая дѣвушка мечтала стать Еленой...

Не меньшая степень популярности выпала въ эти годы и на долю Гончарова и его романа „Обломовъ“ (1858). Восторженная статья Добролюбова выдвинула на первый планъ общественную сторону романа, какъ выраженіе невольнаго протеста противъ всероссійской крѣпостнической спячки духовныхъ силъ страны. Но противопоставленный Обломову дѣлецъ Штольцъ, унаслѣдовавшій будто бы только образованіе и тонкое духовное развитіе дворянскаго класса, нисколько не завоевалъ симпатій читателей. Даже въ оппортунистически либеральномъ „Русскомъ Вѣстникѣ“ Н. Ахшарумовъ горячо протестовалъ противъ Штольцевъ, какъ панацеи отъ обломовщины, и свою статью заканчивалъ защитой „смѣлыхъ піонеровъ“ общественности. „Они честно ломали себѣ шею въ напрасныхъ попыткахъ, плоды которыхъ доставались другимъ; они гибли гордо и великодушно за общую пользу... они были люди въ истинномъ смыслѣ этого слова, и такіе-то люди нужны намъ теперь, а не эти гг. Штольцы съ К^о, нашествіе которыхъ пророчить намъ г. Гончаровъ“... Дѣйствительно, Штольцъ только предъ Обломовымъ, съ его бездѣятельностью и со своею неутомимою энергіей, — нѣчто живое и нужное обществу, но его идеалы, какъ идеалъ Адуевыхъ изъ „Обыкновен-

ной исторіи“,—то же благоустройство личной жизни и семейнаго благополучія на основѣ пріобрѣтательства; недаромъ въ жизнь Ольги входитъ въ концѣ-концовъ какая-то смутная тоска, сродни той апатіи, которая заморозила Адуеву-тетку. Не принявъ за свой идеаль „буржуазнаго“, по нынѣшнему выраженію, Штольца, большинство читателей, вслѣдъ за Добролюбовымъ, видѣло въ „Обломовѣ“ и героѣ романа сатиру на барство. Но произведеніе Гончарова можетъ быть приведено въ связь съ умонастроеніями эпохи и помимо сатирическаго, чисто-мимолетнаго своего значенія. Обломовъ былъ не только лѣнивый баринъ, за классовой подкладкой психологіи его просвѣчиваетъ нѣчто трогательное и цѣнное, именно голубиная нѣжность и хрустальная чистота его нравственныхъ побужденій, которыя были столь же непригодны для жизни, какъ чистота Лизы, удалившейся въ монастырь. Онъ ушелъ отъ суматошной, безтолковой и часто жестокой жизни, какъ въ раковину, въ смѣшное и жалкое отчужденіе отъ нея, но все-таки хоть одной душѣ далъ то, что „проиграла и просіяла ея жизнь“. Такое же отсутствіе своекорыстныхъ мотивовъ въ психологій развивавшейся между тѣмъ интеллигенціи, при отсутствіи въ то же время и у нея духа дѣятельной и неустанной предпріимчивости, настойчивости и инициативы, роднитъ Обломова съ общерусскою психологіею.

Высшей своей ступени достигаетъ въ это же время популярность и Писемскаго. Сурово правдивый бытописатель изменныхъ нравовъ русской провинціи, онъ своимъ, чуждымъ всякой идеализаціи, взглядомъ на всѣхъ этихъ слабодушныхъ и безвольныхъ представителей интеллигентнаго барства, на Эльчаниновыхъ, Шамиловыхъ, Батмановыхъ, Бахтіаровыхъ и пр., какъ разъ былъ близокъ психологій новаго разночиннаго читателя, и лучший его романъ „Тысяча душъ“ (1858) пришелся въ ладъ настроенію, искавшему въ жизни типъ практическаго дѣятеля, вступающаго въ борьбу съ темными силами. Герой романа Калиновичъ получилъ у читателей того времени прощеніе во всѣхъ своихъ, болѣе чѣмъ двусмысленныхъ, дѣяніяхъ и въ карьеризмѣ за ту смѣлую борьбу со служебными злоупотребленіями, въ какую онъ вступилъ (въ послѣдней части романа), достигнувъ житейскаго и служебнаго успѣха—женитьбы на невѣстѣ съ богатымъ приданымъ и губернаторства. Сочувствіе читателей всецѣло на его сторонѣ, когда онъ терпитъ крушеніе отъ вознесшихъ его силъ, когда для спасенія послѣдней тѣни собственнаго уваженія къ себѣ идетъ на безнадежную борьбу. Но по существу авторъ, какъ всегда, образомъ своего героя лишь говорилъ, какова же та среда, если такъ низко падаетъ въ ней и выдающійся, съ хорошими общественными задатками человѣкъ, прежде чѣмъ получить хотя нѣкоторую возможность борьбы. Съ другой стороны, Писемскій долею своей славы въ то время былъ обязанъ и своимъ отношеніемъ къ крестьянству: разлагающемуся барству онъ неизмѣнно противопоставляетъ крѣпкаго волей простаго русскаго крестьянина, вторя покаян-

ному настроенію времени. Въ общемъ, его элементарный гуманизмъ; сочувствіе обиженнымъ, въ особенности женщинъ, страдающей въ обстановкѣ безалабернаго русскаго брака; идеализація сердца просто-душныхъ скромныхъ людей („Старческій грѣхъ“ и нѣкоторые типы въ его романахъ)—все это было какъ разъ по плечу неопредѣленному гуманизму тогдашней читательской массы. Когда Писаревъ (въ началѣ своей дѣятельности) въ рядѣ статей поставилъ Писемскаго необыкновенно высоко, онъ выражалъ лишь рядовое мнѣніе этой массы.

Герценъ въ „Полярной Звѣздѣ“ (начиная съ 1855 г.) далъ свои знаменитые мемуары „Былое и думы“. Первый томъ ихъ (четыре части) представляетъ наиболѣе законченное и зрѣлое цѣлое. Это художественное воспроизведеніе личнаго развитія и жизни Герцена дано на фонѣ картинъ николаевскаго царствованія, умственной жизни Россіи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Вся книга была настоящимъ обвинительнымъ актомъ противъ предыдущей эпохи, мрачная тѣнь ея лежитъ на всѣхъ переживаніяхъ Герцена. Но, расходясь по условіямъ печатанія въ Россіи сравнительно мало, мемуары Герцена не могли оказать особо замѣтнаго вліянія на художественную литературу, и остались въ ней особнякомъ, подобно „Семейной хроникѣ“ Аксакова. Громадное вліяніе Герцена сказалось за это время лишь въ области общественно-политической, и въ частности захватывала уже людей его идеализація крестьянства, какъ носителя соціальной правды.

Упрочилась въ эти годы литературная извѣстность Льва Толстого. Особенно сильное впечатлѣніе произвели его „Севастопольскіе рассказы“, впервые показавшіе обществу подлиннаго русскаго солдата и сказавшіе неприкрашенную правду объ ужасѣ и жестокости войны. Здѣсь сказаны извѣстныя слова Толстого, которыя равно идутъ и къ лучшимъ созданіямъ этого періода и всей русской литературы: „герой моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ и будетъ прекрасенъ,—правда“. Такъ поразительна была и такъ захватывала эта непосредственная правда бытовой обстановки и глубины психологическаго проникновенія въ созданія Толстого, что такой трезвый и въ общемъ „не лживый“ реалистъ, какъ Писемскій, могъ въ предчувствіи новыхъ гениальныхъ созданій Толстого мрачно сказать: „Этотъ офицеришка всѣхъ насъ заклюеть, хоть бросай перо“. Толстой и тогда уже поражаѣ всѣхъ своею оригинальною мощью; шелъ не по протореннымъ дорогамъ, а смѣло пролагалъ новые пути. Но такова сила времени, что, помимо „вѣчныхъ“ общечеловѣческихъ, міровыхъ настроеній Толстого, творчество его за этотъ періодъ легко привести въ связь съ вѣяніями и стремленіями эпохи. Такъ, его „Утро помѣщика“ съ неотразимой убѣдительностью вскрывало глубочайшую фальшь положенія самаго гуманнаго и благожелательнаго къ крестьянамъ помѣщика, обличало безсиліе филантропическихъ затѣй, въ особенности въ примѣненіи ихъ къ крѣ-

постному рабу, тѣмъ идя навстрѣчу общему сознанію необходимости отмѣны рабства. Точно такъ же „Поликушка“ открываетъ бездну жестокости и ненужнаго ужаса, въ которую ввергаетъ крестьянъ безтолковое, мудрящее надъ живыми людьми барство. „Семейное счастье“—этотъ полуидиллическій романъ, съ его тонкимъ анализомъ отношеній между мужемъ и женою, правда, въ узкихъ рамкахъ—примыкаетъ къ ставшему тогда жгучимъ вопросу о зависимости женщины въ бракѣ и о семьѣ, какою она должна быть. „Казакъ“ съ осязательною ясностью поставили вопросъ объ отношеніяхъ человѣка городской и барской культуры и людей, близкихъ къ природѣ. „Лишній“ человѣкъ, Оленинъ—не жертва только условій времени, когда обществу оказывались не нужны люди съ умомъ и талантомъ, онъ—также жертва гораздо болѣе глубокихъ социальныхъ противорѣчій, и его нераздѣленная любовь къ казачкѣ Марьянѣ—точно символъ стихійнаго влеченія къ простой трудовой жизни, идеалъ которой вскорѣ будетъ развитъ въ народничество; это влеченіе параллельно симпатіямъ къ крестьянству у Герцена и Добролюбова и др. Наконецъ, въ „Люцернѣ“ (1859) съ стихійной силою вспыхиваетъ и обнаруживается съ ясностью сущность душевной жизни Толстого, его моральное одушевленіе. Во имя жажды непосредственнаго подвига и долга братолюбія онъ бурно протестуетъ противъ культуры, построенной на замаскированномъ неравенствѣ и рабствѣ. Это—протестъ въ чистомъ духѣ „христіанскаго социализма“ и въ духѣ Руссо, во имя упрощенія той жизни, изъ которой буржуазная культура вытѣснила необходимость добрыхъ чувствъ и поступковъ. Правда, рассказъ этотъ прошелъ какъ-то незамѣтно и былъ встрѣченъ какъ бы недоумѣніемъ: слишкомъ сильно ощущалась потребность въ обществѣ жизни болѣе культурной, нежели недавнее крѣпостничество, и этотъ протестъ противъ европейской культуры могъ казаться бьющимъ въ руку реакціи. Но и здѣсь все же звучитъ та же нота призыва къ гуманности, общая времени, къ перестрою общественныхъ отношеній во имя ея.

Точно также и произведенія другого мірового генія, столь же оригинальнаго и часто парадоксальнаго, но психологически глубокаго, Достоевскаго, находятъ себѣ мѣсто въ ряду социально-общественныхъ интересовъ времени. „Село Степанчиково и его обитатели“ примыкаетъ къ воспроизведеніямъ крѣпостного уклада, а „Униженные и оскорбленные“—съ ихъ анализомъ душевной жизни ряда лицъ, несущихъ тяжкій гнетъ сильныхъ міра сего, нужды и властныхъ отцовъ—всецѣло въ руслѣ давнишняго теченія, вѣхами котораго были „Станціонный смотритель“ Пушкина, „Шинель“ Гоголя, „Бѣдные люди“ самого Достоевскаго. Но главная слава Достоевскаго въ это время создана его геніальными „Записками изъ мертвого дома“. Съ изумительной художественной правдой и простотою Достоевскій развернулъ цѣлый міръ отверженцевъ, показавъ его не только съ внѣшней стороны, но и обнаруживъ въявь, какъ и здѣсь страдаетъ

человѣческая душа, движимая тѣми же, что у обыкновенныхъ смертныхъ, побужденіями, а часто и высокими порывами. Этимъ гуманнымъ своимъ настроеніемъ, безъ малѣйшей тѣни фальши и приторной сентиментальности, „Записки изъ мертваго дома“, конечно, вторили главному настроенію времени, когда освобождался крестьянинъ, когда раскрѣпощалась Россія, когда она торопилась дальше уйти отъ „мертваго дома“ своего недавняго прошлаго.

Изъ второстепенныхъ беллетристовъ, произведенія которыхъ, отражая интересы момента, останавливали на себѣ вниманіе читателей, популяренъ Авдѣевъ; его „Тамаринъ“ читался въ пятидесятыхъ годахъ, а теперь читается „Подводный камень“ (1860), романъ на тему о правѣ замужней женщины по своему рѣшать свою судьбу, разъ такъ велитъ голосъ сердца, на тему о „гражданскомъ бракѣ“, столь интересовавшемъ тогда и волновавшемъ общественное мнѣніе. Нѣсколько хорошихъ повѣстей и рассказовъ, живо рисующихъ провинціальныя нравы, дворянство, погрязшее въ крѣпостничествѣ и борьбу въ немъ старыхъ началъ съ новыми, далъ А. А. Потѣхинъ („Старые дворяне“, „Крушинскій“). Поэтъ Плещеевъ также печатаетъ нѣсколько повѣстей изъ провинціальной жизни („Пашинцевъ“ и др.), въ которыхъ находимъ тотъ же мотивъ труднаго положенія въ невѣжественной средѣ мало-мальски думающаго и честнаго человѣка. Въ томъ же тонѣ и произведенія Хвощинской; изъ нихъ за это время выдается тепло написанная повѣсть изъ быта семинаристовъ, впрочемъ нѣсколько идеализованнаго, — „Баритонъ“.

Освобожденіе крестьянъ вводило въ социальную жизнь небывалую перемѣну и, конечно, должно было отразиться и въ литературѣ большимъ противъ прежняго интересомъ къ крестьянству. Мы говорили уже объ отношеніи къ народу, о тяготѣнн къ нему со стороны Добролюбова и Салтыкова, Герцена, Писемскаго, Льва Толстого, Достоевскаго. Интересъ къ народу поддерживается разнообразными этнографическими матеріалами, получившими широкую извѣстность (сборники П. Кирѣевскаго, Якушкина, Гильфердинга, Афанасьева и др.). Происходитъ общій переломъ отъ прежняго нѣсколько покровительственнаго сожалѣнія о крѣпостномъ народѣ къ болѣе всестороннему воспроизведенію крестьянской жизни. Такія произведенія, какъ романъ Григоровича „Переселенцы“ (1856), встрѣчены уже довольно холодно, со стороны Чернышевскаго даже насмѣшливо (вышеупомянутая пародія по поводу дѣтской книжки). Значительную популярность, благодаря Тургеневу и Добролюбову, приобрѣла было сентиментальная и слезливая на современный вкусъ беллетристка Марія Александровна Марковичъ, писавшая подъ псевдонимомъ Марко-Вовчокъ. Добролюбовъ же привѣтствовалъ, нынѣ забытаго, Степана Тимоѣевича Славутинскаго († 1884), въ рассказахъ котораго оцѣнилъ правдивую вдумчивость въ явленія и типы народной жизни. Рядъ беллетристическихъ очерковъ изъ народнаго быта печатаетъ этнографъ (старшаго поколѣнія) В. И. Даль и болѣе

молодой С. В. Максимовъ (1831—1901). Но наиболѣе серьезныя воспроизведенія народной жизни были даны беллетристами лишь со второй половины шестидесятыхъ годовъ. Здѣсь умѣстно упомянуть лишь о писательницѣ, которую славянофилы, за ея изображенія народа, ставили рядомъ съ С. Т. Аксаковымъ, о Надеждѣ Степановнѣ Соханской (Кохановской) (1825—1884). Она обратила на себя замѣтное вниманіе въ концѣ пятидесятыхъ годовъ нѣсколькими повѣстями и рассказами, очень тепло и колоритно воспроизводившими нравы захолустной глуши. Лучшее всего въ этомъ родѣ у Кохановской рассказъ „Послѣ обѣда въ гостяхъ“ (1858); здѣсь раскрыты истинно поэтическая сторона мелко-городского быта, близкаго къ народному, но и глубокий трагизмъ, выпадающій на долю слабымъ; изображена драма горячаго женскаго сердца и чувства, которое глушатъ въ угоду сильнымъ и богатымъ; дѣвичникъ, похороны Чернаго—страшныя, достойныя выдающихся талантовъ. Но пристрастіе къ незыблемымъ „основамъ“, религіозная идеализація патріархальной покорности и смиренія предъ старшими—до явнаго нарушенія и оскорбленія человѣческаго достоинства—эти особенности загубили талантъ Кохановской.

Весьма популярны въ это время также романисты запада съ ясно выраженною соціально-политическою тенденціей; можно назвать англичанъ Диккенса, Джорджа-Эллиотъ, француза Гюго, нѣмца Шпильгагена съ его романомъ „Im Reih und Glied“ („Одинъ въ полѣ не воинъ“), Бичеръ-Стоу и др. Но русская литература достигла теперь той степени самобытности, когда вліяніе иностранной литературы становится, въ сравненіи съ самостоятельными теченіями, уже второстепеннымъ и мало значительнымъ.

Романъ и повѣсть первой половины шестидесятыхъ годовъ оставили намъ не мало такихъ высокихъ художественныхъ обобщеній, какъ Рудинъ Тургенева, скиталецъ русской земли; Обломовъ, послѣдній могиканъ уходящаго барства съ его тонкой, но оказавшейся бесполезною для страны культурою ума и чувства; страшный „мертвый домъ“, такъ тѣсно связанный съ уродствами русскаго быта и мертвымъ застоємъ страны въ долгіе годы; „Былое и думы“—повѣсть пережитыхъ страданій и думы о міровомъ развитіи мысли, въ которое вовлечена силою вещей и Россія; громадный вопросъ соціальной правды, впервые прямо затронутый Львомъ Толстымъ, и т. д. Это доселѣ неизжитое богатство бытового романа новаго времени показываетъ, насколько изображенная въ немъ жизнь стала богаче и содержательнѣе прежняго. Оставаясь большею частью на почвѣ совершенно національных вопросовъ, русская литература здѣсь уже поднялась на ту высоту, на которой національное, частное сливается съ міровымъ, съ общечеловѣческимъ.

Роману и повѣсти вторятъ въ большей или меньшей степени и лирика, и драма.

Впервые послѣ Пушкина, Лермонтова и Кольцова такъ богата

становится лирика. Въ это время получаютъ прочную извѣстность прежде всего поэты, воспитанные сороковыми годами. Почти всѣ они издають сборники своихъ стихотвореній, встрѣченные большею частью весьма сочувственно и критикою, и читателями: Майковъ, Фетъ, Полонскій, Плещеевъ, Жадовская и др. Стихотворенія ихъ печатаются во всѣхъ почти журналахъ. „На стихи въ нашей литературѣ нынѣ такая мода, какой, кажется, никогда не бывало“,—даже жалуется на это въ 1858 году Добролюбовъ. Характерной чертой времени нужно признать довольно точное совпаденіе общественно-политическихъ взглядовъ поэтовъ съ тяготѣніемъ ихъ въ лирикѣ къ „чистому“ искусству, или къ искусству болѣе или менѣе проникнутому общественными интересами. Школа „чистаго искусства“ (сороковыхъ годовъ)—Тютчевъ, Майковъ, Фетъ, отчасти Полонскій и др.—это люди умѣреннаго либерализма или консерваторы, симпатизирующие эстетизму Дружинина. Съ другой стороны—симпатія къ искусству, всецѣло отданному жизни въ ея общественныхъ мотивахъ, и болѣе или менѣе рѣзкій радикализмъ, признаніе реальной критики въ духѣ Добролюбова.

Общественный подъемъ, однако, отразился и въ творествѣ лириковъ сороковыхъ годовъ усиленіемъ производительности или прямымъ отраженіемъ вѣяній и настроеній времени. Въ особенности характеренъ примѣръ Аполлона Майкова. Еще недавно онъ отдалъ дань шовинизму въ сборникѣ ультра-патріотическихъ стиховъ „1854 годъ“. Теперь и онъ отдается новымъ гражданскимъ мотивамъ. Его всегдашній идеалъ вознесеннаго надъ жизнью искусства, въ духѣ критики Дружинина, имъ самимъ выраженъ въ идеалѣ музы, какъ „строгой богини“—„ей нуженъ пьедесталъ, и храмъ, и жертвенникъ, и лира, и кимвалъ, и пѣсни сладкія, и волны благовоній“... Теперь эта муза тоже говоритъ о реформахъ. Поэтъ, какъ „въ пустынѣ вопіющій“, взываетъ: „царь, впередъ иди, впередъ!“ Это—выраженіе настроенія той спокойной, просвѣщенной части общества, которая, сочувствуя реформамъ, идущимъ по указанію верховной власти, дальше этого ничего и не требовала и не желала. Извѣстны и вошли во всѣ хрестоматіи: „Нива“ и „Картинка“ съ гражданскимъ заключительнымъ мотивомъ, мольбою о „духовномъ хлѣбѣ“ въ концѣ перваго и звонкою фразою въ концѣ втораго: „воля, братья, это только первая ступень въ царство мысли, гдѣ сіяетъ вѣковѣчный день“. Огромный успѣхъ имѣли и на всѣхъ литературныхъ чтеніяхъ того времени фигурировали „Поля“ Майкова съ ихъ олицетвореніемъ въ образѣ стараго двороваго и молодого ямщика крѣпостной Россіи и Россіи молодой, которая мчится „впередъ, въ пространство безъ конца. Впередъ, не внемля ничему... летитъ, лишь вдаль глядитъ, а даль-то, даль какъ широка“... Все это кажется теперь отчасти резонерствомъ, но въ противоположность прежнему исключительному эстетизму въ творествѣ Майкова именно теперь звучатъ, въ другихъ стихотвореніяхъ, чрезвычайно теплыя ноты непосредственнаго чело-

вѣчнаго чувства. Такъ, взамѣнъ нетерпимости „1854 года“ въ прекрасномъ „Приговорѣ“ находимъ настоящій апоѳеозъ идеи терпимости въ разсказѣ о легендѣ, какъ на констанцскомъ соборѣ, заслушавшись соловья, суровые фанатики едва не оправдали Гуса. „Бабушка и внучекъ“ — тонкій экскурсъ въ область психологіи стараго поколѣнія, которое невольно идеализируетъ свое прошлое въ противоположность молодежи, видящей въ старинѣ только мрачныя краски: „въ жизни дитя (внучекъ), не умѣлъ сердца еще онъ понять, онъ испытать не успѣлъ, какъ оно можетъ прощать“. Эта теплая струя въ творчествѣ Майкова лучше всего поясняетъ, почему онъ былъ такъ популяренъ именно въ эти годы.

Вообще въ этотъ первый періодъ шестидесятихъ годовъ еще нѣтъ того гоненія на поэзію въ духѣ пластическаго, чистаго искусства, какъ на праздную забаву, какое разразится вскорѣ. Не говоря о Полонскомъ или Плещеевѣ, съ ихъ влеченіемъ къ вопросамъ жизни и гуманно, прогрессивною тенденціей (достаточно напомнить у Полонскаго его: „писатель, если онъ волна“), даже Фетъ съ его пѣснями радостной любви, совершенно чуждый вопросамъ времени, былъ встрѣченъ тогда въ общемъ сочувственно, какъ и поэтъ К. Случевскій, обратившій на себя вниманіе пластичностью образовъ въ стилѣ Майкова и звучнымъ, слегка меланхолическимъ стихомъ, нѣсколько позднѣе высмѣиваемый.

Изъ новыхъ литературныхъ силъ въ области этой такъ называемой школы чистаго искусства первое мѣсто принадлежитъ, конечно, графу Алексѣю Толстому (1824—1875). Воспитанный на изученіи искусства во всѣхъ его проявленіяхъ, на созерцаніи пластической красоты въ живописи и скульптурѣ, Толстой, какъ и вся школа только что названныхъ поэтовъ, не понимаетъ поэзіи внѣ изящной, красочной, эффектной формы. „Почти всѣ мои стихотворенія писаны въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотчичи мои пѣли по большей части въ минорномъ“—говоритъ онъ о себѣ, и дѣйствительно, его влечетъ въ жизни, исторіи, искусствѣ лишь красивое или по крайней мѣрѣ сильное и живописное. Онъ приглашалъ сторонниковъ чистаго искусства „грести во имя прекраснаго противъ теченія“. Однако, „двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный“, Толстой хотя и чуждается мотивовъ соціальнаго неустройства жизни, которая въ общемъ улыбалась ему, какъ всѣмъ поэтамъ чистаго искусства, довольно свѣтло и ясно, но время отъ времени не можетъ воздержаться отъ чисто публицистическаго вмѣшательства въ текущую общественную жизнь то эпиграммой, то сатирой. Его выпады второй половины шестидесятихъ годовъ противъ нигилизма („Пантелей-цѣлитель“, „Потокъ-богатырь“ и др.) уравниваются остроумными, мѣстами очень ѣдкими для всякаго рода основъ и охранителей, сатирами, какъ „Русская исторія въ стихахъ“ или „Сонъ Попова“. Въ общемъ онъ, дѣйствительно, „служить“ искусству, какъ нѣкому откровенію высшей мистической правды, приближаясь въ

этомъ отношеніи къ Жуковскому. Общіе интересы свободнаго развитія личности, общества, родины, мысли—дороги ему, конечно, не менѣе, чѣмъ другимъ людямъ шестидесятыхъ годовъ. Его высоко гуманный идеалъ поэта, благословляющаго весь міръ, изображенъ въ его лучшей поэмѣ „Іоаннъ Дамаскинъ“ (1859): „надъ вольной мыслью Богу неугодны насиліе и гнетъ: она, въ душѣ рожденная свободно, въ оковахъ не умретъ“. И Толстому удалось въ рядѣ произведеній выразить это свое отвращеніе къ гнету и насилію и въ популярномъ доселѣ романѣ „Князь Серебряный“ (1863), и въ высоко-художественной драматической трилогіи: „Смерть Іоанна Грознаго“ (1866), „Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ“ (1868) и „Царь Борисъ“ (1870), въ основѣ которой положена идея нравственнаго возмездія самодержавію за попраніе съ его стороны челоѣческихъ правъ гражданъ и нравственнаго начала. Такъ, Толстому удалось отразить нѣкоторыя изъ высшихъ проявленій духовной жизни своего времени, и нѣкоторыя струны изящной лиры этого мистика-гуманиста до сихъ поръ созвучны нашему сознанию.

Какъ поэтъ, воспитанный въ старой школѣ поэзіи Пушкина и—что касается народной жизни—въ духѣ Кольцова, заявилъ о себѣ въ это время Иванъ Саввичъ Никитинъ (1824—1861), выходецъ изъ низовъ общества, воронежскій мѣщанинъ. Тяжелая личная судьба наложила угрюмую печать на его лирику: это—сплошной стонъ о разбитой жизни, какъ всѣмъ извѣстное, классическое „Вырыта заступомъ яма глубокая“, трагическій вопль пасынка жизни. Только въ картинахъ родной природы находитъ онъ свѣтлыя краски и теплые тона. Его поэма „Кулакъ“ (1857) дышитъ социальнымъ интересомъ, тою симпатіей къ бѣднотѣ и затаенному негромкому страданію, какая вошла въ русскую литературу съ сороковыхъ годовъ, а стихотворенія изъ народной жизни въ стилѣ то Кольцова, то Некрасова шли въ руслѣ созрѣвавшаго вниманія къ крестьянству. Нѣсколько лирическихъ вещей его были очень популярны, какъ дань общественно-политическому настроенію молодой Россіи: „Тяжкій крестъ несемъ мы, братья, мысль убита, ротъ зажать, въ глубинѣ души проклятъ, слезы на сердцѣ кипятъ...“ взываетъ онъ въ одномъ стихотвореніи. Въ другомъ онъ красиво и сильно изобразилъ вѣковой застой Россіи, въ образѣ закованнаго сокола: „На старомъ курганѣ, въ широкой степи прикованный соколъ сидитъ на цѣпи“ и т. д. Его свѣтлый гимнъ „Медленно движется время“, встрѣча имъ 19 февраля („На погостѣ“) гармонировали съ свѣтлыми настроеніями эпохи. Но больше этихъ откликовъ право на вниманіе потомковъ даютъ поэзіи Никитина ея общій гуманный строй, ея тѣсная связь съ роднымъ бытомъ, который онъ воспроизводитъ съ любовью и суровою правдивостью.

Настроенія разночинцевъ, выдвигавшихся все болѣе въ общественной жизни, живо отразили немногія, но задушевные и всегда очень искреннія стихотворенія Добролюбова. Въ нихъ звучитъ неподдѣльное страданіе челоѣка, жизнь къ которому обращена обычно

не праздничной стороною; и самая смерть разыграетъ съ нимъ „обидную шутку“; онъ „умираетъ, потому что былъ честенъ“. Здѣсь нѣтъ красивой и изящной формы, она не для дѣтей труда и заботы, но они бодро, несмотря ни на что, идутъ путемъ труда и борьбы, памятуя, „еще работы въ жизни много, работы честной и святой“ и т. д. По поводу „Пускай умру—печали мало“ мѣтко сказалъ Тургеневъ устами Маріанны, представительницы поколѣнія, воспитаннаго Добролюбовымъ: „Надо такіе стихи писать, какъ Пушкинъ, или вотъ такіе, какъ эти добролюбовскіе: это не поэзія, но что-то не хуже ея“.—Такова же почти, но болѣе изящна и выработана муза Михаила Ларионовича Михайлова (1826—1865). Высокоталантливый переводчикъ Гейне и другихъ иностранныхъ поэтовъ, выбиравшій въ нихъ созвучныя его таланту и настроенію произведенія съ гуманною и соціальною тенденціей, онъ нашумѣлъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ статьями о женскомъ вопросѣ и трагически кончилъ свои дни на каторгѣ за провозъ изъ-за границы прокламаціи „Къ молодой Россіи“. Ему принадлежатъ тѣ пѣсни революціоннаго и протестующаго содержанія, которыя и до сихъ поръ не замолкли: „Смѣло, друзья, не теряйте бодрость въ неравномъ бою“, „Крѣпко, дружно васъ въ объятія всѣхъ бы, братья, заключилъ“, „На смерть Добролюбова“ („вѣчный врагъ всего живого, тупоумень, дикъ и золъ, нашу жизнь за мысль и слово топчетъ произволъ“ и т. д.) и друг.

Эти протестующія ноты сильнѣе, чѣмъ прежде, звучатъ и у Некрасова. Творчество его именно теперь развертывается съ небывалою энергіей, при чемъ муза мести и печали находитъ новые мотивы, новое содержаніе. Въ сороковые—пятидесятые годы она отражала, преимущественно, только темныя настроенія людей столичной нужды, безнадежность черной мглы, окружающей бѣдняка. „Злобою сердце питаться устало, много въ ней правды, да радости мало“. Теперь, въ чаяніи болѣе свѣтлаго будущаго родины, поэтъ отъ личнаго всепоглощавшаго и заслонявшаго радость и смыслъ жизни озлобленія обращается къ болѣе широкимъ интересамъ и надеждамъ, къ народу, къ родинѣ: „родина-мать, я душою смирился, любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился“... „Мать не враждебна и къ блудному сыну: только что ей я объятія раскрылъ—хлынули слезы, прибавилось силъ. Чудо свершилось: убогая нива вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива, ласковѣй машетъ вершинами лѣсъ, солнце привѣтливѣй смотритъ съ небесъ“... Эти строки—выраженіе цѣлаго моральнаго поворота и въ творчествѣ, и въ личной жизни, и въ общественномъ настроеніи Некрасова. Онъ—изъ пролога „Саши“ (1855), лирической поэмы, написанной на ту же тему и тогда же, что и Рудинъ, съ центральнымъ лицомъ того же типа „современнаго героя“; этотъ же судъ надъ лишними людьми повторенъ и въ другихъ его произведеніяхъ этого и послѣдующаго періода („Самодовольныхъ болтуновъ“, „Рыцарь на часъ“, „Медвѣжья охота“ и др.).

У всей молодежи на устахъ въ это время „гражданскія“ вещи

Некрасова: „Поэтъ и гражданинъ“, съ извѣстнымъ стихомъ: „поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ“; „Убогая и нарядная“; „Размышленія у параднаго подъѣзда“, отрывокъ которыхъ „Укажи мнѣ такую обитель“ былъ своего рода гимномъ русской оппозиціонной и революціонной интеллигенціи; „Пѣсня Еремушкѣ“, „Желѣзная дорога“, „Дѣдушка“, этотъ апоѳеозъ декабриста, и позднѣйшія „Русскія женщины“, такой же апоѳеозъ женъ декабристовъ... Здѣсь было страстное переживаніе всего, что такъ или иначе волновало современниковъ, во всемъ были отклики сердечной муки поэта, кровно и больно связавшіе съ нимъ тогдашнихъ читателей и дальнѣе потомство. Но для ближайшаго будущаго гораздо важнѣе была и послужила основаніемъ неувядающей славы Некрасова его стихійная, все побѣждающая и все заставляющая ему простить—и нескладную подчасъ форму, и прозаику его гражданской лирики—тяга къ народу. Въ эти годы народная поэзія и ея форма интересовала даже поэтовъ школы чистаго искусства. Графъ Алексѣй Толстой, Л. Мей, даже Майковъ и Полонскій обнаружили большую виртуозность въ пользованіи формами и складомъ народного пѣсеннаго и былиннаго творчества. Но ихъ привлекала возможность въ этихъ „стилизацияхъ“ блеснуть виѣшнюю красотой, пестротой и колоритностью этнографической вѣрности. Въ противоположность этому у Некрасова, какъ у Кольцова, нѣтъ въ поминѣ этой погони за виѣшнюю красотой этнографическаго колорита. Говоритъ ли онъ о народѣ въ общепринятыхъ классическихъ ямбахъ, или пользуясь свободными, приближающимися къ народнымъ, размѣрами и тономъ простонародной рѣчи,—вездѣ предъ его глазами укоръ молчаливаго страданія народа, укоръ его нищеты и невѣжества. Но въ немъ живетъ и глубокая вѣра въ неизжитыя нравственныя силы и мощь этого же крестьянина, въ противоположность большаго частью ничтожеству и слабости городского интеллигентнаго человѣка. Въ этомъ уже было то настроеніе, которое получило нѣсколько позднѣе названіе настроенія „кающихся дворянъ“. Шедевры этой покаянной лирики—„Тишина“, „На Волгѣ“, „Несчастные“, „Рыцарь на часъ“—достойны стать рядомъ съ объективными воспроизведеніями народного быта, подъ угломъ зрѣнія, близкимъ къ пониманію крестьянства; таковы въ особенности изъ произведеній Некрасова шестидесятыхъ годовъ: „Похороны“, „Коробейники“, „Зеленый шумъ“, „Орина, мать солдатская“, „Морозъ Красный Носъ“. Все это въ своей совокупности не только плачь и скорбь о народѣ со стороны, но настоящій апоѳеозъ трудовой жизни и нравственнаго величія крестьянства, и освобожденіе его онъ недаромъ привѣтствовалъ такъ радостно.

Въ параллель вліянію поэзіи Некрасова въ это время можетъ быть поставлена только скорбная муза малоросса Тараса Григорьевича Шевченка (1814—1861). Гоголь, конечно, подготовилъ своими повѣстями изъ малороссійскаго быта успѣхъ Шевченка. Выходецъ

изъ простонародья, на себѣ вынесшій всѣ ужасы крѣпостного права, политическій мученикъ и мечтатель освобожденія всего славянства, со своимъ демократическимъ идеаломъ, Шевченко для русскаго общества былъ символомъ возможныхъ перспективъ для освобождаемаго народа. Его „Кобзарь“ въ изданіи 1860 года былъ горячо встрѣченъ Добролюбовымъ. „Проникаясь поэзіей Шевченка, — писалъ также критикъ „Отеч. Зап.“, — возникаетъ и утверждается мысль и надежда возрожденія массы... не только малороссійской, но и вообще всякой“...

Остается, наконецъ, отмѣтить, какъ характерную черту момента, быстрое умноженіе переводной художественной лирики, что зависѣло какъ отъ облегченія цензурныхъ условій, ранѣе закрывавшихъ дорогу многимъ виднымъ и знаменитымъ писателямъ Запада, такъ и отъ того, что именно здѣсь могли находить приложенія поэтическія силы, слишкомъ слабыя, чтобы занять оригинальнымъ творчествомъ замѣтное въ поэзіи мѣсто; въ этомъ выразилось также общее тогда стремленіе къ расширенію умственного кругозора, къ болѣе интенсивному сближенію съ міровою литературой. Кромѣ упомянутаго уже М. Л. Михайлова, въ особенности должны быть названы: Петръ Исаевичъ Вейнбергъ (1830—1908), авторъ множества переводовъ нѣмецкихъ и англійскихъ классиковъ; Николай Васильевичъ Гербель (1827—1883), переводчикъ и издатель весьма популярныхъ собраній иностранныхъ поэтовъ въ русскихъ переводахъ; Василій Степановичъ Курочкинъ (1831—1875), получившій почетную извѣстность, какъ лучший переводчикъ Беранже, Барбье и др.; Дмитрій Лаврентьевичъ Михайловскій (род. въ 1828 г.); Сергій Андреевичъ Юрьевъ (1821—1888), переводчикъ Кальдерона; Дмитрій Дмитриевичъ Минаевъ (1823—1889), переводчикъ Байрона и удивительный остроумецъ-версификаторъ, авторъ позднѣйшей остроты о конституціи („намъ дайте конституцію, на первый разъ хоть куцую“); Дмитрій Егоровичъ Минъ (1818—1885) и др.

Въ особенности должно упомянуть о Гейне, который привлекъ вниманіе едва ли не всѣхъ безъ исключенія лириковъ этого періода. Скептическій свободомысленный строй его бодрой жизнерадостной поэзіи, его „рыцарство духа“ пришлись въ ладъ настроеніямъ русскихъ людей этого времени. Писаревъ весь коренной поворотъ въ своемъ міровоззрѣніи приписывалъ Гейне. Вообще благодаря обильнымъ переводамъ, появившимся въ эти годы, Гейне сталъ почти роднымъ русскимъ поэтомъ, и едва ли не ему одному принадлежитъ непосредственное вліяніе на лирику этого времени.

Въ эти же захватывающіе годы и репертуаръ русскаго театра, обновленный Островскимъ, становится ближе къ жизни и обогащается новыми выдающимися произведеніями. Однако, вслѣдствіе болѣе стѣсненныхъ цензурныхъ условій, театръ далеко не съ такою ясностью, какъ романъ или лирика, отражаетъ движеніе умовъ и перемѣщеніе соціальныхъ интересовъ, связанныя съ освобожденіемъ крестьянъ и другими реформами.

На первомъ мѣстѣ (хронологически) должно назвать Александра Васильевича Сухова-Кобылина (р. 1820 г.), автора прежде всего „Свадьбы Кречинскаго“ (1856), удивительно талантливой комедіи, имѣвшей на сценѣ бѣшенный успѣхъ и до сихъ поръ удержавшейся въ репертуарѣ. Въ ней легкая занимательность ловко веденной интриги и живыхъ жанровыхъ сценъ соединилась съ созданіемъ двухъ высоко выразительныхъ колоритныхъ характеровъ: аристократа-шулера Кречинскаго и его „гончей собаки“, мелкаго шулера и проходимца Расплюева. Другая комедія того же автора, „Дѣло“, пожалуй, прямѣе и рѣзче, чѣмъ даже въ „Ревизорѣ“, разоблачаетъ вопіющее къ небу безобразіе стараго ужаснаго суда, хотя, конечно, въ ущербъ широтѣ и живучести типовъ (впрочемъ, великолѣпенъ безкорыстный, но выживающій изъ ума высшій сановникъ, князь, котораго водятъ за носъ ловкіе дѣльцы), но это произведеніе увидѣло свѣтъ и попало на сцену лишь много лѣтъ спустя по написаніи.

Продолжаетъ расти слава Островскаго, онъ даритъ русской сценѣ новыя и новыя комедіи и драмы. Въ „Доходномъ мѣстѣ“ (1857) и „Воспитанницѣ“ (1859) онъ даетъ въ общемъ живой откликъ на вопросы времени, въ первой пьесѣ—на вопросъ о борьбѣ со служебными злоупотребленіями и взяточничествѣ, во второй—на больной вопросъ о развратѣ и произволѣ крѣпостного рабства. Наравнѣ съ очерками Салтыкова это—немногія произведенія, до сихъ поръ уцѣлѣвшія отъ той эпохи поверхностныхъ обличеній. Правда, слабодушный Жадовъ, наивно пришедшій въ концѣ пьесы къ дядѣ-взяточнику просить выгоднаго мѣста, несчастная воспитанница и бытовые типы, вродѣ Юсова или Уланбековой съ ея свитою, кажутся уже чѣмъ-то далекимъ. Зато въ драмѣ „Гроза“ (1859) Островскій, сохранивъ полную вѣрность бытовой обстановкѣ и созданнымъ ею типамъ, поднялся на художественную высоту постоянно повторяющихся въ жизни коллизій, вѣчныхъ мотивовъ человѣческаго сердца, и далъ едва ли не высшее созданіе своего творчества. Какъ уже указано, Добролюбовъ раскрылъ общественно-политическое значеніе „темнаго царства“ пьесы Островскаго и выяснилъ типъ самодура, дающій трагическую окраску этой жизни; Добролюбовъ закрѣпилъ за Островскимъ права художественнаго бытописателя этого царства, въ значительной степени оторвалъ писателя отъ искусственнаго подчеркиванія старорусскихъ симпатій, и прежніе споры о славянофильскихъ тенденціяхъ Островскаго пали сами собою. Но въ „Грозѣ“ Островскій показалъ, что и добролюбовское опредѣленіе его генія, какъ обличителя темнаго царства, все же односторонне. Какъ писалъ Аполлонъ Григорьевъ,—„слово самодурство слишкомъ узко, и имя сатирика, обличителя-писателя отрицательнаго, весьма мало идетъ къ поэту, который играетъ на всѣхъ тонахъ, на всѣхъ ладахъ народной жизни“. „Гроза“ была, конечно, вполне оправданіемъ этого широкаго взгляда на произведенія Островскаго, какъ національнаго поэта. Въ его лицѣ развитіе русской бытовой комедіи, временами поднимаю-

щейся до высоты общечеловѣческой драмы, продолжается въ теченіе всего періода шестидесятихъ годовъ. Неистошимо забавная „Женитьба Бальзамина“ (1861) и рядъ другихъ пьесъ развертываютъ жизнь мелкаго чиновничества, проживающагося дворянства и т. д. Заслуживаетъ особо упоминанія драма „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“ (1862); разлагающейся легкомысленной дворянской психологіи противопоставлена здѣсь простая и несложная, но стойкая и по своему честная моральная сила лавочника Краснова. Далѣе Островскій создаетъ нѣсколько „хроникъ“ изъ эпохи смутнаго времени и поэтическія картины на историческія темы „Василиса Мелентьева“ и „Воевода“, которыя, конечно, выше хроникъ. Наконецъ, въ 1868 г. написана замѣчательная комедія „На всякаго мудреца довольно простоты“; она какъ бы завершаетъ собою, подводитъ итогъ общей борьбѣ либеральныхъ и консервативныхъ началъ въ 60-е годы, съ печальнымъ исходомъ ея: уцѣлѣлъ и долженъ преуспѣть только ловкій пройдоха, образованный негодяй Глумовъ; этотъ удивительно яркій, широкій и жизненный типъ поздиѣ не разъ эксплуатируется Салтыковымъ въ его сатирѣ.

Въ эту же пору Писемскій пріобрѣтаетъ видную сценическую извѣстность драмою изъ народной жизни „Горькая судьбина“ (1859). Мы встрѣчаемся и здѣсь съ характернымъ для эпохи противоположеніемъ внутренне безсильному и изжившему себя рабству какой-то крѣпкой и жизненной силы выходца изъ народа, въ лицѣ мелкаго торговца-питерщика. Ананій Яковлевъ Писемскаго при всей ограниченности своихъ взглядовъ и первобытной дикости своего крутого нрава головой выше, какъ нравственный характеръ, и своего барина, и исподличавшагося въ крѣпостномъ рабствѣ „міра“.

Остается упомянуть нѣсколько популярныхъ въ свое время именъ второстепенныхъ драматурговъ. Подражалъ явно Островскому Иванъ Егоровичъ Чернышевъ (1833—1863), авторъ пользовавшихся успѣхомъ комедій „Не въ деньгахъ счастье“ (1857), „Женихъ долгового отдѣленія“ и др. Викторъ Антоновичъ Дьяченко (1818—1876) написалъ множество пьесъ, изъ которыхъ до нашихъ дней въ репертуарѣ провинціи дожили двѣ-три: „Жертва за жертву“ (1861), „Гувернеръ“ (1864). Критика никогда серьезно не считалась съ Дьяченко, но въ его наивномъ драмодѣланіи было нѣчто отъ своего времени. Сюжеты его пьесъ просты и трогательны, немножко сентиментальны, но взяты изъ дѣйствительности: столкновеніе новыхъ гуманистическихъ понятій со старыми предрасудками; симпатичныя дѣвушки, страдающія подъ гнетомъ семейнаго деспотизма; юноша, геройски принимающій на себя чужое преступленіе, чтобы избавить отъ позора любимую женщину; французъ-гувернеръ, который при всемъ своемъ крайнемъ легкомысліи можетъ дать полудикой глуши хорошій урокъ здравыхъ понятій о чести и настоящемъ уваженіи къ чувству женщины,—все это было занимательно и было благодушнымъ урокомъ морали все же гораздо болѣе высокой, чѣмъ общій низменный уровень русской жизни.

Заслуживаетъ, наконецъ, быть отмѣченнымъ стремленіе къ воспроизведенію на сценѣ исторической русской жизни, въ ея событіяхъ и жизненномъ укладѣ. Кромѣ уже упомянутыхъ произведеній Островскаго и графа А. Толстого, можно назвать „Псковитянку“ Мея (1860) и его же ранѣ написанную „Царскую невѣсту“, а также пьесы Дмитрія Васильевича Аверкіева (род. въ 1836 г.): „Мамаево побоище“ изображаетъ въ величавыхъ чертахъ развѣнчаннаго тогда Костомаровымъ героя Куликовской битвы; идеализованный старо-московскій бытъ изображаютъ „Фролъ Скобѣевъ“ и другія, какъ и драма начала семидесятыхъ годовъ, весьма и донинѣ популярная „Каширская старина“. Это влеченіе къ національной стариинѣ, конечно, вполне гармонизировало съ настоятельной потребностью времени найти и опредѣлить основанія національнаго бытія и національнаго обновленія. Если Чернышевскій говорилъ, что всѣ достоинства „критики гоголевскаго періода“, т.-е. Бѣлинскаго, „пріобрѣтали жизнь, смыслъ и силу отъ одной одушевлявшей ихъ страсти, отъ пламеннаго патріотизма“ и опредѣлялъ задачи дѣятельности каждого русскаго такими словами: „русскій, у кого есть здравый умъ и живое сердце, до сихъ поръ не могъ и не можетъ быть не чѣмъ инымъ, какъ патріотомъ, въ смыслѣ Петра Великаго,—дѣятелемъ въ великой задачѣ просвѣщенія русской земли“, — то и всѣ нами намѣченныя стремленія и явленія литературы первой половины шестидесятыхъ годовъ въ романѣ, повѣсти, лирикѣ, драмѣ и комедіи такъ или иначе примыкаютъ къ этому всеобъемлющему, впервые въ такой широтѣ осознанному, повелительному чувству гражданскаго предъ родиной долга. Въ этомъ общемъ настроеніи и былъ ключъ того, что въ этотъ періодъ литературы въ ней такъ много единства, такъ мало раздѣленія.

IV.

Происходившее между тѣмъ разслоеніе русской интеллигенціи было опредѣленно указано и обрисовано въ знаменитомъ романѣ Тургенева „Отцы и дѣти“ (1862). Романъ можно считать пограничнымъ рубежомъ между двумя полосами шестидесятыхъ годовъ.

„Вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса“,—это подчеркивалъ настойчиво самъ Тургеневъ. Намѣренно взяты авторомъ хорошіе представители дворянства, чтобы тѣмъ вѣрнѣе показать несостоятельность и слабость или ограниченность ихъ предъ лицомъ новаго типа Базарова. Его черты можно найти въ людяхъ новаго разночиннаго поколѣнія, какъ Чернышевскій и Добролюбовъ. Это—люди ясной и спокойной совѣсти, чуждые старой неправды, съ ихъ отвращеніемъ къ дворянско-бюрократической полосѣ русской жизни; они не отступаютъ ни предъ какими выводами анализа и наукообразнаго матеріализма той эпохи, лично нетребовательны даже до нѣкотораго аскетизма по отношенію къ себѣ самимъ, и вынесли изъ строгой прозы своей жизни и школы (суровой бursы

и логической муштры семинарскаго образованія) способность къ неутомимому труду. „Если онъ (Базаровъ) называется нигилистомъ,—говорить въ письмѣ къ Случевскому Тургеневъ,—то надо читать революціонеромъ... Мнѣ мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная, злобная, честная,—и все-таки обреченная на погибель,—потому что она все-таки стоитъ еще въ преддверіи будущаго,—мнѣ мечтался какой-то странный pendant къ Пугачевымъ“ и т. д. Такимъ, дѣйствительно, и рисуется нынѣ образъ Базарова, когда мы можемъ отрѣшиться отъ всей остроты поставленнаго въ то время романомъ вопроса.

Базаровъ, какъ литературный типъ, настолько популяренъ, что намъ достаточно здѣсь напомнить лишь немногія его черты, имѣющія непосредственное отношеніе въ особенности къ литературѣ и искусству. Представитель разночинцевъ, питомцевъ „горькой, терпкой, бобыльной жизни“, Базаровъ—врагъ всякой эстетики, вся она для него—„романтизмъ, чепуха, гниль, художество“, потому что она была до сихъ поръ удѣломъ сытой и обеспеченной жизни „проклятыхъ барчуковъ“, потому что „порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта“... Онъ до послѣдней степени рационалистъ. На все у него готовы прямолинейные и до крайности упрощающіе жизнь отвѣты вродѣ того, что „при правильномъ устройствѣ общества совершенно все равно будетъ, глупъ ли человѣкъ или уменъ, золъ или добръ“... Но вопреки собственному міровоззрѣнію, голо логическому и сухому, онъ возмущенъ бессмысленностью человѣческой жизни съ точки зрѣнія ея ничтожества предъ міровымъ процессомъ, онъ „возненавидѣлъ“ мужика, который будетъ жить въ бѣлой избѣ, „а изъ меня лопухъ будетъ расти“, и „рѣшилъ все косить—валяй и себя по ногамъ“, приходя именно въ этомъ къ совершенно безвыходному философскому нигилизму, сводящему все на бессмысленную игру ощущений. Въ этомъ противорѣчій „нигилизма“ и былъ, конечно, тотъ его основной грѣхъ, который рано или поздно долженъ привести къ отрѣшенію отъ него. Но, прежде чѣмъ это случилось, данное унастроеніе нѣкоторыми своими чертами,—въ особенности своею непримиримою враждою къ міру традицій, какъ таковыхъ, соблазнительною простотою и ясностью отвѣтовъ на вопросы освобожденнаго сознанія, враждою къ искусству-забавѣ, переходившею во вражду ко всякому искусству, это унастроеніе должно было надолго увлечь многихъ и многихъ.

Романъ Тургенева со стороны критики вызвалъ рѣзко противорѣчивыя сужденія. Преемникъ Добролюбова по „Современнику“, Максимъ Алексѣевичъ Антоновичъ (род. въ 1835 г.), какъ критикъ, оставившій по себѣ въ литературѣ слѣдъ только неистовою бранчивостью полемики съ „Рус. Словомъ“ и „Временемъ“, въ страстной статьѣ подъ названіемъ „Асмодей нашего времени“ обрушился на романъ Тургенева, какъ на гнусный пасквиль противъ молодого поколѣнія. Заглавіе статьи было подсказано критику одноименнымъ

забытымъ нынѣ романомъ извѣстнаго мракобѣса шестидесятихъ годовъ, издателя „Домашней Бесѣды“ Асоченскаго (1820—1879). „Вмѣсто изображенія отношеній между „отцами“ и „дѣтьми“, вы—писаль Антоновичъ, рѣзко обращаясь къ Тургеневу,—написали панегирикъ „отцамъ“ и обличеніе „дѣтямъ“; да и дѣтей вы не поняли, вмѣсто обличенія у васъ вышла клевета. Распространителей здравыхъ понятій между молодымъ поколѣніемъ вы хотѣли представить развратителями юношества, сѣятелями раздора и зла, ненавидящими добро,—однимъ словомъ,—асодеями“. Рѣзкость нападокъ Антоновича объясняется тѣмъ, что романъ былъ принятъ (консервативнымъ элементомъ общества и литературы), какъ „обличеніе“ русскаго радикализма. „Слово (нигилизмъ),—говоритъ самъ Тургеневъ,—было подхвачено многими, ждавшими случая задержать движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ. Я употребилъ это слово не въ смыслѣ укора или обиды, а только какъ мѣткое обозначеніе историческаго факта. Но оно превратилось въ орудіе лживыхъ обвиненій и даже въ позорное клеймо“. Въ противоположность этому часть литературной критики признала въ Базаровѣ полное воплощеніе своихъ настроеній и убѣжденій. Литературный типъ, въ силу гениальной угадки авторомъ разсѣянныхъ въ разныхъ личностяхъ чертъ, явился готовою формою, въ которую отливались настроенія многихъ изъ людей ближайшаго времени. Первое мѣсто здѣсь принадлежитъ вліятельнѣйшему критику второй половины шестидесятихъ годовъ, Писареву.

Въ лицѣ Дмитрія Ивановича Писарева (1840—1868) мы видимъ крайне своеобразный примѣръ литературнаго критика, возрѣнія котораго сложились и выработались подъ явнымъ вліяніемъ типа Базарова.

Общее настроеніе—паѳосъ короткой, но блестящей дѣятельности Писарева—можно опредѣлить, какъ страстное стремленіе къ освобожденію личности отъ оковъ традиціи и авторитета, съ оттѣнкомъ нѣкотораго эпикуреизма, со стремленіемъ къ тому, чтобы ярче играла „богатая полнота жизни, рельефность матеріи, переливы линій и красокъ, пестрое разнообразіе явленій, все, чѣмъ красна и полна наша жизнь“ (изъ статьи „Идеализмъ Платона“). На личности больше, чѣмъ на обществѣ, вліяющемъ на личность, сосредоточена проповѣдь Писарева, въ противоположность Чернышевскому и Добролюбову. По существу Писаревъ держится того же, что и они, критическаго метода оцѣнки литературныхъ произведеній по количеству и качеству нужныхъ и полезныхъ идей, которыя можно извлечь изъ нихъ, и онъ началъ съ того же, какъ и они, уваженія къ роли науки и искусства, чтобы кончить сведеніемъ наукъ на одно естествознаніе и отрицаніемъ искусства (по крайней мѣрѣ, какъ понято оно было создателями русскаго поэзіи), въ качествѣ празднои и потому вредной забавы. Это было послѣднее слово „разночинца“, подсказанное Писареву, какъ извѣстно, редакторомъ „Русскаго Слова“

Благосвѣтловымъ. Послѣдній во многихъ отношеніяхъ былъ типическимъ выходцемъ изъ низовъ жизни, устремившимся на ловлю житейскихъ благъ и буржуазное устройство своего благополучія собственными усилями. По своимъ политическимъ воззрѣніямъ это былъ, если угодно, радикалъ и демократъ, но и несомнѣнный буржуа, совершенно чуждый склонностей къ социализму. Эта особенность сказалась и на міровоззрѣніи Писарева. Русскій социалистъ того времени и надолго потомъ, прежде всего, народникъ. Писаревъ, какъ Базаровъ, демократъ, но отнюдь не народникъ, и это несомнѣнно вносило въ его проповѣдь извѣстную отвлеченность и оторванность, составляющую слабость „нигилизма“.

Въ статьѣ 1861 г. „Схоластика XIX вѣка“ Писаревъ еще категорически заявляетъ о самостоятельномъ значеніи искусства: „Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи „Поэтъ и чернь“ спрашиваетъ: „Жрецы ль у васъ метлу берутъ?“ и, какъ извѣстно, выражаетъ ту мысль, что поэты созданы для пѣснопѣній, для звуковъ сладкихъ и молитвъ. Я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ Пушкина“. Въ ближайшихъ по времени статьяхъ („Стоячая вода“ и др.) Писаревъ еще стоитъ на этой же точкѣ зрѣнія. Подобно тому, какъ это сдѣлано Добролюбовымъ для Островскаго, Писаревъ возсоздаетъ яркую картину провинціального общества на основаніи произведеній Писемскаго, и изливаетъ свой страстный и захватывающій молодые умы протестъ противъ низменности нравовъ этого общества. Въ это время Писаревъ изъ лириковъ ставитъ рядомъ Некрасова „за его горячее сочувствіе къ страданіямъ простаго человѣка, за честное слово, которое онъ всегда готовъ замолвить за бѣдняка и угнетеннаго“, и Майкова, котораго онъ уважаетъ „какъ умнаго и современно развитогаго человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью, какъ поэта, имѣющаго опредѣленное трезвое міросозерцаніе, какъ творца „Трехъ смертей“, „Саванароллы“, „Приговора“ и т. д. („Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ“).

Переломъ совершился въ 1862 г. послѣ „Отцовъ и дѣтей“; самъ Писаревъ приписываетъ его Гейне, что, конечно, далеко не точно. Когда переходъ къ „реальному“ міровоззрѣнію закончился, Писаревъ, — по его же словамъ — „конечно, всякую чистую художественность съ величайшимъ наслажденіемъ выбросилъ за бортъ“.

Тургеневъ взглянулъ на Базарова, какъ на сильную и жизнеспособную натуру, представилъ ее выше всѣхъ окружающихъ; Писаревъ снимаетъ съ автора всякій упрекъ въ отсталости и признаетъ романъ „практически полезнымъ для настоящаго времени“. Въ своей статьѣ „Базаровъ“ и др. критикъ даетъ подробную характеристику Базарова, какъ эмпирика, который „признаетъ только то, что можно ощупать руками, увидеть глазами, положить на языкъ, словомъ, только то, что можно освидѣтельствовать однимъ изъ пяти чувствъ“. „Ни надъ собою, ни виѣ себя, ни внутри себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого прин-

ципа. Впереди—никакой высокой цѣли, въ умѣ—никакого высокаго помысла, и при всемъ этомъ сила огромная“. Это сила безпощаднаго отрицанія всѣхъ основъ и понятій патріархальнаго быта, не исключая и искусства. Въ отношеніи къ искусству Писаревъ пока нѣсколько расходится съ Базаровымъ, какъ не одобряетъ и его нарочитой виѣшней грубоватости. „Послѣдовательные матеріалисты, вродѣ Карла Фохта, Мошотта и Бюхнера, не отказываютъ поденщику въ чаркѣ водки, а достаточнымъ классамъ—употребленіе наркотическихъ веществъ, отчего же не допустить наслажденія красотой природы, мягкимъ воздухомъ, свѣжею зеленью, нѣжными переливами контуровъ и красокъ?...“ Однако, искусство свелось здѣсь уже на роль только „чарки“ и отдыха отъ трудовъ, какъ Державину нѣкогда оно казалось „вкуснымъ лимонадомъ“.

Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе и болѣе сужденія Писарева объ искусствѣ продиктованы психологіей Базарова и тѣми дополнительными чертами, какія были внесены въ образъ „новыхъ молодыхъ людей“ романомъ Чернышевскаго „Что дѣлать?“ (1863). Съ 1864 года, когда загорѣлась полемика между „Современникомъ“ и „Русскимъ Словомъ“, Писаревъ дѣлаетъ по отношенію къ литературѣ всѣ свои послѣдніе выводы изъ настроеній Базарова и героевъ „Что дѣлать?“ и изъ положеній „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности“ (книга вышла въ эту пору вторымъ изданіемъ).

Полемика вспыхнула изъ-за рѣзкихъ выпадовъ Салтыкова въ „Совр.“ противъ „вислоухихъ“ радикаловъ, компрометирующихъ всякую здравую идею. Писаревъ обрушился на Салтыкова въ статьѣ „Цвѣты невиннаго юмора“. Высказавъ нѣсколько по существу здравыхъ мыслей о поверхностности щедрина юмора именно этого времени, критикъ радуется увяданію нашей беллетристики, видя въ немъ очень хорошіе симптомы для будущей судьбы нашего умственнаго развитія. „Поэзія въ смыслѣ стиходѣланія стала клониться къ упадку со времени Пушкина.—Теперь стиходѣланіе находится при послѣднемъ издыханіи, и, конечно, этому слѣдуетъ радоваться... Теперь пора бы еще сдѣлать шагъ впередъ, недурно было бы понять, что серьезное изслѣдованіе, написанное ясно и увлекательно, освѣщаетъ всякій интересный вопросъ гораздо лучше и полнѣе, чѣмъ разсказъ, придуманный на эту тему и обставленный ненужными подробностями и неизбѣжными уклоненіями отъ главнаго сюжета“...

„Въ настоящее время, по мнѣнію Писарева, Добролюбовъ посвятилъ бы лучшую часть своего таланта на популяризированіе европейскихъ идей естествознанія и антропологій“. Этотъ совѣтъ дается и Салтыкову. „А Глуповъ давно пора бросить!“

Теперь Писаревъ горячо полемизируетъ съ Добролюбовымъ противъ его „порывовъ эстетическаго чувства“, дабы „защитить его идеи противъ его собственныхъ увлеченій“. Въ статьѣ „Мотивы русской драмы“ онъ подчеркиваетъ любимую свою раціоналистическую мысль, что человѣка „облагораживаетъ, его ведетъ къ наслажденію

только самостоятельная умственная дѣятельность... умъ дороже всего или, вѣрнѣе, умъ—все!“ Поэтому, естественно, въ пьесахъ Островскаго „Гроза“ и „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“, съ ихъ трагическимъ взрывомъ стихійной „неразумной“ страсти, Писаревъ не видитъ ничего, кромѣ „тупоумія семейнаго курятника“ и глумится надъ героями ихъ. Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Наука и искусство подъ угломъ зрѣнія Базарова уже не нужны, если не отвѣчаютъ началу ближайшей непосредственной пользы. Критикъ „совершенно искренно желалъ бы лучше быть русскимъ сапожникомъ или булочникомъ, чѣмъ русскимъ Рафаэлемъ или Гриммомъ...“ („Кукольная трагедія“).

Всѣхъ честныхъ и умныхъ людей, подобныхъ Грановскому и Кудрявцеву, Писаревъ относитъ теперь къ разряду „сладкогласныхъ сиренъ“, которыя только тѣмъ и занимаются, что очаровываютъ и увлекаютъ на ложный путь своимъ мелодическимъ пѣніемъ неопытныхъ посѣтителей великаго храма науки, назначеніе которой „кормить, одѣвать, обувать, обмывать людей“. („Нерѣшенный вопросъ“). Въ этой же статьѣ „Нерѣшенный вопросъ“ Писаревъ высказываетъ и свой идеалъ поэта. „Истинный“, „полезный“ поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его народа и вѣка... Поэтъ—великій боецъ мысли, безстрастный и безукоризненный „рыцарь духа“, или же поэтъ—ничтожный паразитъ, потѣшающій другихъ ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства. Середины нѣтъ! Поэтъ-титанъ—потрясающій горы вѣковаго зла, или поэтъ-козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли“... Такъ какъ „самый лучший, самый умный и самый просвѣщенный представитель народа и вѣка“ — конечно, Базаровъ, то теперь все, что не входитъ въ рамки его настроеній, то уже этимъ самымъ отбрасывается. Такъ, въ Львѣ Толстомъ Писаревъ, хотя и расхваливаетъ его умъ и талантъ, находитъ только сатирика, обличителя праздныхъ людей съ разстроенными праздностью нервами: „глупить и размышлять надъ сдѣланными глупостями, размышлять и потомъ опять глупить—вотъ все внутреннее содержаніе въ жизни людей, подобныхъ Нехлюдову“ (изъ „Люцерна“). Островскій объявленъ талантомъ „увядшимъ“, и „Воевода“ удивляетъ Писарева только своею „несообразностью—домовыми и „сномъ на Волгѣ—„чего же смотреть Редакція „Современника?“ — („Прогулка по садамъ російской словесности“).

Наконецъ Писаревъ принялся вплотную и за Пушкина. Заранѣе отказавшись отъ исторической оцѣнки, Писаревъ обрушился на Пушкина съ тѣмъ большей стремительностью, что имя его уже снова противопоставлялось охранителями въ качествѣ консервативнаго знамени. Пушкину посвящены двѣ статьи подъ названіемъ „Пушкинъ и Бѣлинскій“. Въ первой Евгеній Онѣгинъ произвольно отождествленъ съ Пушкинымъ, и шагъ за шагомъ критикъ слѣдитъ за

Онѣгинымъ, пародируя все въ видѣ несказанно пошломъ. У Писарева Пушкинъ „самъ оказался человѣкомъ свѣтской толпы и употребилъ всѣ силы своего таланта на то, чтобы изъ мелкаго, трусливаго, безхарактернаго и праздношатающагося франтика сдѣлать трагическую личность“. „Возвышая въ глазахъ читающей массы тѣ типы и черты характера, которые сами по себѣ низки, пошлы и ничтожны, Пушкинъ всѣми силами своего таланта усыпляетъ общественное самосознаніе... оправдываетъ и поддерживаетъ своимъ авторитетомъ робость, безпечность и неповоротливость индивидуальной мысли... подавляетъ личную энергію, обезоруживаетъ личный протестъ и укрѣпляетъ общественные предрасудки...“, потому что „весь Евгений Онѣгинъ—не что иное, какъ яркая и блестящая апопееза самаго безотраднaго и бессмысленнаго statu quo“, не исключая и крѣпостного права! Этимъ Писаревъ шелъ не только противъ Пушкина и Бѣлинскаго, съ которымъ также все время полемизируетъ, но и противъ Чернышевскаго, нѣсколько лѣтъ назадъ такъ высоко поставившаго просвѣтительную роль Пушкина. Вторая статья—„Лирика Пушкина“—еще яростиѣе. Во всемъ Писареву ясна „колоссальная неразвитость“ Пушкина, и настоящая вакханалія базаровской ограниченности разыгрывается, когда Писаревъ добирается до привѣтствованныхъ имъ три-четыре года назадъ стиховъ Пушкина о призваніи поэта. „Блестящія фигуры и фразы (стихотворенія „Пока не требуетъ поэта“) предоставляютъ каждому риѣмоплету полнѣйшее право быть пошлымъ дуракомъ и отъявленнымъ негодяемъ“, и т. д. Поэтъ, выведенный въ „Черни“, въ качествѣ поэта „звуковъ сладкихъ и молитвъ“, оказывается не только „надменнымъ“, „хладнымъ“, „бессмысленнымъ“, но, наконецъ, и „отъявленнымъ“, „безнадежнымъ кретиномъ“. Въ противность исторіи литературы и здравому смыслу Писаревъ отождествляетъ „тупую чернь“ съ трудящейся массою и съ наивной горячностью возмущенъ, что „мирному поэту нѣтъ дѣла до умственныхъ и нравственныхъ потребностей народа, до пороковъ и страданій окружающихъ людей“ и т. п. Въ концѣ-концовъ, послѣ многихъ подобныхъ выпадовъ, Писаревъ увѣренъ, что показалъ въ „такъ называемомъ великомъ поэтѣ“ „легкомысленнаго версификатора, опутаннаго мелкими предрасудками, погруженнаго въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній и совершенно неспособнаго анализировать и понимать великіе общественные и философскіе вопросы нашего вѣка“.

Подголоскомъ Писарева былъ Варѣоломей Ивановичъ Зайцевъ (1842—1881), который велъ въ „Русскомъ Словѣ“ библіографическій отдѣлъ въ духѣ той же проповѣди естественныхъ наукъ, свободной мысли и разрушенія традиціонныхъ авторитетовъ въ жизни, наукѣ и искусствѣ. Если Писаревъ-Базаровъ договаривался до предѣловъ здраваго смысла, то Зайцевъ уже ничѣмъ не стѣснялся. Это онъ объявилъ, ссылаясь на науку, что „невольничество есть самый лучшій исходъ, котораго можетъ желать цвѣтной чело-

вѣкъ, придя въ соприкосновеніе съ бѣлою расою“ и обругалъ Бичеръ-Стоу. Это онъ же объяснилъ, что „наше толокно участвовало въ развитіи апатіи русскаго мужика“, потому что и ирландцы, если бѣ вмѣсто картофеля питались горохомъ, ...то „были бы умнѣе, богаче и свободнѣе“. Это—небывалый врагъ всякой „художественности“: „ни за одну художественную натуру нельзя поручиться, что она завтра же не утащитъ платка изъ чужого кармана, не сопьется съ кругу, не продается и вообще не сдѣлаетъ капитальной мерзости“ („Рус. Слово“, 1863, IX). Въ статьѣ „Бѣлинскій и Добролюбовъ“ Зайцевъ, ратуя противъ отвлеченно-эстетическаго пониманія вещей, говорить: „...что такое эстетическій принципъ, какъ не раздражительная чувственность, какъ не *irritatio spinalis*, возведенное въ перлъ созданія? Что это такое, какъ не стариковская похотливость, гаденькій безсильный развратъ?“ Поэтому, если Писаревъ согласенъ еще терпѣть поэтовъ міровыхъ геніевъ, Зайцевъ вообще противъ поэтовъ: „пора понять, что всякій ремесленникъ настолько же полезнѣе любого поэта, насколько всякое положительное число, какъ бы мало ни было, больше нуля“ („Рус. Слово“, 1864, 3). Этотъ тезисъ, возведенная въ квадратъ и кубъ фраза Базарова, конечно, вполне наглядно выраженъ знаменитымъ, на смѣхъ сочиненнымъ, афоризмомъ „сапоги выше Шекспира“, который былъ пущенъ въ ходъ въ одномъ фельетонѣ Достоевскаго. Зайцевъ еще раньше Писарева продѣлалъ надъ Лермонтовымъ то, что тотъ учинилъ надъ Пушкинымъ. „Лермонтовъ—поэтъ провинціальныхъ барышенъ“; герои его „пошлы, а скорбь ихъ пуста и бессмысленна“; „гусарское воображеніе Лермонтова“ исказило байроновскаго Люцифера, и его „Демонъ“—не что иное, какъ „пятигорскій франтъ, и даже не изъ молодыхъ, а просто сластолюбивый старецъ“. Вся разница между писарями и Печоринными въ томъ, что „последніе говорятъ лучше ихъ по-французски и носятъ сюртуки моднаго покроя“. „Герой нашего времени“—„разочарованный идиотъ“ (въ статьѣ о Некрасовѣ). Въ остальныхъ сочиненіяхъ Лермонтова, наконецъ, критикъ не находитъ „ничего, кромѣ мелкихъ альбомныхъ стишковъ, мадригаловъ разнымъ графинямъ и рабскихъ подражаній Пушкину“ („Рус. Сл.“, 1863, VI).

Таковы были нѣкоторыя крайнія черты этой поистинѣ „максималистской“ критики. Провозглашенная Чернышевскимъ вражда къ искусству-забавѣ разрослась здѣсь въ непримиримую вражду къ искусству вообще. Эстетикѣ, какъ таковой, объявлена война, потому что она не сходится и не совпадаетъ временами съ этикой, съ высоко напряженной потребностью новаго поколѣнія правдиво и справедливо рѣшить всѣ моральные вопросы, создать новыя справедливыя формы людскихъ отношеній взамѣнъ нарушенныхъ и жестокихъ старыхъ, при которыхъ расцвѣла прежняя „эстетика“. Отсюда это гоненіе на Пушкина, Лермонтова, изъ современныхъ поэтовъ въ особенности на Фета, ставшаго тогда посмѣшищемъ: несоотвѣтствие художественно выражаемыхъ эстетическихъ эмоцій Фета и низмен-

наго реакціоннаго сословно-классоваго взгляда, откровенно высказаннаго имъ въ „письмахъ изъ деревни“ („Рус. Вѣстн.“), дѣйствительно било въ глаза. Нѣкоторымъ признаніемъ пользуется только чисто „гражданская“ лирика Некрасова и подражавшихъ ей А. М. Жемчужникова, мало талантливаго Ѳедорова-Омулевскаго и др. Критика Писарева и Зайцева оказала тогда значительное вліяніе на созданіе и складъ своеобразной беллетристики, которая должна была служить органомъ мыслей и жизни „новыхъ людей“.

V.

„Что дѣлать?“ Чернышевскаго (1863 г.) было попыткою дать образы, оправдывающіе возможность (говоря его словами въ статьѣ объ Огаревѣ) „владычества разума надъ жизнью“, образы людей, съ радостной любовью принявшихъ новую истину, всецѣло воплощающихъ ее въ принципахъ личнаго поведенія и самыхъ поступкахъ, какъ бы ни безысходны были, казалось бы, житейскія коллизіи. Строителей новой жизни, „способныхъ стать во главѣ историческаго движенія со свѣжими силами“, молодые современники и нашли частью въ типѣ Базарова, частью въ герояхъ „Что дѣлать?“

Много разъ было указано, что романъ Чернышевскаго не есть художественное произведеніе, но тенденціозное повѣствованіе его о „новыхъ людяхъ“ все-таки занимаетъ мѣсто въ ряду произведеній художественной литературы. Въ немъ есть нѣчто, составляющее необходимый элементъ художественности, здѣсь разлитъ высокій искренній энтузіазмъ, именно особый экстазъ души, всегда тихо горѣвшій въ Чернышевскомъ, экстазъ предъ свѣтлыми возможностями чело-вѣческаго сердца и ума и будущаго. Этотъ лирическій душевный подъемъ излить имъ еще въ дневникъ молодыхъ его лѣтъ; это—„романтизмъ“ тридцатыхъ годовъ въ преображенной формѣ и въ рамкѣ новаго социалистическаго и политическаго интереса. При мысли о будущемъ социальномъ порядкѣ, при мысли о будущемъ равенствѣ и отрадной жизни людей имъ владѣетъ, какъ при мысли о счастьи съ избранницей его сердца, „спокойный, сильный, никогда не ослабѣвающій восторгъ. Это не блескъ молніи, это равно не волнующее сіяніе солнца. Это не знойный іюньскій день въ Саратовѣ, это—вѣчная сладостная весна Хіуса“, и у него текутъ только дневнику до-вѣренныя слезы „отъ радостной мысли о томъ, что будетъ нѣкогда на землѣ, и о томъ, что все будетъ, когда насъ уже не будетъ!“ Въ „Что дѣлать?“, написанномъ въ мрачныхъ тайникахъ Алексѣевского разелина Петропавловской крѣпости, этотъ энтузіазмъ снова вспыхнулъ со всею силою, и отъ того такъ обаятельно дѣйствовалъ романъ на способную къ безкорыстному энтузіазму молодежь. Чернышевскій перенесъ въ сны Вѣры Павловны всю великую тоску по міровомъ счастьи, навѣянные Фурье фантазіи о грядущемъ блаженствѣ обновленнаго и возрожденнаго чело-вѣчества (четвертый сонъ),

молодой бредъ влюбленной души въ счастье человѣчества, и въ этомъ было творческое вдохновеніе, художественный лирическій порывъ: „будущее свѣтло и прекрасно! Любите его, стремитесь къ нему, работайте для него, приближайте его, переносите изъ него въ настоящее, сколько можете перенести: настолько будетъ свѣтла и добра, богата радостью и наслажденіемъ ваша жизнь, насколько вы умѣете перенести въ нее изъ будущаго“. И это казалось такъ ясно и просто. „Мы бѣдны, но мы рабочіе люди, у насъ здоровыя руки. Мы темны, но мы не глупы и хотимъ свѣта. Будемъ учиться—знаніе освободитъ насъ; будемъ трудиться, трудъ обогатитъ насъ“. Вотъ девизъ романа, и весь онъ имѣетъ цѣлью показать, что его герои, люди бодрого, свѣтлаго взгляда на жизнь, эти „разумные эгоисты“, все и всегда устраивающіе въ своей и близкихъ жизни къ общему благополучію, возможны и близки, что нужно „немного“, чтобы подняться до этихъ людей. „Поднимайтесь изъ вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не такъ трудно, выходите на вольный бѣлый свѣтъ, славно жить на немъ, и путь легокъ и заманчивъ, попробуйте: развитіе, развитіе! Наблюдайте, думайте, читайте тѣхъ, которые говорятъ вамъ о чистомъ наслажденіи жизнью, о томъ, что человѣку можно быть добрымъ и счастливымъ. Читайте ихъ — книги радуютъ сердце, наблюдайте жизнь — наблюдать ее интересно, думайте — думать завлекательно. Только и всего! Жертвъ не требуется, лишеній не спрашивается—ихъ не нужно! Желайте быть счастливыми, только это желаніе нужно“.

Въ романѣ мы находимъ проповѣдь женской равноправности въ любви и трудѣ, пропаганду коопераціи, какъ одной изъ ступеней къ будущему социально справедливому строю. Все это было отголоскомъ бродившихъ въ обществѣ идей и понятій. Наибольшее впечатлѣніе на тогдашнихъ читателей производили не попытки уловить конкретныя черты будущаго, по существу всегда мало удачныя, а это приподнятое общее настроеніе и вѣра во всеустрояющую силу разума. Глубокое впечатлѣніе произвелъ также образъ Рахметова. Въ теоріи это—эгоистъ, эпикуреецъ (легкій эпикуреизмъ, безъ серьезно душевной борьбы принимающій то, что по существу является жертвою, отличаетъ въ особенности Вѣру Павловну), на практикѣ—герой самопожертвованія, ригористъ и аскетъ; онъ обрекаетъ себя на служеніе долгу, упорно перевоспитываетъ въ себѣ всѣ привычки, чтобы стать на высотѣ возможныхъ испытаній, это—будущій революціонеръ-народникъ, обреченный на роковую борьбу. Все это отвѣчало живо нараставшему настроенію въ обществѣ, и всѣ теоретически надуманныя подробности романа, тяжеловѣсная защита утилитаризма и словеснаго эгоизма, и растянутость, и неловкіе пріемы автора, романиста поневолѣ, не помѣшали огромному впечатлѣнію „Что дѣлать?“. Романъ надолго сталъ, подобно типу Базарова, популярнымъ орудіемъ для распространенія идей, окрещенныхъ тогда писаревщиной, нигилизмомъ и пр.,—идей, здоровое ядро которыхъ составляли

проповѣдь освобожденія личности, значенія труда, критика традицій всякаго рода.

Вслѣдъ за Чернышевскимъ „новыхъ людей“, умѣющихъ силою мысли и труда стать выше жизни, изображалъ Александръ Константиновичъ Шеллеръ (1838—1900), напечатавшій въ „Современникѣ“ два свои первые романа—„Гнилыя болота“ и „Жизнь Шупова“ (подъ псевдонимомъ А. Михайловъ). „Намъ ли труженикамъ мѣщанамъ писать художественныя произведенія, холодно задуманныя, расчетливо эффектные и съ безмятежно ровнымъ, полированнымъ слогомъ?—говорилъ самъ авторъ о своей манерѣ письма, общей и другимъ беллетристамъ этого типа.—Мы урывками въ свободныя минуты записываемъ пережитое и перечувствованное, и радуемся, если удастся иногда высказать накопившееся горе и тѣ ясныя непризрачныя надежды, которыя поддерживаютъ въ насъ силу къ трудовой черно-рабочей жизни. Хорошо, если само собою скажется мѣткое слово, нарисуетъ ловкая картина и вырвется изъ-подъ сердца огонь поэзіи; но если и ихъ не найдется, то горевать нечего—обойдется и такъ!..“ И дѣйствительно обходились. Особенно простъ и прямолинеенъ поставщикъ этой литературы о новыхъ людяхъ базаровско-рахметовскаго пошиба, беллетристъ Николай Ѳедоровичъ Бажинъ (1843—1908), писавшій въ „Русскомъ Словѣ“ и потомъ „Дѣлѣ“ подъ псевдонимомъ Н. Холодовъ романы, повѣсти и рассказы. Герои ихъ списаны всѣ одинъ съ другого: „ихъ можно растерзать, раздавить, убить, но запугать или заставить согнуться нельзя“ („Степанъ Рулевъ“); все это какіе-то необыкновенные гиганты ума, воли и героизма, суровые и трезвые гонители всякой неправды, нравственной дряблости, конечно, и „эстетики“. Это нарочито тенденціозная, нарочито грубова-тая литературная пропаганда базаровщины со всѣми точками надъ і. Едва ли не лучшая характеристика этого „творчества“, притомъ вполне объясняющая историко-психологическую основу его, дана Глѣбомъ Успенскимъ. „Боже милосердный, какъ мучительно было мнѣ смотрѣть на автора новыхъ временъ, на романиста новыхъ людей... Во что одѣнетъ онъ свои благородныя желанія и мысли, откуда возьметъ чистую, незараженную кровь, здоровую, сильную, чуткую плоть? Но авторъ, несмотря на безвыходность своего положенія, покоряясь общественному требованію и требованію своей совѣсти, принялся лѣпить новыхъ людей, а я съ замираніемъ сердца смотрѣлъ на его работу... Откуда взять ему героя?.. Изъ народа? Бѣда его, что народа онъ совсѣмъ не знаетъ, да и какіе тамъ герои... Изъ господъ? Ну, ужъ... Изъ купцовъ? Аршинники и архиплуты... Куда ни кинь—клинь! И вотъ надо выводить его изъ какихъ-нибудь необычайныхъ условій... Надобно изолировать его дѣтство отъ всѣхъ условій, при которыхъ шло дѣтство толпы (въ одной повѣсти герой росъ почти между жеребятами), надобно отучить его отъ всѣхъ привычекъ прежней толпы, отъ всѣхъ ея вкусовъ, обычаевъ, свойствъ, и волей-неволей авторъ заставляетъ

своего любимца питаться чуть не бекасиною дробью вмѣсто разносоловъ; дѣлаетъ сильнымъ невѣроятно и устраиваетъ ему обстановку необыкновенную. Купается онъ не какъ всѣ, днемъ, а въ полночь; не какъ всѣ, идетъ въ воду съ берега, а бросается со скалы. Эти невѣроятныя краски, преувеличенія, выдумки какъ нельзя лучше говорили мнѣ, въ какомъ ужасномъ положеніи осталась отъ прошлаго душа толпы. Каждую черту надо выдумывать, изобрѣтать, потому что нѣтъ ея подъ рукою или не знаешь, гдѣ взять“ („На старомъ пепелищѣ“). Культивировалась этого рода беллетристика особенно въ „Русскомъ Словѣ“ и потомъ въ „Дѣлѣ“ Г. Е. Благосвѣтлова (вдохновителя Писарева), и популярность ея заходитъ далеко въ семидесятыя годы. Такова извѣстность на порогѣ 70-хъ гг. романа „Шагъ за шагомъ“ (1870) Омулевскаго (Инокентія Васильевича Оедорова, 1836—1883), на котораго замѣтное вліяніе оказалъ романъ Шпильтгагена.

Изъ писателей, обращавшихся къ типамъ „новыхъ“ людей, произведенія болѣе устойчиваго литературнаго значенія дали примыкавшіе къ „Современнику“ Николай Герасимовичъ Помяловскій (1835—1863) и Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ (1836—1878). Авторъ „Очерковъ бурсы“ и повѣстей „Мѣщанское счастье“ и „Молотовъ“, Помяловскій былъ типическимъ представителемъ той литературной богемы, которая образовалась въ это время въ столицѣ изъ разночинной интеллигенціи съ значительнымъ числомъ выходцевъ изъ духовнаго сословія въ своемъ составѣ. Его Молотовъ—плебей, завоевывающій мѣсто на жизненномъ пиру силою упорнаго личнаго труда и знаній, всѣмъ импонирующій внутреннею своею силою и самъ чувствующій себя человѣкомъ спокойной, удовлетворенной совѣсти. Но Помяловскій хорошо сознавалъ, что это типъ вовсе не героическій, чувствовалъ, что это тусклая „мѣщанская“ фигура, ничего общаго не имѣющая съ той жаждой свѣта и борьбы, о которой тургеневскій Шубинъ мечталъ свое: „натянуты струны, звени на весь міръ, или порвись!“ И въ концѣ второй повѣсти, когда Молотовъ достигаетъ предѣла своей судьбы, Помяловскій не могъ не вздохнуть надъ „мѣщанскимъ счастьемъ“, тусклымъ и ограниченнымъ въ тѣсномъ кругу семейной симпатіи: „Эхъ, господа, что-то скучно!“ Рядомъ съ Молотовымъ, Помяловскій съ большою силою обрисовалъ и безпокойнаго человѣка изъ той же среды, который не можетъ удовлетвориться идеаломъ „мѣщанскаго счастья“, это Череванинъ—alter ego самого Помяловскаго, человѣкъ „мрачнаго кладбищенства“, надорванный противорѣчіями жизни скептикъ, разсыпающій лишь ядовитые парадоксы, пытавшійся „мыслить честно“, но кончившій сознаніемъ, что и онъ непригоденъ для жизни дѣйствительно честной, требующей героизма. Это душевная трагедія многихъ рванувшихся въ тѣ годы страстно къ свѣту, но скоро увидѣвшихъ, что идти къ нему они безсильны, что старая неправда, какъ было съ Помяловскимъ въ ужасной, отравившей все его существо бурсѣ, уже

и ихъ заразила, исковеркавъ ихъ душу и надѣливъ ее позорными привычками. „Въ жизни та же бурса“, съ ужасомъ и отвращеніемъ повторялъ Помяловскій въ послѣдніе свои дни, когда писалъ мрачные „Очерки бурсы“, произведеніе, которому, вѣроятно, суждена наибольшая долговѣчность и которое Писаревъ сравнилъ съ „Мертвымъ домомъ“ Достоевскаго.

Новаго человѣка изображалъ и Слѣпцовъ въ романѣ своемъ „Трудное время“ (1865), горячо встрѣченномъ Писаревымъ. Въ романѣ ярко и зло изображено положеніе либеральнаго помѣщика Щетинина, который надѣется и невинность соблюсти, остаться либеральнымъ человѣкомъ, и капиталъ приобрѣсти, составить состояніе. Щетинину, запутавшемуся въ этомъ положеніи, противопоставленъ Рязановъ, столичный писатель; онъ безпощадно разоблачаетъ все ложное въ положеніи помѣщика, который хотѣлъ бы соединить съ привилегіями хозяина—„гуманство“, но самъ Рязановъ не имѣетъ предъ собою, въ противоположность Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, съ ихъ трогательною соціальною религіею, окрашенною въ народничество, никакого опредѣленнаго идеала. Михайловскій вспоминаетъ „красивое, точно точеное, но какъ маска мертвенное лицо Слѣпцова“. Что-то мертвенное было и въ Рязановѣ, какъ въ кладбищенствѣ Череванина. Когда его спрашиваетъ встревоженная имъ, разрывающая съ мужемъ женщина: „Что же остается дѣлать чело-вѣку, который потерялъ возможность жить такъ, какъ всѣ живутъ?“, онъ можетъ дать только холодный отвѣтъ: „остается подумать, создать новую жизнь, а до тѣхъ поръ“... и махнуть рукой, потому что та жизнь, которою онъ самъ живетъ, „это и не жизнь, а такъ, чортъ знаетъ что, дребедень такая же, какъ и всѣ прочія“. „Тонъ задается жизнью, а мы только подпѣвали“,—говоритъ онъ же въ одномъ мѣстѣ, какъ бы признаваясь въ безсиліи своемъ стать творцомъ и двигателемъ жизни. И въ концѣ романа пробужденная его глумливыми рѣчами женщина идетъ одна на новую дорогу женской самостоятельности. Эта полоса романа, пробужденіе въ русской женщинѣ чувства независимости, хорошо удалась Слѣпцову, и его Марья Николаевна со своими сомнѣніями, тревогами и стремленіями до сихъ поръ являетъ собою судьбу многихъ и многихъ русскихъ женщинъ.

Образъ Рязанова во многихъ отношеніяхъ интересенъ, какъ показатель силы и слабости нигилизма въ жизни. Этотъ типъ былъ силенъ, какъ носитель критическаго начала, какъ отрицатель, но безнадежно слабъ, какъ представитель общественности. Нигилизмъ былъ чуждъ опредѣленной общественно-политической программы, былъ слишкомъ индивидуалистиченъ, а „новые люди“ въ концѣ-концовъ кажутся даже чѣмъ-то вродѣ секты, такъ что Н. К. Михайловскій въ послѣдствіи не безъ основанія сравнивалъ нигилизмъ съ толстовствомъ (конечно, только въ отношеніи ихъ къ общему движенію мысли въ русскомъ обществѣ).

Наконецъ, нигилизмъ привлекъ къ себѣ, какъ всякое теченіе, идущее изъ низовъ, великое множество всякой мути, и пародіи Базарова—вродѣ Ситникова и Кукшиной—стали заслонять собою въ жизни идейное содержаніе этого теченія. Дѣйствительно, существовала въ жизни поверхностная фронда внѣшностью, фронда неряшливости, грязныхъ воротничковъ, нечищенныхъ ногтей и пр., нестриженныхъ волосъ у мужчинъ и стриженныхъ у женщинъ и т. п., и это казалось даже столь важнымъ, что грозные циркуляры генералъ-губернаторовъ ополчались на „нигилистическіе“ костюмы, какъ признакъ революціоннаго образа мыслей. Подъ общемою кличкой нигилизма было объединено противниками общественнаго движенія шестидесятыхъ годовъ, наконецъ, все, что имъ не нравилось, какъ покушеніе на ихъ прежнія права и преимущества, просто всякая рѣзкая оппозиція (см. напр. „Газетную“ Некрасова). И, конечно, тѣмъ же неопредѣленнымъ терминомъ стали клеймить и революціонное броженіе, между тѣмъ нараставшее, результатъ задержаннаго развитія страны и неудовлетворенныхъ ея потребностей.

VI.

Весьма естественно, что „нигилизмъ“ въ литературной критикѣ и жизни долженъ былъ встрѣтить съ разныхъ сторонъ болѣе или менѣе рѣшительную оппозицію, и дѣйствительно, разнообразная противъ него полемика составляетъ весьма шумную страницу второй половины шестидесятыхъ годовъ.

Наиболѣе шумѣла обличительная противъ нигилизма беллетристика, противовѣсъ литературѣ „новыхъ людей“, изображавшая все теченіе въ видѣ какого-то нелѣпаго повѣтрія и пріютившаяся преимущественно въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ Каткова, органѣ въ это время уже не либеральномъ, но охранительномъ. Охранялось по-старому въ неприкосновенности самодержавіе, православіе, народность; въ понятіе послѣдней вносились лишь слегка подновленные черты независимости нашего народнаго развитія отъ коварнаго Запада съ его лжеученіями въ области философіи, религіи и политики. Подкладкой всему этому была болѣе или менѣе замаскированная охрана сословныхъ интересовъ дворянства и правящей бюрократіи. „Нигилизмъ“, какъ ученіе революціонное въ области мысли, былъ, конечно, опаснымъ врагомъ, и противъ него мобилизуются всѣ силы, при чемъ и люди умѣреннаго либерализма прилагаютъ сюда руку.

Серія обличительныхъ романовъ была начата „Взбаламученнымъ моремъ“ Писемскаго (1863). Поверхностный общественный взглядъ Писемскаго удовлетворялся такъ называемымъ „здравымъ смысломъ“, за которымъ скрывалось много косныхъ привычекъ мысли соннаго обывателя, и авторъ грубо отождествилъ съ современнымъ ему демократическимъ движеніемъ внѣшнія угловатости поверхностнаго нигилизма и положилъ начало именно такому поверхностному пониманію

дѣла въ этой литературѣ памфлетовъ. Все, что въ романѣ Писемскаго касается хорошо извѣстной ему полосы крѣпостного помѣщичьяго и чиновнаго быта, очень живо и жизненно; главный герой романа Баклановъ, какъ порожденіе этого быта, вполне понятенъ и выразителенъ, какъ и второстепенное лицо Іона-циникъ. Но что касается „новыхъ людей“, то изображенія ихъ вышли большею частью карикатурами, вродѣ нигилиста Проскриптскаго, говорящаго непроходимый вздоръ—до утвержденія, по волѣ автора, что Коперникъ, вѣроятно, вретъ, ибо если пророчествуютъ по астрономическимъ вычисленіямъ, то это „случайность“. Естественно, что „нигилисты“ въ правѣ были не узнавать себя, и Зайцевъ справедливо говорилъ Писемскому: „лакея, корчащаго изъ себя господина въ его отсутствіи, вы приняли за барина, и злитесь, горячитесь, выходите изъ себя... Вы Ситниковыхъ приняли за представителей всего молодого поколѣнія!“ („Взбаламученный романистъ“, „Р. Сл.“, 1863, 10). Польское движеніе дало поводъ этой обличительной беллетристикѣ смѣшивать въ одну кучу еще болѣе пестрые и мутные элементы. Первымъ образцомъ въ этомъ родѣ былъ романъ Виктора Петровича Ключникова (1841—1892) „Марево“ (1864). Въ центрѣ романа выводится, ставшій надолго шаблоннымъ, добродѣтельный въ истинно-русскомъ духѣ молодой дворянинъ; онъ увлекается и впадаетъ въ ошибки по любви къ прекрасной дѣвицѣ, обольщенной нигилистами и польскою интригою, Иннѣ, и претерпѣваетъ всевозможныя приключенія, въ которыхъ и разоблачается гнусность интриги и нигилизма. Самый нигилизмъ и трагическое участіе въ польскомъ движеніи нѣкоторыхъ русскихъ революціонеровъ—все это трактуется до послѣдней степени поверхностно и надолго становится готовымъ канонемъ реакціоннаго дидактическаго романа. Даже „Эпоха“ при всемъ своемъ отрицательномъ отношеніи къ нигилизму протестовала противъ того, напр., что беллетристы, какъ Ключниковъ, грубо коверкаютъ новѣйшія научныя воззрѣнія и въ этомъ исковерканномъ и нелѣпомъ видѣ глумятся надъ ними устами своихъ невѣжественныхъ Стародумовъ. Въ самой „Эпохѣ“ появилась, однако, стихотворная драма „Разладъ“ Я. Полонскаго изъ событій польскаго возстанія, почти въ томъ же духѣ. Николай Семеновичъ Лѣсковъ (1831—1895) въ томъ же году печатаетъ романъ „Некуда“, давшій ему извѣстность того же рода, какъ Ключникову „Марево“; хотя у Лѣскова главные его герои Райнеръ и Лиза Бахарева представлены далеко не въ обличительномъ духѣ, а даже съ сочувствіемъ къ ихъ стремленіямъ, но третья часть романа представляла неблаговидный пасквиль на попытки Слѣпцова дать артельную организацію женскому труду. Раздраженный протестами противъ „Некуда“, Лѣсковъ пишетъ второй, уже чисто обличительный, романъ „На ножахъ“ (1870), въ которомъ нигилисты представлены уже просто мошенниками, грабителями и убійцами. Въ этомъ же шаблонномъ духѣ обличенія мошенниковъ отъ нигилизма и отъ польской интриги романы Всеволода Владиміро-

веча Крестовскаго (1840 — 1895). Крестовскій началъ книжкой крайне рискованныхъ по своей скабрёзности (лесбійское извращеніе и пр.) стихотвореній и бульварнымъ во вкусѣ Евгенія Сю романомъ „Петербургскія трущобы“ (1864—1866), полнымъ замысловатыхъ приключеній какъ среди петербургскаго большого и малаго свѣта, такъ и въ вяземской лаврѣ и острогѣ. Его противонигилистическіе романы „Панургово стадо“ (1869) и „Двѣ силы“ (1874), изданные подъ громкимъ заглавіемъ: „Кровавый пуфъ. Хроника о новомъ смутномъ времени государства російскаго“, въ сущности тотъ же бульварный романъ: сложныя приключенія проходимцевъ, названныхъ нигилистами, и нигилистокъ, несчастныхъ жертвъ собственной глупости и подлости нигилистовъ, и т. п. Надѣлало много шуму „Повѣтріе“ Василя Петровича Авенариуса (род. въ 1839 г.); здѣсь все движеніе новаго времени сводилось преимущественно на разнузданность половыхъ инстинктовъ, на повѣтріе „натуральнаго брака“, созданное де „проклятымъ“ „Что дѣлать“, какъ выражается въ романѣ брошенный женою супругъ. Упомянутый выше въ качествѣ критика, Н. Д. Ахшарумовъ, какъ беллетристъ, преслѣдовалъ преимущественно одну цѣль—дать занимательное чтеніе (уголовный сюжетъ романа „Чужое имя“ и др.); теперь и онъ въ „Мудреномъ дѣлѣ“ (1864) обличаетъ литературныя нравы „разрушенія эстетики“. Это обличеніе нигилизма проникло и на сцену, и заставляла говорить о себѣ пьеса Николая Ивановича Чернявскаго (1844—1871) „Гражданскій бракъ“, произведеніе, впрочемъ, чуждое особо рѣзкихъ нападковъ на нигилизмъ вообще, а наглядно показывавшее, что при отсутствіи правильнаго развода и узаконенной формы брака, не освящаемой церковнымъ обрядомъ, вся тяжесть ложнаго положенія падаетъ на женщину, тогда какъ всѣ выгоды при этомъ на сторонѣ беззаѣнчиваго мужчины (въ драмѣ—нигилиста).

Болѣе серьезна критика нигилизма въ журналахъ Достоевскаго „Время“ и „Эпоха“, имѣвшихъ значительный успѣхъ нѣкоторое время. Въ литературной критикѣ здѣсь выступали Аполлонъ Григорьевъ и Н. И. Соловьевъ.

Общая концепція воззрѣній Григорьева, конечно, исключала возможность признанія рѣшающаго значенія за „разумомъ“, владычество котораго возглашалось „нигилизмомъ“. Тамъ, гдѣ Чернышевскому и Писареву все ясно, просто и легко, все разрѣшено и понятно, онъ чувствуетъ смутно великія и глубокія загадки бытія, выхода изъ которыхъ ищетъ въ своемъ „органическомъ взглядѣ“ въ отличіе отъ историческаго всѣхъ раціоналистовъ. Однако, въ общемъ, Григорьевъ вполне серьезно относится къ раціоналистическому умонастроенію, охватившему общество шестидесятыхъ годовъ, видя въ этомъ справедливое отраженіе цѣлой полосы міровой умственной жизни и иронически относясь лишь къ выходкамъ, парадоксамъ и мальчишескому фрондерству „вислоухихъ“, по выраженію Салтыкова, представителей новаго теченія. Одно харак-

терное заявленіе Григорьева въ этомъ смыслѣ указываетъ, дѣйствительно, одно изъ самыхъ слабыхъ мѣстъ нигилистическаго реализма, отрицающагося въ лицѣ Базарова, цѣльной теоріи. „Извѣстныя обобщенія, — говоритъ Григорьевъ въ одной статьѣ 1863 года, — до которыхъ такъ неохочи адепты нашего нигилизма, которыхъ они бѣгаютъ и боятся, какъ чортъ лада, тѣмъ не менѣе присутствовали при зарожденіи ихъ теорій. Для того, чтобы сказать: „я лягушекъ рѣжу“, или я мыло варю — нужно извѣстное обобщеніе, хотя и отрицательное, а именно возведеніе въ принципъ невѣрія въ какое-либо другое познание, кромѣ почастнаго познания. Самыя слова эти неискренни у Базарова и дѣтски пошлы у его пародіи. Въ устахъ Базарова они просто прикрываютъ нѣкоторое умственное отчаяніе, отчаяніе сознанія, нѣсколько разъ обжигавшагося на молокѣ и пріучившагося вслѣдствіе этого дуть на воду, оборвавшася на нѣсколькихъ несостоятельныхъ системахъ, стремившихся — хоть и грандіозно, но не совсѣмъ успѣшно — охватить однимъ принципомъ цѣлую міровую жизнь. Такой моментъ сознанія, представляемый идеальнымъ Базаровымъ и идеальнымъ же нигилизмомъ, совершенно понятенъ, имѣетъ совершенно законное мѣсто въ общемъ процессѣ человѣческаго сознанія, и вотъ почему, отъ души смѣясь надъ фактами, т.-е. надъ тѣмъ или другимъ изъ дурашныхъ представителей такъ называемаго нигилизма, я никакъ не позволю себѣ смѣяться надъ самою струею, надъ самымъ вѣяніемъ, которыя, удачно тамъ или нѣтъ, окрещены этимъ прозваніемъ, — еще менѣе способенъ отрицать органически-историческую необходимость этой отрыжки материализма въ новыхъ формахъ. Но что эта органически необходимая отрыжка — не больше какъ моментъ, въ этомъ тоже не разувѣрятъ меня никакія мечты о бѣлыхъ Арапіяхъ“ (намекъ на „Что дѣлать?“).

Противъ нигилизма въ искусствѣ горячо ратовалъ и нѣсколько туманный критикъ-эстетикъ Николай Ивановичъ Соловьевъ (1831—1874), печатавшійся также въ „Эпохѣ“ и потомъ въ „Отеч. Запискахъ“. Его исходныя положенія, какъ они выразились въ двухъ статьяхъ 1864 года: „Теорія безобразія“ и „Теорія пользы и выгоды“ („Эпоха“, 1864, 7 и 12), существенно заключаются въ слѣдующемъ.

Отрицаніе искусства въ духѣ писаревской критики не имѣетъ подъ собою почвы, ибо нападать на поэзію и искусство дѣло въ высшей степени неблагодарное. „Думаютъ, что искусство вмѣстѣ съ паденіемъ мистическаго начала потеряетъ свою таинственную прелесть и потому должно пасть. Искусство, напротивъ, должно теперь расширить свою сферу“. „Самыя нравственныя чувства есть не что иное, какъ чувство эстетическое, примѣненное только къ дѣйствительной жизни... Бокъ смѣшиваетъ нравственное чувство съ религіознымъ, но это невѣрно. Религіозное чувство вытекаетъ изъ отношеній человѣка къ высшему существу. Нравственное же чувство есть болѣе земное чувство, и оно въ самой тѣсной связи съ природою, есть ощущеніе красоты въ ней и стремленіе осуществить эту

красоту въ жизни... И самые свѣдущіе и обезпеченные люди безобразничаютъ, если у нихъ нѣтъ въ душѣ чувства красоты и благородства, или идеала, какъ высшаго собственнаго представленія этой красоты и благородства. Блаженъ тотъ, у кого есть идеалъ. Нравоченія дѣйствительно мало принесли пользы, но, какъ прекрасно доказалъ Бокль, поэтическіе идеи и образы всегда были двигателями челоѡчества“... „Отрицатели искусства обыкновенно не нападаютъ на него прямо, а говорятъ, что они не признаютъ только искусства для искусства. Но искусство для искусства то же, что наука для науки,— два понятія, почти невысказанные съ тѣхъ поръ, какъ поэзія разсталась съ романтизмомъ, а наука съ метафизикой. Наше искусство менѣе всего можно упрекнуть, что оно живетъ для себя, потому что оно въ высшей степени реально. Оно имѣло много ложныхъ взглядовъ на жизнь, узко и игриво смотрѣло на нее, но никогда отъ жизни не отрывалось“... Очень вѣрна и глубока мысль, что искусство въ неизмѣримой сложности жизни улавливаетъ закономерность явленій. „Наука въ этомъ хаосѣ (безконечной сложности челоѡческой жизни) ничего не можетъ объяснить, кромѣ физиологической сущности явленій. Группировать же и уловить эти явленія и опредѣлить ихъ жизненный смыслъ можетъ только искусство. Оно только даетъ намъ средство къ высшему разумѣнію жизни. Художникъ или поэтъ, умѣющій схватывать типы, или характеры, или вѣрно очерчивать разные кружки и слои общества, со всѣми волнующими ихъ идеями и интересами, оказываетъ такую же услугу людямъ, какъ ученый, дѣлающій открытіе. Призваніе художника—не популяризировать науку, а объяснить жизнь“. „Всѣ теоріи противъ искусства вышли у насъ или изъ кабинета, или изъ бursы. Подъ гнетомъ самыхъ безобразныхъ условій росли благороднѣйшіе порывы, также развились и первыя неловкія нападки на все изящное... Страданіе не только ожесточаетъ челоѡка, но и убиваетъ въ немъ всякое чувство радости и красоты“... Въ теоретическихъ соображеніяхъ Соловьева было, какъ видно, не мало вѣрнаго, но сужденія его объ отдѣльныхъ явленіяхъ и писателяхъ часто крайне поверхностны; онъ, напр., считалъ Помяловскаго писателемъ, который сдѣлался жертвой презрѣнія къ изящному и находилъ „безпримѣрный цинизмъ“ въ суровой правдѣ „Очерковъ бursы“, и вотъ, это отсутствіе дѣйствительнаго критическаго чутья, конечно, вредило какъ ему, такъ и другимъ противникамъ „нигилизма“ не менѣе, чѣмъ отсутствіе болѣе опредѣленнаго общественно-политическаго воззрѣнія, чѣмъ такъ сильны были Чернышевскій и Добролюбовъ.

Не разъ горячо схватывался съ Писаревымъ и Антоновичъ, считавшій себя продолжателемъ Добролюбова, ратовали противъ нигилизма Ефимъ Ѳедоровичъ Заринъ (1829—1892), писавшій въ „Библ. д. Читенія“ и „От. Зап.“ подъ псевдонимомъ Incognito; Александръ Петровичъ Милуковъ (1817—1897), авторъ перваго „Очерка исторіи русской поэзіи“ (1847 г.), составленнаго въ духъ воззрѣній Бѣлинскаго; послѣдователь Ап. Григорьева, Н. Н. Страховъ, Дудышкинъ

и иные. Но конецъ нигилизму въ художественной литературѣ и критикѣ былъ положенъ не тѣмъ или другимъ лицомъ въ отдѣльности, а общимъ ходомъ литературы и жизни, который, конечно, долженъ былъ показать несостоятельность и несоотвѣтствіе требованіямъ жизни и искусства ультра-раціоналистическихъ однобокихъ построеній.

Къ полемикѣ съ нигилизмомъ нѣкоторыми сторонами примыкали и произведенія двухъ корифеевъ начала шестидесятыхъ годовъ—Тургенева и Гончарова. „Дымъ“ Тургенева (1867) на ряду съ рѣзкою характеристикой высшаго аристократическаго слоя, повальнаго его убожества въ духовномъ и нравственномъ отношеніи, показывалъ ничтожество также немалочисленной толпы людей поверхностнаго отрицательнаго взгляда. Тургеневъ нарисовалъ ту самую толпу бездарной, но высоко о себѣ мнящей эмиграціи, о представителяхъ которой, враждовавшихъ съ Герценомъ, этотъ отецъ русской политической эмиграціи писалъ съ ожесточеніемъ: „Базаровъ—богъ передъ этими свиньями!“ Въ „Обрывѣ“ Гончаровъ (1869) перенесъ въ сороковые годы въ лицѣ Марка Волохова „хищный“ типъ нигилиста съ чертами, весьма шаблонными, въ духѣ „Взбаламученнаго моря“.

Но наиболѣе серьезное и глубокое отрицательное отношеніе къ раціоналистическому радикализму Чернышевскаго и Писарева, а слѣдовательно, и къ „нигилизму“ было заявлено въ эти годы ихъ наибольшаго вліянія Достоевскимъ. Имъ даны теперь слѣдующія болѣе крупныя и интересныя для характеристики момента произведенія: „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“ (1863), „Записки изъ подполья“ (1864) и „Преступленіе и наказаніе“ (1866).

„Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ“ Достоевскаго невольно напрашиваются на сравненіе съ „Люцерномъ“ и толстовскимъ протестомъ во имя обиды одного человѣческаго существа противъ всей европейской цивилизаціи... У Достоевскаго то же обличеніе „Ваала“ цивилизаціи, во имя поправленія правъ человѣческой нравственной личности, бурный протестъ истерзаннаго сердца, требующаго всей справедливости, всей правды, всей истины и не довольствующагося постепеннымъ и частичнымъ ея воплощеніемъ въ жизни. Это—тотъ же радикализмъ, что у Добролюбова и Чернышевскаго, но иначе обоснованный, иначе мотивированный, то же, что у Герцена, непримиримое отвращеніе къ торжеству „мѣщанства“, страстный протестъ противъ самодовольно жестокаго и мелкаго буржуазнаго міровоззрѣнія сытаго француза. Достоевскій показываетъ, какъ въ этой буржуазной культурѣ подавлена святая личность человѣческаго существа, и онъ мечтаетъ о торжествѣ и побѣдѣ личности силою высочайшаго развитія личности же въ героическомъ стремленіи служенія ближнему; въ плоть и кровь личности должно войти братское начало, лишь на словахъ признанное западнымъ міромъ въ его формулѣ свободы, равенства и братства. Но это перерожденіе человѣческой личности и всего человѣчества не можетъ быть произведено чисто логическимъ разсудочнымъ построеніемъ соціально справедли-

ваго строя, при которомъ по Базарову—все равно, добръ или золь человѣкъ. „Записки изъ подполья“ были слегка замаскированнымъ, но бурнымъ протестомъ противъ тенденцій „Что дѣлать?“, противъ схематизаціи человѣка, противъ объясненія всѣхъ мотивовъ его дѣйствій исключительно соображеніями выгоды. Въ отвѣтъ на химерическія построенія блаженной утопіи будущаго Достоевскій выдвигаетъ свою любимую идею, что человѣческая природа не можетъ быть уложена ни въ какія разсудочныя рамки, хотя бы онѣ сулили полное благополучіе. Наконецъ, „Преступленіе и наказаніе“ съ образомъ Раскольникова въ центрѣ было геніально художественнымъ воплощеніемъ этой же идеи, анализомъ человѣческой души до послѣднихъ глубинъ ея, показывающимъ, что человѣкъ движется не однимъ разсудкомъ, а живетъ и всей совокупностью чувствъ и страстей, въ томъ числѣ и неразложимымъ чувствомъ совѣсти, долга.

Въ слѣдующемъ большомъ романѣ „Идіотъ“ (1868) Достоевскій внесъ больше, чѣмъ въ „Преступленіе и наказаніе“, прямой мало убѣдительной полемики съ нигилизмомъ (Бурдовскій съ товарищами), но здѣсь, какъ въ судьбѣ Раскольникова, указанъ исходъ мятущимся душамъ въ сліяніи съ „народной правдой“. Еще въ „Запискахъ изъ мертваго дома“ выступаетъ настроеніе, подчеркивающее мучительность для нравственного сознанія человѣка пропасти между образованнымъ классомъ Россіи и народомъ. Въ „Преступленіи и наказаніи“, въ этой трагедіи образованнаго человѣка, который сдѣлалъ послѣдніе шаги и попробовалъ осуществить на дѣлѣ крайніе выводы своего разсудочнаго міровоззрѣнія, хаосу въ душѣ Раскольникова противопоставлена кроткая вѣра Сони Мармеладовой, общая ей съ народомъ. Религіозное настроеніе около этого времени стало окончательно основой жизни и мысли Достоевскаго и окрасило собою его творчество. Современникамъ все это было еще неясно. Но на пространствѣ десятилѣтій нельзя не признать, что психологическая и религіозно-философская правда исканій автора „Преступленія и наказанія“ поражала въ самое сердце внутреннюю несостоятельность исхода нигилизма, какой былъ обрисованъ въ Раскольниковѣ, признавшемъ за своимъ индивидуальнымъ разумѣніемъ безусловное право суда и расправы надъ жизнью. Съ неслыханной дерзостью выше талантовъ и образованія Раскольникова поставлена жертва Сони Мармеладовой, живой подвигъ непосредственной дѣятельной любви, и этотъ апофеозъ подвига и жертвы, конечно, долженъ былъ выкупить для читателей Достоевскаго оболочку его идей, тѣсно связанную съ славянофильскими, выродившимися между тѣмъ представленіями самодержавія, православія, народности. Въ непосредственно слѣдовавшіе затѣмъ годы Достоевскій, несмотря на свое общественно-политическое — на виѣшній взглядъ реакціонное — міровоззрѣніе, несмотря на то, что эта окраска идей его вызывала постоянные протесты либеральной печати, сталъ однимъ изъ властителей думъ цѣлаго поколѣнія. Здѣсь побѣждалъ этотъ основной

тонъ, обрѣтенный во второй половинѣ 60-хъ годовъ, религиозная жажда подвига дѣятельной любви. И въ связи съ этимъ покоряло умы и то высокое представленіе о русскомъ народѣ, какъ народѣ богоносцѣ, хранителѣ въ живой жизни завѣтовъ Христа,—представленіе, вопреки полемикѣ Достоевскаго съ русскимъ радикализмомъ, соприкасающееся съ народническими представленіями о непосредственныхъ социалистическихъ склонностяхъ и стремленіяхъ русскаго крестьянства.

Наиболѣе грандіознымъ литературнымъ явленіемъ второй половины шестидесятыхъ годовъ надо признать „Войну и миръ“ Льва Толстого. Это произведеніе созрѣло, казалось бы, внѣ непосредственной связи съ широкими умонастроениями времени; оно кажется въ своей неувядающей свѣжести такимъ далекимъ отъ тогдашнихъ злобъ дня, тѣмъ болѣе что сюжетъ взятъ изъ временъ уже давно прошедшихъ. Но беря историческій моментъ литературнаго развитія въ его цѣломъ, и въ „Войнѣ и мирѣ“ нельзя не увидѣть естественной реакціи не только кричащимъ рѣзкостямъ, всеобъясняющаго немногими фразами, нигилизма, но вообще раціоналистической вѣрѣ въ центральную роль „мыслящей личности“, ничѣмъ не связанной въ безграничномъ полетѣ индивидуальнаго разсудка. Великому тогдашнему упрощенію психической жизни человѣка, схематическимъ „новымъ людямъ“ въ романѣ безъ всякаго намѣренія противопоставлена многогранная сложность живой человѣческой личности! Раціоналистическіе радикализмъ и нигилизмъ упрощали какъ личность, такъ и понятія объ обществѣ, государствѣ и національной жизни. Романъ съ геніальною силою и въ то же время простотою такому упрощенію противопоставляетъ въ образахъ стихійный характеръ общественной, государственной и національной жизни. Наконецъ, аналогично тому, что говорилъ и разумѣлъ Достоевскій, разсудочному міропониманію противопоставленъ моральный идеалъ непосредственной жизни братскаго чувства: людямъ разсудочнаго міропониманія—Андрею Болконскому и Пьеру Безухому—противопоставленъ художественный истинно-національный образъ трудовой народной массы въ лицѣ Платона Каратаева, и предъ правдой его жизни склоняется Безуховъ. Нисколько не удивительно, что критика радикальнаго лагеря при появленіи „Войны и мира“ проявила непониманіе и равнодушіе къ геніальному созданію. Въ лучшемъ случаѣ еще, какъ Писаревъ, увидѣли въ романѣ лишь правдивую картину стараго барскаго быта, обличающую, какъ уродуетъ людей ихъ барское положеніе („Старое барство“, ст. Писарева). Шелгуновъ отказалъ роману въ „глубокомъ жизненномъ содержаніи, которое одно можетъ дать литературному произведенію долговѣчно и постоянно возрастающій интересъ во мнѣніи критики и публицистики“, а критикъ журнала „Дѣло“ нашелъ въ романѣ только „рядъ возмутительныхъ грязныхъ сценъ, которыхъ смыслъ и значеніе явно не понимаются авторомъ“... и т. д. Подсказаны были такого рода дикія сужденія какъ появленіемъ ро-

мана въ журналѣ Каткова, такъ несомнѣнно и тѣмъ, что творчество Льва Толстого съ особой легкостью вращалось въ сферѣ душевной жизни людей аристократической среды, и темою своего романа онъ избралъ, между прочимъ, исторію двухъ-трехъ аристократическихъ семей: невольно авторъ шелъ навстрѣчу упрекамъ въ пристрастіи именно къ аристократизму. Но то же глубоко демократическое чувство, которое въ „Казакахъ“ и другихъ повѣстяхъ заставило Льва Толстого съ такою любовью рисовать міръ несложныхъ движеній души простыхъ сердцемъ людей изъ крестьянской и солдатской массы, дышитъ и въ „Войнѣ и мирѣ“. Здѣсь въ образѣ Каратаева и другихъ выразилась та же стихійная тяга къ народу и къ идеализованному крестьянству, какая все время пробивается въ теченіе шестидесятихъ годовъ, начиная отъ Герцена, Чернышевскаго и Добролюбова, въ образахъ Салтыкова и др., въ поэзии Некрасова и т. п., чтобы въ послѣдующіе годы разлиться въ цѣлое общественное литературное теченіе.

Нѣкоторыми проявленіями этой же тяги къ народу въ концѣ шестидесятихъ годовъ намъ и предстоитъ теперь закончить обзоръ этой эпохи.

VII.

Притокъ въ центры литературной производительности разночинной интеллигенціи въ шестидесятые годы особенно усилился. Сообразно этому наблюдается замѣтный ростъ вширь литературныхъ воспроизведеній жизни: въ повѣсти и романѣ являются предъ нами все новые и новые области и закоулки безконечнаго разнообразія русской жизни. Такіе невѣдомые среднему читателю углы жизни были раскрыты, напр., въ очеркахъ изъ военного быта Льва Толстого, въ „Запискахъ изъ мертваго дома“, въ „Очеркахъ бursы“, въ „Губернскихъ очеркахъ“, даже въ такомъ произведеніи, какъ „Петербургскія трущобы“. Шире развернулись теперь и изображенія народной, преимущественно крестьянской, жизни разныхъ концовъ Россіи, при чемъ на этихъ воспроизведеніяхъ живо отражаются нѣкоторыя особенности социальнаго положенія новыхъ бытописателей народа.

Къ болѣе старой школѣ литературы примыкаетъ только Григорій Петровичъ Данилевскій (1829—1890), избравшій для изображенія народной жизни въ Приазовскомъ и Приволжскомъ краѣ форму этнографическаго романа. Имъ напечатаны въ эти годы: „Бѣглые въ Новороссіи“, „Воля“ („Бѣглые воротились“) и „Новыя мѣста“. Критикъ „Отеч. Записокъ“ далъ Данилевскому прозваніе „русскаго Купера“, усвоенное ему на Западѣ, гдѣ переводы его произведеній весьма популярны. Названные романы вводятъ читателя въ кругъ своеобразной интенсивной жизни въ малоизвѣстномъ краѣ Россіи подобно тому, какъ С. Аксаковъ вводилъ читателя въ жизнь болѣе восточной окраины и позднѣе Мельниковъ-Печерскій—въ жизнь ниже-

городского Поволжья, въ ихъ особой бытовой складкѣ. Несомнѣнно, этимъ расширялся кругозоръ литературы. Жизнь билась здѣсь энергичнымъ ключомъ, и Данилевскому удалось вѣрно уловить этотъ энергичный тонъ. Его идеализованный Илья Танцуръ, бѣглый крѣпостной, погибающій при укрощеніи поднятаго имъ села при объявленіи воли, наслѣдникъ „Бродяги“ И. Аксакова и предшественникъ фигуръ Левитова въ этомъ же родѣ, а также болѣе позднихъ босяковъ Горькаго, дѣйствующихъ почти въ томъ же краѣ и обстановкѣ. Настроеніе романовъ Данилевскаго съ извѣстной долею правды называли „поэзіей труда и борьбы“, и идеализація „вольницы“ соответствовала одному изъ основныхъ настроеній шестидесятыхъ годовъ.

У другихъ бытописателей крестьянства мы видимъ преимущественно бѣглый летучій очеркъ, рядъ картинъ изъ народной жизни, связанныхъ въ лучшемъ случаѣ единствомъ настроенія автора. Самая форма этой литературы очерковъ подсказана въ значительной степени тою нуждою, въ которой перебивались ихъ авторы; имъ некогда было думать о законченной формѣ длиннаго романа и повѣсти, некогда было вынашивать и отдѣлывать свои произведенія. Тогда образовалась въ Петербургѣ цѣлая довольно пестрая литературная богема, группа именъ, частью получившихъ значительную и заслуженную извѣстность, большею же частью только подававшихъ, впоследствии неоправданныя надежды. Къ этой богемѣ принадлежали Аполлонъ Григорьевъ, поэты: братья Курочкины, Мей, Минаевъ, Кроль, Н. И.; публицистъ Демертъ, историкъ Щаповъ, романистъ Помяловскій и, наконецъ, нѣсколько беллетристовъ замѣченныхъ и получившихъ большую или меньшую извѣстность, какъ писатели-этнографы: братья (двоюродные) Николай и Глѣбъ Успенскіе, Пав. Якушкинъ, Рѣшетниковъ, Левитовъ. Кромѣ базаровскаго отсутствія въ этой средѣ малѣйшихъ претензій на аристократизмъ и изящество, люди этого круга, всѣ разночинцы, были въ общемъ полны хорошихъ демократическихъ стремленій и настроенія. Но какъ Череванинъ Помяловскаго, съ его талантомъ, скептической складкой ума и безвольнымъ безшабашіемъ жизни, „они, будучи очень разными людьми въ разныхъ отношеніяхъ, имѣли, однако, одну общую отрицательную черту—безхарактерность, слабость воли“, говоритъ приглядѣвшійся къ нимъ Н. К. Михайловскій въ своихъ воспоминаніяхъ: „всѣ они были настоящіе, „кровные“, какъ выражался Салтыковъ, литераторы, хотя и весьма различныхъ степеней дарованія; всѣ претерпѣли или претерпѣвали разныя литературныя неудачи, и на этомъ общемъ фонѣ жизнь вышла для каждаго изъ нихъ еще спеціальныя узоры разнообразныхъ житейскихъ драмъ; всѣ были слабы характеромъ и всѣ пили“. Притомъ въ этой средѣ, при общемъ ея демократическомъ настроеніи, совмѣщались склонности и стремленія весьма разнообразныя, отъ страстнаго цѣнителя русской литературы критика-мистика Григорьева до такихъ рационалистовъ-радикаловъ, какъ Демертъ и Щаповъ, и до прожигателей жизни, какъ Минаевъ въ то время и

поэтъ Кроль; послѣдняго однажды, Михайловскій выгналъ отъ себя: „до такой степени ошеломилъ онъ меня какимъ-то чудовищнымъ сплетеніемъ эстетическихъ идеаловъ съ чѣмъ-то совершенно уже некрасивымъ въ этическомъ смыслѣ“. Въ этомъ поворотѣ цыганской жизни, конечно, начинающій талантъ не могъ найти себѣ нравственной помощи. И въ большинствѣ случаевъ писатель оставался при томъ, что вывезъ изъ своего захолустья, съ неопредѣленнымъ стремленіемъ къ художественному слову, со смутной мечтой о силѣ его, которая должна принести помощь и избавленіе—какими путями онъ и самъ не зналъ—міру нужды и заботъ, горя и бѣдствій, изъ котораго онъ вышелъ. Такова среда и судьба Николая Успенскаго, Рѣшетникова, Левитова, разныхъ мелкихъ забытыхъ бытописателей жизни городского и мѣщанскаго пролетаріата, вроде М. Воронова и др. Таковы и воспроизведенія ихъ народнаго быта.

Николай Васильевичъ Успенскій (1837—1889) давалъ бѣглые короткіе очерки, большею частью смахивающіе на анекдотъ, эпизоды, въ которыхъ часто трудно уловить какое бы то ни было содержаніе, въ которыхъ все сводится къ отрывочной картинкѣ, къ бѣглому комическому діалогу. Чернышевскій въ статьѣ „Не начало ли перемѣны?“ чрезвычайно высоко поставилъ рассказы Успенскаго, усмотрѣвъ въ нихъ поворотъ къ трезвому наблюденію и отрѣшенному отъ всякой сентиментальности изображенію крестьянства. Но Успенскій такъ и не пошелъ дальше рассказовъ „ни о чемъ“, и итогъ его наблюденій надъ русской деревней совершенно безнадежный. „Прощай, деревня! Лежи больной... вся надежда на твой организмъ“. („Дневникъ неизвѣстнаго“)... вотъ и все. Почти таковы же рассказы изъ народнаго быта Слѣпцова, юморъ котораго такъ же скользитъ по поверхности, хотя и увлекаетъ читателя на минуту яркомическимъ воспроизведеніемъ безтолковщины, наивной глупости и голой беспомощности мужика, какъ въ лучшемъ его, но анекдотическомъ рассказѣ „Свиньи“... Конечно, еще болѣе анекдотиченъ и поверхностенъ юморъ приобрѣвшаго тогда же огромную популярность остроумнаго рассказчика изъ народнаго быта Ивана Федоровича Горбунова (1831—1895), тонкаго наблюдателя внѣшнихъ бытовыхъ чертъ народной жизни.

Какъ будто нѣчто болѣе глубокое, болѣе теплое отношеніе къ народу проглядываетъ въ рассказахъ Павла Ивановича Якушкина (1820—1872), удивительно оригинальной фигуры, много занимавшей собою литературные кружки шестидесятыхъ годовъ; это былъ чловѣкъ, въ этнографическихъ странствованіяхъ принявшій совершенно простонародную бытовую складку, отрѣшенный отъ всякихъ культурныхъ потребностей комфорта, приверженный къ чарочкѣ. Въ многочисленныхъ его рассказахъ „Небывальщина“, „Великъ Богъ земли русской“ и немногихъ др. чувствуется, что пишетъ о народѣ, съ простодушнѣйшею искренностью передавая все, что дѣйствительно видѣлъ и слышалъ, чловѣкъ, неспособный къ выдумкѣ. искренно со-

чувствующій повседневнымъ мужицкимъ дѣламъ и интересамъ, горю народа и его радостямъ.

Изъ всѣхъ произведеній народнаго быта наиболѣе сильное впечатлѣніе оставили въ шестидесятые годы безспорно „Подлиповцы“ (1864) Ѳедора Михайловича Рѣшетникова (1841—1871); „этнографическій очеркъ“, какъ озаглавленъ этотъ рассказъ, рисовалъ съ безхитростной простотою до ужаса бѣдную матеріально и духовно жизнь крестьянъ-инородцевъ (пермяковъ) чердынскаго края Пермской губерніи. „Трезвая правда“ Рѣшетникова, какъ характеризовалъ его творчество Тургеневъ, поразила какъ рассказъ о послѣдней степени униженія человѣческой личности русскаго крестьянина, здѣсь дошедшаго до границы человѣческаго существованія. Авторъ руководился глубоко искреннимъ и наивнымъ желаніемъ, „цѣлью хоть сколько-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженикамъ“. Свѣжесть ли впечатлѣній, еще не поблѣднѣвшихъ въ душевой жизни столичнаго пролетаріата, или особая симпатія Рѣшетникова къ его родной Камѣ, но „Подлиповцы“ оказались богаты не одиѣми черными красками, а и юморомъ и теплой симпатіей къ этимъ бѣднякамъ, которые, по его трогательно-наивному выраженію, весь вѣкъ „мучатся“, но не теряютъ поднимающаго человѣка стремленія и мысли „гдѣ лучше?“ (такъ озаглавленъ одинъ романъ Рѣшетникова). Остальные произведенія Рѣшетникова не имѣли и десятой доли успѣха „Подлиповцевъ“; не многое изъ его описаній можетъ быть перечитано безъ утомленія (автобіографическіе очерки, „Макся“ и др.), но всею совокупностью своей дѣятельности онъ показалъ, что можно и должно говорить о народѣ всю правду, не скрывая, что сплошь и рядомъ народъ и дикъ, и несчастенъ до потери человѣческаго образа. Сентиментальная идеализація крестьянства окончательно отжила свое время. Личная судьба Рѣшетникова, тяжелыя муки души, изстрадавшейся за себя и другихъ въ вопіющей нуждѣ, наложила особый отпечатокъ тяжелой грубости и на его творчество, какъ, впрочемъ, было и съ другими представителями этой разночинной богемы.

Гораздо богаче и свѣтлѣе красками творчество Александра Ивановича Левитова (1842—1877). „Степные очерки“ его (1865) имѣли наибольшій успѣхъ и остаются лучшимъ его созданіемъ. „Мягкій поэтический колоритъ его степныхъ картинъ природы (Левитовъ былъ уроженцемъ Тамбовской губерніи) и лирическихъ изліяній, смягчавшій нѣкоторую мрачность выводимыхъ имъ типовъ, отраднѣе существовалъ на душу тѣхъ сотенъ и тысячъ юношей-бѣдняковъ, которые покинули свои далекія разночинскія гнѣзда въ глухихъ городкахъ и селахъ, промѣнявъ ихъ на сырыя и холодныя камеры съ мебелью въ столицахъ, представлявшихъ имъ „ареной дѣятельной силы, пытливой мысли и труда“. „Какъ ни сумрачны были воспоминанія о далекихъ родныхъ мѣстахъ, какія возбуждалъ въ нихъ Левитовъ, но та поэзія, которую умѣлъ онъ разлить по своимъ картинамъ и отыскать въ сумрачныхъ лицахъ своихъ героевъ, заставляла ихъ пере-

жить нѣчто такое, что согрѣвало ихъ сердца, наполняло вѣрой и поддерживало въ минуты отчаянія въ ихъ холодныхъ мансардахъ“. (Златовратскій). По собственнымъ словамъ Левитова, его много упрекали въ то базаровское время въ „лиризмъ, безъ котораго я рѣшительно не могу ни поклониться свѣтлому лицу природы—единственному совершенству на всей землѣ, ни скорбѣть о людской гибели“. Этотъ теплый лиризмъ, дѣйствительно, разлитъ въ произведеніяхъ Левитова изъ степной жизни, въ отличіе отъ сухого творчества его сверстниковъ: „природа у меня всегда на первомъ планѣ. Она лучше всего, что только я узналъ во всю мою жизнь“... Изображаемые имъ степняки не сложны, часто наивны и безпомощны, жалки и смѣшны въ своемъ невѣжествѣ (смѣхотворный очеркъ „Газета въ деревнѣ“), сами портятъ себѣ жизнь упорною и нелѣпою приверженностью къ старымъ формамъ семейнаго и всего бытового уклада, но среди „дури неисходной“ „нераспаханной степнины“ поэтъ степного быта любовно рисуетъ рядъ лучшихъ людей степной глуши, какъ цѣловальничиха въ очеркѣ того же названія, „Горбунъ“, дьяконъ безсребренникъ въ „Сыроѣдѣ“, „Бабушка Маслиха“ и др.—это типы, которыми красна степная глушь. Намѣченъ Левитовымъ и типъ „вольницы“, „диво степное, молодецъ непосѣда“ и др. Эти типы и образы давали право ожидать отъ Левитова чего-то большаго, но скитанья литературнаго пролетарія по чердакамъ, подваламъ и трущобамъ мало-по-малу вытравили изъ его творчества свѣжую и здоровую струю, внесенную имъ было въ литературу, и весь его талантъ ушелъ на нестройный стонъ надъ судьбою всякаго мелкаго городского люда, надъ его неосмысленной нуждою и горемъ.

Общій тонъ господствовавшего тогда въ передовой литературѣ отношенія къ народу былъ, несмотря на весь ея демократизмъ, еще пессимистическій. Забавенъ упрекъ Зайцева Некрасову за извѣстную картину въ концѣ „Мороза Краснаго Носа“, изображающую счастливое настроеніе крестьянской семьи въ концѣ страды: въ этой картинѣ Зайцевъ увидѣлъ, ничего общаго съ дѣйствительностью не имѣющую, фантазію, ибо народная дѣйствительность не даетъ де ничего, кромѣ чертъ грубой жестокости отношеній, нужды и отчаянія. Поэтическія черты творчества Левитова въ противоположность этому открывали возможность особыхъ надеждъ на народъ, которые роднили Левитова съ Некрасовымъ и съ настроеніемъ, получившимъ рѣшительное преобладаніе въ слѣдующія десять-пятнадцать лѣтъ русской литературы.

Литературное движеніе шестидесятыхъ годовъ началось, какъ мы видѣли, общимъ подъемомъ литературной производительности, страстнымъ стремленіемъ пересмотрѣть всѣ основы прежней жизни, намѣтить новые идеалы дѣятельности. Это было въ общемъ торжество бытового натурализма, привлекашаго къ суду трудно обозримую массу явленій русской жизни во всѣхъ концахъ страны и во всѣхъ

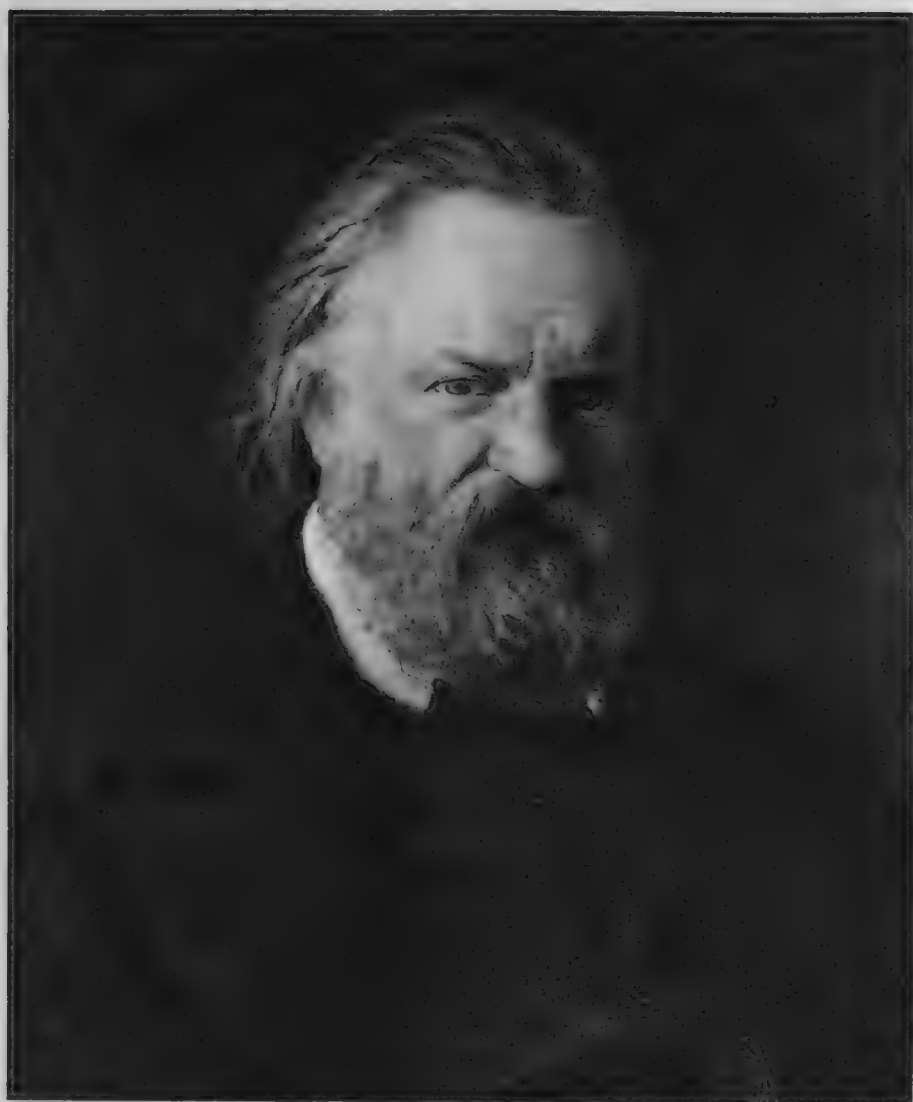
слояхъ общества, отъ вершинъ его до послѣднихъ низинъ народной массовой жизни. Это литературное направленіе, стихійно овладѣвшее всѣми писателями этого времени, было углублено и расширено въ психологическихъ исканіяхъ Достоевскаго и Льва Толстого. Особую окраску литературному движенію придадо значительное измѣненіе состава русской интеллигенціи, вызванное крупнымъ социальнымъ переворотомъ — освобожденіемъ крестьянъ — и одновременнымъ частичнымъ раскрѣпощеніемъ вообще русской общественности. Если въ предыдущій литературный періодъ мы видимъ собственно только двѣ борющихся между собою партіи или группы — консервативную, отстаивающую крѣпостной сословно-бюрократическій строй, и либеральную, такъ или иначе его отрицающую, то теперь съ большей или меньшей ясностью уже обособляются болѣе дробныя группы. Землевладѣльческіе и дворянско-сословные интересы, интересы торгово-промышленнаго класса, освобожденное крестьянство и интересы личнаго труда — все вовлечено въ борьбу и такъ или иначе отражается въ литературѣ, при чемъ, однако, вслѣдствіе того, что социальныя отношенія, создаваемые новымъ временемъ, далеко не выяснились, иногда лишь съ трудомъ возможно установить психологическую связь общественно-политической группировки съ отраженіями ея въ литературныхъ созданіяхъ. Разночинецъ, выступившій на общественной аренѣ, какъ обособленная группа трудовой интеллигенціи, окрасилъ своимъ протестующимъ настроеніемъ изображенія какъ психологіи уходящаго дворянства, такъ и другихъ слоевъ. Дворянство рисуется единодушно, какъ классъ разлагающійся, похороненный. Вопреки тому, что можно было ожидать въ этотъ періодъ роста значенія торговыхъ интересовъ, идеализація буржуазнаго приобрѣтательства, проникшая было въ литературу въ пятидесятые годы, въ шестидесятые годы весьма скромна. Она сводится едва ли не на одного Штольца и на противоположенія (у Писемскаго и Островскаго) барству выходцевъ изъ крестьянъ въ торговый слой съ ихъ стойкою и неуязвимою вѣрою въ правоту самой себѣ обязанной силы. Разночинецъ не проявляетъ симпатіи къ буржуазному міропониманію, хотя вдохновителемъ Писарева и Зайцева и былъ такой несомнѣнный буржуа, какъ Благосвѣтловъ, иногда не совсѣмъ довольный симпатіями своихъ работниковъ къ западно-европейскому рабочему въ его борьбѣ съ буржуазіей. Помяловскій только вздыхаетъ надъ „мѣщанскимъ счастьемъ“. Съ другой стороны, Писемскій, напр., съ его идеаломъ „народнаго здраваго смысла“, враждою къ „нигилистическимъ“ вѣяніямъ и симпатіей къ „питерщикамъ“, ополчается въ своихъ пьесахъ энергично на походъ буржуазнаго предпринимательства противъ русскаго обывателя, а Островскій изображаетъ исходъ броженія консервативныхъ и либеральныхъ силъ въ видѣ торжества наглой беззащитной глумовщины. Мысль разночинца стремится воплотить себя то въ идеализованномъ Базаровѣ, съ его революціоннымъ отрицаніемъ міра барчуковъ, съ принципами утилитаризма и отрица-

ніємъ эстетики, то въ „новыхъ людяхъ“ Чернышевскаго и его подражателей, но кончаєть только Череванинымъ съ его мрачнымъ кладбищенствомъ и недѣятельнымъ скептицизмомъ и Рязановымъ съ его холоднымъ отрицаніемъ и отсутствіемъ дѣйствительно движущей и внутренно согрѣвающей человѣка силы. Рѣзкій демократизмъ разночинной интеллигенціи, особенно въ парадоксальной и кричащей формѣ такъ называемаго нигилизма „Русскаго Слова“, напугалъ правительство и ту часть общества, которая готова была удовлетвориться видимостью реформъ. Но реакція нигилизму шла не только отъ охранителей, сгруппировавшихся около Каткова, съ ихъ обличительными романами, но и отъ болѣе серьезныхъ и глубокихъ представителей общественной мысли, какъ со стороны свободомыслящей атеистической группы послѣдователей Чернышевскаго и Добролюбова, такъ и со стороны религіозно-вѣрующаго Достоевскаго и искаателя моральной основы жизни, какъ Левъ Толстой. Однако обѣ эти группы, при всемъ многообразіи между ними сходятся въ одномъ—это тяга къ освобожденному народу, къ крестьянству, какъ къ великой силѣ и прошлаго, и грядущаго. Таковъ исходъ и связь литературнаго движенія шестидесятыхъ годовъ съ непосредственно за ними слѣдующей эпохой народничества семидесятыхъ годовъ.

Что касается общей оцѣнки литературнаго значенія эпохи и для нашего времени, то безспорно наиболѣе живучи остаются именно тѣ произведенія, въ которыхъ съ наибольшею полнотою и глубиною была схвачена полнота тогдашнихъ общественныхъ и духовныхъ интересовъ. Забыта вся поверхностная обличительная литература и хвалебно-торжествующая лирика 1858—1861 годовъ, забыты тенденціозные и полемическіе романы, хватавшіеся за виѣшность и случайное. Но останутся въ литературѣ и дальнимъ потомствомъ съ неизмѣннымъ интересомъ будутъ перечитываться произведенія, въ которыхъ находимъ вдумчивое проникновеніе въ судьбы русскаго народа и общества, стремленіе найти и опредѣлить глубокія духовныя основы человѣческой жизнедѣятельности и найти пути и средства къ общественному, народному и всечеловѣческому обновленію.

Александръ Ивановичъ Герценъ.
Съ портрета Н. Н. Ге.
(Третьяковская галлерей въ Москвѣ.)

Генеральный директор
И. И. Иванов
(Подпись)



Thy

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

1.

Герценъ-эмигрантъ.

Г. В. Плеханова.

Герценъ оставилъ Россію въ январѣ 1847 г. Вначалѣ онъ рассчитывалъ, повидимому, скоро вернуться на родину, но уже два года спустя онъ видитъ себя вынужденнымъ надолго остаться за границей. Первая глава его книги „Съ того берега“, помѣченная 1 марта 1849 г., носитъ характерное названіе: „Прощайте!“ Онъ говоритъ тамъ, обращаясь къ своимъ друзьямъ въ Россіи: „Наша разлука продолжится еще долго—можетъ, всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потомъ не знаю, будетъ ли это возможно“. Осенью слѣдующаго года обстоятельства сложились такъ, что его возвращеніе стало окончательно невозможнымъ. „Однимъ утромъ“ онъ получилъ черезъ русскаго консула въ Ниццѣ бумагу, требовавшую, „чтобы такой-то немедленно возвратился, о чемъ ему объявить, не принимая отъ него никакихъ причинъ, которыя могли бы замедлить его отъѣздъ, и не давая ему ни въ какомъ случаѣ отсрочки“. Герценъ отказался послѣдовать этому высочайше нетерпѣливому приглашенію, и съ тѣхъ поръ его „легальныя“ связи съ далекой, но дорогой Россіей были покончены навсегда. Жизнь эмигранта,—даже совершенно обезпеченнаго въ матеріальномъ отношеніи, какъ это было съ нашимъ авторомъ,—всегда тяжела. Герценъ признавался впослѣдствіи, что предпочелъ бы ссылку въ Сибирь скитальческой жизни за границей. Но историкъ русской литературы едва ли приходится жалѣть о принятомъ Герценомъ рѣшеніи. Можно почти съ полной увѣренностью сказать, что только при свободныхъ условіяхъ западно-европейской жизни и только благодаря богатому запасу впечатлѣній, полученныхъ имъ на Западѣ, Герценъ могъ сдѣлать въ нашей литературѣ то, что онъ сдѣлалъ. Въ его лицѣ наша общественная мысль, вынужденная цензурой наряжаться въ одежду литературной критики, открыто и смѣло вошла, наконецъ, въ области публицистики.

Прощаясь со своими русскими друзьями, Герценъ писалъ въ

цитированной выше главѣ книги „Съ того берега“: „Я остаюсь здѣсь не только потому, что мнѣ противно, переѣзжая черезъ границу, снова надѣть колодки; но для того, чтобъ работать. Жить сложа руки можно вездѣ; здѣсь мнѣ нѣтъ другого дѣла, кромѣ нашего дѣла... Я здѣсь полезенъ, я здѣсь безцензурная рѣчь ваша, вашъ свободный органъ, вашъ случайный представитель“. Но кромѣ этой роли безцензурной рѣчи передовыхъ людей Россіи нашъ авторъ рѣшился взять на себя еще другую роль. „Для русскихъ за границей есть еще другое дѣло,—говорилъ онъ.—Пора дѣйствительно знакомить Европу съ Русью. Европа насъ не знаетъ; она знаетъ наше правительство, нашъ фасадъ и больше ничего... Пусть она узнаетъ ближе народъ, котораго отроческую силу она оцѣнила въ боѣ, гдѣ онъ остался побѣдителемъ; расскажемъ ей объ этомъ мощномъ и неразгаданномъ народѣ“.

Выполненіе Герценомъ первой изъ двухъ указанныхъ нами ролей началось основаніемъ въ маѣ 1853 г. вольной русской типографіи въ Лондонѣ и продолжалось изданіемъ „Полярной Звѣзды“ и „Колокола“. Вторая роль выполнена была имъ въ цѣломъ рядѣ статей, брошюръ, рѣчей и открытыхъ писемъ къ выдающимся дѣятелямъ западно-европейской демократіи. И тамъ, и здѣсь Герценъ обнаружилъ, по своему обыкновенію, очень много ума, знаній, чувства и литературнаго таланта. Наша задача заключается въ томъ, чтобы дать краткій очеркъ этой необыкновенно блестящей дѣятельности. И, повидимому, нѣтъ ничего легче, какъ исполнить эту задачу. Сочиненія такого высоко-талантливаго человѣка, какъ Герценъ, говорятъ сами за себя: умѣйте только цитировать ихъ кстати, и читателю трудно будетъ оторваться отъ вашего очерка. Но бѣда въ томъ, что кстати цитировать Герцена далеко не такъ легко, какъ это кажется на первый взглядъ.

Въ его чрезвычайно блестящей литературной дѣятельности очень много парадоксальнаго и даже противорѣчиваго. Чтобы разобраться въ его парадоксахъ и противорѣчіяхъ, необходимо глубоко проникнуть въ ходъ его умственного развитія. А чтобы съ успѣхомъ сдѣлать это, приходится касаться такихъ вопросовъ, которые не имѣютъ прямого отношенія къ жизни и дѣятельности Герцена за границей. Пусть же читатель не сѣтуетъ на насъ, видя, что мы обращаемся къ этимъ и вопросамъ.

I.

Настроеніе Герцена въ теченіе послѣднихъ лѣтъ его пребыванія въ Россіи было, несмотря на его природную страстишку (какъ выражался Бѣлинскій) къ веселымъ остротамъ, очень тяжелымъ. Мы видимъ это почти на каждой страницѣ его „Дневника“, относящагося къ 1842—45 гг. Вотъ, напримѣръ, 11 сентября 1842 г. онъ спрашивалъ въ своемъ Дневникѣ: „Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія? А между

тѣмъ наше страданіе—почка, изъ которой разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, отчего мы лѣнтяи, отчего ищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино и пр.?. Отчего руки не поднимаются на большой трудъ? Отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски?.. О, пусть они останются съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ, мы заслужили ихъ грусть! Была ли такая эпоха для какой-либо страны: Римъ въ послѣдніе вѣка существованія и то нѣтъ“. Двадцать второго числа того же мѣсяца онъ пишетъ тамъ же: „Высочайшее произведеніе русской живописи, разумѣется, Послѣдній день Помпеи. Странно, предметъ ея переходитъ черту трагическаго, самая борьба невозможна. Дикая, необузданная *Naturgewalt* съ одной стороны и безвыходно трагическая гибель всѣмъ предстоящимъ... Почему русскаго художника вдохновилъ именно этотъ предметъ?“ Отвѣтъ ясенъ: потому что въ борьбѣ съ „дикой, необузданной *Naturgewalt*“ гибнуть и гибли лучшіе русскіе люди. Въ виду этого не удивительно, что въ другомъ мѣстѣ „Дневника“ (отъ 10 апрѣля 1843 г.) мы встрѣчаемъ такіа строки: „Сегодня я читалъ какую-то статью о „Мертвыхъ душахъ“ въ „Отеч. Зап.“, тамъ приложены отрывки. Между прочимъ русскій пейзажъ (зимняя и лѣтняя дорога); перечитываніе этихъ строкъ задушило меня какой-то безвыходной грустью, эта степь-Русь такъ живо представилась мнѣ, современный вопросъ такъ болѣзненно повторялся, что я готовъ былъ рыдать. Дологъ сонъ, тяжелъ. За что мы рано проснулись—спать бы себѣ, какъ все около.—Довольно!“

Когда русскій человѣкъ находится у себя дома въ такомъ тяжеломъ настроеніи,—и замѣтите: по причинамъ не личнаго, а общественнаго свойства,—тогда легко понять, что онъ съ удовольствіемъ ѣдетъ за границу. Герценъ, почти съ дѣтскихъ лѣтъ жадно внимавшій разсказамъ о славныхъ временахъ великой французской революціи, нетерпѣливо рвался во Францію и больше всего, разумѣется, въ Парижъ. Описывая въ 5-ой части „Былого и Думъ“ свое первое путешествіе съ семьей по Западной Европѣ, онъ говоритъ:

„Берлинъ, Кельнъ, Бельгія, все это быстро прорѣяло передъ глазами; мы смотрѣли на все полуразсѣянно, мимоходомъ; мы торопились доѣхать, и доѣхали наконецъ... Въ Парижѣ—едва ли въ этомъ словѣ звучало для меня меньше, чѣмъ въ словѣ „Москва“. Объ этой минутѣ я мечталъ съ дѣтства. Дайте же взглянуть на *Hôtel de Ville*, на *café Foy* въ Палѣ Ройялѣ, гдѣ Камиль Демуленъ сорвалъ зеленый листъ и прикрѣпилъ его къ шляпѣ, вмѣсто кокарды, съ крикомъ *à la Bastille!*

Дома я не могъ остаться; я одѣлся и пошелъ бродить зря... искать Бакунина, Сазонова—вотъ гдѣ *St-Hippolyte*, Елисейскія поля—всѣ эти имена, сроднившіяся съ давнихъ лѣтъ... Я былъ внѣ себя отъ радости!“

Нельзя не сочувствовать радости, идущей изъ такого чистаго источника; къ сожалѣнію, она оказывается весьма непродолжитель-

ной. Западная жизнь уже скоро начинает производить на Герцена весьма тяжелое впечатлѣніе. И чѣмъ дольше живетъ онъ за границей, тѣмъ болѣе усиливается это впечатлѣніе. Онъ самъ говоритъ о себѣ: „Начавши съ крика радости при переѣздѣ черезъ границу, я окончилъ моимъ духовнымъ возвращеніемъ на родину“. Къ этому надо прибавить, что его духовное возвращеніе на родину имѣло для него огромнѣйшее нравственное значеніе: оно, по его собственному признанію, спасло его на краю нравственной гибели. Въ чемъ же тутъ дѣло? Развѣ въ Россіи перестала господствовать „дикая, необузданная *Naturgewalt*“? Нѣтъ! Духовное возвращеніе Герцена на родину совершилось въ такое время, когда господство этой *Naturgewalt* не только не прекратилось и не только не обѣщало скоро прекратиться но достигло, можно сказать, наивысшей степени: въ послѣдніе годы царствованія Николая I. И въ этомъ состоитъ одно изъ наиболѣе парадоксальныхъ явленій духовной жизни Герцена. Очень нерѣдко это парадоксальное явленіе объясняется неудачнымъ исходомъ революціоннаго движенія 1848—9 гг. Такъ, напримѣръ, г. Н. Бѣлозерскій говоритъ: „Разочарованіе Герцена въ Зап. Европѣ начинается съ 1848 г.: благоговѣйно-восторженное отношеніе смѣняется холоднымъ скептицизмомъ, переходящимъ порой въ полное отчаяніе передъ тѣмъ будущимъ, которое ожидаетъ Европу. Франція была первой страной, обманувшей Герцена въ его ожиданіяхъ и надеждахъ“ *). Такое объясненіе представляется на первый взглядъ не только вѣроятнымъ, но и прямо несомнѣннымъ, потому что его придерживался самъ Герценъ. „Видя, какъ Франція смѣло ставитъ соціальныя вопросы, я предполагалъ, — говоритъ онъ, — что она хоть отчасти разрѣшитъ его, и оттого былъ, какъ тогда называли, западникомъ. Парижъ въ одинъ годъ отрезвилъ меня—зато этотъ годъ былъ 1848-ой. Во имя тѣхъ же началъ, во имя которыхъ я спорилъ съ славянофилами за Западъ, я сталъ спорить съ нимъ самимъ“ („Колоколъ“, № 191). Но это свидѣтельство Герцена нуждается въ весьма существенной поправкѣ: „отрезвленіе“ нашего автора началось на самомъ дѣлѣ раньше 1848 г. И это обстоятельство имѣетъ какъ нельзя болѣе важное значеніе въ исторіи его умственнаго развитія.

Чтобы убѣдить читателя въ справедливости нашихъ словъ, мы сошлемся на свидѣтельство того же Герцена. Въ одномъ изъ своихъ писемъ Бакунину онъ спрашиваетъ его: „Помнишь наши долгіе разговоры передъ февральской революціей, въ которыхъ я, какъ прозекторъ, указывалъ ростъ смерти западнаго „старика“, а ты съ надеждой и упованіемъ—ростъ едва обличившейся жизни славянскаго недоросля. Я и въ него не очень вѣрилъ, а вѣрилъ въ одну Россію и ея соціальныя зачатки“ (подчеркнуто Герценомъ; это письмо напечатано въ „Колоколѣ“ отъ 1-го іюля 1867 г.).

Вы видите: еще до февральской революціи Герценъ ведетъ съ

*) А. И. Герценъ, славянофилы и западники. Спб., 1905.

Бакунинымъ „долгіе разговоры“, въ которыхъ указываетъ на ростъ смерти западнаго старика. Кажется, что мы уже тутъ видимъ передъ собой довольно серьезное „разочарованіе въ Зап. Европѣ“. И этому свидѣтельству Герцена вполне соотвѣтствуютъ нѣкоторыя мѣста въ его „Письмахъ изъ Франціи и Италіи“. Такъ, напримѣръ, въ началѣ пятаго письма онъ называетъ Парижъ единственнымъ мѣстомъ въ гибнущемъ Западѣ, гдѣ широко и удобно гибнуть. Въ томъ же самомъ письмѣ онъ, сравнивая русское село съ западно-европейскимъ, не знающимъ общиннаго землевладѣнія, замѣчаетъ: „Русскаго села въ Европѣ нѣтъ. Смыслъ деревенской коммуны въ Европѣ только полицейскій; что общаго между этими разбросанными домами, огораживающимися другъ отъ друга? у нихъ все особое, они связаны только общей межей; что можетъ быть общаго между голодными работниками, которымъ коммуна предоставляет *le droit de glaner*, и богатыми домохозяевами? Да здравствуетъ, господа, русское село—будущность его велика!“.

Сдѣланныя нами выписки заключаютъ въ себѣ, въ краткомъ видѣ, тѣ самыя мысли о судьбѣ Запада и о значеніи русской общины, которыя Герценъ настойчиво проповѣдывалъ послѣ 1848 г., и возникновеніе которыхъ объясняютъ разочарованіемъ, причиненнымъ революціонными неудачами этого года. Мы не споримъ: событія 1848 г. имѣли большое значеніе въ исторіи умственнаго развитія Герцена; но значеніе это не совсѣмъ таково, какъ обыкновенно думаютъ.

Дѣло представляется намъ въ такомъ видѣ. Вырвавшись изъ Россіи и попавъ въ Парижъ, который тогда могъ съ гораздо большимъ правомъ, чѣмъ теперь, претендовать на имя „города-солнца“, Герценъ вскорѣ послѣ первыхъ восторговъ начинаетъ сомнѣваться въ судьбахъ Франціи, а съ нею и всей Западной Европы, вслѣдствіе чего переѣзжаетъ (осенью того же года) въ Италію, чтобы стряхнуть съ себя полученныя во Франціи тяжелыя впечатлѣнія. Въ Италіи, переживавшей тогда сильный политическій подъемъ, его настроеніе становится несравненно болѣе отраднымъ, а когда раздражается въ Парижѣ буря февральскихъ дней, онъ опять спѣшитъ во Францію съ новой вѣрой въ ея революціонное призваніе. Но уже 15-го мая онъ видитъ, что республика, по его выраженію, ранена на смерть, и съ этихъ поръ онъ идетъ отъ одного разочарованія къ другому вплоть до *coup d'état* Луи-Бонапарта, послѣ котораго ему остается только воскликнуть: „*vive la mort!*“ И тогда къ нему опять возвращаются съ удвоенной настойчивостью тѣ мысли о „ростѣ смерти западнаго старика“, которыя онъ развивалъ еще до февральской революціи въ „долгихъ разговорахъ“ съ Бакунинымъ. Тогда же воскресаетъ въ немъ старая вѣра „въ одну Россію и ея соціальныя зачатки“, сложившаяся у него, очевидно, не безъ вліянія славянофиловъ еще во время пребыванія его въ Москвѣ *).

*) Семнадцатаго мая 1844 г., получивъ отъ Бѣлинскаго извѣстное письмо, въ которомъ тотъ громилъ его за сношенія съ славянофилами и восклицалъ: „Я жидъ

шая Европу послѣ бонапартовскаго coup d'état, могла, конечно, только укрѣпить въ Герценѣ мнѣніе о „ростѣ смерти старика“. И мы въ самомъ дѣлѣ видимъ, что мнѣніе это становится у него все болѣе и болѣе прочнымъ до тѣхъ поръ, пока Международное Товарищество Рабочихъ не вызываетъ въ немъ новой надежды на то, что и на Западѣ найдутся силы, способныя рѣшать „соціальные вопросы“ *). Но смерть не даетъ окрѣпнуть этой новой надеждѣ.

II.

Теперь спрашивается: что же, собственно, привело Герцена къ безотрадной мысли о ростѣ смерти „старика“? Мы упомянули о вліяніи на него славянофиловъ. Но вѣдь были же, вѣроятно, въ жизни Западной Европы такія явленія, которыя поддерживали это вліяніе и позволили ему окрасить собою всѣ соціально-политическіе взгляды Герцена. Какія же это явленія? Отвѣта на этотъ вопросъ надо искать въ его „Письмахъ изъ Avenue Marigny“ **).

Въ четвертомъ письмѣ (помѣченномъ: Парижъ, 15 сентября 1847 г.) Герценъ говоритъ: „Франція ни въ какое время не падала такъ глубоко въ нравственномъ отношеніи, какъ теперь. Она больна. Это чувствуютъ всѣ, Гизо и Прудонъ, префектъ полиціи и Викторъ Консидеранъ“.

Старикъ близится къ смерти, потому что онъ боленъ. Это понятно. Однако, въ чемъ же состоитъ его болѣзнь? почему она неизлѣчима?

Болѣзнь состоитъ въ томъ, что „большинство“, — „народъ, работники, чернь“, — Герценъ одинаково употребляетъ всѣ эти выраженія, — находится въ полной зависимости отъ меньшинства, т.-е. отъ буржуазіи. А въ зависимость эту оно попало потому, что во время

по натурѣ и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу“, Герценъ записываетъ въ своемъ „Дневникѣ“: „Странное положеніе мое, какое-то невольное *juste milieu* въ славянскомъ вопросѣ: передъ ними я челоѣкъ запада, передъ ихъ врагами—челоѣкъ востока“. Это очень знаменательное признаніе. Но этого мало. Въ 30 главѣ четвертой части „Былого и Думъ“ Герценъ писалъ о П. В. Кирѣевскомъ: „Въ его взглядѣ (и это я оцѣнилъ гораздо послѣ) была доля тѣхъ горькихъ, подавляющихъ истинъ объ общественномъ состояніи Запада, до которыхъ мы дошли послѣ бурь 1848 г.“. Поэтому можно предположить, что разговоры съ П. В. Кирѣевскимъ больше всего содѣйствовали возникновенію у Герцена вѣры въ „соціальные зачатки“ Россіи.

*) Это новое настроеніе Герцена сказалось въ его „Письмахъ къ старому товарищу“ (т.-е. къ Бакушину). Особенно интересно въ этомъ смыслѣ второе письмо, помѣченное: Ницца, 25 января 1869 г. Въ этомъ письмѣ Герценъ говоритъ: „Международные рабочіе съѣзды становятся ассизами, передъ которыми вызывается одинъ соціальный вопросъ за другимъ; они получаютъ больше и больше организующій складъ, ихъ члены эксперты и слѣдопроизводители... Международный союзъ можетъ вырасти въ Авертинскую гору à l'intérieur“ и т. д.

**) Четыре письма изъ Avenue Marigny, напечатанныя первоначально въ „Современникѣ“ 1847 г. (тт. V и VI), вошли потомъ въ „Письма изъ Франціи и Италіи“.

прошлыхъ переворотовъ была упущена изъ виду „экономическая сторона, которая тогда еще не была настолько зрѣла, чтобъ занять свое мѣсто“. Послѣдствія этой ошибки даютъ себя чувствовать во всѣхъ проявленіяхъ общественной жизни Западной Европы вообще и Франціи въ частности. Нужно исправить эту ошибку. Но бѣда въ томъ, что исправить ее некому. Соціалисты? Они были сильны въ критикѣ и слабы въ своихъ положительныхъ программахъ. Къ тому же ихъ не понималъ народъ, который, по словамъ Герцена, слишкомъ поэтъ и слишкомъ дитя, „чтобъ увлекаться отвлеченными мыслями и чисто экономическими теоріями“. Утопическіе опыты новаго хозяйственнаго устройства (фаланстеры, коммунистическія общины и проч.) окончились неудачей. Герценъ слѣдующимъ образомъ объясняетъ ихъ крушеніе:

„Попытки новаго хозяйственнаго устройства, одна за другой, выходили на свѣтъ и разбивались о чугунную крѣпость привычекъ, предразсудковъ, фактическихъ стародавностей, фантастическихъ преданій. Онѣ были сами по себѣ полны желаніемъ общаго блага, полны любви и вѣры, полны нравственности и преданности, но не знали, какъ навести мосты изъ всеобщности въ дѣйствительную жизнь, изъ стремленія въ приложеніе“.

Итакъ, вотъ каково было положеніе дѣлъ: соціалисты видѣли причину зла и даже придумали болѣе или менѣе удовлетворительныя средства для его устраненія; но они не умѣли навести мосты, ведущіе изъ области теоріи въ дѣйствительную жизнь; поэтому ихъ идеалы остались неосуществимыми. Мы сказали, что, по мнѣнію Герцена, тогдашніе соціалисты указывали „болѣе или менѣе удовлетворительныя средства“ устраненія общественнаго зла. Мы выразились такъ не безъ умысла. Дѣло въ томъ, что ни одна изъ тогдашнихъ соціалистическихъ системъ не удовлетворяла вполне нашего автора. Онъ находилъ, что во всѣхъ построеніяхъ соціалистовъ человѣкъ, освобожденный отъ нищеты, не становится свободнымъ человѣкомъ, а какъ-то теряется въ общинѣ. И это большой недостатокъ. „Понять всю ширину и дѣйствительность, понять всю святость правъ личности,—говоритъ Герценъ,—и не разрушить, не раздробить на атомы общество,—самая трудная соціальная задача. Ее разрѣшить, вѣроятно, сама исторія для будущаго, въ прошедшемъ она никогда не была разрѣшена“.

Къ формулировкѣ этой задачи Герценъ не разъ возвращался и въ послѣдующихъ своихъ сочиненіяхъ. Но какъ ни велика была важность ея въ его глазахъ, она все-таки имѣла для него лишь второстепенное значеніе. И потому мы не будемъ останавливаться на ней. Главной бѣдой тогдашней Франціи, грозившей смертію всему ея общественному организму, онъ считалъ указанное выше противорѣчіе между общественной жизнью съ одной стороны и лучшими проявленіями общественной мысли съ другой. Это противорѣчіе представлялось Герцену неразрѣшимымъ. Массы были глухи къ голосу

соціалістовъ вслѣдствіе своего невѣжества, а невѣжество ихъ являлось, въ свою очередь, неизбежнымъ слѣдствіемъ ихъ нищеты. „Нѣтъ образованія при голодѣ,—говоритъ Герценъ;—чернь будетъ чернью до тѣхъ поръ, пока не выработаетъ себѣ пищу и досугъ“. А досуга не будетъ у нея, пока она останется невѣжественной. Герценъ не видѣлъ выхода изъ этого противорѣчія и оттого считалъ положеніе „старика“ безнадежнымъ. Онъ писалъ: „Надежда у буржуазіи одна—невѣжество массъ. Надежда большая, но ненависть и зависть, месть и долгое страданіе образуютъ быстрѣе, нежели думаютъ. Можетъ, массы долго не поймутъ, чѣмъ помочь своей бѣдѣ, но онѣ поймутъ, чѣмъ вырвать изъ рукъ несправедливыя права, не для того, чтобы воспользоваться, а чтобы разбить ихъ, не для того, чтобы обогатиться, а чтобы пустить другихъ по міру“.

Когда массы способны возстать только для того, чтобы пустить другихъ по міру, а не для того, чтобы освободить себя, тогда можно не безъ основанія опасаться за жизнь общественнаго организма.

Эта мысль, какъ видно, очень занимала Герцена въ теченіе всего 1847 года. Мы встрѣчаемся съ нею не только въ „Письмахъ изъ Avenue Marigny“, но также въ 1-ой главѣ книги „Съ того берега“, тоже написанной, какъ извѣстно, еще до февральской революціи (она помѣчена: Roma, via del Corso, 31 декабря 1847 г.). Герценъ говоритъ тамъ, характеризуя трагическое положеніе своихъ мыслящихъ современниковъ: „Бѣда въ томъ, что мысль забѣгаетъ всегда далеко впередъ, народы не поспѣваютъ за своими учителями; возьмите наше время, нѣсколько человѣкъ коснулись переворота, который совершить не въ силахъ ни они сами, ни народы. Передовые думали, что стоитъ сказать: „брось одръ твой и иди за нами“—все и двинется; они ошиблись, народъ ихъ такъ же мало зналъ, какъ они его, имъ не повѣрили. Не замѣчая, что за ними никого нѣтъ, эти люди предводительствовали, шли впередъ; спохватившись, они стали кричать отставшимъ, махать, звать ихъ, осыпать упреками—но поздно, слишкомъ далеко, голоса недостаетъ, да и языкъ ихъ не тотъ, которымъ говорятъ массы. Намъ больно сознаться, что мы живемъ въ мірѣ, выжившемъ изъ ума, дряхломъ, истощенномъ, у котораго явнымъ образомъ недостаетъ силы и поведенія, чтобы подняться на высоту собственной мысли“.

Въ другомъ мѣстѣ той же главы („Передъ грозой“), представляющей собой родъ діалога, собесѣдникъ Герцена спрашиваетъ: „Но кто же по-вашему правъ? мысль ли теоретическая, которая точно такъ же развилась и сложилась исторически, но сознательно, или фактъ современнаго міра, отвергающій мысль и представляющій такъ же, какъ она, необходимый результатъ прошедшаго“.

На это Герценъ рѣшительно отвѣчаетъ: „Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходитъ изъ того, что жизнь имѣетъ свою эмбриогенію, не совпадающую съ діалектикой чистаго разума. Я помянулъ древній міръ, вотъ вамъ примѣръ: вмѣсто того, чтобы

осуществлять республику Платона и политику Аристотеля, онъ осуществилъ Римскую республику и политику ихъ завоевателей; вмѣсто утопій Цицерона и Сенеки,—Лонгобардскія графства и германское право“.

Просимъ читателя обратить вниманіе еще на то, что уже въ этой статьѣ Герценъ допускаетъ возможность завоеванія Россіей Западной Европы въ томъ случаѣ, если эта послѣдняя не сумѣетъ справиться со своимъ „соціальнымъ вопросомъ“. Но это мимоходомъ.

III.

Извѣстно, что собесѣдникъ Герцена, фигурирующий въ статьѣ „Передъ грозой“, совсѣмъ не выдуманное лицо. По словамъ Герцена, это былъ И. П. Галаховъ, о которомъ идетъ рѣчь въ 29-ой главѣ четвертой части „Былого и Думъ“. Герценъ говоритъ, что въ то время И. П. Галаховъ, несмотря на свою склонность къ ироніи, „хранилъ романтическія надежды и все еще рвался къ какимъ-то вѣрованіямъ“. Основная мысль главы „Передъ грозой“ состоитъ въ томъ, что „романтическія надежды“ не основательны, а „какія-то вѣрованія“ не выдерживаютъ критики. Это уже полное разочарованіе. Понятно поэтому, что въ первомъ же письмѣ изъ Avenue Marigny (помѣчено: Парижъ, 12 мая 1847 г.) Герценъ писалъ: „Вездѣ скучно, будьте увѣрены... Въ Парижѣ—весело-скучно, въ Лондонѣ—безопасно-скучно, въ Римѣ—величаво-скучно, въ Мадридѣ—душная скука, въ Вѣнѣ—скука душная. Что тутъ прикажете дѣлать!.. Вотъ время какое пришло!“

Причина Герценова разочарованія теперь рисуется передъ нами съ нѣкоторой ясностью. Она заключалась въ неумѣнн разрѣшить антиномію между указаніями мысли и ходомъ жизни, между требованіями соціалистическаго идеала и прозаическими данными западно-европейской дѣйствительности. Герценъ говоритъ, что онъ не можетъ отказаться отъ достигнутаго имъ развитія, не можетъ не знать того, что знаетъ. „Наша цивилизація,—говоритъ онъ,—лучшій цвѣтъ современной жизни, кто же поступится своимъ развитіемъ?“ Но именно эта невозможность покинуть разъ достигнутую степень развитія и является источникомъ страданій современнаго передового человѣка. Соціалистическій идеалъ могъ бы явиться источникомъ нравственнаго удовлетворенія только въ томъ случаѣ, если бы у людей, имъ проникнутыхъ, было какое-нибудь объективное ручательство за то, что онъ осуществится. А Герценъ ни въ чемъ не видитъ этого ручательства. Онъ говоритъ Галахову: „Нѣтъ причины думать, что новый міръ будетъ строиться по нашему плану“ (та же статья). Нѣсколько далѣе онъ, указавъ на невозможность покинуть достигнутую ступень развитія, прибавляетъ: „Но какое же это имѣетъ отношеніе къ осуществленію нашихъ идеаловъ, гдѣ лежитъ необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?“

Иначе сказать: уже въ 1847 г. тогдашній утопическій социализмъ пересталъ удовлетворять Герцена по той причинѣ, что не заключалъ въ себѣ теоретическихъ данныхъ, необходимыхъ для разрѣшенія антиноміи между субъектомъ и объектомъ, между сознаниемъ и бытіемъ въ ея примѣненіи къ ходу историческаго развитія человѣчества.

До какой степени доходила неудовлетворенность нашего автора, показываютъ его слова, обращенныя къ Галахову: „Вы ищите найти знамя, а я ищу потерять его“. Къ этому нечего прибавлять. При такомъ взглядѣ, естественно, приходили мысли о „ростѣ смерти западнаго старика“, и такъ же естественно было утѣшать себя надеждой на „соціальныя зачатки“ Россіи, которые годились для этой роли утѣшителей именно благодаря своей крайней неясности и неопредѣленности.

Чтобы дойти до такого состоянія, нужно было пережить цѣлую душевную драму. Мы видимъ теперь, что драма эта была пережита Герценомъ уже въ первые мѣсяцы его пребыванія на Западѣ. Больше мы не будемъ возвращаться къ этому предмету и взглянемъ на дѣло съ другой стороны.

Мысль Герцена мучительно билась надъ вопросомъ о томъ, въ чемъ заключается объективная необходимость осуществленія нашихъ идеаловъ. Это было въ 1847 г., а можетъ быть также, хотя и въ меньшей степени, и въ послѣднее время его пребыванія въ Россіи. Теперь мы просимъ читателя вспомнить, какой смыслъ имѣла умственная драма, пережитая Бѣлинскимъ въ эпоху его знаменитаго „примиренія съ дѣйствительностью“. Какъ это показано нами (см. нашу статью о немъ), смыслъ этой драмы заключался въ томъ, что Бѣлинскій, не удовлетворяясь „абстрактнымъ героизмомъ“, т.-е. отвлеченнымъ идеаломъ, стремился понять дѣйствительность, какъ законмѣрный процессъ развитія. *Mutatis mutandis* это—та самая задача, которую пытался рѣшить Герценъ лѣтъ около десяти спустя. Пользуясь выраженіемъ Бѣлинскаго, мы скажемъ, что Герценъ, подобно ему, стремился „развить идею отрицанія“, т.-е. убѣдить себя въ томъ, что идея эта сама является необходимымъ продуктомъ общественнаго развитія, и что за ея осуществленіе въ будущемъ ручается вся объективная сила этого послѣдняго.

Когда Бѣлинскаго мучила эта загадка сфинкса, Герценъ, какъ видно, даже не подозрѣвалъ возможности ея существованія. Онъ пугалъ Бѣлинскаго практическими выводами, будто бы непременно вытекающими изъ принятыхъ тѣмъ теоретическихъ посылокъ. Но не замѣченная тогда Герценомъ загадка сфинкса привлекла къ себѣ все его вниманіе, когда онъ попалъ за границу. Тогда и его стали пугать соображеніями пракческаго свойства; тогда и ему стали твердить, что его выводы идутъ на пользу реакціи. Мы не знаемъ, заставило ли его это обстоятельство вспомнить о Бѣлинскомъ. По-

видимому, нѣтъ. Но что въ ихъ положеніи была весьма значительная и достойная всякаго вниманія аналогія, это въ нашихъ глазахъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію.

Герценъ и Бѣлинскій разными путями въ разное время и различнымъ образомъ,—вслѣдствіе разницы въ темпераментахъ и во внѣшнихъ условіяхъ,—подошли къ одной и той же, чрезвычайно важной теоретической задачѣ: „развить идею отрицанія“ изъ объективныхъ условій ея возникновенія и тѣмъ самымъ найти объективное ручательство за то, что она восторжествуетъ. И оба они не могли не подойти къ этой задачѣ по той простой причинѣ, что оба они съ большой пользой для себя изучали философію Гегеля.

Намъ нѣтъ нужды повторять здѣсь сказанное нами въ статьѣ о Бѣлинскомъ. Ограничимся Герценомъ.

Во второмъ „Письмѣ объ изученіи природы“ онъ говорилъ, что „доказать предметъ—значитъ раскрыть его необходимость, и что „мысль предмета не есть исключительно личное достояніе мыслящаго: не онъ вдумалъ ее въ дѣйствительность, она имъ только сознана; она предсуществовала, какъ скрытый разумъ, въ непосредственномъ бытіи предмета“.

Примѣните эти общія соображенія къ социализму, и вы увидите, что Герценъ долженъ столкнуться съ той загадкой сфинкса, которая привела его къ разочарованію въ утопическомъ социализмѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если „доказать“ предметъ значитъ раскрыть его необходимость, то „доказать“ социализмъ значитъ открыть объективную необходимость будущаго перехода буржуазной общественной организаціи въ социалистическую. Кто не умѣетъ сдѣлать это, у того социалистическій идеалъ остается недоказаннымъ и не идетъ дальше „романтической надежды“, субъективнаго „вѣрованія“. Такимъ социализмомъ могли довольствоваться—и въ самомъ дѣлѣ довольствовались—очень многіе изъ тѣхъ передовыхъ людей того времени, которымъ не случилось пройти (т.-е. пройти съ нѣкоторымъ успѣхомъ) суровую, но закаляющую школу Гегелевой логики. Тѣхъ же, которые прошли (повторяемъ: прошли съ нѣкоторымъ успѣхомъ) эту школу, отвлеченные идеалы утопическаго социализма не могли удовлетворить надолго, хотя въ силу извѣстныхъ нравственныхъ потребностей и могли пріобрѣтать надъ ними временную власть. Людямъ этого логическаго закала нельзя было не столкнуться рано или поздно съ указанной нами загадкой сфинкса, и имъ нужно было разрѣшить ее или, по крайней мѣрѣ, усомниться въ утопическомъ идеалѣ, если имъ не удавалось додуматься до разгадки. Такъ было съ Бѣлинскимъ; такъ было съ Герценомъ.

Нѣкоторые нѣмецкіе, а за ними и русскіе авторы видятъ преимущество Герцена передъ Марксомъ въ томъ, что онъ, въ противоположность автору „Капитала“, социализмъ котораго имѣлъ подъ собой материалистическую основу, смотрѣлъ на „соціальный

вопросъ“ съ идеалистической точки зрѣнія. На самомъ дѣлѣ это было не преимуществомъ, а слабостью Герцена, причинившей ему много тяжелыхъ страданій. И Герценъ самъ смутно чувствовалъ, что источникомъ такихъ страданій является именно идеалистическій его взглядъ на общественную жизнь. Споря съ „романтикомъ“ Галаховымъ, онъ боролся со своимъ собственнымъ идеализмомъ. Ему не удалось побѣдить его. Посмотримъ, по какой причинѣ.

IV.

Уже въ статьѣ „Передъ грозой“ Герценъ старается построить матеріалистическую теорію прогресса въ противоположность идеалистическимъ разсужденіямъ Галахова на ту же тему. „Прогрессъ,—говоритъ онъ,—неотъемлемое свойство сознательнаго развитія, которое не прерывалось; это дѣятельная память и фізіологическое усовершеніе людей общественной жизнью“.

Почему же думаетъ Герценъ, что общественная жизнь ведетъ къ фізіологическому усовершенствованію людей? Между прочимъ потому, что подъ ея вліяніемъ происходитъ улучшеніе мозгового вещества. „Что вы улыбаетесь?—спрашиваетъ онъ своего идеалистически настроеннаго собесѣдника,—да, да, cerebrinъ улучшается... Какъ все естественное становится къ вамъ ребромъ, удивляетъ васъ, идеалистовъ, точно какъ нѣкогда рыцари удивлялись, что вилланы хотятъ тоже человѣческихъ правъ. Когда Гете былъ въ Италіи, онъ сравнивалъ черепъ древняго быка съ черепомъ нашихъ быковъ и нашель, что у нашего кость тоньше, а вмѣстилище большихъ полушарій мозга пространнѣй; древній быкъ былъ, очевидно, сильнѣе нашего, а нашъ развился въ отношеніи къ мозгу въ своемъ мирномъ подчиненіи человѣку. За что же вы считаете человѣка мнѣе способнымъ къ развитію, нежели быка?“

Это несомнѣнно матеріалистическое соображеніе, напоминающее приведенныя нами въ другомъ мѣстѣ по аналогичному поводу слова Фейербаха: человѣкъъ есть то, что онъ ѣстъ (*Der Mensch ist, was er isst*). И нельзя сомнѣваться въ томъ, что стремленіе Герцена раздѣлаться съ историческимъ идеализмомъ въ значительной степени подкрѣплялось переходомъ его въ философіи отъ идеалиста Гегеля (вліяніе котораго очень сильно замѣтно еще въ „Письмахъ объ изученіи природы“) къ матеріалисту Фейербаху. Но какихъ же послѣдствій можно ждать въ исторіи отъ того факта,—если это въ самомъ дѣлѣ фактъ,—что cerebrinъ улучшается? Понятно—какихъ! Благодаря улучшенію церебринна мозгъ лучше исполняетъ свою функцію мышленія. А чѣмъ лучше онъ исполняетъ эту функцію, тѣмъ правильнѣй становятся понятія людей. А чѣмъ правильнѣй становятся понятія людей, тѣмъ болѣе улучшаются ихъ общественныя отношенія. Начавъ съ матеріализма, мы, какъ видите, прямымъ путемъ приходимъ къ тому историческому идеализму,

согласно которому ходъ общественнаго развитія опредѣляется въ послѣднемъ счетѣ ходомъ развитія человѣческихъ понятій. Мы начали съ того, что сознаніе обуславливается бытіемъ, а пришли, незамѣтно для насъ самихъ, къ тому, что бытіе (на этотъ разъ — общественное бытіе людей) обуславливается сознаніемъ. Попытка раздѣлаться съ идеализмомъ оказывается неудачной *). И такая неудача, — а она несомнѣнно постигла Герцена, — неизбежно ведетъ за собой цѣлый рядъ теоретическихъ промаховъ. Вотъ нѣкоторые изъ нихъ.

Возставая противъ идеализма, Герценъ продолжаетъ смотрѣть на общественную жизнь съ идеалистической точки зрѣнія. Въ его глазахъ тотъ классъ наиболѣе способенъ стать двигателемъ общественнаго развитія, который накопилъ наибольшій запасъ знаній. Но запасъ знаній у „черни“ очень невеликъ. Поэтому Герценъ и не вѣрять въ историческую самодѣятельность народа. Онъ ждетъ такой самодѣятельности лишь отъ нѣкоторыхъ слоевъ высшихъ классовъ, отъ такъ называемой у насъ теперь интеллигенціи. Но въ тогдешней западно-европейской интеллигенціи только сравнительно немногіе люди (соціалисты) задумывались о коренномъ переустройствѣ общественныхъ отношеній. Да и къ этимъ, сравнительно немногимъ, людямъ Герценъ относился, какъ мы видѣли, весьма критически: онъ находилъ, что они въ своихъ построеніяхъ упустили изъ виду элементъ личной свободы, а кромѣ того, — и это главное, — не умѣли „навести мосты“ изъ сферы теоріи въ область дѣйствительной жизни. Вся же остальная часть интеллигенціи не доросла даже до постановки, а не только до рѣшенія соціального вопроса. „Ни журнальная, ни парламентская оппозиція, — писалъ Герценъ въ 4-мъ письмѣ изъ Avenue Marigny, — не знаютъ ни истиннаго смысла недуга, ни дѣйствительныхъ лѣкарствъ“. Междоусобная война, разразившаяся во Франціи лѣтомъ 1848 г., убѣдила Герцена въ томъ, что „оппозиція“, о которой онъ говорилъ въ указанномъ письмѣ, на самомъ дѣлѣ очень недурно понимала смыслъ общественнаго „недуга“, но отнюдь не хотѣла лѣчить его, такъ какъ его излѣченіе противорѣчило бы интересамъ того общественнаго класса, къ которому она принадлежала. Въ этомъ и заключалась, по мнѣнію Герцена, главная причина того застоя общественной мысли, той китайщины въ западно-европейской общественной жизни, которые онъ такъ краснорѣчиво оплакивалъ въ своихъ письмахъ Тургеневу („Концы и начала“; писаны въ 1862 г.), въ статьѣ о книгѣ Милля „On liberty“ (писано въ 1859 г.) и въ цѣломъ рядѣ другихъ сочиненій. „Передъ нами, — писалъ онъ, — цивилизація, послѣдовательно развившаяся на безземельномъ пролетаріатѣ, на безусловномъ правѣ собственника надъ собственностью. То, что ей пророчилъ Сіэсъ, и случилось: среднее со-

*) Чернышевскій, тоже исходившій изъ философіи Фейербаха, испыталъ совершенно такую же неудачу (см. нашу статью о немъ).

стояніе сдѣлалось всѣмъ—на условіи владѣть чѣмъ-нибудь“. Но если главная бѣда западно-европейскаго „старика“ въ самомъ дѣлѣ заключалась въ томъ, что успѣхи его мысли были остановлены извѣстнымъ складомъ его жизни, то выходило, что общественное сознаніе обусловливается общественнымъ бытіемъ и что примѣръ Западной Европы опровергаетъ основное положеніе историческаго идеализма: „мнѣніе править міромъ“.

Такимъ образомъ Герценъ старается построить матеріалистическую теорію прогресса. Но эта теорія не мѣшаетъ ему держаться чисто идеалистическаго взгляда на ходъ западно-европейскаго общественнаго развитія. Въ свою очередь, этотъ чисто идеалистическій взглядъ не помѣшалъ ему притти къ тому чисто матеріалистическому выводу, что на Западѣ ходъ идей опредѣляется ходомъ вещей. Другими словами, Герценъ постоянно переходилъ отъ одного объясненія исторіи къ другому, прямо противоположному. И эти его постоянные переходы происходили совершенно незамѣтно для него самого. То же мы видимъ и въ его разсужденіяхъ о вѣроятной судьбѣ Россіи. Онъ и тутъ охотно апеллируетъ къ матеріализму. Когда Тургеневъ въ своемъ письмѣ къ нему отъ 8-го ноября 1862 г. сказалъ, что мы, русскіе, „принадлежимъ и по языку и по породѣ къ европейской семьѣ, „genus europaeum“ и, слѣдовательно, по самымъ неизмѣннымъ законамъ фізіологіи должны итти по той же дорогѣ“, онъ ровно ничего не возразилъ въ принципѣ противъ такой ссылки на „фізіологію“. Онъ только замѣтилъ, что „фізіологія“, наоборотъ, говоритъ въ его пользу. Онъ писалъ: „Общій планъ развитія допускаетъ безконечное число варіацій непредвидимыхъ, какъ хоботь слона, какъ горбъ верблюда. Чего и чего не развилось на одну тему: собаки, волки, лисицы, гончіе, борзые, водолазы, моськи... Общее происхожденіе нисколько не обусловливаетъ одинаковость біографіи“. Въ біологическомъ смыслѣ это было совершенно вѣрно, хотя такъ же мало доказывало, что Россія ближе къ социализму, нежели Западъ, какъ и противоположное мнѣніе Тургенева *). Но и изъ этихъ „фізіологическихъ“,—т.-е., стало быть, матеріалистическихъ,—посылокъ Герценъ немедленно дѣлаетъ чисто идеалистическій выводъ. „Въ „genus europaeum“,—говоритъ онъ,—есть народы, состарѣвшіеся безъ полнаго развитія мѣщанства (кельты, нѣкоторыя части Испаніи, южной Италіи и проч.), есть другіе, которымъ мѣщанство такъ идетъ, какъ вода жабрамъ—отчего же не быть и такому народу, для котораго мѣщанство будетъ переходнымъ, неудовлетворительнымъ состояніемъ, какъ жабры для утки?“ Это было равносильно тому утвержденію, что общественное развитіе даннаго народа объясняется свойствами его

*) Чернышевскій въ своей статьѣ „О причинахъ паденія Рима“ тоже оспаривалъ взглядъ Герцена на „западнаго старика“, между прочимъ, съ помощью фізіологическихъ доводовъ. Но и подъ его перомъ такіе доводы ничего не доказывали,—да по существу дѣла и не могли ничего доказать,—въ этомъ вопросѣ.

духа. Едва ли не излишне прибавлять, что утверждение это насквозь пропитано совершенно некритическим идеализмом *).

Къ тому же Герценъ допускалъ въ своемъ спорѣ съ Тургеневымъ, что Россія „вѣроятно пройдетъ **) и мѣщанской полосой“ (тамъ же, то же письмо). Выходило такъ, что русскій народный духъ могъ сократить прохожденіе Россіи черезъ фазу „мѣщанства“, но не былъ достаточно силенъ для того, чтобы позволить ей миновать ее. Это, разумѣется, не прибавляло ясности къ мыслямъ нашего автора.

V.

Но и это еще не все. Въ Западной Европѣ высшіе классы не хотятъ социализма, потому что онъ противорѣчитъ ихъ интересамъ. А какъ обстоитъ на этотъ счетъ дѣло въ Россіи?

Основавъ русскую типографію въ Лондонѣ, Герценъ писалъ, обращаясь къ нашему дворянству: „Первое вольное русское слово изъ-за границы пусть будетъ обращено къ вамъ“. И это его слово не только совѣтуетъ дворянамъ „начать собой новую свободную Русь и полюбовно рѣшить тяжелый вопросъ съ крестьянами“, но и указываетъ имъ на социализмъ, очевидно, въ надеждѣ вызвать ихъ сочувствіе къ нему. Герценъ совѣтуетъ русскимъ дворянамъ взглянуть на западныхъ мѣщанъ, которые „все потеряли“ своимъ тупымъ упорствомъ и вмѣсто общественнаго пересозданія подготовили общественное разрушеніе. Для большей убѣдительности онъ прибавляетъ, что предстоящій социалистическій переворотъ не такъ чуждъ русскому сердцу, какъ прежніе (т.-е., по терминологіи Герцена, чисто-политические) перевороты. „Слово социализмъ, — пишетъ онъ, — неизвѣстно нашему народу, но смыслъ его близокъ душѣ русскаго человѣка, изживающаго вѣкъ свой въ сельской общинѣ и въ рабочей артели. Въ социализмъ встрѣтится Россія съ революціей“.

На Западѣ высшіе классы возстаютъ противъ „социализма и революціи“, которые противорѣчатъ ихъ интересамъ. Тамъ классовое бытіе опредѣляетъ собою классовое сознание. А въ Россіи? Тамъ социализмъ и революція, очевидно, тоже не могли пойти на пользу дворянству. Стало быть, Герценъ могъ обратиться къ нему съ проповѣдью социализма и революціи только въ томъ предположеніи, что у насъ дѣло происходитъ не такъ, какъ на Западѣ, т.-е. что у насъ классовое сознание не опредѣляется классовымъ бытіемъ.

И это вовсе не описка. Въ своей рѣчи, произнесенной въ Лондонѣ 27 февраля 1854 г. на международномъ собраніи въ память февральской революціи, Герценъ говорилъ, характеризуя Россію:

„Тамъ вы встрѣтите два зародыша движенія: одинъ сверху,

*) Тургеневъ въ письмѣ къ Герцену отъ 13/23 декабря 1867 г. справедливо писалъ ему: „Ты романтикъ и художникъ... вѣришь... въ особую породу людей, въ извѣстную расу: вѣдь это въ своемъ родѣ тоже троеручица!“

**) Подчеркнуто у Герцена.

другой снизу. Одинъ,—преимущественно отрицающій, разлагающій, разъѣдающій,—разсыпается въ малыхъ кружкахъ, но готовъ составить большой, дѣятельный заговоръ. Другой—болѣе положительный, хранящій въ себѣ почки будущаго образованія—находится въ состояніи дремоты и бездѣйствія. Я говорю о молодомъ дворянствѣ и о сельской общинѣ, которая представляетъ основную ячейку всей ткани общественной, животворящее начало славянскаго государства“ *).

Такъ какъ, по теоріи Герцена, „дремлющая“ русская община могла перейти въ социалистическую форму лишь подъ вліяніемъ западно-европейской революціонной мысли, носителемъ которой должно было явиться у насъ „молодое дворянство“, то выходило, что отъ доброй воли этого послѣдняго зависѣла вся судьба русскаго социализма.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что, какъ видно изъ тѣхъ же словъ Герцена, „молодое дворянство“ сводилось въ его представленіи къ „малымъ кружкамъ“, готовымъ, правда, „составить большой, дѣятельный заговоръ“.

Это значить, что Герценъ рассчитывалъ на то, что дворянство дастъ элементы, необходимые для образованія у насъ революціонной партіи. Поведеніе дворянства въ эпоху освобожденія крестьянъ показало Герцену, что надежды, которыя онъ возлагалъ когда-то на это сословіе, были не основательны. Тогда „молодое дворянство“ замѣнилось въ его схемѣ разночиннымъ образованнымъ „меньшинствомъ“, къ которому и сталъ обращаться „Колоколъ“ со своей проповѣдью социализма.

Редакція „Колокола“ признавала, что это меньшинство очень слабо, но она утѣшала себя тѣмъ соображеніемъ, что, какъ выразился Н. П. Огаревъ, „христіанство распространилось въ мірѣ посредствомъ двѣнадцати человѣкъ, составлявшихъ каждый нѣсколько тайныхъ обществъ, тайныхъ, потому что имъ надо было ограждать себя отъ преслѣдованій“ **). Это, конечно, тоже чисто идеалистическое соображеніе, совсѣмъ неубѣдительное съ той точки зрѣнія, на которую всталъ Герценъ въ своей критикѣ утопическаго социализма: съ этой точки зрѣнія весь вопросъ былъ бы именно въ томъ, каковы были объективныя, коренившіяся въ общественномъ „бытіи“, причины, обезпечившія побѣду христіан-

*) Въ другомъ мѣстѣ онъ, рисуя положеніе дѣлъ въ Россіи, говоритъ, что работа революціонной мысли совершалась у насъ не въ правительствѣ и не въ народѣ, а въ мелкомъ и среднемъ дворянствѣ (*Du developpement des idées révolutionnaires en Russie* par A. Iskander. Paris, 1851 p. 84). Цитируемое здѣсь сочиненіе Герцена посвящено à notre ami Michel Bakounine. Русскій его переводъ изданъ подъ названіемъ: „Движеніе общественной мысли въ Россіи“.—Москва, 1907.) Свою схему будущаго общественнаго движенія Герценъ строилъ, находясь подъ сильнымъ вліяніемъ воспоминанія о декабристахъ. Но образованному слою нашего дворянства не суждено было сыграть во второй разъ роль, сыгранную имъ въ двадцатыхъ годахъ XIX вѣка.

**) „Колоколъ“, № 108 (Oct. I, 1861). Отвѣтъ на отвѣтъ Великооруссу.—Н. Огарева.

ских „тайныхъ обществъ“? Почему этимъ обществамъ удалось „навести мосты изъ стремленія въ приложеніе“?

Если, разочаровавшись въ утопическомъ социализмѣ, Герценъ сталъ находить основательнымъ, хотя и нуждающимся въ значительной передѣлкѣ, славянофильское противопоставленіе Россіи Западу, то онъ сдѣлалъ это, повинаясь голосу правильнаго,—по своему существу,—теоретическаго инстинкта. Этотъ инстинктъ напоминалъ ему, что доказать предметъ значить раскрыть его необходимость, и что „мысль предмета не есть исключительно личное достояніе мыслящаго: не онъ вдумалъ ее въ дѣйствительность... Она предсуществовала, какъ скрытый разумъ, въ непосредственномъ бытіи предмета“. Отсюда слѣдовало, что социалистическая мысль только тогда можетъ быть признана мыслью, имѣющей серьезное общественное значеніе, если удастся доказать, что она не есть исключительное достояніе социалистовъ, а существуетъ, „какъ скрытый разумъ, въ непосредственномъ бытіи“ общества, т.-е. служить сознательнымъ выраженіемъ бессознательныхъ общественныхъ отношеній. Русская община и представлялась Герцену той общественной формой, въ „непосредственномъ бытіи“ которой социалистическая мысль объективно существовала, „какъ скрытый разумъ“. Это было, конечно, повтореніемъ славянофильской мысли о томъ, что у насъ существуетъ, какъ фактъ, то, что на Западѣ существуетъ лишь въ идеалѣ. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что Герценъ не остался вѣренъ до конца теоретическому инстинкту, побудившему его искать объективной опоры для социалистическаго идеала. Община еще не „социализмъ“. Чтобы перейти въ „социализмъ“, она должна пережить болѣе или менѣе длинный процессъ развитія. Если бы Герценъ былъ вѣренъ указанному теоретическому инстинкту, то онъ сказалъ бы, что община перейдетъ въ социализмъ только въ томъ случаѣ, если въ ней самой, благодаря ея внутреннему складу, найдутся силы, которыя сдѣлаютъ такой переходъ объективно необходимымъ. Но онъ сказалъ нѣчто прямо противоположное. Онъ видѣлъ, что въ самой общинѣ нѣтъ силъ, способныхъ привести ее къ социализму*), и потому обратился за помощью сначала къ молодому дворянству, а потомъ къ образованному меньшинству. Онъ хотѣлъ найти для „сознанія“ опору въ „бытіи“, а кончилъ тѣмъ, что поставилъ „бытіе“ въ причинную зависимость отъ „сознанія“, т.-е., въ данномъ случаѣ, отъ того же отвлеченнаго идеала социалистовъ, въ которомъ онъ самъ разочаровался именно потому, что убѣдился въ безсиліи мысли, не опирающейся на объективный процессъ развитія. Тутъ мы опять видимъ нелогич-

*) Прибавимъ, во избѣжаніе недоразумѣній, что къ числу такихъ силъ мы относимъ и тѣ, которыя, находясь внѣ общины,—напримѣръ, въ городскомъ пролетаріатѣ,—явились бы, однако, продуктомъ ея внутренняго развитія и могли бы подготовить торжество социализма также и внутри общины. Но дворянство, какъ сказано, не могло быть подобной силой.

ность, бессознательный переходъ отъ историческаго матеріализма къ историческому идеализму, дѣлающій ошибочнымъ все разсужденіе нашего автора.

Дальше. Въ своемъ извѣстномъ письмѣ къ Мишлэ („Русскій народъ и социализмъ“) Герценъ дѣлаетъ слѣдующее интересное замѣчаніе: „Изъ этого вы видите., какое это счастье для русскаго народа, что онъ остался внѣ всѣхъ политическихъ движеній, внѣ европейской цивилизаціи, которая, безъ сомнѣнія, подкопала бы общину и которая нынѣ сама дошла въ социализмѣ до самоотрицація“.

Теоретическія ошибки имѣютъ свою логику. Здѣсь логика теоретической ошибки привела прогрессиста Герцена къ тому, что онъ сталъ считать благодѣтельнымъ многовѣковый застой Россіи. Это напоминаетъ Данилевскаго, который въ своей книгѣ „Россія и Европа“ утверждалъ, что турки, „наложивъ свою леденящую руку“ на народы Балканскаго полуострова и тѣмъ „заморивъ въ нихъ развитіе жизни“, предохранили ихъ отъ потери нравственной самобытности.

Тургеневъ говорилъ по поводу пятаго письма въ „Концахъ и Началахъ“, что „оно, какъ всѣ прежнія, умно, тонко, красиво — но безъ вывода и примѣненія“ (см. его письмо къ Герцену отъ 4 ноября 1862 г.).

Мы съ своей стороны скажемъ, что все, написанное Герценомъ о судьбахъ „западнаго старика“ и объ отношеніи русскаго народа къ социализму, было умно, тонко, красиво, но очень рѣдко удовлетворяло тѣмъ теоретическимъ требованіямъ, которыя онъ самъ же, — подъ вліяніемъ Гегеля, — предъявлялъ къ социализму и которыя заставили его разочароваться въ утопическихъ системахъ.

Огромный умственный трудъ, затраченный Герценомъ въ его разсужденіяхъ на эти темы, даетъ намъ ясное понятіе о томъ, какъ сильно было въ немъ стремленіе найти для социализма научную основу.

А то обстоятельство, что онъ, при всей силѣ этого стремленія, при всемъ богатствѣ своихъ дарованій и при всей разносторонности своихъ свѣдѣній, все-таки не нашелъ такой основы, объясняется неудовлетворительностью его метода. Разставшись съ идеалистическимъ „романтизмомъ“, онъ вслѣдъ за Фейербахомъ перешелъ къ матеріализму. Но въ этомъ направленіи онъ не пошелъ дальше того матеріализма, который названъ у Маркса естественно-научнымъ матеріализмомъ. Этотъ матеріализмъ отнюдь не исключаетъ идеалистическаго объясненія исторіи, хотя и вноситъ въ него тѣ или другія, обыкновенно ровно ничего не объясняющія, „физиологическія“ соображенія. „Естественно-научный“ матеріализмъ вообще не могъ справиться съ историческимъ идеализмомъ; это мы видимъ, какъ у Герцена съ Чернышевскимъ, такъ и у французскихъ матеріалистовъ XVIII вѣка. Да, наконецъ, и самъ Фейербахъ очень грѣшилъ иде-

ализмомъ въ своихъ историческихъ воззрѣніяхъ. Только Марксу и Энгельсу суждено было выбить идеализмъ изъ его послѣдней позиціи, положивъ главнѣйшія теоретическія основы историческаго матеріализма. Но замѣчательно, что идеи Маркса и Энгельса остались совершенно неизвѣстными нашему автору.

VI.

Между социалистическими писателями Герценъ больше всѣхъ сочувствовалъ Прудону, у котораго, по его словамъ, нѣтъ положительныхъ выводовъ, а есть одна критика. Это очень характерный для Герцена отзывъ. На самомъ дѣлѣ Прудонъ совсѣмъ не чуждъ положительныхъ выводовъ. Его ученіе объ организаціи обмѣна („mutuellisme“) есть нѣчто вполне положительное, хотя и вовсе несостоятельное. Но не это ученіе интересовало Герцена. Ему нравилось въ Прудонѣ его критическое отношеніе къ другимъ социалистическимъ утопіямъ и революціоннымъ догматамъ. Нравилось и то, что Прудонъ не былъ равнодушенъ къ нѣмецкой философіи, вслѣдствіе чего являлся очень рѣдкимъ исключеніемъ между французскими социалистами. Онъ считалъ Прудона прекраснымъ діалектикомъ. Марксъ уже въ „Нищетѣ философіи“ показалъ, какъ плохо владѣлъ Прудонъ діалектическимъ методомъ Гегеля. Къ тому, что сказано въ Марксовой „Нищетѣ философіи“, можно прибавить, что Прудонъ отнесся къ философіи Гегеля, какъ человѣкъ совершенно неспособный оцѣнить находившіеся въ ней зачатки матеріалистическаго объясненія историческихъ явленій. *) Но этого недостатка прудоновскаго міросозерцанія не могъ замѣтить Герценъ, самъ, — какъ мы только что видѣли, — далеко не раздѣлавшійся, вопреки своимъ постояннымъ усиліямъ, съ историческимъ идеализмомъ. **).

Осенью 1849 г. Герценъ далъ Прудону 24 тысячи франковъ на изданіе журнала „La voix du peuple“ (т.-е., собственно, на залогъ для этого журнала, требовавшійся тогда по французскимъ законамъ о печати). Давая деньги, онъ выговорилъ себѣ, „во-первыхъ, право помѣщать статьи, свои и не свои, во-вторыхъ, право завѣдывать всею иностранной частью, рекомендовать редакторовъ для нея, корреспондентовъ и пр.“. Той же осенью въ трехъ №№ этого журнала (за ноябрь и декабрь) появилась, въ видѣ письма къ Гервегу, большая статья Герцена о Россіи, подписанная: „Русскій“. Въ № отъ 15-го марта слѣдующаго года была напечатана тамъ же другая статья его, составившая потомъ восьмую главу книги „Съ того берега“, „Донозо

*) Мы позволимъ себѣ указать на нашу статью „О философіи исторіи Гегеля“, помѣщенную въ нашемъ сборникѣ „За 20 лѣтъ“.

**) Въ 1849 году онъ писалъ Прудону изъ Женевы: „Я знаю одного свободолюбиваго француза, — это вы. Ваши революціонеры — консерваторы. Они христіане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопросъ негации и переворота на высоту науки“.

Кортесъ Маркизь Вальдегамасъ и Юліанъ, Императоръ Римскій“. Герценъ былъ вообще очень доволенъ журналомъ Прудона. „Журналъ пошелъ удивительно,—говоритъ онъ въ главѣ ХLI пятой части „Былого и Думъ“.—Прудонъ изъ своей тюремной кельи мастерски дирижировалъ своимъ оркестромъ“. Все это полезно отмѣтить, потому что всѣмъ этимъ подтверждается справедливость сказаннаго нами объ огромномъ вліяніи Прудона на Герцена. Огаревъ недаромъ назвалъ Герцена прудонистомъ (въ „Письмѣ къ издателю“, напечатанномъ въ 1-мъ листѣ „Колокола“ и подписанномъ „Р. Ч.“). Элементъ прудонизма былъ чрезвычайно силенъ въ воззрѣніяхъ Герцена. И,—хотя это опять можетъ показаться парадоксомъ,—особенно въ его политическихъ воззрѣніяхъ. Какъ же это такъ? А вотъ какъ.

Герценъ писалъ о Прудонѣ: „Политика, въ смыслѣ стараго либерализма и конституціонной республики, стоитъ у него на второмъ планѣ, какъ что-то полупрошедшее, уходящее. Въ политическихъ вопросахъ онъ равнодушенъ, готовъ дѣлать уступки, потому что не приписываетъ особой важности формамъ, которыя, по его мнѣнію, несущественны. Въ подобномъ отношеніи къ религіозному вопросу стоятъ всѣ, оставившіе христіанскую точку зрѣнія. Я могу признавать, что конституціонная религія протестантизма нѣсколько посвободи́е католическаго самодержавія, но принимать къ сердцу вопросъ объ исповѣданіи и церкви не могу“. Эти его слова очень многое объясняютъ въ его собственной политической дѣятельности. Въ цитированномъ нами „Письмѣ къ издателю Колокола“ Огаревъ хвалилъ этого издателя (т.-е. Герцена) за то, что онъ готовъ „ужиться со всякимъ правительствомъ, лишь бы оно стояло на высотѣ экономическихъ измѣненій“. Огаревъ не ошибся: Герценъ въ самомъ дѣлѣ готовъ былъ ужиться со всякимъ правительствомъ. О немъ можно было сказать, какъ онъ сказалъ о Прудонѣ: „онъ не приписываетъ особой важности политическимъ формамъ, которыя, по его мнѣнію, несущественны“. И въ этомъ именно сказалось вліяніе Прудона *). Герценъ видѣлъ въ этомъ равнодушіи къ политическимъ формамъ доказательство зрѣлости своей политической мысли: онъ свысока смотрѣлъ на политическіе вопросы, подобно тому,—мы употребляемъ его же сравненіе,—какъ невѣрующій человѣкъ свысока смотритъ на споры „объ исповѣданіи и церкви“. На самомъ же дѣлѣ тутъ была ошибка: политическія формы имѣютъ гораздо больше значенія, чѣмъ это думали Огаревъ и Герценъ вслѣдъ за Прудономъ. Но въ началѣ изданія „Колокола“ сама эта ошибка была очень полезна этому изданію. Въ августѣ 1857 г. К. Д. Кавелинъ, еще не знавшій о томъ, что въ Лондонѣ началъ выходить съ 1-го іюля того же года „Колоколъ“, писалъ Герцену, доказывая ему необходимость заграничнаго органа. „Но органъ долженъ быть непременно умѣренный,—прибавлялъ онъ,—который черезъ это получилъ бы возможность входить

*) Уже въ его книгѣ „Съ того берега“ весьма замѣтно это вліяніе.

во всѣ интересы, служить органомъ для всѣхъ мнѣній. Политическій вопросъ мало занимаетъ наше общество, какъ это ни покажется тебѣ страннымъ. Но административные, социальныя, церковныя—очень много. Въ управленіи хаосъ, нелѣпость, бессмыслица достигли до Геркулесовыхъ столбовъ, а хлестать ихъ примѣрами негдѣ“. Русская читающая публика мало интересовалась „политическимъ вопросомъ“, потому что была еще недостаточно развита для этого. Для Герцена тотъ же вопросъ имѣлъ второстепенное значеніе потому, что былъ заслоненъ „экономическимъ“ вопросомъ. Разныя причины привели къ одинаковымъ слѣдствіямъ. „Колоколъ“ обратился именно къ вопросамъ „административнымъ и социальнымъ“. Въ „Письмѣ къ императору Александру II“ („Колоколъ“, 1 октября 1857 г.) Герценъ предлагалъ молодому государю взять на себя рѣшеніе той социальной задачи, съ которой не могла справиться Западная Европа. „На своей больничной койкѣ,—говоритъ онъ,—Европа, какъ бы исповѣдуясь или завѣщая послѣднюю тайну, скорбно и поздно пріобрѣтенную, указываетъ, какъ единый путь спасенія, именно на тѣ элементы, которые глубоко и сильно лежатъ въ народномъ характерѣ, и притомъ не одной петровской, а всей русской Россіи. Поэтому мы думаемъ, что у насъ развитіе пойдетъ инымъ путемъ“... При такой постановкѣ социального вопроса „политика“, дѣйствительно, должна была отходить на самый задній планъ. Девять мѣсяцевъ спустя (въ № отъ 1 іюля 1858 г.) Герценъ утверждаетъ, что „Александръ II не оправдалъ надеждъ, возлагавшихся на него Россіей при его воцареніи“. Несмотря на это, онъ говоритъ въ той же статьѣ: „Намъ дѣла нѣтъ до формъ правленія, мы всѣ ихъ видимъ на дѣлѣ и видимъ, что всѣ онѣ никуда не годятся, если онѣ реакціонны, и всѣ хороши, если онѣ совершенны и прогрессивны“. И съ этимъ былъ совершенно согласенъ Огаревъ, который писалъ Герцену (въ цитированномъ выше „Письмѣ къ издателю“): „Дѣло не въ перемѣнѣ правительства, а въ перемѣнѣ, которая улучшила бы положеніе людей. Вотъ въ чемъ вашъ такъ называемый социализмъ, съ которымъ всякое разумное правительство, которое не хочетъ погибнуть, должно быть заодно“. Впослѣдствіи такое отношеніе къ „политикѣ“ было не только усвоено русскими революціонерами, раздѣлявшими народническіе,—какъ стали выражаться тогда,—взгляды Герцена на „соціальный вопросъ“ въ Россіи, но и возведено въ степень. Народники считали измѣной социализму всякій интересъ къ „политикѣ“. И поскольку Герценъ способствовалъ распространенію въ нашей передовой молодежи такого отношенія къ политикѣ, онъ толкалъ ее на ошибочный путь. Правда, въ этомъ отношеніи несравненно больше его сдѣлалъ Бакунинъ, выступившій у насъ первымъ вліятельнымъ проповѣдникомъ прудоновскаго „анархизма“. Правда и то, что уже въ эпоху изданія „Колокола“ наша революціонная молодежь, пренебрегая „политикой“, не одобряла политическаго направленія Герцена. Дѣло въ томъ, что его частыя письма къ коронованнымъ

лицамъ и его безпрестанныя попытки обратить русское правительство на путь истины казались ей непослѣдовательностью, вреднымъ „политиканствомъ“.

Но какъ бы тамъ ни было, критика началась,—съ разныхъ сторонъ,—въ послѣдствіи, а въ первое пятилѣтіе своего существованія „Колоколъ“ имѣлъ поистинѣ колоссальный, небывалый у насъ ни прежде ни послѣ, успѣхъ. Это признавали и враги, и друзья, и полудрузья-полувраги, вродѣ покойнаго Чичерина, который писалъ Герцену въ извѣстномъ своемъ письмѣ: „Положеніе ваше исключительное, можно сказать, почти единственное въ мірѣ... Въ вашемъ положеніи все, что вы говорите, имѣетъ значеніе; вы — сила, вы — власть въ государствѣ“ (см. „Колоколъ“, № 29 отъ 1-го декабря 1858 г.). Тургеневъ говоритъ въ своемъ письмѣ къ нему же изъ Рима отъ 7 января 1858 г.: „Боткинъ, съ которымъ я вижусь каждый день, совершенно симпатизируетъ твоей дѣятельности и велитъ тебѣ сказать, что, по его мнѣнію, ты и твои изданія составляютъ эпоху въ жизни Россіи“. И это была правда. Въ томъ же письмѣ Тургеневъ сообщаетъ фактъ, показывающій, какъ велико было въ самомъ дѣлѣ тогдашнее вліяніе „Колокола“: „Актёровъ въ Москвѣ вздумали прижать, отнять у нихъ ихъ собственныя деньги; они рѣшились отправить отъ себя депутатомъ старика Щепкина искать правды отъ Гедеонова (молока отъ козла). Тотъ, разумѣется, и слышать не хочетъ; „тогда,—говоритъ Щ.,—придется пожаловаться министру“.—Не смѣете!—„Въ такомъ случаѣ,—возразилъ Щ.,—остается пожаловаться „Колоколу“.—Гедеоновъ вспыхнулъ и кончилъ тѣмъ, что деньги возвратилъ актёрамъ. Вотъ братъ, какія штуки выкидываетъ твой „Колоколъ“.

Славянофилъ Ю. Самаринъ писалъ Герцену въ томъ же году отъ 9-го мая: „Дѣло, вами начатое, займетъ не послѣднее мѣсто въ исторіи русскаго просвѣщенія. „Колоколъ“ — это теперь единственный голосъ, къ которому прислушивается правительство; оно справляется съ нимъ, какъ порядочный человѣкъ справляется со своей совѣстью. „Колоколъ“ замѣняетъ для правительства совѣсть, которой по штату не полагается, и общественное мнѣніе, которымъ пренебрегаютъ. Вы теперь по своему положенію пользуетесь монополіей свободнаго слова“ (см. женевское „Вольное Слово“, 1881 г., № 59).

Приведемъ, наконецъ, отрывокъ изъ письма Кавелина къ Герцену отъ 21 августа 1859 г.: „Я не могу любить тебя какъ совершенно равнаго, потому что преклоняюсь передъ тобой и вижу въ тебѣ великаго человѣка. Если это утѣшеніе въ страданіяхъ, то ты можешь этимъ утѣшаться. Время ложнаго стыда должно пройти, какъ всего ложнаго. Пора называть вещи ихъ именами. Не я одинъ такъ смотрю на тебя, а многіе; можетъ быть изъ близкихъ тебѣ я одинъ рѣшаюсь это высказать. Тебѣ лавровый вѣнокъ, представителю русской мысли, свободной, чающей свое величіе и свою неизмѣримую будущность“.

Въ этотъ періодъ колоссальнаго успѣха „Колокола“ Герцену, какъ это само собою разумѣется, не было отбоя отъ соотечественниковъ. „Ни страшная даль, въ которой я жилъ отъ Вестъ-Энда,—вспоминалъ онъ потомъ,—ни постоянно запертыя двери по утрамъ, ничего не помогало. Мы были въ модѣ. Кого и кого мы не видали тогда! Какъ многіе дорого заплатили бы теперь, чтобы стереть изъ памяти если не своей, то людской, свой визитъ... Но тогда, повторяю, мы были въ модѣ, и въ какомъ-то гидѣ туристовъ я былъ отмѣченъ въ числѣ достопримѣчательностей Путнея“. Число посѣтителей еще болѣе возросло въ 1862 г., когда на всемірную лондонскую выставку стали пріѣзжать, по словамъ Герцена, купцы и туристы, журналисты и чиновники всѣхъ вообще отдѣленій, и третьяго въ особенности.

Такъ было, опять по свидѣтельству самого Герцена, отъ 1857 *) до 1863 года. Потомъ начался быстрый и сильный отливъ, подъ вліяніемъ котораго на Герцена стали клеветать едва ли не съ такимъ же увлеченіемъ, съ какимъ прежде ему рукоплескали.

VII.

Быстрый и сильный упадокъ вліянія Герцена послѣ 1863 г. обыкновенно объясняется отношеніемъ его къ польскому возстанію, которому не сочувствовало огромнѣйшее большинство русскаго общества. Но это не совсѣмъ такъ. Отношеніе Герцена къ польскому возстанію, несомнѣнно, сыграло тутъ большую роль. Имъ объясняется многое; но далеко не все. Какъ замѣтилъ М. П. Драгомановъ, начало разногласія съ Герценомъ извѣстной части русскаго общества относится еще къ 1859 г. **) Съ тѣхъ поръ оно все болѣе и болѣе усиливалось. Программа, выставленная Герценомъ въ первыхъ №№ его „Колокола“, сводилась къ тремъ пунктамъ: „Освобожденіе слова отъ цензуры, крестьянъ отъ помѣщиковъ, податного состоянія отъ побоевъ“. Такая программа нравилась своей умѣренностью, и ей сочувствовали всѣ тѣ, которые, не будучи заинтересованы въ сохраненіи николаевскаго режима, понимали, что безъ „освобожденія крестьянъ отъ помѣщиковъ“ нельзя сдѣлать ни шагу въ дѣлѣ преобразованія внутренней жизни Россіи. Но Герценъ требовалъ не только освобожденія крестьянъ отъ помѣщиковъ, онъ настоятельно требовалъ освобожденія ихъ съ землею, и притомъ со всей той землею,

*) Первый № „Колокола“ вышелъ въ Лондонѣ 1 іюля 1857 г.

**) А пожалуй, даже и къ болѣе раннему времени. А. Никитенко записъ въ свой „Дневникъ“ уже 30-го октября 1858 года: „Говорятъ, Герценъ, въ 25-мъ номерѣ „Колокола“ разражается ругательствами на разныхъ лицъ, не исключая и очень высокопоставленныхъ. Право же, это не умно. Герценъ... могъ бы быть очень полезенъ. Теперь же, благодаря его излишествахъ, къ нему начинаютъ быть равнодушными тѣ, которые его боялись“ и т. д. Никитенко говоритъ, что Герценъ „можетъ мало-по-малу совсѣмъ утратить свое вліяніе въ Россіи“, стр. 531, т. I, „Записки и дневникъ“, т. I, стр. 531.

которой они пользовались при крѣпостномъ правѣ. Этой программы не могли одобрить тѣ изъ помѣщиковъ, которые настаивали на знаменитыхъ въ послѣдствіи „отрѣзкахъ“. Далѣе. Каждый разъ, когда до свѣдѣнія Герцена и Огарева доходила какая-нибудь попытка помѣщиковъ обезпечить свои интересы на счетъ освобождаемыхъ крестьянъ, „Колоколь“ энергично ополчался противъ плантаторскихъ поползновеній. Само собою понятно, что и это обстоятельство не могло увеличивать популярность его издателей вообще и Герцена въ частности.

Этого мало. Герценъ, который подъ вліяніемъ Прудона не придавалъ значенія политическимъ формамъ, скоро самъ долженъ былъ увидѣть, что онѣ имѣютъ большое значеніе. Онъ пишетъ теперь, что правительство идетъ противъ народа („Колоколь“ № 111, ноябрь 1861 г.) и рѣзко бичуетъ „блуждающую, безпутную правительственную мысль“ (тамъ же, 22 ноября того же года). Съ своей стороны Огаревъ (въ № 108, отъ 1-го октября 1861 г.) утверждалъ въ своемъ „Отвѣтѣ на отвѣтъ Великоруссу“, что революціонная молодежь должна на первый планъ ставить „вредъ царской власти“. Это, какъ видите, очень далеко отъ той мысли, что политическія формы не имѣютъ никакого значенія. „Радикализмъ“ Герцена начинаетъ отпугивать отъ его изданія даже самыхъ горячихъ его друзей. Въ письмѣ къ нему изъ Парижа отъ 30 мая/11 іюня 1862 г. Кавелинъ пишетъ: „Когда ты обличалъ у насъ все съ неслыханной и невиданной смѣлостью, когда ты бросалъ въ геніальныхъ своихъ статьяхъ и памфлетахъ мысли, которыя забѣгали на вѣка впередъ, а для текущаго дня ставилъ требованія самыя умѣренныя, самыя ближайшія, стоявшія на очереди, ты мнѣ представлялся тѣмъ великимъ человѣкомъ, которымъ должна начаться новая русская исторія... Послѣ ты нѣсколько уклонился отъ этой программы. Тебя взяло нетерпѣніе и досада. Изъ мыслителя, обличителя ты сталъ политическимъ агитаторомъ, главою партіи, которая во что бы то ни стало хочетъ теперь же, сію минуту водворить у насъ новый порядокъ дѣлъ, и если нельзя мирными средствами, такъ переворотомъ. Я считаю это ошибкой. Мнѣ больше по сердцу прежняя твоя дѣятельность“.

Другіе корреспонденты Герцена выражались еще опредѣленнѣе. Въ № 135 своего изданія онъ (въ статьѣ: „Москва намъ не сочувствуетъ“) привелъ слѣдующія строки изъ письма, полученнаго имъ изъ Москвы: „Москва рѣшительно не за васъ, скорѣе Петербургъ. Тверь... Москва вамъ не сочувствуетъ*), напротивъ. Мы всѣ здѣсь, къ какой бы партіи ни принадлежали, люди историческіе*), и радикализма мы переварить не можемъ. Не думайте, чтобы я говорилъ про одинъ какой-либо кружокъ. Нѣтъ; я говорю о всѣхъ, исключая, разумѣется, небольшой части молодежи. У насъ уважаютъ искренность вашихъ убѣжденій, пользу отъ большей части сообщае-

*) Подчеркнуто въ подлинникѣ.

мыхъ вами извѣстій, и объ васъ говорятъ не иначе, какъ съ любовью, но на этомъ и останавливается сочувствіе“.

Москвичъ Герценъ съ веселой шутливостью восклицалъ по поводу этого письма: „Прости, Москва, пріютъ родимый!“ Но ему приходилось прощаться не съ одной Москвою.

Наконецъ, не надо забывать и своеобразный социализмъ Герцена. Въ его глазахъ освобожденіе крестьянъ съ землею было лишь первой изъ тѣхъ социальныхъ реформъ, которыя должны были дать Россіи возможность миновать путь западно-европейскаго развитія. Въ этомъ смыслѣ онъ высказывался съ самаго основанія „Колокола“ и, какъ это совершенно понятно, еще чаще сталъ высказываться послѣ 19-го февраля 1861 г. Очень характерно, что къ прежнему девизу „Колокола“: *Vivos voco!* прибавленъ былъ имъ съ № 197 *) (1865 г., апрѣль) новый девизъ: Земля и Воля! Но о землѣ и волѣ рѣчь не разъ шла уже и въ лондонскомъ „Колоколѣ“. Естественно, что это нравилось только тѣмъ изъ читателей Герцена, которые раздѣляли его социалистическіе взгляды. А такіе были въ меньшинствѣ. Въ декабрѣ 1862 г. Тургеневъ писалъ ему, что его газета „гораздо менѣе читается съ тѣхъ поръ, какъ въ ней сталъ первенствовать Огаревъ **); эта фраза стала въ Россіи тѣмъ, что въ Англии называется а truism. И это понятно: публикѣ, читающей въ Россіи „Колоколъ“, не до социализма: она нуждается въ той критикѣ, въ той чисто политической агитаціи, отъ которой ты отступилъ, самъ надломивъ свой мечъ. „Колоколъ“, напечатавшій безъ протеста $\frac{1}{2}$ манифеста Бакунина ***) и социалистическія статьи Огарева,—уже не герценовскій, не прежній „Колоколъ“, какъ его понимала и любила Россія“. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о произведеніяхъ Бакунина, съ которымъ Герценъ не сходилъ во многомъ, мы замѣтимъ, что онъ не могъ не печатать социалистическихъ статей Огарева, такъ какъ онѣ развивали его собственную программу.

Достаточно сказать, что Катковъ уже въ іюнѣ 1862 г. счелъ возможнымъ напечатать въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ свою извѣстную „Замѣтку“ для издателя Колокола“. Онъ не рѣшился бы сдѣлать это, если бы не видѣлъ, что популярность Герцена быстро падала.

И однако неоспоримо, что польское возстаніе, разбудивши шовинизмъ русскаго общества, очень приблизило время окончательнаго разрыва Герцена съ огромнѣйшимъ большинствомъ его читателей. Теперь уже доказано, что Герценъ и Огаревъ не желали возстанія въ Польшѣ; но когда оно все-таки началось, они открыто

*) Этотъ № появился уже въ Женевѣ, куда изданіе „Колокола“ перенесено было изъ Лондона.

**) Подчеркнуто у Тургенева. Статьи, излагавшія социалистическую программу „Колокола“, писались тогда по большей части Огаревымъ.

***) Рѣчь идетъ о началѣ манифеста Бакунина „Русскимъ, польскимъ и всѣмъ славянскимъ друзьямъ“, напечатанномъ въ № 122—123 „Колокола“. Продолженіе манифеста не появилось.

высказали свое сочувствіе полякамъ, какъ народу, отстаивающему свою національную независимость. Тогда на нихъ обрушились съ самыми изумительными клеветами. Ихъ называли измѣнниками, ихъ упрекали въ томъ, что они принадлежать къ обществу зажигателей и поддѣльвателей русскихъ кредитныхъ билетовъ. Герценъ думалъ, что „порядочные люди“ этому не повѣрятъ (см. его замѣтку: „Общество поджигателей“ въ № 237 „Колокола“). На самомъ дѣлѣ „порядочные люди“ тоже обнаружили въ этомъ случаѣ очень много непростительнаго легковѣрія. Такъ, И. С. Аксаковъ, напечатавъ въ своей газетѣ „Москва“ (1867 г., № 58) „Открытое письмо“, въ которомъ Герценъ протестовалъ противъ взводимыхъ на него клеветъ, съ своей стороны замѣчалъ, что если издатель „Колокола“ и не принадлежалъ къ обществу поджигателей, то все-таки онъ былъ солидаренъ съ поляками. „Слѣдовательно,—заключалъ И. С. Аксаковъ,—вопросъ только въ томъ, однимъ ли мечомъ или также и огнемъ производился тотъ ущербъ Россіи, въ нанесеніи котораго г. Герценъ принималъ если не непосредственное, то косвенное и нравственное участіе. Пусть же въ этомъ покается передъ Россією г. Герценъ. Не можетъ же онъ не понимать, что для покаянія въ его прегрѣшеніяхъ передъ Россіей нѣтъ компромиссовъ“. По этому поводу Герценъ напечаталъ въ № 240 „Колокола“ (отъ 1-го мая 1867 года) свой „Отвѣтъ И. С. Аксакову“, въ которомъ доказывалъ, что ему каяться не въ чемъ, и еще разъ опровергалъ выдвинутыя противъ него нелѣпыя клеветы. „Нѣтъ, Иванъ Сергѣевичъ,—гордо писалъ онъ,—не блудными дѣтьми Россіи, не посѣдѣвшими Магдалинами съ понурой головой воротимся мы, если воротимся, а свободными людьми, требующими не оправданья, не прощенья, а признанья дѣла всей ихъ жизни... Не при жизни, такъ на нашей могилѣ настанетъ день не нашего раскаянья, а раскаянья передъ нашими тѣнями за оскорбленную въ насъ любовь къ Россіи!“

Какъ бы тамъ ни было, изданіе „Колокола“ мало-по-малу окончательно утратило свой смыслъ. Въ его № 244—245 (отъ 1-го іюня 1867 г.) напечатано было заявленіе о его пріостановкѣ на полгода. Издатели говорили, что слѣдующій листъ „Колокола“ выйдетъ 1-го января 1868 г., и что этотъ органъ, какъ и раньше, будетъ „прежде всего органомъ русскаго соціализма и его развитія *), соціализма аграрнаго и артельного, сельскаго и городского, государственнаго и областного“.

„Колоколъ“ въ самомъ дѣлѣ былъ возобновленъ въ январѣ 1868 г., но теперь же не на русскомъ, а на французскомъ языкѣ. Вынужденный прекратить свою русскую пропаганду, Герценъ возвращался къ тому дѣлу, которымъ онъ такъ усердно занимался до ея начала: къ дѣлу ознакомленія Западной Европы съ Россіей. Въ статьѣ „Prolegomènes **“) онъ писалъ: „Единственные русскіе публицисты на

*) Подчеркнуто въ подлинникѣ.

**) Напечатанной въ первыхъ №№ этого изданія.

Западѣ, мы не хотимъ взять на себя отвѣтственность за молчаніе“. Далѣе онъ повторялъ свой взглядъ на особенности русскаго соціального развитія и на великіе задатки, таящіеся въ русской общинѣ. Наконецъ, онъ доказывалъ необходимость созванія „Великаго Собора“ (Grand Conseil), который будетъ нашимъ первымъ учредительнымъ собраніемъ и позволить Россіи безъ потрясеній (sans secousses) выйти изъ петербургскаго періода.

Но французскій „Колоколь“ имѣлъ очень мало успѣха. Въ его 14—15 № (отъ 1-го декабря 1868 г.) помѣщено было письмо Герцена и Огарева объ его прекращеніи. Тургеневъ (въ письмѣ отъ 11 марта 1869 г.) назвалъ это письмо герценовскими „Adieux de Fontainebleau“.

Въ томъ же письмѣ Тургеневъ говорилъ: „Особенно мнѣ было досадно, что ты могъ вообразить, будто французамъ нужно знать правду о чемъ бы то ни было, не говоря уже о Россіи!“

Герценъ могъ бы отвѣтить на это, что по-французски читаютъ не одни французы и что, кромѣ того, не всѣ же французы лишены всякаго интереса къ Россіи, нѣкоторые изъ нихъ,—напримѣръ, Кинэ и Мишлэ,—очень сожалѣли о прекращеніи французскаго „Колокола“. Но Герценъ и самъ былъ неудовлетворенъ отношеніемъ къ нему западно-европейскихъ читателей. Онъ находилъ, что его мысли объ отношеніи Россіи къ „старому міру“ были очень плохо поняты ими. И это въ самомъ дѣлѣ было такъ. Международная демократія Запада очень плохо представляла себѣ ту роль, которую Герценъ отводилъ Россіи въ будущей исторіи практическаго осуществленія соціализма. Многочисленныя сочиненія, посвященныя имъ этому вопросу *), имѣли только то значеніе, что убѣждали западныхъ демократовъ въ существованіи мыслящихъ русскихъ людей, враждебныхъ деспотизму и сочувствующихъ европейской революціи. Это было тогда совершенно новымъ и очень пріятнымъ для демократіи явленіемъ. И она готова была рукоплескать Герцену, обаятельная личность котораго производила къ тому же весьма сильное впечатлѣніе на всѣхъ тѣхъ, кому приходилось съ нимъ сближаться **).

*) Осенью 1849 г. появилась, какъ сказано выше, въ трехъ №№ органа Прудона „La voix du peuple“ обширная статья Герцена о Россіи. Въ 1850 г. эта статья вышла по-нѣмецки въ приложеніи къ книгѣ „Vom andern Ufer“ („Съ того берега“). Въ томъ же году вышли по-нѣмецки „Письма изъ Франціи и Италіи“. Въ 1851 г. появилось въ „Deutsche Jahrbücher“ сочиненіе Герцена „О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи“. Въ томъ же году это сочиненіе вышло по-французски. Тогда же вышла брошюра „Le peuple russe et le socialisme“ („Письмо къ Мишлэ“). Въ 1854 г. опубликованы „Letters to W. Linton, Esq.“; по-нѣмецки вышло въ томъ же году подъ названіемъ „Russlands sociale Zustände“; по-русск. переведено въ 58 г. подъ заглавіемъ „Старый Міръ и Россія“. Къ 1857 г. относится въ № 18 „Italia del Popolo“ „Письмо къ Мадзини“; къ 1858 г.—„La France ou l' Angleterre“; къ 1859 г.—„La conspiration russe de 1825“ (вышло также по-нѣмецки); къ 1864 г.—„Nouvelle phase de la littérature russe“. О французскомъ „Колоколѣ“ мы только что говорили.

**) А онъ былъ знакомъ почти со всѣми корифеями международной демократіи. Онъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ французами: Прудономъ, Пьеромъ Леру, Мишлэ,

Намъ кажется, что самое вѣрное понятіе о томъ, какое впечатлѣніе получали отъ пропаганды Герцена западные демократы, даютъ тосты, предложенные Мадзини и Гарибальди на международномъ обѣдѣ въ Лондонѣ у Герцена 17 апрѣля 1864 г. Гарибальди сказалъ, что онъ пьетъ за ту юную Россію, которая страдаетъ и борется; за ту новую Россію, которая, справившись со старой Россіей, будетъ играть огромную роль въ судьбахъ міра. Мадзини предложилъ выпить за тѣхъ русскихъ, которые подъ знаменемъ „земли и воли“ подаютъ братскую руку Польшѣ и трудятся надъ прогрессивнымъ развитіемъ своей страны. Въ глазахъ всей европейской демократіи Герценъ былъ именно чрезвычайно даровитымъ и блестящимъ представителемъ этой юной Россіи. Онъ первый убѣдилъ ее въ существованіи этой Россіи и научилъ относиться къ ней съ сочувствіемъ и уваженіемъ. И въ этомъ состоитъ, безспорно, одна изъ самыхъ большихъ его заслугъ: нужно помнить, что до него европейская демократія видѣла въ Россіи варварскую націю рабовъ, способную лишь на то, чтобы играть роль международного жандарма. Но что касается собственно „русскаго социализма“ то можно съ увѣренностью сказать, что западные демократы не поняли въ немъ ровно ничего. Тѣ изъ нихъ, которые иногда утверждали противное, дѣлали это просто изъ учтивости или потому, что сами ничего не понимали,—подобно Мишлэ или Гюго,—въ вопросахъ этого рода. Болѣе того: этотъ „социализмъ“ долженъ былъ непріятно удивлять тѣхъ изъ нихъ, которые доработались до ясныхъ социалистическихъ понятій. Таковъ былъ Марксъ, очень насмѣшливо отозвавшійся объ этомъ социализмѣ въ 1-мъ изданіи I тома „Капитала“. Но, повторяемъ, дѣло было не въ пропагандѣ „русскаго социализма“, а въ томъ, что, благодаря Герцену, Европа узнала о существованіи „юной“, свободомыслящей Россіи.

По прекращеніи „Колокола“ Герценъ издалъ еще одну (8-ую) книжку „Полярной Звѣзды“ *), въ которой помѣщены его статьи: Aphorismata по поводу психіатрической теоріи д-ра Крупова. Сочиненіе прозектора и адъюнкта-профессора Тита Левіаѳанскаго и „Еще разъ Базаровъ“. Въ 1868—69 гг. его статейка „Скуки ради“ (за подписью I. Нюонскій) напечатана была въ „Недѣлѣ“ (1868 г., № 48;

Ледрю-Роллэномъ Викторомъ Гюго; съ нѣмцами: Карломъ Шурцемъ, Карломъ Фохтомъ, Фридрихомъ Каппомъ, Арнольдомъ Ругэ и др.; съ поляками: Ворцелемъ, А. Бернацкимъ и т. д.; съ итальянцами: Гарибальди, Мадзини, Сафи, Медичи, Пизакане и проч.; съ швейцарцемъ Фази; съ венгерцемъ Кошутомъ, и пр. и пр. Только съ Марксомъ и его кружкомъ (съ „марксистами“, по его выраженію) у него, какъ нарочно, были дурныя отношенія. Это произошло вслѣдствіе цѣлаго ряда печальнѣйшихъ недоразумѣній. Точно какая-то злая судьба препятствовала сближенію съ основателемъ научнаго социализма того русскаго публициста, который самъ всѣми своими силами стремился поставить социализмъ на научную основу.

*) Первая книга „Полярной Звѣзды“ вышла 20 іюля/1 августа 1855 г. съ девизомъ: „Да здравствуетъ разумъ!“ Слѣдующія книги вышли въ 1856, 57, 58, 59, 61, 62 и, какъ сказано, 69 гг. Такимъ образомъ, это изданіе было ежегодникомъ. Названіе свое оно получило въ память „Полярной Звѣзды“ Рылѣва и Бестужева.

1869 г., № 10). Въ 1869 г. въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ (№ 71) напечатаны были его письма въ редакцію по поводу слуховъ объ его мнимомъ возвращеніи въ Россію.

Послѣдніе годы жизни Герцена значительно отравлены были его раздорами съ тогдашней „молодой эмиграціей“ изъ Россіи. Памятникомъ этихъ раздоровъ (если не считать нѣкоторыхъ беззубыхъ выходокъ противъ него М. Элпидина) осталась брошюра А. Серно-Соловьевича „Наши домашнія дѣла“. Герценъ разсказалъ печальную повѣсть этихъ раздоровъ въ статьѣ „Общій фондъ“, вошедшей въ сборникъ его посмертныхъ сочиненій. Мы не будемъ останавливаться на этомъ. Скажемъ одно: „молодое поколѣніе“ эмигрантовъ *) не могло не разойтись съ Герценомъ въ виду того, что онъ очень скептически относился тогда къ революціонному способу дѣйствій, къ которому рѣшительно склонялась наша революціонная молодежь. Но когда эта молодежь третировала Герцена, какъ пережившаго самого себя старика, она не вѣдала, „что творила“: социалистическія идеи Герцена,—тѣ самыя идеи, которыя, какъ сказано, не производили никакого впечатлѣнія на Западѣ,—легли въ основу русскаго народничества, сложившагося въ половинѣ 70-хъ годовъ въ довольно стройную систему и господствовавшего въ средѣ нашей интеллигенціи вплоть до появленія марксизма.

Герценъ скончался въ Парижѣ 9/21 января 1870 г. На время тѣло его было погребено на кладбищѣ „Père Lachaise“, а потомъ перевезено въ Ниццу, гдѣ на его могилѣ поставлена прекрасная бронзовая статуя работы художника Забѣллы. Извѣстно посвященное этому памятнику стихотвореніе Надсона.

Герценъ былъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей, выдвинутыхъ замѣчательной эпохой 40-хъ годовъ. Онъ уступалъ Бѣлинскому по логической силѣ ума, но превосходилъ его разносторонностью знаній и яркостью литературнаго изложенія. Какъ политическій публицистъ, онъ до сихъ поръ не имѣетъ у насъ себѣ равнаго. Въ исторіи русской общественной мысли онъ всегда будетъ занимать одно изъ самыхъ первыхъ мѣстъ. И не только русской: когда будетъ, наконецъ, написана критическая исторія международной социалистической мысли, Герценъ явится въ ней какъ одинъ изъ наиболѣе вдумчивыхъ и блестящихъ представителей той переходной эпохи, когда социализмъ стремился сдѣлаться „изъ утопіи наукой“.

*) Взаимная борьба „поколѣній“ въ революціонномъ движеніи есть вѣрный признакъ того, что движеніе это вышло изъ среды идеологовъ, чуждыхъ классовой точки зрѣнія.

Н. Г. Чернышевскій *).

Г. В. Плеханова.

Николай Гаврилович Чернышевскій родился 12 іюня 1828 г. въ Саратовѣ, гдѣ отецъ его былъ священникомъ; учился онъ сначала въ тамошней семинаріи, куда поступилъ, благодаря хорошей домашней подготовкѣ, прямо въ классъ риторики въ сентябрѣ 1844 г. Уже въ бытность свою въ семинаріи онъ обнаружилъ блестящія способности, такъ что начальство начало смотрѣть на него, какъ на будущую славу духовенства. Но уже въ концѣ декабря 1845 г. онъ подалъ прошеніе объ увольненіи его изъ семинаріи, а въ августѣ слѣдующаго года былъ зачисленъ въ студенты петербургскаго университета. По окончаніи университетскаго курса въ 1850 г. онъ вернулся въ Саратовъ, гдѣ получилъ мѣсто старшаго учителя въ гимназіи. Въ Саратовѣ онъ познакомился съ дочерью мѣстнаго врача Ольгой Сократовной Васильевой и женился на ней 29-го апрѣля 1853 г. Вскорѣ послѣ женитьбы ему пришлось опять переѣхать въ Петербургъ. Тамъ онъ сначала продолжалъ свою преподавательскую дѣятельность во второмъ кадетскомъ корпусѣ, а послѣ всецѣло перешелъ къ литературному труду. Писалъ онъ сперва (въ 1853 г.) въ „Отечественныхъ Запискахъ“, потомъ (съ 1854 г.) также и въ „Современникъ“. Въ 1855 г. онъ сталъ писать исключительно для этого послѣдняго журнала. Мы знаемъ только два отступленія отъ этого общаго правила: въ 1858 г. появилась въ „Атеней“ (кн. 3) его статья „Русскій человѣкъ на rendez-vous“, и въ томъ же году онъ въ теченіе нѣкотораго времени редактировалъ „Военный Сборникъ“. Въ первый годъ своего пребыванія въ Петербургѣ онъ, какъ видно, много работалъ также надъ своей магистерской диссертацией „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“. Разсмотрѣніе этой диссертации затянулось, однако, до 1855 г. и, насколько намъ извѣстно, кончилось неблагопріятно для молодого ученаго. Направленіе его мыслей не понравилось властямъ, и онъ не получилъ званія магистра. Но это же направленіе сблизило его съ редакціей „Современника“, предоставившей ему широкую свободу дѣйствій, такъ что вскорѣ журналъ этотъ перешелъ въ полное его распоряженіе. Всѣмъ извѣстно, какое огромное значеніе приобрѣлъ вскорѣ „Современникъ“, благодаря Чернышевскому и привлеченному имъ Добролюбову. Именно это значеніе и оказалось роковымъ для нашего автора. Его стали считать опаснымъ „коноводитомъ“ революціонеровъ, и отъ него рѣ-

*) Эта статья составлена на основаніи печатаемаго въ настоящее время нашего изслѣдованія „Н. Г. Чернышевскій“.

Николай Гаврилович Чернышевскій.
Съ фотографіи конца 80-хъ гг.
(Изъ „Зала 40-хъ гг.“ въ Румянцевскомъ музеѣ.)

(Нар. "Звезда" 40-х гг. в Румянцевском музее).
Ср. фотография в кн. 80-х гг.
Николай Гаврилович Чернышевский.



Н. Тереховский

шили избавиться во что бы то ни стало. Арестованный 7-го іюля 1862 г., онъ былъ посаженъ въ Петропавловскую крѣпость и приговоренъ къ ссылкѣ на 14 лѣтъ въ каторжныя работы. Императоръ Александръ II сократилъ срокъ каторжныхъ работъ наполовину. Дѣло Чернышевскаго очень подробно изложено г. М. Лемке въ мартовской, апрѣльской и майской книжкахъ журнала „Былое“ за 1906 годъ *). Къ этой, во всѣхъ отношеніяхъ добросовѣстной, работѣ г. М. Лемке мы и отсылаемъ читателя.

Въ концѣ 1864 года нашъ знаменитый писатель уже прибылъ въ Кадаю, въ Забайкальи, куда разрѣшено было пріѣхать для трехдневнаго свиданія съ нимъ его супругѣ съ малолѣтнимъ сыномъ Михаиломъ. Черезъ три года его перевели на Александровскій заводъ Нерчинскаго округа, а по окончаніи срока каторги онъ былъ поселенъ въ Вилуйскѣ. Въ Россію ему позволили вернуться лишь въ 1883 г., назначивъ мѣстомъ его пребыванія Астрахань. Въ іюнѣ 1889 г. онъ получилъ разрѣшеніе поселиться въ родномъ Саратовѣ, гдѣ и скончался въ ночь съ 16 на 17 октября того же года. Между многочисленными вѣнками, возложенными на его могилу, особенно выдѣлялись, говорятъ, два соединенныхъ вмѣстѣ вѣнка отъ русскихъ и польскихъ студентовъ варшавскихъ университета и ветеринарнаго института.

Привычка къ труду не оставила нашего автора ни въ крѣпости, ни въ Сибири. Въ крѣпости имъ написанъ, между прочимъ, знаменитый романъ „Что дѣлать?“ Изъ того, что онъ написалъ въ Сибири, уцѣлѣло не все; но то, что уцѣлѣло, составляетъ большой томъ въ 757 страницъ **).

Этотъ томъ наполненъ преимущественно беллетристикой; тамъ есть даже стихи, напримѣръ, „Гимнъ дѣвѣ неба“, появившійся первоначально въ „Русской Мысли“ (1885 г., № 7). Чтобы не возвращаться къ этимъ произведеніямъ Чернышевскаго, скажемъ о нихъ сейчасъ же вотъ что. Самъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ А. Н. Пыпину говоритъ о себѣ, на основаніи этихъ сочиненій, что беллетристическій талантъ у него „положительно есть. Вѣроятно, сильный“. Выражаясь такъ, онъ, разумѣется, подшучивалъ надъ собой, по своему обычаю. Но несомнѣнно и то, что онъ не сталъ бы тратить свое время на беллетристику, если бы не думалъ, что у него въ самомъ дѣлѣ есть нѣкоторое художественное дарованіе. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что онъ издавна готовился быть беллетристомъ. Это тоже было бы невозможно безъ нѣкоторой увѣренности въ своемъ талантѣ. Однако надо признать, что за исключеніемъ романа „Прологъ“, чрезвычайно интереснаго уже по одному тому, что онъ является чѣмъ-то вродѣ личныхъ воспоми-

*) Перепечатано въ его книгѣ „Политическіе процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевскаго“ (Спб. 1907).

**) См. изданное его сыномъ Михаиломъ Николаевичемъ полное собраніе его сочиненій, т. X, ч. 1-я.

наній автора, облеченныхъ въ беллетристическую форму, сибирская беллетристика Чернышевскаго вышла, очень неудачной. Она представляетъ теперь интересъ лишь потому, что все-таки прибавляетъ новую черту къ нашему представленію о духовной фізіономіи нашего автора.

Совсѣмъ не таково значеніе написаннаго въ крѣпости романа „Что дѣлать?“. Онъ имѣлъ огромный успѣхъ и такое же огромное вліяніе на „молодое поколѣніе“ того времени, Художественными достоинствами онъ тоже не блещетъ, хотя и не правы критики, совершенно отрицающіе въ немъ такія достоинства: въ немъ много юмора и наблюдательности; характеръ Марьи Алексѣвны Розальской, матери героини романа Вѣры Павловны, очерченъ довольно удачно. Но главнымъ его достоинствомъ надо, безъ сомнѣнія, признать пламенный и совершенно неподдѣльный энтузіазмъ, захватывающій читателя и заставляющій его съ неослабнымъ вниманіемъ слѣдить за судьбою главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Чтобы правильно судить объ этомъ, во всякомъ случаѣ замѣчательномъ, литературномъ произведеніи, надо сравнивать его, разумѣется, не съ художественными произведеніями Тургенева, Достоевскаго или Толстого, а, напримѣръ, съ философскими романами Вольтѣра. При такомъ сравненіи вопросъ объ его достоинствахъ представится въ совершенно другомъ свѣтѣ.

По возвращеніи изъ Сибири Чернышевскій взялся за обработку матеріаловъ для біографіи Добролюбова и перевелъ одиннадцать томовъ „Всеобщей исторіи“ Вебера, сдѣлавъ къ нѣкоторымъ изъ нихъ интересныя и довольно объемистыя приложенія. Намъ не разъ придется цитировать ихъ ниже, при изученіи его историческихъ взглядовъ.

Наконецъ, къ тому же періоду относятся двѣ или, если угодно, три его статьи философскаго характера: первая была напечатана въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ (1885 г., №№ 63 и 64) и называется: „Характеръ человѣческаго знанія“; вторая появилась въ сентябрьской книжкѣ „Русской Мысли“ за 1888 г. и озаглавлена: „Происхожденіе теоріи благотворности борьбы за жизнь (Предисловіе къ нѣкоторымъ трактатамъ по ботаникѣ, зоологіи и наукамъ о человѣческой жизни)“. Она подписана: Старый трансформистъ. Третьей статьей того же рода можно назвать предисловіе къ предполагавшемуся, но несостоявшемуся, по цензурнымъ условіямъ, третьему изданію его „Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности“. Предисловіе это, написанное въ 1888 г., оставалось ненапечатаннымъ вплоть до недавняго выхода полного собранія его сочиненій.

Теоретическое достоинство этихъ произведеній неодинаково. Въ предисловіи и въ статьѣ о характерѣ человѣческаго знанія яснѣе выступаютъ сильныя стороны философскихъ взглядовъ Н. Г. Чер-

нышевскаго; въ статьѣ о теоріи благотворности борьбы за жизнь болѣе обнаруживаются ихъ слабыя стороны. Предисловіе содержитъ также драгоцѣнныя свидѣтельства о тѣхъ вліяніяхъ, подъ которыми сложились эти взгляды.

Какъ видно изъ появившихся въ мартовской книжкѣ „Русской Мысли“ за нынѣшній годъ воспоминаній г. А. Токарскаго, нашъ неутомимый авторъ былъ полонъ литературныхъ плановъ не далѣе, какъ въ 1889 году, т.-е. когда смерть уже приближалась къ его порогу. Онъ мечталъ объ изданіи энциклопедическаго словаря; собирался писать для дѣтей книги по политической экономіи и по исторіи и даже надѣялся, что ему удастся создать собственный журналъ. Все это показываетъ, какъ много богатѣйшихъ возможностей уничтожено было преслѣдованіями, обрушившимися на этого чрезвычайно даровитаго и сильнаго человѣка.

Въ нашей литературѣ Н. Г. Чернышевскій явился продолжателемъ дѣла Бѣлинскаго, какъ оно опредѣлилось въ послѣднюю эпоху умственной исторіи „неистоваго Виссаріона“. Поэтому, чтобы притти къ полной ясности на счетъ идей Чернышевскаго, необходимо внимательно сравнивать ихъ съ тѣми идеями, къ которымъ пришелъ Бѣлинскій въ послѣднее пятилѣтіе своей жизни.

А такъ какъ въ исторіи умственнаго развитія Бѣлинскаго философія играла въ высшей степени важную роль, то читатель не удивится, что мы начнемъ здѣсь съ философіи, которая къ тому же всегда очень интересовала и Чернышевскаго.

Въ послѣднее пятилѣтіе своей жизни Бѣлинскій все дальше и дальше уходитъ отъ идеалистической философіи Гегеля, такъ сильно увлекавшей его когда-то. Въ его двухъ послѣднихъ годичныхъ обзорахъ русской литературы не трудно открыть вліяніе матеріалиста Фейербаха. Этотъ же переходъ отъ Гегеля къ Фейербаху совершилъ и Чернышевскій, но только въ гораздо болѣе раннюю эпоху своей жизни. Въ этомъ отношеніи о немъ можно сказать, что онъ началъ тѣмъ, чѣмъ Бѣлинскій закончилъ. Нужно только прибавить, что, разъ придя къ Фейербахову матеріализму, Чернышевскій оставался вѣренъ ему до гробовой доски.

Въ упомянутомъ выше предисловіи къ несостоявшемуся третьему изданію своей диссертациі Чернышевскій слѣдующимъ образомъ рассказываетъ исторію своего философскаго развитія, говоря о себѣ,—страха ради цензуры,—въ третьемъ лицѣ.

„Авторъ брошюры, къ третьему изданію которой пишу я предисловіе, получилъ возможность пользоваться хорошими библіотеками и употреблять нѣсколько денегъ на покупку книгъ въ 1846 году. До этого времени онъ читалъ только такія книги, какія можно доставать въ провинціальныя города, гдѣ нѣтъ порядочныхъ библіотекъ. Онъ былъ знакомъ съ русскими изложеніями системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него возможность ознакомиться съ Гегелемъ въ подлинникѣ, онъ сталъ читать эти трактаты.

Въ подлинникъ Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидалъ онъ по русскимъ изложеніямъ. Причина состояла въ томъ, что русскіе послѣдователи Гегеля излагали его систему въ духъ лѣвой стороны гегелевской школы. Въ подлинникъ Гегель оказывался болѣе похожъ на философовъ XVII вѣка и даже на схоластиковъ, чѣмъ на того Гегеля, какимъ онъ являлся въ русскихъ изложеніяхъ его системы. Чтеніе было утомительно по своей явной бесполезности для сформированія научнаго образа мыслей. Въ это время случайнымъ образомъ попалась желавшему сформировать себѣ такой образъ мыслей юношѣ одно изъ главныхъ сочиненій Фейербаха. Онъ сталъ послѣдователемъ этого мыслителя; и до того времени, когда житейскія надобности отвлекли его отъ ученыхъ занятій, онъ усердно перечитывалъ сочиненія Фейербаха“.

Это показаніе Чернышевскаго какъ нельзя болѣе важно; оно характеризуетъ, между прочимъ, его отношеніе къ Гегелю *). Знаніе этого отношенія даетъ намъ возможность сравнить характеръ ума Чернышевскаго съ характеромъ ума Бѣлинскаго.

На философію Гегеля Бѣлинскій взглянулъ прежде всего какъ на теоретическій критерій, съ помощью котораго онъ могъ подвергнуть оцѣнкѣ свои практическія стремленія. Мы уже знаемъ **), къ чему привела эта оцѣнка. Бѣлинскій,—по собственному его выраженію, употребленному имъ впослѣдствіи,—не сумѣлъ развить идею отрицанія. А его изъ ряда вонъ выдающаяся теоретическая требовательность дѣлала,—по крайней мѣрѣ на короткое время, пока не остыло еще первое и самое сильное впечатлѣніе отъ великихъ теоретическихъ запросовъ, выдвинутыхъ философіей Гегеля,—совершенно непріемлемымъ для него идеалъ, основанный на поверхностномъ, отвлеченномъ отрицаніи дѣйствительности. Вслѣдствіе этого „идея отрицанія“ была рѣшительно отвергнута имъ, и онъ не менѣе рѣшительно „примирился съ дѣйствительностью“. Само собою понятно, что это отверженіе „идеи отрицанія“ и это примиреніе съ дѣйствительностью не могли быть продолжительны. Они слишкомъ противорѣчили всей нравственной природѣ Бѣлинскаго. Вскорѣ онъ опять пришелъ къ „отрицанію“; но необходимо помнить,

*) Эта статья была уже набрана, когда появилась статья г. Е. Ляцкого: „Н. Г. Чернышевскій въ университетѣ“ (Совр. М., 1909, № 3). Г. Ляцкій вноситъ нѣкоторыя поправки въ это показаніе Чернышевскаго о ходѣ своего умственнаго развитія. Онъ говоритъ: „Имѣя въ своемъ распоряженіи Дневникъ 1848—1849 г., мы можемъ установить, что съ Гегелемъ Чернышевскій разстался не такъ скоро; нѣкоторые томы его онъ дочитывалъ въ 1849 г. Правда, Гегель не производитъ на него особенно сильнаго впечатлѣнія, но свой приговоръ онъ произноситъ не ранѣе, какъ сдѣлавъ помѣтку: дочиталъ такой-то томъ. Вторая неточность касается Фейербаха: Чернышевскій познакомился съ нимъ годами двумя позже, и Фейербахъ, дѣйствительно, оказалъ рѣшительное вліяніе на отношеніе Чернышевскаго къ Гегелю“. Какъ видитъ читатель, эти поправки, касаясь частныхъ, не измѣняютъ сущности дѣла.

**) См. нашу статью о Бѣлинскомъ, напечатанную въ этомъ же изданіи; ср. также нашу книгу „Н. Г. Чернышевскій“.

что „идея отрицанія“ такъ и не получила у него того „развитія“, которое представлялось ему, и совершенно правильно, необходимымъ съ точки зрѣнія Гегелевой философіи. Ему не удалось показать себѣ и другимъ, что его субъективное „отрицаніе дѣйствительности“ выражаетъ собою лишь отраженіе въ субъектѣ ея собственнаго діалектическаго (т.-е. объективнаго) развитія. Все, на что онъ могъ опереться въ своемъ новомъ возстаніи противъ „гнусной расейской дѣйствительности“, сводилось къ отвлеченному принципу человѣческой личности. И сообразно съ этимъ онъ въ своемъ возстаніи апеллировалъ уже не къ Гегелю, а къ „благородному адвокату человечества“—Шиллеру. Но Шиллеръ очень слабъ, какъ руководитель въ дѣлѣ теоретической оцѣнки общественныхъ отношеній. Вотъ почему нельзя не признать, что хотя разрывъ Бѣлинскаго съ Гегелевымъ „философскимъ колпакомъ“ дѣлалъ, при тогдашнихъ обстоятельствахъ, большую честь его сердцу; но онъ въ то же время знаменовалъ собою весьма значительное пониженіе той теоретической требовательности, о которой свидѣтельствовала, напимѣръ, очень односторонняя и потому въ общемъ неудачная, но все же весьма замѣчательная статья, посвященная Бородинской годовщинѣ. Отрицаніе данной дѣйствительности во имя того или другого отвлеченнаго принципа остается, — какъ бы ни былъ благороденъ этотъ принципъ, — отвлеченнымъ, т.-е. поверхностнымъ, т.-е. теоретически неудовлетворительнымъ отрицаніемъ, какъ бы „гнусна“ ни была эта дѣйствительность. Такому отрицанію недостаетъ конкретной основы, которая одна только и можетъ быть признана удовлетворительной. Бѣлинскій, для котораго продолжительное „примиреніе“ съ нашими тогдашними общественными порядками было нравственной невозможностью, вынужденъ былъ, въ концѣ-концовъ, удовлетвориться хотя бы и поверхностнымъ ихъ отрицаніемъ: слишкомъ еще не развиты были тѣ элементы нашихъ общественныхъ (преимущественно производственныхъ) отношеній, на которые могло бы опереться, и дѣйствительно оперлось впоследствии, когда они развились, удовлетворяющее требованіямъ теоріи отрицаніе „расейской дѣйствительности“. Но у Бѣлинскаго—въ его перепискѣ, какъ и у Герцена въ его дневникѣ—очень замѣтно мучительное сознаніе того, что отвлеченное отрицаніе не только не удовлетворительно въ теоріи, — съ этимъ безъ очень большого труда помирились бы Бѣлинскій и Герценъ, какъ люди, болѣе всего стремившіеся къ практическому дѣлу, — но и безсильно на практикѣ. Казалось бы, что передъ Чернышевскимъ, который выступилъ какъ продолжатель дѣла Бѣлинскаго, должна была съ первыхъ же шаговъ его литературной дѣятельности встать такая дилемма: или сдѣлать то, чего не могъ сдѣлать Бѣлинскій, т.-е. развить „идею отрицанія“ сообразно требованіямъ теоріи, или же окончательно убѣдиться въ практическомъ безсиліи отвлеченнаго отрицанія. Вышло не такъ.

Хотя въ первое время по окончаніи Чернышевскимъ университетскаго курса наша дѣйствительность стала, пожалуй, еще болѣе мрачной, чѣмъ была она въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, но онъ, какъ мы покажемъ это ниже, довольно спокойно ждалъ окончанія реакціонной непогоды, увѣренный въ томъ, что рано или поздно передъ нимъ откроется желанная арена общественной дѣятельности. Эта его увѣренность имѣла подъ собой лишь рядъ весьма отвлеченныхъ соображеній. Но фактъ тотъ, что она была налицо, и что Чернышевскаго уже не терзало сознаніе слабости отвлеченнаго идеала. Въ этомъ отношеніи его дневникъ не заключаетъ въ себѣ ничего подобнаго тѣмъ стонамъ, которые слышатся, можно сказать, на каждой страницѣ дневника Герцена и въ каждомъ письмѣ Бѣлинскаго. При внимательномъ чтеніи дневника Чернышевскаго легко убѣдиться въ томъ, что будущему продолжателю дѣла Бѣлинскаго совсѣмъ не бросалась въ глаза ни теоретическая неосновательность, ни практическая слабость отвлеченнаго отрицанія, унаслѣдованнаго имъ отъ того же Бѣлинскаго, равно какъ и отъ другихъ людей сороковыхъ годовъ. Это происходило отчасти потому, что какъ ни велики были дарованія Чернышевскаго, но по глубинѣ теоретическихъ запросовъ онъ все-таки уступалъ гениальному Бѣлинскому. А кромѣ того, тутъ сказалось, вѣроятно, и различіе историческаго момента. Глубокая ночь реакціи, ознаменовавшей собою послѣдніе годы царствованія императора Николая I, все-таки позволяла, должно быть, чувствовать инстинктомъ практическаго дѣятеля, если не различать умомъ теоретика, признаки, показывавшіе неизбѣжность болѣе или менѣе скорого разсвѣта. Вотъ эти-то несомнѣнные для пракческаго инстинкта, хотя и неуловимые для теоретическаго ума, признаки и позволили нашему автору избѣжать столкновенія съ вышеуказанной дилеммой. Гегель, вызвавшій въ душѣ Бѣлинскаго столько поистинѣ трагическихъ сомнѣній, первоначально явился въ глазахъ Чернышевскаго мыслителемъ, философія котораго не только не подрывала вѣры въ отвлеченный идеалъ, но значительно укрѣпляла ее. Это произошло потому, что русскія изложенія системы Гегеля, съ которыми Чернышевскій познакомился сначала, были, во-первыхъ, „неполны“, а во-вторыхъ, сдѣланы были, какъ это мы узнаемъ отъ него самого, „въ духѣ лѣвой стороны гегелевской школы“. Извѣстно, что эта сторона какъ въ Россіи, такъ и въ Германіи сильно грѣшила—вплоть до появленія Маркса—отвлеченностью своихъ общественныхъ теорій. Но замѣчательно, что когда Чернышевскій познакомился съ Гегелемъ въ подлинникъ, то нѣмецкій идеалистъ не очень понравился ему и даже показался болѣе похожимъ на схоластикова, нежели на того мыслителя, какимъ онъ являлся въ изображеніи своихъ лѣвыхъ учениковъ. Отсюда видно, что величайшее достоинство Гегелевой философіи,—ея діалектическій методъ, требовавшій анализа явленій въ томъ процессѣ ихъ развитія, который обуславливается присутствіемъ въ нихъ

противорѣчивыхъ элементовъ, — отсюда видно, говоримъ мы, что эта сторона философіи Гегеля не произвела на нашего автора никакого или почти никакого впечатлѣнія. Говоримъ: „почти“, потому что Чернышевскій не совсѣмъ пренебрегалъ діалектикой Гегеля. Въ своихъ „Очеркахъ гоголевскаго періода русской литературы“ онъ отзывается о ней съ похвалою; но она и тамъ изображается имъ въ одностороннемъ видѣ. На этомъ полезно остановиться.

II.

Вотъ что читаемъ мы въ названныхъ „Очеркахъ“ о діалектическомъ методѣ.

„Сущность его состоитъ въ томъ, что мыслитель не долженъ успокаиваться ни на какомъ положительномъ выводѣ, а долженъ искать, нѣтъ ли въ предметѣ, о которомъ онъ мыслить, качествъ и силъ, противоположныхъ тому, что представляется этимъ предметомъ на первый взглядъ; такимъ образомъ мыслитель былъ принужденъ обзрѣвать предметъ со всѣхъ сторонъ, и истина являлась ему не иначе, какъ слѣдствіемъ борьбы всевозможныхъ противоположныхъ мнѣній. Этимъ способомъ вмѣсто прежнихъ одностороннихъ понятій о предметѣ мало по-малу являлось полное всестороннее изслѣдованіе и составлялось живое понятіе о всѣхъ дѣйствительныхъ качествахъ предмета. Объяснить дѣйствительность стало существенной обязанностью философскаго мышленія. Отсюда явилось чрезвычайное вниманіе къ дѣйствительности, надъ которою прежде не задумывались, безъ всякой церемоніи искажая ее въ угодность собственнымъ одностороннимъ предубѣжденіямъ. Такимъ образомъ, добросовѣстное, неутомимое изысканіе истины стало на мѣстѣ прежнихъ произвольныхъ толкованій. Но въ дѣйствительности все зависитъ отъ обстоятельствъ, отъ условій мѣста и времени, — и потому Гегель призналъ, что прежнія общія фразы, которыми судили о добрѣ и злѣ, не разсматривая обстоятельствъ и причинъ, по которымъ возникало данное явленіе, что эти общія, отвлеченныя изреченія не удовлетворительны: каждый предметъ, каждое явленіе имѣетъ свое собственное значеніе, и судить о немъ должно по соображенію той обстановки, среди которой оно существуетъ; это правило выражалось формулой: „отвлеченной истины нѣтъ; истина всегда конкретна“, т.-е. опредѣлительно сужденіе можно произносить только объ опредѣленномъ фактѣ, разсмотрѣвъ всѣ обстоятельства, отъ которыхъ онъ зависитъ“.

Эту характеристику діалектическаго метода Чернышевскій поясняетъ примѣрами.

„Благо или зло дождь? Это вопросъ отвлеченный; опредѣлительно отвѣчать на него нельзя: иногда дождь приноситъ пользу, иногда, хотя рѣже, приноситъ вредъ; надобно спрашивать опредѣлительно: послѣ того, какъ посѣвъ хлѣба оконченъ, въ продолженіе

шести часовъ шелъ сильный дождь, — полезенъ ли былъ онъ для хлѣба? Только тутъ отвѣтъ ясенъ и имѣетъ смыслъ: этотъ дождь былъ очень полезенъ“.

Другой примѣръ. „Пагубна или благотворна война? Вообще нельзя отвѣчать на это рѣшительнымъ образомъ; надобно знать, о какой войнѣ идетъ дѣло, все зависитъ отъ обстоятельствъ времени и мѣста... Для образованныхъ народовъ война приноситъ обыкновенно менѣе пользы и болѣе вреда. Но, напримѣръ, война 1812 г. была спасительна для русскаго народа; мараѳонская битва была благотѣлительнѣйшимъ событіемъ въ исторіи человѣчества“.

Все это очень умно и очень важно, какъ матеріалъ для изученія взглядовъ самаго выдающагося изъ нашихъ „просвѣтителей“. Поэтому-то мы и не побоялись сдѣлать эти длинные выписки. Но читатель, знакомый съ философіей Гегеля, уже и самъ замѣтилъ, разумѣется, что въ приведенной нами длинной выпискѣ діалектическій методъ великаго нѣмецкаго идеалиста представляется не вполне точно. По словамъ Чернышевскаго, Гегель считалъ объясненіе дѣйствительности важнѣйшею обязанностью философскаго мышленія. И это, конечно, такъ. Но это не все. Главный вопросъ состоитъ здѣсь въ томъ, какимъ путемъ долженъ итти мыслитель къ объясненію дѣйствительности. По Чернышевскому, путь этотъ состоялъ во всестороннемъ изслѣдованіи предмета: истина должна была явиться мыслителю не иначе, какъ слѣдствіе борьбы всевозможныхъ мнѣній. Но тутъ-то и находится слабая сторона изложенія Чернышевскаго. Для Гегеля дѣло было не во мнѣніяхъ мыслителей, изучающихъ данное явленіе, а въ объективномъ ходѣ развитія этого явленія, обусловливаемомъ борьбой заключающихся въ немъ противоположныхъ элементовъ. И точно такъ же дѣло не въ томъ, чтобы открыть въ предметѣ другія качества и силы, помимо тѣхъ, которыя открываются при первомъ взглядѣ на него, а въ томъ, что и качества предмета, и силы, ему свойственныя, измѣняются внутренней логикой его собственнаго развитія. Только тотъ, кто понялъ это, способенъ въ самомъ дѣлѣ отказываться отъ субъективныхъ пристрастій въ сужденіи о предметѣ. Въ противномъ случаѣ этимъ пристрастіямъ всегда будетъ принадлежать послѣднее слово. Возьмемъ примѣръ. Иное дѣло убѣдиться въ томъ, что система наемнаго труда противорѣчитъ интересамъ огромнаго большинства членовъ капиталистическаго общества, а иное дѣло обнаружить тѣ свойственные этому обществу экономическіе элементы, которые въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи должны привести къ устраненію названной системы. Человѣкъ, обнаружившій такіе элементы, нашелъ бы для своей борьбы съ этой системой незыблемую объективную опору, между тѣмъ какъ человѣкъ, такихъ элементовъ не видящій, могъ бы опираться въ этой борьбѣ лишь на отвлеченныя соображенія о томъ, что

люди когда-нибудь должны будут познать, наконецъ, истину. Это огромная разница. Соціализмъ пересталъ быть утопическимъ только тогда, когда онъ сумѣлъ перейти отъ абстрактныхъ соображеній къ анализу объективнаго хода развитія капитализма. Поэтому можно сказать, что діалектическій методъ Гегеля подготовлялъ цѣлый переворотъ въ соціализмѣ. Но Чернышевскій не обратилъ надлежащаго вниманія на эту сторону предмета, и потому его пониманіе діалектики осталось одностороннимъ. Какъ мы сейчасъ увидимъ, это наложило свою печать на весь его образъ мыслей.

Чернышевскій былъ правъ, утверждая, вопреки разнороднымъ и разноцвѣтнымъ хулителямъ Гегеля, что этотъ послѣдній завѣщалъ своимъ ученикамъ большое вниманіе къ дѣйствительности. Но истолковывалъ онъ этотъ завѣтъ скорѣе въ духѣ Фейербаха и послѣднихъ годовыхъ литературныхъ обзоровъ Бѣлинскаго, нежели въ духѣ самого Гегеля. Это, впрочемъ, и не удивительно, такъ какъ отъ Гегеля онъ перешелъ именно къ Фейербаху. Подъ вліяніемъ Фейербаха была написана, между прочимъ, и его магистерская диссертация. Онъ самъ говоритъ въ томъ же предисловіи, что, принимаясь за нее, онъ „не имѣлъ ни малѣйшаго притязанія сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему“, а только желалъ „быть истолкователемъ идей Фейербаха въ примѣненіи къ эстетикѣ“.

И то же самое онъ могъ бы сказать, напримѣръ, о своей знаменитой статьѣ „Антропологическій принципъ въ философіи“.

III.

Статья эта была напечатана въ 4-ой и 5-ой книжкахъ „Современника“ за 1860 г. Чернышевскій объясняетъ въ ней, что значить „антропологическій принципъ“. Согласно этому принципу, „на человѣка надобно смотрѣть какъ на одно существо, имѣющее только одну натуру“. Каждая сторона его дѣятельности представляетъ собою или дѣятельность всего организма его, взятаго въ цѣломъ, или же,—если она связана съ какимъ-нибудь особеннымъ органомъ,—отправленіе этого органа, въ свою очередь тѣсно связаннаго съ организмомъ. Иначе сказать: антропологическій принципъ есть принципъ современнаго матеріалистическаго монизма. Чернышевскій, какъ и его учитель Фейербахъ, рѣшительный противникъ всѣхъ дуалистическихъ философскихъ системъ. Онъ говоритъ, что истинная философія видитъ въ человѣкѣ то же, что видятъ въ немъ естественныя науки: „эти науки доказываютъ, что никакого дуализма въ человѣкѣ не видно, а философія прибавляетъ, что если бы человѣкъ имѣлъ, кромѣ реальной своей природы, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы въ чемъ-нибудь, а такъ какъ она не обнаруживается ни въ чемъ, такъ какъ все происходящее и проявляющееся въ человѣкѣ происходитъ по одной реальной его натурѣ, то другой

натуры въ немъ нѣтъ“. Но извѣстно, что въ организмѣ человѣка наблюдается два ряда явленій: тѣ явленія, которыя обыкновенно называются матеріальными, и тѣ, за которыми Чернышевскій оставляетъ названіе нравственныхъ. На существованіи этихъ двухъ родовъ явленій и основываются дуалистическія ученія въ философіи. Но Чернышевскій утверждаетъ, что эта двойственность явленій въ организмѣ отноудь не свидѣтельствуетъ противъ единства его природы. „Нѣтъ предмета,—говоритъ онъ,—который имѣлъ бы только одно качество, напротивъ, каждый предметъ обнаруживаетъ безчисленное множество разныхъ явленій, которыя мы для удобства сужденій о немъ подводимъ подъ разные разряды, давая каждому разряду имя качества, такъ что въ каждомъ предметѣ очень много разныхъ качествъ“. Это опять согласно съ Фейербахомъ, учившимъ, что организмъ есть „субъектъ“, а мышленіе „предикатъ“, т.е. качество субъекта, и что по этому мыслить не отвлеченное „я“, съ которымъ оперировала идеалистическая философія, а существо конкретное, тѣло. Это положеніе Фейербаха заставляетъ вспомнить о Спинозѣ и его единой субстанции съ ея различными атрибутами. И такое воспоминаніе о Спинозѣ мы находимъ у самого Чернышевскаго, относящаго Спинозу къ числу тѣхъ очень немногихъ мыслителей, которые держались антропологическаго принципа въ философіи, хотя и употребляли другую терминологію. За это на нашего автора обрушились нѣкоторые критики, упрекавшіе его въ незнаніи исторіи философіи. Однако, своими нападками на него критики эти показали только то, что сами они привыкли, подъ вліяніемъ идеализма, истолковывать монизмъ Спинозы въ идеалистическомъ смыслѣ. Такое истолкованіе ошибочно. Монизмъ Спинозы есть матеріалистическій монизмъ, какъ это давно уже было отмѣчено еще Фейербахомъ *).

Но что же такое эта единая человѣческая природа? Что такое человѣческій организмъ, однимъ изъ „предикатовъ“ котораго является мышленіе? Это—„очень многосложная химическая комбинація, находящаяся въ очень многосложномъ химическомъ процессѣ, называемомъ жизнью“. Чернышевскій совсѣмъ не думаетъ, что наука уже изучила всѣ стороны этого процесса. Очень многое въ немъ еще остается темнымъ. Это правда. „Но противники научнаго направленія въ философіи дѣлають изъ этой правды выводы вовсе не логическіе, когда говорятъ, что пробѣлы, остающіеся въ научномъ объясненіи натуральныхъ явленій, допускають сохраненіе какихъ-нибудь остатковъ фантастическаго міросозерцанія. Дѣло въ томъ, что характеръ результатовъ, доставленныхъ анализомъ объясненныхъ наукою частей и явленій, уже достаточно свидѣтельствуетъ о харак-

*) Кромѣ Спинозы, Чернышевскій понимаетъ въ матеріалистическомъ смыслѣ также и Аристотеля. Это, конечно, неправильно. Но извѣстно, что попытки матеріалистическаго объясненія философіи Аристотеля дѣлались уже въ древности и притомъ его же собственными учениками.

терѣ элементовъ, силъ и законовъ, дѣйствующихъ въ остальныхъ частяхъ и явленіяхъ, которыя еще не вполне объяснены: если бы въ этихъ необъясненныхъ частяхъ и явленіяхъ было что-нибудь иное, кромѣ того, что найдено въ объясненныхъ частяхъ, то и объясненные части имѣли бы не такой характеръ, какой имѣютъ“.

Смыслъ этого разсужденія тотъ, что наука въ своемъ объясненіи явленій природы постоянно наталкивается на огромныя трудности. Но какъ бы ни были велики эти трудности, ни одна изъ нихъ не можетъ быть устранена ссылкой на вмѣшательство того или другого сверхъестественнаго существа. Дарвинъ многого не могъ объяснить въ исторіи происхожденія видовъ. Но смѣшно было бы звать на помощь Дарвину Моисея. Цензура запрещала „вредное“ ученіе матеріализма. Поэтому Чернышевскій, обладавшій драгоценнымъ даромъ яснаго и общедоступнаго изложенія самыхъ трудныхъ вопросовъ теоріи, по временамъ вынужденъ былъ при изложеніи матеріалистической философіи Фейербаха выражаться съ умышленной неясностью.

Этой вынужденной неясностью изложенія пользовались его противники, навязывавшіе ему такіе взгляды, которыхъ онъ не имѣлъ. Такъ, Юркевичъ упрекалъ его въ томъ, что онъ отождествлялъ психическія явленія организма съ матеріальными. Но мы уже видѣли, что Чернышевскій былъ весьма далекъ отъ ихъ отождествленія. Онъ только утверждалъ, что нѣтъ никакихъ основаній для того, чтобы относить психическія явленія на счетъ особаго, не матеріальнаго, фактора. Вотъ почему нелѣпъ и вопросъ Юркевича о томъ, какимъ образомъ движеніе переходитъ въ ощущеніе. Еще Д. Пристлей говорилъ, что иное дѣло вибраціи, совершающіяся въ мозговыхъ тканяхъ, а иное дѣло воспріятія. Вибраціи не переходятъ въ воспріятія. „Но мозгъ, кромѣ своей способности къ вибраціямъ, имѣетъ также способность воспринимать или чувствовать“.

При этомъ мозгъ, способный воспринимать, становится мозгомъ воспринимающимъ на самомъ дѣлѣ только тогда, когда его частицы находятся въ состояніи движенія. Совершенно такъ же думалъ Фейербахъ, а съ нимъ и Чернышевскій.

Человѣческій организмъ очень сложенъ. Поэтому изученіемъ его жизни занимается особая наука—физиологія человѣка. Но сложность человѣческаго организма не мѣшаетъ ему быть частью природы. По мнѣнію Чернышевскаго, физиологія человѣка относится къ химіи такъ же, какъ наша отечественная исторія—ко всеобщей. „Разумѣется, русская исторія составляетъ только часть всеобщей; но предметъ этой части особенно близокъ намъ, потому она сдѣлана какъ будто особенною наукою. Но не слѣдуетъ забывать, что это внѣшняя раздѣльность служитъ только для практическаго удобства, а не основана на теоретическомъ различіи характера этой отрасли знанія отъ другихъ частей того же самаго знанія“! Иначе и не могъ,

конечно, смотрѣть на этотъ вопросъ послѣдовательно мыслящій человекъ, разъ признавшій основныя посылки философіи Фейербаха.

Взглядъ на человека, какъ на часть природы, естественно дополнялся у Чернышевскаго совершенно отрицательнымъ отношеніемъ къ тѣмъ философскимъ системамъ, которыя такъ или иначе утверждали непознаваемость внѣшняго міра. Въ упомянутой выше статьѣ „Характеръ человѣческаго знанія“ онъ приводитъ ученіе объ этой непознаваемости къ абсурду. Онъ справедливо говоритъ, что оно должно вести къ отрицанію реальности человѣческаго тѣла. Онъ называетъ его иллюзіонизмомъ и считаетъ „новой формой средневѣковой схоластики“. Происхожденіе этого ученія онъ—совершенно въ духѣ Фейербаха—объясняетъ тѣмъ, что философы вмѣсто человека, т.-е. матеріальнаго организма, берутъ отвлеченное существо, „я“, о которомъ намъ извѣстно только то, что оно имѣетъ представленія. А если мы знаемъ о немъ только то, что оно имѣетъ представленія, то совершенно естественно, что мы остаемся въ сомнѣніи насчетъ того, обладаетъ ли оно тѣломъ. Но защитники „иллюзіонизма“ обыкновенно не рѣшаются прямо сказать: „мы не имѣемъ организма“. Поэтому они прибѣгаютъ къ двусмысленнымъ выраженіямъ, въ которыхъ черезъ схоластическій туманъ проглядываетъ только логическая возможность сомнѣнія въ существованіи человѣческаго тѣла. Во всей теоріи познанія, основывающейся на такого рода сомнѣніи, нѣтъ ничего, кромѣ схоластической силлогистики и софизмовъ.

Въ виду этого позволительно спросить: почему же теорія эта имѣетъ успѣхъ? Почему же къ ней склоняются даже многіе естествоиспытатели?

Чернышевскій отвѣчаетъ на это такъ: „Масса образованныхъ людей вообще расположена считать наиболѣе соотвѣтствующимъ научной истинѣ тѣ рѣшенія вопросовъ, какія приняты за истинныя большинствомъ спеціалистовъ по наукѣ, въ составъ которой входитъ изслѣдованія этихъ вопросовъ. И натуралистамъ, какъ всѣмъ другимъ образованнымъ людямъ, мудрено не поддаваться вліянію господствующихъ между спеціалистами по философіи философскихъ системъ“.

А почему же склоняются къ „иллюзіонизму“ спеціалисты по философіи?

Нашъ авторъ говоритъ, что характеръ философіи, господствующей въ каждое данное время, опредѣляется общимъ характеромъ умственной и нравственной жизни передовыхъ націй.

Этимъ характеромъ приходится, стало быть, объяснять и современное господство „иллюзіонизма“ въ средѣ ученыхъ, спеціально занимающихся философіей. Къ сожалѣнію, Чернышевскій не указываетъ тѣхъ чертъ этого характера, которыя вызываютъ расположеніе къ „иллюзіонизму“. Но зная его отрицательный взглядъ на иллюзіонизмъ, легко понять, что и причины, способствующія успѣху иллю-

зіонизма, относились имъ на счетъ отрицательныхъ сторонъ нынѣшней общественной жизни. Всего вѣрнѣе, что причины эти сводились имъ къ „трусости“, т.-е. къ опасеніямъ, вызываемымъ въ образованныхъ представителяхъ господствующихъ классовъ развитіемъ самосознанія въ средѣ класса, угнетаемого нынѣшнимъ общественнымъ порядкомъ. Ниже мы увидимъ, что иногда онъ хорошо умѣлъ находить причинную связь между ходомъ общественной жизни и теченіемъ общественной мысли.

Статья „Характеръ человѣческаго знанія“ относится, какъ уже сказано, къ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ, между тѣмъ какъ статья, посвященная изложенію и защитѣ „антропологическаго принципа“, напечатана была въ 1860 г. Но въ теченіе четверти вѣка, раздѣляющей эти двѣ статьи, философскіе взгляды Чернышевскаго не испытали ни одного существеннаго измѣненія. Поэтому его критика „иллюзіонизма“ должна быть рассматриваема какъ гносеологическое дополненіе къ статьѣ „Антропологическій принципъ въ философіи“.

Наши знанія—человѣческія знанія. Познательныя силы человека ограничены, какъ и всѣ его силы. Въ этомъ смыслѣ характеръ нашего знанія обуславливается характеромъ нашихъ познательныхъ силъ. Если бы эти силы были больше, то наши знанія были бы обширнѣе нынѣшнихъ. И понятно, что ихъ расширеніе сопровождалось бы видоизмѣненіемъ прежняго ихъ запаса. Но ихъ существенный характеръ остался бы неизмѣннымъ, поскольку они были бы знаніями фактовъ. Чернышевскій беретъ для примѣра воду. Теперь мы знаемъ, при какой температурѣ она замерзаетъ и при какой закипаетъ. Прежде не знали этого. Запасъ знаній о водѣ расширился. Но измѣнился онъ только въ томъ смыслѣ, что сталъ опредѣленнѣе. Точно такъ же намъ извѣстенъ теперь химическій составъ воды, о которомъ люди не имѣли прежде никакого понятія. Но вода не перестала быть водою оттого, что мы ознакомились съ ея химическимъ составомъ, и всѣ знанія о ней, которыя были у людей до открытія ея состава, остались вѣрны и послѣ него. Видоизмѣненіе запаса знаній о водѣ ограничилось его расширеніемъ.

„The proof of the pudding is in the eating“ *), писалъ Ф. Энгельсъ, критикуя агностиковъ. Воздѣйствуя на окружающій насъ міръ, мы провѣряемъ правильность нашихъ о немъ представленій. Чернышевскій безусловно согласился бы съ этимъ взглядомъ. Да оно и неудивительно. Въ философскомъ отношеніи онъ былъ очень близокъ къ Энгельсу и Марксу. Они, подобно ему, были учениками Фейербаха, къ которому пришли черезъ Гегеля. Ихъ мысль работала въ томъ же самомъ направленіи, въ какомъ работала его мысль. Но они подвергли матеріализмъ Фейербаха существенной переработкѣ,—правда, удержавъ его теорію познанія, напр.,

*) Пуддингъ доказывается (или „испытывается“) тѣмъ, что его ѣдятъ.

ученіе объ отношеніи субъекта къ объекту,—между тѣмъ какъ Чернышевскій, вообще говоря, ограничился распространеніемъ взглядовъ своего учителя. Это совсѣмъ не значить, что онъ былъ его „рабомъ“, какъ любятъ выражаться въ такихъ случаяхъ люди, желающіе во что бы то ни стало быть „оригинальными“. Намъ уже извѣстно, что магистерская диссертация Чернышевскаго была попыткой,—и по-своему очень удачной,—примѣнить Фейербахово ученіе къ эстетикѣ, которой самъ Фейербахъ никогда не занимался. Но Чернышевскій примѣнялъ ученіе Фейербаха, не замѣчая его коренного недостатка и потому не задумываясь объ устраненіи этого недостатка; а Марксъ и Энгельсъ замѣтили и устранили его, что дало имъ возможность сдѣлать цѣлый переворотъ въ общественной наукѣ и особенно въ социализмѣ.

Недостатокъ этотъ заключался въ томъ, что Фейербахъ, борясь со спекулятивной философіей Гегеля, не обратилъ должнаго вниманія на ея сильную сторону, состоявшую въ томъ, что она разсматривала явленія съ діалектической точки зрѣнія,—съ точки зрѣнія ихъ развитія, ихъ возникновенія и уничтоженія. Въ Фейербаховомъ матеріализмѣ почти совсѣмъ не было отведено мѣста діалектикѣ, вслѣдствіе чего онъ оказывался слабымъ всюду, гдѣ ему приходилось сталкиваться съ процессами развитія. Именно съ этой стороны и подошли Марксъ и Энгельсъ къ критикѣ философій Фейербаха. Но Чернышевскій, какъ мы уже видѣли, самъ имѣлъ односторонній взглядъ на діалектическій методъ; онъ упустилъ изъ виду то, что составляло душу этого метода: обнаруженіе внутренней логики явленій. Поэтому главный недостатокъ Фейербахова матеріализма даетъ себя чувствовать и въ его собственномъ міросозерцаніи. Подобно своему учителю, Чернышевскій тоже плохо справлялся съ вопросами развитія. Вотъ яркій примѣръ.

IV.

Статья „Антропологическій принципъ въ философій“ посвящена была не только защитѣ основныхъ теоремъ философій Фейербаха, но также указанію тѣхъ важныхъ слѣдствій, которыя получаются, благодаря примѣненію этихъ теоремъ къ „правственнымъ“ наукамъ. По словамъ Чернышевскаго, первымъ изъ этихъ слѣдствій явилось устраненіе нѣкоторыхъ старыхъ взглядовъ на поступки людей. Прежде поступки людей объяснялись ихъ „волей“: человекъ поступаетъ дурно потому, что обладаетъ злой волей; онъ поступаетъ хорошо потому, что „хочетъ“ поступить такъ. Теперь приходится взглянуть на дѣло иначе. Чернышевскій утверждаетъ, что дурной поступокъ, равно какъ и хорошій, производится непременно какимъ-нибудь правственнымъ или матеріальнымъ фактомъ, или сочетаніемъ фактовъ, а „хотѣніе“ является только субъективнымъ впечатлѣніемъ, которымъ сопровождается въ нашемъ сознаніи возник-

повеніе мыслей, поступковъ или виѣшнихъ фактовъ“. Человѣческій характеръ складывается подѣ вліяніемъ общественныхъ отношеній. „Вы вините человѣка,—говоритъ Чернышевскій—всмотритесь прежде, онѣ ли въ томѣ виноваты, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько, быть можетъ, тутъ вовсе не вина его, а только бѣда его“. Противъ этого, высоко-гуманнаго вывода возражать трудно. Въ немъ сказывается сильная сторона Фейербахова матеріализма*) Столь же трудно возражать и противъ той мысли Чернышевскаго, что человѣкъ не добръ и не злъ по своей природѣ, а дѣлается добрымъ или злымъ въ зависимости отъ обстоятельствъ. Если мы хотимъ, чтобы люди стали добрыми, то мы должны стараться поставить ихъ въ такія условія, которыя способствовали бы развитію и упроченію въ нихъ добрыхъ наклонностей. Чернышевскій указываетъ на матеріальную нужду—даже прямо на недостатокъ въ пищѣ—какъ на главнѣйшую причину порчи человѣческаго характера. Здѣсь мы опять видимъ сильную сторону матеріалистической философіи Фейербаха-Чернышевскаго. Но едва переходитъ нашъ авторъ къ дальнѣйшему изложенію своихъ вѣрныхъ мыслей, какъ передъ нами обнаруживается слабая сторона его взгляда.

„При внимательномъ изслѣдованіи побужденій, руководящихъ людьми,—говоритъ онъ,—оказывается, что всѣ дѣла, хорошія и дурныя, благородныя и низкія, геройскія и малодушныя, происходятъ во всѣхъ людяхъ изъ одного источника: человѣкъ поступаетъ такъ, какъ пріятнѣе ему поступать, руководится расчетомъ, велящимъ отказываться отъ меньшей выгоды или меньшаго удовольствія для полученія большей выгоды, большаго удовольствія“. Въ подтвержденіе этой своей мысли Чернышевскій приводитъ нѣсколько примѣровъ. И всѣ они доказываютъ—т.-е. собственно должны доказывать—что человѣкъ всегда думаетъ о себѣ, всегда руководится расчетомъ выгоды. Человѣкъ—эгоистъ. И на эгоизмѣ же основаны его сужденія о добрѣ и злѣ. „Отдѣльный человѣкъ называетъ добрыми поступками тѣ дѣла другихъ людей, которыя полезны для него; во мнѣніи общества добромъ признается то, что полезно для всего общества и для большинства его членовъ. Наконецъ, люди вообще, безъ различія націй и сословій, называютъ добромъ то, что полезно для человѣка вообще“. Это такъ. Но, говоря это, Чернышевскій подрыываетъ свою собственную теорію эгоизма.

Въ самомъ дѣлѣ, тутъ передъ нами уже два вида эгоизма: эгоизмъ отдѣльнаго лица и эгоизмъ общества. И эти два эгоизма борются одинъ съ другимъ. Что же выходитъ? Руководясь своимъ

*) Взглядъ Чернышевскаго на этотъ вопросъ сложился тоже подѣ сильнымъ вліяніемъ Р. Оуэна. Но вліяніе этого послѣдняго шло здѣсь параллельно вліянію Фейербаха. Притомъ же Р. Оуэнъ заимствовалъ свой взглядъ на образованіе человѣческаго характера у французскихъ матеріалистовъ XVIII в., преимущественно у Гельвеція.

эгоизмомъ цѣлаго, общество старается ослабить эгоизмъ своихъ составныхъ частей—эгоизмъ отдѣльныхъ лицъ. Оно стремится воспитать своихъ членовъ такъ, чтобы они ставили общественный интересъ выше своего частнаго интереса. И чѣмъ больше поступки данной личности будутъ удовлетворять этому требованію, тѣмъ самоотверженнѣе, нравственнѣе будетъ эта личность. А чѣмъ больше ея поступки будутъ противорѣчить этому требованію, тѣмъ своекорыстнѣе, тѣмъ безнравственнѣе она окажется. Вотъ критерій, который всегда—хотя и не всегда одинаково сознательно—примѣнялся людьми въ ихъ сужденіяхъ о томъ, эгоистиченъ или же альтруистиченъ поступокъ даннаго лица. Конечно, цѣлое, предъявляющее индивидууму свои требованія, не всегда одно и тоже. Иногда его составляетъ все общество, иногда—отдѣльный классъ, сословіе, каста, племя и т. п. Но этимъ отнюдь не измѣняется сущность дѣла. Эгоизмъ цѣлаго совсѣмъ не исключаетъ альтруизма составныхъ частей. Напротивъ, онъ обусловливаетъ его собою.

Когда общество примѣняетъ свой критерій къ оцѣнкѣ поступковъ отдѣльныхъ лицъ, оно хочетъ, чтобы дѣйствіе, выгодное для интересовъ цѣлаго, было совершено отдѣльнымъ лицомъ (или группой отдѣльныхъ лицъ) подъ вліяніемъ его (или ихъ) привязанности къ цѣлому, а не подъ вліяніемъ его (или ихъ) соображеній о своей собственной пользѣ. Лицо, совершающее полезный для общества поступокъ подъ вліяніемъ соображеній этого послѣдняго рода, поступаетъ, можетъ быть, умно, но въ его дѣйствіи еще нѣтъ нравственнаго элемента. Воспитаніе человѣка въ духѣ нравственности состоитъ именно въ томъ, что для него становятся инстинктивной потребностью поступки, полезные для общества. И чѣмъ сильнѣе эта потребность, тѣмъ нравственнѣе это лицо. Героями называютъ такихъ людей, которые не могутъ не повиноваться такой потребности даже въ тѣхъ случаяхъ, когда ея удовлетвореніе идетъ въ разрѣзъ съ ихъ самыми существенными личными интересами,—напримѣръ, грозитъ имъ нищетою или смертію. Люди не дѣлаются героями по расчету; героизмъ инстинктивенъ. Но всякій инстинктъ есть плодъ длиннаго процесса развитія. Нравственность, господствующая въ данномъ обществѣ, создана длиннымъ процессомъ общественнаго развитія. Поэтому непременно долженъ держаться точки зрѣнія общественнаго развитія всякій, кто хочетъ разобраться въ вопросахъ нравственности. Это обыкновенно забывали такъ называемые просвѣтители: греческіе просвѣтители эпохи Сократа, французскіе просвѣтители XVIII столѣтія и наши просвѣтители шестидесятыхъ годовъ *).

*) Въ статьѣ „О губернскихъ очеркахъ Щедрина“ Чернышевскій самъ говоритъ: „привычки и правила, руководящія обществомъ, возникаютъ и сохраняются вслѣдствіе какихъ-нибудь фактовъ, независимыхъ отъ воли человѣка, имъ слѣдующаго: на нихъ надобно смотрѣть непременно съ исторической точки зрѣнія“ (Соч. III, 214). Въ своемъ ученіи о нравственности онъ, къ сожалѣнію, упустилъ изъ виду это дѣйствительно необходимое правило.

Въ романѣ „Что дѣлать?“ Лопуховъ утверждаетъ, что у человѣка свое „я“ всегда на первомъ планѣ. И это вѣрно; но это еще ничего не доказываетъ. Когда человѣкъ размышляетъ о своихъ дѣйствіяхъ, то онъ, конечно, не можетъ отвлечься отъ своего я; но изъ этого еще не слѣдуетъ, что его дѣйствія непременно эгоистичны. То „я“, которое видитъ свое удовольствіе въ благѣ людей, есть альтруистичное, а не эгоистичное „я“. Чернышевскій хочетъ затушевать эту разницу. Но это удастся ему лишь посредствомъ паралогизма, который приводитъ его самого ко многимъ противорѣчіямъ.

Въ „Замѣткахъ о журналахъ“ („Современникъ“, январь 1857 года) онъ, опредѣляя разницу между Печоринымъ и Рудинымъ, говоритъ: „одинъ—эгоистъ, не думающій ни о чемъ, кромѣ своихъ личныхъ наслажденій; другой—энтузіастъ, совершенно забывающій о себѣ и весь поглощаемый общими интересами; одинъ живетъ для своихъ страстей, другой—для своихъ идей. Это люди,... составляющіе совершенный контрастъ одинъ другому“. Это опять такъ. Но вѣдь не по расчету же Рудинъ жилъ для своихъ идей, а Печоринъ—для своихъ страстей?

Другой примѣръ. Героиня романа „Что дѣлать?“ возмущается людьми, „привыкшими понимать слово „интересъ“ въ слишкомъ узкомъ смыслѣ обыденнаго расчета“ (Сочиненія IX, с. 169). Выходитъ, стало быть, что расчетъ расчету рознь. Чѣмъ же отличается необыденный расчетъ отъ обыденнаго? На этотъ вопросъ отвѣчаетъ то же мѣсто романа: люди, придерживающіеся необыденнаго расчета, руководятся интересами своей совѣсти.

Итакъ, всѣ люди—эгоисты; но есть эгоисты, имѣющіе совѣсть, и есть эгоисты безсовѣстные. Это различіе, какъ двѣ капли воды, похоже на обычное различіе эгоистовъ отъ альтруистовъ.

Ученіе Чернышевскаго о нравственности грѣшитъ излишней разсудочностью. Тотъ же грѣхъ и по той же общей, указанной выше, причинѣ замѣтенъ и въ его историческихъ взглядахъ.

V.

Въ своей статьѣ о Грановскомъ Чернышевскій указываетъ на отсталость исторической науки. „Антропология, — говоритъ онъ, — только еще начинаетъ утверждать свое господство надъ отвлеченною моралью и одностороннею психологіей“ (Соч. II, 410).

Далѣе въ той же статьѣ онъ утверждаетъ, что со временемъ вліяніе естественныхъ наукъ на исторію „должно сдѣлаться неизмѣримо сильнымъ“. Иначе онъ и не могъ смотрѣть на этотъ вопросъ: недаромъ же онъ говорилъ въ статьѣ „Антропологическій принципъ“, что философія видитъ въ человѣкѣ то же самое, что видятъ въ немъ естественныя науки. Извѣстно, что естественныя науки видятъ въ человѣкѣ животное, организмъ котораго подчиненъ извѣстнымъ фи-

зіологічнимъ законамъ. Вотъ отсюда и исходилъ Чернышевскій въ своихъ историческихъ разсужденіяхъ.

Фізіологія говорить, что для нормальнаго хода жизни животнаго необходимо нормальное удовлетвореніе потребностей его организма: „она строго различаетъ хорошій ходъ функцій организма отъ дурнаго; аппетитъ и результатъ его, своевременное принятіе пищи въ количествѣ, соотвѣтствующемъ надобностямъ организма, она относитъ къ разряду фактовъ жизни, полезныхъ для организма; голодъ и его результаты—къ разряду фактовъ, вредныхъ организму“ (Соч. т. X, ч. 2-ая, отд. IV, стр. 217).

Чернышевскій примѣняетъ этотъ общій взглядъ къ вопросу о культурномъ развитіи человѣчества. Существуютъ факторы, содѣйствующіе хорошему ходу функцій человѣческаго организма. Это—факторы, которыми обусловливается въ послѣднемъ счетѣ культурный прогрессъ. И, наоборотъ, есть факторы, вредно вліяющіе на указанныя функціи. Ими объясняются, въ послѣдней инстанціи, регрессивныя явленія въ области культуры. Если человѣчество все-таки довольно далеко ушло впередъ по пути прогресса, то это объясняется тѣмъ, что факторы, благопріятные для правильнаго отправления функцій организма, оказались сильнѣе факторовъ неблагопріятныхъ.

Тутъ Чернышевскій имѣетъ въ виду тотъ періодъ въ исторіи развитія человѣчества, который надо назвать не только доисторическимъ, но, пожалуй, даже докультурнымъ,—въ настоящемъ смыслѣ этого выраженія—потому что прогрессъ этого періода приводитъ лишь къ умѣнію дѣлать каменные орудія труда, т.-е. тѣ орудія, которыя составляютъ одно изъ самыхъ первыхъ культурныхъ завоеваній человѣчества. И тутъ разсужденія нашего автора сохраняютъ строго матеріалистическій характеръ, хотя его матеріализмъ обнаруживаетъ подчасъ слишкомъ мало діалектической гибкости. Но какъ только нашъ авторъ переходитъ къ исторіи собственно такъ называемой, онъ покидаетъ матеріалистическую точку зрѣнія и становится идеалистомъ, очень нерѣдко вызывающимъ, правда, глубокія матеріалистическія мысли.

Чтобы понять, въ силу чего совершается этотъ переходъ Чернышевскаго отъ матеріализма къ идеализму, достаточно принять въ соображеніе то обстоятельство, что факторы, обусловившіе собою прогрессъ человѣческой культуры, вызвали сильное развитіе человѣческаго мозга. Мозгъ—органъ мысли. Чѣмъ больше развивался мозгъ, тѣмъ сильнѣе становилась мысль. Чѣмъ сильнѣе становилась мысль, тѣмъ правильнѣе дѣлались понятія людей. Чѣмъ правильнѣе становились ихъ понятія, тѣмъ болѣе улучшался ихъ общественный строй.

„Собственно превосходствомъ ума и объясняется—говоритъ Чернышевскій—весь прогрессъ человѣческой жизни“ (тамъ же, 182—183).

Въ основѣ свойственнаго Чернышевскому пониманія исторіи лежить знаменитое положеніе Фейербаха: „человѣкъ есть то, что онъ ѣстъ (Der Mensch ist, was er isst)“. Хорошимъ питаніемъ человѣческаго организма обезпечивается развитіе мозга, которымъ въ свою очередь обусловливается развитіе правильныхъ понятій, составляющихъ главную пружину историческаго движенія. Это уже чистѣйшій историческій идеализмъ.

Такимъ образомъ Чернышевскій остается матеріалистомъ до тѣхъ поръ, пока не выходитъ изъ области вопросовъ „общаго физиологическаго содержанія“. А какъ только передъ нимъ возникаютъ вопросы, „спеціально относящіеся къ человѣческой жизни“, онъ немедленно становится идеалистомъ. Философія Фейербаха, имѣвшая чисто матеріалистическій характеръ тамъ, гдѣ рѣчь шла объ отношеніи субъекта къ объекту, еще не способна была дать матеріалистическое объясненіе исторіи. Поэтому самъ Фейербахъ былъ, подобно Чернышевскому, идеалистомъ въ своихъ историческихъ взглядахъ. То же приходится сказать и о французскихъ матеріалистахъ восемнадцатаго столѣтія. Только Марксъ сумѣлъ примѣнить матеріализмъ къ объясненію историческаго движенія человѣчества, и потому съ Маркса начинается новая эпоха въ развитіи общественной науки.

При изученіи историческихъ взглядовъ нашего автора легко впасть въ ошибку, вслѣдствіе нѣкотораго внѣшняго сходства ихъ со взглядами, характерными для историческаго матеріализма.

Мы уже знаемъ, что въ своемъ ученіи о нравственности онъ придавалъ преувеличенное значеніе человѣческой расчетливости. То же мы видимъ и въ его историческихъ разсужденіяхъ. Онъ слишкомъ склоненъ объяснять историческія событія сознательнымъ расчетомъ ихъ участниковъ. Такое объясненіе можетъ иногда показаться чисто матеріалистическимъ. Но при нѣсколько внимательномъ отношеніи къ дѣлу немедленно обнаруживается нѣчто прямо-противоположное. Видѣть въ исторической дѣятельности людей лишь слѣдствіе ихъ сознательнаго расчета значитъ обѣими ногами стоять на почвѣ того историческаго идеализма, согласно которому „миѣніе правитъ міромъ“. И чѣмъ чаще прибѣгалъ Чернышевскій къ объясненію историческаго движенія ссылкой на человѣческую расчетливость, тѣмъ рѣшительнѣе обнаруживался идеалистическій характеръ свойственнаго ему пониманія исторіи.

VI.

Кто смотритъ на исторію съ идеалистической точки зрѣнія, тотъ естественно склоненъ придавать преувеличенное значеніе такъ называемой у насъ интеллигенціи, т.-е. собственно тѣмъ людямъ, спеціальность которыхъ состоитъ въ обращеніи съ идеологіями. Это мы замѣчаемъ и у Чернышевскаго. Какъ велика была та роль, которую

онъ приписывалъ интеллигенціи, лучше всего видно изъ его рецензіи на книгу Новицкаго „Постепенное развитіе древнихъ философскихъ ученій въ связи съ развитіемъ языческихъ вѣрованій“ („Совр.“, 1861 г., № 6, перепечатано въ полномъ собраніи сочиненій).

Въ этой рецензіи Чернышевскій сравниваетъ исторію человѣчества съ военными походами. При военныхъ походахъ появляются обыкновенно отсталые, число которыхъ все болѣе и болѣе увеличивается по мѣрѣ того, какъ все болѣе и болѣе подвигается впередъ армія со своимъ генеральнымъ штабомъ. При быстрыхъ наступленіяхъ бываетъ иногда такъ, что большинство солдатъ остается позади. Эти отсталые уже не участвуютъ въ битвахъ и только обременяютъ собою своихъ, находящихся въ строю, товарищей, на плечи которыхъ и падаетъ вся тяжесть борьбы. Но когда ихъ борьба оканчивается побѣдой; когда враги приводятся къ покорности, а побѣдители получаютъ возможность отдохнуть, тогда отсталые мало-по-малу нагоняютъ передовыхъ, и въ концѣ-концовъ вся армія опять соединяется подъ своими знаменами, какъ это было въ началѣ похода. То же самое замѣтно и въ умственномъ развитіи человѣчества. „Дѣло начинается постепеннымъ выдѣленіемъ людей высшаго умственного развитія изъ толпы, которая все дальше и дальше отстаетъ отъ ихъ быстрого движенія. Но по достиженіи очень высокихъ степеней развитія умственная жизнь передовыхъ людей получаетъ характеръ все болѣе и болѣе доступный простымъ людямъ, все больше и больше соотвѣтствующій простымъ потребностямъ массы, и вторая, высшая половина исторической умственной жизни состоитъ по своему отношенію къ умственной жизни простолюдиновъ въ постепенномъ возвращеніи того единства народной жизни, которое было при самомъ началѣ и которое разрушалось въ первой половинѣ движенія“.

Такъ происходитъ дѣло въ исторіи умственного развитія человѣчества, и тому, кто считаетъ это развитіе послѣдней причиной историческаго движенія, лежащей глубже всѣхъ остальныхъ его причинъ, вопросъ долженъ представляться исчерпаннымъ безъ остатка. Но историческій матеріалистъ взглянетъ на это дѣло совсѣмъ другими глазами.

Отсталая масса мало-по-малу нагоняетъ интеллигенцію, постепенно усваивая истины, открытыя этой послѣдней. Хорошо. Но почему же она нагоняетъ интеллигенцію? Почему она усваиваетъ эти истины? Приводимый Чернышевскимъ примѣръ съ арміей совсѣмъ не отвѣчаетъ на эти вопросы. Существуютъ вполне опредѣленные причины, заставляющія отсталыхъ солдатъ, — если они не окончательно развратились, — догонять дѣйствующую армію. Излишне было бы перечислять эти причины, такъ какъ онѣ болѣе или менѣе извѣстны всякому. Но какія же причины заставляютъ отсталую массу догонять ушедшую впередъ интеллигенцію? Чернышевскій говоритъ: то обстоятельство, что истина, завоеванная интеллигенціей, сообразна

съ потребностями массы. А чѣмъ опредѣляются эти потребности? Ясно, что не вновь открытою истиною, потому что ихъ существованіе предшествуетъ ея открытію. Чѣмъ же? Потребности всякаго даннаго класса опредѣляются его общественнымъ положеніемъ. Стало быть, прежде чѣмъ говорить о соотвѣтствіи завоеванной истины съ потребностями массы, намъ нужно опредѣлить общественное положеніе этой послѣдней. А ея общественное положеніе опредѣляется, какъ извѣстно, общественно-экономическими отношеніями. Такимъ образомъ, вопросъ о соотвѣтствіи завоеванной истины съ потребностями массы вплотную приводитъ насъ къ вопросу объ экономикѣ даннаго общества. Но это еще не все. Общественная экономика не стоитъ на одномъ мѣстѣ. Она развивается, и ея развитіе имѣетъ свою внутреннюю логику, въ силу которой оно пріобрѣтаетъ то или иное направленіе и идетъ болѣе или менѣе быстрымъ ходомъ. Чѣмъ быстрѣ совершается экономическое развитіе общества, тѣмъ скорѣе пробуждается масса отъ своей умственной спячки и тѣмъ доступнѣе дѣлается она вліянію новыхъ понятій. Значитъ, если отсталая масса болѣе или менѣе быстро догоняетъ интеллигенцію, то на это есть совершенно опредѣленная совокупность экономическихъ причинъ. Но и это не все. Почему интеллигенція данной страны и даннаго времени сосредоточиваетъ вниманіе на теоретическихъ вопросахъ одного рода, а интеллигенція другой страны и другой эпохи обращается къ вопросамъ совершенно другого порядка? Отвѣта и здѣсь нужно искать не въ отвлеченныхъ свойствахъ истины, а въ преобладающемъ характерѣ существующихъ въ данной странѣ и въ данную эпоху общественныхъ (въ послѣдней инстанціи—экономическихъ) отношеній. Наконецъ, интеллигенція далеко не всегда занимается вопросами, имѣющими наиболѣе близкое отношеніе къ потребностямъ массы. Иногда, напротивъ, она принимаетъ гораздо ближе къ сердцу вопросы, наиболѣе важные съ точки зрѣнія интересовъ тѣхъ, которые эксплуатируютъ и угнетаютъ массу. Почему въ одномъ случаѣ бываетъ такъ, а въ другомъ иначе, это опять объясняется не отвлеченными свойствами истины, а конкретными общественными отношеніями данной страны и данной эпохи.

Мы видимъ теперь, что вопросъ объ отношеніи массы къ интеллигенціи, точно такъ же, какъ и дополнительный вопросъ объ отношеніи этой послѣдней къ массѣ, принимаетъ при свѣтѣ историческаго матеріализма видъ несравненно болѣе сложный, нежели тотъ, въ какомъ онъ представлялся Чернышевскому. Чернышевскій и этотъ вопросъ рѣшалъ ссылкой на человѣческую расчетливость: расчетъ заставитъ массу усвоить открытую интеллигенціей истину. „Миѣніе“—и главнымъ образомъ расчетъ „править міромъ“. Это—опять чисто идеалистическій взглядъ.

Но мы уже сказали, что въ историческихъ разсужденіяхъ нашего автора нерѣдко встрѣчаются очень глубокія матеріалистическія мысли. Вотъ примѣръ. Въ 1855 году въ статьѣ о „Пропи-

л е с я хъ“ Леонтьева онъ писалъ, оспаривая мнѣніе Куторги, считавшаго земледѣльческій бытъ первоначальнымъ бытомъ челоѣчества:

„Преданія всѣхъ народовъ свидѣлствуютъ о томъ, что прежде, нежели узнали они земледѣліе и сдѣлались осѣдлыми, они бродили, существуя охотою и скотоводствомъ. Чтобы ограничиться греческими преданіями и относящимися именно къ Атикѣ, укажемъ на мнѣ о Церерѣ и Триптолемѣ, котораго научила она земледѣлію—очевидно, что по воспоминаніямъ греческаго народа нищенское и грубое состояніе дикарей охотниковъ было первымъ, а съ благоденствіемъ осѣдлой земледѣльческой жизни познакомились люди уже впоследствии. Такія общія всѣмъ народамъ преданія совершенно подтверждаются для всего европейскаго отдѣла индо-европейскихъ племенъ изслѣдованіями Гримма, которыя справедливо считаются безусловно вѣрными въ своихъ главныхъ выводахъ. То же самое прямымъ образомъ доказываютъ положительные факты, записанные въ историческихъ памятникахъ: мы не знаемъ ни одного народа, который, ставъ разъ на степень земледѣльческаго, ниспалъ потомъ въ состояніе одичалости, не знающей земледѣлія; напротивъ того, у многихъ изъ европейскихъ народовъ достовѣрная исторія записала почти съ самаго начала весь ходъ распространенія земледѣльческаго быта“. (Соч., I, 389). Съ фактической стороны тутъ есть нѣкоторыя неточности (племена, недавно перешедшія къ земледѣлію, иногда покидаютъ это занятіе и возвращаются къ охотѣ). Но это не важно. Во всякомъ случаѣ вѣрно то, что земледѣліе не есть первый шагъ въ развитіи общественныхъ производительныхъ силъ. Правъ Чернышевскій и въ слѣдующихъ строкахъ: „У пастушескихъ народовъ, безпрестанно перекочевывающихъ съ мѣста на мѣсто, личная поземельная собственность недостаточна, стѣснительна и потому не нужна. У нихъ только община (племя, родъ, орда, улусъ, юрта) хранитъ границы своей области, которая остается въ нераздѣльномъ пользованіи у всѣхъ ея членовъ; отдѣльныя лица не имѣютъ отдѣльной собственности. Совершенно не то въ земледѣльческомъ бытѣ, который дѣлаетъ необходимою личную поземельную собственность. Потому-то отъ кочевого состоянія ведетъ начало связь земли съ племенными и впоследствии съ государственными правами“ (тамъ же, 389). Тутъ очень хорошо указана причинная зависимость правовыхъ учрежденій общества отъ его экономическаго строя. А вотъ мѣсто, показывающее, что нашъ авторъ умѣлъ связать съ экономикой всю внутреннюю жизнь.

Въ своихъ „Очеркахъ политической экономіи“ онъ, давъ анализъ существующаго въ современномъ обществѣ „трехчленнаго распределенія продуктовъ“, писалъ: „Мы видѣли, что интересы ренты противоположны интересамъ прибыли и рабочей платы вмѣстѣ. Противъ сословія, которому выдѣляется рента, средній классъ и простой народъ всегда были союзниками. Мы видѣли, что интересъ прибыли противоположенъ интересу рабочей

платы. Какъ только одерживаютъ въ своемъ союзѣ верхъ надъ получающимъ ренту классомъ сословіе капиталистовъ и сословіе работниковъ, исторія страны получаетъ главнымъ своимъ содержаніемъ борьбу средняго сословія съ народомъ“ (курсивъ нашъ. Соч. VII, 415).

Исторія идей мѣстами тоже освѣщается у Чернышевскаго яркимъ свѣтомъ матеріализма. Это особенно видно на его разсужденіяхъ объ исторіи политической экономіи. По его словамъ, экономисты школы А. Смита были представителями стремленій средняго класса (или, какъ онъ выражается, сословія). Нынѣшнія экономическія отношенія выгодны для этого класса. „Потому школа, бывшая представительницею его, и находила, что формы эти самыя лучшія по теоріи; натурально, что при господствѣ такого направленія являлись многіе писатели, высказывавшіе общую мысль еще съ большею рѣзкостью, называвшіе формы эти вѣчными, безусловными“ (Соч. VIII, 137). Когда о вопросахъ политической экономіи стали задумываться люди, бывшіе представителями массы, тогда явилась въ наукѣ другая экономическая школа, которую зовутъ,—неизвѣстно на какомъ основаніи, какъ замѣчаетъ Чернышевскій,—школой утопистовъ. Съ появленіемъ этой школы экономисты, представлявшіе интересы средняго класса, увидѣли себя въ положеніи консерваторовъ. Когда они выступили противъ средневѣковыхъ учрежденій, противорѣчащихъ интересамъ средняго класса, они взывали къ разуму. А теперь къ разуму стали вывать въ свою очередь представители массы, не безъ основанія упрекавшіе представителей средняго класса въ непослѣдовательности. „Противъ средневѣковыхъ учрежденій,—говоритъ Чернышевскій,—разумъ былъ для школы Адама Смита превосходнымъ орудіемъ, а на борьбу съ новыми противниками это оружіе не годилось, потому что перешло въ ихъ руки и побивало послѣдователей школы Смита, которымъ прежде было такъ полезно“ (тамъ же, стр. 139). Вслѣдствіе этого ученые представители средняго класса перестали ссылаться на разумъ и начали ссылаться на исторію. Такъ возникла историческая школа въ политической экономіи, однимъ изъ основателей которой былъ Вильгельмъ Рошеръ.

Чернышевскій утверждаетъ, что такое объясненіе исторіи экономической науки несравненно болѣе правильно, нежели обычное ея объясненіе съ помощью ссылокъ на большій или меньшій запасъ знаній у той или другой школы. Онъ насмѣшливо замѣчаетъ, что это второе объясненіе похоже на тотъ способъ, какимъ оцѣниваютъ учениковъ на экзаменахъ: такую-то науку данный ученикъ знаетъ хорошо, такую-то плохо. Дѣло не въ свѣдѣніяхъ, а въ томъ, каковы чувства даннаго мыслителя или той группы людей, которую онъ представляетъ. Фурье зналъ исторію не лучше, нежели Сей, а между тѣмъ пришелъ совсѣмъ къ другимъ, нежели онъ, выводамъ.

Съ этимъ охотно согласится всякій послѣдователь историческаго матеріализма. Не „сознаніе“ опредѣляетъ собою „бытіе“, а „бытіе“ опредѣляетъ собою „сознаніе“. Это положеніе, составляющее основу

гносеологіи Фейербаха, примѣняется Чернышевскимъ къ объясненію внутренней жизни новѣйшаго европейскаго общества, существующихъ въ немъ экономическихъ теорій и даже (въ другомъ мѣстѣ, нами здѣсь не приводимомъ) къ его философіи. Но мы уже знаемъ, что въ объясненіи исторіи матеріализмъ очень скоро превращается у Чернышевскаго, какъ и у самого Фейербаха, въ идеализмъ. И замѣчательно, что матеріализмъ Фейербаха-Чернышевскаго тѣмъ скорѣе уступаетъ въ исторической области мѣсто идеализму, чѣмъ болѣе онъ хочетъ оставаться вѣрнымъ самому себѣ.

Чернышевскій объясняетъ внутреннюю жизнь европейскаго общества и его умственную исторію (по крайней мѣрѣ нѣкоторыя страницы этой исторіи) господствующими въ немъ экономическими отношеніями. Но эти отношенія представляются ему подъ угломъ экономическаго „интереса“; а „интересъ“ отождествляется имъ со знакомымъ уже намъ „расчетомъ“, который, какъ операція разсудка, немедленно возвращаетъ насъ къ той идеалистической теоріи, согласно которой „мнѣніе правитъ міромъ“. Когда Чернышевскій ищетъ разгадки общественныхъ явленій въ экономикѣ, онъ не покидаетъ того убѣжденія, что міръ управляется мнѣніями, а только точнѣе опредѣляетъ, какой именно категоріи мнѣній принадлежитъ руководящая роль въ исторіи міра; онъ думаетъ, что эта категорія составляетъ изъ тѣхъ мнѣній, которыя имѣются у людей насчетъ ихъ собственнаго „интереса“. Такимъ образомъ его философія исторіи сближается съ его ученіемъ о нравственности: и тамъ, и тутъ мы находимъ замѣчательные зародыши матеріалистическаго объясненія; но и тамъ, и тутъ зародыши эти остаются неразвитыми.

VII.

Совершенно то же самое видимъ мы и въ эстетической теоріи нашего автора.

По ученію Фейербаха предметъ въ его истинномъ смыслѣ дается лишь ощущеніемъ.

Фейербахъ говоритъ: „чувственность, или дѣйствительность, тождественна съ истиной“. Онъ утверждаетъ также, что чувства говорятъ все, но чтобы умѣть читать ихъ показанія, надо умѣть связывать эти показанія одно съ другимъ. „Думать—значитъ умѣть связно читать евангеліе чувствъ“.

Идеалистическая философія пренебрежительно относилась къ свидѣтельству нашихъ органовъ чувствъ. Она полагала, что представленія о предметахъ, основанныя лишь на чувственномъ опытѣ, не соотвѣтствуютъ дѣйствительной природѣ предметовъ и должны быть провѣрены съ помощью „чистаго“ мышленія. Фейербахъ рѣшительно возсталъ противъ этого. Онъ находилъ, что если бы наши представленія о предметахъ основывались лишь на нашемъ чувственномъ опытѣ, то они, наоборотъ, вполне соотвѣтствовали бы истинѣ.

Но бѣда въ томъ, что наша фантазія часто искажаетъ наши представленія, которыя поэтому приходятъ въ противорѣчіе съ чувственнымъ опытомъ. Задача философіи заключается въ томъ, чтобы изгнать фантастическій элементъ изъ нашихъ представленій. „Сначала люди видятъ вещи не такими, каковы онѣ на самомъ дѣлѣ, а такими, какими онѣ кажутся,—говоритъ Фейербахъ;—люди видятъ не вещи, а то, что они вообразили о нихъ, приписываютъ имъ свою собственную сущность, не различаютъ предмета отъ своего представленія о немъ. Только въ самое послѣднее время человѣчество начинаетъ возвращаться къ неискаженному фантазіей объективному созерцанію чувственного“.

И тѣмъ самымъ оно возвращается къ самому себѣ. Потому что люди, занимающіеся лишь вымыслами и абстракціями, сами могутъ быть только фантастическими и абстрактными, а не дѣйствительными существами.

Примѣните это ученіе Фейербаха (изложенное въ 43 § его „Grundsätze“) къ эстетикѣ, и вы получите эстетическую теорію Чернышевскаго.

Если сущность человѣка—„чувственность“, т.-е. дѣйствительность, а не вымыселъ и не абстракція, то всякое превознесеніе вымысла и абстракціи надъ дѣйствительностью не только ошибочно, но и вредно на практикѣ. И если задача философіи заключается въ реабилитаціи дѣйствительности, то въ такой же реабилитаціи заключается и задача эстетики, какъ особой отрасли философскаго мышленія. Этотъ неоспоримый выводъ и составляетъ главную мысль диссертациі Чернышевскаго объ „Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности“.

Теорія эстетики, выросшая на почвѣ гегелевскаго идеализма, доказывала, что искусство имѣетъ своимъ источникомъ стремленіе людей освободить прекрасное, существующее въ дѣйствительности, отъ недостатковъ, мѣшающихъ ему вполне удовлетворять человѣка.

Чернышевскій, опираясь на матеріализмъ Фейербаха, держится прямо-противоположнаго взгляда. Онъ думаетъ, что прекрасное въ дѣйствительности всегда выше прекраснаго въ искусствѣ. Для доказательства этого онъ подробно разбираетъ всѣ „упреки, дѣлаемые прекрасному въ дѣйствительности“ Фишеромъ, который былъ тогда самымъ виднымъ представителемъ идеалистической эстетики въ Германіи. И онъ приходитъ къ тому выводу, что прекрасное, какъ оно существуетъ въ живой дѣйствительности, или совсѣмъ не имѣетъ недостатковъ, находимыхъ въ немъ идеалистами, или же имѣетъ ихъ въ слабой степени. Къ тому же отъ такихъ недостатковъ несвободны и произведенія искусства. Напротивъ, всѣ недостатки прекраснаго, существующаго въ дѣйствительности, принимаютъ въ произведеніяхъ искусства гораздо большіе размѣры. Чернышевскій доказываетъ, что ни одинъ родъ искусства не можетъ соперничать съ дѣйствительностью по красотѣ своихъ произведеній. А это значить, что искус-

ство и не могло имѣть своимъ источникомъ стремленіе освободить прекрасное отъ недостатковъ, будто бы присущихъ ему въ дѣйствительности и будто бы мѣшающихъ людямъ наслаждаться имъ. Произведенія искусства—суррогатъ прекраснаго въ дѣйствительности: они знакомятъ съ прекраснымъ явленіемъ тѣхъ, которые его не видали; они вызываютъ воспоминанія о немъ у тѣхъ, которые его видѣли.

Цѣль искусства состоитъ не въ исправленіи, а въ воспроизведеніи прекраснаго, существующаго въ дѣйствительности. Къ этому надо прибавить, что сфера искусства гораздо шире, нежели сфера прекраснаго. Искусство воспроизводитъ всѣ тѣ явленія дѣйствительной жизни, которыя почему-либо интересны для людей. Чернышевскій поясняетъ, что подъ дѣйствительной жизнью надо понимать не только отношеніе человѣка къ предметамъ и существамъ внѣшняго міра, но и его внутреннюю жизнь: „иногда человѣкъ живетъ мечтами—тогда мечты имѣютъ для него... значеніе чего-то объективнаго; еще чаще человѣкъ живетъ въ мірѣ своего чувства; эти состоянія, если достигаютъ интересности, также воспроизводятся искусствомъ“.

Многія произведенія искусства не только показываютъ намъ жизнь, но и объясняютъ намъ ее. Поэтому они служатъ для насъ учебникомъ жизни. Чернышевскій находитъ, что „особенно слѣдуетъ сказать это о поэзіи“.

Наконецъ, нашъ авторъ приписываетъ искусству еще значеніе „приговора мысли о воспроизводимыхъ явленіяхъ“. Художникъ, если онъ мыслящій человѣкъ, не можетъ не судить о томъ, что онъ воспроизводитъ, и его сужденіе непременно отразится на его творчествѣ. Замѣтимъ мимоходомъ, что это третье значеніе искусства трудно отграничить отъ второго: художникъ не можетъ произнести передъ нами свой приговоръ надъ явленіями жизни, оставляя насъ въ неизвѣстности на счетъ того, какъ онъ ихъ понимаетъ, т.-е. не объясняя ихъ.

Въ своей знаменитой статьѣ „Разрушеніе эстетики“ Писаревъ говоритъ, что Чернышевскій взялся за свою диссертацию съ коварной цѣлью погубить эстетику, разбить ее всю на мелкіе кусочки, потомъ всѣ эти кусочки превратить въ порошокъ и развѣять этотъ порошокъ на всѣ четыре стороны. Это совсѣмъ не вѣрно. Принимаясь за свою диссертацию, Чернышевскій вовсе не собирался погубить эстетику. Наоборотъ. Цѣль его заключалась въ томъ, чтобы дать ей твердое философское (или, что для него было то же самое,—научное) основаніе. Поэтому онъ совсѣмъ не лицемерилъ, когда въ своей статьѣ о „Піи тикѣ“ Аристотеля, напечатанной въ IX кн. „Современника“ за 1854 г., горячо защищалъ эстетику отъ ея недоброжелателей, утверждавшихъ, что не слѣдуетъ заниматься ею, какъ наукой отвлеченной и потому неосновательной. И не трудно понять, почему онъ не могъ согласиться съ „недоброжелателями“ эстетики. Онъ дорожилъ ею, какъ орудіемъ реабилитаціи дѣйстви-

тельности, какъ средствомъ борьбы съ тѣми мечтами, которыми „иногда живетъ человѣкъ“, и которыя мѣшаютъ ему смотрѣть трезвыми глазами на дѣйствительность. Иначе сказать, онъ хотѣлъ воспользоваться эстетикой, — предварительно поставленной на твердое научное основаніе — для своихъ цѣлей пропагандиста передовыхъ идей — „просвѣтителя“.

Взглядъ на эстетику, какъ на орудіе реабилитаціи дѣйствительности, сблизилъ Чернышевскаго съ Бѣлинскимъ, который къ концу своей жизни тоже пришелъ къ философіи Фейербаха и тоже ставилъ передъ литературой задачу точнаго изображенія дѣйствительной жизни (особенно въ двухъ своихъ послѣднихъ годовыхъ обзорахъ русской литературы). Подобно Чернышевскому, Бѣлинскій въ послѣдній періодъ своей литературной дѣятельности отрицалъ теорію искусства для искусства и весьма сочувственно относился къ тѣмъ художникамъ, принадлежавшимъ къ такъ называвшейся тогда натуральной школѣ, которые не отказывались произносить свой „приговоръ“ надъ явленіями дѣйствительности, и произведенія которыхъ могли служить „учебникомъ жизни“. Вообще Чернышевскій былъ въ нашей литературѣ лишь наиболѣе законченнымъ представителемъ того типа просвѣтителей, родоначальникомъ котораго въ значительной степени являлся въ послѣдніе годы своей дѣятельности Бѣлинскій. Въ нѣкоторыхъ литературныхъ сужденіяхъ Бѣлинскаго замѣчается та же разсудочность „просвѣтителя“, которая особенно даетъ себя чувствовать въ критическихъ статьяхъ Чернышевскаго и которая дала поводъ ко многимъ, очевидно ошибочнымъ, но по-своему логичнымъ, выводамъ Писарева. Если назначеніе искусства заключается въ томъ, чтобы служить „учебникомъ жизни“, то, находясь въ извѣстномъ настроеніи, можно спросить себя, какіе учебники скорѣй достигнуть своей цѣли: тѣ ли, которые будутъ написаны художниками, или же тѣ, за составленіе которыхъ возьмутся талантливые публицисты. Писаревъ — самъ человѣкъ большого публицистическаго таланта — рѣшилъ этотъ вопросъ въ пользу публицистовъ и провозгласилъ „разрушеніе эстетики“.

Взявъ за точку исхода матеріалистическую философію Фейербаха, Чернышевскій и въ эстетикѣ скоро пришелъ къ идеалистическимъ выводамъ. Его диссертация говоритъ не о томъ, почему у людей одной эпохи и одного общественнаго класса существуютъ одни эстетическія понятія, а у людей другого времени и другого общественнаго положенія — другія. Она не занимается обнаруженіемъ причинной связи между условіями жизни людей и ихъ эстетическими вкусами. Ея вниманіе сосредоточивается не на томъ, что есть, и не на томъ, что было, а на томъ, что должно было бы быть, и на томъ, что въ самомъ дѣлѣ было бы, если бы люди стали прислушиваться къ голосу „разума“.

Но зато въ эстетикѣ Чернышевскаго — опять какъ и въ его историческихъ взглядахъ — мы встрѣчаемъ много зачатковъ совер-

шенно матеріалистическаго пониманія явленій. Въ его диссертациі есть блестящія страницы, относящіяся къ тому вопросу, который, вообще говоря, обходится въ ней, какъ второстепенный или даже третъестепенный: къ вопросу о причинной зависимости эстетическихъ вкусовъ отъ условій общественной жизни. Если бы онъ захотѣлъ обдумать этотъ вопросъ со всѣхъ его сторонъ, то онъ оказался бы, по крайней мѣрѣ, на пути къ тому, чтобы совершить величайшій переворотъ въ эстетикѣ, т.-е. окончательно изгнать изъ нея идеализмъ и сдѣлать ее матеріалистической. Но тотъ матеріалистическій методъ, котораго онъ держался, былъ еще недостаточно разработанъ. А кромѣ того, Чернышевскій, въ качествѣ „просвѣтителя“, интересовался не столько теоріей, сколько вытекавшими изъ нея практическими выводами. Поэтому, бросивъ мимоходомъ нѣсколько яркихъ лучей свѣта на вопросъ о зависимости „сознанія“ отъ „бытія“ въ области эстетики, онъ отворачивался отъ этого теоретическаго вопроса и спѣшилъ дать своимъ читателямъ побольше практическихъ совѣтовъ по части разумнаго отношенія къ дѣйствительности.

Мы не можемъ входить здѣсь въ подробности изложенія взглядовъ Чернышевскаго на отдѣльныхъ русскихъ писателей. Отмѣтимъ только его отношеніе къ Пушкину, котораго онъ вслѣдъ за Бѣлинскимъ (см. статьи этого послѣдняго „О Пушкинѣ“) считалъ поэтомъ формы.

Съ Гоголя начался, по его мнѣнію, новый литературный періодъ, главная особенность котораго заключается въ томъ, что форма уже не имѣетъ преобладающаго значенія, такъ какъ теперь выступаетъ на первый планъ содержаніе. Эту смѣну хорошо выяснилъ Бѣлинскій, взгляды котораго Чернышевскій подробно и съ величайшимъ сочувствіемъ изложилъ въ своихъ замѣчательныхъ „Очеркахъ гоголевскаго періода русской литературы“. Продолжая дѣятельность Бѣлинскаго, какъ родоначальника нашихъ просвѣтителей, Чернышевскій особенно дорожилъ тѣми произведеніями художественной литературы, которыя могли служить „учебниками жизни“. И подъ его вліяніемъ наша литературная критика въ теченіе многихъ лѣтъ усердно исполняла роль педагога, объясняющаго читателю смыслъ такихъ „учебниковъ“. Извѣстно, что наиболѣе блестящимъ представителемъ „публицистической“ критики былъ у насъ Добролюбовъ. Говоря о немъ, Чернышевскій всегда ставилъ его выше себя. На самомъ же дѣлѣ Добролюбовъ превосходилъ его развѣ лишь силою литературнаго таланта, да и то не во всѣхъ отношеніяхъ: Добролюбовъ никогда не былъ такимъ могучимъ полемистомъ, какъ Чернышевскій. Что же касается теоретической силы ума, то въ этомъ отношеніи Чернышевскій стоялъ несомнѣнно выше Добролюбова.

Литературная критика, въ особенности дорожающая такими художественными произведеніями, которыя могли бы служить „учебниками жизни“, естественно должна требовать отъ беллетристики в о з м о ж н о

болѣе точнаго воспроизведенія дѣйствительности. И Чернышевскій, въ самомъ дѣлѣ, требовалъ отъ нея такого воспроизведенія. Въ этомъ случаѣ онъ опять шелъ за Бѣлинскимъ. Но для его настроенія какъ нельзя болѣе характерно то, что его уже не удовлетворяла та манера изображенія дѣйствительности, какою отличалась „натуральная школа“. Эта манера казалась ему все-таки недостаточно правдивой. Вотъ почему онъ съ такимъ большимъ сочувствіемъ встрѣтилъ вышедшее въ 1861 г. отдѣльное изданіе разсказовъ Н. В. Успенскаго. По его поводу онъ помѣстилъ въ ноябрьской книжкѣ „Современника“ за тотъ же годъ чрезвычайно характерную для него статью „Не начало ли перемѣны?“. Онъ хвалилъ разсказы Н. В. Успенскаго за то, что въ нихъ не было того „прикрашиванія народныхъ нравовъ и понятій“, какимъ грѣшили посвящаемые народу произведенія натуральной школы, напримѣръ, очерки Тургенева и Григоровича. Въ лицѣ Н. В. Успенскаго Чернышевскій привѣтствовалъ появленіе новаго слоя писателей, смотрящихъ на крестьянина такими же трезвыми глазами, какъ на людей всѣхъ другихъ сословій. Чернышевскій доказываетъ своимъ читателямъ, что такъ и должно быть. „Забудемте же,—говоритъ онъ—кто свѣтскій чловѣкъ, кто купецъ или мѣщанинъ, кто мужикъ; будемте всѣхъ считать просто людьми и судить о каждомъ по чловѣческой психологіи, не позволяя себѣ утаивать передъ самими собой истину ради мужицкаго званія“.

Критика 70-ыхъ годовъ не поняла этого отношенія Чернышевскаго къ Н. В. Успенскому, да кстати не поняла и самого Н. В. Успенскаго; разсказы этого послѣдняго представлялись ей какимъ-то безцѣльнымъ издѣвательствомъ надъ крестьяниномъ. На самомъ дѣлѣ Н. В. Успенскій былъ далекъ отъ такого издѣательства. Наша „передовая“ критика 70-ыхъ годовъ въ своихъ общественныхъ взглядахъ стояла на точкѣ зрѣнія народничества, хотя и не всегда сознавала это. А народничество искало въ крестьянскомъ быту такихъ условій, которыя могли бы послужить объективной опорой для соціалистическихъ стремленій интеллигенціи. Естественно поэтому, что народникамъ, равно какъ и литературной критикѣ, находившейся всецѣло или отчасти подъ ихъ вліяніемъ, не нравились такія произведенія, въ которыхъ народъ, по выраженію Чернышевскаго, изображался просто филей. Но то, что не нравилось народникамъ, очень по душѣ пришлось нашимъ „просвѣтителямъ“ 60-ыхъ годовъ.

Разсказы Н. В. Успенскаго нимало не смущали „просвѣтителей“. Правда, крестьянинъ, выводимый въ этихъ разсказахъ, очень безтолковъ. „Но какой же мужикъ превосходитъ нашего быстротою пониманія?—спрашиваетъ Чернышевскій. Огромное большинство людей всѣхъ сословій и всѣхъ странъ живетъ рутиною и обнаруживаетъ крайнюю несообразительность, едва только случится ему выйти изъ круга своихъ обычныхъ представленій. Думаетъ своимъ умомъ развѣ только одинъ чловѣкъ на тысячу.

Тутъ передъ нами уже знакомый намъ взглядъ на массу, какъ на отсталую часть „дѣйствующей арміи“. И можетъ показаться непонятнымъ, какимъ образомъ люди, державшіеся такого взгляда, могли приурочивать къ самодѣятельности народа хоть одно изъ своихъ революціонныхъ упованій. Это недоумѣніе разъясняется слѣдующими словами Чернышевскаго:

„Рутина господствуетъ надъ обыкновеннымъ ходомъ жизни дюжинныхъ людей и въ простомъ народѣ, какъ во всѣхъ другихъ сословіяхъ; въ простомъ народѣ рутина такъ же тупа, пошла, какъ во всѣхъ другихъ сословіяхъ... Но не спѣшите выводить изъ этого никакихъ заключеній о состоятельности или несостоятельности вашихъ надеждъ, если вы желаете улучшенія судьбы народа, или вашихъ опасеній, если вы до сихъ поръ находили себѣ интересъ въ народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжиннаго, самаго безцвѣтнаго, слабохарактернаго человѣка: какъ бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бываютъ въ ней минуты совершенно другого оттѣнка: минуты энергическихъ усилій, отважныхъ рѣшеній. То же самое встрѣчается и въ исторіи каждаго даннаго народа“.

Таковы были общія соображенія, позволявшія въ началѣ 60-хъ годовъ Чернышевскому и его единомышленникамъ считать вполне возможнымъ и даже вѣроятнымъ взрывъ въ средѣ крестьянства, ждавшего себѣ „настоящей“ воли и неудовлетвореннаго тѣмъ, что давало ему 19-е февраля. Нельзя не признать, что эти общія соображенія были весьма отвлеченны.

Для характеристики образа мыслей Чернышевскаго полезно будетъ сопоставить съ только что приведенными отрывками статьи „Не начало ли перемѣны?“ нѣкоторыя мѣста изъ второй части его написаннаго въ Сибири романа „Прологъ“.

Тамъ Левицкій (Добролюбовъ) послѣ свиданія съ Волгинымъ (Чернышевскимъ) заноситъ въ свой дневникъ: „Онъ не вѣритъ въ народъ. По его мнѣнію, народъ такъ же плохъ и пошлъ, какъ общество“ (Соч. X, ч. I-я, отд. II, 215—216). Если мы не ошибаемся, это значитъ, что, согласно воспоминаніямъ самого Чернышевскаго, его взглядъ на народъ показался Добролюбову полнымъ „невѣріемъ“. И нельзя удивляться такому взгляду: онъ сложился у Чернышевскаго въ эпоху, послѣдовавшую за крушеніемъ всѣхъ надеждъ, вызванныхъ революціей 1848 года. Эта эпоха характеризуется полной подавленностью западно-европейскаго пролетаріата. Нечего и прибавлять, что русское крестьянство тоже не давало тогда никакихъ основаній рассчитывать на его самодѣятельность. Въ виду этого Чернышевскому, какъ и всѣмъ людямъ его образа мыслей, оставалось уповать лишь на отдѣльныхъ мыслящихъ людей, принадлежавшихъ къ интеллигенціи. Это не помѣшало ему, какъ мы знаемъ, бодро смотрѣть въ будущее: онъ вѣрилъ въ торжество разума, носительницей котораго и представлялась ему интеллигенція. Но когда онъ дѣлалъ попытку

представить себѣ тотъ путь, какимъ разумъ придетъ къ своему торжеству, то его предположенія сразу становились весьма неопредѣленными. Его историческія ожиданія не связывались съ ростомъ какой-нибудь опредѣленной общественной силы или нѣсколькихъ общественныхъ силъ. Поэтому въ нихъ отводилось слишкомъ большое мѣсто случайности. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно прочесть слѣдующее мѣсто изъ цитированной уже II части романа „Прологъ“ („Дневникъ Левицкаго“). Читатель долженъ помнить, что въ этомъ мѣстѣ Левицкій (Добролюбовъ) записалъ слова, обращенныя къ нему Волгинымъ (Чернышевскимъ), и рассказъ ведется отъ лица Левицкаго:

„Придетъ серьезное время. Когда? Я молодъ, потому для вопроса обо мнѣ все равно, когда оно придетъ: во всякомъ случаѣ оно застанетъ меня еще въ полномъ цвѣтѣ силъ, если я сберегу себя. Какъ придетъ?

„Шансы будущаго различны. Какой изъ нихъ осуществится? Не все ли равно? Угодно мнѣ слышать его личное предположеніе о томъ, какой шансъ вѣроятнѣе другихъ? Разочарованіе общества и отъ разочарованія новое либеральничаніе въ новомъ вкусѣ, попрежнему мелкое, презрѣнное, отвратительное для всякаго умнаго челоуѣка съ какимъ бы то ни было образомъ мыслей... И будетъ развиваться, развиваться все подло и трусливо, пока гдѣ-нибудь въ Европѣ,—вѣроятнѣе всего во Франціи,—не подымется буря и не пойдетъ по всей Европѣ, какъ было въ 1848 г. Въ 1830 году буря прошумѣла только по Западной Германіи; въ 1848 году захватила Вѣну и Берлинъ. Судя по этому, надобно думать, что въ слѣдующій разъ захватитъ Петербургъ и Москву“.

Тутъ Волгинъ гадаетъ о тѣхъ буряхъ, которыя предстоитъ пережить Левицкому. Надобно полагать, что въ томъ же родѣ гадалъ онъ и о самомъ себѣ. Если онъ по окончаніи университетскаго курса на нѣсколько лѣтъ удалился въ Саратовъ, то это произошло, вѣроятно, потому, что глухое затишье послѣднихъ лѣтъ царствованія Николая I справедливо казалось ему неблагопріятнымъ для выступленія на арену общественной дѣятельности. Онъ рѣшилъ ждать болѣе благопріятныхъ „шансовъ“, работая лично надъ собой и надъ тѣми преимущественно молодыми людьми, съ которыми ему приходилось сталкиваться. Саратовъ онъ оставилъ въ 1853 году лишь потому, что женитьба заставила его искать въ столицѣ лучшаго заработка. „Передрыга Крымской войны“ открыла передъ нимъ болѣе широкія перспективы; но и послѣ нея онъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ продолжалъ смотрѣть на положеніе дѣлъ глазами скептика, не вѣрившаго въ возможность у насъ широкаго народнаго движенія. Только крестьянскія волненія, сопровождавшія отмѣну крѣпостного права, сдѣлали такое движеніе вполне возможнымъ, а можетъ быть, даже и неизбѣжнымъ въ его глазахъ. Но не слѣдуетъ думать, что онъ въ свои молодые годы предпочиталъ революціонный путь

мирному. Изъ „Дневника Левицкаго“ видно, что, по тогдашнему мнѣнію Чернышевскаго, было бы гораздо лучше, если бы все обошлось у насъ „тихо, мирно“.

VII.

Такимъ его мнѣніемъ въ значительной мѣрѣ и объясняются многія его публицистическія статьи названной эпохи. Вотъ, напримѣръ, что писалъ онъ въ статьѣ „Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X“ („Современникъ“, 1858 г., №№ 8 и 10).

„У либераловъ и демократовъ существенно различны коренныя желанія, основныя побужденія. Демократы имѣютъ въ виду по возможности уничтожить преобладаніе высшихъ классовъ надъ низшими въ государственномъ устройствѣ, съ одной стороны, уменьшить силу и богатство высшихъ сословій, съ другой—дать болѣе вѣса и благосостоянія низшимъ сословіямъ. Какимъ путемъ измѣнить въ этомъ смыслѣ законы и поддержать новое устройство общества, для нихъ почти все равно. Напротивъ того, либералы никакъ не согласятся предоставить перевѣсъ въ обществѣ низшимъ сословіямъ, потому что эти сословія по своей необразованности и матеріальной скудости равнодушны къ интересамъ, которые выше всего для либеральной партіи, именно, къ праву свободной рѣчи и конституціонному устройству. Для демократа наша Сибирь, въ которой простонародье пользуется благосостояніемъ, гораздо выше Англіи, въ которой большинство народа терпитъ сильную нужду. Демократъ изъ всѣхъ политическихъ учрежденій непримиримо враждебенъ только одному—аристократіи; либераль почти всегда находитъ, что только при извѣстной степени аристократизма общество можетъ достигнуть либеральнаго устройства. Потому либералы обыкновенно питаютъ къ демократіи смертельную непріязнь, говоря, что демократизмъ ведетъ къ деспотизму и гибеленъ для свободы“

Тутъ необходима одна терминологическая поправка. Для демократа, стремящагося къ „народоправству“, совсѣмъ не безразличенъ вопросъ о политическомъ устройствѣ. Какъ человѣкъ очень образованный, Чернышевскій, разумѣется, зналъ это. Поэтому надо предположить, что, говоря о „демократахъ“, онъ имѣлъ въ виду не ихъ, а социалистовъ: мы уже знаемъ, что цензура нерѣдко принуждала его говорить эзоповскимъ языкомъ. Тѣ социалисты, ученія которыхъ были извѣстны Чернышевскому (такъ называемые теперь социалисты-утописты), въ самомъ дѣлѣ были, за весьма немногими исключеніями, равнодушны къ политикѣ, и имъ въ самомъ дѣлѣ было „почти все равно“, при какихъ политическихъ условіяхъ ни началось бы осуществленіе ихъ реформаторскихъ плановъ. Чернышевскій—который самъ стоялъ на почвѣ утопическаго социализма—могъ, подъ вліяніемъ вышеука-

заннаго своего настроенія, нисколько не измѣняя своимъ взглядамъ, отодвигать вопросы политическаго устройства на задній планъ и даже предпочитать Сибирь Англіи. Но все, что говорится имъ на этотъ счетъ, имѣетъ смыслъ именно только въ примѣненіи къ социалистамъ-утопистамъ, а не къ демократамъ.

Далѣе онъ развиваетъ свою мысль съ помощью доводовъ, еще лучше освѣщающихъ политическую сторону его міросозерцанія. Народъ не имѣетъ возможности пользоваться политической свободой, такъ какъ во всѣхъ странахъ большинство его безграмотно. Съ какой же стати будетъ онъ дорожить правомъ свободной рѣчи? Нужда и невѣжество осуждаютъ его на полное непониманіе государственныхъ дѣлъ. Съ какой же стати будетъ онъ интересоваться парламентскими преніями? Чернышевскій категорически утверждаетъ, что „нѣтъ такой европейской страны, въ которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно къ правамъ, составляющимъ предметъ желаній и хлопотъ либерализма“. Вотъ почему либерализмъ вездѣ безсиленъ.

Это тѣ самыя положенія, съ которыми на каждомъ шагу встрѣчается человѣкъ, изучающій исторію утопическаго социализма. Утопическій социализмъ никогда не могъ разрѣшить ту антиномію, первая половина которой гласитъ, что народная масса, по своей бѣдности и по своему невѣжеству, не можетъ интересоваться политикой, а вторая констатируетъ, что всѣ серьезныя политическія преобразованія совершались лишь при серьезной поддержкѣ со стороны народной массы. Поэтому ни одинъ изъ основателей утопическихъ системъ не имѣлъ политической программы. По той же причинѣ практическіе планы социалистовъ-утопистовъ никогда не обладали широкимъ—національнымъ, какъ говорятъ теперь на Западѣ—характеромъ: всѣ они сводились къ основанію частными средствами земледѣльческихъ колоній, производительныхъ ассоціацій и т. п. Спустя совсѣмъ немного лѣтъ послѣ появленія статьи „Борьба партій во Франціи“ европейскій пролетаріатъ, въ лицѣ наиболѣе сознательныхъ своихъ элементовъ, громко заявилъ, что смотритъ на политическую борьбу какъ на средство для осуществленія своихъ экономическихъ цѣлей. Первый же манифестъ Международнаго товарищества рабочихъ гласитъ, что „первый долгъ рабочаго класса заключается въ завоеваніи политическаго могущества“. Скажемъ больше. Въ то время, когда началась литературная дѣятельность Чернышевскаго, даже нѣкоторые социалисты-утописты—напримѣръ, нѣкоторые французскіе ученики Фурье—поставили передъ собой уже довольно опредѣленныя политическія задачи. Но Чернышевскій, какъ видно, еще не далъ себѣ отчета въ этомъ, тогда еще мало замѣтномъ, поворотѣ социалистической мысли. Онъ продолжалъ смотрѣть на политику глазами человѣка, совершенно не вѣрящаго въ политическую самодѣятельность массы. Пока онъ считалъ возможнымъ заставить русское правительство прислушаться къ голосу „демократовъ“, онъ

готовъ былъ совершенно игнорировать тѣ стороны общественнаго быта, которыми Англія далеко превосходитъ „нашу Сибирь“. А когда онъ убѣдился, что правительство останется глухо къ доводамъ „демократовъ“,—къ большой чести его приходится замѣтить, что онъ убѣдился въ этомъ раньше всѣхъ остальныхъ выдающихся публицистовъ того времени, напримѣръ, Герцена и Бакунина,—тогда ему оставалось одно: обратиться къ „дѣйствующей арміи“ челоуѣчества, т.-е. къ интеллигенціи.

Но, обращаясь къ ней, онъ не могъ не сознавать, что ея силы слишкомъ слабы для непосредственнаго политическаго дѣйствія. Поэтому, когда ему приходилось заводить съ нею разговоръ о политическихъ вопросахъ,—преимущественно въ „Политическихъ обозрѣніяхъ“, печатавшихся въ томъ же „Современникѣ“,—онъ старался освѣтить эти вопросы гораздо больше съ отвлеченной точки зрѣнія теоріи, нежели съ точки зрѣнія непосредственной задачи минуты. И это нерѣдко подавало поводъ къ большимъ недоразумѣніямъ. Наши тогдашніе либералы искренне считали его защитникомъ абсолютизма.

Вотъ примѣръ. Въ апрѣлѣ 1862 г. Чернышевскій, говоря о столкновеніи правительства съ палатой депутатовъ въ Пруссіи, насмѣхается надъ прусскими либералами, наивно удивлявшимися, по его словамъ, тому, что правительство не дѣлаетъ имъ добровольныхъ уступокъ. „Мы находимъ,—говоритъ онъ,—что прусскому правительству такъ и слѣдовало поступить“. Наивный читатель, котораго нашъ Чернышевскій окрестилъ въ своемъ романѣ „Что дѣлать?“ именемъ проницательнаго читателя, недоумѣвалъ: какъ же это „слѣдовало поступить“? Стало быть, Чернышевскій ополчается на защиту деспотизма? Но само собой понятно, что на защиту деспотизма Чернышевскій никогда не ополчался, а только хотѣлъ воспользоваться прусскими событіями для сообщенія болѣе догадливымъ изъ своихъ читателей правильнаго взгляда на то главнѣйшее условіе, отъ котораго зависитъ въ конечномъ счетѣ исходъ всѣхъ крупныхъ политическихъ столкновеній. А это условіе заключается вотъ въ чемъ.

„Какъ споры между различными государствами ведутся сначала дипломатическимъ путемъ, точно такъ же борьба изъ-за принциповъ внутри самаго государства ведется сначала средствами гражданскаго вліянія или такъ называемымъ законнымъ путемъ. Но какъ между различными государствами споръ, если имѣетъ достаточную важность, всегда приводитъ къ военнымъ угрозамъ, точно такъ и во внутреннихъ дѣлахъ государства, если дѣло немаловажно“.

Сила есть послѣдняя инстанція во всѣхъ крупныхъ историческихъ тяжбахъ. Это не значитъ, что всякій тяжущійся долженъ немедленно прибѣгать къ силѣ. Но это значитъ, что всякій тяжущійся долженъ стараться увеличить свою силу. Такъ смотрѣлъ Чернышевскій. И онъ былъ правъ, говоря, что прусскіе

либералы хотѣли, чтобы конституціонный порядокъ утвердился самъ собою. Они не только не прибѣгли къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ,— за это нельзя было бы ихъ винить, такъ какъ при тогдашнемъ соотношеніи общественныхъ силъ такія дѣйствія, навѣрно, привели бы ихъ къ пораженію,—но въ принципѣ осуждали всякую мысль о такихъ дѣйствіяхъ. А это значить, что они препятствовали такой перемѣнѣ въ соотношеніи общественныхъ силъ, которая позволила бы имъ прибѣгнуть къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ даже и въ будущемъ. И этимъ ясно обнаруживается ихъ политическая несостоятельность.

Замѣчательно, что именно въ то время, когда Чернышевскій осмѣивалъ прусскихъ либераловъ въ „Современникѣ“, Лассаль громилъ ихъ въ своихъ рѣчахъ. И еще болѣе замѣчательно, что германскій агитаторъ, иногда тѣми же словами, что и Чернышевскій, указывалъ на соотношеніе общественныхъ силъ, какъ на истинную основу политическаго строя cadaго даннаго государства.

Отмѣчая это замѣчательное сходство, мы считаемъ, однако, нужнымъ сказать и то, что взглядъ Лассаля на „Сущность конституціи“ далеко не во всемъ совпадаетъ со взглядомъ Чернышевскаго. Когда Лассаль опредѣлялъ понятіе: „общественная сила“, онъ не довольствовался ссылкой на взгляды людей. Онъ анализировалъ тѣ общественныя причины, которыми опредѣляется развитіе этихъ взглядовъ, и въ концѣ-концовъ приходилъ къ общественной экономикѣ. Не то у Чернышевскаго. На вопросъ: „что такое сила?“ онъ отвѣчалъ, что въ теоріи сила дается логикою, а на практикѣ она зависитъ отъ того, на чьей сторонѣ большинство, которое живетъ рутинной и мысли котораго представляютъ совсѣмъ не логическую связь взаимно противорѣчивыхъ принциповъ. Вотъ почему въ конституціонныхъ государствахъ власть принадлежитъ такъ называемымъ умѣреннымъ людямъ, т.-е. людямъ непослѣдовательнаго образа мыслей. Стало быть, анализъ Чернышевскаго останавливается на образѣ мыслей людей, не углубляясь въ тѣ общественныя причины, которыми онъ опредѣляется. Чернышевскій и тутъ не идетъ далѣе идеалистическаго принципа: „миѣніе править міромъ“, между тѣмъ какъ Лассаль доходитъ до историческаго матеріализма.

Когда Чернышевскій еще вѣрилъ въ то, что правительство можетъ послѣдовать его указаніямъ, его публицистическія статьи имѣли совершенно другой характеръ. Тогда ему нужно было разяснять не общіе принципы, а извѣстныя практическія возможности. И онъ внимательно, почти педантично, рассматривалъ эти возможности. Такъ было, напримѣръ, когда онъ обсуждалъ крестьянскій вопросъ и когда онъ взвѣшивалъ возможныя на практикѣ условія выкупа надѣловъ. Тутъ онъ сразу предлагалъ иногда по нѣскольку до мелочей разработанныхъ плановъ выкуна. Относящіяся сюда статьи его очень важны для характеристики пріемовъ его мысли, напоминающихъ въ этомъ случаѣ пріемы мысли Р. Оуэна, который тоже любилъ до мелочей разрабатывать свои практическіе планы.

Разъ заговоривъ объ относящихся къ крестьянскому вопросу статьяхъ Чернышевскаго, мы находимъ полезнымъ напомнить читателю о знаменитыхъ статьяхъ въ защиту общины. Самой замѣчательной изъ этихъ статей является блестящая статья „Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго землевладѣнія“. Обыкновенно она принимается какъ безусловная защита нашей крестьянской общины. Но это ошибка. Въ этой статьѣ надо различать два элемента: во-первыхъ, теоретическіе принципы, говорящіе, по мнѣнію Чернышевскаго, въ пользу общественной собственности на всѣ средства производства (а не на одну только землю); во-вторыхъ, соображенія, относящіеся къ вѣроятной судьбѣ поземельной общины въ Россіи. Что касается общихъ принциповъ, то Чернышевскій съ большимъ жаромъ и съ непоколебимымъ убѣжденіемъ защищаетъ ихъ, опираясь на Гегеля, утверждавшаго, что третья и конечная фаза развитія походитъ на первую его фазу: первой фазой развитія собственности былъ коммунизмъ дикихъ народовъ; поэтому надо думать, что послѣдней его фазой будетъ коммунизмъ, опирающійся на всѣ приобрѣтенія цивилизаціи. Что же касается соображеній о вѣроятной судьбѣ общины въ Россіи, то Чернышевскій говоритъ о ней совершенно другимъ тономъ, и уже въ началѣ его статьи мы встрѣчаемъ горькія, полныя разочарованія строки.

Это странное на первый взглядъ обстоятельство объясняется не силой доводовъ, выставленныхъ его противниками, а причинами совершенно другого свойства.

„Предположимъ,—говоритъ Чернышевскій, обращаясь къ своему любимому способу объясненія посредствомъ „параболъ“,—предположимъ, что я былъ заинтересованъ принятіемъ средствъ для сохраненія провизіи, изъ запаса которой составляетъ вамъ обѣдъ. Само собой разумѣется, что если я это дѣлалъ собственно изъ расположенія къ вамъ, то моя ревность основывалась на предположеніи, что провизія принадлежитъ вамъ, и что приготовляемый изъ нея обѣдъ здоровъ и выгоденъ для васъ. Представьте же себѣ мои чувства, когда я узнаю, что провизія вовсе не принадлежитъ вамъ и что за каждый обѣдъ, приготовленный изъ нея, берутся съ васъ деньги, которыхъ не только не стоитъ самый обѣдъ, но которыхъ вы вообще не можете платить безъ крайняго стѣсненія. Какія мысли приходятъ мнѣ въ голову при этихъ столь странныхъ открытіяхъ?.. Какъ я былъ глупъ, что хлопоталъ о дѣлѣ, для котораго не обеспечены условія! Кто, кромѣ глупца, можетъ хлопотать о сохраненіи собственности въ извѣстныхъ рукахъ, не удостовѣрившись прежде, что собственность достанется въ эти руки и достанется на выгодныхъ условіяхъ?.. Лучше пропадай все дѣло, которое приноситъ вамъ только разореніе! Досада за васъ, стыдъ за свою глупость—вотъ мои чувства“.

Въ этихъ горькихъ словахъ сказывается ясное сознаніе Чернышевскимъ того, что его надежда на благоразуміе правительства въ дѣлѣ рѣшенія крестьянскаго вопроса была совершенно не основа-

тельна. Земля доставалась крестьянамъ на такихъ тяжелыхъ для нихъ условіяхъ, которыя дѣлали ее не источникомъ ихъ благосостоянія, а, наоборотъ, новой тяготой для нихъ. Поэтому Чернышевскій считалъ бесполезнымъ спорить о томъ, каковы будутъ у насъ формы крестьянскаго землевладѣнія. Болѣе того. Онъ даже сталъ надеяться, что лучше было бы, если бы крестьянъ освободили совсѣмъ безъ земли. Это видно также изъ первой части романа „Прологъ“ („Прологъ пролога“; разговоры Волгина съ Нивельзинымъ и Соколовскимъ*)).

Чернышевскій говорилъ о себѣ, что не принадлежитъ къ числу людей, готовыхъ жертвовать нынѣшними интересами народа ради будущихъ его интересовъ. И онъ говорилъ правду. Если онъ защищалъ общинное владѣніе землею, то это происходило оттого, что оно уже въ настоящее время было, по его мнѣнію, выгодно крестьянамъ при наличности извѣстныхъ практическихъ предпосылокъ, указанныхъ выше его собственными словами. Но это не мѣшало ему смотрѣть на общину и съ другой стороны, а именно—видѣть въ ней такую форму экономическаго быта, которая облегчитъ распространѣніе между крестьянами социалистическихъ идей.

„Введеніе лучшаго порядка дѣлъ чрезвычайно затрудняется въ Западной Европѣ безграничнымъ расширеніемъ правъ отдѣльной личности... Не легко отказываться хотя бы отъ незначительной части того, чѣмъ привыкъ уже пользоваться, а на Западѣ отдѣльная личность привыкла уже къ безграничной полнотѣ частныхъ правъ. Пользѣ и необходимости взаимныхъ уступокъ можетъ научить только горькій опытъ и продолжительное размышленіе. На Западѣ лучшій порядокъ экономическихъ отношеній соединенъ съ пожертвованіями, и потому его учрежденіе очень затруднено. Онъ противенъ привычкамъ англійскаго и французскаго поселенина“ (Соч. III, 183).

Взглядъ на общину какъ на учрежденіе, приучающее къ ассоціаціи, привелъ Чернышевскаго въ началѣ его дѣятельности къ нѣкоторому сближенію со славянофилами. Сочувственное отношеніе славянофиловъ къ общинѣ ставило ихъ во мнѣніи Чернышевскаго „выше многихъ и самыхъ серьезныхъ западниковъ“. Такъ было тогда, когда онъ еще надѣялся, что община можетъ быть поставлена въ условія, благоприятныя для ея развитія. Когда онъ потерялъ эту надежду, тогда его взглядъ на русскую поземельную общину сдѣлался гораздо болѣе скептическимъ. Тогда же измѣнилось и его отношеніе къ славянофиламъ, противъ которыхъ онъ сталъ выступать съ большой рѣзкостью, какъ это было, напримѣръ, въ статьѣ „Народная безтолковость“, напечатанной въ X кн. „Современника“ за 1861 г., или въ статьѣ „О причинахъ паденія Рима (подражаніе Монтеスキє)“ („Современ-

*) Мы обращаемъ на это обстоятельство вниманіе тѣхъ историковъ нашей публицистики, которые хотѣли бы сдѣлать изъ Чернышевскаго родоначальника народниковъ.

никъ“, 1861 г., кн V). Въ этой статьѣ,—въ которой есть несомнѣнные полемическіе выпады противъ Герцена съ его полуславянофильскимъ взглядомъ на будущее крестьянской Россіи,—онъ говоритъ, что хотя община могла бы принести извѣстную долю пользы въ дальнѣйшемъ развитіи нашей страны, однако, смѣшно гордиться ею передъ Западомъ, потому что она все-таки есть признакъ нашей экономической отсталости.

Чѣмъ больше разочаровывался Чернышевскій въ возможности непосредственнаго вліянія на экономическія отношенія современной ему Россіи, тѣмъ болѣе литературная дѣятельность его направлялась на пропаганду общихъ принциповъ социализма. Мы уже говорили, что его мысль оставалась въ предѣлахъ того, что называется утопическимъ социализмомъ. Теперь пора подробнѣе остановиться на этомъ.

IX.

Эпитетъ утопическій отноудь не имѣетъ подъ нашимъ перомъ смысла порицанія. Онъ просто обозначаетъ у насъ ту точку зрѣнія, съ которой социализмъ смотрѣлъ на общественную жизнь въ первой фазѣ своего развитія. Эта его точка зрѣнія стала неудовлетворительной съ тѣхъ поръ, какъ онъ перешелъ, благодаря Марксу и Энгельсу, на точку зрѣнія науки. Но въ свое время утопическій социализмъ оказалъ огромныя услуги дѣлу развитія общественной мысли, и въ числѣ его представителей мы встрѣчаемъ истиннѣ геніальныхъ людей, напримѣръ, Сэнъ-Симона, Фурье и Р. Оуэна.

Утопическій социализмъ былъ идеалистиченъ, между тѣмъ какъ въ основѣ научнаго социализма лежитъ матеріалистическій взглядъ на общественную жизнь. Соціалисты-утописты были, подобно французскимъ просвѣтителямъ XVIII вѣка, убѣждены, что „миѣніе править міромъ“; научный социализмъ подвергъ своему изслѣдованію тѣ общественныя экономическія причины, отъ которыхъ зависитъ развитіе „миѣнія“. Ручательство за осуществленіе своего идеала соціалисты-утописты видѣли въ отвлеченной правильности и красотѣ этого идеала; научный социализмъ ищетъ такого ручательства въ экономической необходимости.

Общественно-историческіе взгляды Чернышевскаго достаточно извѣстны читателю для того, чтобы онъ безъ труда понялъ, почему мы называемъ социализмъ нашего автора утопическимъ. Во всѣхъ своихъ социалистическихъ разсужденіяхъ Чернышевскій всегда стоялъ на точкѣ зрѣнія историческаго идеализма. Если онъ былъ твердо убѣжденъ въ будущемъ торжествѣ социализма, то единственно потому, что, по его миѣнію, отсталая масса населенія должна была рано или поздно нагнать „дѣйствующую армію“ челоуѣчества, т.-е. интеллигенцію, додумавшуюся до социалистическаго идеала. Въ дѣлѣ осуществленія этого идеала главная роль опять принадлежала интеллигенціи. Чернышевскій очень мало разсчитывалъ на самодѣ-

тельность пролетариата, который, впрочем, сливался в его представлении о немъ съ общей массой „простолюдиновъ“.

Правда, Чернышевскій относился довольно отрицательно къ нѣ-которымъ представителямъ утопическаго социализма, напимѣръ, къ сенъ-симонистамъ (см. статью „Процессъ Менильмонтанскаго семейства“, „Современникъ“, 1860 г., кн. V). Но въ его критикѣ сенъ-симонизма яснѣе, чѣмъ гдѣ либо, обнаруживается идеалистическій характеръ его собственныхъ социалистическихъ взглядовъ. Сенъ-симонисты были, по его мнѣнію, фантазерами, даже и не подозрѣвавшими, что экономическій расчетъ является главнымъ двигателемъ въ исторіи. Намъ уже извѣстно, какъ тѣсно связано было это представле-ніе о роли экономическаго расчета съ историческимъ идеализмомъ нашего великаго просвѣтителя.

Чѣмъ абстрактнѣе была социалистическая точка зрѣнія Чернышевскаго, тѣмъ легче ему было отвлекаться отъ индивидуальныхъ особенностей каждой данной социалистической системы и защищать только то, что составляло общее содержаніе всѣхъ этихъ системъ. И тѣмъ естественнѣе было для него съ одинаковымъ сочувствіемъ относиться къ практическимъ планамъ различныхъ социалистическихъ писателей. Такъ, въ статьѣ „Капиталъ и трудъ“ онъ изложилъ планъ Луи-Блана. Главной особенностью этого плана явилось въ изложеніи Чернышевскаго то обстоятельство, что его осуществленіе не стѣснило бы ничьей свободы: „кто чѣмъ хочетъ, тотъ тѣмъ и занимается“ (Соч. т. VI, 47); „живи гдѣ хочешь, живи какъ хочешь, только предлагаются тебѣ средства жить удобно и дешево и, кромѣ обыкновенной платы, получать дивидендъ. Если и это стѣснительно, никто не запрещаетъ отказываться отъ дивиденда“ (тамъ же, 49). А въ другомъ мѣстѣ онъ поясняетъ, отчего ему „вздумалось взять въ примѣръ Луи-Блана“. Онъ говоритъ: „Мы хотѣли только сказать, что по особенному историческому случаю его мысли пріобрѣли историческую важность, которой иначе бы и не имѣли, потому что оригинальнаго въ нихъ мало“ (Соч. VII, 64).

Въ статьѣ „Капиталъ и трудъ“ онъ называетъ планъ Луи-Блана „собственнымъ“ планомъ.

Въ другомъ случаѣ онъ, какъ видимъ, могъ бы примѣнить то же названіе къ плану какого-нибудь другого социалиста. Ему, какъ уже сказано, было важно не то, что составляло особенность того или другого изъ этихъ плановъ, а то, что принадлежало имъ всѣмъ: отрицательное отношеніе къ существующему экономическому порядку и убѣжденіе въ томъ, что возможенъ экономическій строй, основанный на товарищескомъ трудѣ работниковъ. Конечно, по характеру своего ума, въ которомъ преобладала разсудочность, онъ склоненъ былъ болѣе сочувствовать тѣмъ изъ великихъ основателей социалистическихъ школъ, которые меньше поддавались увлеченіямъ фантазіи. Такъ, напимѣръ, Р. Оуэнъ былъ, несомнѣнно, ближе къ нему, нежели Фурье; однако, у Фурье онъ тоже заимствовалъ очень много.

При своемъ трезвомъ умѣ и при своемъ всегдашнемъ стремленіи къ практической дѣятельности Чернышевскій не могъ принадлежать къ числу тѣхъ утопистовъ, которые требуютъ, чтобы чело-вѣчество приняло цѣликомъ ихъ построенія, и пренебрегаютъ всѣми частными реформами. Таковы анархисты. Чернышевскій не походилъ на нихъ. „Во имя высшихъ идеаловъ отвергать какое-нибудь, хотя бы и не вполне совершенное, улучшение дѣйствительности,—говоритъ онъ,—значить слишкомъ уже идеализировать и потѣшаться безплодными теоріями“. Онъ утверждалъ, что у людей, склонныхъ къ такимъ „потѣхамъ“, „дѣло кончается большею частью тѣмъ, что послѣ напряженныхъ усилій подняться до своего идеала они опускаются такъ, что уже вовсе не имѣютъ передъ собою никакого идеала“.

При всемъ томъ остается неоспоримымъ, что программа желательныхъ для Чернышевскаго частныхъ реформъ отличалась довольно большой неопредѣленностью. Въ общемъ можно, однако, сказать, что такъ какъ идеаломъ Чернышевскаго былъ товарищескій трудъ производителей, то онъ всегда былъ готовъ поддерживать все, въ чемъ видѣлъ хотя бы намекъ на принципъ ассоціаціи. Извѣстно, что устройствомъ ассоціаціи занимается и Вѣра Павловна въ романѣ „Что дѣлать?“. Первый мужъ ея, Лопуховъ, горячо хвалитъ ее за это: „Мы всѣ говоримъ и ничего не дѣлаемъ. А ты позже насъ всѣхъ стала думать объ этомъ и раньше всѣхъ рѣшилась приняться за дѣло“. Очевидно, что устройство ассоціаціи и было тѣмъ практическимъ дѣломъ, о которомъ „говорили“ и „думали“ въ кружкѣ Лопухова и его друзей.

Проповѣдь ассоціацій велась тогда одновременно въ Россіи и Германіи. „Гласный отвѣтъ“ Лассаля—послужившій началомъ его агитаціи—появился въ 1863 г., когда Чернышевскій писалъ свой романъ „Что дѣлать?“. Но у Лассаля планъ устройства ассоціацій предполагаетъ политическую самостоятельность рабочаго класса: завоеваніе имъ всеобщаго избирательнаго права. У Чернышевскаго о политической самостоятельности пролетаріата нѣтъ и рѣчи. Починъ дѣла и главное его веденіе принадлежать интеллигенціи—этой уже такъ хорошо знакомой намъ „дѣйствующей арміи“ чело-вѣчества. Эта существенная разница объясняется, конечно, тѣмъ, что въ социально-политическомъ отношеніи Россія была отсталой страной даже сравнительно съ тогдашней Германіей.

Выше было уже замѣчено нами, что Чернышевскій отстаивалъ общинное землевладѣніе, между прочимъ, и съ точки зрѣнія большей легкости устройства въ Россіи ассоціацій.

Насколько намъ извѣстно, самъ Чернышевскій никогда не приступалъ къ устройству такихъ ассоціацій. Но зато тѣмъ энергичнѣе онъ велъ литературную пропаганду принциповъ, которые должны были лечь въ основу товарищескаго труда производителей. Блестящій полемистъ, онъ горячо отстаивалъ эти принципы въ спорахъ съ

„экономистами отсталой школы“. Объ экономистахъ этой школы онъ говорилъ, что каждый изъ нихъ „скорѣе согласится пойти въ негры и всѣхъ своихъ соотечественниковъ тоже отдать въ негры“, нежели сказать, что въ томъ или другомъ социалистическомъ планѣ нѣтъ ничего слишкомъ дурного или неудобноисполнимаго. Съ своей стороны, Чернышевскій хотѣлъ показать, что принципы, общіе всѣмъ социалистическимъ системамъ, и хороши, и удобноисполнимы. Съ этой цѣлью была написана имъ статья „Капиталъ и трудъ“. И съ этой же цѣлью онъ переводилъ и комментировалъ „Основанія политической экономіи“ Дж. Ст. Милля.

Въ предисловіи къ своему переводу этого сочиненія онъ писалъ:

„Книга Милля признается всѣми экономистами за лучшее, самое вѣрное и глубокомысленное изложеніе теоріи, основанной Адамомъ Смитомъ. Переводя это произведеніе, мы хотимъ дать читателю доказательство, что большая часть понятій, противъ которыхъ мы споримъ, вовсе не принадлежитъ къ строгой наукѣ, а должна считаться только искаженіемъ ея, сочиненнымъ нынѣшними французскими такъ называемыми экономистами по внушенію трусости“ (Соч. т. VII, стр. 1).

Имѣя въ виду эту специальную цѣль, Чернышевскій не разъ утверждалъ въ своихъ знаменитыхъ примѣчаніяхъ къ сочиненію Милля, что онъ только „повторяетъ слова“ англійскаго экономиста и если въ чемъ либо расходится съ нимъ, то лишь въ выводахъ, вытекающихъ изъ основныхъ положеній экономической теоріи, а не въ томъ, что касается самихъ этихъ положеній. Это могло быть удобнымъ въ виду специальной—преимущественно публицистической—цѣли нашего автора; но это оказалось невыгоднымъ для экономической теоріи. Чернышевскій очень ошибся, принявъ Дж. Ст. Милля за вѣрнаго ученика Смита и Рикардо. Милль испыталъ на себѣ вліяніе вульгарныхъ англійскихъ экономистовъ и никакъ не могъ разобраться въ основныхъ понятіяхъ политической экономіи. Его книга была большимъ шагомъ назадъ въ сравненіи съ „Основаніями политической экономіи“ Рикардо. Чернышевскій лучше сдѣлалъ бы, если бы перевелъ и комментировалъ это послѣднее сочиненіе. А еще лучше было бы, пожалуй, перевести и снабдить примѣчаніями книгу Уильяма Томпсона „An inquiry into the principles of the distribution of Wealth“, присоединивъ къ ней „Лекцію о человѣческомъ счастьи“ („Lecture on human happiness“) Джона Грэя. Эти авторы были наиболѣе выдающимися между тѣми англійскими социалистами двадцатыхъ годовъ, которые, стоя на почвѣ экономической теоріи Рикардо, дѣлали изъ этой теоріи „эгалитарные“, какъ выразился о нихъ Марксъ, выводы. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что знакомство съ англійскими экономистами этой школы было бы полезнѣе для русскихъ читателей и даже привело бы къ устраненію многихъ изъ неясностей, свойственныхъ экономическимъ взглядамъ нашего автора.

Не имѣя никакой возможности вдаваться здѣсь въ подробное изложеніе и критику этихъ взглядовъ *), мы замѣтимъ, что нашъ авторъ оставался утопистомъ и въ своихъ экономическихъ разсужденіяхъ. Различныя историческія формы экономического быта разсматривались имъ, какъ и всѣми социалистами утопическаго періода, не съ точки зрѣнія собственной логики ихъ развитія, а съ отвлеченной точки зрѣнія ихъ соотвѣтствія или несоотвѣтствія социалистическому идеалу. Происхожденіе всѣхъ этихъ формъ—очень неудовлетворительныхъ, разумѣется, съ точки зрѣнія идеала—относилось имъ на счетъ разнаго рода историческихъ случайностей и главнымъ образомъ на счетъ завоеванія. Такъ какъ онъ считалъ ихъ несогласными съ „требованіями экономической науки“, то онъ не придавалъ большой цѣны ихъ внимательному изученію. Историческій методъ въ экономической наукѣ, знакомой ему лишь по трудамъ В. Рошера и другихъ такихъ же окаменѣлостей, казался ему плодомъ теоретической реакціи противъ освободительныхъ стремленій пролетаріата. Чернышевскій противопоставлялъ ему свой собственный методъ, носившій у него названіе гипотетическаго. „Гипотетическій методъ“ состоитъ въ томъ, что при изслѣдованіи того или иного экономического явленія берется такое „гипотетическое“ общество, въ которомъ это явленіе выступаетъ съ наибольшей выпуклостью. Задача изслѣдователя, безспорно, упрощается, а слѣдовательно и облегчается такимъ пріемомъ. Но упрощеніе задачи необходимо вноситъ въ нее элементъ ошибки, такъ какъ явленіе изучается не при тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ оно существуетъ на самомъ дѣлѣ, а при тѣхъ, въ которыя ставитъ его „гипотеза“ изслѣдователя. Этотъ элементъ ошибки вообще даетъ себя чувствовать въ работахъ Чернышевскаго по теоретической экономіи. Но едва ли не съ наибольшей силой сказался онъ въ его знаменитомъ и по-своему чрезвычайно остроумномъ разборѣ „Мальтусовой теоремы“.

Главная задача изслѣдователя и здѣсь заключалась для Чернышевскаго не въ изученіи того, что было и что есть, а въ указаніи того, что должно быть, при чемъ то, что должно быть, выводилось имъ не изъ того, что было и что есть, а изъ того, что подсказывалось отвлеченными требованіями идеала. Въ заключительныхъ строкахъ своихъ „Очерковъ изъ политической экономіи“ онъ сожалѣетъ о томъ, что въ очерки эти не вошла та часть, которая кажется ему самой важной, т.-е. изложеніе главныхъ отличительныхъ чертъ будущаго общественнаго устройства. Этимъ достаточно характеризуется его общая точка зрѣнія въ политической экономіи.

Чернышевскій считалъ главной заслугой Гегеля то, что онъ, слѣдуя своему діалектическому методу, чуждался абстракцій. „Все зависитъ отъ обстоятельствъ времени и мѣста“ говорилъ по этому по-

*) Это сдѣлано нами во второй части указанной выше книги нашей о Чернышевскомъ.

воду нашъ авторъ. Надо признать, что его „гипотетическій“ методъ слишкомъ часто заставлялъ его забывать это золотое правило и довольствоваться абстракціями.

Но при всѣхъ своихъ неоспоримыхъ недостаткахъ, экономическія изслѣдованія нашего автора имѣли огромное значеніе въ исторіи нашей общественной мысли. Они обратили на „соціальный вопросъ“ вниманіе нашей, преимущественно разночинной, интеллигенціи и приучили ее разсматривать этотъ вопросъ съ точки зрѣнія интересовъ народа. Уже одно это должно быть признано огромной заслугой. Но это далеко не главная заслуга Чернышевскаго.

Главная заслуга его заключается въ томъ, что его теоретическая мысль работала въ томъ самомъ направленіи, въ какомъ совершалась главная работа передовой общественной мысли Запада. Правда, общая отсталость Россіи и неблагоприятно осложнившіяся условія его собственной жизни привели къ тому, что его мысль отставала въ своемъ движеніи отъ передовой западно-европейской мысли. Онъ явился у насъ проповѣдникомъ философіи Фейербаха въ то время, когда на Западѣ логическое развитіе этой философіи уже привело къ появленію научнаго міросозерцанія Маркса и Энгельса. Но до тѣхъ поръ, пока это міросозерцаніе оставалось неизвѣстнымъ въ Россіи, взгляды Чернышевскаго являлись самымъ важнымъ приобрѣтеніемъ русской философской и общественной мысли. И поскольку эта мысль отказывалась отъ этого своего приобрѣтенія, какъ она сдѣлала это въ лицѣ П. Лаврова и его послѣдователей, постольку она шла назадъ въ своемъ развитіи. Въ настоящее время взгляды Чернышевскаго должны считаться „превзойденной ступенію“. Но его нельзя было „превзойти“ иначе, какъ развивая дальше основныя положенія его собственнаго міросозерцанія. Плодотворная критика Чернышевскаго возможна лишь съ точки зрѣнія Маркса, прошедшаго ту же самую школу, въ которой съ огромнымъ успѣхомъ учился авторъ примѣчаній къ Миллю—школу Гегеля и Фейербаха.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

1.

Николай Александрович Добролюбовъ.

(24 января 1836 г.—17 ноября 1861 г.)

Д. Н. Овсяннико-Куликовского.

I.

Большія критическія статьи Добролюбова („Темное царство“, „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“—о пьесахъ Островскаго, „Когда же придетъ настоящій день?“—о „Наканунѣ“ Тургенева, „Что такое обломовщина?“—о знаменитомъ романѣ Гончарова) давно уже стали „классическими“ и—въ своемъ родѣ—дѣйствительно являются образцомъ литературной критики. Но онѣ имѣютъ и другое значеніе: въ нихъ ярче и полнѣе, чѣмъ въ другихъ статьяхъ Добролюбова, выразился высокій строй души этого необыкновеннаго человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ съ особенною силою проявились его великій умъ и его огромный литературный талантъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло не просто съ талантливыми произведеніями литературной критики, какихъ много, но съ несомнѣнными продуктами высшаго творчества въ этой области. Если это такъ (я постараюсь показать это на нижеслѣдующихъ страницахъ), то именно на этихъ статьяхъ и должна основываться „характеристика“ Добролюбова, ибо великіе умы и таланты всего лучше и легче „характеризуются“ по ихъ творческимъ созданіямъ, остальные же произведенія ихъ служатъ лишь подспорьемъ и даютъ добавочныя указанія.

Добролюбовъ поражаетъ не только силою, но и разносторонностью своего дарованія: его раннія статьи (по литературѣ XVIII вѣка) обнаруживаютъ въ немъ задатки настоящаго ученаго,—историка литературы въ лучшемъ смыслѣ этого слова (проживи онъ дольше, онъ могъ бы явиться конкурентомъ Пыпина), его немногія чисто-публицистическія статьи показываютъ, что изъ него выработался бы первостепенный публицистъ по вопросамъ и внутренней и вѣншей политики; „Свистокъ“ свидѣтельствуетъ о яркомъ талантѣ сатирика-юмориста; его лирическія стихотворенія, о которыхъ Тургеневъ

сказаль, что это не поезія, но что-то очень близкое къ поезіи, внушаютъ намъ горькую мысль, что преждевременная смерть Добролюбова отняла у насъ не только критика и публициста, который успѣлъ уже осуществить часть своего призванія, но еще и поэта, который могъ бы занять одно изъ видныхъ мѣстъ въ нашей поэтической литературѣ и во всякомъ случаѣ имѣлъ свой запасъ лирическихъ вдохновеній, своихъ поэтическихъ „думъ и чувствъ“...

Такъ вотъ, въ вышеуказанныхъ критическихъ статьяхъ Добролюбова, которыми онъ обезсмертилъ свое имя, не только проявился его талантъ—литературнаго критика, но отразились или даютъ себя чувствовать задатки и другихъ дарованій его.

И прежде всего обратимъ вниманіе на наукообразный характеръ его критическихъ пріемовъ. Въ своихъ критическихъ статьяхъ, какъ и въ другихъ, онъ, публицистъ и моралистъ по призванію, задавался не строго-научными, а моральными и публицистическими цѣлями. Онъ хотѣлъ вліять на общественное мнѣніе и воспитывать читающую публику въ духѣ гуманности и освободительныхъ идей. И онъ вполнѣ и съ огромнымъ успѣхомъ достигалъ намѣченной цѣли. На его статьяхъ воспитались передовыя поколѣнія 60-хъ и 70-хъ годовъ. Не безъ вліянія остались онъ и для послѣдующихъ десятилѣтій. Но при всемъ томъ, если мы скажемъ, что Добролюбовъ въ своей критической дѣятельности былъ только публицистъ и что онъ былъ критикъ „тенденціозный“, то мы сдѣлаемъ грубую ошибку. Вникая въ его критическіе пріемы, мы легко убѣдимся въ томъ, что основной фонъ его критической мысли былъ научный, и что, разбирая произведенія Островскаго, Тургенева, Гончарова, онъ въ одно и то же время являлся и публицистомъ, и критикомъ наукообразнаго пошиба.

Вспомнимъ: онъ всегда отдавалъ предпочтеніе произведеніямъ строго-реалистическимъ, т.-е. именно тѣмъ продуктамъ художественнаго мышленія, которые такъ близко подходятъ къ процессу научной мысли. Онъ требовалъ отъ художника правды, т.-е. правильнаго обобщенія и безпристрастнаго воспроизведенія явленій жизни въ ихъ *statu quo* и въ ихъ движеніи. Онъ даже отказывался писать о тѣхъ произведеніяхъ, въ которыхъ онъ усматривалъ тенденцію, натяжки, произвольныя построенія, не отвѣчающія дѣйствительности и искажающія „правду жизни“. Въ художникѣ онъ цѣнилъ объективнаго наблюдателя, воспроизводящаго явленія жизни, какъ они есть или какъ они развиваются; въ этомъ и видѣлъ онъ главную задачу искусства. Онъ даже шелъ въ этомъ направленіи дальше, чѣмъ слѣдуетъ, требуя отъ художника, чтобы онъ воздерживался отъ выраженія своихъ личныхъ мнѣній, симпатій и антипатій. Оттуда, между прочимъ, пристрастіе Добролюбова къ Гончарову, у котораго критикъ находилъ и высоко цѣнилъ „спокойствіе и полноту поэтическаго міросозерцанія“, поясняя это слѣдующимъ образомъ: „Онъ (Гончаровъ) ничѣмъ

не увлекается исключительно, или увлекается всё́мъ одинаково. Онъ не поражается одной стороною предмета, однимъ моментомъ событія, а вертитъ предметъ со всё́хъ сторонъ, выжидаетъ совершенія всё́хъ моментовъ явленія и тогда уже приступаетъ къ ихъ художественной переработкѣ. Слѣдствіемъ этого является, конечно, въ художникѣ болѣе спокойное и безпристрастное отношеніе къ изображаемымъ предметамъ...“ („Сочиненія Добролюбова“, томъ II, статья „Что такое обломовщина?“). Этому преимуществу Гончарова, столь цѣнному Добролюбовымъ, въ наукѣ отвѣчаетъ спокойное и безпристрастное изслѣдованіе явленій. Иначе говоря, категорія „истины“, составляющая основу и цѣль науки, вводится Добролюбовымъ и въ искусство—взамѣнъ пресловутой и ненужной категоріи „красоты“. И это вполне оправдывается психологіею и новѣйшею рачіональною, научною теоріею художественнаго творчества. Добролюбовъ не былъ ни психологомъ, ни теоретикомъ въ вопросахъ искусства, но онъ чутьемъ научно-дисциплинированнаго ума угадалъ, въ чемъ суть художественнаго творчества и къ чему сводится его призваніе. Прочтемъ еще: „Онъ (Гончаровъ) не хотѣлъ отстать отъ явленія, на которое однажды бросилъ свой взглядъ, не прослѣдивши его до конца, не отыскавши его причины, не понявши связи его со всё́ми окружающими явленіями. Онъ хотѣлъ добиться того, чтобы случайный образъ, мелькнувшій передъ нимъ, возвести въ типъ, придать ему родовое и постоянное значеніе...“ „Такимъ образомъ“, — читаемъ ниже, — „Гончаровъ является передъ нами прежде всего художникомъ, умѣющимъ выразить полноту явленій жизни...“ „...Объективное творчество Гончарова не смущается никакими теоретическими предубѣжденіями и заданными идеями, не поддается никакимъ исключительнымъ симпатіямъ. Оно спокойно, трезво, безстрастно...“ Охарактеризовавъ такими чертами творчество Гончарова, критикъ ставитъ вопросъ: „составляетъ ли это высшій идеаль художнической дѣятельности или, быть можетъ, это недостатокъ, обнаруживающій въ художникѣ слабость воспріимчивости?“ Въ высокой степени любопытенъ отвѣтъ на этотъ вопросъ,—отвѣтъ, намѣренно-уклончивый, но выраженный такъ, что намъ становится вполне ясно, на какой сторонѣ всё симпатіи критика.—„Категорическій отвѣтъ затруднителенъ“, говоритъ Добролюбовъ; „...многимъ не нравится спокойное отношеніе поэта къ дѣйствительности, и они готовы тотчасъ же произнести рѣзкій приговоръ о несимпатичности такого таланта. Мы понимаемъ естественность подобнаго приговора и, можетъ быть, сами не чужды желанія, чтобы авторъ побольше раздражалъ наши чувства, посильнѣе увлекалъ насъ. Но мы сознаемъ, что желаніе это—нѣсколько обломовское, происходящее отъ наклонности имѣть постоянно руководителей, даже въ чувствахъ...“ *).

*) Курсивъ мой.

Въ статьѣ „Темное царство“ Добролюбовъ говоритъ, что „главное достоинство писателя-художника состоитъ въ правдѣ его изображеній“. Если эта „правда“ дана, то „образы, созданные художникомъ, собирая въ себѣ, какъ въ фокусѣ, факты дѣйствительной жизни, весьма много способствуютъ составленію и распространенію между людьми правильныхъ понятій о вещахъ“,—и вотъ именно къ этому-то и сводится „значеніе художнической дѣятельности въ ряду другихъ отправленій общественной жизни“^{*)}.

Добролюбовъ не создалъ законченной теоріи художественнаго творчества и даже не искалъ для нея философскихъ основаній, какъ это дѣлалъ Бѣлинскій, но приведенныя цитаты, число которыхъ можно было бы значительно увеличить, ясно показываютъ, что въ распоряженіи Добролюбова, какъ критика, было опредѣленное и продуманное понятіе о задачахъ и значеніи художественнаго творчества, какъ мышленія образами, въ которыхъ явленія жизни обобщаются и истолковываются подобно тому, какъ въ выводахъ („законахъ“, гипотезахъ) науки обобщаются и истолковываются явленія природы (въ обширномъ смыслѣ, т.-е. включая сюда и міръ психическій, и процессы соціальной и исторической жизни человѣчества). Наука и искусство идутъ различными путями къ одной и той же цѣли, которая въ научномъ познаніи опредѣляется какъ истина, а въ познаніи художественномъ—какъ „правда жизни“. Искусство есть, прежде всего, процессъ познавательный, въ чемъ можетъ усомниться только тотъ, кто въ этой области не пошелъ дальше избитыхъ и по существу неправильныхъ понятій старой и вульгарной эстетики и не знакомъ съ изслѣдованіями Потебни и Александра Веселовскаго. Понятіе объ искусствѣ, служившее исходнымъ пунктомъ критики Добролюбова, должно быть признано научнымъ или „научообразнымъ“. А поэтому и сама критика Добролюбова, публицистическая по задачамъ и по своему направленію или „духу“, называется „научообразною“ по приѣмамъ, по методу.

Установивъ, что художникъ въ данномъ произведеніи правдиво, безъ фальши, безъ предвзятой тенденціи изображаетъ явленія жизни, критикъ раскрываетъ содержаніе образовъ, выясняетъ ихъ смыслъ и, отправляясь отсюда, даетъ исчерпывающее истолкованіе и критическую оцѣнку, съ точки зрѣнія гуманныхъ и освободительныхъ идей, тѣхъ явленій жизни, которыя обобщены въ образахъ, созданныхъ поэтомъ. Добролюбова обвиняли въ томъ, будто бы онъ не разбираетъ самыя произведенія, а только писалъ по поводу ихъ, будто бы художественные образы служили ему только предлогомъ—критиковать отрицательныя стороны жизни и „проводить“ излюбленныя идеи. Этотъ упрекъ долженъ быть рѣшительно отвергнутъ. Отрицательныя стороны жизни Добролюбовъ дѣйствительно привлекалъ къ строгому суду гуманнаго, просвѣщен-

^{*)} Курсивъ Добролюбова.

наго и передового человѣка и свои излюбленныя идеи проводилъ послѣдовательно и настойчиво, но все это онъ дѣлалъ не иначе, какъ путемъ тщательнаго и всесторонняго анализа разбираемаго произведенія. Критика дѣйствительности и освѣщеніе ея явленій съ извѣстной точки зрѣнія находились въ органической связи съ критическимъ разборомъ произведенія и, являясь сами по себѣ цѣлью, въ то же время раскрывали смыслъ произведенія и давали исчерпывающее истолкованіе созданныхъ поэтомъ образовъ, а попутно само собою выяснялось „художественное міросозерцаніе“ поэта и опредѣлялись особенности его дарованія. Произведенія реального искусства, которымъ по преимуществу интересовался Добролюбовъ, иначе и не могутъ быть поняты, какъ только путемъ ихъ сличенія съ дѣйствительностью, въ нихъ изображенною, и критикою нравовъ, понятій, отношеній, стремленій, характеровъ, какъ они даны въ самой дѣйствительности. Нельзя, напр., понять Онѣгина, какъ художественный образъ, не входя въ разсмотрѣніе эпохи 20-хъ годовъ, не изучая среды, изъ которой выходили Онѣгины, не подвергая критикѣ ея нравы и понятія, не разбираясь въ психологіи характеровъ. Но литературному критику мы предъявляемъ въ этомъ случаѣ одно требованіе: чтобы, входя въ анализъ и критику явленій жизни, онъ не упускалъ изъ виду самого произведенія, отразившаго эту жизнь, чтобы между оцѣнкою дѣйствительности и оцѣнкою произведенія было соблюдено равновѣсіе, установлено гармоническое соотношеніе. Этому требованію критическія статьи Добролюбова вполне удовлетворяютъ. Въ статьяхъ о „Темномъ царствѣ“ онъ все время занятъ анализомъ типовъ Островскаго, и критика среды, т.-е. самой дѣйствительности, превращается въ истолкованіе комедій Островскаго, а въ результатъ, кромѣ проведенія гуманныхъ и освободительныхъ идей, получилось выясненіе таланта знаменитаго драматурга и его значенія въ русской литературѣ.

Но критическія статьи Добролюбова удовлетворяютъ и другому—высшему—требованію, которое можно предъявлять только истиннымъ и призваннымъ талантамъ. Согласно этому требованію, работа критика должна быть въ своемъ родѣ творческою и давать больше того, что дало произведеніе художника. Раскрытіемъ смысла произведенія, критическою оцѣнкою образовъ и т. д. въ этомъ случаѣ не ограничивается задача критика: онъ долженъ обнаружить даръ создавать идеи, онъ долженъ „художественному міросозерцанію“ поэта противопоставить свое міросозерцаніе и открыть передъ читателемъ перспективу мысли, какую произведеніе художника само по себѣ не открываетъ. Эта перспектива мысли, смотря по складу ума и по дарованію критика, можетъ быть разная: философская, „эстетическая“, научная, моральная, публицистическая. На этомъ и основаны соотвѣтственныя разновидности критики, и всѣ онѣ имѣютъ одинаковое право на существованіе—подъ условіемъ наличности того или другого таланта.

Николай Александрович Добролюбовъ.

(Съ гравюры изъ „Собранія русскихъ гравюръ“ Ровинскаго въ Румянцевскомъ музеѣ.)

(Ср. Гриворы на "Городище" в Ровненском музее.)

Полковник Александр Доромов.



Herzog von Württemberg

Перспектива мысли, которую открывалъ Добролюбовъ, была морально-публицистическая, и въ этомъ дѣлѣ онъ былъ великій мастеръ. Въ статьяхъ о пьесахъ Островскаго, о „Наканунѣ“ Тургенева, объ „Обломовѣ“, о Достоевскомъ и нѣк. др. онъ обнаружилъ истинное творчество моралиста и публициста; читая эти статьи, вы сразу чувствуете, что писатель овладѣлъ вами, что вы подняты на какую-то высоту идей и стремленій, гдѣ легко дышится, гдѣ человѣкъ освобождается отъ умственной и моральной темноты, гдѣ онъ облагораживается и становится лучше. При этомъ писатель всего меньше походитъ на моралиста-проповѣдника, который доучаетъ „моралью“, какъ не походитъ онъ и на трибуна, который негодуетъ, громитъ и жестикулируетъ. Писатель сдержанъ и спокоенъ: онъ разсуждаетъ, анализируетъ, объясняетъ, все время „говоритъ дѣло“, избѣгая приподнятаго тона и красивыхъ фразъ. Его рѣчь проста и ясна... Но вы подъ этою простотою, подъ этою неприятельностью рѣчи ясно чувствуете огромную силу мысли, чувства, убѣжденія и моральнаго закала, и вы покорно и охотно подчиняетесь ей.

Могучее вліяніе Добролюбова, его прочная власть надъ умами и сердцами поколѣній, огромное воспитательное значеніе его сочиненій основаны именно на обаяніи этой концентрированной, сдержанной и спокойной силы.

Такому характеру критическаго творчества Добролюбова вполне отвѣчаетъ и внѣшняя форма его статей. У него нѣтъ ни многословія, ни беспорядочности въ изложеніи. Его стиль простъ, сжатъ и точенъ. Идея расчленяется и движется съ строгою послѣдовательностью, и его лучшія статьи представляютъ собою образецъ гармоническаго построенія, гдѣ соразмѣрность частей, стройное развитіе мысли и законченность цѣлаго производятъ впечатлѣніе, близкое къ художественному. Таковы въ особенности знаменитыя статьи „Когда же придетъ настоящій день?“ и „Что такое обломовщина?“

II.

Я сказалъ, что литературная критика Добролюбова, наукообразная по приѣмамъ, была морально-публицистическою по цѣлямъ, по духу. На этихъ цѣляхъ ся намъ нужно теперь остановиться нѣсколько дольше. Ими опредѣлялся прежде всего выборъ тѣхъ произведеній, анализъ и оцѣнка которыхъ позволяли критику развернуть свое собственное идейное творчество. И надо отдать ему справедливость: онъ производилъ этотъ выборъ съ необыкновенной чуткостью и большимъ тактомъ. Чтобы оцѣнить эту чуткость и тактъ, нужно только вспомнить объ очередныхъ задачахъ той эпохи, къ которой относится дѣятельность Добролюбова. Это была эпоха второй половины 50-хъ годовъ, эпоха пробужденія отъ летаргіи реакціоннаго періода 1848—1855 гг. Россія была „наканунѣ“ великихъ

реформъ, и лучшая часть общества была одушевлена радужными ожиданіями и предчувствіемъ событій, долженствующихъ обновить обветшавшій строй жизни. На этой почвѣ возникали въ различныхъ умахъ различныя иллюзіи. Многіе вообразили, что „мы уже созрѣли“, и что вскорѣ „все образуется“ какъ нельзя лучше. „Настоящее время“ противопоставлялось недавнему прошлому, какъ нѣчто діаметрально противоположное ему, прошлое казалось окончательно упраздненнымъ или, по крайней мѣрѣ, осужденнымъ въ принципѣ. Были и иного рода умы, которые, не раздѣляя этихъ иллюзій, легко впадали въ другія: они хорошо сознавали, что мы еще очень далеки до „зрѣлости“, что старые порядки, нравы, понятія весьма живучи; но имъ казалось, что событія идутъ ускореннымъ темпомъ, и что для радикальныхъ преобразованій уже расчищенъ путь. Одни изъ этихъ дѣятелей уповали преимущественно на правительство, другіе—на силу общественного мнѣнія, третьи—на чудотворно-всемоущія „новыя вѣянія“, которыя вотъ-вотъ охватятъ и общество, и народные массы, и само правительство,—характерная русская иллюзія, не разъ возникавшая въ разныя времена и, повидимому, чрезвычайно живучая...

Такъ вотъ отъ всѣхъ этихъ иллюзій былъ свободенъ строгій, критическій умъ Добролюбова,—умъ, въ которомъ несомнѣнно были черты „базаровской“ силы, трезвости и здравого скептицизма, какъ были въ немъ и другія свойства „базаровскаго“ ума—даръ разлагающаго сарказма и горькой ироніи *).

Ученикъ Чернышевскаго и представитель передового движенія своего времени, Добролюбовъ былъ демократъ-радикалъ съ легкимъ народническимъ оттѣнкомъ—въ духѣ времени, съ неопредѣленными социалистическими симпатіями—также въ духѣ популярнаго тогда „утопическаго“ социализма. Эта идеологія, очень характерная для эпохи, явственно сквозитъ какъ въ литературной критикѣ Добролюбова, такъ и въ его чисто-публицистическихъ статьяхъ **). Но идеологія писателя своимъ содержаніемъ и характеромъ еще не опредѣляетъ подлинныхъ—психологическихъ—отношеній его къ дѣйствительности, къ очереднымъ вопросамъ времени, къ упованіямъ, ожиданіямъ, иллюзіямъ и настроеніямъ даннаго историческаго момента.

Обращаясь къ этой сторонѣ дѣла, мы ясно распознаемъ, что

*) Пыпинъ (въ книгѣ о Некрасовѣ) говоритъ, что на замыселъ характера Базарова не могло не повліять сильное впечатлѣніе, произведенное на Тургенева личностью Добролюбова.

**) Для оцѣнки народническихъ элементовъ въ идеяхъ Добролюбова особенно важны его статьи „Черты для характеристики русскаго простолюдинъ“ (о великорусскихъ разсказахъ Марка Вовчка) и „О степени участія народности въ развитіи русской литературы“. О социалистическихъ симпатіяхъ Добролюбова даетъ понятіе его статья о Робертѣ Оуэнѣ. Политическій радикализмъ выразился въ статьяхъ о Кавурѣ и другихъ.

Добролюбову были чужды не только увлеченія тѣхъ, которые прежде-временно отпѣвали прошлое и славословили настоящее, но также и иллюзіи такихъ людей, какъ Герценъ и Чернышевскій. Въ психологіи ума Добролюбова нѣтъ слѣдовъ ни романтизма, ни утопизма, ни склонности къ идеализаціи людей и вещей. Спокойнымъ и безпристрастнымъ взоромъ смотритъ онъ на дѣйствительность и на ходъ вещей и беретъ ихъ такъ, какъ они есть, и всякій вопросъ обосновываетъ на реальной почвѣ, а не въ абстракціи.

И вотъ мы видимъ, что, выступая на поприще критика-публициста, онъ прежде всего обращаетъ вниманіе на старую Русь, которую тогда хоронили, на вѣкахъ сложившійся строй затхлой жизни, жестокихъ нравовъ, дикихъ понятій. И онъ принимается за изученіе Островскаго. Это дастъ ему возможность показать весь ужасъ и все зло порядковъ и нравовъ, основанныхъ на самодурствѣ, рабствѣ, холопствѣ, попраніи элементарныхъ правъ личности, невѣжествѣ и дикихъ понятіяхъ. Старокупеческая, „замоскворѣцкая“ среда, изображенная Островскимъ, представляла лишь наиболѣе яркую картину этого „темнаго царства“: его устои, въ смягченной формѣ и не въ такой полнотѣ, сохранялись и въ другихъ слояхъ населенія. Противъ этихъ-то устоевъ, коренящихся въ самихъ нравахъ и понятіяхъ, завѣщанныхъ стариной, и выступилъ молодой критикъ. Протестъ противъ деспотизма, произвола, самодурства, проповѣдь гуманности и защита правъ личности стали центральной идеею его пропаганды и лозунгомъ всей его публицистической дѣятельности. И, безъ всякаго сомнѣнія, это и было важнѣйшею очередною задачею передовой интеллигенціи того времени, когда трудный процессъ „раскрѣпощенія“ (въ обширномъ смыслѣ этого слова) только начинался, когда на каждомъ шагу и во всѣхъ областяхъ жизни—въ семьѣ, въ школѣ, въ бытѣ различныхъ слоевъ—приходилось считаться съ тѣми же—въ существѣ дѣла—„устоями“, которыя такъ ярко были изображены въ пьесахъ Островскаго. Добролюбовъ отчасти на себѣ самомъ извѣдалъ пагубную силу и прискорбную живучесть этихъ началъ—въ своей семьѣ и потомъ въ главномъ педагогическомъ институтѣ. Отецъ критика, священникъ Александръ Ивановичъ Добролюбовъ, былъ человѣкъ умный, хорошій, не чуждый образованія и нѣкоторыхъ новыхъ понятій; но и старыя понятія крѣпко сидѣли въ его головѣ, а въ его характерѣ были черты самодурства. Большихъ хлопотъ и огорченій стоило Добролюбову его, казалось бы, законное стремленіе избрать родъ дѣятельности по своему вкусу и поступить не въ духовную академію, а въ главный педагогическій институтъ. Извѣстна даже борьба, которую ему пришлось вести въ этомъ институтѣ съ директоромъ (И. И. Давыдовымъ) и вообще съ „порядками“, очень близкими по духу къ порядкамъ „темнаго царства“; извѣстны также и тѣ непріятности, которыя выпали ему на долю въ средѣ товарищей, гдѣ онъ наткнулся на одну изъ наиболѣе ненавистныхъ ему формъ гнета,—гнета кружковыхъ предразсудковъ

и „общественнаго мнѣнія“ среды надъ совѣстью, мыслью и волею личности. Читая письма Добролюбова (изданныя въ книгѣ „Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова“, подъ редакціей Н. Г. Чернышевскаго), мы можемъ прослѣдить весь ходъ его развитія, и мы убѣждаемся, что оно шло путемъ упорной борьбы съ различными проявленіями деспотизма—семейнаго, институтскаго, товарищескаго—и осложнялось внутреннею борьбою съ самимъ собой, съ властью унаслѣдованныхъ и внушенныхъ воспитаніемъ и средою понятій и предразсудковъ. Развитіе Добролюбова было тяжелымъ процессомъ всесторонней „эмансипаціи“ его мысли и совѣсти, борьбою за свои права, какъ личности, за свою внутреннюю свободу. И то широкое гуманное и освободительное направленіе, пропагандѣ котораго онъ посвятилъ свою недолгую жизнь, не было „вычитано“ изъ книгъ или навѣяно духомъ времени, а было выстрадано тяжкимъ внутреннимъ опытомъ и выношено въ нѣдрахъ его глубокой души.

Поэтическими отголосками этого внутренняго опыта остались нѣкоторые его стихотворенія, какъ, напр., „Жалобы ребенка“, „Благодѣтель“, „Памяти отца“.

Великимъ итогомъ того же внутренняго опыта были его статьи о „темномъ царствѣ“, а также и рядъ другихъ, въ особенности по вопросамъ воспитанія („О значеніи авторитета въ воспитаніи“, о литературныхъ статьяхъ Пирогова, наконецъ и знаменитая „филиппика“ противъ послѣдняго, не вполне справедливая, въ статьѣ „Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя розгами“).

Другимъ—и очень любопытнымъ—итогомъ его развитія была одна изъ его сравнительно раннихъ статей (1858)—о Н. В. Станкевичѣ, написанная по поводу біографіи послѣдняго, изданной Анненковымъ. Личность Станкевича очаровала Добролюбова своею внутреннею свободою, полнотою и гармоничностью содержанія и развитія. Вся статья написана въ духѣ защиты Станкевича отъ нападокъ со стороны ригористовъ разнаго рода, какъ тѣхъ, которые упрекали Станкевича въ дилетанствѣ, въ эпикурействѣ, такъ и тѣхъ, которые порицали его за то, что онъ не былъ „борцомъ“. И вотъ что говоритъ въ защиту Станкевича Добролюбовъ, борецъ по призванію, который весь отдался борьбѣ за „благое дѣло среди царяющаго зла“: „Какъ натура по преимуществу созерцательная, Станкевичъ не могъ броситься въ практическую дѣятельность и произвести какой-нибудь переворотъ въ положеніи общества. Признавая это и зная, что онъ самъ въ этомъ признавался, мы уже не имѣемъ никакого права при- ставать къ нему съ назойливымъ допросомъ: отчего ты не оставилъ никакихъ положительныхъ, вещественныхъ памятниковъ своего существованія; отчего ты не вступалъ въ борьбу, отчего ты не громилъ пороковъ, не терпѣлъ страданій отъ своихъ враговъ и пр. Подобный допросъ имѣлъ бы еще смыслъ, если бы борьба, страданія и т. п. были чѣмъ-нибудь обязательнымъ, необходимымъ для сохраненія чести и благородства человѣка. Но вѣдь... борьба... есть не-

нормальное явленіе, происходящее отъ фальшивыхъ отношеній, среди которыхъ живетъ общество... Пора намъ убѣдиться въ томъ, что искать страданій и лишеній—дѣло неестественное для человѣка; и поэтому не можетъ быть идеальнымъ, верховнымъ назначеніемъ чело-вѣчества... Романтическія фразы объ отреченіи отъ себя, о трудѣ для самого труда или „для такой цѣли, которая съ нашею личностью ничего общаго не имѣетъ“, къ лицу были сред-невѣковому рыцарю печальнаго образа: но онѣ очень забавны въ устахъ образованнаго человѣка нашего времени. Станкевичъ очень хорошо понималъ всю нелѣпость насильственной, натянутой добро-дѣтели, этого внутренняго лицемѣрія съ самимъ собою...“ Смыслъ всего мѣста, которое не привожу цѣликомъ, отсылая читателя къ подлиннику, тотъ, что, по мнѣнію Добролюбова, всякій человѣкъ воленъ участвовать или не участвовать въ общественной борьбѣ, что общество не имѣетъ права принуждать его къ участию въ борьбѣ, и, наконецъ, онъ самъ не долженъ принуждать себя къ тому, если не чувствуетъ внутренняго позыва къ борьбѣ, если онъ не рожденъ борцомъ или дѣятелемъ. Насиліе надъ личностью есть величайшее зло,—даже тогда, когда оно исходитъ изъ благородныхъ побужде-ній и мотивируется требованіями идеала или общественнаго блага. Человѣкъ долженъ оставаться самимъ собою: онъ прежде всего—самъ себѣ цѣль... Приведу заключительныя слова этой замѣчатель-ной и въ высшей степени важной для пониманія Добролюбова статьи: „Говорятъ, что жизнь Станкевича прошла безплодно, что онъ да-ромъ растратилъ свои силы и не долженъ имѣть мѣста въ нашихъ воспоминаніяхъ; говорить это—значитъ обнаружить полное неува-женіе къ развитію индивидуальности человѣка и выразить претензію на абстрактное самоотреченіе, которое въ сущности есть не что иное, какъ обезличеніе. Кто признаетъ важность естественнаго, жи-вого, свободнаго ея развитія, тотъ пойметъ и значеніе Станкевича, какъ въ самомъ себѣ, такъ и для общества. Мы, съ своей стороны, прибавимъ здѣсь одно: если бы во всякомъ обществѣ большинство состояло изъ людей, подобныхъ Станкевичу, то не было бы никакой необходимости ни въ этой пресловутой борьбѣ, ни въ мукахъ и страданіяхъ, на которыя такъ любятъ вызывать всѣхъ порядочныхъ людей люди слишкомъ утилитарные“.

III.

На первый взглядъ можно усмотрѣть нѣкоторое противорѣчіе между этимъ панегирикомъ Станкевичу и тѣмъ рѣзкимъ осуждені-емъ „людей 40-хъ годовъ“,—Рудиныхъ, Бельтовыхъ, Лаврецкихъ и пр., съ которымъ вскорѣ выступилъ (заодно съ Чернышевскимъ) Добролюбовъ—въ статьѣ „Что такое обломовщина?“. Но не трудно убѣдиться, что противорѣчія или перемѣны взгляда тутъ нѣтъ. Вся литературная дѣятельность Добролюбова проникнута законченною

цѣльностью воззрѣнія и направленія. Онъ выше всего ставилъ права личности на свободное самоопредѣленіе и въ этомъ смыслѣ былъ индивидуалистъ. И ратуя за интересы и благо народа, пропагандируя освободительныя идеи, являясь борцомъ и публицистомъ лѣваго лагеря, онъ никогда не поступался верховнымъ принципомъ гуманности и идеею личности. Эти два начала были нераздѣльно слиты въ его міросозерцаніи и въ его практической программѣ. И если онъ изрекалъ свой „судъ безпощадный“ надъ „людьми 40-хъ годовъ“, то этотъ судъ относился не къ Станкевичу, Грановскому, Бѣлинскому и другимъ, священную память которыхъ онъ свято хранилъ, а къ Рудинымъ, Бельтовымъ и пр., въ которыхъ ему претила не полнота развитія личности, а признаки искаженія личности,—черты „обломовщины“, которыя онъ усматривалъ въ заурядныхъ представителяхъ поколѣнія 40-хъ годовъ. Его протестъ въ этомъ направленіи былъ протестомъ не только чловѣка борьбы и дѣла,—натуры, по существу, ригористической и суровой, но и протестомъ личности, достигшей высшаго развитія, личности разночинца, прошедшаго тяжелую школу жизни и суровый опытъ внутренней борьбы. Мы переходимъ тутъ къ оцѣнкѣ идей Добролюбова и характеристикъ его умонастроенія, какъ одного изъ величайшихъ представителей того движенія, которое Михайловскій обозначилъ формулою: „разночинецъ пришелъ“.

„Разночинцы“ (большею частью изъ духовнаго званія, также изъ другихъ сословій) давно уже стали появляться въ рядахъ образованнаго общества (Надеждинъ, Никитенко, Полевой, Бѣлинскій, Боткинъ, Кольцовъ и др.). Но они въ 30-хъ и 40-хъ гг. еще не выдѣлились въ особую интеллигентскую группу, ихъ классовая психологія, ихъ характерная умственная складка затушевывалась и расплывалась въ умственной культурѣ, создававшейся представителями высшаго слоя—дворянско-помѣщичьяго. Только въ 50-хъ годахъ „разночинцы“ стали замѣтно выдѣляться и количественно, и качественно: быстро образовалась среда разночинцевъ, и рѣзко обозначилась ихъ классовая психологія, ихъ характерная умственная складка. Образовался психологическій типъ интеллигента-разночинца или „семинариста“, какъ тогда выражались, и вскорѣ между этимъ типомъ и интеллигенціей „дворянскаго“—„бельтовскаго“, „рудинскаго“—типа обнаружился разладъ, родъ стихійнаго антагонизма. Это и была та почва, на которой возникла знаменитая „ссора отцовъ и дѣтей“. Вначалѣ и по существу дѣла это была ссора не двухъ поколѣній, а двухъ типовъ; тутъ вліяли не столько разногласія въ направленіи или въ идеологій, сколько инстинктивныя, часто непреодолимыя чувства антагонизма и взаимной антипатіи. Разночинцамъ претили „барскія“ замашки и привычки Бельтовыхъ и другихъ передовыхъ представителей дворянской интеллигенціи, ихъ дилетантизмъ, ихъ слабоболіе, праздность, ихъ утрированный эстетизмъ и т. д.; въ свою очередь „Бельтовымъ“ и прочимъ разно-

чинцы казались людьми невоспитанными, огрубѣлыми, лишенными не только внѣшняго лоска, но и внутренней душевной „изящности“. Какъ всегда бываетъ, съ той и съ другой стороны было много преувеличеній, было излишнее раздраженіе, были ошибки, и уже во второй половинѣ 50-хъ годовъ сплелась цѣлая сѣть недоразумѣній, которую потомъ долго не могли распутать.

Добролюбовъ, по самой натурѣ своей, представлялъ собою законченный типъ „разночинца“—въ его лучшемъ выраженіи,—и притомъ разночинца изъ духовной среды. Нельзя отрицать, что въ этой средѣ уже издавна и исподволь накапливались умственные силы и вырабатывались характеры, въ особенности же въ тяжелой школѣ жизни и подъ суровой ферулою семинарской схоластики развивались и крѣпли рѣдкія и въ высшей степени цѣнныя у насъ качества: выносливость и упорство въ трудѣ, умѣніе преодолевать препятствія, энергія, самообладаніе, крѣпость и стойкость духа въ жизненной борьбѣ, строгое отношеніе къ себѣ, къ дѣлу, къ жизни. Чернышевскій и Добролюбовъ были живымъ воплощеніемъ этихъ качествъ. И неудивительно, что люди такого закала должны были чувствовать глубокое отвращеніе, когда они сталкивались съ неуравновѣшенными, облѣнившимися, неспособными къ упорному труду, опустившимися представителями „барскаго“ типа. Вмѣстѣ съ тѣмъ и такія черты, какъ мечтательность, празднословіе, преувеличенный эстетизмъ и т. п., несомнѣнно свойственныя „барскому“ типу, должны были казаться „разночинцу“ чѣмъ-то вродѣ извращенія человѣческой природы.

Романъ Гончарова далъ Добролюбову готовую формулу, въ которую легко укладывались и которою истолковывались всѣ эти отрицательныя черты, накопившіяся въ передовомъ обществѣ подъ деморализующимъ вліяніемъ крѣпостного права и барской избалованности. Критикъ мастерски вскрываетъ черты замаскированной или относительной, частичной „обломовщины“ въ психологій Онѣгинныхъ, Печоринныхъ, Бельтовыхъ, Рудинныхъ и, возстановляя всю генеалогію обломовскаго типа, показываетъ, какъ шагъ за шагомъ этотъ типъ приходитъ къ тому крайнему выраженію, которое представлено въ лицѣ Ильи Ильича Обломова.

Можно упрекнуть Добролюбова въ нѣкоторыхъ преувеличеніяхъ и натяжкахъ, можно поставить ему въ вину уклоненіе отъ исторической перспективы и излишнюю суровость приговора, но при всемъ томъ его діагнозъ нельзя не признать мастерскимъ и—въ сущности дѣла—правильнымъ. Во всякомъ случаѣ онъ положилъ начало изслѣдованію „обломовщины“,—явленія, которое въ нашей, русской, психологій, въ нашей жизни и въ нашей исторіи играетъ весьма важную роль. Это—одна изъ великихъ заслугъ Добролюбова.

Отмѣтимъ и здѣсь рѣдкій тактъ въ самомъ выборѣ темы: критика всероссійской обломовщины, на ряду съ протестомъ противъ

всего, чѣмъ характеризуется „темное царство“, была не только очередною задачею времени, лозунгомъ котораго служило слово „эмансипація“, но и являлась необходимою предпосылкою для выработки здороваго, жизнеспособнаго и прогрессивнаго направленія общественной мысли. Прочную основу нашему развитію могло дать только безповоротное отрицаніе „темнаго царства“ и „обломовщины“. И вся послѣдующая исторія Россіи вплоть до нашихъ дней включительно показала, что каждый, даже малѣйшій, шагъ впередъ могъ быть сдѣланъ только путемъ преодоленія „самодурныхъ“ (мы говоримъ теперь: „черносотенныхъ“) началъ нашей жизни и расслабляющихъ духъ внушеній нашей „обломовщины“.

Изъ произведеній Тургенева Добролюбовъ избралъ „Наканунъ“, обойдя и „Рудина“, и „Дворянское гнѣздо“. Объ этихъ послѣднихъ романахъ онъ только упоминаетъ, а также набрасываетъ (въ статьѣ о „Наканунѣ“) характеристику типовъ Рудина и Лаврецкаго, какъ „пропагандистовъ“, „просвѣтителей“, и—въ статьѣ „Что такое обломовщина“—какъ представителей извѣстной разновидности „обломовскаго типа“. Повѣсть „Наканунъ“ привлекла къ себѣ особое и очень сочувственное вниманіе Добролюбова тѣмъ, что здѣсь Тургеневъ уловилъ очередную „злобу дня“, поставилъ и художественно освѣтилъ коренной вопросъ времени. Это былъ все тотъ же вопросъ „эмансипаціи“ (въ обширномъ смыслѣ), движенія впередъ, плодотворной общественной дѣятельности. Въ полномъ согласіи съ воззрѣніемъ Добролюбова, Тургеневъ чутьемъ художника рѣшилъ задачу въ томъ смыслѣ, что „теперь“ (вторая половина 50-хъ годовъ, „наканунъ“ реформъ) для живого дѣла не годятся ни Шубины, служители „чистаго искусства“, ни Берсеневы, адепты „чистой науки“,—не годятся вообще эпигоны 40-хъ годовъ, а потребны „новые люди“—вродѣ Инсарова, можетъ быть, узкіе, одноидейные, даже ограниченные, но крѣпкіе духомъ, готовые на всѣ жертвы ради излюбленной идеи. Мало проку и отъ такихъ, какъ Курнатовскій—честный чиновникъ, прогрессивный бюрократъ. Но Инсаровыхъ у насъ нѣтъ пока, и условія нашей жизни далеко не благопріятствуютъ ихъ появленію. Но мы все-таки „наканунъ“ того времени, когда они появятся. Въ какія формы выльется ихъ дѣятельность, какова будетъ ихъ „программа“, это уже вопросъ будущаго...

Въ Инсаровѣ Добролюбовъ цѣнитъ не столько „героя“ (вспомнимъ его выпадъ—въ статьѣ о Станкевичѣ—противъ „абстрактнаго героизма“), сколько человѣка дѣла, практическаго, общественнаго дѣятеля, отличающагося выдержкою, дисциплиною воли, чуждаго фразъ, пустой декламации и не тратащаго свои силы попусту—стрѣляніемъ по воробьямъ изъ пушки, чѣмъ усердно занимались тогда наши либералы и „обличители“.

Нѣтъ основаній видѣть въ Инсаровѣ, какъ онъ истолкованъ Добролюбовымъ, непремѣнно апофеозъ революціонера. Это скорѣе всего сочувственная характеристика типа „положительнаго дѣятеля“,

способнаго „дѣлать благое дѣло среди царяющаго зла“. Въ людяхъ этого склада и закала у насъ всегда былъ (и сейчасъ чувствуется) большой недочетъ. Добролюбовъ страстно жаждалъ ихъ появленія... Блестящая статья о „Наканунѣ“, озаглавленная „Когда же придетъ настоящій день?“, въ сущности разсматриваетъ вопросъ о скудости у насъ истинныхъ общественныхъ дѣятелей (въ обширномъ смыслѣ), не мелко-плавающихъ и не размѣнивающихся на безплодныя фразы и фантазін, и могла бы быть озаглавлена такъ: „Когда же явятся у насъ настоящіе люди дѣла?“.

IV.

Подводя итогъ вышеизложенной характеристикѣ Добролюбова, мы скажемъ такъ:

Идеалистъ по духу, одушевленный высокими идеями свободы, народнаго блага и гармоническаго развитія личности, онъ былъ реалистъ по складу ума; идеализмъ стремленій и цѣлей сочетался въ немъ съ реализмомъ въ его отношеніяхъ къ дѣйствительности, въ приѣмахъ мышленія, въ его критическомъ методѣ. Это былъ положительный, научный умъ, строго-логичный, глубоко-трезвый. Въ наши дни Добролюбовъ явился бы „реальнымъ политикомъ“ на лѣвомъ флангѣ.

Какъ моральная натура, онъ представлялъ собою удивительно-гармоническое сочетаніе этическаго ригоризма съ внутренней свободой. „Суровъ онъ былъ“, *) но въ этой нравственной „суровости“ не было ничего педантическаго, ничего доктринерскаго. Выше всего ставилъ онъ право человѣка на свободное самоопредѣленіе и полноту развитія и очень низко цѣнилъ напускную добродѣтель и тѣ подвиги самоотреченія, которые человѣкъ совершаетъ, такъ сказать, „поневолѣ“, по психическому принужденію или внушенію, напр., со стороны чувства долга, „страха божьяго или человѣческаго“, подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія или фанатически воспринятой идеи.

Разносторонне и блестяще одаренный писатель, съ призваніемъ публициста и „дѣлателя жизни“ и съ умомъ ученаго, натура высокая и цѣльная, Добролюбовъ оставилъ неизгладимый слѣдъ въ нашей литературѣ и въ исторіи нашего общественнаго развитія. Ранняя смерть—на 26-мъ году—не позволила этой огромной духовной силѣ развернуться полностью, во всемъ разнообразіи дарованій, какими обладалъ этотъ необыкновенный человѣкъ.

*) Выраженіе Некрасова.

2.

Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

(1840—1868 г.)

Вл. П. Кранихфельда.

I.

„Мечты и иллюзіи гибнутъ, факты остаются“.

Въ круговоротѣ историческаго процесса погибли, конечно, многія изъ тѣхъ мечтаній и иллюзіи, которыя вдохновляли когда-то и самого автора этого афоризма. Но фактъ преобладающаго вліянія Писарева въ бурный періодъ 60-хъ годовъ навсегда запечатлѣлся въ исторіи русской литературы короткой, но яркой и красочной главой.

Никто не отважился отрицать или даже оспаривать этотъ фактъ, но многіе въ нерѣшительности останавливались передъ нимъ, тщетно пытаясь найти для него болѣе или менѣе исчерпывающее объясненіе. „Поразительный примѣръ громаднаго вліянія юноши, не вооруженнаго ничѣмъ, кромѣ своего пера“, казался загадкой. Произнесенная впервые въ пылу полемики антагонистами Писарева и повторяемая и въ наши дни гипотеза о подчиненіи юнаго критика „Русскаго Слова“ внушеніямъ Благосвѣтлова рушится при первомъ же прикосновеніи къ ней. „Мое реалистическое міровоззрѣніе,—опровергаетъ самъ Писаревъ эту гипотезу,—сложилось независимо отъ Благосвѣтлова и до знакомства съ нимъ“. Человѣку, который былъ органически не способенъ ко лжи,—„хрустальной коробочкѣ“, какъ прозвали Писарева въ дѣтствѣ за его искренность,—можно повѣрить и на слово. Скептики же пусть заглянутъ въ первыя же статьи Писарева, напечатанныя въ „Русскомъ Словѣ“ въ началѣ 1861 г. Какою бы силой внушенія ни обладалъ редакторъ, онъ все-таки не могъ бы въ 3—4 мѣсяца сформировать себѣ сотрудника по желанію или по образу и подобию своему. А между тѣмъ въ этихъ первыхъ своихъ статьяхъ Писаревъ выступаетъ уже вполне сформировавшимся писателемъ, основныя реалистическія и освободительныя тенденціи котораго сказались здѣсь съ достаточной опредѣленностью и ясностью. Наконецъ, учитывая вліяніе Благосвѣтлова, не слѣдуетъ забывать, что въ непосредственной близости съ нимъ Писаревъ работалъ только полтора года. За этимъ слѣдуютъ четыре съ половиною года одиночнаго заключенія въ Петропавловской крѣпости, и здѣсь-то, физически разобщенный не только съ Благосвѣтловымъ, но и со всѣмъ живымъ міромъ, Писаревъ пишетъ свои наиболѣе выдающіяся, наиболѣе боевыя статьи.

Приходится, стало быть, снова возвратиться къ тому же „перу“ Писарева, къ его литературному таланту, яркому и своеобразному,

которымъ однимъ нѣкоторые и притомъ весьма почтенные критики и въ самомъ дѣлѣ хотѣли объяснить его вліяніе. Хорошо, однако, былъ бы идейный вожакъ цѣлаго поколѣнія, все обаяніе котораго сводилось бы къ однимъ только виѣшнимъ даннымъ,—къ „литературному таланту“!

Чтобы быть справедливымъ къ неудачнымъ изслѣдователямъ причинъ огромнаго вліянія Писарева, надобно сказать, что оторванный отъ своего времени психическій образъ этого писателя дѣйствительно долженъ казаться во многихъ отношеніяхъ загадочнымъ и необъяснимымъ. Развѣ мы не знаемъ, откуда и съ чѣмъ пришелъ онъ въ русскую литературу? И чѣмъ ближе узнаемъ мы его до-литературную жизнь, тѣмъ загадочнѣе представляются намъ его литературные дебюты и вся его кратковременная, но блестящая литературная карьера.

II.

Сынъ когда-то состоятельныхъ, но разорившихся помѣщиковъ, Писаревъ первые годы дѣтства провелъ подъ исключительнымъ руководствомъ своей матери. Молодая женщина, получившая „приличное“ для своего времени институтское образованіе, съ жаромъ отдалась воспитанію своего первенца. Деревенское одиночество создавало для этого болѣе чѣмъ достаточный досугъ, и четырехъ лѣтъ отъ роду Писаревъ уже бѣгло читалъ по-русски, а по-французски говорилъ, какъ маленькій парижанинъ. Сверстниковъ для игръ у него не было, и цѣлые дни ребенка проходили въ занятіяхъ. Будущій врагъ всякихъ авторитетовъ и всякихъ общеобязательныхъ догмъ, Писаревъ росъ въ полномъ подчиненіи авторитету матери и старшихъ вообще. Не только актъ непослушанія, но даже самая мысль о немъ казалась ребенку дерзкой и дикой. И когда случилось ему прочитать нравоучительную книжку про непочтительнаго мальчика („L'enfant raisonneur“), который на приказанія взрослыхъ отвѣчалъ вопросами: „зачѣмъ да почему?“ Писаревъ отнесся къ разсказу съ полнымъ недовѣріемъ. „Mais, maman, ect-se qu'il y a de tels enfants, est-ce qu'on peut ne pas obéir, quand maman et papa ordonnent quelque chose?“ *) спрашивалъ удивленный ребенокъ у своей воспитательницы.

Въ гимназій, даже вдали отъ матери, Писаревъ свято хранилъ преподаанные ею завѣты. „Я принадлежалъ въ гимназій,—разсказываетъ онъ впослѣдствіи (въ ст. „Наша университетская наука“),—къ разряду овецъ; я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменахъ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно, и въ награду за всѣ эти несомнѣнные достоинства былъ признанъ „преуспѣвающимъ“.

*) Развѣ есть такіа дѣти, мама? Развѣ можно не слушаться, когда мама или папа приказываютъ что-нибудь?

Внѣ школы любимымъ чтеніемъ Писарева были романы Купера и Дюма. Пробоваль читать „Исторію Англіи“ Маколея, но чтеніе показалось подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія. Въ 7-мъ классѣ началъ было читать „Холодный домъ“ Диккенса, но и этотъ романъ оказался не по силамъ „преуспѣвающему“ гимназисту. Русскихъ писателей онъ зналъ только по именамъ, а критическія статьи въ журналахъ казались ему „кодексомъ гіероглифическихъ надписей.“

Поступивъ 16-ти лѣтъ съ такой подготовкой на филологическій факультетъ, Писаревъ и въ университетѣ продолжалъ оставаться все тою же послушною и почтительною „овцою“. Онъ аккуратно посѣщаль лекціи и записываль ихъ въ изящныя тетрадошки. Но въ обществѣ близкихъ товарищей-студентовъ онъ здѣсь „впервые“ услышалъ такія вещи, которыя заставили его серьезно призадуматься. „Трое или четверо ихъ нихъ,—вспоминаетъ Писаревъ,—уже отмежевали себѣ ту или другую науку для специальныхъ занятій; другіе говорили, что выборъ ихъ еще не установился, но что вотъ они читаютъ то и то, и при этомъ размышляютъ такъ и такъ. Говорили объ исторической критикѣ, объ объективномъ творчествѣ, объ основѣ мнѣній... ухитрялись даже спорить, къ ужасу моему разсуждали о тѣхъ критическихъ и ученыхъ статьяхъ въ журналахъ, которыя были мнѣ недоступны, какъ полярныя льды... а я только моргалъ глазами и даже не пытался скрыть того, какъ глубоко удручаетъ меня болѣзненное сознаніе моего вынужденнаго безгласія...“ Было задѣто самолюбіе, и Писаревъ горячо, но безнадежно сталъ искать и для себя специальныхъ, „строго-научныхъ“ занятій. По совѣтамъ профессоровъ, онъ переводить съ греческаго географію Страбона; затѣмъ, бросивъ ее, переходитъ къ изученію исторіи по громоздкому словарю Эрша и Грубера, въ которомъ, впрочемъ, онъ не подвинулся дальше буквы А; переводить, совершенно не понимая ея смысла, „зловѣщую брошюру“ Штейнталя о языкознаніи Вильгельма Гумбольта и философіи Гегеля; 16 мѣсяцевъ сидитъ надъ подробной біографіей Гумбольта, усердно компилируя ее, и т. д. Конечно, ни одна изъ этихъ „ученыхъ“ работъ не захватила и не удовлетворила Писарева. Мало-по-малу онъ приходитъ къ сознанію, что у него нѣтъ вкуса къ какой-нибудь спеціальности. И это сознаніе тѣмъ болѣе удручало его, что въ товарищескомъ кружкѣ, подъ вліяніемъ котораго онъ теперь находился, академическая наука была въ большемъ почетѣ. „Мы,—разсказываетъ Писаревъ объ этомъ кружкѣ,—называли себя людьми мысли, хотя, конечно, не имѣли ни малѣйшаго права называть себя такъ. Новые студенты могли называть Добролюбова своимъ учителемъ, но мы относились къ Добролюбову и „Современнику“ вообще съ высокоомѣріемъ, свойственнымъ нашей кастѣ. Мы ихъ не читали и гордились этимъ, говоря, что и читать не стоитъ“.

Но какъ разъ именно въ эти годы „новые студенты“ быстро и рѣшительно овладѣвали университетомъ, оттѣсня „людей мысли“,

отжившей мысли, отъ всякаго вліянія на университетскую среду и заставляя ихъ то и дѣло сдавать свои слабо защищенныя позиціи. И кто скажетъ, откуда приходили въ университетъ эти новые люди? Какимъ вѣтромъ ихъ заносило сюда? Только что кончилась Севастопольская кампанія, нанеся послѣдній ударъ дворянско-крѣпостническому строю. Россія просыпалась отъ вѣкового сна, и стихійной мощью дышало ея пробужденіе. „Вдругъ, откуда ни возмись“, по воспоминаніямъ С. В. Ковалевской объ этой эпохѣ, въ самыхъ глухихъ уголкахъ Россіи объявлялись признаки какого-то страннаго броженія, которое все ближе и ближе подкапывалось подъ истлѣвшій строй. Университетъ, какъ барометръ, правильно отмѣтилъ и это новое состояніе соціально-политической атмосферы, отмѣтилъ тѣмъ болѣе правильно, что съ отмѣною въ 1855 г. „комплекта“ въ университетъ разрѣшенъ былъ неограниченный доступъ.

Два года находился Писаревъ во власти своего академическаго кружка. И когда въ концѣ 1858 г. ему случайно удалось получить заказъ на библиографическія замѣтки въ одномъ журналѣ для дѣвицъ („Разсвѣтъ“ Кремпина), „люди мысли“ внушительно и предостерегающе закачали головами. Съ соболѣзнованіемъ они указывали ему на „пагубный примѣръ“ Добролюбова, который могъ бы стать „дѣльнымъ ученымъ“, а вмѣсто того сдѣлался „пустымъ журналистомъ“. И Писаревъ старался увѣрить друзей въ своей невинности, отрещивался отъ примѣра Добролюбова и говорилъ, что никогда не пойдетъ по столь „предосудительному пути“.

Однако, именно этотъ третій (1858—59) годъ пребыванія Писарева въ университетѣ сталъ для него рѣшающимъ. „Вдругъ, откуда ни возмись“, стихія общественнаго пробужденія захватила и этого благовоспитаннаго юношу. Безъ внутренняго кризиса, безъ надрыва, незамѣтно для себя самого, какъ это и бываетъ въ періоды стихійныхъ движеній, Писаревъ отъ почтительности перешелъ къ протесту. Разгаръ университетскаго движенія этого года застаётъ Писарева уже въ средѣ „новыхъ студентовъ“. Онъ выступаетъ на сходкахъ съ рѣчами, иногда тутъ же разряжаясь слезами. Протестъ противъ одного профессора до того увлекаетъ неофита, что онъ ложится на столь и барабанитъ въ стѣну, за которой сидѣлъ профессоръ, чтобы сорвать его лекцію.

Всѣ внушенія опекавшихъ его въ Петербургѣ родственниковъ не ведутъ ни къ чему, и дядя долженъ былъ махнуть рукой на юношу, рѣшивши, что *Dmitry a mal tourné et devint un Saint-Juste en miniature*.

Работа въ „Разсвѣтѣ“, для которой приходилось много читать и думать, съ своей стороны, тоже не мало содѣйствовала быстрому сформированію новаго человѣка изъ благонаправнаго студента. Самъ Писаревъ приписываетъ этой работѣ даже преобладающую роль въ своемъ перерожденіи, утверждая, что библиографія насильно вытащила его „изъ закупоренной кельи на свѣжій воздухъ“.

III.

Общественное движеніе создало Писарева, и онъ быстро овладѣваетъ настроеніемъ эпохи. Вопросъ о взаимодѣйствіи между героями и толпой получаетъ въ біографіи Писарева ясный и опредѣленный отвѣтъ.

Послѣ кратковременнаго сотрудничества въ „Разсвѣтъ“, который послужилъ для Писарева подготовительной литературной школой, онъ переходитъ въ „Русское Слово“. И здѣсь первыя же статьи Писарева обнаруживаютъ такую силу натиска, что вокругъ нихъ немедленно возгораются страстные полемическія битвы. Начинающій писатель выдвигается въ ряды передовыхъ борцовъ и—на смѣну сошедшимъ съ исторической арены Чернышевскому и Добролюбову—становится идейнымъ вождемъ цѣлаго поколѣнія.

Что же далъ Писаревъ этому поколѣнію? Что новаго внесъ онъ въ идейную сокровищницу своего времени?

На этотъ послѣдній вопросъ Герценъ, обобщая въ понятіи „нигилизма“ не только Писарева, но и все поколѣніе 60-хъ годовъ, отвѣтилъ отрицательно. Идея, которыми со времени декабристовъ питается русская интеллигенція, составляютъ одну непрерывную цѣпь. Основныя идеи „нигилизма“ корнями своими лежатъ въ 40-хъ годахъ. „Нигилизмъ съ тѣхъ поръ расширился, яснѣе созналъ себя, даже сталъ доктриной, принялъ въ себя многое отъ науки и вызвалъ дѣятелей съ огромными силами, съ огромными талантами... Но новыхъ началъ, принциповъ онъ не внесъ“.

По существу Герценъ былъ правъ. Да и сами „шестидесятники“ не отрицали своего идейнаго родства съ 40-ми годами, съ которыми ихъ связываетъ прежде всего и главнымъ образомъ Бѣлинскій. „Преданный и благодарный ученикъ Бѣлинскаго“, Чернышевскій питалъ къ своему учителю „горячую любовь“. По признанію Добролюбова, „въ Бѣлинскомъ наши лучшіе идеалы“. Писаревъ чтилъ въ Бѣлинскомъ „превосходнаго критика, честнаго гражданина и замѣчательнаго мыслителя“. Даже противорѣча Бѣлинскому и полемизируя съ нимъ (какъ это было въ статьѣ „Пушкинъ и Бѣлинскій“), Писаревъ все же и не безъ основаній настаиваетъ, что „критика „Русскаго Слова“, по своему основному принципу, совершенно соотвѣтствуетъ стремленіямъ Бѣлинскаго“. Въ Бѣлинскомъ шестидесятники цѣнили человѣка, который отвлеченные философскіе принципы сумѣлъ довести до „реальной жизненности“.

Какъ-то въ концѣ своего пребыванія въ Петропавловской крѣпости Писаревъ писалъ матери: „Если мнѣ удастся выйти опять на ровную дорогу, то я, навѣрное, буду самымъ послѣдовательнымъ изъ русскихъ писателей и доведу свою идею до такихъ ясныхъ и осязательныхъ результатовъ, до какихъ еще никто не доводилъ раньше меня“. Здѣсь Писаревъ выражаетъ желаніе стать такимъ, какимъ на самомъ дѣлѣ онъ и былъ въ русской литера-

турѣ. Въ этомъ отношеніи Писаревъ не имѣлъ соперниковъ, тѣмъ болѣе, что Л. Н. Толстой въ то время еще не успѣлъ показать себя со стороны такой же неустрашимой послѣдовательности.

Итти до извѣстнаго предѣла, критиковать въ извѣстныхъ предѣлахъ Писаревъ органически не могъ. На его языкѣ всякое такое самоограниченіе называется мѣщанствомъ и филистерствомъ. Принимая идею, надо принимать ее до конца. Надо „сжечь всѣ свои корабли и идти смѣло впередъ, шагая черезъ развалины своихъ прежнихъ симпатій, вѣрованій, воздушныхъ замковъ и идеаловъ“ („Стойкая вода“). И поэтому, разъ уже окунувшись въ атмосферу 60-хъ годовъ, Писаревъ всѣ боевые лозунги своего времени безстрашно высказалъ до конца, развернувъ ихъ до послѣднихъ предѣловъ ясности. Дальше итти было некуда.

Весь смыслъ движенія 60-хъ годовъ заключается въ борьбѣ съ феодально-крѣпостнымъ строемъ, оказавшимся въ явномъ противорѣчьи съ насущными интересами страны. Разночинецъ, вооружившійся противъ этого строя, не имѣлъ ни хладнокровія, ни времени разсматривать его въ деталяхъ. Осуждены были весь дворянскій режимъ, вся дворянская культура во всей совокупности ихъ общественныхъ и культурныхъ отношеній, сложившихся на почвѣ крѣпостного права. И гдѣ ужъ тутъ было отличать годное отъ негоднаго, цѣнности отъхлама? „Что можно разбить, то и нужно разбивать,—энергично выражаетъ это настроеніе Писаревъ:—что выдержитъ ударъ, то годится; что разлетится вдребезги, то хламъ; во всякомъ случаѣ бей направо и налево, отъ этого вреда не будетъ и не можетъ быть“.

И шестидесятники дѣйствительно били направо и налево, и всѣхъ больше отличался въ этомъ смыслѣ Писаревъ. Дворянская культура была ненавистна ему во всѣхъ ея проявленіяхъ, и даже апоэозъ ея, въ очаровательныхъ картинахъ „Войны и мира“, онъ принялъ, какъ „образцовое произведеніе по части патологіи русскаго общества“. Не умаляя художественныхъ достоинствъ этой великой эпопеи изъ жизни „старого барства“, Писаревъ безъ раздраженія не можетъ вспомнить ни одного образа, ни одной сцены.

Неудивительно, что при такомъ отношеніи ко всему прошлому между „отцами“ и „дѣтьми“, несмотря на установленную преемственность ихъ идей, произошла серьезная размолвка. „Дѣти“ (шестидесятники) не признали своихъ „отцовъ“ (людей 40-хъ годовъ) и, исключивъ, впрочемъ, Бѣлинскаго, отвернулись отъ нихъ. „Желчевиками“ называлъ ихъ за эту нетерпимость Герценъ, „лишними людьми“ называли они даже лучшихъ представителей 40-хъ годовъ.

Здѣсь не мѣсто распространяться объ условіяхъ, создавшихъ это взаимное непониманіе. И я сошлюсь лишь на два романа, написанные двумя выдающимися мыслителями этихъ, если такъ можно выразиться, взаимно полемизирующихъ эпохъ. „Кто виноватъ?“—таково названіе романа Герцена, и таковъ былъ дѣйствительно вс-

прось, занимавший умы лучших людей 40-х гг. „Что дѣлать?“—таковъ былъ единственный вопросъ шестидесятниковъ. И если дворяне, лучше дворяне, не находили виноватаго и апеллировали къ обстоятельствамъ и средѣ, то разночинецъ 60-хъ гг. виноватаго не искалъ. Онъ давно нашелъ и зналъ виноватаго, а жалобы на обстоятельства и среду только смѣшили его. „Дряблые людишки“ этими словами „заживо читають себѣ отходную“, увѣряетъ Писаревъ и восклицаетъ при этомъ: „О, достойные сограждане! О, филейныя части человѣчества! Развѣ вы чѣмъ-нибудь отличаетесь отъ среды, жизни и обстоятельствъ, на которыя вы такъ бессмысленно жалуетесь?“ („Романъ кисейной дѣвушки“).

Но непреодолимы были „обстоятельства“ въ 40-хъ гг., и, спасая себя, лучшие люди уходили отъ нихъ въ міръ отвлеченностей и грезъ. Воспитавшійся на литературѣ того времени и до конца дней своихъ сохранившій о ней благодарную память, Щедринъ вспоминаетъ о „трогательно-благородномъ“ характерѣ ея отчужденности отъ насущныхъ вопросовъ жизни. Она, „какъ сказочная царица, была заключена въ неприступномъ чертогѣ и тамъ дремала, окутанная сновидѣніями“. И если уже Бѣлинскій вооружался противъ абстрактности идеала, понявъ его безсиліе, то разночинцы 60-хъ годовъ окончательно отвергли всякія „отвлеченности“. „Для того, чтобы образовался ясный и правильный взглядъ на предметъ,—писалъ Чернышевскій,—нужны факты“. Добролюбовъ факты противопоставляетъ абстракціямъ, дѣло—фразамъ и на этомъ контрастѣ вполне правильно сшибаетъ „дѣтей“ съ „отцами“. Факты жизни, а не общія теоріи, вотъ чѣмъ должна заниматься литература, провозглашаетъ и Писаревъ. Факты не лгутъ; удерживая человѣка на землѣ, устремляя его вниманіе къ трезвой правдѣ живыхъ интересовъ, они освобождаютъ человѣка отъ оковъ рутиннаго фразерства.

Факты—это въ устахъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева переходъ къ позитивному научному міропониманію. Подчеркиваю „переходъ“, потому что разночинецъ 60-хъ гг., цѣликомъ отвергая „отвлеченности“ и идеалы ненавистнаго прошлаго, не успѣлъ взамѣнить ихъ выдвинуть собственнаго стройнаго міросозерцанія. И Писаревъ дѣйствовалъ поэтому въ духъ своего времени, когда отказался отъ всякихъ „общихъ идеаловъ“, даже независимо отъ содержанія послѣднихъ. Съ его точки зрѣнія „общій идеалъ“ такъ же смѣшонъ и невозможенъ, какъ невозможны, на примѣръ, „общія очки или общіе сапоги, сшитые по одной мѣркѣ и на одну колодку“,

Освобожденная отъ цѣпей „общихъ идеаловъ“ личность, выше которой шестидесятники „не принимали на земномъ шарѣ ничего“, отвоевывала себѣ право полного самоопредѣленія. Въ дальнѣйшемъ развитіи эта идея получаетъ у Писарева форму разработанной системы эгоизма. Правда, и здѣсь приходится оглянуться немного назадъ: эгоизмъ, какъ теорію, провозгласилъ у насъ Чернышевскій. Но ему же принадлежитъ и весьма существенная оговорка, поясняющая,

Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

Изъ „Собранія русскихъ гравюръ“ Ровинскаго.
(Румянцевскій Музей въ Москвѣ.)

(Российскій Музей въ Москвѣ.)
№ 1. "Собраніе русскихъ рукописей". Ровникова.
Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.



D. Thiers

что одинокаго счастья нѣтъ. Добролюбовъ, придерживавшійся той же теоріи, умѣлъ какъ-то оттѣснить ее въ своихъ статьяхъ на задній планъ. И только у Писарева эгоизмъ отлился въ законченную и практически разработанную систему.

Утилитаризмъ въ морали и въ искусствѣ замыкалъ это міропониманіе, при чемъ и здѣсь Писареву принадлежитъ лишь послѣднее слово, логически вытекавшее изъ положеній его предшественниковъ. Даже самый „варварскій“ его актъ—развѣнчаніе Пушкина—восходитъ, черезъ Чернышевскаго и Добролюбова, къ самому Бѣлинскому. „Кто поэтъ для себя и про себя, презирая толпу, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній“, замѣчаетъ, напримѣръ, Бѣлинскій по поводу стихотворенія „Чернь“, ложно понявъ его идею. И это далеко не единственное замѣчаніе по адресу Пушкина, сближающее родоначальника русской критики съ Писаревымъ.

Съ тѣми или иными оговорками, но предшественники Писарева отводили искусству служебную роль. Писаревъ подчеркнул это положеніе и сдѣлалъ изъ него соотвѣтствующіе выводы. „Литература во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ,—писалъ онъ,—должна бить въ одну точку; она должна всѣми своими силами эмансипировать человѣческую личность отъ тѣхъ разнообразныхъ стѣсненій, которыя налагаетъ на нее робость собственной мысли, предразсудки касты, авторитетъ преданія, стремленіе къ общему идеалу и весь тотъ отжившій хламъ, который мѣшаетъ живому человѣку свободно дышать и развиваться во всѣ стороны“ („Схоластика XIX вѣка“).

Коснувшись вопроса объ отношеніи Писарева къ художественнымъ произведеніямъ литературы, нельзя обойти молчаніемъ одного существеннаго пункта. Мы видѣли уже, какъ легко, безъ надлома, овладѣлъ онъ основными идеями и настроеніями своего поколѣнія. Но едва ли, однако, можно сказать то же самое и объ его эстетическихъ взглядахъ. Въ этой области, начиная съ защиты принципа „чистаго искусства“ и кончая крайними выводами утилитаризма, Писаревъ проходитъ длинный путь. Проходитъ колеблясь, какъ будто насилуя самого себя. И—это характерная черта эволюціи Писарева—чѣмъ злѣе становятся его нападки на искусство, тѣмъ выше и выше возноситъ онъ почетное званіе истиннаго поэта. „Поэтъ,—формулируетъ онъ,—долженъ воплощать въ себѣ лучшія стремленія своего вѣка, долженъ страдать страданіемъ міра и радоваться его радостью. Онъ пишетъ кровью своего сердца. А чтобы дѣйствительно писать кровью сердца, необходимо безпредѣльно и глубоко сознательно любить и ненавидѣть, и чтобы эта любовь и ненависть были дѣйствительно чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать“.

Во всякомъ случаѣ чувство изящнаго было присуще Писареву. Въ его критическихъ статьяхъ и даже въ раннихъ библиографическихъ замѣткахъ разбросано множество тонкихъ замѣчаній, которыя сдѣлали бы честь любому эстету.

IV.

Писаревъ въ своихъ статьяхъ и письмахъ нѣсколько разъ и самымъ рѣшительнымъ образомъ противопоставляетъ себя Добролюбову. Въ одномъ мѣстѣ онъ утверждаетъ даже, что если бы ему пришлось поговорить съ Добролюбовымъ полчаса, то они не сошлись бы „почти ни въ одномъ пунктѣ“.

Извѣстное преувеличеніе чувствуется въ этихъ словахъ. Мы уже знаемъ, что есть много „пунктовъ“, въ которыхъ Писаревъ является наслѣдникомъ и продолжателемъ Добролюбова. Но и за всѣмъ тѣмъ дѣйствительно остаются пункты, въ которыхъ оба эти критика рѣзко расходятся другъ съ другомъ.

Расхождение намѣчается прежде всего въ самомъ тонѣ ихъ статей,—желчнымъ, суровымъ, почти аскетическомъ у Добролюбова, бодромъ, жизнерадостномъ и часто до шаловливости игривомъ у Писарева. Недаромъ же одинъ изъ критиковъ рисуетъ послѣдняго какимъ-то „шалуномъ“ и даже „повѣсой революціи“.

Не надо забывать, что вся слишкомъ кратковременная дѣятельность Добролюбова относится къ тревожному и боевому періоду, непосредственно предшествующему крестьянской реформѣ. На ней одной были сосредоточены мысли и чувства всей страны. Вопросъ объ эмансипаціи крестьянъ, а главное—объ условіяхъ этой эмансипаціи, изъ-за которыхъ главнымъ образомъ и велась борьба, держалъ мысль насторожѣ, въ состояніи нервной подозрительности. Было не до шутокъ.

Напротивъ, литературная дѣятельность Писарева началомъ своимъ почти совпадаетъ съ крестьянской реформой и оканчивается на рубежѣ новой реакціонной полосы, отмѣченной выстрѣломъ Каракозова.

Писаревъ бодръ и жизнерадостенъ. Но этимъ же настроеніемъ переполненъ и разночинецъ, всплывшій, наконецъ, на поверхность исторической жизни. Главная забота избыта. Крестьянство освобождено, и, поручая дальнѣйшую его судьбу попеченіямъ правительственной власти, какъ это откровенно и сдѣлалъ Писаревъ въ „Реалистахъ“ (т. IV, стр. 4), разночинецъ разрѣшилъ себѣ теперь заняться исключительно устроеніемъ собственной жизни. Этому именно дѣлу и посвящена цѣликомъ литературная дѣятельность Писарева.

Писарева принято почему-то называть „кающимся дворяниномъ“. На самомъ же дѣлѣ ничего покаяннаго въ его настроеніи нѣтъ. Да и дворяниномъ его можно считать только по рожденію, по крови. А затѣмъ его воспитаніе, привычки, симпатіи,—все обнаруживаетъ въ немъ разночинца, или,—по европейской терминологіи самого Писарева,—человѣка „средняго сословія“. Несмотря на то, что все свое дѣтство онъ провелъ въ деревнѣ, эта послѣдняя не оставила въ его сознаніи никакихъ слѣдовъ. И не мудрено. По словамъ біографа Писарева, его держали „въ полномъ невѣдѣніи на-

счетъ деревни и деревенской жизни. Онъ такъ и выросъ, ни разу не взглянувъ въ курную избу, не унеся изъ дѣтскихъ лѣтъ ни одного хорошаго или дурного воспоминанія, въ которомъ фигурировалъ бы мужикъ или хотя бы старуха-няня“. Если мы вспомнимъ далѣе, что Писареву уже на студенческой скамьѣ пришлось содержать себя литературнымъ трудомъ, то при всемъ виѣшнемъ лоскѣ юнаго джентльмена въ немъ трудно будетъ отыскать типичныя черты стародворянской психологіи.

Онъ былъ и считалъ самъ себя человѣкомъ средняго сословія, за предѣлы интересовъ котораго почти и не уносилась его отточенная мысль.

Для Писарева „среднее сословіе“—это все. Оно единственное изъ всѣхъ сословій, которое „дѣйствительно живетъ и движется“. Для него, только для него „смѣняются идеалы, взгляды на жизнь и вѣянія эпохи“. Къ нему принадлежить „почти все то, что пишетъ, читаетъ, мыслить и развивается. Высшая аристократія и простой народъ въ сущности мало измѣнились со временъ, напримѣръ, Александра I-го“ („Схоластика XIX вѣка“).

Такъ чрезмѣрно идеализируя „среднее сословіе“, Писаревъ естественно къ нему одному и обращается, съ нимъ однимъ и о немъ однимъ онъ и ведетъ свои бесѣды. Конечно, и онъ упоминаетъ о народной бѣдности и народномъ невѣжествѣ и о необходимости борьбы съ этимъ зломъ. Но и эту борьбу, въ видахъ экономіи силъ, которыхъ у насъ такъ мало и которыя мы такъ безобразно расходуетъ, онъ предлагаетъ вести черезъ посредство все того же средняго сословія. „Надо дѣйствовать,—утверждаетъ онъ,—исключительно на образованные классы. Судьба народа рѣшается не въ народныхъ школахъ, а въ университетахъ“.

Провозглашенному имъ принципу экономіи силъ Писаревъ придаетъ огромное значеніе, много разъ возвращаясь къ нему и подчеркивая его. Быть эпикурейцемъ на досугѣ, во время отдыха,—противъ этого Писаревъ ничего не имѣетъ. Напротивъ, легкая атмосфера эпикурейскаго настроенія какъ бы сопутствуетъ самому Писареву въ его побѣдномъ шествіи. Но въ работѣ надо быть ригористомъ, надо экономить силы такъ, чтобы каждый шагъ приближалъ къ цѣли. И разночинецъ жадно внималъ этой мудрой проповѣди, потому что въ обширной „мастерской“, какою для него открывалась новая жизнь, зѣвать было некогда. Надо было завоевывать себѣ положеніе, и такъ какъ единственнымъ орудіемъ разночинца было знаніе, наука, то на эту сторону дѣла Писаревъ и обратилъ свое особенное вниманіе.

„Въ наукѣ, и только въ ней одной, заключается та сила, которая, независимо отъ историческихъ событій, можетъ разбудить общественное мнѣніе и сформировать мыслящихъ руководителей народнаго труда“ („Реалисты“).

Исходя изъ этихъ соображеній, Писаревъ напечаталъ нѣсколько

больших и интересных статей педагогического характера. Подвергнувъ безпощадной и мѣткой критикѣ постановку учебнаго дѣла въ средней и высшей школѣ, онъ выступаетъ здѣсь сторонникомъ реализма и свободы университетскаго преподаванія. И такъ какъ наукой, способной „формировать мыслящихъ руководителей народнаго труда“, считалось въ то время главнымъ образомъ, если даже не исключительно, естествознаніе, то патентованному университету филологу предстояло еще превратиться въ непатентованнаго естествовика. Превращеніе это произошло быстро, и естествознаніе сдѣлалось для Писарева даже своего рода культомъ.

Въ литературной дѣятельности Писарева его блестящія популяризаціи естествознанія занимаютъ почтенное и почетное мѣсто. Конечно, теперь въ нихъ нетрудно было бы указать рядъ существенныхъ промаховъ. Но для своего времени онѣ имѣли серьезное значеніе. По признанію нѣкоторыхъ выдающихся натуралистовъ слѣдующаго поколѣнія, любовью къ естественнымъ наукамъ они были обязаны увлекательнымъ статьямъ Писарева, съ его широкими обобщеніями, отвѣчавшими на самые проникновенные запросы юныхъ „реалистовъ“. Не будучи специалистомъ, онъ однако, какъ нельзя лучше сумѣлъ выполнить задачу, которую усиленно рекомендовалъ болѣе него свѣдущимъ людямъ:—размѣнять на мелкую монету и пустить въ обращеніе ту огромную массу идей, которая накопилась въ высшихъ сферахъ умственной аристократіи.

Въ своихъ естественно-научныхъ статьяхъ онъ поставлялъ читателямъ-реалистамъ камни для фундамента ихъ будущаго міросозерцанія,—будущаго, потому что въ настоящемъ, какъ мы знаемъ, „среднее сословіе“ не обладало имъ. Слишкомъ много еще стараго „хлама“ загромаждало пространство и мѣшало созидательной работѣ новыхъ пришельцевъ. Пусть же старается каждый для себя.

Но, пока что, какія-нибудь общія правила поведенія все же нужны были сознательнымъ членамъ сословія—реалистамъ, и правила эти Писаревъ старается формулировать въ своихъ критическихъ статьяхъ.

Такимъ образомъ, критическія статьи Писарева служатъ лишь дополненіями и поясненіями къ его популяризаціямъ. Какъ это ни странно, но это такъ. Во имя поставленной себѣ просвѣтительной задачи критикъ, не разъ обнаружившій въ своихъ статьяхъ тонко развитое чувство красоты, насилуетъ свою природу и уклоняется далеко въ сторону отъ своего настоящаго призванія.

Писаревъ, замѣчаетъ о немъ Михайловскій, „изыскивалъ программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь“. Дѣло, конечно, не въ святости. Но разъ вся старая культура, съ ея традиціями, религіей, философійей, моралью и эстетикой, пошла на смарку, извѣстный кодексъ правилъ, опредѣляющихъ и осмысливающихъ практику но-

вой жизни, являлся насущной потребностью. Навстрѣчу этой потребности и пошелъ Писаревъ своими критическими статьями.

Неудивительно поэтому, что Базаровъ Тургенева сразу и долго завладѣлъ вниманіемъ Писарева. Въ февралѣ 1862 г. появились въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ „Отцы и дѣти“, а въ мартѣ въ „Русскомъ Словѣ“ критикъ уже напечаталъ большую и увлекательную статью о романѣ. Въ нигилистѣ Базаровѣ онъ призналъ реалиста, увидѣлъ отраженіе своихъ собственныхъ переживаній. „Ни надъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя онъ (Базаровъ) не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди—никакой высокой цѣли, въ умѣ—никакого высокаго помысла, и при всемъ этомъ,—восхищается Писаревъ,—сила огромная“. Его покоряетъ въ Базаровѣ неподкупная послѣдовательность мысли, его желѣзная логика, въ соединеніи съ желѣзной волей. Вотъ кого онъ смѣло можетъ рекомендовать молодому поколѣнію какъ образецъ, достойный всякаго подражанія. „Эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержать въ жизни“.

Правда, Базаровъ черезчуръ угловатъ. Онъ „завирается,—констатируетъ огорченный критикъ:—это, къ сожалѣнію, справедливо. Онъ съ плеча отрицаетъ вещи, которыхъ не знаетъ или не понимаетъ; поэзія, по его мнѣнію, ерунда; читать Пушкина—потерянное время; заниматься музыкой—смѣшно; наслаждаться природой—нелѣпо“. Благовоспитаннаго критика эта некультурность Базарова немножко коробитъ, но онъ относитъ ее насчетъ случайныхъ условій воспитанія. Вѣдь если Базаровъ „дѣйствительно *mal élevé* и *mauvais ton*“, то къ сущности типа,—утверждаетъ Писаревъ,—это нисколько не относится. Развѣ обязательна для людей средняго сословія непремѣнно скудная, обнаженная отъ всякой культуры обстановка? И развѣ самъ Писаревъ, отождествляя себя съ Базаровымъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, не вынесъ изъ своихъ дѣтскихъ лѣтъ извѣстныхъ культурныхъ запросовъ и навыковъ?

Надо думать, что съ угловатостью Базарова джентльменъ—Писаревъ не примирился и впослѣдствіи, хотя онъ сумѣлъ объяснить и оправдать ее. Что же касается базаровскаго антиэстетизма, то самъ Писаревъ, въ своей дальнѣйшей эволюціи, долженъ былъ теоретически принять его, какъ неизбѣжный логическій выводъ изъ ранѣ принятыхъ посылокъ.

Базаровъ сдѣлался любимымъ героемъ Писарева. Къ нему критикъ много разъ возвращается, о немъ часто вспоминаетъ въ своихъ статьяхъ, сопоставляя его съ дѣйствующими лицами другихъ произведеній современной ему беллетристики. „А вотъ Базаровъ поступилъ бы въ данномъ случаѣ такъ-то и такъ“, не разъ замѣчаетъ онъ, желая на живомъ примѣрѣ показать, какъ въ томъ или иномъ затруднительномъ положеніи долженъ вести себя реалистъ.

Добрую службу сослужилъ Писареву въ этомъ смыслѣ и ро-

манъ Чернышевскаго „Что дѣлать?“. Написанный съ дидактическими цѣлями, онъ далъ возможность критику въ яркой и вдохновенной статьѣ („Мыслящій пролетаріатъ“) показать новыхъ людей въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, въ интимныхъ переживаніяхъ, въ общественной дѣятельности и въ борьбѣ, освѣщенной утопическими картинками будущаго соціального строя. И если раньше, въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, критика все же смущалъ нѣсколько суровый ригоризмъ героя, то здѣсь самъ авторъ романа, въ своихъ лирическихъ отступленіяхъ, пѣлъ въ унисонъ съ критикомъ:

„Поднимайтесь изъ вашей трущобы, поднимайтесь, это не такъ трудно, выходите на бѣлый свѣтъ, славно жить на немъ, и путь легокъ и заманчивъ, попробуйте: развитіе, развитіе... Жертвъ не требуется, лишеній не спрашивается—ихъ не нужно. Желайте быть счастливыми—только, только это желаніе нужно“...

Подумаешь,—какой эпикурейскій взглядъ на жизнь! И этимъ эпикурейцемъ былъ Чернышевскій, изъ тюрьмы проповѣдывавшій „наслажденіе жизнью“. Такимъ же эпикурейцемъ былъ и Писаревъ. Призывая другихъ къ наслажденіямъ и радости, онъ и самъ жадно пилъ изъ чаши наслажденія, и напитокъ этотъ былъ:—„развитіе, развитіе“.

Меньше восьми лѣтъ продолжалась напряженная литературная дѣятельность Писарева, и изъ этихъ немногихъ лѣтъ большую половину онъ просидѣлъ въ крѣпости *). На тюрьму онъ не ропщетъ. Онъ даже, въ письмахъ, почти благословляетъ ее за то, что въ ней умственный трудъ, который прежде для него „все-таки былъ трудомъ, сдѣлался потребностью, привычкой, наслажденіемъ“. И это не фраза, брошенная для успокоенія матери. Онъ дѣйствительно наслаждается той огромной работой, которую выполняетъ въ своемъ невольномъ одиночествѣ. Одержимый, по его словамъ, страстью къ чтенію, онъ прочитываетъ въ тюрьмѣ массу книгъ. Въ тюрьмѣ же написаны лучшія его статьи. Попрежнему искрящіяся свѣтлымъ, жизнерадостнымъ настроеніемъ, онъ ни однимъ штрихомъ не выдають злополучнаго положенія ихъ автора. И только въ одной изъ нихъ („Посмотримъ“) проскальзываетъ легкій намекъ, спровоцированный его необузданными полемистами изъ „Современника“.

Въ ноябрѣ 1866 г. Писаревъ вышелъ изъ Петропавловской крѣпости, а 4 іюля 1868 г. онъ утонулъ въ Дуббельнѣ во время купанья. Извѣщая Шелгунова объ этой катастрофѣ, Благосвѣтловъ писалъ: „онъ (Писаревъ) умеръ уже давно, какъ умственный дѣятель, т.-е. умеръ въ концѣ прошлаго года“. И дѣйствительно, въ статьяхъ, написанныхъ Писаревымъ послѣ освобожденія изъ крѣпости, нѣтъ прежней увѣренности и силы, нѣтъ вдохновенія и порыва. Писаревъ умеръ.

*) Писаревъ пострадалъ за рецензію на извѣстный памфлетъ Шедо-Фероти противъ Герцена. Рецензія была написана для журнала, но, не пропущенная цензурой, была типсута друзьями Писарева на свободномъ станкѣ.

Умеръ, быть можетъ, оттого, что весь строй его идей былъ отравленъ дыханіемъ пробудившейся отъ дремоты реакціи. Жизне-радостному настроенію „средняго сословія“ наступалъ конецъ. Сущее, сулившее ему наслажденія развитія и радости мирнаго труда, оборачивалось къ нему отрицательной стороною. Далеко впереди засвѣтилось Должное. Но оно, какъ Молохъ, требовало искупительныхъ жертвъ, которыми и характеризуется слѣдующее десятилѣтіе.

Писареву въ этомъ десятилѣтіи не было мѣста.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

1.

Алексѣй Теофилактовичъ Писемскій.

(1820—1881.)

Ч. Вѣтринскаго (Вас. Е. Чешихина).

I.

Писемскій принадлежитъ къ числу писателей, если не забытыхъ современнымъ читателемъ, то во всякомъ случаѣ къ числу забываемыхъ, и причиною тому всѣ свойства его все-таки очень крупнаго художественнаго дарованія, натуры и міровоззрѣнія.

Онъ родился 10 марта 1820 г. въ сельцѣ Раменье, Чухломскаго уѣзда, Костромской губерніи и принадлежалъ къ захудалому дворянскому роду: такъ, его дѣдъ самъ пахалъ и ходилъ въ лаптяхъ. Дѣтство его прошло въ уѣздномъ городѣ Ветлугѣ, гдѣ отецъ его, мелкопомѣстный дворянинъ, бывшій кавказскій служака, былъ городничимъ. Домашнее воспитаніе Писемскаго было типическимъ воспитаніемъ „на мѣдныя деньги“: учителя были, какихъ можно было нанять въ уѣздной глуши, такъ что, напримѣръ, будучи писателемъ европейской извѣстности, онъ такъ и не овладѣлъ ни однимъ новымъ языкомъ. Въ 1834 году онъ опредѣленъ въ костромскую гимназію, гдѣ и окончилъ курсъ, проявивъ уже здѣсь стремленіе къ литературной дѣятельности (дѣтская по содержанію, въ романтическомъ родѣ, повѣсть „Ятвасъ“) и особенно къ театру. Послѣдній былъ всегда его страстью, и онъ пользовался большою извѣстностью какъ отличный чтецъ.

1840—1844 гг.—время пребыванія Писемскаго въ московскомъ университетѣ, на математическомъ отдѣленіи философскаго факультета. Общественно-политическія вѣянія эпохи въ ту пору только еще опредѣлялись, и она захватила Писемскаго только со стороны высокой роли, какая ставилась художественной литературѣ. Бѣлинскій утверждалъ тогда первенствующее руководящее значеніе Пушкина и Гоголя; ими горячо увлекся и Писемскій, скоро сбросившій

съ себя плащъ романтизма, что приписывалъ, впрочемъ, вліянію изученія математики, отучившей его отъ „фразерства“. Студентомъ Писемскій является горячимъ пропагандистомъ Гоголя, онъ съ громаднымъ успѣхомъ читаетъ его комедіи и на любительскомъ спектаклѣ, въ которомъ была поставлена „Женитьба“, превзошелъ, по одному разсказу, въ роли Подколесина самого М. С. Щепкина. По собственному признанію Писемскаго, университетъ въ смыслѣ научныхъ свѣдѣній далъ ему немного, но зато онъ въ это время познакомился съ западной литературой и сознательно оцѣнилъ русскую. Однако, окончательно идейныя и моральныя понятія молодого человѣка сложились несомнѣнно подъ непосредственнымъ вліяніемъ не научныхъ и общественныхъ вѣяній Москвы и литературы сороковыхъ годовъ, а жизни и службы въ глухой провинціи, куда онъ попалъ прямо съ университетской скамьи, гонимый прозаическою нуждою. „Мнѣ предстояли горе и необходимость служить,—говоритъ онъ въ автобіографіи:—отецъ мой уже умеръ, мать, пораженная его смертію, была разбита параличомъ и лишилась языка; средства къ существованію были весьма небольшія. Все это понимая, я впалъ, по переѣздѣ моемъ въ деревню, въ меланхолію и ипохондрію, изъ какой спасла меня любовь. Еще ранѣе того, во время моего гимназическаго и университетскаго воспитанія, я влюблялся идеально въ моихъ кузинъ,... но вышесказанная любовь была уже реальная и поглотила всего меня... Но жизнь и родные не удовлетворялись этимъ моимъ блаженствомъ, какъ не удовлетворялась имъ и моя собственная совѣсть, тѣмъ болѣе, что написанный мною тогда романъ „Боярщина“, какъ протестъ противъ брака, былъ прямо прихлопнутъ цензурой; значитъ надежда на авторство могла тогда показаться сумасшествіемъ, и потому я рѣшился, во-первыхъ, посвятить себя службѣ, а потомъ жениться, избравъ для этого дѣвушку совершенно уже не кокетку, изъ семьи хорошей, но не богатой. Свадьба наша совершилась 11 октября 1848 года. Жена моя отчасти обрисована мною въ „Взбаламученномъ морѣ“ въ лицѣ Евпраксіи, которой сверхъ того придано въ романѣ названіе ледешка“.

Служилъ Писемскій не въ видныхъ чинахъ, сначала въ костромской палатѣ государственныхъ имуществъ, потомъ въ московской; послѣ женитьбы съ 1848 г. служить въ Костромѣ сначала чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ (князѣ Суворовѣ), а потомъ ассессоромъ губернскаго правленія до 1853 года. Въ этомъ году онъ оставилъ службу и переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ въ 1854 году зачислился по министерству удѣловъ. Съ 1859 и до 1866 года Писемскій нигдѣ не служить, а въ послѣднемъ названномъ году опять поступаетъ на службу совѣтникомъ губернскаго правленія въ Москвѣ, окончательно оставивъ службу въ 1872 году, съ чиномъ надворнаго совѣтника. Служба раскрыла ему во всѣхъ глубинахъ тотъ чиновничій міръ и бытъ, который имъ и изображенъ неоднократно въ его произведеніяхъ.

Въ служебные годы до 1853 г. Писемскимъ написаны и напечатаны въ журналахъ (кромѣ упомянутого перваго романа „Боярщина“, появившагося только въ 1858 году): рассказъ „Нина“ („Сынъ Отечества“, 1848), повѣсти „Тюфякъ“ и „Бракъ по страсти“ и рассказъ „Комикъ“ („Москвитянинъ“, 1850 и 1851), „Богатый женихъ“ („Современникъ“, 1851 и 1852), „М—г Батмановъ“ („Москв.“, 1852), рассказы изъ народнаго быта „Питерщикъ“ (Москв.) и „Лѣшій“ („Совр.“, 1853) и двѣ комедіи: „Ипохондрикъ“ и „Раздѣлъ“ (1852 и 1853 годы). „Тюфякъ“ былъ первое крупное произведеніе Писемскаго, доставившее ему сразу извѣстность. Хотя Писемскій и примкнулъ къ „молодой редакціи“ Москвитянина, долго считавшей его „своимъ“, но талантъ его былъ оцѣненъ и противниками „Москвитянина“, такъ что, какъ указано, его вещи заодно печатались и въ „Современникѣ“. Впечатлѣніе, произведенное ими, живо обрисовано въ воспоминаніяхъ П. В. Анненкова. „Тутъ была прямо въ глаза русская мѣщанская жизнь, вышедшая на Божій свѣтъ, торжествующая и какъ бы гордящаяся своей открытой дикостью, своимъ самостоятельнымъ безобразіемъ. Комизмъ этихъ картинъ возникалъ не отъ сличенія ихъ съ какимъ-либо ученіемъ или идеаломъ, а изъ того чувства довольства собой, какое обнаруживали всѣ нелѣпые ихъ герои въ средѣ безсмыслицъ и невѣроятной распушенности. Смѣхъ, вызываемый рассказами Писемскаго, не походилъ на смѣхъ, возбуждаемый произведеніями Гоголя, хотя, какъ видно изъ автобіографіи нашего автора, именно отъ Гоголя и отродился. Смѣхъ Писемскаго ни на что не намекалъ, кромѣ забавной пошлости выводимыхъ субъектовъ, и чувствовать въ немъ что-либо похожее на „затаенныя“ слезы—не представлялось никакой возможности. Наоборотъ, это была веселость, такъ сказать, чисто физиологическаго свойства, т.-е. самая рѣдкая у новѣйшихъ писателей, та, которою отличаются, напримѣръ, древнія комедіи римлянъ, средневѣковые фарсы и наши простонародныя передѣлки разныхъ площадныхъ шутокъ“.

Но еще болѣе своеобразно было впечатлѣніе отъ личности Писемскаго, когда онъ (1853 г.) перебрался въ Петербургъ. „Трудно себя представить,—говоритъ тотъ же Анненковъ, едва ли не первый и правильнѣе всего оцѣнившій натуру автора „Тюфяка“,—болѣе цѣльный, полный типъ чрезвычайно умнаго и вмѣстѣ оригинальнаго провинціала, чѣмъ тотъ, который явился въ Петербургъ въ образѣ молодого Писемскаго, съ его крѣпкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими наблюдательными глазами и лѣнивой походкой... Онъ сохранилъ всего себя, начиная съ своего костромскаго акцента („Кабинетъ Панава (Панаева) поражаетъ меня великолѣпіемъ“—говоритъ онъ послѣ свиданія съ щеголеватымъ редакторомъ „Современника“) и кончая насмѣшливыми выходками по поводу столичной утонченности жизни, языка и обращенія. Все въ немъ было откровенно и просто. Нельзя было подмѣтить ничего

вычитаннаго, затверженнаго на память, захваченнаго со стороны въ его рѣчахъ и мнѣнiяхъ. Всѣ сужденiя принадлежали ему, природѣ его практическаго ума, и не обнаруживали никакого родства съ учениями и вѣрованiями, наиболѣе распространенными между тогдашними образованными людьми... Вообще, порывшись немного въ наиболѣе рѣзкихъ мнѣнiяхъ и идеяхъ Писемскаго, которыя мы обзывали сплошь парадоксами, всегда отыскивались зерна и крохи какой-то давней, полуйсчезнувшей культуры, сбереженной еще кое-гдѣ въ отрывкахъ простымъ нашимъ народомъ. Самый юморъ его, насмѣшливый тонъ рѣчи, способность отыскивать быстро яркiй эпитетъ для обозначенiя существенной нравственной черты въ характерѣ человѣка, которая за нимъ и останется навсегда, и, наконецъ, слово, часто окрашенное циническимъ оттѣнкомъ, сближали его съ деревней и умственными привычками народа, въ ней живущаго. Отъ нихъ несло особеннымъ ароматическимъ запахомъ развороченной лѣсной чащи, поднятаго на соху чернозема, всѣмъ тѣмъ, что французы называютъ „*parfum de terroir*“ (запахомъ земли, почвы). При видѣ Писемскаго въ обществѣ и въ семьѣ, при разговорахъ съ нимъ и даже при чтенiи его произведенiй, я думаю, невольно возникала мысль у каждаго, что передъ нимъ стоитъ историческiй великорусскiй мужикъ, прошедшiй черезъ университетъ, усвоившiй себѣ общечеловѣческую цивилизацію и сохранившiй многое, что отличало его до этого посвященiя въ европейскую науку“.

Писемскiй перенесъ съ собою въ столицу настроенiе чутко недовѣрчиваго провинциала, не желающаго пристать къ какой-либо опредѣленной группѣ, а пытливо и себѣ на умѣ подмѣчающаго слабости и односторонности такихъ группъ. Поэтому онъ не вошелъ въ жизнь петербургской литературы дѣятельнымъ участникомъ ея интересовъ, а остался въ сторонѣ. Тогда, напр., еще не изжитъ былъ споръ западничества и славянофильства, но Писемскiй совершенно чуждался этихъ идейныхъ споровъ; онъ, впрочемъ, нѣсколько тяготѣлъ къ „почвенникамъ“, обособившимся въ молодой редакцiи „Москвитянина“, и, напр., всегда поддерживаетъ весьма близкiя отношенiя къ Островскому и Мельникову-Печерскому. Въ Петербургѣ, въ городѣ, по его словамъ, „бездарнѣйшей въ мiрѣ почвы“, который онъ отъ души не терпѣлъ, онъ ближе сошелся лишь съ Дружининымъ. Послѣднiй и привѣтствовалъ Писемскаго, какъ писателя, совершенно чуждаго „дидактики“, привѣтствовалъ даже горячѣе, чѣмъ критикъ „Москвитянина“ Аполлонъ Григорьевъ, не разъ весьма сурово осуждавшiй безпринципное отношенiе къ жизни Писемскаго, напоминающее низменныя воззрѣнiя его собственныхъ героевъ.

Между тѣмъ время—горячая пора шестидесятыхъ годовъ—требовало отъ писателя и „дидактики“, т.-е. руководящаго идеала, желало видѣть въ немъ не только правдиваго изобразителя жизни, но и учителя ея. Въ 1858 году, когда въ „Отеч. Запискахъ“ печатался

романъ Писемскаго „Тысяча душъ“, и въ 1859 году, когда появилась его драма изъ народной жизни „Горькая судьбина“, онъ какъ будто отвѣчалъ еще на вопросы и стремленія времени, бурно искавшаго новыхъ боговъ. Исторія героя „Тысячи душъ“ Калиновича была, казалось, драмою многихъ стремящихся къ комфорту и власти разночинцевъ, а его героическая, безнадежная борьба съ вѣками сложившеюся стѣною служебныхъ злоупотребленій говорила о много занимавшемъ умы вопросъ возрожденія государственной жизни. „Горькая судьбина“ точно такъ же казалась живою иллюстраціей къ вопросу о пережившей себя помѣщичьей власти надъ массою, изъ которой выходятъ такія славныя и могучія натуры, какъ Ананія. Это было время наибольшей и почетной извѣстности Писемскаго. Новыя его мелкія произведенія: „Плотничья артель“, „Старая барыня“, „Фанфаронъ“, „Старческій грѣхъ“ и др., не роняли его славы. Въ 1856 г. вышелъ сборникъ „Очерки изъ народнаго быта“, а съ 1861 издатель Стелловскій сталъ печатать собраніе его сочиненій. Но такъ прочно, казалось бы, завоеванная популярность неожиданно оборвалась.

Причиною тому сначала была шумная исторія съ фельетономъ Писемскаго въ журналъ „Библіотека для чтенія“, редакціей котораго онъ завѣдывалъ совмѣстно съ Дружининымъ съ 1858 года. Въ декабрьской книжкѣ журнала за 1861 годъ всплыло нерасположеніе Писемскаго къ моднымъ либеральнымъ вѣяніямъ; въ нихъ онъ не различалъ серьезнаго умственнаго настроенія и убѣжденія отъ поверхностныхъ и легкомысленныхъ, пустопорожнихъ фразъ. Подписавшись „старая фельетонная кляча Никита Безрыловъ“ (въ странномъ псевдонимѣ какъ бы звучитъ намекъ на слышанные имъ, вѣроятно, упреки въ неопредѣленности собственной общественно-политической фізіономіи), Писемскій поднялъ грубо на смѣхъ вводимое въ школахъ обращеніе съ учениками на „вы“, разговоры объ уничтоженіи розги и женской эмансипаціи въ семейной жизни и модные тогда литературные вечера съ участіемъ извѣстныхъ писателей (фельетонистъ изобразилъ программу литературнаго вечера, съ намеками на ходячія сплетни и общеизвѣстныя слабости отдѣльныхъ лицъ, впрочемъ, не пощадивъ и самого себя намеками на свою страсть попить и поѣсть). Прогрессивная юмористическая „Искра“ рѣзко обрушилась на Никиту Безрылова и на Писемскаго, какъ на редактора, сравнивъ его съ мракобѣсомъ Асоченскимъ. Когда Писемскій отвѣтилъ еще болѣе грубымъ письмомъ Никиты Безрылова, издатели „Искры“, Курочкинъ и Степановъ, вызвали его на дуэль, но Писемскій отказался наотрѣзъ. Вдобавокъ черезчуръ усердные заступники Писемскаго затѣяли протестъ противъ „Искры“, стали собирать подписи, и это имѣло слѣдствіемъ доканавшее Писемскаго письмо въ „Искру“ отъ редакціи „Современника“, вліятельнѣйшаго органа прогрессивнаго мнѣнія, письмо, объявлявшее о солидарности въ этомъ случаѣ „Современника“ съ „Искрою“. Все это такъ подѣйствовало на всегда мнительнаго и нервнаго Писемскаго, что онъ бросилъ и жур-

налъ, и всѣ свои литературныя связи въ Петербургѣ и въ началѣ 1862 года переѣхалъ въ Москву. Здѣсь подъ гнетомъ пережитой травмы, онъ докончилъ давно уже начатый романъ-памфлетъ „Взбаламученное море“, и вылилъ въ немъ всю желчь, возбужденную въ немъ и ненавистнымъ Петербургомъ, и непонятымъ умственнымъ броженіемъ. Романъ появился въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ въ 1863 году и былъ началомъ волны реакціонной беллетристики, долго наполнявшей этотъ журналъ. Недавно популярнаго беллетриста причислили къ сонму слѣпыхъ реакціонеровъ. Противъ Писемскаго возстали не только радикальные „Современникъ“ и „Русское Слово“, но и умѣренные „Отеч. Записки“. Это было переломомъ, за которымъ, быть можетъ, подъ вліяніемъ именно его,—замѣтно сталъ слабѣть и талантъ автора, настолько, что послѣднія его произведенія могли появляться лишь въ не имѣвшихъ руководящаго литературнаго значенія маленькихъ изданіяхъ.

Обстоятельства послѣдующей жизни и дѣятельности Писемскаго могутъ быть изложены въ немногихъ словахъ. Онъ почти безвыѣздно живетъ въ родной его сердцу Москвѣ; здѣсь на доходъ отъ прежнихъ и новыхъ сочиненій онъ даже выстроилъ домъ на Поварской въ Борисоглѣбскомъ переулкѣ. За это время имъ написаны полуавтобіографическій романъ „Люди сороковыхъ годовъ“ („Заря“, 1869) и напоминающій „Взбаламученное море“ по своей темѣ романъ „Въ водоворотѣ“ („Бесѣда“, 1871), съ образомъ „нигилистки“ въ центрѣ. Одновременно съ этимъ, и потомъ въ семидесятые годы, Писемскій пишетъ довольно много для сцены. Это, во-первыхъ, историческая трагедія „Поручикъ Гладковъ“, бытовая драма изъ временъ Павла I „Самоуправцы“ и двѣ примыкающія къ ней драмы „Бывые соколы“ (изъ временъ расцвѣта крѣпостного права) и „Птенцы послѣдняго слета“, продолженіе „Соколовъ“. Во-вторыхъ, пьесы, посвященныя нравамъ высшей бюрократіи, чрезвычайно рѣзкіе и прямые, „Хищники“ („Подкопы“), и въ особенности пьесы, обличающія плутократію, міръ дѣльцовъ, наживы, обмана и опустошенія кармана и душъ человѣческихъ, „Ваалъ“, „Просвѣщенное время“, „Финансовый геній“ и др. Наконецъ, въ послѣдніе четыре года жизни написаны Писемскимъ еще два большихъ романа: „Мѣщане“ и „Масоны“.

Эта потеря популярности; отчужденіе отъ новыхъ вѣяній въ общественности; старческіе недуги, развившіеся отъ безпорядочной жизни въ молодости; мрачный запой, имъ не разъ овладѣвавшій; наконецъ, семейныя несчастья (самоубійство сына и сумасшествіе другого),—все это омрачило послѣдніе годы жизни Писемскаго и сказалось въ его произведеніяхъ этихъ лѣтъ явнымъ утомленіемъ творчества, сугубо мизантропическимъ настроеніемъ. Оазисы бывалой веселости—подъ впечатлѣніемъ мимолетнаго успѣха пьесы, горячаго сочувственнаго отзыва о его дѣятельности со стороны иностранной, особенно германской, критики, восхищенной трезвымъ, правдивымъ реализмомъ „Тысячи душъ“, и т. п.—становятся все

рѣже. А. Θ. Кони разскалъ недавно выразительную сцену, какъ онъ слушалъ въ чтеніи автора мрачную трагедію „Бывые соколы“, и какъ послѣ чтенія „Писемскій отстранилъ рукой налитый ему стаканъ чаю и, наливъ большую рюмку водки, выпилъ ее залпомъ, ничѣмъ не закусивъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ повторилъ то же самое и угрюмо замолчалъ, неохотно отвѣчая на вопросы. Черезъ десять минутъ, онъ выпилъ третью рюмку.—„Алексѣй Теофилактовичъ, зачѣмъ вы это дѣлаете? Вѣдь это вамъ вредно!“—Писемскій молчаливо налилъ четвертую рюмку, „опрокинувъ“ ее, взялъ маленький кусочекъ хлѣба и, помолчавъ, вдругъ оживленнымъ и вмѣстѣ жалобнымъ голосомъ, съ очевиднымъ волненіемъ сказалъ: „Понимашъ ты, я безъ этого не засну. Не могу я спать безъ этого. Они—вотъ тѣ, о комъ я вамъ читалъ, не даютъ мнѣ спать. Стоять вкругъ меня и передо мной всю ночь и смотреть на меня,—и жить, и не даютъ мнѣ заснуть. И не могу я безъ этого,—понимашъ?“ Онъ тряхнулъ косматой головой, какъ бы стараясь освободиться отъ созданныхъ его творчествомъ образовъ... и потянулся къ пятой рюмкѣ...“ Сочиненія послѣднихъ лѣтъ Писемскаго производятъ иногда въ своей растянутости именно такое впечатлѣніе темныхъ, не вполне опредѣлившихся образовъ, которые стихійно бродятъ въ фантазіи ихъ творца, который самъ не умѣетъ уже остановить ихъ и выпукло представить взору читателя.

Писемскій скончался 21 января 1881 года. Кончина его, какъ писателя, давно сказавшаго свое слово, не произвела особаго впечатлѣнія, и это въ особенности было подчеркнуто взрывомъ скорбнаго энтузіазма, вызваннаго черезъ недѣлю послѣ того кончиною Достоевскаго.

19 января 1875 г. Общество любителей россійской словесности чествовало двадцатипятилѣтіе литературной дѣятельности Писемскаго. „Сознавая всю слабость и недостаточность трудовъ моихъ,—сказалъ писатель въ краткой отвѣтной рѣчи на всѣ привѣтствія,—я считаю себя въ правѣ сказать только то, что я никогда въ нихъ не становился ни подъ чье чужое знамя; худо ли, хорошо ли, но всегда писалъ то, что думалъ и чувствовалъ, и ни для какихъ внѣшнихъ и суетныхъ цѣлей не ломалъ и не насиловалъ моего пониманія людей и событій и маленькихъ авторскихъ способностей, которыя даны мнѣ отъ природы. Единственной путеводной звѣздой во всѣхъ трудахъ моихъ было желаніе сказать моей странѣ, по крайнему разумѣнію, хотя, можетъ быть, и нѣсколько суровую, но все-таки правду про нее самое. Насколько я успѣвалъ въ этомъ случаѣ—не мое дѣло судить“.

Писемскій въ самомъ дѣлѣ въ своей правдѣ былъ всегда независимъ отъ неустойчиваго и поверхностнаго, такъ называемаго общественнаго мнѣнія или партійности. Такъ, даже послѣ того, какъ онъ сошелся съ „Русскимъ Вѣстникомъ“, въ которомъ нѣкоторое время завѣдывалъ беллетристическимъ отдѣломъ, онъ остался далеко

отъ слѣпой реакціонности пріютившаго его журнала. Въ „Хищникахъ“ онъ далъ злой эскизъ игры честолюбій и эгоизма и корыстолюбія высшихъ правительственныхъ сферъ, не менѣе для нихъ непріятный (что показала невозможность провести пьесу на сцену), нежели прогрессистамъ было, напр., „Взбаламученное море“. Но, само собою разумѣется, правда Писемскаго была отраженіемъ русской дѣйствительности въ зеркалѣ его художественнаго таланта, преломленнымъ сквозь его моральный темпераментъ и общее міровоззрѣніе.

Какъ художникъ, Писемскій выше всего ставилъ въ себѣ объективность, безстрастное воспроизведеніе факта. „Вы отъ романа, совершенно справедливо считаемаго вами за самаго распространеннаго и прочаго представителя современной художественной литературы, требуете дидактики, наученія...—писалъ онъ Ѳ. Буслаеву.—У насъ ни Пушкинъ, создавшій намъ „Евгенія Онѣгина“ и „Капитанскую дочку“, ни Лермонтовъ, нарисовавшій „Героя нашего времени“ неотразимо крупными чертами, нисколько, кажется, не помышляли о поученіи и касательно читателя держали себя такъ: „на-молъ, клади въ мѣшокъ, а дома разберешь что тебѣ пригодно и что нѣтъ!..“ (Въ отношеніи къ роману) мое такое убѣжденіе, что онъ, какъ всякое художественное произведеніе, долженъ быть рожденъ, а не придуманъ, что, бывши плодомъ матеріальнаго и духовнаго организма автора, въ то же время долженъ представлять концентрированную дѣйствительность: будь то виѣшняя открытая дѣйствительность или потаенная психическая. Лично меня всѣ считаютъ реалистомъ-писателемъ, и я именно таковъ, хотя въ то же время съ самыхъ раннихъ лѣтъ искренно и глубоко сочувствовалъ и писателямъ другого пошиба, только желалъ одного, чтобы дѣло было въ умныхъ рукахъ“. Эта исповѣдь эстетическихъ воззрѣній соотвѣтствуетъ всей дѣятельности Писемскаго. Онъ большею частью совершенно прячется за поступками, выраженіями лица и движеніями своихъ героевъ и ихъ разговорами, почти не знаетъ монологовъ, а тамъ, гдѣ необходимымъ находить говорить о душевныхъ переживаніяхъ и скрытыхъ отъ виѣшности движеніяхъ души, елико возможно кратокъ; только въ рѣдкихъ случаяхъ пытается при этомъ помочь читателю двумя-тремя намеками или—еще рѣже—словами объ общемъ смыслѣ разсказываемаго.

Въ своихъ лучшихъ созданіяхъ Писемскій всегда весь „во виѣшней открытой дѣйствительности“, ее одну воспроизводитъ. Онъ не только реалистъ, но натуралистъ-коллекціонеръ, собиратель фактовъ и дѣяній; онъ часто какъ будто не заботится ни о какомъ обобщенномъ взглядѣ на жизнь, познаетъ ее лишь по частямъ, отрывочно, и въ лучшемъ случаѣ довольствуется тѣмъ элементарнымъ обобщеніемъ, какое по плечу имъ же изображаемой дѣйствительности, изъ которой онъ выдѣляется, какъ личность, такъ мало.

Снова цитируя Анненкова, мы скажемъ, что въ своемъ творческомъ отношеніи къ русской жизни „Писемскій принадлежалъ

многообразной, но цѣльной и единой по выраженію русской толпѣ и являлся въ литературѣ нашей ея представителемъ. Это своего рода гласный изъ народа, схожій съ своими избирателями какъ по уму, таланту, такъ и по нравственному содержанію. Можно указывать его недостатки, не соглашаться съ его убѣжденіями, видѣть погрѣшности въ его представленіяхъ, но не узнать въ немъ выраженія народнаго способа понимать лица и предметы, кажется, нѣтъ возможности. Самая грубость тона въ его ѣдкихъ обличеніяхъ пороковъ и преступленій, выборъ темъ, большею частью бросающихся въ глаза своимъ позорнымъ содержаніемъ, и отвращеніе къ какому-либо рода идеализации существующаго быта, къ которой никогда во всю жизнь онъ и не прибѣгалъ, показывали въ немъ бывалаго челоука, знакомаго со взглядами, чувствами и сужденіями толпы. Позволительно, конечно, усматривать несовершенства въ планахъ и самой постройкѣ нѣкоторыхъ его произведеній, но не позволительно было бы не признать силы творчества, проявляющейся въ нихъ на каждомъ шагу. Особенность его большого таланта заключалась, по нашему мнѣнію, въ томъ, что онъ ясно носилъ на себѣ печать непосредственности и вдохновенія, отличающихъ народное мышленіе. Не ломая головы, не собирая предварительныхъ замѣтокъ и документовъ, Писемскій прямо, безъ подготовки, порождалъ любопытные, забавные и всегда выразительные типы, которые теперь и гуляютъ по лицу нашей земли, открывая ей собственную ея фیزیомію. Такими типами изобилуютъ всѣ его сочиненія безъ исключенія, даже самыя слабыя. Въ лицѣ Писемскаго читающая народная масса нашла себѣ лѣтописца, а съ такими представителями ея необходимо считаться не въ одной политической, но и въ литературной сферѣ“.

Писемскій въ первой полосѣ своей дѣятельности смотритъ на русскую жизнь какъ на нѣчто неподвижное, какъ на разъ навсегда данное. Онъ видитъ и изображаетъ хорошаго и дурного помѣщика, хорошаго и дурного мужика, умную и добрую, глупую и злую жену, чиновника-взяточника и безкорыстнаго и т. д. Но въ глубь соціального уклада русской жизни онъ совершенно не идетъ. Въ общемъ, онъ лѣнивъ думать—въ томъ смыслѣ, какъ это должно сказать не только объ упомянутой сейчасъ толпѣ, но также и о цѣломъ рядѣ крупныхъ русскихъ писателей съ тою же складкой міровоззрѣнія, ограниченной средними понятіями русскаго общества, среднимъ чувствомъ здраваго смысла и національной обособленности, каковы фонъ-Визинъ, Крыловъ, Гоголь, Островскій, Мельниковъ—Печерскій. Писемскій въ большинствѣ случаевъ не выше пониманія жизни — по крайней мѣрѣ въ основахъ ея—міра собственныхъ героевъ съ ихъ несложной психологіей и несложнымъ міровоззрѣніемъ.

Какъ на рельефный примѣръ именно такой общности взглядовъ Писемскаго съ взглядами средняго дореформеннаго общества, можно указать на его отношеніе къ службѣ и вообще государственной дѣятельности. Это былъ типъ желаннаго и николаевскому государ-

Алексѣй Теофилактовичъ Писемскій.
Съ портрета И. Е. Рѣпина.
(Третьяковская галлерей въ Москвѣ.)

Российский государственный университет
им. Н. И. Пирогова
(Тверьская область, г. Тверь)



Алек. Георги. Тцелмскій.

ству образованнаго чиновника, служащаго не только за страхъ, но и за совѣсть. По разсказу Алмазова, онъ „отдался всею душою служенію русскому государству и, служа, только и думалъ, какъ бы побороть ту темную силу, съ которою борются и наше высшее правительство и лучшая часть нашего общества“. Калиновичъ въ его взглядѣ на службу государству—самъ Писемскій; онъ „могъ дѣйствительно быть названъ представителемъ той молодой администраціи, которая хотя болѣзненно, но замѣтно уже начинаетъ пробиваться то тутъ, то тамъ сквозь толстую кору подъяческихъ плутней. Какъ сознательный юристъ, молодой вице - губернаторъ еще на университетскихъ скамейкахъ чувствовалъ всегда большую симпатію къ проведенію безстрастной идеи государства, съ возможнымъ отпоромъ всѣхъ домогательствъ сословныхъ и частных“. Какъ на замѣчательную сторону служебной дѣятельности Писемскаго, тотъ же панегиристъ указываетъ на дѣятельность его „какъ слѣдователя по уголовнымъ преступленіямъ. Тутъ онъ изучалъ cadaго преступника, какъ изучаетъ добрый и старательный врачъ cadaго больного; оставаясь буквально и неумолимо вѣренъ закону, онъ относился къ допрашиваемому преступнику съ такимъ участіемъ, съ такою любовью, что и тотъ начиналъ любить его и разсказывалъ про себя все потому только, „что ужъ онъ больно хорошій и умный баринъ“. „Буквальная и неумолимая вѣрность“ закону и эта „душа на распашку“ съ допрашиваемымъ—это съ трудомъ укладывается въ сознание современнаго челоѣка, утратившаго возможность такой „вѣры“ въ законъ и въ идеалъ безстрастнаго представителя государства, нашего русскаго государства. Но если не судить людей прошлаго современною намъ мѣркою, то такое отношеніе къ дѣлу вполне, вполне гармонируетъ съ настроеніемъ средняго хорошаго чиновника того времени, каковаго не разъ пыталась представить и литература конца сороковыхъ годовъ. Оно, между прочимъ, мастерски обрисовано недавно В. Г. Короленкомъ въ его „Исторіи моего современника“ въ характеристикѣ отца автора, неподкупно-честнаго судьи въ уѣздной глуши. Эти люди не чувствовали собственной вины въ томъ, что являются часто жестокимъ „орудіемъ закона“. Что касается Писемскаго, онъ тоже честный чиновникъ своего времени, но не опередившій его, и, напр., его alter ego Вихровъ („Люди сороковыхъ годовъ“) съ чистою совѣстью исполняетъ, хотя и съ сожалѣніемъ, такія порученія, какъ разореніе старообрядческой молельни и т. п. Когда мертвое колесо бюрократической машины раздавило передъ Писемскимъ несчастнаго, идеально-честнаго, но убогаго мыслію Ферапонтова („Старческій грѣхъ“), онъ почувствовалъ не укоръ совѣсти, а только жалость и страхъ: „Мнѣ, признаться, сдѣлалось не на шутку страшно даже за самого себя... Жить въ такомъ обществѣ, гдѣ Ферапонтовы являются преступниками, Бжестовскіе (чета авантюристовъ, втянувшая честнаго служаку въ подлогъ) людьми правыми и судьи вродѣ полицмейстера: чтобы жить въ этомъ обществѣ, какъ хо-

тите, надобно имѣть большой запасъ храбрости“. Чувство оторопи передъ такими жестокостями жизни; отвращеніе къ грубому опошленію, печать котораго лежала на провинціальной жизни, желаніе видѣть вокругъ себя не столь низменные интересы и стремленія, какъ было въ дѣйствительности, большая способность сочувствія страдающимъ,—вотъ то немногое, не говоря, конечно, о художественномъ дарованіи, что ставило Писемскаго въ уровень лучшихъ, честныхъ людей его среды и времени, но не составляло еще замѣтной, по существу и качеству, разницы между нимъ и толпою. Онъ былъ сынъ своего времени и среды въ гораздо большей степени, чѣмъ другіе его сверстники, и это положило между нимъ и многими другими дѣятелями той же эпохи рѣзкую грань. Онъ остался позади.

Однако, со своимъ несложнымъ міропониманіемъ Писемскій былъ какъ разъ по плечу тогдашней публикѣ, еще не слишкомъ требовательной, нуждавшейся въ самыхъ элементарныхъ урокахъ, въ освѣщеніи русской жизни со стороны ея неприглядности. И Писемскій прекрасно выполнялъ эту роль, беспощадно рисуя неизмѣнный бытъ русской провинціи рѣзкими и отталкивающими чертами. Онъ былъ здѣсь непосредственнымъ продолжателемъ „натуральной школы“, такъ тѣсно примыкающей къ Гоголю. „Тюфякъ“ и послѣдующія повѣсти Писемскаго—продолженіе той войны противъ всяческой пошлости, которая поднята авторомъ „Мертвыхъ душъ“. Невыразимо грязный налетъ ея, вторгающійся нахально въ самое интимное и дорогое, что только есть у человѣка, паутиной опутываетъ все, чего ни коснется. Въ непрощенныхъ услугахъ пошлыхъ родственницъ и въ пошлыхъ понятіяхъ ихъ о семейной барской жизни безнадежно погибла любовь образованнаго юноши, не успѣвшего выработать въ себѣ никакого характера, чтобы самому вести свой жизненный корабль. Общая низменность интересовъ и игра животныхъ инстинктовъ и побужденій, это какой-то рокъ, тяготящій надъ героями „Тюфяка“ и надъ всѣмъ провинціальнымъ обществомъ. „Бракъ по страсти“—по романтическому кодексу идеальное явленіе—въ обстановкѣ русской дѣйствительности и подъ перомъ Писемскаго обращается въ цѣлое море грязи. Съ не меньшей рѣзкостью авторъ рисуетъ такія черты провинціального быта, какъ всеобщее низкопоклонство предъ властью и богатствомъ, барскую спѣсь властныхъ и раболѣпіе низшихъ, чиновную заскорузлую погоню за наживой и взяткой, грубое безпутство помѣщичьей власти и т. п. Это настоящая „стоячая вода“, какъ называлъ статью о Писемскомъ Писаревъ, подобранный разсѣянные у автора черты въ одну, душу удручающую, картину.

На изображаемомъ Писемскимъ болотѣ провинціальной жизни мелькаютъ заманчивые огоньки, отблескъ былого пожара романтическихъ порывовъ. Но это порывы изъ чужого, иного быта, на нихъ налетъ европеизма, и тѣмъ суровѣе Писемскій: для него это просто свѣтящаяся гнилушка или смрадное скопленіе болотныхъ газовъ, привлекательное лишь издали. Это невыразимо измельчавшіе Онѣ-

гины и Печорины, уѣздные и губерніскіе львы и фразеры. Въ „Боярщинѣ“ Эльчаниновъ, въ „Богатомъ женихѣ“ Шамиловъ—разновидность Онѣгина и Рудина; это—молодые, многообѣщающіе, образованные люди, прекрасно понимающіе, какъ низокъ уровень провинціальной среды, но оба лишены малѣйшей силы характера и самостоятельной воли, какъ пассивный „тюфякъ“, и горе положившимся на нихъ женщинамъ: оба доводятъ ихъ до униженія и смерти. Хронологически Шамиловъ, „человѣкъ фразы, котораго ни любить, ни уважать не стоитъ“, предвосхитилъ Рудина, но въ противоположность герою Тургенева лишентъ всѣхъ чертъ, искупающихъ слабости его, и кончаетъ не героическою смертію на баррикадахъ, а прозябаньемъ подъ башмакомъ пошлой и глупой бабы, на деньги которой промѣнялъ умную и съ сильнымъ характеромъ дѣвушку. Еще жестче отношенія Писемскаго къ переживаніямъ печоринства въ концѣ сороковыхъ годовъ. Не говоря о сердцеѣдѣ вродѣ Хазарова („Бракъ по страсти“), хладнокровно соображающемъ послѣ ошибки въ расчетахъ на приданое жены, какъ пристроиться въ альфонсы къ богатой барынькѣ жоржъ-зандисткѣ,—левъ Бахтіаровъ въ „Тюфякѣ“ просто нахалъ, до послѣдней степени неблаговидно поступающій съ барынькой, которой самъ кружилъ голову: онъ ее выгналъ, когда она сгоряча вздумала бросить мужа для него. Таковъ же и Батмановъ и его прихвостень Капринскій, чета, представляющая карикатурный *pendant* къ Печорину и Грушницкому. Батмановъ, послѣ неисчислимыхъ и довольно легкихъ побѣдъ надъ сердцами провинціальныхъ дамъ и дѣвицъ, которыхъ прельщаетъ грубою маскою разочарованія, уже прямо кончаетъ тѣмъ, что въ Сибири управляетъ дѣлами одной очень пожилой и богатой купчихи, живетъ у нея въ домѣ, ходитъ весь залитой въ брилліантахъ, носитъ черкесское платье, ѣздитъ по городу на кровныхъ рыскахъ и поитъ общество на убой шампанскимъ. „Чѣмъ, подумаешь, не разрѣшалось русское разочарованіе!“ иронически кратко кончаетъ свое повѣствованіе Писемскій.

Страдательное лицо въ этомъ царствѣ стоячей воды, низменныхъ побужденій и сомнительныхъ героевъ, конечно, женщина, и надо отдать честь Писемскому: въ этомъ случаѣ онъ является неизмѣнно защитникомъ правъ женскаго сердца; послѣднему, вѣдь, такъ часто выбирать не изъ чего, ибо за Эльчаниновыми и Шамиловыми, за Батмановыми и Бахтіаровыми идутъ уже совсѣмъ неприглядные Капринскіе, богатые женихи вродѣ полудикаго Степочки или грубые Задоръ-Мановскіе, Мансуровы, Кураевы и сластолюбивые Сапѣги. Татьяна Пушкина, княжна Мери Лермонтова вспоминаются невольно въ образѣ женщинъ Писемскаго, во всѣхъ этихъ Аннахъ Павловнахъ („Боярщина“), Мансуровыхъ („Тюфякъ“) Бетси („Батмановъ“) и др., такъ горько ошибающихся въ своихъ избранникахъ сердца. Но рядомъ съ симпатичными образами пассивныхъ жертвъ мужской грубости, распушенности и слабости, Писемскій рисуетъ также длинную галерею женскихъ вульгарныхъ типовъ въ гоголевскомъ жанрѣ, вздор-

ныхъ сплетницъ и кумушекъ, приниженныхъ безличностей, похотливыхъ бабенокъ, пустоголовыхъ модницъ, и съ не малою долею безцеремонности подымаетъ на смѣхъ и благодушную Катерину Михайловну („Тюфякъ“), за ея „мягкое къ несчастьямъ ближнихъ сердце“, иногда неудачно помѣщавшее свои искреннія симпатіи къ угнетеннымъ, и жоржъ-зандистку Мамилову, совершенно искренно способствовавшую устройству „брака по страсти“.

Эта полоса творчества Писемскаго, воспроизведеніе глухого провинціального быта, достойно завершена его прославленнымъ романомъ „Тысяча душъ“, а также превосходнымъ рассказомъ „Старческій грѣхъ“, сильною картиною опустошенія человѣческихъ душъ въ провинціальныхъ канцеляріяхъ. „Тысяча душъ“, наиболѣе тщательно обработанное произведеніе Писемскаго, излагаетъ, какъ извѣстно, карьеру честолюбиваго и властнаго, но черстваго сердцемъ Калиновича и исторію его любви къ скромной провинціальной дѣвушкѣ, которой онъ измѣнилъ для карьеры. Писемскій снова развертываетъ уже знакомую намъ по предыдущимъ его повѣстямъ картину влачащагося уѣзднаго быта, чуждаго всякихъ духовныхъ интересовъ, враждебно освѣщаетъ бесполезное великолѣпіе крупнаго помѣщичьяго барства, прельстившее своимъ мишурнымъ блескомъ зрителя уѣзднаго училища, и пр. Онъ также переноситъ своего героя въ Петербургъ, чтобы показать столичную жизнь, какъ погоню за комфортомъ, какъ холодное равнодушіе властныхъ и богатыхъ ко всякой истинной заслугѣ и таланту, какъ отчаянное положеніе людей мысли и труда (въ лицѣ погибающаго отъ чахотки литератора Зыкова), какъ преуспѣяніе только беззастѣнчивой спекуляціи, богатства и, пожалуй, красиваго эпикуреизма. Такой эпикуреизмъ представленъ въ лицѣ Бѣлавина; онъ гладко и великодушно рассуждаетъ, давить того, кто упалъ, своимъ величественнымъ презрѣніемъ, но неспособенъ отозваться на дѣйствительную нужду въ нравственной и матеріальной помощи, неспособенъ ни на самомалѣйшее нарушеніе своего спокойствія и самопожертвованіе. Отчаявшись въ Петербургѣ занять положеніе, удовлетворяющее его самолюбію и мечтамъ, Калиновичъ бросилъ пожертвовавшую для него всѣмъ Настеньку, продаетъ свою свободу въ бракъ съ противной ему владѣтельницей „тысячи душъ“ и быстро дѣлаетъ административную карьеру. Спасая въ себѣ послѣднее, что было чисто въ его душѣ, Калиновичъ бросается въ неравную борьбу съ закоренѣлыми, пустившими прочныя корни злоупотребленіями. Онъ ломитъ ихъ всѣми способами попавшей въ его руки, неограниченной въ губерніи власти, но кончаетъ тѣмъ, что его самого сломили тѣ силы, которыя вознесли его на эту высоту. Крушеніе Калиновича, которымъ кончается романъ, завершаетъ собою жесткую правду, сказанную Писемскимъ о русскомъ обществѣ наканунѣ перелома къ реформамъ. Если таковы сильные и талантливые, если для самой возможности борьбы они должны пройти сначала цѣлое болото моральной грязи, а въ борьбѣ имъ нечего

проявить кромѣ стараго средства—произвола, направленнаго противъ лицъ, то самъ собою напрашивается выводъ о полномъ разложеніи этого общества. Но саркастическое отношеніе автора къ изображаемому быту и вниманіе къ своему двусмысленному герою какъ будто отѣняли Калиновича въ качествѣ положительнаго типа. Самъ Писемскій давалъ поводъ тому, старательно оправдывая своего героя въ его недостойныхъ дѣяніяхъ (сомнительнымъ доказательствомъ, что другіе гораздо хуже) и даже сваливая вину на вѣкъ: „если ужъ винить кого-нибудь, такъ лучше вѣкъ, благо понятіе отвлеченное. Все вертится на одномъ фокусѣ. Смотрите: и въ просвѣщенной гуманной Европѣ рыцари переродились въ торгашей, арены замѣнились биржами... Про героя моего я, по крайней мѣрѣ, могу сказать, что онъ искренно и глубоко страдалъ“. Но страданія его насъ не трогаютъ, въ отношеніи къ своему герою Писемскій держится того же приема, что Теккерей въ „Ярмаркѣ тщеславія“; избравши героинею хладнокровную эгоистку, англійскій писатель, оправдывая ее, тѣмъ жестче ее осуждаетъ, что въ этомъ оправданіи ставитъ ее на одну доску уже съ несомнѣнными негодяями. Съ болѣе искреннею симпатіей отнесся авторъ къ судьбѣ своей Настеньки. Это—образъ дѣвушки съ характеромъ, беззавѣтно отдающей любимому человѣку, не теряющей въ самомъ жестокомъ испытаніи съ его стороны. Но съ этимъ женскимъ типомъ Писемскаго случилось то же, что съ типомъ Шамилова, предвосхитившимъ Рудина: образы женщинъ Писемскаго были безусловно заслонены женскими типами Тургенева.

Такъ, продолжая примѣнять приемы натуральной школы къ изображенію провинціального русскаго быта, Писемскій, какъ правдивый бытописатель, не плохо служилъ общественному самосознанію. Въ то время, когда публицистика не могла касаться множества сторонъ русской дѣйствительности, играла не малую воспитательную роль и беллетристика, говорившая образами и типами объ этой дѣйствительности. Въ свойствахъ самаго таланта Писемскаго лежало, что его изображенія русской жизни быстро стали стариться, какъ только старый бытовой укладъ сталъ подъ вліяніемъ эпохи реформъ болѣе или менѣе быстро мѣнять свою фیزیономію. И вдобавокъ Писемскій шелъ по проложеннымъ уже дорожкамъ. Жестко, но почти вѣрно то, что сказалъ про „Тысячу душъ“ Достоевскій: „это только посредственность, и хотя золотая, но только все-таки посредственность. Есть ли хоть одинъ новый характеръ, созданный, никогда не являвшійся? Все это уже было и явилось давно у нашихъ писателей-новаторовъ, особенно у Гоголя. Это все старыя темы на новый ладъ. Превосходная клейка по чужимъ образцамъ. Сазиковская работа по рисункамъ Бенвенуто Челлини“. Замѣчаніе, примѣнимое не къ одному роману „Тысяча душъ“.

Почти то же нужно сказать и объ изображеніяхъ у Писемскаго народнаго быта, для своего времени весьма замѣчательныхъ, но до-

вольно быстро заслоненныхъ изображеніями другихъ писателей. Въ тѣ годы перваго сочувственнаго вниманія къ крѣпостному народу точное, нимало не прикрашенное изображеніе Писемскимъ бытовой складки русскаго мужика, притомъ точно опредѣленнаго костромскаго мужика, новизна выводимыхъ типовъ, богатство колоритно воспроизведенной народной рѣчи,—все это отвѣчало живому общественному интересу. Привлекала и неподдѣльная симпатія автора къ хорошему человѣку изъ крестьянской массы. Но, если говорить, что Писемскій идеализировалъ крестьянство (Кирпичниковъ), то такое выраженіе очень условно. Масса крестьянства, крестьянская толпа отнюдь не казалась трезвому взгляду Писемскаго носительницею какихъ бы ни было особыхъ идеаловъ человѣческихъ отношеній. Напротивъ того, „простой народъ сталъ приходить, наконецъ, въ отупѣніе, — свидѣтельствуемъ онъ о времени, изображенномъ въ его повѣствованіяхъ о крестьянствѣ:—съ него брали и въ казну, и барину, и чиновникамъ, да его же еще чуть не ежегодно въ солдаты отдавали. Какъ бы въ отместку за все это онъ неистово пилъ отравленную откупную водку и, приходя оттого въ скотское бѣшенство, дрался, какъ звѣрь, или съ своимъ братомъ, или съ женой, и безпрестанно попадалъ за то на каторгу“. Соотвѣтственно этому рядовая крѣпостная масса представлена, напр., въ „Горькой судьбинѣ“ крайне отталкивающими чертами раболѣпства, развращенной рабствомъ покорности, и изъ нея изображены выдѣлвшимся всякаго рода бурмистры, дворецкіе („Старая барыня“), управители („Лѣшій“), злѣйшіе враги и надругатели крестьянина-пахаря; кулаки, какъ болтунъ и выжига Пузичъ („Плотничья артель“), снохачи („Батька“) и т. п. Самого пахаря Писемскій намъ и вовсе не изображаетъ, но едва ли не дѣлитъ относительно него, какъ человѣка-раба, взгляда умнаго подрядчика Макара Григорьева („Люди сороковыхъ годовъ“): „да есть ли у васъ разумъ, чтобы на волѣ жить? Ежели лошадь-то съ рожденія своего взнуздана была, такъ, по - моему, ей взнузданной околѣвать приходится“. Лишь въ средѣ, оторвавшейся уже отъ массы, напр., среди крестьянъ, уходящихъ на заработки на сторону, у оброчниковъ, Писемскій находитъ людей, съ которыми находитъ возможность непосредственной духовной близости. Это, напр., люди вродѣ садовника Ильи Мосѣича („Батька“). Эта колоритная фигура своею любовью къ живой природѣ напоминаетъ крестьянскіе поэтическіе образы Тургенева. Въ одно и то же время Ильи Мосѣичъ не любитъ, даже презираетъ помѣщиковъ, считая себя безусловно умнѣе ихъ, въ ихъ барскомъ непониманіи крестьянина, но „и своего брата онъ тоже больше презиралъ“, это—отрѣзанный отъ крестьянства ломоть. Мастеровой народъ, а не пахари—и всѣ тѣ питерщики, нѣсколько типовъ которыхъ съ любовью обрисованы Писемскимъ. Таковъ и симпатичный Петръ въ „Плотничьей артели“, и Клементій („Питерщикъ“), рассказавшій автору свой трогательно-нелѣпый романъ съ петербургскою мѣщанскою дѣвицей, такъ пора-

зило автора, что его душѣ были доступны „нѣжныя и почти тонкія ощущенія“ и „мудрое опознаніе своихъ проступковъ“, что, порадовавшись успѣху питерщика въ его подвигахъ, авторъ „вмѣстѣ съ тѣмъ въ лицѣ его порадовался и вообще за русскаго человѣка“. Таковъ же и питерщикъ Ананія Яковлевъ въ „Горькой судьбинѣ“ съ его трезвеннымъ идеаломъ благоустройства въ своей семьѣ, съ привычками энергической предприимчивости, съ увѣренностью, что должна быть гдѣ-то такая власть, которая его и съ самимъ бариномъ разсудить. Это—идеализація крестьянъ лишь въ противовѣсъ рыхлому недѣлательному барству, въ пику пассивности и распущенности русскаго провинціального общества, идеализація, аналогичная идеализаціи у Островскаго лавочника Краснова („Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“). Но по существу всѣ эти питерщики и лавочники просто болѣе или менѣе крупные кулаки, истинные облики которыхъ, въ ихъ отношеніяхъ къ членамъ работающих у нихъ артелей, будутъ въ подлинной неприглядности обрисованы лишь позднѣе.

Какъ говоритъ Анненковъ, смѣхъ Писемскаго въ значительной степени чисто фізіологическій. Онъ наслаждается процессомъ изображаемой имъ жизни и потѣшается ея казусами, стеченіями обстоятельствъ, забавными характерами и ихъ проявленіями въ житейскихъ столкновеніяхъ. Такъ особенно забавна галлерей типовъ подъ названіемъ „Русскіе лгуны“. Однако, въ общемъ юморъ Писемскаго не легкое, прихотливое зубоскальство, какимъ отличается часто русская толпа, а болѣе мрачное скептическое и пессимистическое отношеніе къ жизни и людямъ. Жизнь повертывалась къ Писемскому такъ часто и много своею неприглядною изнанкою, что онъ потерялъ всякую охоту къ малѣйшей ея идеализаціи. Онъ самый, такъ сказать, безочарованный изъ русскихъ писателей, менѣе всего способный легко увлечься какимъ бы ни было возвышеннымъ явленіемъ и душевнымъ движеніемъ. Онъ даже въ большой мѣрѣ циникъ, и ему ничего не стоитъ, напр., обозвать неизмѣнную привязанность своей героини къ предмету ея любви „собачьей привязанностью“, бросить мимоходомъ въ романѣ такое наблюденіе, что будто легче всего человѣкъ измѣняетъ своей любви непосредственно послѣ разлуки съ предметомъ страсти, или въ личной бесѣдѣ отпечатать нецензурный афоризмъ, что весь міръ вертится, какъ около оси, вокругъ половыхъ влеченій. Онъ нарочитый мастеръ изображать обнаженную грубость грубой провинціальной русской жизни.

И все-таки, хотя отрицательныя стороны ума и характера Писемскаго давали поводъ изображать его въ видѣ ограниченного Фальстафа (С. Венгеровъ), все-таки особая складка добродушія, мелькающая тамъ и сямъ, искренность писателя въ разоблаченіи поразившаго его отрицательнаго явленія выкупаютъ многое въ холодномъ разсказѣ Писемскаго о томъ, что такое русская жизнь. Въ концѣ-концовъ остается вѣрнымъ, что сказали про него Анненковъ: „простой“, „добродушнѣйшій человѣкъ своего времени“, и Тургеневъ: „Не

смущайтесь грубыми выходками Писемскаго, — писалъ Тургеневъ однажды, направляя къ нему начинающую писательницу: это большой чудакъ, немного циникъ... Но очень, очень добрый человѣкъ“.

Эта складка неподдѣльнаго добродушія особенно чувствуется въ Писемскомъ, когда онъ останавливается, съ неожиданною теплою и симпатіей, на простыхъ душою и сердцемъ людяхъ, большею частью недалекихъ въ смыслѣ умственнаго развитія, образованія и внѣшняго лоска, но иногда такихъ сердечныхъ и искреннихъ. Сквозь оболочку большею частью нескладную, комическую, грубоватую ему нравится показать нравственную красоту человѣка. Это—та же идеализація „смирнаго“ типа, которая такъ занимала Аполлона Григорьева. Здѣсь Писемскій, продолжатель гоголевскаго натурализма,—также продолжатель умонастроенія, создавшаго „Станціоннаго смотрителя“, „Шинель“, „Бѣдныхъ людей“ и „Униженныхъ и оскорбленныхъ“. Наиболѣе сильное и выразительное произведеніе Писемскаго въ этомъ родѣ,—это безспорно „Старческій грѣхъ“; герой разсказа, Феррапонтовъ, закоренѣвшій въ канцелярской рутинѣ, но идеально честный служака, свихнувшійся подъ вліяніемъ стихійно обуявшаго имъ нѣжнаго чувства, выписанъ во весь ростъ. Но люди того же склада встрѣчаются почти въ каждомъ большомъ произведеніи Писемскаго; въ этомъ его подлинный идеализмъ сердца. Таковы нѣкоторые народные его типы, таковъ безкорыстный дворянинъ-пахарь и телѣжникъ Савелій въ „Боярщинѣ“; таковъ невѣжественный, глупый и нелѣпый Степочка, трогательно привязавшійся къ брошенной Шамиловымъ Вѣрѣ и къ ея памяти; таковы старики Годневы въ „Тысячѣ душъ“ и нѣкоторыя фигуры въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Писемскаго.

Со второй половины шестидесятыхъ годовъ Писемскій, развступивъ на путь полемическаго освѣщенія дѣйствительности, чувствуетъ, видимо, необходимость сколько-нибудь опредѣленнаго высказать общіе свои взгляды на состояніе вещей на родинѣ, свои идеалы, что и дѣлаетъ, частью говоря отъ себя, частью влагая симпатичные ему взгляды въ уста нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ. Его протестъ противъ современности въ основѣ своей протестъ моралиста, которому антипатична прежде всего всеобщая погоня за матеріальными выгодами, за властью, славой, комфортомъ, и въ то время, какъ, напр., Гончаровъ воспѣлъ настоящій гимнъ комфорту („Фрегатъ Паллада“) и такъ высоко поставилъ практическихъ дѣльцовъ Адуевыхъ и Штольца, Писемскій раздражается (въ „Тысячѣ душъ“) саркастическимъ обличеніемъ всеобщаго стремленія къ комфорту. „Комфортъ въ умѣ моего героя всегда имѣлъ огромное значеніе. И для кого же, впрочемъ, изъ солидныхъ благоразумныхъ молодыхъ людей нашего времени не имѣетъ онъ этого назначенія? Авторъ дошелъ до твердаго убѣжденія, что для насъ, людей нынѣшняго вѣка, слава, любовь, міровыя идеи... безсмертіе...—ничто передъ комфортомъ! Все это въ душахъ нашихъ случайное: одинъ

только онъ стоитъ впереди нашего пути, съ своей неизмѣримо притягательной силой. Къ нему-то мы направляемъ всѣ наши силы и усилія. Онъ одинъ нашъ идолъ, и въ жертву ему приносится все дорогое, хоть бы для этого пришлось оторвать самую близкую часть нашего сердца, разорвать его главную артерію и кровью изойти, но только близенько, на подножіи нашего золотого тельца. Для комфорта проводится трудовая до чахотки жизнь... для комфорта десятки лѣтъ изгибаются, кланяются, кривятъ совѣстью... для комфорта кидаютъ семейства, родину, ѣдутъ кругомъ свѣта, тонутъ, умираютъ съ голода въ степяхъ... для комфорта чистымъ и нечистымъ путемъ ищутъ наслѣдства; для комфорта берутъ взятки и совершаютъ, наконецъ, преступленія"... И это—явленіе всемірное: „Все вертится на одномъ фокусѣ. Смотрите: и въ просвѣщенной, гуманной Европѣ рыцари переродились въ торгашей, арены замѣнились биржами“.

Къ „просвѣщенію“ и „гуманности“ Европы Писемскій вообще относится явно скептически, особенно же подозрительно относится къ нашимъ перенимателямъ этой просвѣщенности и гуманности, усматривая въ нихъ полное отсутствіе самостоятельнаго внутренняго дѣланія, а только величайшую способность „натираться снаружи“ чѣмъ угодно. Въ этомъ состоитъ и его основной взглядъ на русское общественное движеніе, изображенное во „Взбаламученномъ морѣ“. Все здѣсь сведено на поверхностное повтореніе тѣми же героями дореформенной эпохи, какихъ Писемскій изображалъ въ прежнихъ своихъ романахъ, хлесткихъ модныхъ фразъ, звонкихъ словечекъ и на безумное и бессмысленное тяготѣніе молодежи къ оторванной отъ русской жизни революціонной пропагандѣ. Всему этому повѣтрію Писемскій въ качествѣ панацеи настойчиво противопоставляетъ „народный здравый смыслъ“. Онъ вложилъ въ уста Вихрова (ром. „Люди сороковыхъ годовъ“) слѣдующее, напоминающее вѣрованія почвенниковъ и молодой редакціи „Москвитянина“, исповѣданіе. На вопросъ, въ самомъ ли дѣлѣ Россія страна демократическая, какъ понимаютъ ее, или военная держава, какъ разумѣли ее прежде, и въ чемъ состоитъ вкусъ и геній нашего народа, Вихровъ усмѣхнулся. „Геній нашего народа,—началъ онъ отвѣчать,—пока выразился только въ необыкновенно здоровомъ умѣ и вслѣдствіе этого въ сильной устойчивости; въ насъ нѣтъ ни французской галантерейности, ни глубокомыслія нѣмецкаго, ни предприимчивости англійской, но мы очень благо разумны и разсудительны: насъ ничѣмъ нельзя очень порадовать, но зато ничѣмъ и не запугаешь. Мы строимъ наше государство медленно, но изъ хорошаго матеріала; удерживаемъ только настоящее, и все ложное и фальшивое выкидываемъ. Что нашъ аристократизмъ и демократизмъ совершенно миражныя всѣ явленія, въ этомъ сомнѣваться нечего; сколько вотъ я ни ѣздилъ по Россіи и ни прислушивался къ кореннымъ и любимымъ понятіямъ народа, по моему мнѣнію, въ

ней не должно быть никакого дѣленія на сословія, и она должна быть, если можно такъ выразиться, по преимуществу государствомъ хоровымъ, гдѣ каждый пѣлъ бы во весь свой полный естественный голосъ и въ совокупности выходило бы все это согласно... всякій пой въ свой голосъ и другихъ не перебивай“. Это звучитъ какъ отголосокъ ученія позднѣйшихъ славянофиловъ (С. Юрьевъ, близкій въ Москвѣ Писемскому) о хоровомъ началѣ. Какъ теорія это все, конечно, очень слабо и—увы!...не могло дать жизни надуманнымъ искусственнымъ образамъ.

Та громадная роль, какую начала играть въ это время русская плутократія, могла казаться Писемскому однимъ изъ нарушеній этого хорового начала, и отсюда та вражда, съ какою онъ въ послѣднюю половину жизни ополчился въ своихъ комедіяхъ и драмахъ на міръ дѣлчества и наживы. Этими пьесами, по большей части эфемерными, содержащими намеки на быстро забытыя происшествія въ акціонерно-банковскомъ и дѣльцовскомъ мірѣ, Писемскій очень гордился, какъ заслугою въ борьбѣ противъ „сильнѣйшаго, можетъ быть, врага человѣческаго Ваала и поклоненія золотому тельцу“. Сценическія, ловко построенныя пьесы нравились многимъ. Анненковъ въ письмѣ автору даже называлъ его, по поводу комедіи „Просвѣщенное время“, „отцомъ драматическаго памфлета“. И нельзя не сказать, что по крайней мѣрѣ по выбору сюжета Писемскій дѣйствительно здѣсь обратилъ вниманіе на важное явленіе русской жизни. Въ паеосѣ противъ него онъ, мелкопомѣстный русскій дворянинъ, подымается порою до высоты искренняго христіанскаго социализма. И Писемскій дышитъ ненавистью къ новоявленному русскому буржуа, которою дышитъ и герой „Мѣщанъ“ Бѣгушевъ, чувствовавшій въ каждомъ европейцѣ лавочника и запахъ мѣднаго пятака. „Бога на землю! — восклицаетъ Писемскій вмѣстѣ съ нимъ:—пусть сойдетъ снова Христосъ и обновитъ души, а иначе въ человѣкѣ все порядочное исчахнеть отъ смрада вашихъ матеріальныхъ благъ“.

Если мы съ этого рода паеосомъ, въ искренности котораго нѣтъ основаній сомнѣваться, сопоставимъ, напр., то, что думалъ Писемскій, по рассказамъ Анненкова, о крестьянской реформѣ,—то представленіе о Писемскомъ, какъ человѣкѣ голо реакціоннаго возрѣнія отпадетъ само собою. Въ самомъ дѣлѣ, Писемскій съ большою долею прощительности, въ противность тогдашнимъ рядовымъ либеральнымъ ожиданіямъ (мы сказали рядовымъ: въ лицѣ Чернышевскаго или Герцена мы имѣемъ взглядъ болѣе глубокой на будущее реформы), отказывался вѣрить, что вмѣстѣ съ эмансипаціей тутъ же начнется обновленіе народа. Дорожа самымъ освобожденіемъ и реформами, онъ предсказывалъ скептически, что крестьянству придется „тягаться съ помѣщиками и послѣ того“, въ другихъ инстанціяхъ; дурное нравственное наслѣдство, полученное народомъ отъ рабскаго прошлаго, будетъ еще долго давать знать себя. Онъ мечталъ о какихъ то „сильныхъ нравственныхъ авторитетахъ“, которые должны

бы послѣ освобожденія влить въ народную жизнь и новое содержаніе, но опредѣленно не указывалъ, что это такое можетъ быть. Однако, если сопоставить все это воедино, приходится сказать, что Никита Безрыловъ, при всемъ его безшабашномъ глумленіи надъ моднымъ радикализмомъ, не совсѣмъ былъ неправъ, когда говорилъ о себѣ, какъ радикалъ: это былъ смутный, націоналистически и мелкопомѣстно окрашенный, но все же радикализмъ, дѣйствительно заглядывающій въ корень вещей. Искренность этого настроенія подчеркивается еще невольною симпатіей Писемскаго къ искренно увлекающимся, въ жаждѣ добра и правды, людямъ несимпатичнаго ему, подражательнаго духу времени направленія. Въ его „Взбаламученномъ морѣ“ въ уста Евпраксіи вложенъ мягкій, прощающій упрекъ въ идеализмъ той самой молодежи, которую онъ обличаетъ въ поверхностномъ уклоненіи отъ началъ народнаго здраваго смысла, и которая въ это время такъ искренно считала себя мыслящими реалистами. Онъ равно скорбитъ надъ судьбою русскихъ женщинъ, выведенныхъ во „Взбаламученномъ морѣ“:—„одна въ Клиши умираетъ, другая въ крѣпость попала, третья совсѣмъ въ церковь спряталась, а все вѣдь это наши силы, и хорошія силы“, и надъ могилою „нигилистки“ („Въ водоворотѣ“) отдаетъ ей глубокую дань уваженія за то, что она была „единственная изъ всѣхъ имъ знаемыхъ, которая говорила и поступала такъ, какъ думала и чувствовала“ (курсивъ Писемскаго).

Эту послѣдовательность слова, мысли, чувства и дѣла Писемскій считалъ вообще драгоцѣннѣйшей чертою въ человѣкѣ, и она въ немъ, какъ писателѣ, выкупаетъ безспорно многое. Но вслѣдствіе упадка таланта, лишеннаго живого и симпатичнаго съ широкими теченіями новой русской жизни общенія, творчество послѣдняго періода живетъ и непосредственно захватывало читателя много меньше, чѣмъ писанія перваго. Когда пробѣжишь длинные его романы и всѣ его пьесы и оглянешься назадъ, въ памяти встаютъ немногія выпуклыя фигуры, и то большею частью второстепенныя въ структурѣ повѣствованій: Іона—циникъ, безпутнѣйшее порожденіе крѣпостного разврата („Взбаламученное море“), полковникъ Вихровъ и Эсперъ Ивановичъ въ „Людахъ сороковыхъ годовъ“, масонъ Марфинъ и наивный Аггей Никитичъ въ „Масонахъ“ и немногія другія. Изъ обличеній „Ваала“ все сливается въ мутную зыблящуюся тѣнь мимолетныхъ видѣній. Остается въ памяти комедія „Хищники“ („Подкопы“) тою дерзостью, съ которой Писемскій выдвинулъ на сцену алчную погоню за властью и богатствомъ и интриги въ средѣ высшаго правительственнаго круга (знатокъ его, всю жизнь около него вращавшійся цензоръ Никитенко называетъ комедію лучшимъ созданіемъ Писемскаго). Но больше вниманія заслуживаютъ, кажется, историко-бытовыя трагедіи „Самоуправцы“ и „Бывые соколы“. Это—очень сценическія, необыкновенно широко и колоритно написанныя картины времени пышнаго расцвѣта крѣпостной власти, разгула

старого, ничѣмъ не стѣсненнаго барства, время неистовыхъ, несдержанныхъ ни закономъ, ни образованіемъ животныхъ страстей.

Итакъ, тѣсная зависимость писаній Писемскаго и освѣщенія имъ русской дѣйствительности отъ бытовыхъ ея основъ, нынѣ существенно измѣнившихся; особенность его таланта, лишь рѣдко и съ усиленіемъ подымавшагося отъ земли, чтобы снова упасть на нее и снова копошиться въ ея внѣшнемъ сорѣ и дрязгахъ; элементарность его міровоззрѣнія, плетущагося сзади націоналистическихъ и инстинктивныхъ влеченій полусознательной массы,—все это сдѣлало Писемскаго почти чужимъ нашему времени. Но, кажется, доля забвенія лучшихъ вещей Писемскаго зависитъ также отъ того обстоятельства, что ихъ просто нѣтъ на книжномъ рынкѣ (имѣется лишь дорогое и громоздкое полное собраніе). „Тысяча душъ“, „Горькая судьбина“, такая сердечная вещь, какъ „Старческій грѣхъ“, все это не только очень видные факты исторіи литературы, но и неутратившія свою цѣнность сокровища живого богатства русскаго слова.

2.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ.

(1812—1891.)

Е. А. Ляцкого.

1.

Жизнь Ивана Александровича Гончарова сама по себѣ не представляетъ ничего особенно замѣчательнаго или поучительнаго. Въ ней не было той борьбы съ внѣшними обстоятельствами, которая вплетала такія трагическія страницы въ жизнеописанія большинства русскихъ писателей, ставившихъ проблемы общественнаго блага въ неразрывную связь съ идеалами личнаго счастья. И, тѣмъ не менѣе, безъ обстоятельнаго знакомства съ внѣшними событіями этой жизни нельзя обойтись: она даетъ необходимый, живой и въ то же время историческій комментарий къ сочиненіямъ Гончарова. Въ нихъ отразились полно и оригинально основныя свойства его глубокаго таланта и черты нравственнаго склада въ сочетаніи съ блестящей игрой выпуклой и капризной мысли, съ противорѣчіями барски-изнѣженнаго, себялюбиваго чувства. Въ обширномъ и сложномъ мірѣ идей и образовъ, созданномъ Гончаровымъ, эти свойства пріобрѣли обобщающее значеніе и стали выразителями коренныхъ типическихъ особенностей русскаго человѣка вообще. Обломовщина и гончаровщина до такой степени близко срослись между собой, то дополняя, то объясняя другъ друга, что порознь ихъ пониманіе едва ли возможно; именно

у Гончарова жизнь, въ своихъ высшихъ проявленіяхъ, переходила въ творчество, и творчество было жизнью.

Въ этой неразрывной связи творчества и жизни была своя особая, интимная сторона. Среди знаменитой литературной плеяды своей эпохи Гончаровъ занималъ какъ бы обособленное положеніе, словно сторонясь отъ тѣхъ общественныхъ лозунговъ, которые такъ ярко горѣли, напримѣръ, надъ творчествомъ автора „Антонъ Горемыки“, Тургенева, Некрасова. Творчество этихъ писателей сразу вводило въ кругъ тѣхъ дорогихъ для нихъ идей, которыя они стремились провести въ общественное сознание. Творчество Гончарова обманчиво скрывало міросозерцаніе автора отъ глазъ современнаго ему читателя и требовало для своего объясненія или необыкновенной критической прозорливости, или же значительной исторической перспективы. Но талантъ, неподдѣльная „искра Божія“, освѣщаетъ пути только къ свободному и прекрасному, и творчество Гончарова, въ его историческомъ значеніи и художественной цѣльности, на ряду съ творчествомъ Тургенева, явилось вѣчнымъ вкладомъ въ сокровищницу нашего общественнаго самосознанія, расширивъ и продолживъ стезю, завѣщанную Пушкинымъ и Гоголемъ.

Сказанное Гончаровымъ новое слово въ литературѣ заключало въ себѣ многостороннюю, богатую внутреннимъ смысломъ картину той переходной эпохи, когда совершался коренной переломъ въ русскомъ общественномъ сознаніи, ознаменованный напряженной идейной и политической борьбой русскихъ интеллигентныхъ силъ,—борьбой, запечатлѣнной рядомъ неисчислимыхъ подвиговъ самопожертвованія и благороднѣйшаго энтузіазма во имя торжества освободительныхъ началъ. Ко времени выступленія Гончарова на литературномъ поприщѣ усилія наиболѣе отважныхъ и передовыхъ умовъ конца XVIII и первой половины XIX в. сдѣлали одно изъ важнѣйшихъ дѣлъ на пути освобожденія. Всѣмъ сколько-нибудь сознательнымъ людямъ становилась нестерпимо—ясна неправда того общественного порядка, при которомъ могло господствовать, какъ его незыблемая основа, крѣпостное право: однимъ фактомъ своего существованія оно сокрушало всѣ представленія объ иныхъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ общественнаго развитія. Однако, идеи о свободѣ личности, какъ необходимой гарантіи нормальнаго общественнаго порядка, медленно распространялись въ многомилліонныхъ массахъ провинціальной Россіи, встрѣчая или глухое недоумѣніе, вызывавшееся бытовой косностью, боязнью новизны, или открытую вражду со стороны, по преимуществу дворянскаго, помѣщичьяго, класса. Уничтоженіе крѣпостнаго права, издавна пугавшее крѣпостниковъ, какъ надвигавшаяся, но отдаленная опасность, лелѣемая, какъ мечта, народными массами, застало обывательскую Россію врасплохъ. Оно произвело глубокое потрясеніе во всѣхъ слояхъ русскаго населенія и вызвало ожесточенную борьбу среди приверженцевъ стараго и новаго порядка. Въ этотъ моментъ изъ среды, крѣпкой бытовыми традиціями, но такой,

гдѣ всѣ элементы борьбы были налицо, явилось творчество Гончарова. Въ яркихъ, согрѣтыхъ чувствомъ личнаго переживанія образахъ оно изобразило тронутую со своихъ вѣковыхъ устоевъ, потревоженную въ косной дремотѣ патріархально-общественнаго безправія, просыпавшуюся, но еще не проснувшуюся жизнь.

Гончаровъ вышелъ изъ самыхъ нѣдръ этой жизни, которая была цѣлостна и типична. Она образовала въ его душѣ тотъ творческій остовъ, ту основу, къ которой приросли впослѣдствіи всѣ остальные, нанесенные жизнью, пласты и наслоенія. На этой основѣ его обобщающая фантазія создавала образы, внутренний смыслъ которыхъ давалъ поводъ расширять ихъ значеніе далеко за предѣлы первоначальныхъ дѣтскихъ и юношескихъ наблюденій, распространять на многія, еще въ то время не сознанныя стороны русской жизни.

II.

И. А. Гончаровъ родился 6 іюня 1812 г. Изъ опубликованнаго въ недавнее время семейнаго „Лѣтописца“, впервые точно установившаго дату рожденія нашего писателя, видно, что предки его принадлежали къ кругу отчасти купечества, отчасти служилаго дворянства. Одни хозяйничали, копили зерно и продавали, другіе служили, проявляя стремленіе подняться выше уровня обывательщины, глухой и сѣрой. Дѣдъ Гончарова изъ полковыхъ писарей дослужился до чина капитана. По семейнымъ традиціямъ, онъ интересовался явленіями природы и общественной жизни, былъ религіозенъ и начитанъ въ духовной литературѣ.

Объ отцѣ Гончарова сохранилось мало извѣстій. Онъ умеръ въ 1819 г., т.-е. когда будущему писателю было 7 лѣтъ. Извѣстно было, что отецъ его былъ человѣкъ очень зажиточный, имѣлъ въ Симбирскѣ обширные амбары, велъ торговлю хлѣбомъ. Среди лицъ, знавшихъ его, хранилась о немъ память, какъ о человѣкѣ ненормальномъ, меланхоликѣ, прослывшемъ „старовѣромъ“ за свое благочестіе. Семейная атмосфера гончаровскаго дома вовсе не была такъ благополучна, какъ это могло показаться при поверхностномъ знакомствѣ. Въ семьѣ были свои странности, передававшіяся и молодому поколѣнію. Братъ писателя страдалъ ярко выраженной религіозной маніей; одна изъ сестеръ, время отъ времени, психически занемогала. Въ характерѣ писателя были черты, несомнѣнно вынесенныя изъ-подъ родительской кровли. Такъ, Гончаровъ былъ крайне мнителенъ и подозрителенъ, что сказалось подъ старость, напр., въ его отношеніяхъ къ Тургеневу,—но до того времени черты эти рѣдко проявлялись, скрываясь подъ наружностью человѣка флегматичнаго, лѣниваго, учтиво-равнодушнаго ко всему.

Здоровый элементъ въ нравственную атмосферу гончаровскаго дома вносила личность матери, къ которой со смерти отца перешла забота о воспитаніи дѣтей. Обстановка приволья и свободы город-

ской жизни на помѣщичій ладъ, въ смягченныхъ формахъ крѣпостного уклада, представляла много сторонъ для нормальнаго развитія. Прimitивный комфортъ губернскаго провинціального захолустья, жаркое, но не южное солнце, заволжскія дали,—все это наполняло душу впечатлѣніями безпечной медлительности, мягкой и спокойной красоты, мечтательности, питавшей сентиментально-романтическія и религіозныя грезы. Къ такимъ настроеніямъ шли и первые опыты домашняго обученія и тотъ разрядъ книгъ, изъ которыхъ сложилось раннее чтеніе мальчика. Много положительнаго въ дѣло образованія будущаго писателя внесъ крестный отецъ Гончарова, отставной морякъ Трегубовъ (въ „Воспоминаніяхъ“ Якубовъ), человѣкъ доброй души и по своему времени просвѣщенный. Онъ развивалъ въ будущемъ авторѣ „Фрегата Паллады“ фантазію, рассказывая ему о своихъ путешествіяхъ, волнуя воображеніе картинами далекихъ странъ и тутъ же попутно сообщая различныя свѣдѣнія изъ математической и физической географіи, астрономіи и даже навигаціи. Книги романтическаго и фантастическаго содержанія, въ духѣ времени, чередуясь съ историческими сочиненіями, легендами и рассказами юродивыхъ и странниковъ, не давали мысли мальчика сосредоточиться исключительно на ближайшей дѣйствительности, которая, тѣмъ не менѣе, оставляла въ душѣ его неизгладимое впечатлѣніе, тогда еще не осмысливавшееся, образуя какъ бы вторую натуру, уравновѣшенную, трезвую, не лишенную дѣловой практичности. Въ своихъ романахъ Гончаровъ съ особенной любовью изобразилъ свое дѣтство. Къ этой порѣ его жизни, какъ и къ нѣкоторымъ послѣдующимъ событіямъ, относится многое, что въ одинаковыхъ приблизительно чертахъ рассказывается имъ объ Адуевыхъ, Обломовѣ, Райскомъ. Семейная атмосфера, разлитая въ романахъ, переноситъ насъ въ обстановку, гдѣ нѣжная заботливость и баловство, нѣсколько тепличное, соединялись съ вліяніями умныхъ и трезво настроенныхъ людей. На склонѣ лѣтъ, давая себѣ отчетъ въ своихъ раннихъ впечатлѣніяхъ, Гончаровъ вспоминалъ картины сна и застоя родного города и высказывалъ предположенія, что въ его наблюдательномъ и живомъ умѣ окружающее беззаботное житіе-бытіе, бездѣлье и лежанье уже тогда порождали неясныя представленія объ обломовщинѣ. Мечтательность мирно уживалась съ положительностью и трезвостью въ натурѣ Гончарова. Оба эти свойства, укрѣпившіяся еще въ пору дѣтскихъ впечатлѣній, чрезвычайно характерно выразились въ Адуевыхъ, а затѣмъ распредѣлились болѣе или менѣе равномерно между Обломовымъ, съ его привязанностью къ земнымъ благамъ, и „мерцающимъ“ Райскимъ, съ его вѣчными порываніями въ романтическія дали.

Послѣ недолгаго обученія въ частномъ подгородномъ пансіонѣ Гончаровъ десятилѣтнимъ мальчикомъ былъ отвезенъ въ Москву и помѣщенъ въ коммерческое училище. Здѣсь, въ теченіе восьми лѣтъ, онъ изучалъ различные научные предметы, о которыхъ у него

сохранились общія воспоминанія съ Александромъ Адуевымъ, и овладѣвалъ иностранными языками. Но книги онъ продолжалъ читать въ томъ же духѣ, какъ и на родинѣ, уносясь фантазіей то на Сандвичевы острова съ Кукомъ, то въ Камчатку съ Крашенинниковымъ, и послѣ Карамзина и Голикова, Расина и Ломоносова съ удовольствіемъ отдыхая на „Агасѣерѣ“ и „Графѣ Монтекристо“.

Выборъ книгъ сдѣлался серьезнѣе и строже съ поступленіемъ Гончарова въ московскій университетъ по словесному факультету. Занимаясь усердно, но безъ увлеченія, онъ былъ слишкомъ благонаправленнымъ студентомъ, чтобы допустить въ кругъ своихъ занятій что-либо шедшее въ разрѣзъ съ духомъ правовѣрной университетской схоластики того времени. Заставъ въ университетѣ еще Герцена и Огарева, встрѣчая самыхъ разнообразныхъ, по складу мышленія и темпераменту, товарищей, Гончаровъ остался чуждъ тому умственному возбужденію, той страстной восторженности, которыя характеризуютъ московскіе студенческіе кружки тридцатыхъ годовъ и которыя Герценъ называлъ „кипѣньемъ“ въ воспоминаніяхъ о своей университетской жизни. Ни Гегель, ни Сень-Симонъ, ни вообще мечты о политическихъ преобразованіяхъ не волновали тогда (какъ, впрочемъ, и позже) Гончарова. Онъ тщательно изучалъ иностранныя литературы и классиковъ, учась у нихъ совершенству формы и продолжая развивать воображеніе картинами отдаленныхъ эпохъ. Несомнѣнно, что ко времени пребыванія Гончарова въ университетѣ слѣдуетъ отнести тотъ подъемъ юношеской мечтательности и романтическихъ порывовъ, на которыхъ съ такой любовью останавливался Гончаровъ въ своихъ романахъ. Но художественная передача ихъ относится сравнительно къ позднему времени, когда Гончаровъ писалъ по воспоминаніямъ, утратившимъ яркость непосредственныхъ отраженій. Въ „Обыкновенной исторіи“ сквозитъ уже кое-гдѣ скептическая нотка пожившаго, нѣсколько разочарованнаго чловѣка, обнаруживая послѣдовательно совершившуюся перемѣну во внутреннемъ отношеніи къ пережитымъ фактамъ. При переходѣ отъ университета къ непосредственной жизни, если у Гончарова не было ломки убѣжденій и взглядовъ, если и не было крушенія идеаловъ, разочарованія были неизбѣжны, хотя бы на практической почвѣ.

Внимательное изученіе позднѣйшаго біографическаго матеріала приводитъ къ заключенію, что и жизнь Гончарова далеко не была лишена „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ“ на почвѣ столкновенія съ суровой дѣйствительностью. Одно время, уже переселившись въ Петербургъ, Гончаровъ, видимо, нуждался, жилъ въ „щели“, но затѣмъ потянулъ чиновничью лямку, длившуюся почти непрерывно въ теченіе сорока лѣтъ. На порогъ къ бюрократической карьерѣ промелькнулъ у Гончарова и педагогическій опытъ: онъ давалъ уроки знаменитому впослѣдствіи поэту Аполлону Майкову, сыну художника, въ семьѣ котораго господствовала эстетическая атмосфера, поклоненіе чистому искусству, дававшее тонъ эпикурейски-

Иванъ Александровичъ Гончаровъ.
Съ портрета И. Н. Крамского.
(Третьяковская галерея въ Москвѣ.)

Историческое изображение
государства Российскаго
в царствование
Петра Великаго



U. Courages

безмятежному примиренію съ жизнью и манившее къ творчеству созерцательному, одухотворенному пластической красотой. Отзывчивая на аристократически-художественныя впечатлѣнія натура Гончарова могла пріобрѣсти въ этотъ періодъ тонкій эстетизмъ, ставшій господствующимъ настроеніемъ въ его романахъ; въ это же время начинается складываться у него запасъ наблюденій надъ жизнью представителей, такъ называемаго свѣтскаго общества. Въ романахъ удѣлено вниманіе изображенію, не лишенному сатирическаго оттѣнка, того воспитанія, которое было типичнымъ для наблюдаемаго круга. Симпатичному, живому образу словесника Ельнина въ „Обрывѣ“ противопоставлено нѣсколько карикатуръ учителей-иностранцевъ. Но гораздо разнообразнѣе и полнѣе отразились въ романахъ тѣ впечатлѣнія, которыя вынесъ Гончаровъ изъ своей продолжительной служебной карьеры. Въ нихъ опредѣлился прежде всего общій взглядъ Гончарова на государственную службу, какъ на извѣстнаго рода дѣло, въ которомъ душа и сердце—лишніе предметы. Служба эта уподобляется машинѣ, которая въ идеалистическомъ освѣщеніи Александра Адуева „работаетъ стройно, непрерывно, какъ будто нѣтъ людей, однѣ колеса да пружины“. Въ романахъ изображенъ цѣлый рядъ чиновничьихъ типовъ, на которыхъ наложила отпечатокъ эта машинообразная дѣятельность. Наиболѣе законченной фигурой среди типовъ этой категоріи стоитъ Петръ Ивановичъ Адуевъ; характеръ въ этомъ отношеніи и Аяновъ, глядѣвшій на всякое дѣло, которое онъ исполнялъ, глазами каждаго изъ послѣдовательно смѣнявшихся начальниковъ, и бездушный формалистъ Ниль Андреевичъ и цѣлый рядъ безличныхъ и ничтожныхъ карьеристовъ, вродѣ Судьбинскаго или мелкаго канцелярскаго крючкотвора Тарантьева. Большинству гончаровскихъ типовъ присуща одна коренная черта: въ нихъ нѣтъ живого порыва, въ нихъ нѣтъ трепета мысли и чувства, нѣтъ того человѣка, о которомъ такъ тосковалъ Обломовъ. Въ пламенныхъ грезахъ носится передъ Ильей Ильичомъ идеаль горячаго поборника великодушнѣйшихъ идей человѣческаго блага... Среди чиновничьихъ типовъ на этотъ идеаль у Гончарова нѣтъ и намека.

Гончарова-художника чиновничья среда не влекла. Высшіе интересы его ума и сердца были далеки отъ этой бездушной среды. Еще на студенческой скамьѣ его потянуло къ творчеству, но въ сознательную работу это влеченіе перешло не скоро и выразилось, по признанію самого автора, весьма своеобразно. Его стали мучить образы; стали „не давать покоя“ картины старой жизни; давно, казалось, забытыя, но нѣкогда хорошо знакомыя лица начали неотвязно мелькать въ памяти и „наслаиваться“ въ типы. Среди этихъ воспоминаній прежняя милая Обломовка, которую Гончаровъ никогда не забывалъ, составляла основной фонъ, на которомъ всѣ изображенія пропитывались, казалось, атмосферой разсѣянной задумчивости и приволья. Въ капризной борьбѣ и тревогахъ назрѣвшаго творче-

скаго сознанія предрѣшалось уже въ первыхъ опытахъ преобладаніе автобіографическаго элемента на всемъ протяженіи предстоявшей художественной работы.

III.

На порогъ литературной дѣятельности Гончарову посчастливилось встрѣтиться съ Бѣлинскимъ и его кружкомъ. Это произошло въ половинѣ сороковыхъ годовъ, когда у Гончарова уже была окончена „Обыкновенная исторія“. Съ ней онъ и явился на судъ къ великому критику. Съ искреннимъ и теплымъ чувствомъ вспоминаетъ Гончаровъ годы своего знакомства съ Бѣлинскимъ. Когда онъ познакомился съ нимъ, Бѣлинскій былъ изстрадавшимся и усталымъ человѣкомъ, который уже „истощился“, по выраженію Гончарова, на Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевскаго. Съ юношескою восторженностью встрѣтилъ Бѣлинскій „Обыкновенную исторію“ Гончарова и широко распахнулъ передъ нимъ заповѣдную дверь въ міръ литературной извѣстности. Въ лицѣ Бѣлинскаго онъ приобрѣлъ горячаго поклонника своего таланта, но самъ не подчинился идейнымъ увлеченіямъ кружка. Какъ и можно было ожидать, онъ не могъ сойтись съ этимъ кружкомъ ни на почвѣ увлеченія идеями Луи-Блана и Ледрю-Роллена, ни даже Жоржъ-Зандъ, ни по соучастію въ той страстной тревогѣ общественной мысли, которая характеризовала Бѣлинскаго и его друзей въ это время. Для всего этого Гончаровъ былъ слишкомъ трезвой и спокойной натурой. Но вліяніе Бѣлинскаго на общія представленія Гончарова объ искусствѣ, о роли литературы въ общественномъ развитіи, о критикѣ не подлежитъ сомнѣнію. Оно сказалось въ романахъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ заходитъ рѣчь о томъ, чѣмъ должна быть литература и какъ искусство, и какъ орудіе общественнаго прогресса. Признаки вліянія Бѣлинскаго можно усматривать и въ характеристикѣ одного изъ второстепенныхъ лицъ „Обрыва“—художника Кириллова, и въ либеральныхъ рѣчахъ Райскаго, и въ неожиданной горячей бесѣдѣ Обломова съ Пенкинымъ. До Бѣлинскаго Гончаровъ едва ли вложилъ бы въ уста Обломова эти для своего времени замѣчательныя слова: „Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нѣтъ, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человѣку, чтобъ поднять его, или горько плачьте надъ нимъ, если онъ гибнетъ, а не глумитесь. Любите его, помните въ немъ самого себя и обращайтесь съ нимъ, какъ съ собой,—тогда я стану васъ читать и склоню передъ вами голову“... Литературныя сужденія подобнаго рода не явились случайно, какъ бы навѣянные извнѣ, они были восприняты Гончаровымъ при самомъ началѣ его сознательной творческой дѣятельности, совпавшей съ расцвѣтомъ ранней эстетической теоріи Бѣлинскаго. Эти идеи прочно вошли въ сознаніе Гончарова, словно выросли въ него, и онъ остался имъ вѣренъ на всю послѣдующую жизнь. Онъ одинъ и тѣ же и въ „Обыкновенной исторіи“, въ сценахъ писательства Але-

ксандра Адуева, и въ художественныхъ вспышкахъ Обломова, и въ порывахъ Райскаго,—такими же остаются онѣ и въ „Литературномъ вечерѣ“ и въ „Милліонѣ терзаній“. Онѣ проходятъ чрезъ всю исторію творчества Гончарова, гдѣ онѣ остается вѣренъ основному принципу отыскивать въ человѣкѣ прежде всего человѣка и уже потомъ изображать его какъ общественное явленіе.

Предсказывая „Обыкновенной исторіи“ блестящій успѣхъ, Бѣлинскій особенно остановился на томъ обстоятельстве, что Гончаровъ одинъ изъ современныхъ ему писателей приближался къ идеалу чистаго искусства. „Всѣ нынѣшніе писатели,—говорилъ Бѣлинскій въ статьѣ по поводу „Обыкновенной исторіи“,—имѣютъ еще нѣчто, кромѣ таланта, и это-то нѣчто важнѣе самаго таланта и составляетъ его силу: у Гончарова нѣтъ ничего, кромѣ таланта, онъ больше, чѣмъ кто-нибудь, поэтъ-художникъ“. Эти слова очень характерны для Бѣлинскаго указанной эпохи. Но для Гончарова они не достаточны, въ нихъ не выражено самое существо гончаровскаго таланта—его глубокій лиризмъ, прошедшій сквозь призму эпического самонаблюденія. Объективная способность рисовать, отмѣченная Бѣлинскимъ, охватывала лишь внѣшнюю сторону таланта Гончарова, но внутренній смыслъ его изображеній и тотъ матеріалъ, изъ котораго они создавались, не могли быть угаданы Бѣлинскимъ по первому и сравнительно слабому произведенію Гончарова. Для этого необходимо было значительное отдаленіе, извѣстная историческая перспектива, наконецъ, знакомство съ жизнью художника. Всего этого не доставало Бѣлинскому, какъ не доставало этого и послѣдующимъ критикамъ, зачислившимъ Гончарова въ разрядъ объективнѣйшихъ писателей, которые пишутъ свои романы только затѣмъ, чтобы отразить непосредственныя явленія жизни и „насладиться своей потребностью рисовать“.

Непосредственности можно было бы требовать отъ „Обыкновенной исторіи“ лишь въ одномъ отношеніи: въ ней, какъ въ произведеніи наиболѣе раннемъ, долженъ былъ выразиться въ наиболѣе чистомъ видѣ процессъ самонаблюденія и самоанализа, должна была съ особенной ясностью обнаружиться автобіографическая субъективность этого произведенія. Дѣйствительно, пользуясь всѣмъ матеріаломъ о жизни и творествѣ Гончарова, нельзя не замѣтить при внимательномъ чтеніи, что „Обыкновенная исторія“ скорѣе художественный мемуаръ, чѣмъ романъ въ общепотребительномъ значеніи этого слова, и менѣе всего какая бы то ни было „исторія“. Исторія предполагаетъ извѣстную послѣдовательность въ переходѣ героевъ изъ одного состоянія въ другое. Такой исторической послѣдовательности въ романѣ нѣтъ. На всемъ протяженіи изображается борьба дяди съ племянникомъ, и борьба эта неожиданно, въ эпилогѣ, кончается полнѣйшимъ отступленіемъ „теоріи“ Александра передъ „практикой“ жизни Петра Ивановича. Въ красиво исполненныхъ сценахъ, проникнутыхъ неподдѣльнымъ юморомъ, развивается одинъ и тотъ

же процессъ—осмѣяніе юношескихъ мечтаній племянника о „колоссальной“ любви и неземной дружбѣ, надеждъ на литературную славу, на красоту бездѣятельной и беззаботной жизни. Дядя—неизмѣнный свидѣтель всѣхъ этихъ разочарованій и крушеній; онъ самъ подсмѣивается надъ нимъ и какъ бы помогаетъ тому, чтобы незрѣлый идеализмъ его племянника возможно скорѣе разбился о холодныя грани петербургской жизни, уступивъ мѣсто голосу трезваго разсудка, подходящаго къ жизни осторожно, со строгимъ холоднымъ расчетомъ. Мало-по-малу горечь испытываемыхъ племянникомъ неудачъ растворяется въ той практической философій жизни, которую такъ обстоятельно излагаетъ передъ нимъ дядя, и черезъ нѣсколько лѣтъ дядя съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія убѣждается, что его слова не пропали даромъ, что племянникъ близокъ къ нему по крови и по духу, его двойникъ, его воплощеніе. На страницахъ, передающихъ бесѣды племянника съ дядей, спорять и примиряются собственно два начала одного и того же порядка: протестъ неглубокой, дюжинной натуры противъ той дѣйствительности, измѣнить которую она не въ силахъ, и стремленіе къ возможной красотѣ жизни на почвѣ безусловнаго подчиненія ей, примиренія со всѣмъ, что прежде казалось ужаснымъ и недопустимымъ. Лишь самыми внѣшними чертами отмѣчаетъ Гончаровъ этапы совершающейся въ Александрѣ Адуевѣ перемѣны, но дѣйствительные внутренніе признаки скрыты отъ глазъ читателя. На протяженіи всего романа племянникъ мѣняется только наружно, и лишь въ заключительной сценѣ Гончаровъ дѣлаетъ попытку найти ключъ къ этой перемѣнѣ, подвести психологическую основу подъ окончательный выводъ, что достаточно нѣсколькихъ разочарованій въ любви и дружбѣ да нѣсколькихъ неудачъ въ другомъ родѣ, чтобы пламеннаго энтузіаста-юношу превратить въ эпикурейски-настроеннаго, практически-трезваго дѣльца и бюрократа. Попытка не вполне удается Гончарову. Въ психологической цѣпи развитія основного мотива недостаетъ нѣсколькихъ звеньевъ, и превращеніе племянника въ дядю представляется сказочнымъ, совершившимся словно по движенію волшебнаго жезла. А недостающія звенья Гончаровъ легко могъ бы подставить, если бы не побоялся удлинить и безъ того длинный романъ, взявъ ихъ, на примѣръ, изъ своей личной біографіи, изъ запаса воспоминаній, относившихся къ первымъ годамъ его петербургской жизни.

Любопытно отмѣтить, какъ неодинаково освѣщены у Гончарова фигуры племянника и дяди. Свѣтлый, безобидный гончаровскій юморъ весь на сторонѣ племянника, который по непосредственности, по живости своей натуры, по искренности и экспансивности является почти комическимъ лицомъ романа. Дядя, напротивъ, за исключеніемъ эпилога, не выходитъ изъ сѣрыхъ и скучноватыхъ тоновъ солидной разсудительности, учивой сдержанности въ чувствахъ и обхожденіи. Онъ представляетъ собой образецъ дѣльнаго и добраго

человѣка, любящаго и заботливаго мужа, а между тѣмъ возлѣ него томится и чахнетъ любимое имъ существо, его жена, задыхаясь въ кругу строго очерченныхъ правилъ семейной и общественной морали, гдѣ все предусмотрено, все размѣрено, нѣтъ мѣста ни порывамъ, ни бурямъ. И сама Елизавета Александровна не можетъ понять, отчего ей жаль въ концѣ романа прежняго милаго Александра, съ его непрактичностью, съ его мечтательностью, съ его стремленіями къ чему-то возвышенному и прекрасному. Происшедшая перемѣна убила мерцавшую въ Александрѣ способность къ подвигу самопожертвованія въ разгарѣ жизненной битвы за тотъ идеалъ, который стремится утвердить надъ нею свое господство, творить въ ней новыя цѣнности и поднимаетъ жизненное сознаніе на недостижимую высоту. Можетъ быть, этотъ обманчивый огонекъ и плѣнилъ ее въ прежніе годы, тогда, когда Петръ Ивановичъ былъ молодъ и ревностно выполнялъ программу тѣхъ очарованій и неудачъ, которую затѣмъ повторилъ съ такою рассчитанною точностью его племянникъ.

IV.

Общественное значеніе романовъ Гончарова сложилось помимо той авторской преднамѣренности, которая неизмѣнно участвуетъ въ процессѣ художественнаго творчества. Въ творествѣ Гончарова элементъ воспоминаній о лично пережитомъ игралъ слишкомъ значительную роль, чтобы не отразиться на приѣмахъ его изобразительной работы. Они клонились къ медлительному обобщенію широкихъ перспективъ, открывавшихся при наблюденіи издали, и не располагали къ бѣглому отраженію впечатлѣній. Чуткій и вдумчивый наблюдатель, Гончаровъ уже въ „Обыкновенной исторіи“ осуществилъ присущую ему внутреннюю потребность самоопредѣленія въ чертахъ, чрезвычайно типичныхъ для той среды, въ которой онъ жилъ и дѣйствовалъ. Въ рельефномъ и многостороннемъ изображеніи этой среды, въ полубезсознательномъ отраженіи особенностей пережитой имъ эпохи и заключается прежде всего общественное значеніе какъ „Обыкновенной исторіи“, такъ и послѣдовавшихъ за нею романовъ.

Въ „Обыкновенной исторіи“ открылась передъ русскимъ читателемъ обширная галлерей типовъ и портретовъ, мѣтко схваченныхъ съ натуры, но еще не ставшихъ для своего времени предметомъ объективнаго наблюденія. Беллетристы до-гоголевской школы описывали „человѣка“. Гоголь изображалъ его, но главнымъ образомъ съ точки зрѣнія несоотвѣтствія идеалу. Пушкинъ первый внесъ въ русскую литературу положительное отношеніе къ человѣку, создалъ потребность исканія гармонической полноты въ его духовномъ развитіи. Гончаровъ пошелъ по пути того же исканія и въ своемъ отношеніи къ изображаемымъ типамъ старался уловить тѣ отличительныя свойства характера, въ которыхъ съ особой на-

глядностью выражался внутренний смысл ихъ жизнеощущенія. Наибольшей высоты художественнаго подъема достигалъ писатель въ тѣхъ изображеніяхъ, гдѣ онъ оставался на почвѣ инстинктивнаго влеченія къ своему таланту, къ своей способности рисовать только то, что онъ когда-либо наблюдалъ, не морализируя, не отыскивая въ человѣкѣ ни достоинствъ, ни недостатковъ. Только такія изображенія и самъ онъ любилъ беззавѣтной любовью художника, на себѣ самомъ оправдывавшаго положеніе, высказанное устами Обломова, что творческая мысль должна быть оплодотворена любовью. Куда влекло органическое творчество Гончарова, замѣтно особенно наглядно на параллельномъ изображеніи обоихъ Адуевыхъ. Насколько Александръ жизнененъ, простъ, настолько Петръ Ивановичъ представляетъ собою ходячую мораль, которую авторъ создаетъ умомъ, а не сердцемъ. Поэтому, независимо отъ цѣнности практической философій, олицетворенной въ образѣ Петра Ивановича, въ общественномъ смыслѣ цѣнность изображенія Александра Адуева неизмѣримо выше. Людей, подобныхъ ему, восторженныхъ мечтателей, въ юности обнаруживающихъ свое отдаленное родство съ Ленскимъ, и трезвыхъ дѣльцовъ подъ старость, на Руси чрезвычайно много. Это распространенный типъ неглубокихъ натуръ, у которыхъ аппетитъ къ сладкимъ кусочкамъ жизни несравненно превѣшиваетъ готовность страдать за воспламеняющую ихъ идею,—типъ, который получилъ такое дифференцированное выраженіе въ беллетристикѣ послѣдовавшихъ десятилѣтій.

V.

Но было бы несправедливо относить всѣ отрицательныя свойства, присущія типу молодого Адуева, исключительно на счетъ его природныхъ особенностей, образовывавшихъ индивидуальную фیزیономию его нравственнаго склада. Наиболее важное въ этомъ отношеніи слѣдуетъ отнести на долю тѣхъ условій общественной среды, при которыхъ подобныя нестойкія натуры находятъ благодарную почву для развитія общественно бесполезныхъ свойствъ. Поражающее въ нихъ отсутствіе исканій плодотворнаго и цѣлесообразнаго труда воспитано въ нихъ вѣками поколѣній, не участвовавшихъ ни въ какой общей работѣ, кромѣ организациі собственнаго благополучія за счетъ чужого, крѣпостнаго труда. Отношенія помѣщичьяго класса къ государству въ старину опредѣлялись характеромъ „государевой службы“, которая не налагала равныхъ для всѣхъ обязанностей, но была по преимуществу „милостью“, включавшей въ себя идею „кормленія“. Понятіе о гражданскомъ долгѣ, явившееся въ числѣ другихъ либеральныхъ вѣяній Александровской эпохи, было большой новостью не только для поколѣнія, къ которому принадлежалъ старшій Адуевъ, но и для послѣдующаго, типичнымъ выразителемъ котораго, въ этомъ смыслѣ, являлся Адуевъ младшій. Государственная служба, сохранившая въ

себѣ много старыхъ традицій приказнаго строя, вырабатывала чисто формальное отношеніе къ дѣлу. Она не требовала личной инициативы и не вносила, и не укрѣпляла въ ся дѣятеляхъ сознанія общественнаго долга. При неумѣннѣи оріентироваться въ вопросахъ цѣлесообразнаго труда, въ выборѣ дѣла, соотвѣтствующаго способностямъ и силамъ, Адуевы бывали легко воспримчивы къ новымъ вѣяніямъ въ сферѣ литературы и искусства, которыя, не проникая глубоко, обогащали ихъ разговорный словарь и помогали ихъ внѣшнему успѣху въ мало развитой средѣ. Отъ этого вспышки ихъ самолюбія, ихъ потребность любви и дружбы такъ легко расцвѣчивались у нихъ всѣми тонами сентиментальной романтики въ духѣ времени. Отъ этого такъ легко подбирали они рѣчѣ къ старымъ словамъ поэтическихъ формулъ, не ихъ творчествомъ вызванныхъ къ жизни, отъ этого такъ легко переходили они отъ одного увлеченія къ другому, не внося ни въ одно изъ нихъ ни истиннаго энтузіазма, ни глубины. Это была новая перелицовка старыхъ „петиметровъ“ и „шалуновъ“, для которыхъ настала пора впервые опомниться среди дворянскихъ затѣй, осмотрѣться и примѣниться къ новымъ условіямъ существованія. Въ Адуевыхъ нѣтъ уже жезнерадостности ихъ историческихъ прототиповъ; еще при началѣ вѣка на нихъ пахнуло холодкомъ новой жизни, при которой картины стараго приволья рисковали превратиться въ мучѣ. Но перерожденіе совершалось крайне медленно, медлениѣе, чѣмъ ползли десятилѣтія Александровской и Николаевской эпохъ. Въ крови еще не были утрачены навыки приспособляемости, издавна созидавшей ихъ благосостояніе. Приспособляемость лежитъ глубоко въ основѣ всей „Обыкновенной исторіи“. Благодаря ей ближайшіе отпрыски стариковъ Адуевыхъ не могли отдѣлаться отъ предразсудковъ породившей ихъ растительно-тепличной атмосферы и искусственнаго, чисто внѣшняго воспитанія. И труднѣе всего имъ было разстаться со старымъ, исключительно формальнымъ представленіемъ о службѣ, какъ о чемъ-то внѣшнемъ, механическомъ, устраняющемъ необходимость сознать разумныя цѣли исполняемаго труда. Гончаровъ мастерски закрѣпилъ переходный моментъ въ историческомъ развитіи всероссійской дворянской адуевщины, отмѣтилъ глубоко и многосторонне всѣ способы и выходы, при посредствѣ которыхъ дворянско-усадебный дилетантизмъ и неумѣлость вливались въ общее русло русской жизни, отыскивая пути наименьшаго сопротивленія. Въ романѣ отразились крѣпостное балованное бездѣлье, отъ котораго Адуевы отрываются, покидая отчій кровъ, и среда, въ которую они вступаютъ въ Петербургѣ, какъ близкіе и кровные ей по духу. Все это этапы одного и того же пути, все это варіаціи одной и той же темы изъ знаменательнаго и далеко еще не завершеннаго процесса превращенія крѣпостнаго дворянства въ гражданъ многомилліоннаго русскаго народа. Процессъ этотъ совершается у насъ на глазахъ. Онъ стоилъ уже многихъ жертвъ и тѣмъ, кто сознательно переживалъ его, и тѣмъ, на пле-

чахъ которыхъ онъ выносился. Его исторія складывается изъ страницъ героической борьбы во имя идеаловъ раскрытія и освобожденія. На ряду съ подвигами самопожертвованія и исключительнаго энтузіазма со стороны наиболѣ сознательныхъ элементовъ процессъ этотъ въ своемъ, если можно такъ выразиться, срединномъ теченіи несетъ среднюю, сѣрую обывательщину, медленно, но безостановочно измѣняющуюся и отражающую на своей поверхности самыя типичныя свойства переживаемой ею внутренней перемѣны. Эту „срединность“ и взялъ Гончаровъ для своихъ изображеній. Онъ озарилъ ее блескомъ своего генія, согрѣлъ непосредственной челоувѣчностью своего отношенія и тѣмъ закрѣпилъ въ общественномъ сознаніи одинъ изъ самыхъ незамѣтныхъ простому глазу, но крупныхъ моментовъ въ исторіи нашего развитія.

Успѣхъ „Обыкновенной исторіи“ содѣйствовалъ значительному углубленію и расширенію творческаго опыта Гончарова. Въ работѣ надъ „Обломовымъ“ отчетливо замѣтна большая увѣренность кисти, большая свобода и вмѣстѣ съ тѣмъ чувство мѣры въ примѣненіи тѣхъ пріемовъ, которые составляли сильную сторону его таланта. Здѣсь уже нѣтъ ни чрезмѣрныхъ длиннотъ, ни нѣкоторой расплывчатости въ описаніяхъ, ни подчеркнутаго юмора, мѣстами сбивающагося на карикатуру; съ другой стороны, изобразительныя средства разсыпаны здѣсь богаче и разнообразнѣе, рисунокъ пластичнѣе, выпуклѣе, характеры очерчены полнѣе, и все произведеніе носитъ слѣды глубокой продуманности и тщательной обработки. Къ обработкѣ „Обломова“ Гончаровъ приступилъ непосредственно за „Обыкновенной исторіей“, хотя въ душѣ его среди различныхъ творческихъ замысловъ общій планъ романа зародился гораздо раньше. Одинъ эпизодъ его, „Сонъ Обломова“, появился въ 1849 г.

Эпизодъ этотъ, встрѣченный шумнымъ успѣхомъ, какъ бы обязывалъ Гончарова нарисовать фигуру своего героя во весь ростъ, показать его не только въ состояніи неподвижности и покоя, но и въ движеніи или по крайней мѣрѣ въ стремленіи къ нему. Гончаровъ продолжалъ работать, т.-е. обдумывать, взвѣшивать, отдавать своего рода отчетъ накопленнымъ впечатлѣніямъ, когда въ 1852 году для него представился благопріятный случай исполнить завѣтную мечту дѣтскихъ лѣтъ, отправиться въ далекіе края, куда пылкая фантазія его уносилась нѣкогда при разсказахъ стараго моряка или при чтеніи путешествій. Гончаровъ получилъ предложеніе принять участіе въ экспедиціи, снаряженной русскимъ правительствомъ для заключенія торговаго трактата съ Японіей. Онъ принялъ его, и въ результатѣ двухлѣтняго плаванія по южнымъ и восточнымъ морямъ на фрегатѣ „Паллада“ явилась обширная книга его записокъ, сразу занявшая почетное мѣсто среди сочиненій этого рода.

Для лицъ, желающихъ изучить процессъ творческой работы Гончарова, это сочиненіе въ высшей степени любопытно. Оно заключаетъ въ себѣ, порознь, всѣ элементы его творчества—и отраженіе

бѣглыхъ непосредственныхъ впечатлѣній, и продуманный отчетъ о видѣнномъ, уже подвергшійся нѣкоторой художественной обработкѣ, смягчающей контуры, убирающей лишнія детали, и необыкновенное богатство красокъ, и воспоминанія, проникнутыя поразительной для Гончарова теплотой и своеобразнымъ лиризмомъ. Такой характеръ книги сложился совершенно естественно, потому что она составила изъ писемъ, которыя Гончаровъ въ разное время отправлялъ съ пути своимъ друзьямъ.

Все это дѣлаетъ книгу Гончарова чрезвычайно разнообразной и по содержанію и по тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя она производитъ въ разныхъ своихъ частяхъ. По путевымъ замѣткамъ съ необыкновенной наглядностью можно судить, какое громадное значеніе имѣла для Гончарова необходимость извѣстнаго отдаленія отъ того предмета, о которомъ онъ говорилъ. Чѣмъ ближе былъ этотъ предметъ, тѣмъ изображеніе было протокольнѣе и прозаичнѣе; таковы, напримѣръ, страницы, посвященныя имъ передачѣ происшествій, дневнику въ собственномъ смыслѣ. Стилъ Гончарова здѣсь опредѣлителенъ, мѣтокъ, сухъ, и только капризность въ выборѣ деталей отличаетъ его отъ простаго журнала путешествій. Совсѣмъ иначе слагается его повѣствованіе, когда онъ охватываетъ сравнительно большой по времени кругозоръ происшествій и предметовъ. Здѣсь создаются у него художественныя этюды, изъ которыхъ иные стоятъ любой картины. Когда же старые, увезенные съ родины впечатлѣнія и образы съ особенной силой пробуждались на чужбинѣ, изъ-подъ пера его выходили страницы живыхъ и яркихъ воспоминаній того же содержанія и чувства, какъ лучшія мѣста въ „Обломовѣ“. Эти полеты творческой фантазіи въ милую, родную Обломовку сосредоточиваютъ въ себѣ весь блескъ и все богатство гончаровскаго таланта. Автобіографическій характеръ ихъ вѣтъ всякаго сомнѣнія. Художественная обработка лишила ихъ непосредственности, введя элементъ преднамѣреннаго обобщенія нѣкоторыхъ чертъ, придавъ имъ характеръ той осмысленности, которая въ „Обломовѣ“ явилась однимъ изъ крупныхъ данныхъ общественной цѣнности романа. Таково, напримѣръ, воспоминаніе объ Обломовкѣ съ центральной фигурой соннаго, но практическаго помѣщика, являющагося какъ бы своего рода эскизомъ къ слѣдующему своему роману, надъ которымъ Гончаровъ уже въ это время работалъ.

VI.

Въ этомъ эскизѣ отмѣчено одно обстоятельство, которое полезно принять въ соображеніе. Сонный, но расчетливый помѣщикъ является едва ли не прототипомъ отца Ильи Ильича. Онъ (какъ, между прочимъ, и отецъ Гончарова) ведетъ торговлю хлѣбомъ, что и служитъ источникомъ его благосостоянія. Въ характерѣ чувствуется купеческая складка, но она не типична для всего уклада жизни. Это дворяне, владѣвшіе небольшимъ числомъ крѣпостныхъ душъ и не

постыдившіеся заняться торговымъ дѣломъ. Въ романѣ черты этого смѣшаннаго уклада затушеваны, обстановка приспособлена къ помѣщичьимъ вкусамъ. Практическія заботы устранены, на первомъ планѣ картина полнаго матеріальнаго благополучія, не перешедшаго въ богатство, не развившаго ни утонченныхъ потребностей, ни пресыщенія и барской спеси.

Вся обстановка, въ которой живетъ Обломовъ, показываетъ, какъ естественно и какъ неизбежно при извѣстныхъ историческихъ условіяхъ вырабатывался классъ людей, у которыхъ сознание шло глубоко въ разрѣзъ съ импульсами волевого начала, остававшагося еще въ зачаточномъ состояніи. Развившаяся мысль выдвигала цѣлныя въ общественномъ смыслѣ идеалы, указывала пути для возможнаго ихъ воплощенія въ дѣйствительности и ужасалась тѣми общественными бѣдствіями, которыми полна повседневная жизнь. Это проснувшееся и углубленное сознание для людей инертной воли служило, въ минуты своего крайняго напряженія, источникомъ чисто гамлетовскихъ терзаній. Оно звало на борьбу, на подвигъ, порождало энтузіазмъ и было прекрасно своей неподдѣльной искренностью и безкорыстіемъ побужденій. Но это были лишь вспышки, которыя случайно возникали и гасли, не давая возможности озарить ими живую дѣйствительность. И ни разу въ жизни молніей не вспыхнула надъ сонной волей этихъ людей жгучая радость личнаго подвига во имя прекраснаго, добраго, чѣмъ была бы принесена искупительная жертва за десятки лѣтъ бесполезнаго существованія, за чужой счетъ, и за цѣлыя поколѣнія отцовъ и дѣдовъ, не знавшихъ даже этой боли сознанія при такихъ условіяхъ бездѣятельности и покоя!

Въ этомъ отношеніи между Адуевыми и Обломовыми лежитъ непроходимая бездна. Адуевымъ совершенно чужда трагедія сознанія, которая мѣшаетъ пользоваться жизнью и отравляетъ лучшія минуты душевнаго равновѣсія, гармоніи физическихъ и духовныхъ силъ. Въ то время, какъ всѣ помыслы и идеалы Адуевыхъ исходили исключительно изъ чувства самосохраненія, изъ инстинктовъ приспособляемости, Обломовъ представляется какъ бы совершенно лишеннымъ этихъ инстинктовъ. Его дѣтскую безпомощность, его апатію, его болѣзненную раздражительность, не находившую себѣ иного выхода внѣ сферы мелочей домашняго обихода, нельзя объяснять только одной лѣнью, одной неспособностью подняться и начать дѣйствовать. Любовь могла же заставить Обломова разстаться съ диваномъ и переродиться внѣшнимъ образомъ. Но сбросить халатъ, чтобы надѣть сюртукъ и перчатки и пойти на свиданіе съ любимой женщиной—не одно и то же, что ориентироваться въ новомъ положеніи, найти свое мѣсто среди новыхъ условій жизни. Этого не понимаетъ Штольцъ, всячески старающійся измѣнить положеніе своего друга, но Обломовъ ни на минуту не забываетъ, что онъ не приготовленъ не только для даннаго момента дѣйствія, но и для слѣдующаго. Ему ясно, что для того, чтобы прожить остальные годы своей жизни въ

условіяхъ личнаго труда, безъ мукъ отравленнаго сознанія, недостаточно уложить чемоданъ и совершить путешествіе за границу, мало даже брака съ Ольгой, который принесетъ ему только комфортъ, хотя неизвѣстно еще, замѣнитъ ли ему этотъ комфортъ всѣ прелести домашней тишины. Вѣдь онъ знаетъ, что онъ неспособенъ къ труду, что бракъ съ Ольгой причинитъ ему только двойныя муки, сдѣлавъ его вдвойнѣ отвѣтственнымъ за сытую и беззаботную жизнь за счетъ тѣхъ крестьянъ, которые въ далекой глуши работаютъ на него, предоставляя ему возможность не присоединять къ терзаніямъ проснувшейся совѣсти страданія голоднаго существованія. И честно, въ узкомъ смыслѣ, и правильно рѣшаетъ Обломовъ коренной вопросъ своей жизни, уйдя отъ Ольги и во-время предоставивъ ей основать свое благополучіе въ замужествѣ со Штольцемъ. Путемъ какихъ размышленій пришелъ Обломовъ къ этому выводу, мы не знаемъ. Гончаровъ сосредоточиваетъ преимущественное вниманіе на виѣснѣхъ фактахъ жизни своего героя. Участвовала ли здѣсь острая мучительная работа мысли, или вѣрный инстинктъ чистаго сердца подсказалъ ему этотъ выходъ, несомнѣнно одно—это было единственное, что могъ и долженъ былъ сдѣлать Обломовъ. Теплый уголь въ гостепріимномъ домику Пшенициной явился для него возвращеніемъ въ тѣ же, по существу, обломовскія условія быта, гдѣ Илья Ильичъ оставался одинъ, гдѣ ему не приходилось брать на себя никакой отвѣтственности за другое существо, тронутое, какъ и онъ, тревогой общественной мысли.

VII.

Введеніе въ литературу обломовскаго типа имѣло громадное значеніе. Оно обозначило другое коренное явленіе, задерживавшее нормальный ходъ развитія русской жизни. Получилась готовая формула для огромной группы людей, сознававшихъ потребность живого, не рутиннаго дѣла, но еще неспособныхъ ни къ какой работѣ, хотя бы эта работа состояла въ подготовительной расчисткѣ путей для того порядка вещей, который предоставлялъ бы возможность каждому принять участіе въ ходѣ общественныхъ событій. Для такой работы требовались люди иного закала, способные быть одинокими борцами среди душной атмосферы аферистовъ и хищниковъ, среди которыхъ даже Адуевъ-дядя и Штольцъ были положительно свѣтлыми явленіями. Вѣдь стоитъ въ самомъ дѣлѣ обратить вниманіе, на какомъ темномъ и сѣромъ фонѣ нарисовалъ Гончаровъ своего Обломова. Посмотрите его знакомыхъ: это или карьеристы разнообразныхъ оттѣнковъ, или мелкіе дѣльцы. И среди нихъ ни одного отраднаго явленія, ни одного намека на положительный типъ. Погоня за карьерой, устройство крупныхъ и мелкихъ дѣлишекъ, исключительная забота о личномъ благосостояніи—вотъ среда, гдѣ не задыхается только Штольцъ, по части приспособляемости не уступавшій Петру Ивановичу Адуеву. Оба они прекрасно устроились въ

современной дѣйствительности, и протестовать противъ нея, стараться измѣнить ее въ цѣляхъ общаго блага, съ ихъ точки зрѣнія было бы бесполезно и даже невыгодно. Оба они не фанатики-консерваторы, для которыхъ слѣпое поклоненіе „исконнымъ началамъ“ стараго уклада является своего рода религіей домашняго очага. Они консерваторы свѣжей выработки, готовые принять все новое, что не нарушаетъ ихъ интересовъ и содѣйствуетъ ихъ комфорту. Къ общему благу они равнодушны, но зато—какъ они ополчатся на всякаго, кто посмѣетъ предложить иную организацію общественныхъ правъ и обязанностей, при которой исчезнетъ вся масса выпавшихъ на ихъ долю привилегій при старомъ строѣ! Адуевъ въ молодости отдалъ дань сентиментальному романтизму, наивной мечтательности, съ желтыми цвѣтами и стихами, затѣмъ разстался съ нимъ, какъ съ ненужнымъ хламомъ, навсегда, обзаведясь, подъ шумокъ бюрократической карьеры, заводомъ. Штольцъ пошелъ прямою дорогою къ богатству и только тогда, когда прочно основалъ свое матеріальное благополучіе, перешелъ съ дѣловитой постепенностью къ устроению семейнаго очага, къ роскоши литературныхъ и иныхъ эстетическихъ досуговъ. Оба—великіе практики жизни: одинъ прирожденный, другой сдѣлавшійся такимъ, оба вышли изъ нѣдръ коренной Россіи, оба выросли на почвѣ, посылавшей обильные соки ихъ крѣпкимъ и цѣпкимъ корнямъ.

Появленіе „Обломова“ въ печати въ 1859 г. совпало со временемъ особенно напряженной работы, закипѣвшей въ передовыхъ кругахъ русскаго общества. Это были канунные годы освобожденія крестьянъ. Пока создавался „Обломовъ“, русское общество, несмотря на всѣ цензурные запреты, восприняло и осознало громадный внутренний смыслъ совершавшейся на его глазахъ дѣятельности Бѣлинскаго, Герцена, Чернышевскаго, Добролюбова, а крымская война обнаружила передъ нимъ печальные итоги борьбы николаевского режима съ независимой общественной мыслью. Потребность въ общественной самодѣятельности сказалась впервые съ необыкновенной очевидностью, и лозунгомъ призыва къ живому дѣлу явилась горячая самоотверженная работа во имя безотвѣтственной, темной и безправной народной массы. Въ центрѣ всеобщаго признанія и симпатій стали люди, объявившіе непримиримую войну тому косному порядку вещей, при которомъ удобства привилегированныхъ классовъ покупались цѣной рабскаго труда крестьянъ. Литература помогла установить основные принципы новой общественной идеологіи, на которыхъ стало основываться міросозерцаніе передовой интеллигенціи. Сознательная жизнь предъявила къ личности строгія требованія, основанныя на принципахъ служенія, въ цѣляхъ прогресса, обществу и народу. Обломовъ, при такихъ условіяхъ, могъ явиться только лишь контрастомъ тѣмъ людямъ, которые выступили въ первыхъ рядахъ идейныхъ и практическихъ дѣятелей народо-освободительной эпохи. Лично онъ привлекалъ къ себѣ вниманіе и симпатіи, онъ чаровалъ прелестью своего изображенія, но никуда не велъ, никуда

не звалъ и только показывалъ на себѣ, какое множество русскихъ силъ гибнетъ безплодно, не умѣя приложить ни своихъ рукъ, ни своихъ честныхъ порывовъ къ общему дѣлу. И потому романъ встрѣтилъ на первыхъ порахъ сравнительно холодный пріемъ, огорчившій автора тѣмъ сильнѣе, что одновременно съ нимъ появилось „Дворянское гнѣздо“ Тургенева, тончайшими нитями связанное съ живой современностью и встрѣченное критикой и читателями съ небывалымъ энтузіазмомъ. Современники называли успѣхъ „Обломова“ спорнымъ, и неизвѣстно, сколько времени романъ оставался бы еще въ тѣни, если бы не появилась статья Добролюбова „Что такое обломовщина?“, которая раскрыла громадное значеніе новаго произведенія Гончарова. Добролюбовъ усмотрѣлъ въ Обломовѣ воплощеніе коренной черты, общей всѣмъ русскимъ людямъ, относящимся къ дѣлу своей жизни безъ увлеченія, безъ личной инициативы, безъ сознанія внутренней отвѣтственности за общественную цѣнность создаваемой ими работы. Добролюбовская статья какъ бы продолжала гоголевскій стонъ о томъ, что на Руси „поль-милліона сидней, увальней и болвановъ дремлютъ непробудно“. Она разъясняла тщету тѣхъ „высокихъ помысловъ“ о благѣ человѣчества, которые никогда не переходятъ въ дѣло. Приведя изъ романа характеристику того состоянія души Ильи Ильича, при которомъ у него рождались „высокіе помыслы“, Добролюбовъ писалъ: „Не правда ли, образованный и благородно-мыслящій читатель,—вѣдь тутъ вѣрное изображеніе вашихъ благихъ стремленій и вашей полезной дѣятельности? Разница можетъ быть только въ томъ, до какого момента вы доходите въ вашемъ развитіи. Илья Ильичъ доходилъ до того, что привставалъ съ постели, протягивалъ руку и озирался вокругъ. Иные такъ далеко не заходятъ; у нихъ только мысли гуляютъ въ головѣ, какъ волны въ морѣ (такихъ большая часть); у другихъ мысли вырастаютъ въ намѣренія, но не доходятъ до степени стремленій (такихъ меньше); у третьихъ даже стремленія являются (этихъ ужъ совсѣмъ мало)...“. Статья Добролюбова оказала свое дѣйствіе, и „Обломовъ“ занялъ подобающее положеніе среди крупнѣйшихъ явленій въ идейной беллетристикѣ своего времени.

Когда наступили шестидесятые годы, Гончаровъ служилъ по цензурному вѣдомству, редактировалъ официальную „Сѣверную Почту“ и усердно работалъ надъ обширнѣйшимъ изъ своихъ романовъ—„Обрывомъ“. По поводу этого романа Гончарову чаще прежняго приходилось слышать упреки, что онъ сторонился отъ живой современности, не отдавался вопросамъ дня съ тою, напимѣръ, чуткостью, какая была присуща Тургеневу. Но отраженіе современности, даже глубоко знаменательной, кипѣвшей бореньемъ самыхъ разнообразныхъ элементовъ, вовсе не лежало въ натурѣ Гончарова. Онъ ясно сознавалъ это и неоднократно высказывалъ въ тѣхъ случаяхъ, когда ему приходилось отстаивать тотъ или другой взглядъ на истинное пониманіе своихъ произведеній. Поставлен-

ный силою служебныхъ обстоятельствъ въ одно изъ наиболѣе консервативныхъ теченій русской жизни, Гончаровъ смотрѣлъ на нее официальными глазами того класса, для котораго порядокъ, регулируемый стройнымъ, по видимости, ходомъ государственной машины, являлся мѣриломъ благонамѣреннаго міросозерцанія и общественныхъ убѣжденій. Среди новыхъ въ то время вѣяній и теорій общественнаго блага, неожиданно хлынувшихъ на русскую почву и взволновавшихъ застой общественной мысли, Гончаровъ ориентировался весьма слабо, хотя необходимость искоренять „вредныя“ идеи изъ представлявшихся въ цензурный комитетъ книгъ и статей давала, казалось, значительный поводъ для ознакомленія съ ними. Даже новѣйшіе взгляды на искусство, съ его столь типичнымъ отрицаніемъ или подчиненіемъ господствовавшей въ то время идеѣ служенія народу, не остановили на себѣ его вниманія, какъ художника, и онъ остался вѣренъ эстетической школѣ Бѣлинскаго.

Но у таланта своя логика и своя философія. Та правда искусства, которая заставляетъ художника слѣдовать инстинктамъ наиболѣе цѣлостнаго выраженія чувствъ и настроеній общественной среды, вела Гончарова-художника гораздо дальше его трезвыхъ и чопорныхъ взглядовъ на идеалы личнаго и общественнаго блага. И тамъ, гдѣ онъ шелъ за этой правдой, создавались безсмертные и живые образы, не мирившіеся съ его отвлеченными проповѣдями, которыя онъ вкладывалъ въ уста своихъ героевъ, не замѣчая противорѣчій. Разладъ между художникомъ и моралистомъ особенно замѣтенъ на характеристикѣ двухъ типовъ „Обрыва“—Райскаго и Марка Волохова.

VIII.

Планъ „Обрыва“ зародился у Гончарова еще въ 1849 г., когда онъ, послѣ долгаго отсутствія, побывалъ на родинѣ. Старыя воспоминанія ранней молодости, новыя встрѣчи, картины береговъ Волги, сцены и нравы провинціальной жизни—все это расшевелило его фантазію. Первоначально онъ имѣлъ въ виду ограничиться однимъ изображеніемъ типа Райскаго, художественной натуры, неустойчивой, мечущейся, нервной. Онъ находилъ прототипы своего героя въ современномъ обществѣ, называлъ ихъ даже по именамъ. Одинъ изъ нихъ, человѣкъ несомнѣнно даровитый, всецѣло посвятилъ себя, казалось, музыкѣ, былъ другомъ артистовъ, меценатомъ, всю жизнь собирался сочинять оперы, а въ результатѣ написалъ всего лишь одинъ романсъ. Другой, серьезно образованный, все читавшій и тоже талантливый литераторъ, написалъ маленькую книжечку фантастическихъ повѣстей. Третій,—„тонко понималъ и любилъ искусство, всю жизнь собиралъ матеріалы, чтобы составить артистическій и критическій указатель итальянскаго искусства, и умеръ, оставивъ десятокъ разбросанныхъ по журналамъ умныхъ и тонкихъ рецензій“. Гончарову представлялось, что этотъ дилетантизмъ въ искусствѣ

происходилъ оттого, что искусство входило въ жизнь этихъ людей, какъ легкая забава отъ нечего дѣлать, остальное же время тратилось на другія „развлеченія и увлеченія“.

Дилетантизмъ въ искусствѣ—такова была первоначальная тема романа. Своему герою авторъ не придавалъ вначалѣ того значенія дѣятеля пробужденія, какое онъ придалъ ему впоследствии, въ связи съ медленнымъ ходомъ обработки романа.

Отношеніе Гончарова къ первоначальному замыслу постепенно измѣнилось къ шестидесятымъ годамъ. Къ этому времени, съ одной стороны, его житейскій творческій опытъ значительно обогатился новыми наблюденіями, а съ другой—у него пробилось наружу незамѣтное вначалѣ желаніе дать своему міросозерцанію болѣе или менѣе законченное выраженіе. Эскизъ дилетанта-неудачника „наслоился“ цѣлымъ рядомъ штриховъ самаго разнообразнаго характера и разросся въ одну изъ тѣхъ фигуръ, которыя типическимъ образомъ должны были воплотить въ себѣ, по мысли Гончарова, просыпающіяся, но еще не вполне проснувшіяся силы молодой Россіи. Въ Райскомъ по преимуществу воплотилъ Гончаровъ свои общія ввозрѣнія на жизнь, изъ которой онъ почерпалъ свои впечатлѣнія и для которой онъ осмысливалъ свои образы.

Выражая отъ лица Райскаго свои излюбленные взгляды, Гончаровъ нерѣдко выходилъ за предѣлы органически-построеннаго типа, соотвѣтствовавшаго коренному замыслу. Въ такихъ случаяхъ онъ влагалъ въ уста и въ мысли Райскаго пространныя рѣчи. И по мѣрѣ того, какъ развивались эти рѣчи, міровоззрѣніе писателя, стоявшаго за спиной своего героя, раскрывалось все полнѣе и шире,—становилось очевиднымъ, что отраженіе своего „я“ захватывало автора глубже, чѣмъ забота о цѣльности самаго образа. Въ эти изліянія вкрадывались многочисленные анахронизмы по отношенію къ Райскому, какъ къ человѣку опредѣленнаго возраста и положенія. Райскій казался тогда гораздо старше своихъ лѣтъ, серьезнѣе и трезвѣе, что не только противорѣчило общему представленію о его типѣ, но обнаруживало въ авторѣ наклонность къ отвлеченной морали.

Общіе взгляды Гончарова на жизнь любопытны столько же для психологіи его творчества, сколько и въ смыслѣ отраженія идеологіи средняго культурнаго типа эпохи, уже отодвинувшейся отъ насъ въ исторію. Жизнь казалась Гончарову неуловимою для сколько-нибудь точнаго опредѣленія. По выраженію Райскаго, она „эластична“: „подводили ее подъ фатумъ, потомъ подъ разумъ, подъ случай—подходитъ ко всему“... „Во что хочешь, вѣруй: въ божество, въ математику или въ философію—жизнь поддается всему“. Поддаваясь въ своихъ ви́шнихъ формахъ всякому пониманію, она въ то же время оставалась въ глубокихъ таинствахъ своихъ необъяснимой и загадочной.

При такомъ взглядѣ на жизнь неизбежно долженъ былъ слѣ-

довать выводъ, что всякаго рода теоретическія умозрѣнія, „умствованія“, были совершенно бесполезны по отношенію къ ней. Если усвоить простое и разумное отношеніе къ жизни и брать ее такою, какова она есть, она покажется менѣе сложной и болѣе разумной. Въ требованіи непосредственнаго отношенія къ ней трогательно сходилъ съ Райскимъ никто иной, какъ Маркъ Волоховъ, хотя къ практическому примѣненію этого взгляда оба они приходили путями, діаметрально противоположными. Въ разгарѣ проповѣди объ удовлетвореніи эгоистическихъ запросовъ своей личности Волоховъ приводилъ Вѣрѣ въ примѣръ стадо голубей, совѣтуя ей учиться у нихъ, потому что „они не умничаютъ“. Вѣра въ отвѣтъ указывала на гнѣзда, вокругъ которыхъ сустились голуби, и Маркъ въ смущеніи замолкалъ. Если уже влюбленный Маркъ смиряется у Гончарова передъ логикой этого отвѣта, то Райскій, конечно, не задумается бросить къ „подножію страсти“ ту область высшихъ стремленій, ради которыхъ онъ готовъ былъ бы пожертвовать многимъ, въ минуту юношескаго порыва. И Гончаровъ влагаетъ въ уста этому легкомысленному художнику-дилетанту, менѣе всего думавшему о серьезныхъ общественныхъ и нравственныхъ вопросахъ, такія размышленія, какія были умѣстны въ его личномъ положеніи и возрастѣ и совѣмъ не шли къ его герою. „Что искусство, что самая слава передъ этими страстными бурями!“—не безъ комическаго трагизма восклицалъ Райскій, охваченный страстью къ Вѣрѣ. „Страстные бури“ въ эти минуты, естественно, были для него выше искусства и славы и, разумѣется, не шли въ сравненіе съ тѣми политическими и соціальными волненіями, гдѣ „бродятъ однѣ идеи, за которыми жадно гонится молодая толпа, укладывая туда силы“... Райскому казалось, что въ политическую борьбу молодежь не вкладывала ни огня, ни трепета нервовъ, увлекаясь въ ней „игрою однѣхъ головныхъ страстей и холодныхъ самолюбіи“... Въ слѣпомъ раздраженіи противъ болѣе счастливаго соперника, Райскій обрушивался уже не на одного Марка Волохова, а на всѣхъ единомышленниковъ его, получившихъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ типичное названіе „нигилистовъ“.

Но если оставить въ сторонѣ расходившееся самолюбіе влюбленного и потерпѣвшаго неудачу соперника, то нельзя не замѣтить, что въ сущности Райскій далеко не противникъ Марка по общему складу своихъ убѣжденій. Въ его неустойчивомъ міровоззрѣніи не было и тѣни фанатизма или тупой ненависти къ „новому ученію“. Райскій просто не отдавалъ себѣ отчета въ его истинныхъ стремленіяхъ и цѣляхъ. Поскольку идейныя стремленія окружавшей его среды были ему ясны, онъ примыкалъ въ нихъ къ представителямъ умѣреннаго либерализма. Въ этомъ смыслѣ Гончаровъ особенно подробно изобразилъ кругъ его идей. Сообразно этой характеристикѣ Райскій не только вѣрилъ въ прогрессъ и привѣтствовалъ каждый его шагъ, но даже досадовалъ на чересчуръ медленное его движеніе. Не со-

чувствуя, съ одной стороны, участію молодежи въ политическихъ и соціальныхъ событіяхъ, Райскій въ то же время легко отказывался отъ своихъ взглядовъ, увлекаясь едва занимавшей зарей „quasi-новыхъ идей, остроумныхъ гипотезъ“, и, такимъ образомъ, какъ бы подходилъ къ новому поколѣнію. Подходилъ, но не подошелъ... здѣсь-то и начиналось недоразумѣніе у Гончарова съ Райскимъ. Весь внутренній смыслъ образа Райскаго опредѣлялся тѣмъ, что Райскій не имѣлъ прочныхъ убѣжденій, что въ этой области онъ такой же дилетантъ, какъ и въ искусствѣ. Гончаровъ нигдѣ не обнаружилъ дѣйствительнаго увлеченія его „новыми идеями“, а только такое изображеніе могло бы поставить Райскаго въ совершенно опредѣленныя грани, типичныя для новыхъ людей шестидесятыхъ годовъ. Авторъ слишкомъ замѣтно уложилъ своего героя въ колею постепенщины и тѣмъ далеко отодвинулъ отъ молодого поколѣнія его эпохи. Райскій, оказывается, широко привѣтствовалъ лишь тѣ формы прогресса, которыя видоизмѣняли, но не „ломали“ исторически сложившагося уклада. Этотъ легкомысленный, впечатлительный и сравнительно молодой еще человѣкъ, со складкой художественности въ натурѣ, былъ очень остороженъ и благоразуменъ не по лѣтамъ. Если вѣрить Гончарову, Райскій не провожалъ безплодной, неблагодарной враждой отходившаго крѣпостного права только потому, что вѣрилъ въ его историческую необходимость и преемственную связь съ „новой весенней зеленою“. Однако, далѣе, въ четвертой части романа, тотъ же Райскій идетъ къ бабушкѣ съ опредѣленно намѣченной цѣлью „ломать старый вѣкъ“. И это было въ духѣ Райскаго. Онъ-то именно и былъ способенъ на ломку стараго вѣка только въ комнатахъ бабушки да въ разговорахъ съ Марѣинькой. Но такъ какъ ни бабушка, ни Марѣинька, подобно Бѣловодовой, отъ этого „ломанья стараго вѣка“ не пробудились, то и обязанность одного изъ представителей пробужденія, которую хотѣлъ возложить Гончаровъ на своего героя, оказалась для него непосильнымъ бременемъ. И Райскій вполнѣ вѣренъ себѣ, когда сбрасываетъ это бремя, пользуясь всякимъ случаемъ и не взирая ни на какія авторскія увѣщеванія и поощренія.

IX.

Непоследовательность и противорѣчія въ обрисовкѣ типа Райскаго явились результатомъ того „безпорядка“ въ романѣ, который внесъ своимъ появленіемъ Маркъ Волоховъ. Это былъ дѣйствительный, а не мнимый герой пробужденія, весьма несимпатичный Гончарову, который въ лицѣ Райскаго и попытался создать противовѣсъ этому „вспрыскивателю мозговъ“. Повидимому, Гончаровъ ввелъ въ романъ Марка уже тогда, когда въ первомъ наброскѣ былъ разработанъ уже естественный и правдивый образъ талантливаго недоучки, натуры артистически-настроенной, безпорядочной, себялюбивой, но съ чистымъ и честнымъ сердцемъ. Сопоставляя съ нимъ Марка Во-

лохова, уже при позднѣйшей передѣлкѣ романа Гончаровъ придавъ Райскому черты убѣжденнаго либеральнаго постепеновца, упустивъ изъ виду, что онъ же характеризовалъ послѣдняго равнодушнымъ ко всему на свѣтѣ, кромѣ красоты. Райскій былъ призванъ, такимъ образомъ, служить выраженію взглядовъ самого автора и высказывать положенія, которыя были явно направлены противъ „новой правды“, столь дерзостно заявленной устами Марка Волохова.

Медленность въ писаніи романовъ, типичная для Гончарова, имѣла тотъ недостатокъ, что не давала возможности болѣе точно отнести ихъ къ опредѣленной эпохѣ. Но если Райскій своимъ исключительнымъ культомъ красоты и старообразнымъ міросозерцаніемъ былъ положительнымъ анахронизмомъ для конца пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ, то Маркъ Волоховъ никакъ не могъ явиться раньше. Это обстоятельство даетъ еще одно доказательство въ пользу того предположенія, что онъ былъ введенъ въ романъ сравнительно въ позднее время. Въ „Обрывѣ“ можно сдѣлать еще одно любопытное наблюденіе изъ области внутреннихъ противорѣчій и недоразумѣній: самый коренной, самый трудный и большой вопросъ—крѣпостное право—настолько мало даетъ себя чувствовать въ этомъ „общественномъ“ романѣ, что возникаетъ серьезное недоумѣніе: какое десятилѣтіе изображается въ „Обрывѣ“—до или послѣ реформы? Вся обстановка, въ которой происходитъ дѣятельность Татьяны Марковны, говоритъ за то, что она еще надѣлена властью крѣпостной помѣщицы, которая имѣетъ право ссылатъ провинившихся дворовыхъ въ дальнія деревни. Марина, по опредѣленію Гончарова, пользуется въ усадьбѣ положеніемъ крѣпостной дворовой дѣвки. Вѣра, которая „рабовъ любитъ“, проситъ бабушку „отпустить мужичковъ на волю“. Яркимъ контрастомъ съ этими обмолвками о крѣпостномъ состояніи Россіи является проповѣдь въ устахъ Марка Волохова новой свободы, съ характеризовавшимъ эту проповѣдь отрицаніемъ „небесныхъ и земныхъ авторитетовъ“. Это уже разгаръ шестидесятихъ годовъ. Маркъ все время твердитъ Вѣрѣ о томъ, что „теперь потекла другая жизнь, гдѣ не авторитеты, не заученныя понятія, а правда пробивается наружу“, и самъ Райскій замѣчаетъ въ Вѣрѣ признаки духа свободы, мельканіе здравыхъ идей, знаменующихъ сознаніе своихъ общественныхъ правъ. Однако, до какой степени личность, въ особенности женщина, можетъ считать себя свободной, Райскій рѣшить не могъ. Увлечшись въ началѣ романа, въ разговорѣ съ Бѣловодовой, своей импровизаціей на тему о печальномъ положеніи крестьянъ, онъ дѣлаетъ характерную оговорку, что слова его—отнюдь не „проповѣдь коммунизма“. Свидѣтельства эти слишкомъ ярки. Дѣйствительная „эпоха пробужденія“ русской жизни вливалась, помимо воли автора, въ старые образы, питавшіе творчество его воспоминаній, и, отлагаясь на нихъ, вносила нѣкоторую двойственность и въ содержаніе и въ общій тонъ романа. Маркъ Волоховъ—фигура въ высокой степени

типическая. Своимъ необычнымъ образомъ мыслей, своимъ поведениемъ, даже своимъ внѣшнимъ видомъ онъ оскорблялъ нравственное чувство Гончарова, являясь нарушеніемъ извѣстнаго внѣшняго порядка жизни. Гончаровъ соглашался на постепенное измѣненіе этого порядка къ лучшему, Маркъ требовалъ этого измѣненія сразу, а при невозможности коренныхъ реформъ общественнаго устройства онъ отрицалъ старый порядокъ вовсе, внося въ окружающую среду идеи разложенія, возбуждая чувство протеста. Дѣятельность Марковъ Волоховыхъ Гончаровъ свелъ, главнымъ образомъ, къ проповѣди свободной любви. Гончаровъ не заглянулъ глубже въ источникъ протеста, бывшаго душой отрицанія дѣйствительности. Но если бы даже и вникъ онъ болѣе глубоко въ ученіе Марка Волохова, ни примиренія, ни смягченія его отношенія къ послѣднему быть бы не могло. Напротивъ, онъ разошелся бы съ Маркомъ еще больше, потому что Маркъ покушался на самое дорогое, на самое заветное для Гончарова—на его отношеніе къ искусству. При всемъ своемъ сочувствіи къ прогрессу Гончаровъ ставилъ искусство выше жизни, и это признаніе было коренной, органической чертой его міровоззрѣнія. Внѣшній порядокъ жизни, дававшій просторъ творческой фантазіи, во имя послѣдовательнаго, постепеннаго улучшенія и смягченія ея золь, представлялся Гончарову единственно возможной почвой для осуществленія заложенныхъ въ душу художника идеаловъ красоты; поэтому всякая насильственная ломка этого порядка казалась ему безобразіемъ и была ненавистна. Маркъ стоялъ на діаметрально-противоположной точкѣ зрѣнія, и она опредѣляла собой весь складъ его личности и принципы его общественныхъ побужденій. Ему и его, по выраженію Райскаго, „партіи дѣйствія“ представлялся вопіющимъ зломъ тотъ укладъ жизни, который какъ бы узаконялъ своимъ спокойствіемъ и наружной гармоніей тиранію и неравенство въ распредѣленіи благъ между людьми. По его мнѣнію, искусство должно не парить надъ жизнью, но служить ей, тревожа, будя, призывая къ борьбѣ за идеалы все-человѣческаго счастья.

Х.

Отразилось въ романѣ и дѣйствіе, произведенное Маркомъ Волоховымъ на мирный кругъ обитателей Малиновки. Если люди стараго поколѣнія и Марѣинька остались внѣ его сферы и дѣйствія, то Вѣра, при всемъ стремленіи Гончарова вернуть ее на путь бабушкиной морали, не вернется на этотъ путь никогда. Въ ней потрясены всѣ основы ея нравственнаго облика, подвергнуты сомнѣнію всѣ начала ея существованія. Правда, Маркъ не показалъ ей, гдѣ тотъ свѣтъ, на который она должна идти въ своей жизни. Но и оставшись на перекресткѣ двухъ путей, она не поколеблется въ томъ убѣжденіи, что сама она душой принадлежитъ другому, еще невѣдомому ей, новому міру. Она остается потрясенная предъ великой задачей са-

мой за себя рѣшить, чѣмъ озарить и осмыслить свою трудную жизнь. И Райскій, при всемъ своемъ легкомысліи, когда уляжется въ немъ горечь оскорбленнаго самолюбія, извлечетъ изъ встрѣчи съ Маркомъ суровый и полезный урокъ. Онъ скажетъ себѣ, что при всей эластичности жизни, въ ней есть какіе-то внутренніе законы, которые дѣлаютъ недостаточнымъ исканія въ ней одной лишь красоты, не координированной съ другими началами чувства и разума, образующими объективную цѣнность личности. Онъ скажетъ себѣ, что личность эта должна найти выходъ своимъ способностямъ и стремленіямъ въ дѣйствительной работѣ, которая принесла бы видимые результаты, онъ скажетъ, что для такой личности недостаточно только накапливать впечатлѣнія, вторгаясь при этомъ въ чужую жизнь, не участвуя въ общемъ трудѣ и въ общей борьбѣ за выработку новыхъ жизненныхъ условий.

При всѣхъ противорѣчіяхъ въ обрисовкѣ характеровъ и постановки общихъ идей романа, послѣдній имѣетъ крупное общественное значеніе. Кромѣ Райскаго, Волохова и Вѣры, въ романѣ сохранилась, въ образахъ, исполненныхъ удивительнаго мастерства кисти, та историческая среда, которой пришлось встрѣтить первые проблески пробужденія. Здѣсь нашли себѣ выраженіе и послѣднія стадіи дореформеннаго быта, и психологія и практическая мудрость людей, среди которыхъ пришлось жить и дѣйствовать истиннымъ героямъ живого общественного дѣла, созданнаго реформой.

Среди другихъ лицъ Гончаровъ сдѣлалъ попытку нарисовать въ лицѣ Тушина положительный типъ представителя того дѣла, которое казалось ему не рутиннымъ, въ извѣстной сферѣ, живымъ. Но это живое дѣло было цѣликомъ направлено къ собственному благополучію Тушина, хотя Гончаровъ и характеризуетъ его, какъ одну изъ тѣхъ личностей, которыя бываютъ невидимыми вождями, „регуляторами“ дѣятельности цѣлаго круга, въ который поставитъ ихъ судьба. Настоящимъ общественнымъ дѣломъ, которое захватывало всѣ умы и всѣ сердца преданныхъ ему людей, была работа по проведенію въ жизнь крестьянской реформы, въ заботахъ о просвѣщеніи и благосостояніи народа. Гончаровъ не могъ наблюдать непосредственно за тѣмъ, какъ совершалась эта работа, и типъ помѣщика Тушина былъ еще дальше отъ истинныхъ героев просвѣщенія, чѣмъ типъ Райскаго, въ импровизаціяхъ котораго мелькали, по крайней мѣрѣ, „новыя слова“. Самое большое, что можно прозрѣвать въ образѣ Тушина,—это типъ нарождавшагося дѣльца-помѣщика въ новомъ родѣ, крѣпкаго своей связью съ землей, сумѣвшаго не разориться при лишеніи крѣпостныхъ. Тушинъ—это русскій Штольцъ, только безъ его выдержки и со всѣми задатками широкой русской натуры, пока развлекающей только себя, но уже способной на работу во имя не только своего, но и общаго блага.

Адуевы, Обломовъ, Райскій, Штольцъ, Тушинъ, Вѣра—всѣ они въ разной степени уже тронуты новыми вѣяніями, но сами остались

еще на старой полость. Ихъ выпуклое, типическое изображеніе является крупной историчекой заслугой Гончарова. Захвативъ своими романами огромный кругъ явленій, онъ показалъ, какъ примѣнялись къ новымъ условіямъ одни изъ людей старой Россіи или мельчали, какъ погибали другіе, не умѣвшіе примѣняться, какъ носились по свѣту безъ всякаго дѣла третьи, ближе остальныхъ придвинувшіеся къ самому краю новой жизни. Старая помѣщичья-дворянская Россія или доживала свой вѣкъ въ тревогѣ, какъ бабушка Райскаго, не покорявшаяся требованіямъ новаго уклада, или теряла свои архаическія сословныя черты, вступая въ ряды безсословной интеллигенціи, какъ Райскій. Въ этомъ длительномъ и сложномъ процессѣ, на ряду съ ростомъ общественнаго самосознанія, вырабатывались личности, подобныя Вѣрѣ, которыя смѣло разрывали съ традиціями прошлаго, чтобы за свой страхъ и отвѣтственность, съ пытливой жаждой новыхъ идеаловъ итти навстрѣчу будущему. На обломкахъ стараго выросло новое міросозерцаніе, которое даже въ своихъ крайнихъ и одностороннихъ выраженіяхъ, какъ у Волохова, болѣе привлекало къ себѣ сердца молодого поколѣнія, чѣмъ поэзія патріархальнаго, на рабствѣ, на общественной неправдѣ основаннаго быта. Тайна успѣха новаго ученія была обезпечена уже тѣмъ обстоятельствомъ, что его одухотворяла вѣра въ такое общественное устройство, которое гарантировало торжество личности, гордой сознаніемъ своихъ правъ на участіе въ общей работѣ и общихъ радостяхъ жизни.

Гончаровъ только приподнял завѣсу новой жизни, приподнял съ трудомъ и какъ бы нехотя. Эта новая жизнь пугала его, чловѣка старыхъ традицій и поклонника порядка и покоя. Послѣ „Обрыва“ онъ не пошелъ за образами въ кипѣвшую вокругъ него, полную борьбы и трагизма жизнь и не пошелъ не отъ упадка наблюдательности или таланта. Время отъ времени появлялись въ печати, въ теченіе послѣднихъ десятилѣтій его жизни небольшіе очерки, сохранявшіе прежнюю яркость обрисовки и прежнюю свѣжесть стиля. Его критическая статья „Милліонъ терзаній“, вышедшая за десять лѣтъ до смерти, тотчасъ же была признана одной изъ самыхъ замѣчательныхъ въ критической литературѣ. Но жизнь для него не успѣвала, какъ ему казалось, „наслаиваться въ типы“, и онъ уходилъ отъ нея все болѣе и болѣе, пока не ушелъ совсѣмъ — 15 сентября 1891 года.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

(1818—1883 г.)

А. Е. Грузинскаго.

I.

Въ литературной судьбѣ Тургенева многое заслуживаетъ вниманія по странности и несправедливости. Какъ только онъ написалъ въ 1852 г. „Записки Охотника“ и нѣсколько лѣтъ спустя „Рудина“, онъ на всю жизнь былъ посвященъ въ писатели „съ общественнымъ направленіемъ“. Съ тѣхъ поръ въ его творчествѣ прежде всего и больше всего ждали и искали отвѣтовъ на живые вопросы современности, постановки новыхъ общественныхъ задачъ; этотъ элементъ его романовъ и повѣстей одинъ собственно и учитывался серьезно и внимательно руководящей критикой 50-хъ—60-хъ годовъ; онъ считался какъ бы обязательнымъ въ тургеневскомъ творчествѣ. Не найдя его въ какомъ-нибудь вновь появившемся произведеніи нашего романиста, критика была недовольна и дѣлала автору довольно строгій выговоръ за неисполненіе имъ своихъ общественныхъ обязанностей, а если наблюдала одинъ за другимъ цѣлый рядъ такихъ „упущеній“, то, случалось, высказывала жестокое мнѣніе, что вотъ де нѣкогда любимый и цѣнимый писатель „исписался“, пошелъ назадъ и теряетъ талантъ. Такое отношеніе критики изъ 60-хъ годовъ перешло по наслѣдству въ 70-е годы, пережило самого Тургенева и продолжало давать себя чувствовать чуть ли не до нашихъ дней.

Односторонность и ошибочность такой оцѣнки тогда же давала себя знать нѣкоторыми зловѣщими симптомами: Тургеневу собственно почти ни разу не удалось соединить на крупномъ, боевомъ романѣ сколько-нибудь единодушно своихъ критиковъ; онъ былъ общепризнаннымъ изобразителемъ важныхъ вопросовъ современности и ни разу въ широкой мѣрѣ не оправдалъ надеждъ, возлагавшихся на него большинствомъ заранее, по довѣрію и привычкѣ. Люди добровольно и нетерпѣливо собирались тѣсной толпой вокругъ того, кого признали своимъ пророкомъ, и едва онъ раскрывалъ уста для про-

рочества, въ толпѣ его поклонниковъ начинались ожесточенные споры и несогласія, слышалась противорѣчивая критика, раздавались хулы и брань на пророка. Единственный разъ, кажется, его рѣчь была выслушана и принята всѣми безъ спора, при общемъ дружелюбномъ согласіи, но на этотъ разъ въ ней почти совсѣмъ не было пророчества: я говорю о „Дворянскомъ гнѣздѣ“, которое по свидѣтельству Анненкова соединило и примирило всѣхъ въ дружномъ признаніи. Все это было довольно странно.

Былъ и другой неблагополучный признакъ. Въ идейные вожди той стремительной, кипучей эпохи, когда все пришло въ движеніе и борьбу, когда всякая идея стала боевымъ лозунгомъ, а всякая встрѣча — битвой, былъ посвященъ художникъ, личность и талантъ котораго менѣе всего отличались крѣпостью и боевымъ закаломъ, натура, полная широты, мягкости, раздвоенія; что мудренаго, если онъ не могъ выполнить своей роли такъ, какъ это требовалось; даже тогда, когда онъ говорилъ то, что было нужно, его голосъ слишкомъ тонко и сложно вибрировалъ, былъ „не совсѣмъ твердъ“, какъ у его Юніа, и судьбу этого несчастнаго поэта долженъ былъ за это иногда раздѣлять самъ авторъ.

Относительно Тургенева какъ-то особенно полно было забыто часто забываемое мудрое правило Гете, что поэта можно понять только на его собственной почвѣ. Тургеневъ не былъ „писателемъ-гражданиномъ“ по призванію, хотя и связывалъ всѣ крупныя свои произведенія съ важными и даже жгучими темами своей бурной эпохи; эта связь была тогда во многомъ неизбѣжна для всякаго писателя сколько нибудь чуткой совѣсти и просвѣщенной мысли, — тѣмъ и другимъ Тургеневъ обладалъ въ высокой степени. Но его интересъ къ общественной жизни былъ лишенъ жара и энтузіазма, носилъ скорѣе характеръ внимательнаго анализа; больше же всего онъ былъ художникомъ-поэтомъ. Это опредѣляетъ характеръ отраженія современности въ его творчествѣ: во всѣхъ даже наиболѣе „гражданскихъ“ произведеніяхъ Тургенева замыселъ представляетъ изъ себя прежде всего задачу художественную, и вопросы психологическіе, бытовые, общественные въ широкомъ смыслѣ поглощаютъ собою темы „гражданскія“. Затѣмъ, несмотря на то, что Тургеневъ создалъ цѣлый міръ самыхъ разнообразныхъ фигуръ, яркихъ и полныхъ жизни, изобразилъ нѣсколько крупныхъ моментовъ нашего культурнаго развитія и далъ мастерскія картинки стараго быта, — все-таки, его главная область — не широкіе очерки общественныхъ настроеній и не бытъ, а интимная психологія, и обширная картина цѣлой эпохи, данная въ его произведеніяхъ, складывается изъ отдѣльных этюдовъ и миниатюръ, выбранныхъ и исполненныхъ съ необычайнымъ мастерствомъ и чуткостью. Наконецъ, хотя Тургеневъ склоненъ былъ считать себя писателемъ объективнымъ (письмо къ Кигну), въ талантѣ его явственной, несмолкающей ноткой звучалъ особый, мягкій, элегическій лиризмъ, дававшій себя знать не только въ по-

дробностяхъ, но и въ общей концепціи произведеній; его художественно поэтическіе замыслы рождались и находили себѣ форму въ тѣсной связи съ интимными особенностями его личности, съ ходомъ его развитія и личными судьбами. Въ эту „страну поэта“ менѣе всего заглядывала критика, всего чаще о немъ писавшая, довольствуясь отраженіемъ въ его творествѣ современныхъ общественныхъ мотивовъ,—однимъ отблескомъ одной грани крупнаго поэтического алмаза.

Нельзя сказать, чтобы художественная сторона тургеневскаго творчества была забыта или упущена изъ виду,—нѣтъ, она съ давнихъ поръ привлекала къ себѣ вниманіе, хотя, разумѣется, не передовой критики 60-хъ годовъ, но даже когда она изучалась, это дѣлалось обыкновенно какъ-то односторонне, изолированно отъ всей художественной личности автора, взятой въ цѣломъ; ее искали въ манерѣ художника писать, пускать въ ходъ тѣ или другіе приемы искусства, а не въ основныхъ формахъ замысла, не въ способѣ воспринимать и отражать жизнь. Притомъ критики, останавливавшіеся на этой сторонѣ тургеневскаго таланта, принадлежали обыкновенно къ такъ называемому „правому“ лагерю (Н. Страховъ, Буренинъ, Незеленовъ, Ю. Николаевъ), и ихъ работы кромѣ основной указанной ошибки обезцѣнивались также пристрастной и предвзятой оцѣнкой общественнаго значенія произведеній Тургенева. Въ результатѣ Тургеневъ и съ той и съ другой стороны не былъ изученъ достаточно внимательно и широко. Быть можетъ, поэтому въ наши дни, отдѣленные отъ расцвѣта тургеневскаго таланта полустолѣтіемъ, когда время лишило горячаго трепета жизни тургеневскія темы и свѣжей новизны его художественные приемы, иногда можетъ казаться, что онъ намъ уже ничего не говоритъ и намъ о немъ нечего сказать. Это, конечно, заблужденіе: теперь только наступаетъ пора пристальнаго всматриванія во все, что Тургеневъ сдѣлалъ, и такого объясненія его творчества, которое должно устранить противорѣчія, неясности и несообразности въ общей оцѣнкѣ художника.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы всего болѣе остановимся на выясненіи хода развитія личности Тургенева и на связи его произведеній съ этимъ процессомъ.

II.

Прежде всего важно отмѣтить, что Тургеневъ обладалъ очень медленно развивавшимся и поздно сложившимся талантомъ. Впервые вступилъ онъ на литературную дорогу 25-ти лѣтъ и черезъ три года рѣшилъ, что это—не его дѣло. Если даже считать, что литературное призваніе было прочно сознано имъ въ эпоху „Записокъ Охотника“, то вѣдь „Хорь и Калинычъ“, вернувшій Тургенева, по его словамъ, къ литературѣ, вышелъ изъ-подъ пера уже 30-лѣтняго автора, а закончена была серія этихъ знаменитыхъ рассказовъ, послѣ которой онъ могъ впервые счесть себя выдвинувшимся писателемъ, на 35-мъ году жизни. Затѣмъ, какъ ни важна сама по себѣ, какъ ни

высока въ литературномъ отношеніи народная полоса въ творчествѣ Тургенева, нельзя считать на основаніи ея въ 1852 г. вполне опредѣлившимся талантъ писателя, главнымъ призваніемъ котораго было изображеніе психологіи культурнаго класса; даже нѣсколько лѣтъ спустя, послѣ „Рудина“ и ряда повѣстей, въ началѣ 1857 года, вступая въ 40-й годъ жизни, Тургеневъ въ припадкѣ хандры даетъ себѣ такую оцѣнку: „Таланта съ особенной фizioноміей и цѣлностью у меня нѣтъ; были поэтическія струнки, да онѣ прозвучали и отзвучали.—Повторяться не хочется. Въ отставку!“ пишетъ онъ Боткину. Лишь послѣ „Дворянскаго гнѣзда“ единомудушная восторженная оцѣнка разсѣяла его сомнѣнія; онъ опредѣленно почувствовалъ себя призваннымъ давать широкія, значительныя картины современной культурной жизни Россіи и быстро отвѣтилъ на это призваніе двумя первоклассными созданіями („Наканунъ“ и „Отцы и Дѣти“). Такимъ образомъ, можно сказать, что вполне раскрылся талантъ Тургенева лишь къ 40 годамъ жизни.

Такъ же медленно слагался и зрѣлъ въ немъ внутренній чело-вѣкъ. Помимо сильнаго художественнаго дарованія, способности схватывать и передавать живую прелесть жизни, интересъ и красоту ея слитной многоцвѣтности, Тургеневъ обладалъ очень крупнымъ умомъ, и склонность анализировать жизненныя явленія и разбираться въ нихъ при помощи общихъ идей отличала его въ значительной степени. Безсознательный художникъ жилъ въ немъ объ руку съ чело-вѣкомъ, всегда размышляющимъ тонко и отчетливо. Эта двойная природа вмѣстѣ съ рѣдкостной по широтѣ образованностью вывела творчество Тургенева далеко изъ естественныхъ и для большинства трудно переходимыхъ границъ одного поколѣнія и провела его черезъ рядъ очень важныхъ эпохъ дѣятельнымъ участникомъ или компетентнымъ, живымъ и тонкимъ наблюдателемъ и цѣнителемъ.

Указанная сложность писательской личности сама по себѣ дѣлаетъ болѣе труднымъ процессъ выработки этой личности, а раннее развитіе Тургенева, кромѣ того, протекало въ условіяхъ довольно неблагоприятныхъ. Богато и разнообразно одаренный, но мягкій и пассивный, онъ не обладалъ способностью быстро и интенсивно собирать и пускать въ ходъ свои силы, отличаясь взаимнѣ поразительнымъ даромъ длительного напряженія; поздно разившись, онъ зато работалъ надъ собою и шелъ впередъ чуть не до самой смерти. Уродливое воспитаніе и долгая зависимость отъ властной и капризной самодурки-матери не дали мягкой и спокойной атмосферы для медленнаго развертыванія натуры и для выравниванія угловатостей, а, наоборотъ, плодили ихъ и усиливали. Образъ полу-юноши, полу-мальчика, зарисованный Тургеневымъ съ себя въ цѣломъ рядѣ произведеній („Андрей Колосовъ“, „Яковъ Пасынковъ“, „Первая любовь“, „Несчастная“, „Пунинъ и Бабуринъ“, Дмитрій Петровичъ изъ неоконченнаго романа, автобіографическія черты въ Лежневѣ и др.), даетъ въ общемъ фигуру неровную, пеструю, съ общимъ тономъ или безлич-

нымъ, или даже не совсѣмъ привлекательнымъ: при постоянной пассивности, нерѣшительности, уклончивости, даже неправдивости въ ней чувствуются пустота, тщеславность и какая-то грубоватость психики.

Еще доказательнѣе признанія самого Тургенева въ разсказѣ о его знакомствѣ въ 1838 г. въ Берлинѣ съ Грановскимъ и Станкевичемъ. Онъ пишетъ, что почти не видался тогда съ Грановскимъ и они не сошлись: „Говоря правду, я тогда не стоилъ того, чтобы сойтись съ нимъ“. А вотъ его слова про Станкевича: „Станкевичъ не очень меня жаловалъ... Я очень скоро почувствовалъ къ нему уваженіе и иѣчто вродѣ боязни, происходившей отъ внутренняго сознанія собственной недостойности и лживости“. Умственная жизнь шла тоже неровно и съ запозданіемъ: студентъ двадцати слишкомъ лѣтъ, поѣхавшій послѣ русскаго университета въ Берлинъ для усовершенствованія въ наукахъ, изучавшій Гегеля, Тургеневъ по собственному признанію бросалъ все, когда нужно было дрессировать свою собаку или натравливать ее на крысъ, а Грановскій, зайдя разъ къ нему на квартиру, засталъ нашего философа съ крѣпостнымъ дядькой углубленными въ игру карточными солдатиками.

Двухлѣтняя жизнь за границей и занятія настолько сгладили эту ребячливость и развили юношу, что въ 1840 г. въ Римѣ Станкевичъ сблизился съ нимъ и успѣлъ разглядѣть его недюжинныя способности; онъ писалъ тогда пріятелямъ въ Москву, куда собирался возвращаться Тургеневъ, чтобы они не судили о немъ по первому впечатлѣнію. Станкевичъ находилъ, что онъ „неловокъ, мѣшковатъ физически и психически и часто досаженъ“, но указывалъ на признаки большого ума и даровитости. Рекомендація Станкевича была совершенно необходима, ибо сперва московскіе пріятели (Грановскій, Герценъ, Боткинъ и др.), а потомъ и петербургскіе (Бѣлинскій и его кругъ) долго не могли помириться съ многими особенностями молодого Тургенева въ періодъ 1841—1847 гг.

Анненковъ оставилъ въ своихъ воспоминаніяхъ очень цѣнный очеркъ его личности, на который можно положиться: онъ сдѣланъ одновременно тонкимъ наблюдателемъ и любящимъ другомъ. Тургеневъ тогда, несмотря на вполне взрослые годы (25—30 лѣтъ), поражалъ прежде всего полной внутренней неустановленностью. Онъ метался изъ стороны въ сторону въ своихъ вкусахъ и симпатіяхъ, въ выборѣ дороги, въ личныхъ отношеніяхъ, не умѣя и какъ будто не желая найти себя и свое мѣсто въ жизни. „Ему казалось,—пишетъ Анненковъ,—что онъ можетъ испробовать всѣ возможныя существованія и соединить въ себѣ солидныя качества писателя и художника съ качествами, нужными для пріобрѣтенія репутаціи побѣдителя на всѣхъ рынкахъ, ристалищахъ и аренахъ свѣта“; „онъ не могъ останавливаться долго на одномъ рѣшеніи, на одномъ чувствѣ—изъ опасенія замѣшкаться и упустить самую жизнь, которая бѣжитъ мимо и никого не ждетъ. Имъ овладѣвалъ родъ нервнаго безпокойства,

когда приходилось только издали прислушиваться къ ея шуму. Онъ постоянно рвался къ разнымъ центрамъ, гдѣ она наиболѣе кипитъ, и сгоралъ жаждой ощупать возможно большее количество характеровъ и типовъ, ея порождаемыхъ, каковы бы они ни были“.

Все это исходило у Тургенева изъ желанія быть всегда оригинальнымъ. Ничего онъ такъ не боялся тогда, какъ походить на другихъ, и ради необыкновенности готовъ былъ на все: навязывалъ себѣ самыя несвойственныя качества, даже пороки, лишь бы отличаться отъ всѣхъ. Анненковъ могъ бы добавить, что это стремленіе къ необычному, боязнь быть, какъ всѣ, была на добрую долю страхомъ и отвращеніемъ передъ пошлостью, которой было такъ много кругомъ, которую долженъ былъ чутко отгадывать будущій художникъ-психологъ и отъ которой несложившаяся душа видѣла одно спасеніе — бѣжать какъ можно дальше. Недаромъ Тургеневъ въ „Парашѣ“ говоритъ про своего героя: „...иногда онъ допускалъ возможность исключеній, но въ пошлость вѣрилъ твердо и всегда“. Казалось бы, тонкій умъ долженъ бы подсказать нашему врагу пошлаго, что есть „пошлость необычайнаго“; онъ самъ проблескомъ почувствовалъ это еще 18-тилѣтнимъ студентомъ, когда статья Бѣлинскаго сразу повалила въ его душѣ кумиръ Бенедиктова,—но здѣсь сказался тотъ же медленный темпъ развитія Тургенева.

Онъ началъ уже писать и съ 1843 года сблизился съ Бѣлинскимъ до большой интимности, несомнѣнно испытавъ на себѣ воздѣйствіе его замѣчательной личности; въ кругъ его знакомства входили всѣ выдающіеся и наиболѣе развитые общественные дѣятели Москвы и Петербурга, и все же въ данный періодъ друзья, любя и цѣня его за многое, никакъ не могли считать его вполне своимъ; онъ имѣлъ даръ удивлять ихъ и бѣсить самыми неожиданными выходками, за которыя Бѣлинскій до смерти звалъ его „мальчикомъ“, „милымъ младенцемъ“ и грозилъ поставить въ уголъ. Онъ хотѣлъ быть „своимъ“ и въ свѣтскихъ гостинныхъ, гдѣ, говорятъ, стыдился признаться, что получаетъ деньги за литературный трудъ. Подобныхъ фактовъ, говорящихъ о легкомысленномъ и фальшивомъ отношеніи къ литературѣ, передаютъ довольно много воспоминанія Панаевой-Головачевой; они всѣ вполне правдоподобны и косвенно подтверждаются характеристикой Анненкова.

Литература явно становится тогда для Тургенева главнымъ интересомъ жизни, хотя онъ еще и не нашелъ своего мѣста въ ней, но не уяснивъ еще себѣ ея задачъ и не научившись серьезно смотрѣть на ея значеніе, онъ и не могъ легко и просто вступить въ ея ряды: на его первыхъ опытахъ должно было сказываться недостаточное уваженіе къ дѣйствительной жизни, къ своему таланту, къ своей писательской роли. Гонимая за успѣхомъ „на всѣхъ рынкахъ, ристалищахъ и аренахъ“ свѣта, онъ и въ литературѣ одновременно хотѣлъ служить серьезнымъ цѣлямъ реальной школы и небрежной, „геніальной“, романтической ироніи. Это видно уже въ „Парашѣ“, гдѣ среди

простого, жизненно взятого сюжета и удачных „физиологических“ очерковъ помѣщичьяго быта такъ странно замѣшался сперва „хохоть сатаны“, а потомъ и самъ онъ, созерцающій всю Россію, опершись на заборъ, и тратящій свою „страшную улыбку“ владыки зла на обычный деревенскій романъ.

Еще осязательнѣе это въ первой повѣсти „Андрей Колосовъ“. Здѣсь, задумавъ воспѣть гимнъ искреннему, естественному и свободному отношенію къ жизни, авторъ вмѣсто того поставилъ на пьедесталъ героя, который просто-на-просто разлюбилъ и бросилъ любившую его дѣвушку, обнаруживъ при этомъ гораздо больше черствой сухости, чѣмъ какой бы то ни было искренности или отваги. Бѣлинскій хвалилъ въ повѣсти „прекрасные очерки русской жизни“; отдѣльныя краски быта и психологіи, правда, были взяты вѣрно, но весь ходъ исторіи былъ неправдоподобенъ какъ разъ съ бытовой стороны, обличалъ малое уваженіе къ дѣйствительности, и самъ Бѣлинскій въ окончательномъ итогѣ призналъ вещь „странной, недосказанной и неуклюжей“. А Дружининъ, давшій нѣсколько лѣтъ спустя большую и интересную статью о творествѣ Тургенева, прямо упрекаетъ его по поводу „Андрея Колосова“ въ стремленіи жертвовать правдой и человѣчностью ради эффектной мысли. Дѣйствительно, Тургеневъ несомнѣнно былъ увлеченъ „поэтической“ мыслью, которую съ пафосомъ произноситъ въ концѣ рассказчикъ: „О, господа! человѣкъ, который разстается съ женщиной, нѣкогда любимой, въ тотъ горькій и великій мигъ, когда онъ невольно сознаетъ, что его сердце не все, не вполне проникнуто ею, этотъ человѣкъ, повѣрьте мнѣ, лучше и глубже понимаетъ святость любви, чѣмъ тѣ малодушные люди“ и т. д. Авторъ не подозревалъ, что эта эффектная тирада, пожалуй, больше, чѣмъ къ Колосову, идетъ къ другому герою повѣсти, преемнику его правъ на Варю, который сбѣжалъ, тоже почувствовавъ, „что его сердце не все, не вполне проникнуто ею“; для него, во всякомъ случаѣ, этотъ мигъ былъ гораздо болѣе „горекъ и великъ“, чѣмъ для Колосова, несмотря на всю комическую оболочку этого эпизода. Тутъ то же „геніальничанье“ съ жизнью, та же боязнь пошлости, къ которой причислены въ концѣ повѣсти и „мелкія хорошія чувства“, — сожалѣніе и раскаяніе. Недаромъ Тургеневъ находилъ потомъ, что дружининская критика „вложила перстъ въ язву“, подставила ему зеркало, „только черезчуръ снисходительное“.

Отмѣчая изъяны и неровности молодого Тургенева, не слѣдуетъ забывать, что даже тогда это былъ человѣкъ очень выдающійся по уму и даровитости: на Бѣлинскаго онъ сразу произвелъ сильное впечатлѣніе, которое быстро обратило ихъ знакомство въ тѣсную дружбу; уже въ мартѣ 1843 г. (еще до выхода „Параши“) Бѣлинскій въ письмахъ называетъ его необыкновенно умнымъ человѣкомъ, „самобытное и характерное мнѣніе котораго, сшибаясь съ твоимъ, извлекаетъ искры“. „Въ немъ есть злость, желчь и юморъ, онъ глубоко понимаетъ Москву и такъ воспроизводитъ ее, что я пьянѣю

отъ удовольствія“. „Вообще Русь онъ понимаетъ. Во всѣхъ его сужденіяхъ виденъ характеръ и дѣйствительность... Онъ врагъ всего неопредѣленнаго“. Черезъ четыре года близкой дружбы, когда Тургеневъ уѣхалъ за границу, Бѣлинскій писалъ, что „плачевно осиротѣлъ безъ него“, „потерялъ въ немъ больше, чѣмъ думалъ“.

Это все очень важно, но упустивъ изъ виду пестроту душевнаго склада богатой натуры, еще не нашедшей себя и не овладѣвшей своими силами, мы не поймемъ всего значенія первыхъ литературныхъ шаговъ Тургенева. Начинаящій писатель метался отъ испанскихъ этюдовъ и русскихъ поэмъ къ оживленію старыхъ дворянскихъ портретовъ, отъ поисковъ за „геніальными“ натурами къ изображенію изнанки мелкихъ „героевъ“ („Бреттеръ“) и вынесъ было твердое рѣшеніе оставить литературу совсѣмъ. Дѣло въ томъ, что его отношеніе къ дѣйствительности было слишкомъ сложно, чтобы сразу и легко найти себѣ форму. Необыкновенно характерно и важно то, что Тургеневъ началъ стихами: онъ, слѣдовалъ здѣсь безошибочному инстинкту подлиннаго, прирожденнаго поэта. Онъ ошибся во внѣшней формѣ своего дарованія, но лирическое воспріятіе жизни, влеченіе къ красотѣ и поэзіи навсегда остались основнымъ элементомъ его художественной личности. Этой существенной потребностью натуры легко объясняются и страхъ передъ пошлой обыденностью, и жажда необычайнаго, и необузданная „романтизація“ жизни, приводившая въ такое недоумѣніе друзей. Но сразу трудно было слить съ этой поэтической призмой результаты большой и тонкой наблюдательности, работу ума сильнаго, скептическаго и вполнѣ реальнаго. По словамъ Бѣлинскаго, Тургеневъ понималъ Москву, Русь; въ его сужденіяхъ видно было знаніе жизни. Тогдашняя русская дѣйствительность очень легко и быстро формировала сатирическій даръ писателя, но Тургеневу мало подходила гоголевская дорога; ему предстояло найти свой собственный путь, гдѣ нашли бы себѣ мѣсто всѣ сложные ингредиенты дарованія.

Первыя работы Тургенева, и, быть можетъ, всего болѣе „Андрей Колосовъ“, необыкновенно поучительны въ этомъ отношеніи: до того много тронуто тамъ разнообразныхъ, чисто тургеневскихъ струнъ. Поэтическій элементъ сказался въ Колосовѣ не только въ поэтизаціи героя, но и въ изображеніи Вариной любви и тоски: это первый набросокъ тургеневской дѣвушки подъ облагораживающимъ дѣйствіемъ чувства (другой, уже болѣе полный образъ данъ въ „Бреттерѣ“). Затѣмъ тутъ находимъ столь характерныя для Тургенева воспоминанія о ранней молодости, о товарищеской средѣ. Но, главное, отсюда пошелъ глубоко заложенный въ творчествѣ нашего писателя лейтъ-мотивъ о двухъ видахъ мужской любви: властномъ, смѣломъ и открытомъ—съ одной стороны, и робкомъ, нерѣшительномъ, таящемся—съ другой; лица, олицетворяющія тотъ и другой типъ любви, и ихъ комбинація вдвоемъ, или даже втроемъ, около одного предмета съ этихъ поръ повторяются въ разныхъ варіаціяхъ

много разъ въ творествѣ Тургенева, особенно до Рудина, не вполнѣ исчезая и потомъ. Наконецъ, прекрасный психологъ сказался въ фигурѣ рассказчика, колосовскаго конфидента, который выдержанъ съ начала до конца. Если прибавить, что въ „Трехъ портретахъ“ проявился уже типичный интересъ Тургенева къ культурно-бытовой старинѣ нашей, а въ „Бреттерѣ“ сдѣланы первые штрихи помѣщицкой жизни и усадебнаго быта, то будутъ указаны разнообразныя элементы будущаго, еще не всегда слитые гармонически и не примѣненные къ достаточно широкой и важной жизненной темѣ.

Эта тема, какъ извѣстно, скоро была найдена въ народной жизни:

III.

Вопросъ, какъ подошелъ Тургеневъ къ „Запискамъ Охотника“, довольно сложенъ. Несомнѣнно, здѣсь должны были играть роль и литературныя вліянія: гоголевскія повѣсти, съ неизмѣнно упоминающейся въ этихъ случаяхъ „Шинелью“, врядъ ли сами по себѣ могли дать прямой толчокъ именно въ народномъ направленіи; на „Шинель“ Тургеневъ отозвался „Пѣтушковымъ“, и только. Скорѣе можно указать—если оставить въ сторонѣ Шварцвальдскіе рассказы Ауэрбаха—на общее тяготѣніе нашей литературы въ половинѣ 40-хъ гг. къ общественнымъ низамъ, дававшее себя знать въ „физиологическихъ“ очеркахъ быта и нравовъ городского рабочаго и ремесленнаго люда; типическіе портреты дворника, извозчика и т. д. писались тогда нерѣдко („Петербургскіе шарманщики“ Григоровича).

Среди писателей такого направленія особо слѣдуетъ упомянуть Даля, славившагося тогда своимъ знаніемъ народнаго быта и языка; Тургеневъ въ 1846 г. писалъ въ „Отеч. Зап.“ о немъ, и въ его статьѣ есть любопытныя взгляды на отношеніе литературы къ народу. Онъ ограничиваетъ терминъ „народный писатель“ отъ слишкомъ широкаго употребленія его, въ которомъ оно можетъ быть приложено къ Пушкину и Гоголю, и отъ ложнаго пониманія его въ внѣшне-патріотическомъ смыслѣ; по его мнѣнію, тотъ заслуживаетъ этого названія, кто „какъ бы вторично сдѣлался русскимъ, проникнулся весь сущностью своего народа, его языкомъ, его бытомъ“. Для этого нуженъ, говоритъ онъ, „не столько своеобразный талантъ, сколько сочувствіе къ народу, родственное къ нему расположеніе, наивная и добродушная наблюдательность“. Разказы Даля нравятся ему не одной своей вѣрностью натурѣ, а потому, что „русскому все русское любо, какъ бы оно ни было смѣшно“. „Мы, грѣшные люди, сознаемся, находимъ особенную прелесть въ томъ, что мужики на Святой не вспахали-таки земли, несмотря на свои разумныя рѣчи,—въ томъ, что денщикъ дѣлитъ весь міръ на двѣ половины, на своихъ и на не своихъ, и такъ ужъ и поступаетъ съ ними“. Тургеневъ заключаетъ важной мыслью, которая есть и въ „Хорѣ и Калинычѣ“, быть можетъ, уже писавшемся тогда: „Въ русскомъ человѣкѣ таится

и зрѣеть зародышъ будущихъ великихъ дѣлъ, великаго народнаго развитія“.

Но въ приведенныхъ мнѣніяхъ виденъ сложившійся взглядъ, авторъ рецензіи уже готовъ для „Записокъ Охотника“, и Даль могъ лишь укрѣпить переходъ на новую дорогу, такъ же какъ „Деревня“ Григоровича, относящаяся къ тому же 1846 году. Тургеневскій поворотъ долженъ быть поставленъ въ связь еще съ однимъ обстоятельствомъ, на которомъ стоитъ остановиться.

Отношеніе къ народу въ рецензіи заключаетъ въ себѣ какъ будто что-то славянофильское: безотчетная любовь къ народнымъ особенностямъ даже вопреки разсудку, надежды на будущее великое развитіе народа—такихъ рѣчей какъ будто трудно ожидать было отъ „западника“, близкаго друга Бѣлинскаго, въ пору самыхъ ожесточенныхъ журнальных битвъ петербургскаго критика съ москвичами-націоналистами. Но дѣло въ томъ, что какъ разъ въ половинѣ 40-хъ годовъ начинался тотъ процессъ, о которомъ говорилъ потомъ Герценъ: „наша западническая партія только тогда получить значеніе общественной силы, когда овладѣетъ темами, пущенными въ ходъ славянофилами“. Такой темой былъ прежде всего вопросъ о народѣ, и среди московскихъ дѣятелей обѣихъ партій, еще не разорвавшихъ другъ съ другомъ личныхъ сношеній, а нерѣдко договаривавшихся и уяснявшихъ взаимно свои пункты соединенія и розни, шли горячіе споры по поводу антинаціональнаго духа западниковъ, въ частности Бѣлинскаго. На этомъ пунктѣ началось нѣкоторое разслоеніе самихъ западниковъ. Грановскій уже признавался въ большей своей близости по нѣкоторымъ пунктамъ къ славянофиламъ, чѣмъ къ „Отеч. Зап.“.

Анненковъ оставилъ очень живое описаніе жаркихъ дебатовъ лѣтомъ 1845 г. въ подмосковномъ с. Соколовѣ, гдѣ жили на дачѣ Герценъ, Грановскій и Кетчеръ, вызванныхъ непосредственнымъ наблюденіемъ народныхъ нравовъ; суть дѣла онъ формулируетъ такъ: „Это было первое крупное проявленіе мысли, давно уже таившейся въ умахъ, о необходимости болѣе разумныхъ отношеній къ простому народу, чѣмъ тѣ, которыя существовали въ литературѣ и въ нѣкоторыхъ слояхъ мыслящаго класса людей. Литература и образованные умы наши давно разстались съ представленіемъ народа, какъ личности, опредѣленной существовать безъ всякихъ гражданскихъ правъ и служить только чужимъ интересамъ, но они не разстались съ представленіемъ народа, какъ дикой массы, не имѣющей никакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя“.

Это невнимательное отношеніе къ народу, бывшее и у лучшихъ западниковъ, проистекало главнымъ образомъ отъ того, что всѣ ихъ силы были отданы идеаламъ развитія, образованности и культивированію личности. Какъ только названный пробѣлъ былъ сознаны (не безъ вліянія славянофиловъ), за вопросъ о народѣ горячо взялись многіе; прильнулъ къ нему и Бѣлинскій своимъ демократическимъ сердцемъ, успѣвъ высказать въ статьѣ о натуральной школѣ, въ

отзывахъ о Григоровичѣ и еще болѣе въ письмахъ и силу чувства, и ясное пониманіе соціальной важности новаго явленія.

Глубоко долженъ былъ прочувствовать этотъ поворотъ Тургеневъ, у котораго была для него своя, пережитая, выстраданная подкладка: съ дѣтства воспитанная ненависть къ крѣпостному праву и съ дѣтства же копившіяся наблюденія надъ крестьянами. Цѣлый міръ типическихъ фигуръ, человѣческихъ личностей изъ народа съ ихъ скрытой, но разгаданной сердцемъ внутренней жизнью хранился и росъ въ душѣ Тургенева; теперь пришла пора, онъ заколебался и сталъ оживать подъ перомъ художника. Слагалась не этнографическая картина своеобразнаго быта, не плачь надъ забытыми и обездоленными, не негодующее обличеніе,—создана была чудная поэма русской жизни, русской природы, русскаго народа, вытекавшая не изъ „своеобразнаго таланта“, а изъ „наивной и добродушной наблюдательности“, изъ „сочувствія къ народу и родственнаго къ нему расположенія“, изъ вѣры въ его силы и великое будущее развитіе. По условіямъ народной жизни она не могла избѣжать элегическаго, даже скорбнаго тона, эта поэма, но поэтъ истратилъ на нее лучшія краски своего слова, своей художественной манеры, украсилъ ее всѣми красотами русскаго пейзажа, всей прелестью лучшихъ движеній народной души. „Записки Охотника“ имѣли, и должны были имѣть, огромное общественное значеніе для своего времени; высказывавшееся мнѣніе, будто въ нихъ мало протеста противъ крѣпостнаго права, не выдерживаетъ критики: тамъ нѣтъ разсказа, нѣтъ страницы, которые не вопіяли бы протестующе, но это — протестъ поэта, протестъ великой души и великаго таланта, который, не тратя слезъ и гнѣва, любовно вѣнчаетъ своего непризнаннаго страдальца-героя лучшими цвѣтами и лаврами своей поэзіи и убѣждаетъ всѣхъ, показавъ этимъ преображеніемъ, какимъ тотъ можетъ и долженъ быть.

„Записки Охотника“ имѣли значеніе прогноза для всего творчества Тургенева. Духъ, въ которомъ онъ обработалъ тему о народѣ и крѣпостномъ правѣ, бывшую въ 50-хъ гг. не менѣе жгучей и злободневной, чѣмъ, скажемъ, вопросъ объ „отцахъ и дѣтяхъ“ 10 лѣтъ спустя, указывалъ, какъ будетъ отзываться на современность новый писатель: онъ не измѣнитъ себѣ; его отзывы на текущій моментъ всегда будутъ прежде всего откликами художника-поэта, переработавшаго дѣйствительность въ своей поэтической лабораторіи. На недостаточномъ вниманіи къ этому основаны многія и многія недоразумѣнія и разногласія въ оцѣнкѣ Тургенева.

Если въ этой крестьянской поэмѣ, которую можно бы озаглавить „Кому на Руси жить тяжело“, Тургеневъ еще и не нашелъ своего настоящаго и главнаго призванія, здѣсь во всякомъ случаѣ было достигнуто то, безъ чего оно вообще не могло быть осуществлено—слиянiе характернаго для Тургенева поэтическаго идеализма съ не менѣе присущей ему потребностью опираться на твердую, реальную почву. Въ крестьянской жизни найдена была впервые

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.
Съ портрета В. Г. Перова. 1872 г.
(Третьяковская галлерей въ Москвѣ.)

(Третьяковская галерея в Москве)
С. Г. Подберезина, В. Г. Петрова, 1875 г.
Мавра Сергеевна Третьякова



W. M. French

та дѣйствительность, которую могъ смѣло изучать, анализировать и воспроизводить всегда жившій въ Тургеневѣ реалистъ, не опасаясь наткнуться на пошлость и не имѣя надобности либо замаривать въ себѣ поэта, либо питать его разными необычайностями.

Нѣсколько лѣтъ, проведенныхъ въ работѣ надъ „Записками Охотника“, имѣютъ огромное значеніе для развитія Тургенева; особенно важны три года (1847—1850) непрерывной заграничной жизни въ Парижѣ или въ уединеніи Куртавнеля (деревенскаго дома Віардо). Они очень сильно содѣйствовали установкѣ его душевнаго міра вообще и выясненію его писательской фیزیоміи въ частности. Здѣсь огромное значеніе имѣло удаленіе изъ Россіи, изъ Петербурга въ тотъ моментъ, когда помимо общихъ тяжелыхъ впечатлѣній общественнаго характера Тургеневъ мучился отъ множества противорѣчій въ личной жизни: въ ложномъ положеніи богатаго помѣщика, нуждающагося въ заработкѣ, на перепутьи между свѣтскими салонами и кругами пишущей братіи, въ борьбѣ между жаждой всяческихъ успѣховъ и побѣдъ и влеченіемъ къ литературѣ, дававшимъ гораздо больше разочарованій, чѣмъ удовольствіи, не опредѣлившій ни своихъ стремленій, ни своего мѣста въ жизни, онъ долженъ былъ чувствовать себя не легко, и когда въ 1846 г. въ его головѣ зашевелились первые образы „Записокъ Охотника“, для него, конечно, очень благодѣтельно было оторваться отъ своихъ петербургскихъ рамокъ и перемѣнить ходъ жизни.

Письма его изъ Куртавнеля и Парижа къ ѣздившей по Европѣ Віардо показываютъ, что въ уединеніи его своенравный геній „позналъ и тихій трудъ и жажду размышленій“: онъ много читаетъ, усиленно работаетъ. Разрабатывая только что найденный богатый рудникъ народной жизни и крѣпко довѣря Бѣлинскому, который благословлялъ его держаться дѣйствительности, бытовыхъ очерковъ, не отдаваясь „фантазіи“ и не пускаясь въ сочиненіе повѣстей, Тургеневъ занимается почти исключительно „Зап. Охотника“ (за пять лѣтъ кромѣ нихъ онъ написалъ по инерціи нѣсколько драматическихъ вещей и всего одну повѣсть съ законченной фабулой—„Три встрѣчи“, для которой могло понадобиться „воображеніе“). Его литературные вкусы, взгляды на искусство, на работу писателя дѣлаются просты, серьезны, строги: „мы, реалисты...“ говоритъ онъ о себѣ. Письма полны интересными данными на этотъ счетъ. То онъ недоволенъ сочиненіями Дидро, находя, что это—„капризная, блестящая и дилетантская болтовня“, что сердце у него прекрасное, но онъ „всовываетъ въ него слишкомъ много ума“, и заключаетъ: „Положительно, фейерверкъ парадокса всегда будетъ ничто въ сравненіи съ прекраснымъ солнцемъ истины, а между тѣмъ—что можетъ быть обыденіе солнца? Да здравствуетъ солнце! Да здравствуетъ все, что хорошо для всѣхъ!“ То „Уріель Акоста“ отвращаетъ его „кричащими эффектами и театральными неожиданностями“; онъ говоритъ даже, что всѣ современныя произведенія воняютъ литературой, дѣланностью: „Литературный зудъ,

лепетъ эгоизма, самого себя изучающаго и собой любующагося— вотъ болѣзнь нашего вѣка“. Последняя фраза очень близко передаетъ то впечатлѣніе, которое выносили изъ первыхъ произведеній самого Тургенева Аксаковы и даже Анненковы. То, наконецъ, онъ восхищается только что появившимся крестьянскимъ разсказомъ Ж. Зандъ „Франсуа ле-Шампи“ и хвалить ее за то, что она „съ наслажденіемъ погружается въ источникъ молодости искусства наивнаго и не отвлекающагося отъ земли; интересно, что онъ даже съ нѣкоторымъ пуризмомъ ставитъ ей въ упрекъ слишкомъ большое количество крестьянскихъ выраженій: его самого по поводу первыхъ очерковъ „Зап. Ох.“ Бѣлинскій предостерегалъ отъ „пересола въ словахъ орловскаго языка“.

Реалистъ въ немъ сказывается очень сильно, наприм., въ такихъ словахъ: „Ахъ, я не выношу неба!—но жизнь, ея реальность, ея капризы, ея случайности, ея привычки, ея быстро преходящую красоту... все это я обожаю. Я прикрѣпленъ къ землѣ“... И далѣе онъ даетъ два чудесныхъ миниатюрныхъ наброска съ натуры: всему, что можно видѣть въ небѣ, онъ предпочитаетъ „торопливыя движенія влажной лапки утки, которою она чешетъ себѣ затылокъ на краю лужи, или длинныя и блестящія капли воды, медленно падающія съ морды неподвижной коровы, только что напившейся изъ пруда, куда она вошла по колѣно“. Или, напримѣръ, его точное и строгое описаніе всѣхъ звуковъ, услышанныхъ имъ на Куртавнелескомъ дворѣ среди ночной тишины: необыкновенный наблюдатель отмѣтилъ среди безмолвія деревенской ночи девять различныхъ звуковъ, начиная съ шума крови въ ушахъ и собственного дыханія. Здѣсь интересно самое намѣреніе: это ученикъ, страстно влюбленный въ свое искусство, который съ отчетливостью и добросовѣстностью изслѣдователя стремится овладѣть тайной реальной простоты и вѣрности натурѣ.

Интересы поэта и художника наполняли до такой степени тогда Тургенева, что онъ, проживъ въ Парижѣ весь періодъ революціи 1848 года, реагировалъ на событія очень своеобразно. Въ концѣ апрѣля, когда республика уже была фактомъ и въ смутной тревогѣ искала своихъ твердыхъ формъ, онъ посѣщаетъ картинную выставку и, отмѣтивъ всего одну-двѣ хорошихъ картины, говоритъ: „Затѣмъ—ничего! для перваго шага республики это очень печальная выставка“. Въ маѣ, за два дня до открытія Національнаго Собранія, онъ ѣдетъ на весь день въ окрестности Парижа наслаждаться природой: „Я болѣе четырехъ часовъ провелъ въ лѣсу—печальный, растроганный, внимательный, поглощающій и поглощенный“. Дальше идетъ художественная передача тончайшихъ переживаній поэта наединѣ съ природой. Онъ даетъ Віардо точное описаніе (его слова) бурнаго дня 15 мая, сдѣланное со спокойствіемъ и объективностью безстрастнаго наблюдателя, не упустивъ, наприм., отмѣтить, что когда толпа кричала *Vive la Pologne*, то это былъ крикъ, „для слуха несравненно болѣе мрачный, чѣмъ *Vive la République*, потому что

буква *о* замѣняла букву *і*". Описано исключительно то, что авторъ видѣлъ самъ. Единственная фраза, гдѣ видно его отношеніе къ „зрѣлищу“, гласитъ: „Порядокъ и буржуазія справедливо восторжествовали на этотъ разъ“. Стараясь дать себѣ отчетъ въ чувствахъ народа въ этотъ моментъ, онъ много спрашивалъ блузниковъ въ толпѣ и не могъ разобрать, были они революціонерами или реакціонерами или просто друзьями порядка: они точно ожидали конца бури. Характеренъ его выводъ: „Они ожидали... они ожидали!... Что же такое исторія? Провидѣніе, случай, иронія или судьба?...“ Все большее описаніе есть намѣренно выдержанный, точный этюдъ съ натуры.

Въ такомъ художническомъ настроеніи писались поразившіе всѣхъ этюды русской народной жизни и русскаго пейзажа.

Важный смыслъ жизненныхъ явленій, надъ которыми задумался авторъ „Зап. Охотника“, обусловилъ собою и переходъ къ болѣе реальной, строгой манерѣ письма. Къ новымъ сюжетамъ мало шелъ старый тонъ, изысканный, небрежно-ироническій, съ блестками и игрой остроумія (не всегда удачной); Тургеневъ чувствовалъ это еще въ 1846 г., едва приступая къ міру Хоря и Калиныча, когда упрекалъ Даля въ безвкусно-шутливыхъ надписяхъ надъ главами повѣсти, вродѣ: „Отъ метлы съ фонаремъ и до самаго полковника“, или: „Отъ стряпчача Неирова вплоть до дѣвицъ Колюхиныхъ“. На „Зап. Ох.“ Тургеневъ проходилъ школу художественнаго реализма и по формѣ. Она далась ему не безъ труда и не сразу: въ книгѣ и сейчасъ уцѣлѣли вещи, напоминающія собою какъ разъ эти „вплоть до дѣвицъ Колюхиныхъ“, и вполне серьезной и простой передачи народной жизни Тургеневъ добился уже въ „Муму“ и „Постояломъ дворѣ“, но онъ сильно работалъ въ этомъ направленіи уже надъ „Зап. Ох.“^{*)}.

IV.

Лѣтомъ 1850 г. Тургеневъ поѣхалъ въ Россію, чувствуя, какъ писалъ онъ потомъ Віардо, что останется тамъ надолго, если не навсегда. Заграничная жизнь такъ много дала ему, онъ пережилъ здѣсь такія сильныя и благотворныя внутреннія перемѣны, что ѣхалъ домой съ жуткимъ чувствомъ; онъ самъ вспоминалъ послѣ, что на него находили тяжелыя минуты раздумья о томъ, вернуться ли на родину или нѣтъ. За мѣсяць до отъѣзда Россія представляется ему огромной и мрачной фигурой, неподвижной и неясной, какъ сфинксъ; ему чудится ея тяжелый, остановившійся взглядъ, устремленный на него съ холоднымъ вниманіемъ, какъ и слѣдуетъ каменнымъ глазамъ: „Будь спокоенъ, сфинксъ, я вернусь къ тебѣ, и тогда ты можешь поглотить меня въ свое удовольствіе, если я не разгадаю твоей загадки!“

^{*)} См. объ этомъ подробно въ нашемъ этюдѣ о „Зап. Охотника“ (*Литературные Очерки*. М., 1908 г.).

Можно понять это настроеніе, если вспомнить, въ какую дѣйствительность возвращался Тургеневъ; онъ хорошо изобразилъ ея ежедневныя впечатлѣнія: „Утромъ тебѣ возвратили твою корректуру, обезображенную красными чернилами... На улицѣ тебѣ попалась фигура г. Булгарина или его друга, г. Греча; генераль, и даже не начальникъ, а такъ, просто генераль, оборвалъ или, что еще хуже, поощрилъ тебя... Взяточничество процвѣтаетъ, крѣпостное право стоитъ, какъ скала, казарма на первомъ планѣ, суда нѣтъ, носятся слухи о закрытіи университетовъ... Поѣздки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно виситъ надъ всѣмъ такъ называемымъ ученымъ, литературнымъ вѣдомствомъ; а тутъ еще шипятъ и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общихъ интересовъ, страхъ и приниженность во всѣхъ, хоть рукой махни!“ Эта цитата прекрасно выясняетъ все, что ежедневно ложилось тяжелымъ камнемъ на душу Тургенева еще передъ отъѣздомъ во Францію. Съ тѣхъ поръ давленіе только усилилось: страшный 48-й годъ побудилъ еще подвинтить прессъ, и дышать стало совсѣмъ тяжело.

Художникъ съ широкимъ кругозоромъ и яснымъ пониманіемъ вещей могъ задаться вопросомъ: что я буду дѣлать? что вообще можно дѣлать въ Россіи? „Записки Охотника“ приходили къ концу сами собой; рѣдкій очеркъ изъ нихъ попалъ неизуродованнымъ въ „Современникъ“; нѣсколько заготовленныхъ не было написано за полной безнадёжностью увидѣть ихъ въ печати (наприм., „Земледѣцъ“, сюжетъ котораго Тургеневъ рассказывалъ знакомымъ). Недаромъ авторъ уже въ началѣ 1849 г. рѣшилъ прекратить серію, о чемъ и заявилъ печатно.

Наконецъ, могло быть и то: поэтъ-художникъ, успѣвшій сознать, что онъ влюбленъ во всѣ самыя разнообразныя и тонкія проявленія жизни, „въ ея капризы, въ ея мимолетную красоту“, навѣрно чувствовалъ, что даже при полной свободѣ писать онъ уже не въ силахъ ограничиться найденной рамкой жизни, что близко время, когда его потянетъ къ другимъ областямъ, къ другимъ, болѣе широкимъ и свободнымъ формамъ *). Скоро онъ услышалъ это и отъ друзей.

А эти другія формы предстояло еще искать.

Все это должно было вносить смутность и жуткость въ его настроеніе (не говоря уже о тяжелыхъ отношеніяхъ къ матери, съ которой онъ жестоко поссорился, едва вернувшись, за нѣсколько мѣсяцевъ до ея смерти). Но сознаніе, что свободному художнику нѣтъ мѣста въ тогдашней русской жизни, едва ли не преобладало надъ всѣмъ: въ прощальномъ письмѣ къ мужу Віардо онъ горько сожалѣетъ о необходимости уѣхать и доходитъ даже до такихъ словъ:

*) Есть извѣстіе, что „Переписка“ задумана была еще въ этомъ году. Затѣмъ въ 1848 г. онъ писалъ въ ред. „Современника“ о задуманномъ романѣ; о немъ же упоминаетъ онъ въ письмѣ къ Віардо изъ-подъ ареста въ 1852 г. Очевидно, въ обоихъ случаяхъ рѣчь идетъ о недописанномъ романѣ 1853 г. изъ помѣщичьей жизни (см. „Собственная господская контора“).

„Конечно, отечество имѣетъ права,—но истинное отечество не тамъ ли, гдѣ встрѣтилъ къ себѣ наиболѣе любящее отношеніе, гдѣ сердце и умъ чувствуютъ себя свободно?“ (курсивъ нашъ). Эта фраза, конечно, сорвалась отъ огорченія, но она ясно говоритъ о томъ, какъ цѣнилъ Тургеневъ духовную свободу и чего боялся онъ болѣе всего, возвращаясь на родину. „Да, братъ, я возвращаюсь... Богъ знаетъ, когда мнѣ придется писать тебѣ въ другой разъ; Богъ знаетъ, что ждетъ меня въ Россіи...“ писалъ онъ въ то же время Герцену.

Сначала дѣла его на родинѣ не особенно подтверждали опасенія. Черезъ три мѣсяца смерть матери освободила Тургенева отъ надрывающихъ семейныхъ исторій и тяжелаго матеріальнаго положенія, доходившаго до нужды и долговъ; онъ сталъ свободнымъ, богатымъ человѣкомъ. Еще важнѣе было то, что онъ пріобрѣлъ уже довольно видное мѣсто въ литературѣ; съ большой похвалой принимались его драматическія произведенія; „Холостякъ“ и „Завтракъ у предводителя“ прошли съ успѣхомъ на сценѣ, ком. „Гдѣ тонко, тамъ и рвется“ была встрѣчена чуть не восторженно кружкомъ друзей, очень строгихъ и разборчивыхъ—Анненковымъ, Некрасовымъ, Дружининымъ и др., и Некрасовъ писалъ автору даже такой отзывъ: „Безъ преувеличенія скажу вамъ, что вещицы болѣе граціозной и художественной въ нынѣшней русской литературѣ врядъ-ли отыскать“. (При тогдашнемъ безвременьи въ драматической области оно вполне понятно.)

Но особенно выдвинули Тургенева, конечно, „Записки Охотника“, съ первыхъ же очерковъ высоко оцѣненные многими не только за ихъ общественную тенденцію, но и со стороны художественности. Если Бѣлинскій хвалилъ ихъ не безъ извѣстной сдержанности, а Анненковъ и Аксаковъ указывали на слабыя стороны, то въ основѣ этой строгости лежало больше всего высокое мнѣніе объ авторѣ и большія ожиданія: „Хоръ общается изъ васъ замѣчательнаго писателя въ будущемъ“, говорилъ Бѣлинскій; „Зап. Охоти.“—ступень; пора браться за романъ“, твердилъ Анненковъ; „это — разсвѣтъ, за которымъ долженъ слѣдовать день“, указывали Аксаковы. Боткинъ же писалъ: „Я читаю ихъ съ такимъ же наслажденіемъ, съ какимъ, бывало, рассматривалъ золотыя работы Челлини...“ А Некрасовъ, одинаково чуткій къ вопросамъ искусства и къ вкусамъ публики, уже въ концѣ 1847 г. предлагаетъ Тургеневу издать напечатанные очерки отдѣльно, прибавляя: „Разсказы ваши такъ хороши и такой производятъ эффектъ, что затеряться имъ въ журналѣ не слѣдуетъ“; черезъ годъ онъ прямо уже относитъ Тургенева къ числу авторовъ, „наиболѣе читаемыхъ, хвалимыхъ и любимыхъ публикой и дѣйствительно наиболѣе замѣтныхъ въ русской литературѣ“.

Все вышеуказанное должно было сказаться въ Тургеневѣ извѣстнымъ подъемомъ настроенія. И дѣйствительно, за полтора года

пребыванія въ Россіи (до начала 1852 г.) онъ напечаталъ восемь очень разнохарактерныхъ произведеній, въ томъ числѣ такіа цѣнныя, какъ „Дневникъ лишняго человѣка“ и четыре высокаго достоинства очерка изъ „Зап. Ох.“ („Пѣвцы“, „Свиданіе“, „Бѣжинъ лугъ“ и „Касьянъ съ Красивой Мечи“).

Но едва кончились эти полтора года, какъ мрачный сфинксъ устремилъ на нашего художника свой тяжелый взглядъ и если не поглотилъ, то далъ ему почувствовать свои когти за попытку только намекнуть на одну изъ роковыхъ загадокъ русской жизни. Въ печатномъ письмѣ Тургенева о смерти Гоголя нѣтъ и не могло быть рѣчи ни о какихъ загадкахъ; какъ извѣстно, достаточно было просто назвать Гоголя великимъ писателемъ, чтобы поднялась буря. Но надо вспомнить одно, менѣе извѣстное, обстоятельство: буря разразилась въ связи съ перехваченнымъ письмомъ Тургенева къ И. Аксакову, гдѣ не только съ приличнымъ комментариемъ сообщалось, что Мусинъ-Пушкинъ „не устыдился назвать Гоголя публично писателемъ лакейскимъ“, но находились также слѣдующія строки: „Эта страшная смерть — историческое событіе, понятное не сразу; это — тайна, тяжелая, грозная тайна... Ничего отраднаго не найдетъ въ ней тотъ, кто ее разгадаетъ. Трагическая судьба Россіи отражается на тѣхъ изъ русскихъ, кои ближе другихъ стоятъ къ ея нѣдрамъ“ *). Слова эти вскрываютъ напряженное и глубокое всматриваніе Тургенева въ это время въ общій ходъ русской жизни; тотчасъ послѣ смерти Гоголя онъ не усомнился поставить это печальное событіе въ тѣсную связь, даже въ прямую зависимость отъ тяжелыхъ, ненормальныхъ условій дѣйствительности; онъ прибавляетъ въ письмѣ: „Мнѣ, право, кажется, что онъ умеръ потому, что рѣшился, захотѣлъ умереть“.

Немудрено, что, посаженный подъ арестъ, Тургеневъ, зная за собой кромѣ письма о Гоголѣ еще „Записки Охотника“, гдѣ тоже не разъ совершалось прикосновеніе къ „нѣдрамъ Россіи“ (онъ же только что приготовилъ ихъ отдѣльное изданіе, возстановивъ подлинный текстъ, искаженный въ журналѣ цензурой); могъ нѣкоторое время предаваться довольно мрачнымъ размышленіямъ о своемъ писательскомъ будущемъ. Это ясно видно въ письмѣ къ семьѣ Віардо, посланномъ изъ-подъ ареста; какъ ни бодрится онъ, увѣряя, что бѣда не велика, что 1852 годъ будетъ для него безъ весны — вотъ и все, но у него прорываются безнадежныя нотки. „Въ деревнѣ, — пишетъ онъ, — я примусь за свои очерки изъ быта русскаго народа, самаго страннаго и самаго удивительнаго народа во всемъ мірѣ. Я стану работать надъ своимъ романомъ тѣмъ съ большей свободой мысли, что мнѣ не придется пропускать его черезъ цензорскіе когти. Мой арестъ, вѣроятно, сдѣлаетъ невозможнымъ печатаніе моего произведенія въ Москвѣ (вѣроятно, надо понимать въ Россіи. — А. Г.). Очень жаль, но что же дѣлать... Прошу васъ чаще мнѣ писать, до-

*) См. ст. Сухомлинова въ Отчетъ II Отд. Академіи Наукъ за 1883 г.

рогіе друзья; ваши письма укрѣпляютъ мое мужество... Моя жизнь кончена, въ ней нѣтъ больше очарованія; я съѣлъ весь свой бѣлый хлѣбъ: будемъ жевать оставшіяся пеклеванный... Все должно остаться въ глубокой тайнѣ; малѣйшей замѣтки, малѣйшаго намека въ газетѣ будетъ достаточно, чтобы окончательно погубить меня". Тургеневъ скоро успокоился за свою судьбу какъ писателя, „очарованіе“ поэта-художника не исчезло изъ его жизни—написанная подъ арестомъ „Муму“ поражаетъ силой и свѣжестью таланта,—но грубый толчокъ жизни не могъ пройти безслѣдно и, конечно, еще усилилъ стремленіе туда, „гдѣ сердце и умъ чувствуютъ себя свободно“.

Разыгравшаяся исторія на полтора года приковала Тургенева къ орловской деревнѣ и на четыре года отсрочила его отъѣздъ изъ Россіи. Эти годы имѣютъ въ жизни нашего писателя очень важное значеніе. Оно не исчерпывается извѣстными словами въ его „Воспоминаніяхъ“ или аналогичнымъ мѣстомъ изъ письма С. Т. Аксакову: „Могу сказать, что я стараюсь не упускать никакого случая извлекать изъ провинціальной жизни всевозможную пользу. Я познакомился съ великимъ множествомъ новыхъ лицъ и ближе сталъ къ современному быту, къ народу“. Важнымъ слѣдуетъ считать также сближеніе Тургенева въ эти годы съ семьей Аксаковыхъ. Оно оказало вліяніе на выработку многихъ его взглядовъ и убѣжденій, заставило его иными глазами посмотреть кое на что въ русской жизни, опредѣлить возможные пункты его схожденія со славянофилами и отмежеваться во всѣхъ остальныхъ. Слѣды этого вліянія, прямые и косвенные, даютъ себя знать въ творчествѣ Тургенева вплоть до „Дворянскаго гнѣзда“ и отзываются въ 60-хъ годахъ въ „Дымѣ“. На немъ необходимо остановиться.

Сближеніе это произошло въ 1850 и 1851 годахъ, когда, вернувшись изъ-за границы, Тургеневъ не разъ наѣзжалъ въ Москву проѣздомъ изъ Спасскаго въ Петербургъ. Легко представить себѣ, на какой почвѣ могла сойтись славянофильская семья съ закоренѣлымъ западникомъ, первыя произведенія котораго были встрѣчены очень недружелюбно въ „Москвитянинѣ“ и „Москов. Сборникѣ“; это были „Записки Охотника“, радушно привѣтствованныя К. Аксаковымъ при первомъ же появленіи „Хоря и Калиныча“. Сочувственное вниманіе къ народной жизни, знаніе психологіи и быта крестьянина, серьезный тонъ и правдивость при обаятельномъ поэтическомъ освѣщеніи изображаемаго—все это такъ ярко отражалось на цѣломъ рядѣ послѣдующихъ очерковъ, что Аксаковымъ не трудно было повѣрить въ искренній интересъ и любовь автора къ русской жизни и русскому простому человѣку. Это было все, что требовалось, для снисканія ихъ довѣрія и расположенія. Знакомство, едва начавшее упрочиваться, прерывается ссылкой Тургенева въ деревню, и съ весны 1852 г. до отъѣзда его за границу въ 1856 г. можно насчитать не болѣе четырехъ-пяти личныхъ свиданій, по большей части кратковременныхъ. Но сохранилась довольно большая,

дающая интересный материал, переписка за эти четыре года Тургенева с С. Т. Аксаковым и обоими его сыновьями.

Аксаковы очень радовались сближению, настойчиво звали Тургенева в Москву, пеняли, что он предпочитает „Пятибрюхъ“, как символически называл К. Аксаков ненавистную северную столицу, просили сотрудничать в их „Московск. Сборникъ“. Они откровенно и подробно говорят о талантѣ Тургенева, разбирают его „Зап. Ох.“ и новыя повѣсти изъ народной жизни („Муму“ и „Постоялый дворъ“), его неоконченный романъ и „Рудина“; вмѣстѣ съ тѣмъ К. С. Аксаковъ усиленно заинтересовывает его народными пѣснями, русской стариной, старается передать ему свои взгляды на народъ, на ходъ русскаго развитія, свое отношеніе къ Западу. Тургеневъ воспринимает многія темы новыхъ друзей своихъ; вѣроятно, не безъ ихъ вліянія онъ счелъ нужнымъ зимой 1852 г. очень много заниматься русской исторіей и древностями: „прочелъ Сахарова, Терещенку, Снегирева e tutti quanti“. Въ „особенный восторгъ“ привелъ его Кирша Даниловъ. Тѣмъ не менѣе въ дебри грамотъ и лѣтописей, куда съ осторожностью, но приглашалъ его К. С., очевидно, желавшій нѣсколько руководить имъ, Тургеневъ не пошелъ; мало того: прочитавъ статью послѣдняго о древнемъ русскомъ бытѣ и вмѣстѣ съ авторомъ не признавъ вѣрности теоріи Соловьева и Кавелина о родовомъ бытѣ, онъ въ концѣ-концовъ рѣшительно расходится съ нимъ въ выводахъ: „вы рисуете картину вѣрную и, окончивъ ее, восклицаете: какъ все это прекрасно! Я никакъ не могу повторить этого восклицанія... По моему мнѣнію трагическая сторона народной жизни—не одного нашего народа—каждаго—ускользаетъ отъ васъ, между тѣмъ какъ самыя наши пѣсни громко говорятъ о ней. Мы обращаемся съ Западомъ, какъ Васька Буслаевъ съ мертвой головой—побрасываемъ его ногой—а сами...“

По вопросу о самобытномъ развитіи и о подражательности всей нашей культуры они еще разъ разошлись уже на почвѣ современности, при чемъ взглядъ Тургенева даетъ видѣть внутреннюю работу, шедшую въ немъ въ тѣсной связи съ его творческой дѣятельностью. К. Аксаковъ, рекомендуя ему изучать и изображать народную жизнь, пренебрежительно отозвался о всѣхъ душевныхъ переживаніяхъ русскаго образованнаго человѣка. „Люди-обезьяны,—писалъ онъ,—годятся только на посмѣхъ; какъ бы ни претендовалъ человѣкъ-обезьяна на страсти или на чувство, онъ смѣшонъ и не годится въ дѣло для искусства; слѣдовательно, вся сила духа въ самостоятельности; въ наше время у насъ, въ жизни, она только въ крестьянинѣ...“ Тургеневъ, въ тотъ моментъ (октябрь 1852 г.) уже авторъ „Гамлета Щигровскаго уѣзда“, „Дневника лишняго человѣка“ и напечатанной позднѣе „Переписки“, горячо вступился за права „людей-обезьянъ“, якобы не годящихся для искусства. Онъ пишетъ въ отвѣтъ: „Обезьяны добровольныя и, главное, самодовольныя—да. Но я не могу отрицать ни исторіи, ни собственнаго права жить (курсивъ подлинника); претензія

отвратительна, но страданію я сочувствую. Трудно объяснить все это въ короткомъ письмѣ. Но я знаю, что здѣсь именно та точка, на которой мы расходимся съ вами въ нашемъ воззрѣніи на русскую жизнь и на русское искусство: я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму тамъ, гдѣ вы находите успокоеніе и прибѣжище эпоса...“ Въ этомъ спорѣ сказался не только авторъ названныхъ выше произведеній: тутъ чувствуется будущій изобразитель и Рудиныхъ и Паншиныхъ.

Итогъ своихъ разногласій по вопросамъ русской жизни Тургеневъ изложилъ въ интересномъ письмѣ къ С. Т. Аксакову уже въ 1856 г., вскорѣ послѣ личнаго свиданія и споровъ съ его сыномъ. „Съ К. С., боюсь, мы никогда не сойдемся. Онъ въ „мірѣ“ видитъ какое-то всеобщее лѣкарство, альфу и омегу русской жизни; а я, признавая его особенность и, если такъ можно выразиться, свойственность Россіи, все-таки вижу въ немъ одну лишь первоначальную, основную почву, но не болѣе, какъ почву, форму, на которой строится, а не въ которую выливается государство. Дерево безъ корней быть не можетъ; К. С., мнѣ кажется, желалъ бы видѣть корни на вѣтвяхъ. Право личности имѣ, что ни говори, уничтожается, а я за это право сражаюсь до сихъ поръ и буду сражаться до конца... Пословица гласитъ: „горбатаго исправить могила“, а мы съ нимъ чуть ли не оба горбаты, только въ разныя стороны“. Любопытенъ отвѣтъ С. Т.: „Что касается Константина, то пусть онъ отвѣчаетъ самъ. Скажу только, что я горбать больше въ вашу сторону“.

Не отвѣчалъ Тургеневъ и на восторженные гимны К. Аксакова русскому простому человѣку по поводу „Муму“ и „Постоялаго двора“. Когда Аксаковъ находилъ, что образованный писатель съ смиреніемъ, благоговѣнно долженъ подступать къ подвигу—изображенію русскаго крестьянина—настолько мы ниже его—и говорилъ, что это изображеніе должно подходить къ характеру иконописи, Тургеневъ ограничился словами: „со всѣмъ сказаннымъ К. С. согласиться мнѣ трудно. Это не мѣшаетъ мнѣ... со вниманіемъ обдумывать и взвѣшивать каждое его слово“.

Благодаря страстной прямолинейности К. Аксакова быстро опредѣлились для Тургенева всѣ пункты неизбежнаго расхожденія съ нимъ, и онъ перестаетъ спорить; уважая благородство натуры и искренность своего оппонента, онъ предпочитаетъ отмалчиваться на многочисленные горячіе выпады того по щекотливымъ вопросамъ, и въ ихъ перепискѣ на три письма Аксакова приходится одно тургеневское. Приблизительно также скупое отвѣчалъ Тургеневъ и Ив. Аксакову, съ которымъ онъ сперва надѣялся сойтись „особенно тѣсно“, такъ что въ концѣ-концовъ ближе всего онъ былъ съ С. Т., съ которымъ его сводила, помимо всего другого, горячая любовь къ природѣ и страсть къ охотѣ.

Вообще слѣдуетъ сказать, что интимнаго сближенія не произошло, несмотря на взаимное желаніе; разница воззрѣній ярко сказа-

лась при первомъ же свиданіи въ маѣ 1854 г., когда Тургеневъ прогостилъ дней пять въ деревнѣ у Аксаковыхъ. Тогда С. Т. писалъ объ этомъ свиданіи младшему сыну: „О Тургеневѣ писать неумѣстно. Какъ добрый человѣкъ, онъ понравился намъ, т.-е. нѣкоторымъ. Но какъ его убѣжденія совершенно противоположны и какъ онъ совершенно равнодушенъ къ тому, что всего дороже для насъ, то ты самъ можешь судить, какое онъ оставилъ впечатлѣніе. Впрочемъ, по моей вѣротерпимости это не мѣшаетъ мнѣ любить его попрежнему“. Вѣра Сергѣевна Аксакова, описывая въ своемъ дневникѣ второе посѣщеніе Тургеневымъ ихъ деревни (въ январѣ 1855 г.), замѣчаетъ: „Константинъ начиналъ думать, что Тургеневъ сближается съ нимъ, сходится съ его взглядами и что совершенно можетъ отказаться отъ своего прежняго, но я считаю это рѣшительно невозможнымъ... Константинъ самъ, кажется, въ этомъ убѣждается и на прощаньи пришелъ въ сильное негодованіе отъ словъ Тургенева, который сказалъ, что Бѣлинскій и его письмо—это вся его религія“ и т. д. *).

Такимъ образомъ, если говорить о вліяніи Аксаковыхъ на Тургенева, то подъ нимъ приходится разумѣть отнюдь не прямое воздѣйствіе на основные взгляды и убѣжденія, а нѣчто болѣе сложное, тонкое и косвенное. Къ главнымъ положеніямъ славянофильства Тургеневъ до конца оставался холоденъ и скептиченъ, — въ „Дымѣ“ и въ другихъ мѣстахъ это выражено достаточно ясно; но онъ увидалъ по крайней мѣрѣ воочію, что рѣзкая нелюбовь къ Западу и восторженный культъ русскаго народа можетъ сочетаться и съ умомъ, и съ полной искренностью, и съ серьезнымъ, глубокимъ міровоззрѣніемъ.

Знакомство съ Аксаковыми помогло ему уяснить себѣ важное значеніе національнаго вопроса въ міровоззрѣніи; когда онъ заставляетъ своего Лежнева горячо развивать такія мысли: „Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ, двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ—чепуха, космополитъ—нуль, хуже нуля; внѣ народности ни искусства, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ!“—то ясно, что въ данномъ случаѣ авторъ солидаренъ съ своимъ героемъ. Не говоримъ уже о вполнѣ серьезной и симпатичной фигурѣ „славянофила“ Лаврецакаго. Можно сказать такъ: Тургеневъ не могъ примкнуть къ взгляду Аксаковыхъ (собственно, К. С.) на русскій народъ, но они особенно должны были содѣйствовать тому, что важность проблемы о народѣ и необходимость подступать къ ней серьезно и глубоко стала передъ нимъ во весь ростъ. Казалось бы, въ этомъ мало нуждался авторъ „Зап. Ох.“; но дѣло въ томъ, что Аксаковыхъ и эти очерки далеко не удовлетворяли. К. С. находилъ, что „Зап. Ох.“ — „только одно мерцаніе какого-то свѣта, не больше. Сверхъ того, кромѣ общаго, неяснаго достоинства, есть общіе же, ясные недостатки...“ „Зап. Ох.“ еще далеко не освободили

*) „Минувшіе Годы“, 1908 г., № 8, стр. 134. „Письмо Бѣлинскаго“—разумѣется, 1847 г. къ Гоголю.

васъ отъ прежняго“. Лишь послѣ „Муму“ и „Постоялаго двора“ онъ пишетъ автору: „спасибо вамъ!“, прибавляя: „доселѣ (русскій крестьянинъ) вамъ мало удавался“.

Вообще Аксаковы (сыновья, особенно К. С.) постоянно развиваютъ передъ Тургеневымъ мысли о важной общественной роли писателя, о необходимости браться за широкія и значительныя общественныя темы и соотвѣтственно быть безпощаднымъ къ себѣ и въ выполненіи замысла, вырабатывать строгую, простую манеру; поэтому они жестоко нападали на всѣ вычуры, претензіи слога, неумѣстныя остроты въ „Зап. Ох.“. Тургеневъ признавалъ справедливость ихъ требованій. Онъ писалъ К. Аксакову, что во многомъ раздѣляетъ его мнѣніе о „Запискахъ“ и издалъ ихъ, чтобы отдѣлаться отъ нихъ, отъ этой старой манеры. „Теперь эта обуза сброшена съ плечъ долой. Но достанетъ ли у меня силъ итти впередъ, какъ вы говорите, не знаю. Простота, спокойствіе, ясность линій, добросовѣстность работы—все это еще пока идеалы, которые только мелькаютъ передо мной“. Дальше Тургеневъ говоритъ о задуманномъ романѣ, къ которому не подступаетъ пока, не чувствуя въ себѣ той свѣтлости и силы, „безъ которыхъ не скажешь ни одного прочнаго слова“. Когда К. Аксаковъ познакомился съ первой частью этого романа, онъ писалъ автору: „Зачѣмъ подпустили вы амура? Въ наше время онъ въ большемъ ходу и безъ него шагу не ступятъ сочинители... Мало говорятъ у насъ объ общественныхъ страстяхъ челоуѣка, объ общихъ задачахъ... Общественный интересъ, вотъ что должно быть задачей литературныхъ произведеній; это слышно и въ „Муму“ и въ „Постояломъ дворѣ“. Но наше общество еще не было затронуто съ этой стороны“.

Такъ съ разныхъ сторонъ Аксаковы обращали мысль Тургенева на серьезныя стороны литературныхъ задачъ, побуждая его къ строгой вдумчивости и при выборѣ темъ и при ихъ разработкѣ. Изъ писемъ его видно, что онъ по иѣскольку разъ перечитывалъ ихъ замѣчанія и многое принималъ къ свѣдѣнію. Положимъ, одновременно и Анненковъ убѣждалъ своего друга не застывать въ формахъ „Записокъ Охотника“ и въ ихъ манерѣ, а переходить къ болѣе крупнымъ рамкамъ, но точка зрѣнія Анненкова была, главнымъ образомъ, художественно-литературная; онъ ждалъ отъ Тургенева „романа съ полной властью надъ всѣми лицами и событіями и безъ наслажденія самимъ собой (т.-е. своимъ авторствомъ)“, тогда какъ Аксаковы указывали на необходимость романа изъ жизни общества съ общественными задачами.

Анненковъ правъ, говоря въ своихъ воспоминаніяхъ, что Тургеневъ „еще прежде Рудина почувствовалъ роль, которая выпала ему на долю въ отечествѣ—служить зеркаломъ, въ которомъ отражаются здоровыя и болѣзненныя черты родины“, но слѣдуетъ признать, что въ пробужденіи этого сознанія извѣстная роль принадлежала семьѣ Аксаковыхъ.

V.

Общеніе съ этой семьей и уединенная жизнь, полная простых, но значительных впечатлѣній деревни и провинціи, развили и усилили серьезные элементы тургеневскаго таланта. Раньше онъ лишь иногда могъ съ простымъ и сочувственнымъ вниманіемъ отнестись къ тому, что рождали глухіе углы русской жизни („Мой сосѣдъ Радиковъ“, „Уѣздный лѣкарь“, „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“), по большей же части его взглядъ скользилъ юмористически-равнодушно по мелкимъ и курьезнымъ людямъ захолустья; сюда относятся всѣ эти насмѣшки надъ старыми дѣвами, безволосыми восторженными барышнями и т. п., которыя такъ возмущали Аксаковыхъ; даже Гамлетъ выставленъ болѣе чудакомъ, чѣмъ несчастнымъ.

Но постепенно углубляется вниманіе Тургенева къ русской жизни: въ незамѣтныхъ людяхъ—мужчинахъ и женщинахъ (особенно дѣвушкахъ),—ютящихся по угламъ провинціи или мелкаго столичнаго быта, открываетъ онъ и хорошую, хотя немудрящую простоту и искренность, и тихое, молчаливое горе, и симпатичную безалаберность, и подчасъ подлинное достоинство и содержательность цѣлей. Не укрывается отъ него повсемѣстный, обычный, ежедневный разладъ, антагонизмъ, въ который неизбежно впадалъ всякій совѣстливый и размышляющій человѣкъ среди прочнаго старозавѣтнаго быта съ его инстинктивной пошлостью, деревянностью и грязью. Онъ уже видѣлъ „трагическую судьбу племени“ въ участи культурнаго слоя, отколовшагося отъ народной толщи; онъ понималъ всю драму жизни многочисленныхъ единицъ въ этомъ слоѣ, „людей-обезьянъ“ по выраженію К. Аксакова, оставшихся на перепутьи и не нашедшихъ своего мѣста въ жизни по слабости силъ; онъ разсмотрѣлъ, наконецъ, что даже людямъ выдающимся не легко избѣжать крушенія, въ которомъ есть нѣчто роковое.

Къ такой схемѣ сводятся литературные замыслы Тургенева въ этотъ періодъ, отъ „Дневника лишняго человѣка“ кончая „Рудинъ“. „Рудинъ“ является кульминаціоннымъ пунктомъ въ цѣлой серіи предшествовавшихъ ему повѣстей, которыя какъ бы служили для него этюдами. Во всѣхъ этихъ повѣстяхъ („Дневникъ лишняго человѣка“, „Два пріятели“, „Переписка“, „Затишье“ и „Яковъ Пасынковъ“) сочувственнымъ вниманіемъ автора озарены какъ разъ тѣ мелкія, неяркія личности, тѣ явленія русской жизни, о которыхъ мы говорили выше и которыя подъ ласковымъ солнцемъ поэтической симпатіи озолотились подобно скромному русскому пейзажу, заиграли красками и приобрѣли интимную задушевность; здѣсь Тургеневъ впервые является пѣвцомъ „лишнихъ людей“.

Ходячій терминъ этотъ со временъ боевой эпохи 50-хъ—60-хъ гг. часто служитъ для обозначенія типичныхъ представителей передовой интеллигенціи, которыхъ калѣчилъ и осуждалъ на общественное бездѣйствіе тяжелый николаевскій режимъ; такое именно толко-

ваніе проводилъ и защищалъ передъ Чернышевскимъ Герценъ. Въ примѣненіи къ тургеневскому творчеству оно было бы слишкомъ узкимъ и малоподходящимъ,—оно отчасти приложимо развѣ только къ Рудину. Остальные герои этого типа, начиная съ Чулкатурина, случайно давшего имя цѣлой группѣ, неповинны въ общественныхъ стремленіяхъ и задачахъ, смятыхъ и растоптанныхъ административными порядками; всѣ они терпятъ крушеніе въ личной судьбѣ и ушиблены всего болѣе крѣпостнымъ строемъ и выросшими на его почвѣ бытовыми условіями жизни. Такъ они и были задуманы авторомъ, какъ типы не общественные прежде всего, а психологически-бытовые; рисуя даже Рудина, Тургеневъ не ставилъ себѣ очередной задачи политическаго момента, и Бакунинъ, давшій ему нѣкоторыя черты героя, интересовалъ его главнымъ образомъ съ психологической стороны,—это былъ Бакунинъ юношеской поры, краснорѣчивый гегельянецъ-діалектикъ, властный, пылкій, но суховатый, не всегда тактичный, охотно влѣзавшій съ своимъ анализомъ въ интимную душевную жизнь друзей (какъ то было съ Бѣлинскимъ), а не Бакунинъ сложившійся, съ яркими чертами своей общественной и политической фізіономіи; понятно, почему Тургеневъ былъ такъ доволенъ, когда узналъ, что С. Т. Аксаковъ отказывается принимать въ расчетъ сходство съ Бакунинымъ и разсматриваетъ Рудина, какъ общій литературный типъ. Быть стоялъ передъ нимъ, какъ главная задача творчества; недаромъ онъ писалъ Аксакову про замыселъ своего неоконченнаго романа, предшествовавшаго Рудину: „Если смогу, постараюсь выразить современный бытъ, какимъ онъ у насъ выродился“.

Подобная постановка задачи, разумѣется, не мѣшала общественному (въ широкомъ смыслѣ) значенію и типовъ лишнихъ людей и всего творчества тургеневского, но она объясняетъ нѣкоторое недовольство тогдашней критики, желавшей видѣть въ его герояхъ болѣе ярко выраженнымъ современное общественное настроеніе. Это увлеченіе заставило даже умѣреннаго Дружинина упрекать автора за то, что онъ не развилъ передъ читателемъ „многостороннюю картину столкновеній Рудина съ дѣйствительностью“, а ограничился любовнымъ эпизодомъ, тогда какъ „Рудины не поясняются черезъ страсть“; духъ времени побудилъ самого Сенковского дать (въ частномъ письмѣ) восторженный отзывъ о романѣ: онъ увидалъ въ Рудинѣ ясныя, хотя по необходимости не выговоренныя черты политическаго агитатора; другіе возмущались непригодностью ничтожной, мелкой натуры героя для той крупной общественной роли, которую облекъ его авторъ. Но вотъ передъ нами миѣніе извѣстнаго Кропоткина. Онъ какъ разъ восхваляетъ Тургенева за то, что онъ характеризовалъ Рудина всего болѣе любовью къ Натальѣ. „Великій поэтъ зналъ, что человѣческій типъ не характеризуется повседневной работой, какъ бы ни была она важна, а еще менѣе—его рѣчами... Многие другіе раньше Рудина взывали къ равенству и свободѣ, и многіе

другіе будутъ взывать послѣ него. Но тотъ спеціальный типъ апостола равенства и свободы—человѣка словъ, а не дѣла — котораго поэтъ намѣревался изобразить въ Рудинѣ, характеризуется отношеніями героя къ различнымъ лицамъ, а всего болѣе его любовью, ибо въ любви вполнѣ обнаруживается человѣкъ со всѣми его личными особенностями“. Можно не соглашаться съ аргументаціей Кропоткина, но надо признать, что извѣстныя стороны тургеневскаго замысла угаданы имъ вѣрно, чѣмъ многими современными Рудину критиками. Тургеневъ однажды сказалъ про критиковъ: „Они убѣждены, что авторъ непремѣнно только и дѣлаетъ, что „проводитъ свои идеи“; не хотятъ вѣрить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни есть высочайшее счастье для литератора“.

Мы не думаемъ отрицать общественнаго значенія рудинскаго типа и авторскихъ намѣреній въ этомъ направленіи, мы считаемъ, что этой сторонѣ значенія лишннихъ людей романъ тогда же далъ такую прекрасную формулу, что намъ до сихъ поръ почти ничего ни прибавлять, ни исправлять въ лежневской характеристикѣ героя. Кстати сказать: пора бы оставить еще повторяющіеся иногда упреки автору въ мнимой двойственности отношенія къ Рудину; двойственность есть въ самомъ типѣ, какъ она была во многихъ изъ поколѣнія 30-хъ — 40-хъ г., и такъ же, какъ въ Рудинѣ, главные дефекты этого поколѣнія сказывались всего рѣзче въ практическихъ вопросахъ жизни и въ личномъ поведеніи, — это понималъ и Герценъ. Тургеневъ вовсе не двоился въ своемъ пониманіи Рудина; онъ ясно видѣлъ и общественное его „лицо“ и частную изнанку, видѣлъ, чего не хватаетъ ему и для болѣе полной общественной роли, понималъ и то, что въ этомъ всемъ гораздо больше „не вина Рудина, а судьба Рудина“, какъ выразился Лежневъ. Но признавая великое мастерство, съ которымъ вмѣщена въ романѣ картина умственного склада цѣлаго поколѣнія, мы все же полагаемъ, что въ основѣ замысла лежало прежде всего созданіе живого, индивидуальнаго лица, что психологическій образъ шелъ впереди прочаго, краски и тѣло ему давалъ широко понятый бытъ, а черты общественнаго момента входили лишь сами собой, въ силу чуткаго переживанія талантомъ характерныхъ настроеній своей эпохи. Таковой по существу всегда являлась въ откликахъ Тургенева современность: сильно переработанная творческой фантазіей, съ художественными задачами на первомъ планѣ.

Наконецъ, за указанный выше широкій, психологически-бытовой интересъ Тургенева къ русской жизни въ это время говоритъ и то обстоятельство, что среди его „лишнихъ людей“ женщинъ не меньше, чѣмъ мужчинъ. Въ женской судьбѣ, тогда всецѣло замыкавшейся семейнымъ кругомъ, онъ разсмотрѣлъ нерѣдку драму, молчаливо переживаемую, когда передъ дѣвушкой почему-либо замкнется заколдованная страна семейнаго счастья, или она почувствуетъ разладъ съ окружающей обстановкой, или еще какъ-нибудь иначе

ушибеть нескладная, грубая русская жизнь ее, не умѣющую или не желающую пойти общей колеей. И вотъ, на смѣну прежнимъ дешевымъ насмѣшкамъ надъ старыми дѣвами, надъ провинціальной восторженностью изъ-подъ пера Тургенева выливаются глубоко правдивыя, человѣчески-хорошо прочувствованныя страницы о положеніи русской женщины въ „Перепискѣ“, выходятъ живые образы дѣвушекъ, которымъ не задалась жизнь. Ихъ не перечесть, такъ много ихъ, самыхъ разнообразныхъ, отъ скромныхъ, едва замѣтныхъ, кончая яркими, богато одаренными, и всѣ онѣ несчастны или неудачливы; онѣ образуютъ собой крупный отдѣлъ тургеневскаго творчества, на всемъ его протяженіи, и цѣлый особый міръ русской жизни, котораго Тургеневъ былъ Колумбомъ. Здѣсь въ періодъ „Рудина“ онъ впервые открылъ ихъ среди общества, когда вопросъ о „лишнихъ людяхъ“ сталъ передъ нимъ широко, и далъ первыя ихъ фигуры въ „Перепискѣ“, въ „Затишѣ“, въ „Пасынковѣ“ съ тѣмъ, чтобы продолжать ихъ въ „Фаустѣ“, „Асѣ“ и далѣе. И онъ безъ колебанія призналъ въ положеніи старѣющей дѣвушки, которая чувствуетъ себя одинокой даже между своими, драму однородную съ тою, что отравляла жизнь всѣмъ его лишнимъ людямъ,—его Алексѣй Петровичъ пишетъ своей корреспонденткѣ: „Ваше положеніе можно, пожалуй, назвать трагическимъ. Но знайте, вы не однѣ въ немъ находитесь: почти нѣтъ современнаго человѣка, который бы не находился въ немъ“.

Разсмотрѣвъ въ русской жизни большое количество неудачливыхъ и несчастныхъ людей, которыхъ она калѣчила или выталкивала вонъ какъ лишнихъ, такъ какъ они были настроены не въ ладъ съ ней, и изобразивъ ихъ разнообразныя варіаціи съ самымъ крупнымъ и блестящимъ ихъ представителемъ во главѣ, Тургеневъ нашель въ этой же дѣйствительности и болѣе здоровые, уравновѣшенные элементы, и образцы большой душевной силы и красоты. Это дано имъ было въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“, которому, какъ и „Рудину“, предшествовалъ рядъ этюдовъ, болѣе или менѣе тѣсно съ нимъ связанныхъ („Фаустъ“, „Поѣздка въ Полѣсье“, „Ася“).

Но прежде чѣмъ онъ взялся за эту работу, въ которой отъ подведенія итоговъ совершается переходъ къ чему-то новому, не столь безотрадному, ему предстояло пережить тяжелый кризисъ перелома личной жизни.

Во всѣхъ произведеніяхъ разсматриваемаго періода съ большой силой звучать автобіографическіе мотивы, вообще рѣдко смолкающіе у Тургенева; остановимся нѣсколько на его личныхъ настроеніяхъ этой поры.

Въ статьѣ по поводу „Отцовъ и Дѣтей“ Тургеневъ бросилъ мимоходомъ фразу о малой проницательности критиковъ по части того, что дѣлается въ душѣ автора: „Они, на примѣръ, и не подозреваютъ того наслажденія, о которомъ упоминаетъ Гоголь и которое состоитъ въ казненіи самого себя, своихъ недостатковъ, въ изображаемыхъ

вымышленных лицах". Этим „казніемъ самого себя“ Тургеневъ занимался давно и усердно; оно шло объ руку съ той продолжительной работой надъ самовоспитаніемъ, о которой говоритъ Анненковъ. Такъ, несомнѣнно, періодъ берлинской „мѣшковатости“ и необузданнаго „геніальничанья“ по возвращеніи былъ „казненъ“ въ исповѣди Гамлета Шигровскаго уѣзда, что явствуетъ уже изъ одной его фразы: „за границей я больше молчалъ, а тутъ вдругъ заговорилъ неожиданно бойко и въ то же самое время возмечталъ о себѣ Богъ вѣдаетъ что“. Гамлетъ писанъ за границей во время куртавнельскаго сидѣнія, когда Тургеневъ становится серьезнѣе; но еще болѣе усиленная работа надъ собой пошла въ рассматриваемый періодъ, обстановка котораго дана выше. Тутъ пришла пора общей оглядки на все прошлое, подведенія итоговъ душевной жизни при свѣтѣ новаго, болѣе зрѣлаго и глубокаго отношенія къ дѣйствительности. Соотвѣтственно съ этимъ произведенія этого періода особенно богаты личными признаніями. Ихъ очень много въ „Перепискѣ“, задуманной, какъ мы знаемъ, еще въ 1850 г. и оконченной лишь въ 1855 г. Здѣсь изъ писемъ Алексѣя Петровича можно извлечь цѣлый рядъ подлинныхъ фактовъ внутренней жизни автора; стоитъ сопоставить съ извѣстнымъ намъ біографическимъ матеріаломъ фразы вродѣ слѣдующихъ: „На-дняхъ я въ первый разъ оглянулся на свое прошлое... и сердце у меня болѣзненно сжалось“; „Переходъ отъ жизни мечтательной къ жизни дѣйствительной совершился во мнѣ поздно... можетъ быть, слишкомъ поздно, можетъ быть, до сихъ поръ не вполне“... „въ молодости меня занимало одно: мое милое я“... „У меня не было товарищей — были такъ называемые друзья. Иногда я нуждался въ ихъ присутствіи, какъ электрическая машина нуждается въ разрядникѣ“... „Мнѣ совѣстно и гадко вспомнить о томъ, какъ нѣкогда разыгрывалось и тѣшилось мое дрянное самолюбіе“... По всей повѣсти разсыпаны слѣды интимной работы автора надъ собой; вездѣ признаніе лжи себѣлюбивыхъ и фразерскихъ мечтаній, вычурности, крикливости; высокая оцѣнка искренности и простоты; герой приходитъ къ выводу, что не надо ждать и требовать отъ жизни ничего особеннаго, исключительнаго, а принимать спокойно и съ благодарностью ея немногіе дары. Многія личныя черты душевной мелкости и фальшивости за молодые годы „казнены“ и въ „Яковѣ Пасынковѣ“ и въ „Рудинѣ“. Чувство уходящей молодости, ощущение перелома жизни, прощаніе съ „мечтательностью“, съ „романтизмомъ“, грусть объ отлетающей поэзіи юношескихъ лѣтъ, но большею частью сожалѣніе о безплодно или ложно прожитыхъ годахъ — всѣ эти глубоко личные мотивы насыщаютъ собою творчество Тургенева за 50-е годы, особенно „Переписку“, „Фауста“, „Поѣздку въ Польшу“, „Асю“, „Дворянское гнѣздо“. Съ ними близко связанъ мотивъ неудавшейся любви, нерѣдко съ излюбленнымъ, родственнымъ душѣ автора, нерѣшительнымъ героемъ; онъ сквозитъ въ цѣломъ рядѣ произведеній, и рудинская любовь есть лишь болѣе крупная ва-

ріація этого мотива, вытекшаго изъ личныхъ переживаній Тургенева.

Наконецъ, сильной заключительной нотой сюда входитъ чувство одиночества, бобыльства, безсемеиности (къ 1854 году относится крушеніе едва ли не самой серьезной попытки Тургенева создать себѣ семейную жизнь—исторія съ О. А. Тургеневой). Этотъ послѣдній мотивъ, слышныи явственно въ „Перепискѣ“, „Фаустѣ“ и „Асѣ“, входитъ также въ замыселъ „Рудина“ и достигаетъ въ 50-хъ годахъ своей высшей точки въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“; онъ такъ важенъ для тургеневскаго творчества, что легко различить его отзвуки во всѣхъ крупнѣйшихъ, казалось бы, наиболѣе объективныхъ, произведеніяхъ нашего романиста: занозу одинокой безпріютности, кромѣ Рудина и Лаврецкаго, носятъ въ душѣ и Потугинъ, и Неждановъ; даже Базаровъ говоритъ о своей „горькой, терпкой, бобыльной жизни“. Тутъ, въ этомъ пунктѣ, болитъ старая, незаживающая рана самого автора. О его роковомъ чувствѣ къ Віардо еще не легко говорить по недостатку матеріала, но ясно, что оно въ этотъ періодъ пребыванія Тургенева въ Россіи переживало кризисъ. Отторгнутый своей опалой на неопредѣленный срокъ отъ Франціи, Тургеневъ, по-видимому, начиналъ примиряться съ разлукой; внимательное и сочувственное вниканіе въ русскую жизнь привязывало все прочнѣе его къ Россіи; онъ находилъ большой интересъ въ открывшихся передъ нимъ интимныхъ переживаніяхъ цѣлаго культурнаго слоя Россіи, считалъ уже возможнымъ искать и такъ недостававащаго ему личнаго счастья здѣсь, въ глуши, на родинѣ. Уже рассказчикъ въ „Яковѣ Пасынковѣ“ признавался, что „глушь и даль не такъ страшны, какъ думаютъ иные, и въ самыхъ потаенныхъ мѣстахъ дремучаго лѣса, подъ валежникомъ и дромомъ, растутъ душистые цвѣты“. Уже герой „Переписки“ разсмотрѣлъ чудесную душу Маріи Александровны, и ихъ незамѣтно выросшая любовь вотъ-вотъ готова была расцвѣсти... Но пришло письмо изъ Италіи, съ запахомъ померанцевыхъ цвѣтовъ, съ прилипшими лепестками—живыми слѣдами живой, какъ порохъ, веселой, умной Нинетты, которая поетъ, какъ птичка. Все въ душѣ поднялось вихремъ, нахлынула любовь, та самая, которая „подцѣпляетъ человѣка, какъ коршунъ цыпленка, и несетъ его куда угодно“, въ которой „нѣтъ равенства, такъ называемаго свободнаго соединенія душъ“, а всегда „одно лицо—рабъ, а другое—властелинъ“—и бѣдный Алексѣй Петровичъ съ грустью констатируетъ: „Экая, какъ подумаешь, моя судьба-то! Въ первой молодости я непремѣнно хотѣлъ завоевать себѣ небо... потомъ пустился мечтать о благѣ всего человѣчества, о благѣ родины; потомъ и это прошло: я думалъ только, какъ бы устроить себѣ домашнюю, семейную жизнь... да споткнулся...“

Вотъ что приблизительно переживалъ Тургеневъ въ 1855 г., когда писалъ приведенныя строки „Переписки“, когда воспроизводилъ неудачную любовь Дмитрія Рудина. Вотъ отчего въ слѣду-

ющемъ году идутъ усиленные хлопоты о заграничномъ паспортѣ, и лѣтомъ онъ уже спѣшитъ во Францію. Передъ отъѣздомъ онъ еще разъ съ особой значительностью и силой влагаетъ интимныя переживанія свои въ рассказъ „Фаустъ“. Трудно не видѣть прямого автобіографическаго значенія въ подобныхъ признаніяхъ героя: „Я все знаю и вижу ясно. Я знаю, что мнѣ подъ сорокъ лѣтъ, что она жена другого, что она любитъ своего мужа; я очень хорошо знаю, что отъ несчастнаго чувства, которое мною овладѣло, мнѣ, кромѣ тайныхъ терзаній и окончательной растраты жизненныхъ силъ, ожидать нечего... но отъ этого мнѣ не легче...“ „Стыдно мнѣ! Любовь все-таки эгоизмъ; а въ мои годы эгоистомъ быть непозволительно; нельзя въ 37 лѣтъ жить для себя; должно жить съ пользой, съ цѣлью на землѣ, исполнять свой долгъ, свое дѣло. И я принялся было за работу... Вотъ опять все развѣяно, какъ вихремъ!“ Поэтическая фантазія подсказала исходъ кризиса въ смерти героини съ итальянской кровью въ жилахъ и въ строгомъ выводѣ: „жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслажденіе... жизнь—тяжелый трудъ“. Отреченіе, желѣзные цѣпи долга—безъ этого нельзя дойти, не падая, до конца своего поприща... Съ дѣйствительностью не такъ легко было ладить.

Оставивъ Россію въ августѣ 1856 г., Тургеневъ не возвращался цѣлыхъ два года. Почти весь первый годъ прошелъ въ мучительныхъ и бесплодныхъ попыткахъ какъ-нибудь выяснитъ свои отношенія къ Віардо (къ этой зимѣ относится рассказъ Фета о посѣщеніи Куртавнеля и о признаніи Тургенева въ своемъ „рабствѣ“); онъ болѣетъ, скучаетъ по Россіи, все родное становится ему вдвойнѣ дороже, въ этомъ чужомъ воздухѣ онъ „разлагается, какъ мерзлая рыба при оттепели“; „я уже слишкомъ старъ, чтобы не имѣть гнѣзда, не имѣть дома“, пишетъ онъ Л. Толстому, но уѣхать не можетъ. Настроеніе его очень тяжелое; онъ не только ничего не пишетъ, но доходитъ весной 1857 г. до полного отчаянія во всей своей дѣятельности. Довольно строгіе отзывы критики о только что вышедшемъ собраніи его „Повѣстей и рассказовъ“ и ложные слухи, что изданіе не расходуется, подлили еще горечи, и Тургеневъ пишетъ Боткину уже цитированное нами письмо, гдѣ сообщаетъ, что на дняхъ разорвалъ и выбросилъ всѣ начатыя планы работъ и ни одной строчки не напечатаетъ „до скончаія вѣка“, ибо талантъ его исчерпанъ и ему нечего больше сказать. Онъ, наконецъ, оторвался отъ Парижа, уѣхалъ на все лѣто въ Лондонъ, зиму и весну провелъ въ Италіи, оправился, началъ работать, далъ „Асію“ и взялся за „Дворянское гнѣздо“, а личный вопросъ остался открытымъ. Въ отвѣтъ на уговоры Некрасова твердо рѣшиться на что-либо опредѣленное, вернуться въ Россію, онъ повторяетъ: „Нѣтъ, ужъ точно: этакъ жить нельзя. Полно сидѣть на краешкѣ чужого гнѣзда. Своего нѣтъ—ну и не надо никакого“. Онъ твердо собирается вернуться въ Россію „совсѣмъ“. „Полно, перестань, ты заплатилъ безумству дань“,

цитируетъ онъ въ примѣненіи къ себѣ—и остается въ неопредѣленномъ положеніи. Такъ онъ и остался на всю жизнь: неопредѣленность превратилась въ хроническую, утративъ остроту.

Слѣдуетъ, однако, сказать, что въ то время многія причины задерживали возвращеніе Тургенева на родину. Прежде всего болѣзнь его растянулась чуть не на годъ, а затѣмъ вѣсти изъ Россіи заключали въ себѣ мало утѣшительнаго. 1856 и 1857 годы прошли безъ замѣтныхъ улучшеній жизни, реформъ или реформы (крестьянской), на которой сосредоточивалось все вниманіе, еще все ждали, въ литературной области царила все та же анекдотическая цензура и ежедневныя изнурительныя схватки съ нею по мелкимъ поводамъ. Начинавшійся „обличительный“ жаръ въ журналистикѣ былъ такого невысокаго полета, что имъ было трудно удовлетвориться; Некрасовъ писалъ въ это время: „Противно раскрывать журналы—все доносы на квартальныхъ да на исправниковъ,—однообразно и бездарно“; Тургеневъ вторилъ ему: „Современникъ“ плохъ. Не то выдохся, не то воняетъ. А впрочемъ, мнѣ это все равно... Пусть публика набиваетъ себѣ брюхо этими пряностями. На здоровье!“ Скоро къ этимъ отзывамъ присоединился ироническій голосъ Добролюбова. Вообще пробужденіе давно охваченнаго летаргіей общества совершалось медленно и вяло, чему не мало содѣйствовала нерѣшительность правительства, и предразсвѣтная мгла еще густо облежала страну. Только что вернувшійся изъ-за границы Некрасовъ, съ одной стороны, усиленно звалъ Тургенева въ Россію, а съ другой—писалъ: „Здѣсь ждетъ тебя жизнь сѣренькая... Сѣро, сѣро! Глупо, дико, глухо—и почти безнадежно!“ И рядомъ помѣщалъ только что сочиненные стихи:

Въ столицѣ шумъ, гремятъ вѣтѣи,
Бичуя рабство, зло и ложь,
А тамъ, во глубинѣ Россіи,
Что тамъ? Богъ знаетъ, не поймешь!..
Надъ всей равниной безпредѣльной
Стоитъ такая тишина,
Какъ будто впала въ сонъ смертельный
Давно дремавшая страна.

Озабоченный этимъ сномъ въ виду надвигавшейся ликвидаціи крѣпостного строя и чувствуя, что общество мало готово къ ней, старикъ Аксаковъ въ декабрѣ 1857 г. пишетъ Тургеневу горячее и серьезное письмо, убѣждая его немедленно вернуться и взывая къ его чувству гражданского долга: „Переломъ засталъ насъ совершенно врасплохъ, у насъ нѣтъ ничего готоваго... мы не только не столковались между собой, но мы еще и не думали о дѣлѣ серьезно“. Тургеневъ прекрасно понималъ важность момента, и если его мало прельщала перспектива ѣхать въ Петербургъ для возни съ „Современникомъ“, то примкнуть такъ или иначе къ дѣлу обновленія Россіи онъ испытывалъ потребность. Въ то время, когда Аксаковъ писалъ ему: „нельзя жить на чужой сторонѣ, когда рѣшается судьба

родины“, онъ уже нашелъ свой способъ дѣйствія: заинтересовавшись съ первыхъ шаговъ изданіемъ „Колокола“ (началъ выходить съ іюля 1857 г.), онъ въ концѣ года—уже дѣятельный сотрудникъ Герцена, совѣтуя ему и доставляя цѣнные матеріалы изъ Россіи черезъ вліятельныхъ петербургскихъ знакомыхъ. Освободившись къ веснѣ слѣдующаго года отъ болѣзни, лѣтомъ онъ спѣшитъ въ Россію кончать въ тиши своего Спасскаго „Дворянское гнѣздо“, начало котораго привезъ съ собой.

„Дворянское гнѣздо“ представляетъ собой послѣднюю, заключительную обработку жизненнаго матеріала, собраннаго въ періодъ шестилѣтняго пребыванія Тургенева въ Россіи. Здѣсь въ наиболѣе сильномъ и разработанномъ видѣ снова провелъ авторъ черезъ свою душу важнѣйшія свои переживанія, отразившіяся и въ другихъ произведеніяхъ данной поры. Особенно тѣсно связанъ съ романомъ „Фаустъ“; стоитъ сравнить тамъ и здѣсь чувство мира и тишины, охватившее героя въ деревнѣ, характеристику Вѣры, являющейся прямымъ этюдомъ къ Лизѣ, фигуру нѣмца Шиммеля съ его благоговѣйнымъ отношеніемъ къ Вѣрѣ,—этотъ первый набросокъ Лемма. Даже главная ситуація романа уже ясно дана въ повѣсти: тамъ и здѣсь пожившій человекъ, еще не испытывавшій истинной любви, ощущаетъ ее при встрѣчѣ съ чистымъ, серьезнымъ, простымъ и глубокимъ существомъ, тоже любящимъ впервые; одинъ изъ нихъ не свободенъ, и встрѣча разбиваетъ жизнь героини, а итоги героя—отречение отъ личнаго счастья и строгое чувство долга. Мы уже видѣли, какъ тѣсно связанъ съ личнымъ настроеніемъ Тургенева и какъ устойчивъ въ его творчествѣ этихъ лѣтъ мотивъ скорбной оглядки на прошлое, элегическихъ счетовъ съ жизнью; воспоминаніе витаетъ грустной тѣнью надъ „Дворянскимъ гнѣздомъ“, какъ надъ „Рудинимъ“ и всѣми вещами этой поры. Тургеневъ призналъ это нѣсколько лѣтъ спустя, поздравляя своего друга Анненкова съ женитьбой: „То, о чемъ я иногда мечталъ для самого себя, что пошлось передо мною, когда я рисовалъ образъ Лаврецакаго,—свершилось надъ вами, и я могу признать все, что дружба имѣетъ благороднаго и чистаго, въ томъ свѣтломъ чувствѣ, съ которыми я благословляю васъ на долгое и полное счастье. Это чувство тѣмъ свѣтлѣе, чѣмъ гуще ложатся тѣни на собственное мое будущее“.

При общемъ элегическомъ тонѣ новаго романа его общественная перспектива какъ будто не такъ безотраднa, какъ въ Рудинѣ; авторъ, присоединяя новый портретъ къ своей галлерей лишннихъ людей-неудачниковъ, повидимому, хотѣлъ здѣсь указать на жизнеспособныя черты этого типа, и замыселъ фигуры Лаврецакаго, съ его живымъ чувствомъ родины, съ близостью къ реальнымъ задачамъ жизни, съ смиреніемъ передъ народной правдой, ясно говоритъ о деревенскихъ впечатлѣніяхъ автора, о вліяніи Аксаковыхъ. Тѣмъ не менѣе и на этомъ романѣ сказалась обычная для Тургенева своеобразная постановка задачи: широкой культурно-психологическій мате-

ріалъ, проведенный при этомъ сквозь призму личной душевной исторіи, занялъ почти все поле дѣйствія, а прикрѣпленность къ определенному общественному моменту оказалась очень слабой. Такъ легко было бы Тургеневу въ 1858 году закончить романъ картиной возникавшаго оживленія („Придетъ весна, и я полечу на родину, гдѣ еще жизнь молода и богата надеждами“, пишетъ онъ С. Т. Аксакову), но сознаніе важности переживаемаго кризиса отразилось лишь въ одной репликѣ Михалевича („и когда же, гдѣ же вздумали люди обайбачиться?“ и т. д.), которая невольно заставляетъ вспомнить аксаковское письмо; Лаврецкій пересталъ думать о своекорыстныхъ цѣляхъ, трудился не для одного себя, имѣлъ право быть довольнымъ,—и все-таки: „Догорай, бесполезная жизнь!“ И только обращеніе въ эпилогъ къ молодымъ силамъ, которымъ легче будетъ жить и работать, даетъ неясный просвѣтъ въ ближайшее будущее и позволяетъ видѣть въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ извѣстный шагъ впередъ по сравненію съ Рудинымъ.

Извѣстно свидѣтельство Анненкова о большомъ успѣхѣ „Дворянскаго Гнѣзда“; всѣ слои общества, критики различныхъ направленій соединились въ признаніи крупнаго значенія романа; Тургеневъ, по словамъ Анненкова, не могъ не видѣть, что репутація его, какъ общественнаго писателя, психолога и живописца нравовъ, устанавливается теперь окончательно. И дѣйствительно, одни критики радовались, что типъ лишняго челоѣка оказался способенъ возбуждать не одно лишь сожалѣніе къ его безсилію и моральнымъ дефектамъ; другіе съ удовольствіемъ указывали, что положительные черты Лаврецкаго явились слѣдствіемъ его приближенія къ народнымъ началамъ, что его религіозность, смиреніе и скромное, добросовѣстное труженничество знаменуютъ пораженіе гордаго западника-индивидуалиста, чуждаго русской землѣ и народу; третьи (Добролюбовъ) понимали романъ иначе и шире, видя въ трагическомъ положеніи Лаврецкаго и Лизы, очень жизненномъ и типичномъ, сильную пропаганду своего рода, побуждающую читателя задуматься надъ цѣлымъ кругомъ понятій, вліяніе которыхъ сдѣлало драму неизбежной. Вмѣстѣ съ тѣмъ было ясно, что романъ представляетъ собой благоуханный вѣнокъ на могилу цѣлаго ряда прежнихъ героевъ Тургенева, поэтическое напутствіе цѣлой отживающей полосѣ русской жизни; дальше въ этомъ направленіи итти было нельзя, слѣдовало перейти къ изображенію новыхъ потребностей и стремленій общества; это понимали тогда одинаково такіе несхожіе другъ съ другомъ критики, какъ Анненковъ и Добролюбовъ.

VI.

Не менѣе ясно было это и для Тургенева, немедленно отвѣтившаго своимъ „Наканунъ“. По обычаю онъ отвѣтилъ въ своеобразной формѣ: всѣ общественныя чаянія, всю нетерпѣливость ожиданія

онъ вложилъ въ исторію любви и передалъ черезъ Елену. Этотъ замыселъ зрѣлъ въ немъ уже нѣсколько лѣтъ; Тургеневъ говоритъ, что знаменитая каратѣвская тетрадка, давшая ему сюжетъ повѣсти (см. его предисловіе къ романамъ), получена была имъ еще въ 1855 г.; тогда онъ собирался писать „Рудина“, но задача, выполненная послѣ въ „Наканунѣ“, изрѣдка возникала передъ нимъ: „Фигура главной героини, Елены, тогда еще новаго типа въ русской жизни, довольно ясно обрисовывалась въ моемъ воображеніи, но не доставало героя, такого лица, которому Елена, при ея еще смутномъ, хотя сильнымъ стремленіи къ свободѣ, могла предаться“. Дѣйствительно, намеки на Елену можно найти въ бѣглыхъ штрихахъ „Фауста“ и „Аси“; Вѣра однажды говоритъ: что за охота мечтать о себѣ, о своемъ счастьи?—сама она любитъ мечтать о трудныхъ, но реальныхъ подвигахъ, полезныхъ для человѣчества; Ася тоже мечтаетъ о „трудномъ подвигѣ“. Но всего опредѣленнѣе слова героини „Переписки“ объ избранникѣ сердца дѣвушки: „Велика его власть въ это время надъ нею!.. Если бы онъ былъ героемъ, онъ бы воспламенилъ ее, онъ бы научилъ ее жертвовать собою, и легки были бы ей всѣ жертвы! Но героевъ въ наше время нѣтъ...“ Итакъ, въ 1855 г., когда окончена была „Переписка“, передъ Тургеневымъ мелькалъ уже образъ сильной дѣвушки, способной на всѣ жертвы и ждущей лишь достаточно серьезнаго героя, который воспламенилъ бы ее, конечно, не одной перспективой счастливой семейной жизни; въ Рудинѣ онъ далъ ей лучшаго героя изъ тѣхъ, какими тогда располагалъ, и тотъ не выдержалъ пробы, хотя требованія Натальи не шли дальше силы чувства и борьбы съ матерью; Елену не удовлетворилъ бы одинъ фактъ самостоятельно заключеннаго союза, ей не товарищъ—человѣкъ съ однимъ краснорѣчіемъ на устахъ и началомъ статьи „О трагическомъ въ жизни и искусствѣ“.

„Косвенная“ манера автора изобразить широкое общественное настроеніе черезъ героиню прекрасно была дешифрована тогда же Добролюбовымъ, который вывелъ изъ-за скобокъ личной исторіи все, что могла дать повѣсть въ общественномъ смыслѣ, насколько позволяли цензурныя условія, но нельзя представить себѣ вполнѣ тогдашняго значенія „Наканунѣ“, не принявъ въ расчетъ свободныхъ устныхъ толковъ публики. О нихъ сохранилъ намъ драгоценныя свѣдѣнія Анненковъ. Указавъ, что хвалили повѣсть университетская молодежь, ученые и писатели, энтузіасты освобожденія угнетенныхъ племенъ, онъ продолжаетъ: „Свѣтская часть общества, наоборотъ, была встревожена. Она жила спокойно, безъ особеннаго волненія, въ ожиданіи реформъ, которыя, по ея мнѣнію, не могли быть существенны и очень серьезны—и ужаснулась настроенію автора, поднимавшаго повѣстью страшные вопросы о правахъ народа и законности въ нѣкоторыхъ случаяхъ воюющей оппозиціи... Ходило чье-то слово: это „Наканунѣ“ никогда не будетъ имѣть своего „завтра“.

Очевидно, въ ожиданіи реформъ, когда въ воздухѣ уже носились

первые признаки крупного общественного сдвига и борьбы интересов, повѣсть пріобрѣтала нѣкоторое политическое значеніе; это было для того времени необычно и вызывало сомнѣнія и толки. Мы теперь можемъ, пожалуй, находить, что общественный элементъ повѣсти слишкомъ задавленъ „романомъ“, какъ это скоро нашла и радикальная критика 60-хъ гг., но важно, что въ то время были люди со вкусомъ и расположенные къ автору, которые испугались политической струи, сдѣлавшей, по ихъ мнѣнію, весь романъ фальшивымъ и ложнымъ съ начала до конца, и даже заставили Тургенева одну минуту „серьезно думать, не бросить ли рукопись въ огонь“. Нравственная сторона романа вызвала еще больше сомнѣній и возраженій въ обществѣ; самостоятельное и смѣлое рѣшеніе Еленой вопросовъ любви и брака навлекло на нее упреки въ безнравственности; такъ трактовалась она въ письмѣ „русской женщины“ (газ. „Наше Время“); въ семьяхъ героиню прямо честили „мерзавкой“. По словамъ Тургенева одного критика за строгую статью чествовали обѣдомъ по подпискѣ. Однимъ словомъ, шума было поднято много; по словамъ самого Тургенева повѣстью „всѣ недовольны“, „о ней много спорятъ и кричатъ“. Интересно, что недовольство публики на этотъ разъ не подѣйствовало охлаждающимъ образомъ на автора; обычно нѣсколько падавшій духомъ отъ нападокъ, онъ теперь очень бодро слушаетъ всѣ толки и замѣчаетъ: „если бы совсѣмъ молчали, было бы плохо“; даже когда онъ утверждаетъ, что „еще не видывалъ примѣра такого полнаго фіаско“, въ тонѣ его слышна спокойная увѣренность въ себя: „что жъ, надобно и это испытать въ жизни; все надобно испытать“. Онъ чувствовалъ, что сдѣлалъ не лишенный важности шагъ, и что жаркіе споры кругомъ—лишнее тому доказательство. Даже Л. Толстой, котораго Тургеневъ отчаялся когда-нибудь удовлетворить, въ своей суровой оцѣнкѣ „Наканунъ“ (письмо Фету) призналъ ее много лучше „Дворянскаго гнѣзда“ и заключилъ словами: „Вобщемъ же сказать, никому не написать теперь такой повѣсти“.

Эти два-три года, непосредственно примыкающіе къ 19 февраля 1861 г., были для Тургенева кульминаціоннымъ пунктомъ духовнаго подъема; его подмывала и уносила первая сильная волна общаго возбужденія, въ которой еще не было мутной примѣси „взбаломученнаго моря“. Быстро одинъ за другимъ создаются два произведенія, которыя во всемъ творчествѣ Тургенева всего болѣе трепещутъ дыханіемъ современности и непосредственнымъ ся воспріятіемъ. Едва прошло полгода съ появленія „Наканунъ“ (январь 1860 г.), какъ Тургеневъ на островѣ Уайтѣ уже задумываетъ „Отцовъ и Дѣтей“, одновременно съ оживленной разработкой нѣсколькихъ проектовъ общественнаго характера (планъ общества народнаго образованія, журнала сельско-хозяйственнаго и экономическаго характера). Черезъ годъ романъ оконченъ и въ февралѣ 1862 г. вышелъ въ свѣтъ.

Въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ Тургеневъ впервые для себя и одинъ изъ первыхъ въ нашей литературѣ далъ серьезный и крупный образъ но-

ваго героя, мало-по-малу прокладывавшаго себѣ дорогу въ жизни и выросшаго къ половинѣ 50-хъ годовъ въ замѣтную общественную величину,—разночинца, представителя новаго поколѣнія, шестидесятниковъ. Извѣстны основныя черты этого типа. Новые люди шли на смѣну Рудиныхъ и Лаврецкихъ, которыхъ называли лишними уже не за то, что тѣ переросли узкія рамки дореформенной жизни и выбрасывались ею вонъ, а за слабость и негодность къ предстоящей общественной работѣ. Они несли съ собою новыя задачи и новыя приемы ихъ рѣшенія, вся ихъ психологія была иная: они вышли изъ другого общественного слоя. Разночинцы—не дворяне, обеспеченные доходами съ крѣпостныхъ имѣній; они съ дѣтства знали суровую борьбу съ жизнью и не боялись труда; выдвинутые въ передовую линію мыслящей Россіи изъ темной, непривилегированной среды исключительно выдающимися данными ума и характера, они носили строгій закалъ личности; въ ихъ развитіи мало играли роли романтизмъ и эстетика, при серьезномъ взглядѣ на жизнь и большой нравственной строгости они плохо мирились съ развитой у ихъ предшественниковъ охотой и умѣньемъ извлекать изъ жизни разнообразныя наслажденія. Они отводили скромную роль искусству, которому такъ поклонялись 40-е годы, и ставили на первое мѣсто заботы о реальной борьбѣ противъ уродливостей русской жизни. Будить къ самосознанію широкіе слои общества, доводить ихъ до пониманія тѣхъ причинъ, по которымъ на Руси милліоны влчатъ жалкое существованіе, а хорошо живется только привилегированной кучкѣ,—вотъ что казалось этому поколѣнію единственно полезной дѣятельностью. Въ умственномъ отношеніи для новыхъ людей была типична смѣлость критической мысли, стремленіе эмансипироваться отъ всего предвзятаго: отъ старыхъ понятій, предразсудковъ, отъ поклоненія авторитетамъ.

Понятно, что они строго отнеслись къ „40-мъ годамъ“ и въ жизни, и въ литературномъ воплощеніи. Добролюбовъ, какъ извѣстно, сводилъ къ „обломовщинѣ“ всѣхъ видныхъ героев русской литературы, начиная съ Онѣгина, кончая Рудинымъ, и плохо вѣрилъ всѣмъ благороднымъ мечтамъ и великодушнымъ стремленіямъ этихъ барственныхъ натуръ, ничего не подтверждающихъ реальнымъ дѣломъ. За рѣзкость сужденій и за беспощадное отношеніе къ „лишнимъ людямъ“ Герценъ звалъ новыхъ людей „желчевиками“. Вотъ что писалъ онъ о своемъ разговорѣ съ Чернышевскимъ въ 1859 году: „Что вы застываете,—говорилъ намъ недавно одинъ желчевикъ,—за этихъ лѣнтяевъ, дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, туеядцевъ à la Opéguine? Извольте видѣть, они образовались иначе, міръ, ихъ окружающій, имъ слишкомъ грязенъ, не довольно натертъ воскомъ,—замараютъ руки, замараютъ ноги. То ли дѣло стонать о несчастномъ положеніи и притомъ спокойно ѣсть и пить... Они были романтики, аристократы, они ненавидѣли работу, себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или за шило, да и того, правда, они не умѣли“.

Напрасно Герценъ доказывалъ, что лишніе люди невиноваты въ своемъ воспитаніи, что николаевская дѣйствительность не давала возможности дѣйствовать почти никому, и говорилъ, что лишніе люди были настолько же естественны и неизбежны въ 40-хъ годахъ, насколько они—анахронизмъ теперь, наканунѣ реформъ; его собесѣдникъ не хотѣлъ ничего слушать. Есть извѣстіе, что оба признали другъ въ другѣ замѣчательный умъ, но Герценъ отмѣтилъ въ Чернышевскомъ „страшное самомнѣніе“, а послѣдній высказалъ, что у Герцена въ нутрѣ еще московскій баринъ сидитъ.

Тургеневъ съ негодованіемъ отнесся къ толкамъ при появленіи „Отцовъ и Дѣтей“, будто въ Базаровѣ выставленъ Добролюбовъ. Онъ имѣлъ на то право, такъ какъ эти толки хотѣли видѣть въ героѣ памфлетъ, осмѣяніе, месть за уязвленное будто бы самолюбіе; но нѣтъ сомнѣнія, что черты новаго типа онъ могъ изучать, помимо того провинціального врача, о которомъ говоритъ, всего скорѣе на дѣятеляхъ „Современника“. Въ этомъ убѣждаетъ многое: изъ отзывовъ Тургенева о Чернышевскомъ и Добролюбовѣ (позднѣе и о Писаревѣ) видно, что его поражали въ нихъ тѣ самыя особенности, которыя такъ характерны для Базарова: умъ, гордость, сухость, отрицаніе эстетики и самоувѣренное откидываніе всего, что признается старымъ; самый тонъ рѣчей Чернышевскаго, переданный Герценомъ, звучитъ совершенно по-базаровски, и мы знаемъ, что Тургеневъ разспрашивалъ Герцена о его разговорѣ съ „желчевикомъ“. Вообще, Чернышевскій и Добролюбовъ во многомъ были такими яркими, типичными представителями не только новаго общественнаго слоя, шедшаго на смѣну дворянской интеллигенціи, но и особаго психологическаго настроенія, которое несъ съ собою этотъ слой, что ихъ невозможно было миновать тогда при изученіи новаго типа, какъ и теперь при анализѣ Базарова. Разумѣется, Тургеневъ широко черпалъ свой матеріалъ, гдѣ только могъ; по его словамъ онъ „напряженно прислушивался и приглядывался“ ко всему, что его окружало; мы знаемъ, напр., что въ январѣ 1861 г. онъ въ Парижѣ видѣлся съ типичнымъ разночинцемъ, народнымъ писателемъ Н. Успенскимъ, котораго за рѣзкость сужденій называетъ „человѣконенавидцемъ“, и который далъ ему нѣсколько штриховъ для Базарова. Вотъ что пишетъ онъ Анненкову объ Успенскомъ: „И онъ счелъ долгомъ бранить Пушкина, увѣряя, что Пушкинъ во всѣхъ своихъ стихотвореніяхъ только и дѣлалъ, что кричалъ: на бой, на бой за святую Русь!“ Какъ извѣстно, эти слова цѣликомъ вложены въ уста Базарова.

Какъ же отразился разночинецъ въ романѣ?

Извѣстно, что „Отцы и Дѣти“ произвели необычайно сильное впечатлѣніе и вызвали ожесточенные споры, сумбурные толки и отзывы, вначалѣ смущавшіе автора. Еще до выхода романа въ свѣтъ одни знакомые, вкусу которыхъ онъ довѣрялъ, испугавшись рѣзкости личности Базарова и предвидя нареканія на автора, совѣтовали ему сжечь рукопись; онъ не послѣдовалъ совѣту, однако, со-

бирался „передѣлать совершенно“ всю фигуру героя, и хотя скоро оставилъ эту мысль, но по настоянію редактора „Русск. Вѣстника“ Каткова вынужденъ былъ внести рядъ измѣненій. Недовольство Каткова истекало изъ совершенно противоположнаго взгляда: по его мнѣнію, Тургеневъ „спустилъ флагъ передъ радикаломъ и отдалъ ему честь, какъ заслуженному воину“, и онъ требовалъ, чтобы авторъ „подчернилъ“ Базарова. Огромное большинство отзывовъ было не въ пользу романа, и въ то время, какъ одни упрекали автора за „апофеозъ“ „Современника“, другіе видѣли тутъ карикатуру на молодое поколѣніе: хаосъ былъ полный. При появленіи „Отцовъ и Дѣтей“ въ журналѣ печать въ усиленномъ видѣ повторила толки общества; нападки всѣхъ „либеральныхъ“ критиковъ (за исключеніемъ Писарева) были жестоки, при чемъ пальму первенства стяжалъ Антоновичъ, приравнявшій романъ къ позорнымъ, ретрограднымъ произведеніямъ. Авторъ говорилъ послѣ, что онъ не зналъ, куда дѣваться отъ комплиментовъ и поздравленій со стороны людей противнаго ему лагеря, и отъ холодности, даже негодованія со стороны близкихъ и симпатичныхъ ему людей.

Теперь недоразумѣніе выяснено. Тургеневъ, нѣсколько лѣтъ спустя посвятившій особую статью „Отцамъ и Дѣтямъ“, былъ правъ, видя причину непониманія въ томъ, что онъ нарисовалъ Базарова слишкомъ объективно; онъ замѣчаетъ, что новый типъ заслуживалъ на первыхъ порахъ нѣкоторой идеализаціи не менѣе, чѣмъ всѣ его литературные предшественники. Вѣрно и то, что онъ, не любя Базарова, чувствовалъ къ нему какое-то влеченіе и изобразилъ его безъ всякаго приниженія, вполне серьезно, какъ фигуру крупную, сильную и трагическую. Но вотъ о чемъ не говоритъ Тургеневъ ни слова: многихъ сбива съ толку не только объективность изображенія, а также то, что Базаровъ не надѣленъ никакими общественными взглядами. Дѣйствительно, въ движеніи той эпохи Базарову нѣтъ опредѣленнаго мѣста; относительно своего времени онъ представляетъ лишь отправный пунктъ, даетъ одну психологическую почву. Индивидуалистъ-Тургеневъ схватилъ въ нигилизмѣ больше всего сторону умственной свободы, духъ критики и смѣлой независимости воззрѣній, т.-е. то, чѣмъ онъ самъ очень дорожилъ и что всегда считалъ обязательнымъ для развитой личности. Припомнимъ, что онъ говоритъ объ этомъ въ своихъ воспоминаніяхъ: духовная свобода—все, безъ нея нельзя овладѣть ничѣмъ цѣннымъ; „можетъ ли что-нибудь уловить тотъ, кто внутренне связанъ?“ И въ этомъ смыслѣ прежде всего надо понимать его слова, что Базаровъ въ сущности революціонеръ (письмо Случевскому): критическая мысль по существу своему всегда бываетъ революціонна, когда въ фактахъ дѣйствительности нѣтъ здраваго смысла. Но Базаровъ при своемъ огромномъ и свободномъ умѣ замкнуть въ сферѣ личнаго міровоззрѣнія, онъ глухъ и нѣмъ въ вопросахъ общественныхъ. Это, конечно, не было случайностью. Снабдить своего героя сколько-нибудь ясной обществен-

ной программой не входило въ замыселъ Тургенева, не говоря уже о томъ, что это было по многимъ причинамъ не легко. Прежде всего это непременно сузило бы типъ, который неизбежно долженъ былъ бы довольно близко отразить идеи „Современника“, т.-е. Чернышевскаго, Добролюбова; за подобную работу могъ взяться развѣ убѣжденный пропагандистъ новыхъ идей, какимъ вскорѣ явился въ своемъ романѣ Чернышевскій и какимъ не былъ Тургеневъ. Человѣкъ другого поколѣнія и среды, другой духовной складки, онъ во многомъ не могъ сойтись близко съ разночинцами: въ цитированномъ выше разговорѣ „желчевика“ съ „московскимъ бариномъ“, конечно, безъ ошибки можно было бы замѣнить Герцена Тургеневымъ; недаромъ онъ говоритъ даже по поводу Базарова, что авторъ самъ не зналъ, любить онъ или нѣтъ выставленный характеръ, ибо „невольное влеченіе—не любовь“. Затѣмъ въ 1860 или въ 1861 году даже при желаніи не легко было бы найти достаточно опредѣленную и въ то же время типичную общественную программу, объединяющую „новыхъ людей“,—много еще складывалось, формировалось, и между взглядами трехъ крупнѣйшихъ представителей публицистики была существенная разница. А главное—не въ этомъ направленіи шли исканія Тургенева. Задумавъ своего Базарова, какъ типъ прежде всего психологическій, онъ далъ художественный синтезъ огромной ширины и значительности; нигилистическія черты Базарова не только объединяютъ многія особенности поколѣнія 60-хъ годовъ, но Герценъ справедливо указывалъ ихъ слѣды еще въ Бѣлинскомъ и въ Бакунинѣ. Обобщеніе получилось очень крупное, но полнымъ выразителемъ движенія 60-хъ годовъ Базаровъ не былъ, прибавимъ, и не стремился быть въ замыслѣ автора; онъ былъ психологической основой эпохи, первой ступенью новаго общественнаго развитія. При одной этой основѣ, безъ конкретныхъ воззрѣній трудно представить себѣ его дѣятелемъ.

Переходный характеръ этого типа былъ понятъ кое-къмъ сразу. Для Писарева (въ его первой статьѣ) это во многомъ было ясно. Нѣсколько поздиѣ Герценъ находилъ то же самое; базаровщина, по его словамъ, „къ лицу только до окончанія университетскаго курса; уцѣлѣй Базаровъ отъ тифа, онъ навѣрное развился бы вонъ изъ базаровщины, по крайней мѣрѣ, въ науку, которую онъ любилъ и цѣнилъ“. Тургеневъ, находитъ Герценъ, уморилъ своего героя, не зная, какъ съ нимъ сладить: „что бы ему прислать Базарова въ Лондонъ? Мы, можетъ быть, доказали бы ему на берегахъ Темзы, что можно приносить пользу...“

Другой современникъ Базарова, Кропоткинъ, тоже не вполнѣ удовлетворенный новымъ типомъ, пишетъ: „Нигилизмъ, съ его деклараціей правъ личности и отрицаніемъ лицемѣрія, былъ только переходнымъ моментомъ къ появленію новыхъ людей, не менѣе цѣнившихъ индивидуальную свободу, но жившихъ вмѣстѣ съ тѣмъ и для великаго дѣла“.

Прибавимъ, что Базаровъ надѣленъ у Тургенева еще рядомъ другихъ чертъ, дѣлавшихъ изъ него сложную и живую личность, но нарушавшихъ въ глазахъ современниковъ прозрачность и чистоту типа: онъ нигилистъ далеко не послѣдовательный, въ его душѣ сохраняется изрядное количество того самаго „романтизма“, противъ котораго онъ такъ ожесточенно ратуетъ; сознание этого кладетъ иногда на него легкую тѣнь гамлетизма, его „сумрачная, злобная, но честная фигура“ смягчена элементомъ простого человѣческаго страданія, моментами на нее падаетъ даже волшебный лучъ поэзіи. Легко объяснить, почему при своемъ появленіи романъ, задѣвая всѣхъ за живое яркой и рѣзкой складкой героя, по сложности структуры небывалаго еще типа могъ быть спокойно и правильно оцѣненъ лишь немногими. Наконецъ, появился онъ въ самый разгаръ реформаціонной эпохи, когда событія слѣдовали за событіями, жизнь кипѣла и запутывалась и къ первому бодрому одушевленію начали примѣшиваться нотки напряженности и тревоги: на сужденія о Базаровѣ сразу легли оттѣнки боевого момента и тактическихъ соображеній—иначе трудно понять, напримѣръ, странности статьи Антоновича.

Тургеневъ, давъ своимъ героемъ живую формулу одного изъ важныхъ лозунговъ эпохи, стоя ошеломленный передъ сильнымъ дѣйствіемъ этой формулы, которая немедленно вызвала въ обществѣ процессъ расслоенія и кристаллизаціи мнѣній, наблюдая, кромѣ того, кругомъ большую сумятицу въ общественной и политической жизни, не могъ двигаться дальше въ своей дѣятельности, не разобравшись во всемъ движеніи 60-хъ годовъ, не уяснивъ себѣ значенія идей и событій.

VII.

Горячее время реформъ вызвало наружу весь запасъ активныхъ силъ даже въ „неполитической натурѣ“ Тургенева (какъ его называлъ Герценъ). Помимо сотрудничества въ „Колоколѣ“ и плановъ общества грамотности или журнала онъ ведетъ съ Герценомъ живое обсужденіе положенія дѣлъ въ Россіи и ея вѣроятнаго будущаго, принимаетъ даже близкое участіе въ „адресной“ горячкѣ. Онъ обстоятельно критикуетъ проектъ адреса, составленный при редакціи „Колокола“, носитъ съ своимъ проектомъ обращенія къ правительству, гдѣ то же требованіе земскаго собора обосновывается иначе. Но такая дѣятельность Тургенева быстро прекращается,—настолько она несвойственна его натурѣ и призванію. Справедливо называя себя „постепеновцемъ, либераломъ въ англійскомъ, династическомъ смыслѣ“, не представляющимъ себѣ реформъ помимо высшей власти, онъ могъ еще сколько-нибудь мѣшаться въ политику на самыхъ первыхъ порахъ, когда всѣ ждали реформъ отъ правительства и думали работать вмѣстѣ съ нимъ; но какъ только явилось Положеніе 19 февраля, и одни со слезами на глазахъ привѣтствовали новую эру русской жизни, а другіе воскликнули: какая же эта свобода?—Тур-

генева слѣдуетъ искать среди первыхъ. Дальнѣйшее развитіе недовольства и активной противоправительственной политики должно было еще болѣе заставить его отодвинуться въ сторону, и онъ быстро переноситъ свои интересы отъ практической политики въ область теоретическихъ идей: почти весь 1862 годъ идутъ у него устные и письменные дебаты съ Герценомъ по вопросамъ будущаго развитія Россіи. Они значительно разошлись въ основныхъ точкахъ зрѣнія, при чемъ пострадали даже ихъ давнія пріятельскія отношенія, прервавшіяся на нѣсколько лѣтъ. Во время этой полемики (извѣстной намъ по ихъ перепискѣ и нѣкоторымъ статьямъ Герцена, наприм., „Концы и Начала“) Тургеневъ изложилъ многіе свои взгляды на Россію, въ которыхъ ликвидировалось для него движеніе 60-хъ годовъ и на которыхъ строится главное идейное содержаніе остальныхъ двухъ его общественныхъ романовъ (особенно „Дыма“); поэтому важно остановиться на нихъ.

Они разошлись во взглядахъ на западно-европейскую жизнь и ея значеніе для Россіи, на русскій народъ и будущія формы его развитія. Герценъ уже вскорѣ послѣ начала „Колокола“ напечаталъ письмо къ русскому дворянству, убѣждая его и голосомъ совѣсти и здравымъ смысломъ не противиться освобожденію крестьянъ, желать его и призывать. Уже тогда онъ видѣлъ въ освобожденіи народа съ землей начало новой соціальной эры; статья заканчивается словами: „Наступающій переворотъ не такъ чуждъ русскому сердцу, какъ прежніе. Слово социализмъ неизвѣстно нашему народу, но смыслъ его близокъ душѣ русскаго человѣка, изживающаго свой вѣкъ въ сельской общинѣ и рабочей артели“. Позднѣе, когда совершилось освобожденіе, Герценъ по разнымъ поводамъ подробнѣе развиваетъ свои взгляды, восходящіе въ отдѣльныхъ случаяхъ къ самому началу 50-хъ годовъ, основанные на противоположеніи Россіи и Западной Европы. На Западѣ господствуетъ буржуазный строй. Въ экономическомъ отношеніи онъ представляетъ эксплуатацію неимущихъ классовъ, а съ точки зрѣнія умственной и нравственной это—обнищаніе жизни, мѣщанство, размѣнъ высшихъ интересовъ и вкусовъ на довольство сытымъ кускомъ и банальной пошлостью. Въ Россіи крестьянская община и рабочая артель являются зерномъ будущаго, свободнаго отъ власти буржуазіи, строя, гдѣ будетъ единеніе, равенство и нѣтъ мѣста пролетаріату и эксплуатаціи. Съ 1862 г., когда въ „Колоколѣ“ стали писать Бакунинъ и Огаревъ, воззрѣнія ихъ, окрашенные социализмомъ уже въ болѣе опредѣленномъ смыслѣ, повидимому, оказывали вліяніе и на Герцена.

Тургеневъ не могъ согласиться ни съ огульнымъ осужденіемъ западно-европейскихъ порядковъ, ни съ пророчествомъ о томъ, какъ прекрасно устроить русскій народъ свою жизнь на собственный, оригинальный ладъ, ни съ спасительными свойствами общины и артели, ни вообще съ преклоненіемъ передъ народомъ. Признавая вмѣстѣ съ Герценомъ много дурного на Западѣ, онъ отказывается

вѣрить, что это не общечеловѣческія, а специально западныя болѣзни, отъ которыхъ мы якобы избавлены: „Ты точно медикъ, который, разобравъ всѣ признаки хронической болѣзни, объявляетъ, что вся бѣда происходитъ оттого, что пациентъ—французъ“. О русскомъ народѣ онъ пишетъ: „Народъ, передъ которымъ вы преклоняетесь, консерваторъ *par excellence* и даже носить въ себѣ зародыши такой буржуазіи въ дубленомъ тулупѣ, теплой и грязной избѣ, и отвращеніе ко всякой гражданской отвѣтственности и самодѣятельности, что далеко оставитъ за собой всѣ мѣтко-вѣрныя черты, которыми ты изобразилъ западную буржуазію. Далеко ходить нечего,—посмотри на нашихъ купцовъ“.

Тургеневъ указываетъ, что всѣ они (не исключая и его) почти не знаютъ народа. „Вы воздвигаете алтарь невѣдомому богу, благо о немъ почти ничего неизвѣстно и можно молиться и вѣрить и ждать. Богъ этотъ дѣлаетъ совсѣмъ не то, чего вы отъ него ждете,—это по-вашему временно, случайно, насильно привито ему внѣшней властью; богъ вашъ любитъ до обожанія то, что вы ненавидите, и ненавидитъ то, что вы любите,—вы отворачиваете глаза, закрываете уши“.

Дальше изъ писемъ Тургенева видно, что его беспокоило возможное революціонное вліяніе статей „Колокола“ на молодежь. Самой собой разумѣется, что онъ и въ 1862 г., какъ 15 лѣтъ спустя въ „Нови“, считалъ это вліяніе опаснымъ и нежелательнымъ. Онъ пишетъ: „Вы, наливъ молодыя головы вашей еще не перебродившей социальнo-славянофильской брагой, пускаете ихъ хмельными и отуманенными въ міръ, гдѣ имъ предстоитъ споткнуться на первомъ шагу“.

Самъ Тургеневъ считаетъ единственно вѣрнымъ отношеніемъ къ народу—подходить къ нему съ образованіемъ, не навязывая ему ничего готового. „Роль образованнаго класса въ Россіи—быть передателемъ цивилизаціи народу съ тѣмъ, чтобы онъ уже самъ рѣшилъ, что ему отвергать или принимать. Это въ сущности скромная роль, хотя въ ней подвизались Петръ Великій и Ломоносовъ. Эта роль, по-моему, еще не кончена“. Нельзя не замѣтить, что какъ въ этомъ скромномъ и осторожномъ подходѣ къ народу, такъ и по вопросу о путяхъ развитія Россіи исторія едва ли не больше оправдала Тургенева, чѣмъ его знаменитаго друга.

Черезъ 4—5 лѣтъ послѣ этого обмѣна мнѣній появился „Дымъ“. Въ романѣ этомъ, какъ указывалось много разъ, царитъ уныніе и безнадежность. Въ немъ, если оставить въ сторонѣ лучшій по силѣ и художественности любовный элементъ, остается три важныхъ пункта: высшій бюрократическій и вмѣстѣ дворянскій кругъ, радикальная партія и, наконецъ, Потугинъ—носитель авторскихъ идей. Отъ всего этого получается впечатлѣніе унылое. Оно объясняется многими причинами, въ числѣ которыхъ необходимо отмѣтить замираніе русской жизни къ половинѣ 60-хъ гг. подъ давленіемъ реакціи. Понятенъ сразу колоритъ, въ которомъ изображены петербургскія

сферы. Это—поднявшаяся кверху муть регрессивныхъ элементовъ, почуявшихъ перемену погоды. Взятые здѣсь персонажи даже не активные и энергичные притѣснители, а прежде всего мелкія ничтожества; это—соръ и щепки, раньше всего подхваченные наверхъ обратной волной изъ глубины, куда ихъ было метнулъ могучій валъ прилива; пройдетъ нѣкоторое время, они окрѣпнутъ, осмѣлѣютъ, примѣнятъ на практикѣ то, о чемъ сейчасъ только хвастливо врутъ или безсильно скрипятъ зубами, и станутъ сильны, не утративъ своей ничтожности.

Но подобная же мелочь и ничтожество осталась послѣдней плавать на поверхности и въ противоположномъ лагерѣ, когда набѣжавшая волна свалила и проглотила наиболѣе вѣское, наиболѣе крупное. Прогрессивное движеніе пережило въ эти годы пору безвременья; въ Петербургѣ закрыты „Современникъ“ и „Русское Слово“, Чернышевскій въ ссылкѣ, Добролюбовъ въ могилѣ, Писаревъ въ крѣпости, повсюду строгости, жизнь замерла. Но и за границей молодая эмиграція одно время порядочно измелъчала. Объ этомъ есть прямое свидѣтельство Герцена, перебравшагося тогда въ Женеву; онъ жалуется на недостатокъ у заграничной русской молодежи серьезной образованности, глубокихъ интересовъ, даже простыхъ культурныхъ привычекъ. Они третировали его, крупнаго русскаго дѣятеля, европейскую величину, какъ отсталаго старика, годнаго лишь на то, чтобы брать у него деньги, въ которыхъ онъ рѣдко умѣлъ отказывать, позволяли себѣ съ нимъ безцеремонно-пренебрежительный тонъ, тѣмъ болѣе возмутительный, что за ними самими по большей части не значило никакихъ достоинствъ, кромѣ безапелляціонныхъ приговоровъ и страшнаго самомиѣнія. Тургеневъ далъ волю своей унылой досадѣ, изобразивъ эту группу въ беспощадныхъ краскахъ, при чемъ раздраженіе его мѣстами отняло силу у насмѣшки, сведя очерки къ карикатурѣ.

Потугинъ тоже не весель, хотя авторъ избралъ его своимъ послѣднимъ прибѣжищемъ. Отчаявшись въ эту пору найти что-нибудь крупное и на крайней правой и на крайней лѣвой русскаго общества, Тургеневъ ухватился еще крѣпче, чѣмъ въ 1862 г., за европейскую, общечеловѣческую цивилизацію и за свою вѣру въ тихую, постепенную работу крота-цивилизатора (Потугинъ часто очень близко повторяетъ письма Тургенева къ Герцену), но горечью звучатъ слова Потугина: „Нынѣшняя молодежь ошиблась въ расчетѣ. Она вообразила, что время прежней темной, подземной работы прошло, что хорошо было старичкамъ-отцамъ рыться наподобіе кротовъ, а для насъ-де эта роль унизительна, мы на открытомъ воздухѣ будемъ дѣйствовать, мы будемъ дѣйствовать... Голубчики! и ваши дѣтки еще дѣйствовать не будутъ, а вамъ не угодно ли въ норку, въ норку опять, по слѣдамъ старичковъ“. Здѣсь совершенно отсутствуетъ самодовольный тонъ челоуѣка, который „предсказывалъ ошибку“; видно, что самому Потугину-Тургеневу жаль было разбитыхъ на-

деждъ, окружавшихъ недавно свѣтлые дни начала 60-хъ годовъ: рѣчь Потугина, конечно, имѣла въ виду не Суханчиковыхъ и Биндасовыхъ, а болѣе серьезныхъ и достойныхъ представителей крайней молодежи.

Молодежь дѣйствительно стала съ этого времени все чаще уходить въ „норку“, но не „по слѣдамъ старичковъ“, не въ ту норку, о которой говорилъ Тургеневъ. Художественный протестъ противъ крѣпостного права въ „Запискахъ Охотника“ или въ разсказахъ Григоровича, каѳедра Граховскаго, „Современникъ“ 40-хъ годовъ, вся дѣятельность Бѣлинскаго—вотъ знакомая и привычная для Тургенева „подземная работа“, которая была въ николаевское время главной, чуть ли не единственной возможной формой оппозиціи, а свободный и громкій звукъ „Колокола“ 50-хъ годовъ, конечно, представлялся ему крайнимъ выраженіемъ прямой борьбы. Дѣйствительность же вырабатывала въ это время формы пропаганды въ народѣ, выращивала идею активной политической борьбы.

До насъ дошелъ писаревскій отзывъ о „Дымѣ“ (въ письмѣ къ Тургеневу отъ 1867 г.). Здѣсь интересно прежде всего, что Писаревъ опять, какъ и по поводу „Отцовъ и Дѣтей“, разошелся съ „передовой“ критикой, обвинявшей романиста въ клеветѣ на молодежь; онъ напоминаетъ, что авторъ все же направлялъ всю силу своего удара направо, а затѣмъ по его словамъ „дураковъ и въ алтарѣ бьютъ“. Но „Дымъ“ не удовлетворилъ Писарева съ другой стороны. „Мнѣ хочется,—пишетъ онъ,—спросить у васъ, Иванъ Сергѣевичъ, куда вы дѣвали Базарова?.. Неужели же вы думаете, что первый и послѣдній Базаровъ умеръ въ 1859 г. отъ порѣза пальца? Или неужели же онъ съ 1859 г. успѣлъ переродиться въ Биндасова? Если же онъ живъ и здоровъ и остается самимъ собою, въ чемъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, то какимъ же образомъ это случилось, что вы его не замѣтили? Вѣдь, это значить не замѣтить слона и не замѣтить его не при первомъ, а при второмъ посѣщеніи кунсткамеры, что оказывается уже совершенно неправдоподобнымъ“.

Возраженіе Писарева очень существенно, но дѣло объясняется тѣмъ, что этого „второго посѣщенія кунсткамеры“ собственно почти не было: за пять лѣтъ, отдѣляющихъ „Отцовъ и Дѣтей“ отъ „Дыма“ (1862—1867 гг.), Тургеневъ счетомъ три раза пріѣзжалъ въ Россію и прожилъ въ общей сложности мѣсяца четыре. Помимо болѣзней и домашнихъ заботъ, удерживавшихъ его въ это время за границей, то, что происходило въ Россіи, мало тянуло его домой: хаосъ и неурядица переходнаго времени, рѣзкая ломка общественнаго настроенія въ связи съ внутренней политикой, съ одной стороны, и дифференцированіемъ взглядовъ въ самомъ обществѣ, съ другой—все это давало диссонансы и грубые толчки. Трудно было выносить ихъ человеку другого поколѣнія (Тургеневу было почти 50 лѣтъ); вся идеология и психология его сложилась въ иной атмосферѣ, подъ другими вѣяніями. Онъ могъ изучить переходъ отъ 40-хъ гг. къ 60-мъ

еще какъ кровно заинтересованный очевидецъ, отчасти даже его участникъ, и далъ въ Базаровѣ типъ, передъ которымъ самъ остановился съ смѣшаннымъ чувствомъ—какого-то влеченія и вмѣстѣ неопредѣленнаго недоумѣнія, вопроса, въ чемъ и сказался зародышъ, начало отчужденности автора отъ изображаемой жизни; теперь онъ могъ бы развѣ наблюдать современность, какъ зритель, многому посторонній и несочувствующій, по поводу многого недоумѣвающий. Самое наблюденіе сильно затруднилось; Базаровъ, взятый цѣликомъ, если и существовалъ когда-либо, то, вопреки мнѣнію Писарева, быстро умеръ или переродился, а базаровщина расплылась и разлетѣлась по цѣлому поколѣнію, которое ко второй половинѣ 60-хъ гг. само было сбито съ позиціи и разсѣялось; слѣдить за нимъ по угламъ русской жизни было нельзя, пока его новая физиономія не сложилась, а сдѣланная въ „Дымѣ“ попытка зарисовать его въ одной изъ „норокъ“, куда оно уходило, конечно, самимъ авторомъ не считалась за удачный широкій итогъ.

Прибавьте ко всему этому основныя требованія личности художника, всегда жаждавшаго гармоніи духа и привыкшаго находить ее въ искусствѣ и цивилизаціи Западной Европы („Венера Милосская, пожалуй, несомнѣннѣе римскаго права или принциповъ 89 г.“), вспомните, какое мѣсто отводила у насъ искусству, даже наукѣ, та эпоха, полная насущныхъ вопросовъ и нуждъ, борьбы, тревоги и страстныхъ крайностей, и вы поймете, что Тургеневъ съ смутнымъ чувствомъ глядѣлъ на ближайшее будущее Россіи. Герценъ вѣрно подмѣтилъ нѣкоторыя черты настроенія Тургенева, обратившись къ нему съ такими словами (первое письмо „Концовъ и Началъ“): „Ты боишься нашей весенней распутицы, грязи по колѣно, дикаго разлива рѣкъ, голой земли, выступающей изъ-подъ снѣга, да и вообще нашего упованія на будущій урожай, отъ котораго мы отдѣлены бурями и градомъ, ливнями, засухами и всѣмъ тяжелымъ трудомъ, котораго мы еще не сдѣлали... Ты пріѣхалъ—вотъ свѣтлый домъ, свѣтлая рѣка, и садъ, и досугъ, и книги въ руки“. Герценъ не говоритъ здѣсь о личномъ настроеніи Тургенева, объ усталости и желаніи покоя; „свѣтлый домъ“—это европейскія формы жизни, а „весна“—русскія дѣла со всѣми герценовскими надеждами на будущее.

Но это писалось въ половинѣ 1862 г.; нѣсколько позднѣе для Тургенева пришелъ чередъ и усталости, вѣрнѣе, разочарованности, притомъ двоякаго характера. Съ одной стороны, это былъ пессимистическій взглядъ на благополучный выходъ русскаго общества и народа изъ смутной полосы, а съ другой—общее чувство безнадежности, *taedium vitae*, на давно знакомой Тургеневу почвѣ ничтожности и эфемерности всего человѣческаго передъ лицомъ равнодушной и безсознательной, вѣчной силы природы. Подобныя настроенія зналъ онъ и раньше, на нихъ есть указанія еще въ письмахъ его къ Віардо конца 40-хъ годовъ; они въ его душѣ имѣли свои періоды

прилива и отлива. 60-е годы принесли съ собой очень сильную волну такого настроенія; трудно сомнѣваться въ томъ, что на ряду съ неудовлетворенностью личной судьбой тревожные и смутные тона, въ которые быстро перешла розовая заря эпохи реформъ, сильно должны были содѣйствовать развитію въ немъ общей унылости, даже отчаянія. Мотивъ этотъ, слышный уже въ „Призракахъ“, доминируетъ въ „Довольно“ и даетъ себя чувствовать опредѣленно въ „Дымъ“. Между прочимъ, эта безнадежная нотка въ романѣ особенно была поставлена тогда же въ вину автору, и онъ былъ строго осужденъ за невѣріе въ Россію. Но при этомъ прошло мимо вниманія судей, что дымомъ показалось „все людское, особенно все русское“ никому иному, какъ Литвинову, котораго нельзя считать носителемъ авторскихъ воззрѣній, хотя онъ и главный герой любовной интриги; Потугинъ же, при всей желчности своей „болтовни“—„ибо я, увь, болтунъ и больше ничего“, говоритъ онъ въ заключительной бесѣдѣ—вовсе не безнадежно смотритъ въ будущее своей „скверной и милой“ родины; стоитъ вспомнить хотя бы его прощальное, напутственное слово Литвинову. Да и самъ авторъ, посадивъ своего Литвинова хозяйничать, рисуетъ положеніе дѣлъ въ Россіи вовсе не пессимистично. Правда, онъ ограничивается главнымъ образомъ вопросомъ эмансипаціи: „весь поколебленный быть ходилъ ходуномъ, какъ трясина болотная, и только одно великое слово „свобода“ носилось, какъ Божій Духъ надъ водами“... „Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила въ плоть и кровь: выступилъ ростокъ изъ брошеннаго сѣмени и уже не растоптать его врагамъ—ни явнымъ, ни тайнымъ“. Это характерно: Тургеневъ не разъ въ тѣ годы повторяетъ мысль, что „Положеніе“ 19 февраля открыло новую эру народной жизни и какіе бы недостатки ни заключались въ немъ, они исчезаютъ передъ основнымъ значеніемъ самаго факта,—въ этомъ пунктѣ его разногласія съ адресомъ, вышедшимъ изъ редакціи „Колокола“.

VIII.

Десять лѣтъ отдѣляютъ „Дымъ“ отъ послѣдняго крупнаго произведенія Тургенева, въ которомъ онъ попытался уловить черты общественнаго движенія 70-хъ годовъ. Первые пять лѣтъ этого періода заняты тою же оглядкой на прошлое, тѣмъ же подведеніемъ итоговъ жизни, какія можно было наблюдать и до 1867 года, но лишь безъ интимной личной окраски. Тургеневъ пишетъ здѣсь свои „Литературныя и житейскія воспоминанія“ и создаетъ рядъ вещей, основанныхъ на давнишнихъ впечатлѣніяхъ (важнѣйшія изъ нихъ: „Несчастливая“, „Степной король Лиръ“, „Вешнія воды“, „Пуининъ и Бабуринъ“). Съ 1872 г. начинается шевелиться въ его головѣ замыселъ „Нови“, которому понадобилось около пяти лѣтъ, чтобы созрѣть и вылиться. Этотъ необычно-долгій для Тургенева срокъ, конечно, вызывался тѣмъ обстоятельствомъ, что ему было гораздо труднѣе на

этотъ разъ уяснить себѣ новое движеніе въ Россіи и собирать матеріалы; онъ въ этотъ періодъ рѣдко и не надолго пріѣзжалъ на родину, а главное затрудненіе заключалось въ нелегальности самого движенія.

Естественно, почему до 1872 г. нельзя было ожидать и мысли о „Нови“: нечаевскій процессъ 1871 г., опубликованный правительствомъ съ полной подробностью, впервые познакомилъ широко русское общество съ подпольнымъ движеніемъ; онъ неминуемо долженъ былъ привлечь вниманіе Тургенева (какъ это было и съ Достоевскимъ); у него могли быть даже личныя встрѣчи съ Нечаевымъ за границей, во всякомъ случаѣ онъ, разумѣется, зналъ въ подробностяхъ тягостное и непріязненное впечатлѣніе, произведенное этимъ исключительнымъ конспираторомъ на Герцена и Бакунина. Самъ Нечаевъ былъ такъ нетипиченъ для русской нелегальной оппозиціи, что не могъ служить художнику образцомъ, но его процессъ вскрылъ многое въ этой области впервые, и Тургеневъ кое-чѣмъ воспользовался, какъ увидимъ, для своего романа. Съ другой стороны, пропаганда въ народѣ, положенная въ основу романа, опредѣленно обозначается въ Россіи лишь къ 1874—75 гг., когда передъ активно настроенной молодежью успѣли пройти дома впечатлѣнія нечаевского процесса, за границей—дѣятельность Интернаціонала, цюрихскіе дебаты Бакунина и Лаврова передъ многочисленной русской колоніей, основаніе журнала „Впередъ“ и образованіе партій лавристовъ и бакунистовъ; когда правительственное распоряженіе 1873 г., изгнавшее русскую молодежь изъ Цюриха, ускорило возвращеніе на родину подготовленныхъ кадровъ пропагандистовъ; когда организовался рядъ кружковъ (чайковцы) и успѣли уже сказаться плоды ихъ работы въ процессахъ Долгушина (1874 г.) и Дьякова (1875 г.). И вотъ какъ разъ къ 1874 году относится цѣлый рядъ извѣстій о тургеневскихъ знакомствахъ и встрѣчахъ съ людьми, близко стоявшими къ движенію или прямо къ нему прикосновенными. Въ этомъ году онъ даетъ деньги Лаврову на его журналъ, пишетъ ему о Германѣ Лопатинѣ, съ которымъ знакомъ лично, даетъ отзывъ о книжкѣ Кравчинскаго „Мудрица Наумовна“, написанной для пропаганды, получаетъ отъ Философовой извѣстный портфель съ документами, могущими ввести его въ настроеніе и идеи радикальной молодежи. Наконецъ, въ томъ же году въ Парижѣ жило нѣсколько лицъ, вскорѣ послѣ того основавшихъ около Москвы довольно обширный кружокъ пропагандистовъ (участники процесса 50-ти); женскій элементъ этой молодежи состоялъ изъ видныхъ именъ (Бардина, Фигнеръ, сестры Любатовичъ); нѣкоторыя изъ этихъ молодыхъ дѣвушекъ были знакомы съ Тургеневымъ (см. воспоминанія Джабадари въ „Быломъ“ 1907 г.).

Параллельно изложеннымъ фактамъ идутъ свѣдѣнія въ письмахъ Тургенева о ходѣ работъ надъ „Новью“. Послѣ брошенной вскользь осенью 1872 г. фразы: „задумалъ современное“, весь слѣ-

дующій годъ не содержитъ ни одного упоминанія о замыслѣ, наоборотъ, есть слова: „литературу бросилъ“, „не работаю вовсе“. Лѣтомъ 1874 г. встрѣчаемъ фразу („не знаю, напишу ли романъ“), говорящую объ оживленіи замысла и вмѣстѣ о колебаніи, а въ началѣ слѣдующаго года уже читаемъ: „лѣнь не даетъ кончить романъ“. Почти весь этотъ годъ (1875-й) болѣзнь такъ одолѣла Тургенева, что онъ не могъ работать („бездѣйствіе мое колоссально“), но романъ уже захватилъ его, успѣлъ вырасти въ его глазахъ въ крупное дѣло, которое должно сыграть важную роль въ литературной репутаціи автора. Это видно изъ письма его Салтыкову 3 января 1876 г.; Тургеневъ пишетъ: „мнѣ не хотѣлось бы исчезнуть съ лица земли, не кончивъ моего большого романа, который, сколько мнѣ кажется, разъяснилъ бы многія недоумѣнія и самого меня поставилъ бы такъ и тамъ, какъ и гдѣ мнѣ слѣдуетъ стоять“. Недоумѣнія, о которыхъ онъ говоритъ, касались ложнаго толкованія его намѣреній въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“. Тургеневъ, какъ извѣстно, очень больно принялъ къ сердцу упреки печати, будто онъ Базаровымъ показалъ свое несочувствіе молодому поколѣнію и сыгралъ въ руку реакціи; здѣсь онъ говоритъ Салтыкову, что не имѣлъ права „давать нашей реакціонной сволочи возможность ухватиться за кличку“ (нигилистъ), писатель въ немъ долженъ былъ принести жертву гражданину, поэтому онъ признаетъ справедливымъ отчужденіе отъ него молодежи. Теперь онъ, очевидно, возлагаетъ на „Новъ“ въ этомъ отношеніи надежды; она должна показать ясно его отношеніе къ стремленіямъ молодежи, поставить его тамъ, гдѣ ему слѣдуетъ стоять, говоря его словами. Онъ заключаетъ словами: „Мнѣ остается сказать еще разъ: подождите моего романа... Кто знаетъ, мнѣ, быть можетъ, еще суждено зажечь сердца людей“.

Въ январѣ 1877 г. „Новъ“ появилась и если „зажгла сердца“, то иначе, нежели мечталъ Тургеневъ. Еще разъ повторилась обычная съ его романами 60-хъ годовъ исторія: и консервативная и либеральная партіи остались недовольны, ибо по столь острому жизненному вопросу каждая какъ будто хотѣла увидать Тургенева яркимъ партизаномъ своихъ рядовъ. Онъ ожидалъ очень сильныхъ нападеній: „если за „Отцовъ и Дѣтей“ меня били палками, то теперь будутъ лупить бревнами съ обѣихъ сторонъ“—и, собственно, мало ошибся; хотя по формѣ своей нападки были теперь не такъ бранны, какъ 15 лѣтъ назадъ, но по существу не отличались отъ отзывовъ Антоновича или Скабичевскаго. Благонадежные персонажи фальшивы и шаржированы, комизмъ и тупость революціонеровъ показаны, но напрасно нѣкоторые изъ нихъ сдѣланы симпатичными, и въ общемъ отношеніе къ нимъ автора ложное, полублагосклонное—такъ говорили одни; „романъ изъ китайской жизни“, и всѣ „новые люди“ выставлены лубочными глупцами,—говорили другіе. Вдобавокъ, тѣ и другіе сходились на томъ, что талантъ упалъ, выполненіе замысла сухое и неправдоподобное.

Наиболѣе спокойные отзывы, большею частью явившіеся уже позднѣе, признавая за романомъ значительныя художественныя достоинства, находятъ все же, что общая картина „хожденія въ народъ“ значительно обмельчена: нѣтъ массоваго характера движенія, нѣтъ участія крупныхъ умственныхъ силъ, которыя, несомнѣнно, шли туда въ 70-ые годы, нѣтъ идейной разработки вопроса, игравшей, какъ извѣстно, тогда видную роль. Съ этимъ нельзя не согласиться, но надо имѣть въ виду рядъ важныхъ обстоятельствъ.

Во-первыхъ, Тургеневъ имѣлъ передъ собой движеніе въ начальной стадіи развитія, а не въ его апогеѣ; будущіе участники процесса 50-ти въ 1874 г. еще получали за границей теоретическую подготовку, крупнѣйшіе факты движенія были еще впереди, особенно процессъ 193-хъ, развернувшій ходъ пропаганды въ народъ во всей ширинѣ. Затѣмъ нѣтъ сомнѣнія, что въ рукахъ Тургенева были всѣ данныя для изображенія идейной подкладки движенія, вырабатывавшейся въ Швейцаріи, но она должна была остаться внѣ рамокъ романа, если авторъ хотѣлъ печатать его въ Россіи; по той же причинѣ не могла бы пройти болѣе серьезная и значительная картина практической дѣятельности партіи въ деревнѣ, если бы Тургеневъ и располагалъ ею; есть извѣстія, что нѣкоторыя сцены романа, уже написанныя, не увидѣли свѣта (наприм., пропаганда Маріанны).

Не слѣдуетъ, впрочемъ, закрывать глазъ и на внутреннее отношеніе Тургенева къ нелегальной оппозиціи. Онъ удержалъ главные основы своихъ взглядовъ, выработанныхъ когда-то въ полемикѣ съ Герценомъ; „передача знаній народу образованнымъ классомъ“ и постепенное пріобщеніе перваго къ просвѣщенію и культурѣ; „новъ нужно поднимать не поверхностной сохой, а глубоко забирающимъ плугомъ“—это разныя выраженія одной и той же мысли. Съ другой стороны, онъ видѣлъ всѣ темныя стороны реакціонной политики, смѣнившей эпоху реформъ,—обнищавшую деревню, отсутствіе всякихъ серьезныхъ заботъ о народѣ, общій гнетъ режима, жестокая преслѣдованія молодежи,—и не могъ оставаться безучастнымъ уже въ силу своей рѣдкой доброты и гуманности. Начальныя фазы движенія въ народъ, въ которыхъ было такъ много чистаго идеализма и такъ мало прямого антиправительственнаго элемента, могли только привлечь Тургенева; затѣмъ, такъ какъ нарастаніе активности, духа борьбы и конспиративности было отвѣтомъ на свирѣпыя репрессіи и ими вполне объяснялось, это поддерживало сочувствіе и вело дальше. Разумѣется, до одобренія „бунтарства“ Тургеневъ никогда не доходилъ и не могъ дойти по непосредственному чувству, еще болѣе по убѣжденію въ нецѣлесообразности; позже терроризмъ рѣшительно отталкивалъ его („Я такъ же оплакиваю царя, какъ оплакиваю его убійцу“, писалъ онъ въ 1881 г.). Онъ не пошелъ дальше нѣкоторыхъ положеній „лавризма“. Но легко видѣть, что ему трудно было уберечься отъ извѣстной двойственности, т.-е. отъ противорѣчій. Есть извѣстіе, что онъ не одобрялъ пропаганды въ народѣ

(см. воспоминанія Джабадари) и въ то же время сочувственно разбиралъ написанную для этой цѣли книжку Степняка. Противорѣчія были неизбежны тогда въ данномъ вопросѣ для огромнаго большинства людей развитыхъ и съ сердцемъ, ихъ носило въ груди и ими мучилось въ половинѣ 70-хъ гг. не малое число самихъ участниковъ движенія на первыхъ порахъ.

Всего яснѣе видно отношеніе Тургенева въ воспоминаніяхъ Ашкинази („Минувшіе годы“, 1908 г., № 8), касающихся періода послѣ „Нови“. Ашкинази въ 1879 году передавалъ Тургеневу планъ своего романа, гдѣ проводилась мысль, что терроръ неизбежно создается мучительными и произвольными преслѣдованіями; Тургеневъ, опредѣленно осуждая самый терроръ и относящіеся къ этому выводы романа, очень сочувственно принялъ замыселъ—показать, что молодежь роковымъ образомъ толкаютъ въ безвыходное отчаяніе, самъ рассказывалъ собесѣднику о жестокостяхъ преслѣдованій, волнуясь и негодуя, и взялся хлопотать объ изданіи романа. Когда авторъ, замѣтивъ разногласіе свое съ Тургеневымъ, спрашивалъ, почему онъ все-таки не сочувствуетъ направленію его произведенія, тотъ отвѣтилъ: „Очень просто. Вы не только совершенно вѣрно разъясняете причину терроризма, но одобряете политическія убійства. Я же никогда никакое убійство не могу одобрить. Въ вашемъ романѣ меня интересовала лишь та часть, которая наглядно обрисовывала безвыходное положеніе нашей несчастной молодежи. Вотъ это надо было высказать. И я охотно помогъ вамъ высказать это“.

Передъ „Новью“ до террора дѣло не доходило, но двойственность, о которой мы говоримъ, уже имѣла мѣсто. Тургеневъ сочувствовалъ народу, сочувствовалъ молодежи въ ея стремленіи прійти на помощь народной массѣ, но формы, въ которыя на его глазахъ отливало это стремленіе, не всегда встрѣчая его признаніе, никогда не увлекали его до одушевленія. Онъ наблюдалъ работу молодого поколѣнія, какъ зритель благожелательный, но все время видящій и невольно подсчитывающій ошибки и ложные шаги. Въ этомъ же холодноватомъ, „объективномъ“ освѣщеніи нарисованы дѣятели „Нови“. Авторъ былъ безпристрастенъ; онъ взялъ героевъ искреннихъ и честныхъ, даже симпатичныхъ, но невольно положилъ печать безсилія и несообразности на ихъ дѣло, не выкупаемыхъ хотя бы зрѣлищемъ крупныхъ душевныхъ силъ, затраченныхъ на горячую иллюзію. Явленіе, взятое имъ, трепетало такой жизнью и такой мукой, на него отзывалось такъ много беззавѣтныхъ молодыхъ силъ, что трудно было его изобразить вѣрно, не заразившись отъ него хотя бы частью горѣвшаго въ немъ энтузіазма. Послѣдняго не нашлось ни для кого изъ героевъ, кромѣ развѣ Маріанны, покинутой, впрочемъ, чуть ли не на порогѣ къ дѣлу и далеко не развернутой вполне.

Внимательность изученія и даже тонкая наблюдательность автора даютъ себя часто знать въ романѣ, и упреки въ поверхностности или въ работѣ наобумъ („романъ изъ китайской жизни“ по Михайлов-

скому) собственно мало заслужены. Фактическая сторона движенія, приемы и подробности пропаганды и конспираціи, данныя въ „Нови“, совпадаютъ до мелочей съ матеріаломъ, вскрытымъ на нечаевскомъ дѣлѣ, на процессахъ долгушинскомъ и дьяковскомъ; здѣсь можно найти и переодѣванье въ народное платье, и раздачу тѣхъ же самыхъ книжекъ, и ловлю пропагандистовъ народомъ, и подложные паспорта, и нѣмой пароль въ видѣ рисунка, даже намекъ на Капитона Голушкина, котораго участіе сочтено было за мало удачный вымыселъ Тургенева, есть въ дѣлѣ Нечаева. Помимо внѣшности, типы дѣятелей взяты довольно удачно и разнообразно: тутъ есть и добросовѣстные, ограниченные исполнители, и узкій фанатикъ, и энтузіастка, и раздвоенный, и уравниовѣшенный. Въ общей психологіи движенія тоже есть вѣрно угаданныя черты, это—незнаніе народа и поклоненіе ему, затѣмъ общій идеализмъ, отсутствіе всего рѣзкаго, „революціоннаго“ и въ манерахъ и въ настроеніи, наоборотъ, извѣстная душевная мягкость. На это есть опредѣленные свидѣтельства компетентныхъ современниковъ. О. Любатовичъ („Былое“, 1906 г., № 5), описывая одно собраніе революціонеровъ въ Петербургѣ въ 1878 г., говоритъ, что, заглянувъ въ комнату, набитую народомъ, никто бы не догадался, что передъ нимъ крупные заговорщики,—такъ мало было въ ихъ нарядѣ, жестахъ, сдержанныхъ рѣчахъ той шаблонной распушенности и рѣзости, которую привыкли у насъ называть нигилизмомъ, царившимъ въ студенческихъ кругахъ 60-хъ гг., но исчезнувшимъ въ 70-хъ. „Нѣтъ, не дѣти и не братья Базарова сошлись здѣсь на бесѣду, не братья того Базарова, который презиралъ народъ уже со студенческой скамьи, потому что привыкъ трезво смотрѣть на него еще съ колыбели, нѣтъ, а скорѣе дѣти Кирсановыхъ, выросшія въ атмосферѣ мечтательнаго идеализма“.

Даже гамлетизмъ Нежданова, казавшійся чуть ли не всей критикѣ вопіющимъ анахронизмомъ, старой погудкой Тургенева, отрывкой 40-хъ гг., отмѣченъ въ качествѣ типичной черты начала движенія такимъ свѣдущимъ лицомъ, какъ Кропоткинъ. Онъ говоритъ въ своей книгѣ о русской литературѣ, что Тургеневъ понялъ двѣ характерныя черты движенія: „непониманіе агитаторами крестьянства... и, съ другой стороны, ихъ гамлетизмъ, отсутствіе рѣшительности, или вѣрнѣе „волю, блекнущую и болѣющую, покрываясь блѣдностью мысли, которая дѣйствительно характеризовала начало движенія 70-хъ гг.“.

Скажемъ въ заключеніе, возвращаясь къ условіямъ, въ которыхъ писалъ Тургеневъ: онъ больше зналъ о положеніи народа, о революціонномъ движеніи и лучше его понималъ, чѣмъ показалъ въ „Нови“. Виною тому, помимо указаннаго внутренняго его отношенія, была невозможность провести въ печать полностью весь свой замыселъ. Въ романѣ есть мѣста, говорящія о стѣсненіяхъ общаго характера, о нищетѣ народа и кулачества дворянъ-помѣщиковъ, но ихъ мало, они не развиты въ яркую картину по понятнымъ при-

чинамъ. Все вышло недоговорено, отрывочно, половинчато—и гнетъ, и оппозиція.

Быть можетъ, нигдѣ такъ, какъ въ „Нови“, не повредила Тургеневу его привычная манера давать очень много мѣста любовной интригѣ. Нельзя сказать, что онъ просто по инерціи повторялъ здѣсь себя; въ самый характеръ и проявленія любви внесено немало новыхъ чертъ: въ соотвѣтствіи съ общимъ психологическимъ настроеніемъ героевъ и занимающей ихъ основной идеей здѣсь нѣтъ лиризма любви, ея увлекательнаго, перерождающаго вліянія,—всѣхъ тѣхъ чистыхъ и могучихъ ея чаръ, которыя составляютъ признанную силу Тургенева. Наличность попытки дать что-то новое въ этой области нельзя отрицать, но вмѣстѣ съ тѣмъ атмосферѣ любви отдано слишкомъ много мѣста. Помимо основного любовнаго созвѣздія—Маріанна, Неждановъ, Маркеловъ, Соломинъ—одно время появляется на горизонтѣ другое—Неждановъ, Сипягина, Маріанна,—скоро исчезающее, но оно, какъ и главное, поглощаетъ извѣстную сумму энергіи дѣйствующихъ лицъ въ ущербъ общей экономіи романа. Эта атмосфера мѣшаетъ полнотѣ болѣе важныхъ сторонъ характеровъ; при иной ея перспективѣ, конечно, Неждановъ вышелъ бы цѣльнѣе, типичнѣе и значительнѣе, и трагизмъ его положенія сталъ бы серьезнѣе.

Какъ бы чувствуя нѣкоторую мелкость Нежданова, Тургеневъ усиленно разъяснялъ, что герой романа—Соломинъ. На это лицо авторъ, какъ извѣстно, возлагалъ много надеждъ, въ немъ онъ видѣлъ чуть ли не фундаментъ всего будущаго Россіи; тѣмъ не менѣе онъ его добылъ наполовину разсужденіемъ и потому нарисовалъ безъ увлеченія, холодноѣе даже, чѣмъ другихъ,—также холодно воспринимаетъ его и читатель. Впрочемъ, Соломинъ такъ задуманъ, что самая мысль о какомъ бы то ни было увлеченіи должна быть устранена. Соломинъ—представитель тѣхъ „крѣпкихъ, сѣрыхъ, одноцвѣтныхъ, народныхъ людей“, которымъ принадлежитъ будущее; они не герои, но они-то и суть настоящіе, теперь только такихъ и нужно. Эти слова Паклина повторяютъ суть письма автора къ Философовой въ сентябрѣ 1874 г. Тутъ Тургеневъ находитъ, что времена перемѣнились и для предстоящей общественной дѣятельности Базаровы не нужны, т.-е. не нужны герои въ ореолѣ, блестящіе и талантами или умомъ, съ крупной индивидуальностью; нужно трудолюбіе, терпѣніе, умѣнье смиряться и не гнушаться мелкой и темной жизненной работы. „Что можетъ быть, наприм., жизненнѣе—учить мужика грамотѣ, помогать ему, заводить больницы и т. д. На что тутъ таланты и даже ученость?“

При всей странности высказанной здѣсь теоріи, будто могутъ существовать такіе періоды народной жизни, когда таланты, ученость и крупная индивидуальность по существу не нужны, можно, однако, найти въ мысли Тургенева кое-что вѣрнаго. Въ томъ же письмѣ есть такіа строки: „Мы не увидимъ людей-типовъ, тѣхъ новыхъ

людей, о которых так много толкуютъ. Народная жизнь переживаетъ воспитательный періодъ внутренняго хорового развитія, разложенія и сложенія; ей нужны помощники—не вожаки, и лишь только тогда, когда кончится этотъ періодъ, снова появятся крупныя, оригинальныя личности“. Всѣ эти взгляды Тургенева сводятся къ двумъ основнымъ мыслямъ. Во-первыхъ, періоды провозглашенія новыхъ руководящихъ началъ смѣняются въ народной жизни періодами внутренней ихъ разработки, глубокаго всасыванія, совершаемаго совмѣстной дѣятельностью большинства, и 70-ые годы играютъ какъ разъ эту послѣднюю роль относительно эпохи реформъ. Въ такомъ общемъ видѣ можно признать извѣстную справедливость этой мысли, оговорившись, конечно, что и для организационныхъ періодовъ необходимы „вожаки“, и плохо пойдетъ трудное дѣло организаціи безъ талантовъ и крупныхъ умовъ.

Другая мысль состоитъ въ рѣзкомъ раздѣленіи ролей между „вожаками“ и „помощниками“; одни—герои, въ ореолѣ, крупныя и блестящія индивидуальности; они возвѣщаютъ новыя, творческія идеи, выкидываютъ и несутъ знамя, даютъ тонъ эпохъ; на долю „помощниковъ“ выпадаетъ собственно вся работа, они должны жертвовать собой, да еще „безъ блеску и треску“, смиряться и не гнушаться мелкой и темной работой. Не сказался ли здѣсь у Тургенева безсознательно нѣкоторый аристократизмъ жизненныхъ и литературныхъ понятій, свойственный воспитавшей его эпохѣ? Выработываніе передовыхъ идей въ кружкахъ, въ средѣ привилегированнаго или избраннаго меньшинства, стоящаго высоко надъ широкими слоями населенія, культъ развитой личности, сознающей въ себѣ полноту современнаго сознанія, на приобрѣтеніе котораго она расходовала всѣ свои силы,—всѣ эти типичныя черты нашего общественнаго развитія за первую половину XIX вѣка нашли себѣ характерное отраженіе въ литературныхъ произведеніяхъ того времени съ героями, доминирующими надъ всѣми лицами въ силу одного духовнаго превосходства, съ героями-проповѣдниками, возвѣстителями новыхъ началъ, знаменосцами, мало приспособленными къ мелкой, темной, *terre à terre* работѣ. И, быть можетъ, Тургеневъ чувствовалъ, берясь за „Новъ“, что пришелъ конецъ тому времени, когда одинъ человѣкъ легко давалъ лозунгъ цѣлой эпохѣ и парадировалъ блестящимъ „героемъ“ въ литературѣ. Недаромъ онъ такъ заботливо избѣгалъ всѣхъ условныхъ яркихъ красокъ, рисуя Соломина, такъ старался сдѣлать его обыкновеннымъ, „одноцвѣтнымъ“, что дѣйствительно обратилъ его въ нѣчто сѣрое и не очень ясное. Но пусть Соломинъ не вполне удался, нельзя отказать въ вѣрности самой мысли въ ея общественномъ и литературномъ примѣненіи.

Въ „Нови“ Тургеневъ попытался выйти изъ очарованныхъ рамокъ сложившагося типа романа съ культомъ героя и любовной интригой на первомъ мѣстѣ. Этотъ типъ держалъ его всю жизнь въ своей власти, между прочимъ, потому, что, отвѣчая глубокимъ

интимнымъ его переживаніямъ, давалъ въ то же время хорошій просторъ основному свойству его таланта—мягкому и нѣжному лиризму. Отъ этого попытка „Нови“ не могла удаться, и Тургеневъ, какъ Моисей, остался на рубежѣ земли обѣтованной.

„Новью“ закончилось творчество Тургенева въ крупныхъ формахъ, да и вообще въ послѣднія пять лѣтъ жизни онъ писалъ мало, удручаемый и болѣзнию, и плохимъ пріемомъ романа. Онъ не пересталъ интересоваться новыми теченіями общественной жизни; наоборотъ, есть цѣлый рядъ извѣстій о его знакомствахъ съ молодыми писателями, представителями новой журналистики (свиданіе съ дѣятелями „Русскаго Богатства“), объ интересѣ его къ новымъ явленіямъ революціонной жизни и смѣнившимся пропагандистовъ дѣятелямъ иного психологическаго склада. Такъ, по разсказу Кропоткина его очень интересовалъ Ип. Мышкинъ, какъ дѣятель „безъ тѣни гамлетизма“. Задуманъ былъ, говорятъ, даже романъ въ связи съ этой областью жизни, но ничего кромѣ слуховъ до насъ не дошло.

Мы не останавливаемся на цѣломъ рядѣ небольшихъ произведеній Тургенева, писанныхъ раньше „Нови“ и послѣ нея. Хотя среди нихъ есть очень значительныя по мастерству и поэтической прелести вещи („Пунинъ и Бабуринъ“, „Вешнія Воды“), но они не представляютъ чего-либо новаго и крупнаго ни по затронутымъ темамъ, ни по литературной манерѣ. Заслуживаетъ упоминанія, что въ послѣднія 10—12 лѣтъ жизни Тургеневъ сравнительно часто сталъ обращаться къ темамъ необычнымъ, исключительнымъ по странности, съ оттѣнкомъ тайны и необъяснимости. Самый фактъ, конечно, свидѣтельствуетъ объ извѣстномъ наклонѣ психики автора, но надо замѣтить, что наиболѣе крупныя вещи такого характера („Пѣснь торжествующей любви“ и „Клара Миличъ“) при всемъ ихъ интересѣ и художественности лишній разъ доказали, что мистика не лежала въ натурѣ Тургенева.

Но въ послѣдній годъ жизни Тургеневъ напечаталъ свои „Стихотворенія въ прозѣ“, которыя ввели въ нашу литературу новый жанръ. Эти отклики души на впечатлѣнія момента, пережитаго лирически, глубоко и сложно, облеченные въ сжатую значительность и красоту поэтическаго слова, произвели очень сильное впечатлѣніе и породили рядъ послѣдователей новой привлекательной и трудной литературной формы, оставшись до сихъ поръ высшими ея образцами. Въ нихъ Тургеневъ затронулъ едва ли не всѣ основныя идеи своего творчества и далъ важнѣйшія черты своей нравственной личности. Тутъ выражено горячее сочувствіе всѣмъ обдѣленнымъ жизнью, преклоненіе передъ силой самоотверженной любви и передъ величіемъ подвига, увлеченіе поэзіей и прелестью молодой жизни и любви, тонкое и свѣжее чувство природы; здѣсь, съ другой стороны, разлито и горькое сознаніе одиночества, ужасъ передъ величіемъ и безотвѣтностью стихій, передъ ничтожествомъ человѣка и беспощаднымъ разрушеніемъ смерти, тяжелое чувство отъ лжи, пошлости и глупости человѣческой. Тутъ, наконецъ, и горячая любовь къ ро-

динѣ, къ деревнѣ, къ русскому народу, его языку и литературѣ. Одно изъ лучшихъ стихотвореній, „Порогъ“, дающее серьезный драматическій образъ дѣвушки-революционерки, резюмируетъ лучше, чѣмъ вся „Новь“, трагическій смыслъ цѣлой полосы русской жизни. (Оно могло явиться въ печати лишь недавно.)

Особенно сильное выраженіе получила въ этой своеобразной лирикѣ та скорбная печаль, которая въ мягкой, элегической формѣ отзывается чуть ли не во всѣхъ произведеніяхъ Тургенева. Скорбь эта коренилась въ глубинѣ его натуры и питалась складомъ личной судьбы, но не носила узкаго или мизантропическаго характера; въ этой душѣ широкаго горизонта, глубоко понимавшей жизнь и не обольщавшейся никакими иллюзіями, меланхолія чаще принимала видъ мірового, философскаго пессимизма и была безсильна замкнуть его сердце для всѣхъ истинно-человѣческихъ чувствъ.

Общее значеніе Тургенева признано и установлено. Давши въ „Запискахъ Охотника“ и народныхъ повѣстяхъ высшій художественный отвѣтъ эпохи на очередной мучительный вопросъ о положеніи народа, онъ обратился къ изображенію широкихъ, преимущественно интеллигентныхъ слоевъ нашего общества и охватилъ огромную полосу русскаго развитія, начало которой теряется въ XVIII вѣкѣ, а конецъ близко подходитъ къ нашему времени. Здѣсь онъ развернулъ широкую картину жизни помѣщичьей усадьбы, провинціи, столицы не только въ культурно-бытовыхъ ея основахъ, но, главнымъ образомъ, со стороны внутреннихъ интимныхъ переживаній. Наконецъ, движущія силы этой среды, выдѣлявшія непрерывно на ея поверхность новые, живые элементы, нашли себѣ въ Тургеневѣ изобразителя, единственнаго по широтѣ и чуткости. За цѣлые полвѣка всѣ ходы и повороты нашего общественнаго развитія отразились въ длинномъ рядѣ живыхъ и яркихъ образовъ художника. Какіе бы недостатки и пробѣлы ни признавали мы за этими отраженіями, остается незыблемымъ, что Тургеневъ былъ первымъ и лучшимъ дѣятелемъ въ этой области, что русское общество до сихъ поръ учится видѣть и понимать важные этапы своего недавняго прошлаго сквозь призму тургеневской художественной интерпретаціи, осмыслившей ихъ съ перваго момента.

Быть можетъ, еще сильнѣе общее культурное дѣйствіе тургеневскаго гения. Нѣсколько поколѣній обязано ему извѣстной долей своего духовнаго существа, сложившись и продолжая складываться подъ незамѣтнымъ могучимъ вліяніемъ психическихъ импульсовъ, разлитыхъ въ его произведенія. По этимъ произведеніямъ давно начали воспитываться, учиться жить и чувствовать, и есть воспріятія, въ которыхъ Тургеневъ долго не перестанетъ быть такимъ учителемъ. Это—красота и поэзія міра, прелесть человѣческаго интимнаго чувства и цѣнность свободной личности, поднимающей до широкой общечеловѣческой солидарности.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

1.

Николай Герасимовичъ Помяловскій.

(1835—1863.)

П. Н. Сакулина.

I.

Съ нахмуреннымъ челомъ стоялъ Помяловскій передъ лицомъ жизни... Сынъ дьякона малоохтенской кладбищенской церкви, типичнѣйшій разночинецъ, онъ былъ искупительной жертвой своего времени. Разночинецъ (типа Чернышевскаго и Добролюбова) принесъ въ обновлявшуюся русскую жизнь шестидесятыхъ годовъ свой трезвый умъ, крѣпкую волю, мозолистыя руки и демократизмъ столько же стихійный, сколько и сознательный. Но было бы ошибочно, безъ дальнихъ оговорокъ, приписывать разночинцу грубую прямолинейность мышленія, нищенскую несложность психики. Этотъ кряжистый человѣкъ зналъ свою мучительную драму, и притомъ не только отъ голода и другихъ физическихъ причинъ, но, что сознавалось имъ гораздо больнѣе, отъ изнурительной работы мысли и совѣсти. Извѣстный общественно-психологическій типъ „лишняго человѣка“ имѣлъ свою демократическую разновидность. Помяловскій съ его глубоко изъязвленной душой былъ среди разночинцевъ однимъ изъ талантливейшихъ представителей этой категоріи. Его творчество—скорбная исповѣдь мыслящаго пролетарія, а его жизнь—грустная повѣсть о томъ, какъ былъ изувѣченъ тяжелымъ молотомъ судьбы организмъ, богатый физическими и духовными силами.

Судьба Помяловскаго производитъ тѣмъ болѣе гнетущее впечатлѣніе, что въ ней очень мало случайнаго и слишкомъ много типическаго.

Раннее дѣтство нашъ писатель еще могъ помянуть добромъ (ср. разсказъ „Данилушка“). Но, какъ сообщаетъ самъ Помяловскій въ письмѣ къ Полонскому, уже на седьмомъ году мальчикъ былъ пьянъ, и этотъ ужасный фактъ разрушаетъ всю идиллію дѣтства. Далѣе—четырнадцать лѣтъ жестокой бурсы (съ 1843 по 1851 г.—въ

духовномъ училищѣ и съ 1851 по 1857 г.—въ семинаріи). Никто изъ педагоговъ и не подозрѣвалъ, какимъ нѣжнымъ сердцемъ и какимъ пытливымъ умомъ обладалъ тотъ „отпѣтый“ камчадалъ, которому они ставили „вѣчный нуль“ и котораго успѣли выпоротъ четыреста разъ. Философски настроенный бурсакъ пишетъ для одного себя разсужденія о томъ, что такое Богъ, имѣютъ ли животныя душу, что такое время, въ чемъ состоитъ процессъ мышленія, какъ развивается въ человѣкѣ „романическая любовь“ и т. п. Почти не имѣя никакой опоры въ преподававшихся наукахъ, онъ „своимъ умомъ“, на свой страхъ и рискъ строитъ теорію за теоріей, систему за системой. Помяловскій пробуетъ свои силы во всѣхъ родахъ сочинительства. „Я думалъ быть,—замѣчаетъ онъ самъ,—и богословомъ, и историкомъ, и философомъ, и драматургомъ, и романистомъ, и лирикомъ, и, кажется, никѣмъ изъ нихъ быть не могу. А, впрочемъ, кто знаетъ?“ Совершенно впотьмахъ молодой талантъ нащупывалъ свою дорогу. Только черезъ маленькое слуховое оконце могъ онъ познакомиться съ тѣмъ, что творилось за предѣлами тюрьмы-школы. Тургеневъ былъ однимъ изъ немногихъ посредниковъ, соединявшихъ бурсака съ „тѣмъ берегомъ“. Но и по выходѣ изъ бursы Помяловскому долго не удавалось обосноваться на „томъ берегу“. „Какъ это тяжело до сихъ поръ не знать,—писалъ Помяловскій,—что я такое: умница или завзятый дуракъ, дьяконъ или чиновникъ, или просто пролетарій, или еще проще маленькій великій человѣкъ?..“ Порою въ припадкѣ отчаянія онъ бросалъ „вышіе взгляды“ и топилъ „пустоту душевную въ стаканѣ водки за восемь копеекъ“. Но разночинская энергія поддерживала его въ этихъ тяжелыхъ исканіяхъ. Онъ снова набрасывается на книги, берется за самыя трудныя философскіе вопросы, работаетъ, не давая „своему мозгу покоя“. „Скотъ только отступаетъ передъ стѣной, а человѣкъ, если ему надо за стѣну, долженъ расшибить ее, хотя бы лбомъ пришлось работать“, говорилъ Помяловскій. Силы воли ему не занимать. И, если бы одной ей было достаточно человѣку, жизнь автора „Молотова“ сложилась бы иначе, чѣмъ въ дѣйствительности. Помяловскому хватило упорной настойчивости на то, чтобы устранить всѣ препятствія личнаго характера и выбратъ на широкую дорогу, по которой уже шла лучшая часть русскаго общества во главѣ съ Герценомъ, Чернышевскимъ и Добролюбовымъ.

Былъ канунъ реформъ. Помяловскій начинаетъ заново учиться, чтобы достойнымъ образомъ приготовить себя къ общественной дѣятельности. Онъ посѣщаетъ лекціи петербургскаго университета, читаетъ „Современникъ“, особенно, разумѣется, статьи Чернышевскаго и Добролюбова. Передъ нимъ раскрылся міръ невѣдомой ему науки, блеснули новые общественные идеалы. Наступилъ тяжелый умственный кризисъ. „Знаете ли вы,—писалъ потомъ (въ „Молотовѣ“) Помяловскій,—что значитъ честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума, смотрѣть въ свою душу не подличая, а если не вѣришь

чему, такъ и говорить, что не вѣришь, и не обманывать себя? О, это тяжелое дѣло!“ Крѣпкой рукой принялся Помяловскій вырывать плевелы семинарской схоластики, все еще засорявшіе его сознание, и неустрашимо сталъ выковыывать себѣ новое міросозерцаніе. Время было горячее, и нашъ писатель воодушевленно бросается въ самую „гущу жизни“. „Теперь работать нужно: руки и головы крѣпко нужны!“ говорилъ онъ. Въ октябрѣ 1860 г. онъ поступаетъ учителемъ въ шлиссельбургскую воскресную школу, гдѣ было до 70 преподавателей и около 800 учащихся. Это былъ періодъ возникновенія и широкаго распространенія у насъ воскресныхъ школъ. Помяловскій былъ въ числѣ первыхъ энтузіастовъ. Въ его предприимчивой головѣ зародились самые смѣлые проекты созданія своего рода лиги образованія.

Въ то же время Помяловскій выступаетъ и въ печати. Онъ сближается съ редакціей „Современника“, быстро дѣлается популярнымъ писателемъ, и „карьера“ его на этомъ поприщѣ была вполнѣ обеспечена. Заслуженный успѣхъ сопровождалъ его всюду, но Помяловскій такъ и не обрѣлъ себѣ мирной пристани.

Личная жизнь писателя вслѣдствіе нераздѣленной любви складывалась безотраднo. Близкое знакомство съ литературными кругами внесло свои горькія разочарованія. Помяловскій убѣдился, что „и между литераторами есть непроходимое дурачье, да притомъ еще пошленькое“. Идейнныя сомнѣнія не переставали мучительно раздражать его мозгъ, а общественная работа все болѣе и болѣе осложнялась разными препонами. Началось гоненіе на воскресныя школы. Чернышевскій арестованъ, и „Современникъ“ закрытъ. Ударъ за ударомъ. Кубокъ, до котораго, послѣ долгихъ усилій, наконецъ, дотянулся Помяловскій, былъ оторванъ отъ самыхъ губъ и на его глазахъ безжалостно разбитъ. „Проклятые!“—шепчетъ онъ въ безсильной злобѣ;—какъ я васъ ненавижу! О, какъ страшно я васъ ненавижу!“ А сфинксъ жизни продолжалъ мучить Помяловскаго своими неразрѣшимыми загадками. Столица, наполненная бѣднотой, нищими, притонами разврата, пугала его безысходной глубиной соціальнаго зла. Но онъ намѣренно подходилъ къ самой пасти чудовища: онъ заглядывалъ въ тѣ углы, гдѣ гнѣздились самые страшные ужасы большого города, и съ какимъ-то больнымъ сладострастіемъ терзалъ свои обнаженные нервы этими „веселенькими пейзажиками“. Душа писателя ожесточалась. Энергія слабѣла. Старый недугъ, пьянство, все чаще и чаще навѣщалъ его, парализуя волю и расшатывая богатырское здоровье. Послѣ приступовъ болѣзни, доводившей его до бѣлой горячки и мыслей о самоубійствѣ, наступали полосы просвѣтлѣнія, и Помяловскій лихорадочно принимался работать. „А мнѣ жить еще хочется, работъ впереди много, силы еще есть во мнѣ“, говорилъ онъ своему другу, Н. А. Благовѣщенскому. Незадолго до смерти ему какъ будто удалось осилить свой порокъ. „Теперь работать, работать!—воодушевленно восклицалъ Помялов-

скій:—начну новую жизнь,—все старое къ чорту!“ Но какая-то злокачественная опухоль на ногѣ привела его къ преждевременной смерти. Помяловскій умеръ 5 окт. 1863 г. только на 29-мъ году своей жизни.

Какихъ-нибудь пять лѣтъ продолжалась дѣятельность Помяловскаго, а его активное участіе въ литературѣ и того меньше. Но его проводили въ могилу, какъ дорогого человѣка и любимаго писателя. Простой деревянный гробъ на рукахъ несли до самаго мало-охтенскаго кладбища. Длинная-длинная вереница тянулась за гробомъ, говоритъ В. П. Острогорскій, самъ участникъ похоронъ: „не было видно тутъ сановитыхъ официальныхъ лицъ, очень мало было и каретъ. Въ сырой осенній день, увязая въ грязи, провожали писателя почти исключительно такіе же неимущіе люди, по большей части молодежь, какъ и онъ самъ“. Хоронили писателя-пролетарія, но „за правду честнаго бойца“, какъ выразился Плещеевъ въ своемъ некрологическомъ стихотвореніи.

II.

Лѣсникову, человѣку „мѣщанскаго происхожденія“, не нравился характеръ барчука Андрюши Чебанова, котораго ему пришлось обучать и воспитывать (въ очеркѣ „Андрей Ѳедорычъ Чебановъ“). „Такіе характеры многіе называютъ внѣшними,—говоритъ авторъ:—въ нихъ есть одна опредѣляющая черта. Андрюша не понималъ природы, не умѣлъ наслаждаться ею; онъ не засматривался на ясное небо ни днемъ, ни ночью, не прислушивался къ голосамъ и шуму лѣса; пруды, каскады, ручьи и ключи не имѣли для него поэтической прелести; въ грозѣ онъ не находилъ ничего грандіознаго“. Помяловскій въ избыткѣ былъ надѣленъ тѣмъ, чего не хватаетъ „внѣшнимъ“ характерамъ. Въ его широкой, плебейской груди билось отзывчивое сердце, открытое всѣмъ поэтическимъ впечатлѣніямъ природы и жизни. Онъ любилъ и чувствовалъ природу, „любилъ искусство, любилъ слушать музыку, особенно русскую, любилъ хорошіе стихи, заглядывался на всякую красоту, хотя самъ никакимъ искусствомъ не занимался“, по свидѣтельству Н. А. Благовѣщенскаго. Но, какъ истый разночинецъ и сынъ шестидесятихъ годовъ, Помяловскій изъ базаровской боязни „разсыропиться“ подавлялъ въ себѣ всякій эстетизмъ. Стыдливо избѣгалъ онъ „лаптеплетенія въ стихахъ“; въ произведеніяхъ своихъ былъ крайне скупъ на поэтическіе аксессуары: весьма рѣдко даетъ онъ любовныя сцены (вѣдь любовныя волненія „не что иное, какъ химическіе процессы въ организмѣ молодого человѣка“, говорилъ онъ въ „Мѣщанскомъ счастьѣ“), очень мало у него картинъ природы; онъ какъ бы спѣшитъ скорѣе дойти до главной цѣли и старательно выдерживаетъ дѣловой тонъ разсказа. А когда ему случится проявить поэтическое настроеніе, то онъ самъ же норовитъ разсѣять его какой-нибудь стилистической выходкой. Вотъ одинъ изъ многихъ примѣровъ: „настала тихая волжская ночь, поднялись туманы выше нагорнаго берега, легко плещется рѣка, а

въ тиши ночи дуетъ пѣсню стоголосый соловей!“ (очеркъ „Данилушка“). Въ стилѣ своемъ, вообще сжатомъ, мѣткомъ и колоритномъ, Помяловскій допускаетъ преднамѣренную грубоватость, характерную для разночинца. Описавъ (и притомъ очень тонко) майскій день, полный нѣги и сладострастія, онъ вдругъ прибавляетъ: „не только люди: вся сволочь влюблена“ (ром. „Братъ и сестра“). Онъ говоритъ о „рожѣ“ бонтонной барыни, объ ея „дряхлахъ, поганныхъ слезахъ“, о „мордѣ“ отставного титулярнаго совѣтника; честитъ „быкомъ холмогорскимъ“ папенку Любови Александровны (въ ром. „Братъ и сестра“) и т. п. Иногда своеобразный языкъ Помяловскаго, почти жаргонъ разночинца, пріобрѣтаетъ у него особенную силу именно отъ этихъ „нелитературныхъ“ выраженій. Леденящій ужасъ навѣваетъ на читателя, напимѣръ, слѣдующая картина петербургской ночи (въ ром. „Братъ и сестра“): „Ночь точно опьянѣла и сдуру, шатаясь по городу, грязная, злилась и плевала на площади и дороги, дома и кабаки, въ лица запоздалыхъ пѣшеходовъ и животныхъ... На небѣ мракъ, на землѣ мракъ, на водахъ мракъ. Небо разорвано въ клочья; и по небу облака, словно рубища нищихъ, несутся. Несчастные каналы, помойныя ямы и склады разной пакости въ грязныхъ дворахъ родного города, гдѣ лежитъ гниль и падалъ, дышать, дышать и отравляютъ воздухъ міазмами и зловоніемъ, а въ этомъ зловоніи зарождается мать-холера, грядущая на городъ съ корчами и рвотой... Громъ заржалъ на небѣ; молнія разнолинейными, ослѣпительными полосами освѣтила разнообразнѣйшую картину природы. Вѣтеръ взвылъ и помчался, понесъ грязный и промозглый воздухъ по улицамъ, застучалъ жестью крышъ, расшибалъ съ звономъ стекла въ окнахъ и далѣе понесъ по городу грязный, промозглый воздухъ. Нева развозилась; она теперь темна, но съ разсвѣтомъ покажетъ желтую мутную воду. О, мать-природа, какъ подчасъ ты бываешь жестока и отвратительна!..“

Помяловскому не до красотъ природы, не до эстетики. Онъ чуждается всего этого, какъ литературной роскоши и изысканности, и всю силу своего творчества направляетъ на уясненіе, если не на разрѣшеніе соціальныхъ проблемъ. Оригинальный талантъ Помяловскаго не многимъ обязанъ непосредственному вліянію литературныхъ предшественниковъ. Вмѣстѣ съ Потесинимъ (героемъ ром. „Братъ и сестра“) онъ цѣнилъ въ литературѣ „духъ обличенія, охватившій насъ со временъ Гоголя“. Имя Гоголя встрѣчается уже въ наиболѣе раннихъ его произведеніяхъ, а для романа „Братъ и сестра“ онъ хотѣлъ „взять во вниманіе обличенія Щедрина и другіе обличительные очерки“. Съ Тургеневымъ онъ познакомился еще въ семинаріи и впослѣдствіи съ уваженіемъ относился къ автору „Отцовъ и дѣтей“ (что видно, напр., изъ письма къ Полонскому отъ 21 мая 1862 г.). Но тамъ и сямъ у Помяловскаго проскальзываетъ явно отрицательное отношеніе къ литературѣ дворянскаго періода. Молотовъ наудачу развернулъ Лермонтова и вычиталъ фразу: „несчастіе

Николай Герасимович Помяловскій.

Съ гравюры В. Магэ.

(Историческій музей въ Москвѣ.)

(Национальный музей в Москве)
С. Г. Бабурин, В. М. М.

Николай Гераимович Подольский



H. Hornsby

мужиковъ ничего не значить противъ несчастія людей, которыхъ преслѣдуетъ судьба“. И онъ не только выругалъ Арбенина, „большого барина и большого негодяя“: „онъ въ эту минуту озлобился на поэта, лично на Лермонтова, забывая, что поэтъ не отвѣчаетъ за своихъ героевъ, что бы они ни говорили“. Тургеневъ когда-то былъ „любимымъ поэтомъ“ Нади Дороговой, но потомъ она разлюбила его и вообще сочиненія подобныхъ романистовъ. Это книги „для избранныхъ“. Тамъ, разсуждаетъ Надя, „люди живутъ не по-нашему, тамъ не тѣ убѣжденія, большею частью живутъ безъ труда, безъ заботы о насущномъ хлѣбѣ. Тамъ всѣ помѣщики—и герой помѣщикъ, и поэтъ помѣщикъ... Барина описываютъ съ замѣтной къ нему любовью, хотя бы онъ былъ дрянной человѣкъ; и воспитаніе, и обстоятельства разныя—все поставлено на видъ; притомъ баринъ всегда на первомъ планѣ, а чиновники, попадѣи, учителя, купцы всегда выходятъ негодными людьми, безобразными личностями, играютъ унижительную роль, и, смѣшно, часто такъ разсказано дѣло, что они и виноваты въ томъ, что баринъ худъ или страдаетъ“. Пусть это говорятъ подъ извѣстнымъ настроеніемъ дѣйствующія лица Помяловскаго, но нельзя сомнѣваться въ томъ, что и самъ авторъ раздѣляетъ этотъ скептицизмъ по отношенію къ дворянской литературѣ... Собираясь дать портретъ *belle femme*, онъ замѣчаетъ (въ ром. „Братъ и сестра“): „Здѣсь мы должны изобразить типъ женщины, на которую, съ одной стороны, намекнулъ Гончаровъ въ своей Софѣ Николаевнѣ, съ другой—Тургеневъ въ Одинцовой. Мы этотъ типъ выведемъ на чистоту—дѣло-то лучше будетъ“.

У писателя-разночинца—своя дорога, свои темы и приемы.

Повѣсти Помяловскаго по большей части не отдѣланы и не закончены. Это скорѣе наброски большого художника, чѣмъ готовые картины. Многое осталось въ черновикахъ и даже въ видѣ общихъ плановъ. Жизнь слишкомъ притягивала и мучила его, чтобы онъ могъ отдаться спокойному художественному творчеству. Онъ нервно перебѣгалъ отъ одной темы къ другой, и каждая изъ нихъ была кускомъ его собственной жизни, а не простымъ литературнымъ сюжетомъ. Постоянно находясь подъ властью душевнаго надлома, торопливо зачеркивалъ художникъ свои наблюденія и переживанія, но и въ самыхъ бѣглыхъ его контурахъ видна твердость и точность рисунка, способность схватывать типическія черты предмета. Помяловскій не успѣлъ дать большихъ художественныхъ обобщеній, которыя бы позволили поставить его произведенія наравнѣ съ произведеніями Тургенева, Гончарова или Писемскаго, но онъ успѣлъ обнаружить даръ сжатыхъ и мѣткихъ характеристикъ (особенно при описаніи многоголовой бурсы), способность къ точному и глубокому анализу, психологическому и социальному. Болѣе всего онъ дорожилъ именно правдой своего творчества и ясностью мысли.

Двѣ очередныя проблемы главнымъ образомъ занимали творческія думы Помяловскаго: воспитаніе и взаимоотношенія барства

и плебейства. Къ первой естественно примкнулъ т. н. женскій вопросъ, а вторая разрослась до размѣровъ основного соціального вопроса европейской жизни. Конечно, Помяловскій не первый коснулся этихъ сюжетовъ: мы находимъ ихъ уже въ литературѣ сороковыхъ годовъ. Но авторъ „Очерковъ бурсы“ и „Мѣщанскаго счастья“ далъ много такого, что навсегда останется связаннымъ исключительно съ его именемъ.

Когда, послѣ нѣкотораго колебанія, Помяловскій рѣшился, наконецъ, „продать бурсу“, его знаменитые „Очерки бурсы“ (1862—1863 г.) полнотой своего фактического содержанія, яркостью и разнообразіемъ типовъ, силой проникающей ихъ педагогической и соціальной мысли затмили все, что до него писали о бурсѣ Нарѣжнѣй, Гоголь, Никитинъ. Школа, готовившая служителей церкви, подъ правдивымъ перомъ Помяловскаго предстала чѣмъ-то вродѣ дисциплинарнаго батальона, гдѣ свирѣпствуетъ педагогъ-тиранъ, занятый не столько обученіемъ, сколько изобрѣтеніемъ изысканныхъ методовъ наказанія. Среди учителей былъ между прочимъ такой „артистъ въ своемъ дѣлѣ“, который заставлялъ учениковъ „кланяться печкѣ, цѣловать розги, сѣкъ и солилъ сѣченаго“. Порка и долбня, „долбня ужасающая и мертвящая“, доводили учениковъ до полного отупѣнія, до потери здраваго смысла и до непреодолимаго отвращенія ко всякой книгѣ, не говоря уже о богословской схоластикѣ, которая по недоразумѣнію называлась наукой. Говоря о типахъ, созданныхъ развращающимъ вліяніемъ бурсы, самъ авторъ невольно вспоминалъ героевъ Достоевскаго въ его „Запискахъ изъ мертвого дома“, а Писаревъ потомъ остроумно развилъ эту параллель въ статьѣ „Погибіи и погибающіе“.

Началъ было Помяловскій описывать „переходное время бурсы“, но работы этой не закончилъ, да едва ли бы ему и удалось черезъ чистилище добраться до семинарскаго рая. Появившись одновременно съ педагогическими статьями Пирогова, Добролюбова, Писарева и Л. Н. Толстого, очерки Помяловскаго дали несокрушимое оружіе въ руки тѣхъ, кто боролся тогда за свободу личности, за новую школу и новую науку. Самъ прирожденный педагогъ (что ясно обнаружилось во время занятій въ воскресной школѣ), Помяловскій придавалъ первостепенное значеніе воспитанію *), и анализъ условій воспитанія входитъ, какъ необходимый элементъ, во всѣ его произведенія.

Какъ это было и вообще въ литературѣ шестидесятыхъ годовъ, по вполнѣ законной ассоціаціи, отъ общаго вопроса о воспитаніи Помяловскій переходитъ къ женскому воспитанію и далѣе къ „женскому вопросу“. Не мало интереснаго представилъ Помяловскій въ

*) Первымъ по времени произведеніемъ Помяловскаго былъ рассказъ изъ семинарскаго быта „Махилонъ“ (1855 г.), помѣщенный въ рукописномъ журналѣ „Семинарскій листокъ“, а первымъ печатнымъ произведеніемъ—„психологическій очеркъ“ „Вуколъ“ (въ „Журналѣ для воспитанія“ за 1859 г.).

этомъ отношеніи и между прочимъ набросалъ рядъ удачныхъ силуэтовъ женскихъ типовъ (напр., „кисейной барышни“). Но все же въ этой области Помяловскій не оставилъ чего-либо крупнаго и оригинальнаго. Съ мучительнымъ напряженіемъ его умъ работалъ надъ другой общественной проблемой, имѣвшей исключительную важность для эпохи шестидесятыхъ годовъ и сохранившей свою остроту вплоть до нашего времени. Если Тургеневъ въ своемъ Базаровѣ воплотилъ новое міросозерцаніе демократической интеллигенціи того времени, то Помяловскій съ рѣдкой правдой и художественной силой изобразилъ бытъ разночинца, его культурный кризисъ и удѣльный вѣсъ въ нашемъ общественномъ строѣ. Что сдѣлано въ литературѣ Тургеневымъ для дворянской интеллигенціи, Островскимъ—для купечества, то сдѣлано Помяловскимъ для мѣщанства и разночинства. Отрицательно относясь къ бюрократіи, какъ институту (это въ эпоху Калиновичей и Надимовыхъ!), Помяловскій, однако, не только внимательно, но и любовно живописалъ „чистенькую бѣдность“ (по его выраженію) чиновнаго мѣщанства, его вѣчные будни и непрестанную борьбу за каждую крупницу счастья, за возможность „жить, какъ люди“ (въ „Молотовѣ“, 1861 г.). Но авторъ нисколько не скрываетъ и обратной стороны этой „бѣдненькой внутреннимъ смысломъ жизни“. Онъ сочувственно слѣдитъ за динамикой мѣщанства, за разрушеніемъ патріархальныхъ основъ, какъ слѣдствіемъ „акклиматизации европейскаго прогресса“. Надя Дорогова (въ „Молотовѣ“), подобно Катеринѣ въ „Грозѣ“, вноситъ лучъ свѣта въ темное царство мѣщанства. Она настойчиво защищаетъ свое право на свободный бракъ, и родители должны были уступить ей. „Семья разлагалась,—констатируетъ авторъ; изъ нѣдръ ея вставали новыя силы—нравственныя, непобѣдимыя“, и самому Игнату Васильевичу Дорогову „страшно стало душить чужую молодую жизнь, запрещать свѣжимъ людямъ мыслить и вѣровать, и радоваться по своему“. Надя нашла опору въ Молотовѣ. Молотовъ чрезвычайно жизненный и въ то же время оригинально задуманный типъ (въ „Мѣщанскомъ счастьѣ“ и „Молотовѣ“, 1861 г.). Сынъ слесаря, онъ прошелъ барскую школу, но скоро сталъ передъ мучительнымъ вопросомъ о своемъ плебейскомъ призваніи. Жизнь взглянула на него „своими широкими, прекрасными и страшными глазами“ и сурово ждала отвѣта. Человѣкъ средній, Молотовъ подавилъ въ себѣ идейные запросы и помирился на „честной чичиковщинѣ“, сдѣлался облагоустроеннымъ „пріобрѣтателемъ“. Разночинецъ считалъ для себя уже немалой побѣдой надъ жизнью, если ему удавалось добиться культурнаго и независимаго существованія. Но ни Молотовъ, ни тѣмъ болѣе авторъ не видятъ въ „честной чичиковщинѣ“ возможнаго предѣла своимъ желаніямъ. Временами Молотовъ горько жаловался на свое благонравное „мѣщанское счастье“. Но всю силу своего протеста противъ духовной бѣдности и пошлости мѣщанства Помяловскій сосредоточилъ въ автобіографическомъ типѣ

Череванина. Его измучило „прогрессивное кладбищенство“, проклятые вопросы о смыслѣ жизни, о правдѣ и справедливости. Череванинъ предпочитаетъ вести беспорядочную жизнь богемы, чѣмъ утопать въ мѣщанскомъ счастьѣ. Онъ не сумѣлъ разрѣшить своихъ тяжкихъ сомнѣній; въ результатѣ беспощадный скептицизмъ и „нравственная торичеллиева пустота“. Его не обольщаютъ громкія слова—трудъ, отечество, любовь, совѣсть, свобода, счастье, слава. „На свѣтѣ нѣтъ любви, а есть аппетитъ здороваго человѣка,—провозглашаетъ Череванинъ;—нѣтъ дѣвы, а есть бабы; вмѣсто поэзіи въ жизни мерзость какая-то, скука и тоска неисходная; ну, луна, пожалуй, и есть, да мнѣ плевать на луну: какого чорта я въ ней не видалъ?“ Онъ готовъ проповѣдывать „одинъ эгоизмъ, полный, безапелляціонный эгоизмъ“ и отрицать общественный смыслъ жизни: „Для кого же, зачѣмъ я буду работать?.. Ужъ не для будущаго ли поколѣнія трудиться?.. Вотъ еще діалектическій фокусъ, пункты помѣшательства, благодумная дичь!“ Въ психологіи Череванина отчетливо сказалась вся бытовая и психологическая основа нигилизма. Череванинъ дѣлаетъ намъ понятнымъ Базарова. Заслуга Помяловскаго въ томъ и состояла, что онъ съ полной опредѣленностью освѣтилъ социальную почву, на которой выросла демократическая интеллигенція съ ея „нигилистическимъ“ міросозерцаніемъ *). Для Помяловскаго было совершенно ясно, что происходитъ смѣна классовъ, что баринъ и плебей столкнулись, какъ двѣ социальные силы, и естественно было задаться вопросамъ, возможенъ ли между ними культурный симбіозъ.

Въ очеркѣ „Андрей Федорычъ Чебановъ“ (1862 г.) разночинецъ Лѣсниковъ пытается перевоспитать барчука и привить ему свои демократическіе взгляды, но безуспѣшно: Андрюша „все-таки остался бариномъ“. „Ну, и чортъ съ нимъ!“ рѣшилъ Лѣсниковъ, уѣзжая съ кондичій. Въ „Мѣщанскомъ счастьѣ“ Помяловскій ставитъ себѣ ту же задачу показать отношенія плебея къ барству и съ этой цѣлью производитъ настоящій художественный экспериментъ. Плебей Молотовъ получаетъ барское воспитаніе, живетъ у „добрыхъ“ помѣщиковъ, но въ концѣ-концовъ сознаетъ, что онъ постороннее тѣло въ дворянской средѣ, и что надъ нимъ тяготѣетъ „экономическій національный законъ“, регулирующий отношенія труда и капитала. „Бѣлая порода!..—восклицаетъ прозрѣвшій молодой человѣкъ: чѣмъ же мы, люди черной породы, хуже васъ? Мы мѣщане, плебен, дворянскаго гонору у насъ нѣтъ? У насъ свой есть гоноръ!“ И Молотовъ навсегда порываетъ съ „негодьями, аристократишками, барами—кулаками“. „Гдѣ намъ въ барство лѣзть!—говаривалъ и самъ Помяловскій: не тѣмъ пахнемъ, да и жизнь-то была у насъ не барская; другъ друга не поймемъ“.

*) „Мѣщанское счастье“ вышло въ февралѣ 1861 г. (въ „Современникѣ“), „Молотовъ“—въ октябрѣ того же года; романъ Тургенева „Отцы и дѣти“, написанный въ 1861 г., напечатанъ въ февр. книжкѣ „Р. Вѣстника“ за 1862 г.

Ставъ спиной къ барству, Помяловскій повернулся лицомъ въ сторону общественныхъ низовъ и сознательно спускался на самое „днище всего Петербурга“. Уже Череванинъ полонъ страданія при видѣ „путаницы человѣческихъ фактовъ“. Лѣсниковъ — трезвый и убѣжденный народникъ. Помяловскій задумываетъ цѣлое грандіозное предпріятіе — составить кружокъ писателей-демократовъ („на барство-то разсчитывать нечего!“) и заняться изученіемъ быта нищихъ, лавочниковъ, пожарныхъ и друг. элементовъ столичнаго населенія. Это было бы интереснымъ продолженіемъ „Физиологіи Петербурга“, изданія сороковыхъ годовъ. Планъ Помяловскаго остался безъ осуществленія, но самъ онъ, безъ сомнѣнія, весь былъ поглощенъ своей задачей. Объ этомъ свидѣлствуетъ его романъ „Братъ и сестра“ (1862), сохранившійся, къ сожалѣнію, только въ разрозненныхъ наброскахъ. Въ просторныхъ рамкахъ задуманнаго романа должно было вмѣститься множество типовъ людей разнообразныхъ общественныхъ положеній, но самыя жгучія сцены романа разыгрываются „тамъ въ безднѣ“, приуроченныя къ жизни „большой квартиры“, гдѣ ютится столичный пролетаріатъ, „отребье и чернорабочая бѣдность на днѣ столицы“. (Такой же „громадный домъ“ описанъ еще въ „Молотовѣ“). Въ предисловіи авторъ предупреждаетъ читателя, что „если онъ слабъ на нервы и въ литературѣ ищетъ развлеченія и элегантныхъ образовъ“, то пусть и не читаетъ книги. Ея предметъ—„циниченъ часто до послѣдняго предѣла“. Авторъ хочетъ „обратить вниманіе общества на ту массу разврата, безнадежной бѣдности и невѣжества, которая накопилась въ нѣдрахъ его“. Судя по нѣкоторымъ отрывкамъ, Помяловскій далъ бы сильный соціальный романъ, настоящую книгу скорби и любви. „Господа! страшно жить въ этомъ обществѣ, гдѣ подобныя жизни совершаются сплошь и рядомъ!“—воскликаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ. Нѣкоторые эпизоды заставляютъ вспоминать даже о „жестокомъ талантѣ“ Достоевскаго, когда ему приходилось говорить о той же Сѣнной площади. Въ наброскахъ романа „Братъ и сестра“ разсѣяно много яркихъ картинъ, типичныхъ фигуръ и глубокихъ мыслей.

Не удалось Помяловскому закончить и повѣсти „Порѣчане“ (1863), интересный образецъ этнографической беллетристики, а въ идеѣ предносился ему планъ новаго большого романа „Каникулы, или гражданскій бракъ“, который долженъ былъ, по мысли автора, реабилитировать молодое поколѣніе отъ клеветническихъ нападокъ тупыхъ и реакціонныхъ людей. „Художнически рисовалъ онъ передъ нами сцены, одну за другой“,—вспоминаетъ Н. А. Благовѣщенскій: „и такъ эти сцены были у него прочувствованы и обдуманы до малѣйшихъ подробностей, что если бы тогда сѣлъ онъ писать, то написалъ бы лучшія страницы изъ всего написаннаго имъ“.

Но Помяловскому не суждено было осуществить своихъ творческихъ замысловъ. Разночинское счастье непрочно. Онъ умеръ въ разгаръ работы, среди множества сырыхъ матеріаловъ, заготовлен-

ныхъ для новаго литературнаго произведенія, которое, можетъ быть, не плѣнило бы читателя своей внѣшней красотой, но заставило бы глубоко задуматься надъ идеей создателя. Беллетристъ и социальный мыслитель, Помяловскій выступилъ въ нашей литературѣ законнымъ делегатомъ „бѣднаго разряда разночинцевъ“. Жизнь предстала предъ нимъ, какъ борьба и страданія. Такой и изображалъ онъ ее въ своихъ произведеніяхъ.

2.

Федоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ.

(1841—1871)

И. Н. Игнатова.

Трудно представить себѣ дѣтство, полное такого безпросвѣтнаго ужаса, какъ дѣтство Рѣшетникова. Побѣгъ, лишенія, одиночество; ни надеждъ, ни мечтаній; на минуту протестъ, а потомъ опять розги, палки, „свистанье по затылку“. Били домашніе—дядя, тетка „за дѣло“ и не за дѣло, били чужіе за проказы и безъ повода; били въ бурсѣ. И когда битый, изсѣченный, озлобленный, онъ сидѣлъ гдѣ-нибудь въ уголкѣ, онъ не зналъ отдыха:

„Пройдетъ мимо меня почтальонъ и смѣется:

„— Что ты сидишь, драная харя!

„— Что ты дразнишься, песъ ты экой!

„Почтальонъ беретъ меня за волосы“...

Въ бурсѣ были „жестокія розги“. „Два раза выстегали до обѣда, да разъ послѣ обѣда“; „почти каждый день драли“. Рѣшетниковъ бѣжалъ; нашедшій его мѣщанинъ избилъ такъ, что „на лицѣ была кровь, голова страшно болѣла, волосы лѣзли“. Потомъ настигли посланные изъ бursы и задали „баню“. Послѣ этой бани „два мѣсяца лежалъ въ лазаретѣ“; опять бѣжалъ далеко на какой-то заводъ. Здѣсь опять били, но уже за другіе проступки. „Чей ты?“ спрашивали меня. „Не знаю“. „Ругали и били; доставалось всѣмъ живымъ и мертвымъ“.

„—Пей водку!

„—Не хочу!

„—Тебѣ говорятъ: пей...

„Кто теребилъ меня за волосы, кто наливалъ мнѣ на голову водки, кто засовывалъ руку за мою пазуху и обиралъ все, что у меня было тамъ спрятано.—Пляши!—Не умѣю... Меня начинали бить и силой заставляли плясать“...

Таково было дѣтство. Могъ ли въ такихъ условіяхъ не озлобиться человѣкъ, не носить въ себѣ постоянный „духъ отрицанія, духъ сомнѣнія“? Современный поэтъ въ менѣ трудныхъ условіяхъ

воззвалъ: „Отецъ мой, дьяволъ, спаси, помилуй, я тону... Я власти темнаго порока отдамъ остатокъ черныхъ дней“... Но Рѣшетниковъ не сохранилъ ненависти для „остатка черныхъ дней“. „Власть темнаго порока“ была сильна надъ нимъ; то, къ чему приучали битьемъ, колотушками, розгами,—водка,—осталось на всю жизнь печальнымъ наслѣдіемъ безпріютнаго дѣтства, но „темный порокъ“ вредилъ только самому его владѣльцу, не призывая Рѣшетникова къ злобному протесту противъ людей и условій, искалѣчившихъ его жизнь. Когда вы знакомитесь съ той атмосферой придавленности, матеріальнаго гнета, мелкой озлобленности, которою дышалъ маленькій Рѣшетниковъ, и потомъ читаете его произведенія,—и пережитыя и цѣликомъ сочиненныя, и тѣ, которыя сдѣлали имя его извѣстнымъ, и тѣ, которыми онъ разочаровалъ поклонниковъ,—вы поражаетесь удивительнымъ несоотвѣтствіемъ между воспитывающими ненависть впечатлѣніями дѣтства и лишенною ненависти его музою (если позволительно въ данномъ случаѣ примѣнить это слово).

Возьмете ли вы „Подлиповцевъ“, или „Гдѣ лучше?“, или „Свой хлѣбъ“, или „Между людьми“, вы вездѣ чувствуете тяжелый, горькій, мрачный, но не злобный осадокъ. Рѣшетниковъ стремился туда, „гдѣ лучше“, онъ всѣмъ существомъ чувствовалъ и заставлялъ читателя чувствовать тяжесть жизни, но негодованія не испытывалъ и не выражалъ. Необыкновенно страннымъ кажется, куда дѣлась та непобѣдимая страсть досаждать и вредить другимъ, которая отличала его дѣтство. „Мнѣ такъ нравилось (въ дни дѣтства) злить почтовыхъ женщинъ, что я почти каждый день придумывалъ какую-нибудь штуку“. Если онъ видѣлъ передъ собой развѣшанное для просушки чистое бѣлье, онъ начерчивалъ на немъ углемъ черные кресты; если передъ нимъ стоялъ кипящій самоваръ, онъ выхватывалъ кранъ и закидывалъ его подальше, чтобы самоваръ распаялся. Когда онъ бѣжалъ изъ бursы, каждую минуту ждалъ погони и жесточайшей порки, онъ все-таки не удержался отъ соблазна „напакостить“ совершенно незнакомымъ людямъ: онъ „обрѣзалъ нѣсколько удочекъ у снастей, распласталъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ неводъ и сдѣлалъ дыру на одной лодкѣ“...

Вы напрасно стали бы искать этой озлобленности, этой вражды къ знакомымъ и незнакомымъ людямъ въ произведеніяхъ Рѣшетникова. И когда вы спрашиваете себя: гдѣ настоящій Рѣшетниковъ? въ упомянутыхъ ли дѣйствіяхъ, или въ томъ, что имъ написано?—вы не затрудняетесь отвѣтить: нѣтъ, не въ поступкахъ сказывается его дѣйствительная душа, его настоящій характеръ. Напротивъ, чѣмъ болѣе вы знакомитесь съ произведеніями и жизнью Рѣшетникова, тѣмъ яснѣе представляется вамъ сила обстоятельствъ, умѣвшая извратить душу мальчика до временной потери ея характерныхъ свойствъ.

Надорванностью, стремленіемъ къ тишинѣ, къ спокойной, хотя бы обезпеченной жизни, къ существованію мирному, безъ злобы,

безъ униженій, безъ постоянной озабоченности, желаніемъ своего очага проникнуты его произведенія. За этими желаніями скрывается уравновѣшенная натура, надорванная и надломленная массой особенно тяжелыхъ обстоятельствъ. Его героямъ хочется счастья, тихаго „мѣщанскаго счастья“,—и въ описаніи дѣйствующихъ лицъ Рѣшетниковъ никогда не доходитъ до противопоставленія ихъ обществу, до вызова, до самого малаго подобія демонизма. Въ повѣсти „Гдѣ лучше?“ Пелагея Прохоровна думаетъ о возможности выйти замужъ за Караваева, и передъ ней рисуется тихая семейная жизнь, благодаря подходящимъ свойствамъ жениха: „человѣкъ молодой, высокій, степенный, непьющій, работающій“... Сочувствуя Караваеву, авторъ ни на одну минуту не пытается окружить его ореоломъ какихъ-либо широкихъ идеаловъ, чего-нибудь поднимающагося надъ сѣренькой жизнью мѣщанства. Искусственное возвеличиваніе, подобное возвеличиванію героя въ „Хроникѣ села Смурина“, чуждо Рѣшетникову, какъ и самъ онъ чуждъ демонизма и ненависти къ людямъ. Григорій Прохоровичъ, другой герой повѣсти „Гдѣ лучше?“, тоже мечтаетъ о женитьбѣ: „А на Лизѣ жениться хорошо,—она будетъ работать и онъ тоже, да и дома строить не нужно“... И дальше, и дальше мечты героевъ Рѣшетникова несутся къ тишинѣ, спокойствію и маленькому комфорту. И туда же несутся мысли самого Рѣшетникова, съ горечью признающагося въ зависти къ людямъ, которые „живутъ какъ-то особенно, по-своему, не ропшутъ на судьбу; дни ихъ проходятъ за днями, они ни о чемъ не думаютъ, имъ хочется только того, чтобы имъ жилось лучше, да имѣлись деньги“. „Не знаю, отчего скучать молодому человѣку, огражденному всѣми средствами довольства“, пишетъ онъ дядѣ, подразумѣвая подъ „средствами довольства“ матеріальную обезпеченность. Конечно, это не былъ идеалъ, конечно, въ томъ же дневникѣ Рѣшетниковъ писалъ: „мнѣ хочется чего-то лучшаго, небывалаго, хочется уяснить другимъ настоящее“, но въ натурѣ его не было побужденій къ борьбѣ, о которыхъ можно было бы думать, судя по нѣкоторымъ событіямъ дѣтства. А если они и были, то „ударами жизни“ были изгнаны или забыты: на 23-мъ году Рѣшетниковъ уже говорилъ о своей усталости.

Но какъ бы скромнень ни былъ онъ въ своихъ желаніяхъ, какъ бы уравновѣшена ни была въ основѣ своей его натура, ни въ обстоятельствахъ личной жизни, ни въ условіяхъ времени не было благоприятныхъ импульсовъ для развитія этихъ свойствъ Рѣшетникова. Помыслы о тихой, свѣтлой, трудовой жизни кончились жизнью, обычною для многихъ литераторовъ того времени. 19 января 1864 г. онъ писалъ въ своемъ дневникѣ: „Я каждый день пью водку; безъ водки не могу закончить день; съ водкой мнѣ веселѣе; и теперь я пишу пьяный“.

Въ непосредственной связи съ жизнью, съ характеромъ и стремленіями Рѣшетникова находится его творчество.

Безъ знакомства, хотя бы поверхностнаго, съ особыми усло-

Федоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ.

Изъ „Собранія русскихъ гравюръ“. Ровинскаго.
(Румянцевскій музей въ Москвѣ.)

Годовицький Михайло
Нар. "Содзвіжжя" (Рівненська обл.)
(Рівненський музей в Москві)



В. П. Румянцев.

віями его жизни, нельзя понять ни его произведений, ни успѣха нѣ-которыхъ изъ нихъ. Не злобная, не сильная индивидуальностью, склонная къ покою натура была поставлена въ условія, воспитывавшія ненависть, требовавшія яркаго проявленія личности, призывавшія къ постоянной работѣ. Эти противорѣчащія внутреннимъ влеченіямъ внѣшнія условія породили чувство какой-то затравленности, испуганности, которое соединялось съ непрекращающейся тоской о тихой, скромной жизни. Недаромъ Глѣбъ Успенскій даетъ Рѣшетникову справедливое названіе „запуганнаго таланта“. Свою тоску о спокойномъ существованіи, о маленькой долѣ обеспеченнаго счастья Рѣшетниковъ вкладывалъ почти во всѣ свои произведенія. Но достигала она до читателя, волновала его только тогда, когда автору удавалось соединить ее съ яркимъ изображеніемъ задавленнаго и униженнаго человѣческаго достоинства, когда изъ сферы страданій отдѣльнаго человѣка онъ переносилъ эту тоску въ среду страдающаго народа.

Разночинецъ 60-хъ годовъ не могъ изображать народъ такимъ, какъ его представлялъ себѣ помѣщикъ крѣпостного времени. Ни трудъ, ни лишенія, ни побои не могли въ глазахъ разночинца представлять изъ себя нѣчто исключительно свойственное крестьянину. Едва ли какому-нибудь деревенскому Антону-Горемыкѣ приходилось испытывать столько лишеній и побоевъ, сколько выпало ихъ на долю Рѣшетникова; едва ли кому-нибудь изъ обитателей деревни приходилось такъ много работать, какъ работалъ, напр., Чернышевскій. Не мудрено, что разночинецъ-народникъ не могъ въ такой степени умиляться надъ судьбой Антона-Горемыки, какъ помѣщикъ; не мудрено, что, разыскивая „голую правду“, онъ находилъ ее не въ изображеніи крестьянина тонко чувствующею и художественно одаренною натурою, какъ это думалъ Тургеневъ. Не подкупленные ни трудомъ, ни бѣдственнымъ положеніемъ крестьянина, Ник. Успенскій и Слѣпцовъ развѣнчали Касяна съ красивой Мечи, пѣвца-Якова, мальчиковъ „Бѣжина луга“, цѣлый рядъ красивыхъ, сливавшихся съ природой въ поэтическомъ воодушевленіи, фигуръ. Но отрицаніе и осмѣяніе были только недолгимъ этапомъ въ жизни какъ разночинца-писателя, такъ и читающей публики. Это былъ небольшой отдыхъ послѣ волненій, испытанныхъ за чтеніемъ Тургенева и Григоровича. И отдохнувшее чувство могло вновь откликнуться на тяжелыя картины народной жизни, изображенныя новыми писателями.

Самыя тяжелыя были нарисованы Рѣшетниковымъ. Даже теперь послѣ того, какъ мы много пережили и видѣли не мало страшныхъ картинъ, послѣ того, какъ работа надъ литературнымъ языкомъ сдѣлала особенно строгими требованія, предъявляемыя къ беллетристу, „Подлиповцы“ съ ихъ примитивнымъ языкомъ, съ ихъ описаніями мелкихъ деталей деревенскаго существованія, производятъ впечатлѣніе какого-то длительного, страшнаго и неотвязнаго кошмара. Нищета и невѣжество, неумѣнье и невозможность тѣсно сплелись въ

этомъ кошмарѣ, и трудно различить, гдѣ находится его конецъ, что можетъ его разсѣять. Это уже не крѣпостное право, не зависимость крестьянина отъ помѣщика: это—„свободные“ люди; правда, передъ нами полудикіе инородцы „пермяки“, но они—„государственные крестьяне Чудиновской волости Чердынскаго уѣзда“, какъ подробно докладываетъ Рѣшетниковъ. Въ нищетѣ и мракѣ большинство теряетъ чувство и живетъ, по выраженію автора, какъ „лошади и коровы“,—надо добавить, какъ лошади и коровы голодной деревни. Къ изображенію этого животнаго состоянія только и подходятъ тотъ примитивный языкъ и та простота изложенія, которые составляютъ отличительныя свойства Рѣшетникова. Настроenie писателя, его литературныя особенности, предметъ описанія—все соединилось въ общей своеобразной гармоніи, чтобы произвести на читателя ошеломляющее впечатлѣніе какой-то отколотой отъ общаго человѣческаго существованія жизненной глыбы, безформенной, странной и страшной. Было ли это литературное произведение, можно ли было по отношенію къ нему говорить о художественныхъ достоинствахъ,—не разсуждали. Поверхъ художественности, поверхъ литературности поднималось нѣчто, принадлежащее къ иному порядку, нѣчто, казавшееся болѣе важнымъ и болѣе волнующимъ. Да, наконецъ, если художественность заключается въ соотвѣтствіи содержанія съ формой, то почему эпитетъ художественный не можетъ быть отнесенъ къ діалогамъ, которые ведутся подобіями людей, давая необыкновенно слабое понятіе о членораздѣльной и въ особенности о русской рѣчи?

— Што, ребя?

— Ништо.

— Ты откедова?

— А подлиповечъ. А вы-то?

— А мы бурлацать.

— Лиже. А пошто?

— Бають: баско, богачество, бають...

Въ „Подлиповцы“, вмѣстѣ съ наблюденіями надъ задавленной жизнью человѣческаго подобія, Рѣшетниковъ вложилъ собственную тоску по человѣческой, хотя бы нѣсколько обезпеченной, лишенной униженій и безотраднaго одиночества жизни. Сознаніе искалѣченнаго существованія и тоска по лучшему поднимаются надъ всѣми похождениями Пилы, Сысойки, надъ нечеловѣческой обстановкой ихъ деревенской жизни, надъ перипетіями ихъ неудачнаго бурлачества. „Родился человѣкъ для горе-горькой жизни, весь вѣкъ тащилъ на себѣ это горе, оно и сразило его; вся жизнь его была въ томъ, что онъ старался найти себѣ что-то лучшее“. Такими словами сопровождаетъ авторъ сцену смерти Пилы и Сысойки. Читатель постигъ эту тоску по „лучшему“ и, соединяя ее съ представленіемъ о тяжкомъ положеніи народа, вынесъ отъ чтенія „Подлиповцевъ“ то же впечатлѣніе безконечной жалости къ крестьянину, которое прежній читатель получилъ отъ чтенія „Антонa-Горемыки“. Только на этотъ

разъ жалость превратилась въ чувство собственной вины, которое, въ свою очередь, выросло къ началу 70-хъ годовъ въ представленіе о вѣковомъ долгѣ передъ народомъ. „Подлиповцы“ Рѣшетникова были несомнѣннымъ и виднымъ этапомъ на этомъ пути: отъ осмѣянія Ник. Успенскаго къ жалости, къ сознанию вины и долга.

Что гармонично слилось въ „Подлиповцахъ“, — изображеніе тщетно борющагося съ гнетомъ и тоскующаго народа, — то совершенно не удалось Рѣшетникову въ другихъ произведеніяхъ. Онъ весь сказался въ первомъ своемъ видномъ произведеніи, а дальнѣйшее было только повтореніемъ прежняго. Ему нечѣмъ было подѣлиться съ читателемъ, кромѣ повѣствованія о вѣчномъ чувствѣ нависшаго гнета и о тоскѣ по маленькой крупницѣ счастья. Онъ разсказалъ объ этомъ въ „Подлиповцахъ“, въ обстановкѣ, которая обобщила личное горе Рѣшетникова до степени народнаго страданія, — и больше ничего не могъ сказать.

Въ „Гдѣ лучше?“ онъ разсказываетъ ту же повѣсть гнета и тоски, но обстановка не поражаетъ такъ, какъ въ „Подлиповцахъ“, но яркихъ красокъ въ распоряженіи автора нѣтъ, и кромѣ неопредѣленно-тоскливаго впечатлѣнія читатель ничего не выноситъ. И таковъ же „Свой хлѣбъ“; таковъ же романъ „Между людьми“, съ автобіографической точностью передающій обстоятельства несчастнаго дѣтства самого писателя.

Рѣшетникова можно съ полнымъ правомъ назвать авторомъ единственнаго произведенія. Въ него, — въ эту исторію несчастныхъ жителей деревни Подлипной, — онъ вложилъ всѣ свои жизненные впечатлѣнія и свою мечту о лучшемъ; въ него же вложилъ онъ все лучшее и оригинальное изъ своихъ наблюденій.

3.

Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ.

(1836—1878)

А. А. Дивильковскаго.

Одинъ изъ популярнѣйшихъ писателей 60-хъ годовъ, Слѣпцовъ уже въ 1888 г. опредѣлялся, какъ „забытый писатель“. Главную причиною этого забвенія приходится признать то, что уже въ началѣ 70-хъ годовъ вышла изъ моды та характерная разновидность радикальныхъ идей 60-хъ годовъ, вѣрнымъ выразителемъ которой былъ всегда Слѣпцовъ. Идея его, правда, были сродни по духу народникамъ 70—80 гг. (наши историки литературы всегда причисляютъ его къ народникамъ), но не было у него главнаго, что особо цѣнилось у послѣднихъ — преклоненія передъ „народной правдой“. Отсюда — и забвеніе, слишкомъ раннее и незаслуженное.

Слѣпцовъ—яркій образчикъ „кающагося дворянина“. Его отецъ богатый помѣщикъ Саратовской губ., Сердобскаго уѣзда, мать — изъ польскихъ аристократокъ. Въ Петербургѣ у него было немало родни изъ числа сановниковъ и придворныхъ, чему онъ, между прочимъ, былъ обязанъ благополучнымъ исходомъ своего ареста въ 1866 г., въ связи съ выстрѣломъ Каракозова. Онъ получилъ хорошее дворянское воспитаніе (въ пенз. двор. институтѣ), хорошо зналъ французскій и нѣмецкій языки и литературу, учился въ московскомъ университетѣ. Какое же обстоятельство опредѣлило переходъ на сторону радикальныхъ разночинцевъ, „пономарей“ и „нигилистовъ“ этого блестящаго представителя класса крѣпостниковъ (по отзывамъ современниковъ, Василій Алексѣевичъ былъ необычайно хорошъ собой и обаятеленъ)?

Кромѣ общей причины—освободительнаго теченія, господствовавшего въ Россіи послѣ севастопольскаго краха, Слѣпцова располагали къ „измѣнѣ предкамъ“ его особыя личныя качества: отъ природы онъ былъ одаренъ, на ряду съ большой добротой, сильной практической жилкой, жаждой непосредственно-полезнаго дѣла—черта, какъ нельзя далѣе отстоящая отъ „благородной“ обломовщины и лѣниваго прекраснодушія Лаврецкихъ и Райскихъ. Всю жизнь свою Слѣпцовъ вѣчно возился съ устройствомъ разныхъ общепользныхъ предпріятій—дешевыхъ общежитій („коммунъ“), публичныхъ лекцій, спектаклей, школъ, библиотекъ, и эта возня вредно отозвалась въ концѣ-концовъ на его литературной плодовитости: оттого-то онъ и написалъ всего одну повѣсть да десятокъ мелкихъ вещей.

Эта именно черта — дѣловитость и практичность—несомнѣнно, оторвала Слѣпцова отъ „лишнихъ людей“ и сроднила съ дѣловымъ и бодрымъ поколѣніемъ „желчевиковъ“ (терминъ Герцена) или „сви-стуновъ“ (кличка, данная Погодинымъ) начала 60-хъ годовъ, какъ сроднила съ послѣдними и Некрасова и Салтыкова, тоже выходцевъ изъ дворянъ, но болѣе ранней поры. При своей литературной даровитости Слѣпцовъ, естественно, оказался въ рядахъ сотрудниковъ „Современника“, въ арміи Чернышевскаго и Добролюбова, вождей тогдашняго разночинства. Впрочемъ, Слѣпцовъ появился въ „Совр.“ лишь вскорѣ по смерти Добролюбова.

Однако, началъ печататься Слѣпцовъ еще ранѣе въ журналахъ, далеко не передовыхъ—въ умѣренно-либеральной „Русс. Рѣчи“ (Евгеніи Туръ), въ „От. Запискахъ“, въ „Атенеѣ“, даже въ „Сѣв. Пчелѣ“: авторъ былъ тогда еще зеленымъ 20-тилѣтнимъ юношей, и очерки его носили характеръ скорѣе этнографическихъ набросковъ, чѣмъ беллетристики. Таковы, въ особенности, „Путевыя замѣтки пѣшехода“. Какъ извѣстно, Слѣпцовъ, подъ вліяніемъ Даля, предпринялъ „пѣшее хожденіе“ по Владимірской губ. для описанія фабрикъ и строившейся французами желѣзной дороги; здѣсь онъ и почерпнулъ прочное знакомство съ бытомъ и языкомъ народа. Въ этомъ случаѣ

онъ примыкалъ къ цѣлому движенію, исходившему свыше (въ экскурсію Слѣпцовъ отправился отъ имени Имп. геогр. общества), цѣлью котораго было доскональное изученіе необъятной страны и народа, какъ бы открытіе ихъ заново, послѣ полного невѣжества предшествующей эпохи. Впрочемъ, родилось это движеніе гораздо раньше, въ средѣ самой интеллигенціи (вспомнимъ славянофила П. Кирѣевского и др.), давъ, между прочимъ, такой своеобразный типъ скитальца-ислѣдователя родной *terrae incognitae*, какъ П. Якушкина. Онъ и служилъ, безъ сомнѣнія, ближайшимъ образцомъ для Слѣпцова, первыя писанія котораго мало индивидуальны и напоминаютъ внѣшностью якушкинскія. Близко сходны они и съ первыми очерками Н. Успенскаго и сценками Горбунова, начавшихъ писать тогда же. Къ этимъ юношескимъ опытамъ, кромѣ „Замѣтокъ пѣшехода“ принадлежатъ еще: „На желѣзной дорогѣ“, „Вечеръ“, „Мертвое тѣло“ („Дер. сцены“), „Рыболовы“ и „Спѣвка“. Содержаніе ихъ довольно легковѣсно: это — характерныя для того времени (передъ освобожденіемъ и самое первое время послѣ освобожденія крестьянъ) „обличенія“ „нашихъ порядковъ“ въ беллетристической оболочкѣ, наиболѣе удобной по условіямъ тогдашней цензуры. Въ этомъ смыслѣ они почти не выдѣляются ничѣмъ изъ массы печатавшихся тогда очерковъ провинціальной жизни (по слѣдамъ „Губ. очерковъ“ Салтыкова), въ частности, отъ многихъ статей въ „Искрѣ“. Слѣпцовъ „обличаетъ“ здѣсь разныя порожденія и остатки крѣпостного самовластия баръ и чиновниковъ да лже-благочестіе духовенства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ и мужицкая жизнь изображается въ чертахъ отрицательныхъ—какъ жизнь одичалыхъ рабовъ. Примѣромъ могутъ служить „Замѣтки пѣшехода“, гдѣ повѣствуется, повидимому, прямо съ натуры, какъ самъ авторъ, не добившись въ одну скверную зимнюю ночь нигдѣ ночлега, „собственнымъ опытомъ убѣдился“, „какъ легко замерзнуть, быть ограбленнымъ или съѣденнымъ волками въ двухъ шагахъ отъ жилья, среди огромнаго, богатаго села, на большой дорогѣ“.

Надо, однако, прибавить, что у Слѣпцова всегда ясно просвѣчивается причинная связь между одичаніемъ мужика и тѣми „порядками“, подъ гнетомъ которыхъ протекала его жизнь. Поэтому, въ концѣ концовъ, главной мишенью обличенія остаются всегда именно „порядки“. Этимъ Слѣпцовъ выгодно отличается отъ другихъ беллетристовъ-обличителей той эпохи. И все же изъ данныхъ очерковъ современный интересъ сохраняютъ развѣ лишь „Спѣвка“ да еще „Рыболовы“. Въ послѣднемъ недурно рисуется „хозяйственная“ подкладка монастырскихъ обителей, гдѣ пребываютъ тѣ „рыболовы“, что поютъ:

Ужъ мы рыбушку ловили

По сухимъ берегамъ (эпиграфъ очерка, нар. пѣсня).

Очевидно, яркая политическая и социальная тенденція слѣпцовскихъ очерковъ перваго періода и дала ему доступъ на страницы

„Современника“, когда онъ въ 1862 г. перебрался изъ Москвы въ Петербургъ. Въ свою очередь журналъ этотъ оказалъ серьезное вліяніе на развитіе его таланта въ послѣдующіе годы. Писанія Слѣпцова съ этихъ поръ все болѣе теряютъ прежнее якушкинское или даже горбуновское обличье.

Изъ новыхъ пьесъ надо отмѣтить особенно „Питомку“ — рассказъ о горькихъ мытарствахъ одной бабы, безуспѣшно разыскивающей свою дочку, отданную ею въ Воспитательный домъ, а этимъ послѣднимъ отосланную куда-то на деревню, въ „питомки“. Много жестокаго, скрытаго пафоса въ заключительной сценѣ, гдѣ бабѣ показываютъ, наконецъ, какую-то больную „лихоманкой“ дѣвочку, предлагая провѣрить завѣтныя „родинки“: „Что, есть, что ли?“ — „Нѣту“. — „Ну, дѣлать нечего. Видно, не она“... Во всемъ рассказѣ мужики освѣщены инымъ, гораздо болѣе мягкимъ свѣтомъ; при всей грубости и забитости они чисты сердцемъ и готовы помогать ближнему въ бѣдѣ, безъ лишнихъ словъ. Тутъ сказывается какъ будто духъ Некрасова. Тѣ же черты въ рассказѣ „Ночлегъ“, гдѣ „дворничиха“ бѣднаго постоялаго двора, разоряемаго пьянствомъ хозяина, даетъ все же бесплатный пріютъ и ужинъ прохожему горемыкѣ за его страданія, вынесенныя отъ злого начальства. Элементы обличенія и легкаго юмора и здѣсь въ полной силѣ, точно такъ же, какъ и въ „Сценахъ въ больницѣ“ и „Свиньяхъ“, ближе подходящихъ къ первымъ вещамъ Слѣпцова. Неоспоримо, что истинной художественности въ мелкихъ вещахъ Слѣпцова маловато. Есть у него характерныя фізіономіи, очень жизненныя положенія, неподражаемые діалоги, но не хватаетъ главнаго: внутренней законченности, непринужденной цѣльности постройки всего произведенія. Все это — или простые, несвязные отрывки, сценки, картинки, или же грубо нанизанныя на неприкрытую тенденцію зерна дѣйствительной жизни, нерѣдко, правда, сами по себѣ плѣняющія своей неподдѣльностью.

Большая часть художественныхъ пробѣловъ въ рассказахъ Слѣпцова искупается для читателя его прекраснымъ народнымъ языкомъ. Рѣчи его дѣйствующихъ лицъ всегда схвачены необычайно жизненно. Есть много перловъ въ своемъ родѣ, на примѣръ, разговоры автора съ иѣкимъ Ниломъ Алексѣвичемъ въ „Письмахъ объ Осташковѣ“ (особ. письмо 7). Правда, по богатству, по живописности, по образности языкъ его уступаетъ, на примѣръ, языку Островскаго и Гл. Успенскаго, но общій духъ великорусской рѣчи, ея внутреннее строеніе, характерная для нея сжатая сила и юмористическая мѣткость вполне уловлены Слѣпцовымъ, и это одно ставитъ его далеко не въ послѣдніе ряды русскихъ художниковъ слова. А живому языку, само собой, соотвѣтствуютъ и живыя мысли живыхъ людей, поэтому въ „мужицкихъ“ рассказахъ Слѣпцова мы все же имѣемъ дѣло, безусловно, съ настоящимъ, художественно-воспроизведеннымъ міросозерцаніемъ и обликомъ русской деревни, непосредственно въ моментъ разбитія цѣпей вѣкового рабства.

Неудивительно поэтому, если талантъ Слѣпцова гораздо сильнѣе блещетъ въ этотъ періодъ въ такой области, гдѣ онъ совсѣмъ не чувствовалъ себя стѣсненнымъ рамками беллетристической формы—въ непосредственномъ описаніи дѣйствительности. Таковы „Письма объ Осташковѣ“ (числомъ 10), которыми Слѣпцовъ и дебютировалъ въ „Современникѣ“. Письма эти интересны потому, что показываютъ, какъ добросовѣстно и тщательно изучалъ Слѣпцовъ народную жизнь; здѣсь же мы видимъ, что, какъ вѣрный ученикъ Чернышевскаго, онъ не ограничивается лишь языкомъ народа да его моралью, но находитъ нужнымъ спуститься вглубь экономическихъ отношеній. На этомъ пути онъ глубоко проникъ въ самую суть „исторіи цивилизаціи Осташкова“, показавъ, какъ исконный кустарный „народный промыселъ“ превращается въ подножіе для „династіи Савиныхъ“, мѣстныхъ капиталистовъ, а само населеніе, обезличиваясь въ этомъ болѣзненномъ процессѣ, принимаетъ видъ какихъ-то „отставныхъ солдатъ“, гордо зовущихъ себя, однако, „гражданами“. Слѣпцовъ, при этихъ условіяхъ, скептически отнесся заодно и къ насажденной усердіемъ и щедротами тѣхъ же эксплуататоровъ Савиныхъ, всеобщей грамотности и прочей осташковской культурѣ (и „литературѣ“). Въ этомъ, быть можетъ, выразилась нѣкоторая близорукость, избѣжать которой человѣку той давней поры врядъ ли было возможно.

Вещью, на которой больше всего покоилась слава Слѣпцова въ 60-ые годы, была повѣсть изъ интеллигентской жизни „Трудное время“. Эта повѣсть появилась, дѣйствительно, въ трудное время—поворота въ сторону реакціи послѣ польскаго возстанія. „Трудное время“ является отвѣтомъ ученика Чернышевскаго на вопросъ „Что дѣлать?“, поставленный учителемъ. Какъ и въ романѣ Чернышевскаго, въ повѣсти Слѣпцова дѣло идетъ о „новыхъ людяхъ“. Интересно прослѣдить, какъ видоизмѣнился за короткій промежутокъ въ 2 года ихъ типъ и рѣшеніе указаннаго вопроса. За эти два года все возраставшая реакція стала основнымъ фактомъ, какъ бы несомнѣнными рамками всего предстоящаго развитія—въ такой мѣрѣ, какъ не могли себѣ и представить еще „новые люди“ изъ „Что дѣлать?“. Мы знаемъ теперь, что реакція эта тѣнью своей захватывала цѣлыя десятилѣтія въ будущемъ. Понятно, что живое предчувствіе этого въ повѣсти Слѣпцова совершенно стерло жизнерадостный колоритъ, свойственный первообразу повѣсти. Лопуховымъ, Вѣрамъ Павловнамъ, даже тренирующемуся для тяжелой борьбы Рахметову все казалось впереди такъ ясно, просто, удобно-исполнимо; не то—герою „Труднаго времени“ Рязанову.

По сравненію съ названными персонажами, Рязановъ можетъ показаться даже слишкомъ охлажденнымъ жизнью. Характерно выражаетъ онъ самъ результаты своихъ „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ“ слѣдующимъ, напр., образомъ. Марья Николаевна (жена помѣщика-либерала, у котораго гоститъ Рязановъ), въ восторгѣ отъ необыкновеннаго, на ея взглядъ, поступка

прямодушнаго гостя съ реакціоннымъ мировымъ посредникомъ, принимается играть для Рязанова браурный маршъ (повидимому, Марсельезу). Рязанову же эти звуки—какъ будто совсѣмъ некстати—напоминають вдругъ „фельдфебеля“: „ходить фельдфебель и твердить: лѣвой, правой, лѣвой, правой...“—Что вамъ за охота вспоминать объ этихъ фельдфебеляхъ?—съ неудовольствіемъ отвѣтила Марья Николаевна.—„Нѣтъ, изрѣдка ничего. Это освѣжаетъ мысли“, говоритъ Рязановъ, унимая романтическій порывъ себясѣдницы. Въ другой разъ онъ говоритъ:

„— Да вѣдь тонъ... какъ вамъ сказать? это такая вещь, которая зависитъ не отъ одного желанія“.—Отъ чего же?..—„Тонъ задается жизнью, а мы только подпѣваемъ. Пожалуй, можно и выше его поднять, да что толку? Жизнь сейчасъ осадитъ“. Такія и другія, еще болѣе выразительныя реплики Рязанова подали поводъ нѣкоторымъ критикамъ считать его за своего рода разновидность „лишняго человѣка“. Но многіе поступки и слова того же Рязанова радикально противорѣчатъ этому взгляду, что, въ свою очередь, привело другихъ критиковъ къ сужденію о героѣ Слѣпцова, какъ о неясномъ, спутанномъ, слѣдовательно, нехудожественномъ образѣ. На самомъ дѣлѣ, указанная выше черта говорить скорѣй всего лишь о твердо усвоенномъ Рязановымъ сознаніи „предѣла, его же не преjdeши“ въ современную ему минуту русской жизни. Горизонтъ возможной дѣятельности представляется ему гораздо болѣе суженнымъ, чѣмъ у „новыхъ людей“ изъ „Что дѣлать?“—тоже, безусловно, типа трезваго и отнюдь не романческаго. Но Рязановъ въ то же время вовсе не считаетъ немыслимой какую бы то ни было общественную дѣятельность для интеллигента его образа мыслей, вообще. Когда Марья Николаевна изъ его словъ выводитъ заключеніе:—„Ну, да, я понимаю, это значить, что здѣсь нечего дѣлать“, то получаетъ отъ него твердый отвѣтъ:—„Нѣтъ...“ Да и вся роль Рязанова въ повѣсти, все его поведеніе рѣшительно опровергаютъ такой поспѣшный выводъ.

Если обратиться къ дѣйствию повѣсти, не ограничиваясь однимъ распутываніемъ загадокъ, заключающихся въ рѣчахъ ея героя, рѣчахъ, которыя носятъ нерѣдко слишкомъ явные слѣды „іудейскаго страха“ тогдашней цензуры, то увидимъ, что Рязановъ отнюдь не даромъ живетъ „на лѣтнемъ положеніи“, не просто „проводитъ время пріятно“, не „пересыпаетъ лишь изъ пустого въ порожнее“, какъ готовъ увѣрять онъ самъ. Нѣтъ, все время онъ неуклонно дѣлаетъ свое дѣло, дѣло „новыхъ людей“: за лѣто онъ съ успѣхомъ „спропагандировалъ“ Марью Николаевну, — хотя потомъ, въ разговорѣ съ Щетининымъ скромно приписываетъ ея обращеніе естественной „необходимости“ да ея собственнымъ природнымъ качествамъ. Читатель же ясно видитъ, что это именно Рязановъ создалъ изъ дюжинной филантропки-помѣщицы сознательную и непреклонную „новую женщину“—какіе бы задатки ни имѣлись у

нея заранѣе. Кстати же онъ вербуетъ еще одного рекрута разночинской арміи—сына мѣстной дьячихи, котораго и прихватываетъ съ собой при отъѣздѣ. Такъ какъ никакая иная дѣятельность для „новыхъ людей“ не была въ тотъ моментъ, по обстоятельствамъ, мыслима, то отсюда неотразимо вытекаетъ, что Рязановъ—„человѣкъ дѣйствія“, отнюдь не разбитый и не павшій духомъ, а, наоборотъ, въ полной силѣ и, такъ сказать, при отправленіи обязанностей. „Фельфебель“ же, т.-е. казарменные политическія условія тогдашней Россіи, являлся у него только родъ вѣхи, указывающей, куда покамѣстъ не итти, гдѣ дѣятельность, до поры, была бы лишь безплодной тратой силъ. И не правъ ли былъ тутъ Рязановъ? Достаточно припомнить печальные опыты интеллигентной молодежи въ этой сферѣ въ ближайшіе годы, вслѣдъ за появленіемъ повѣсти Слѣпцова—опыты московской „Организаци“—земляковъ Слѣпцова (по Сердобскому уѣзду) Ишутина, Каракозова, также Худякова и друг. (1866 г.).

Отчего же, въ такомъ случаѣ, Рязановъ страннымъ образомъ не закончилъ своего дѣла относительно Марьи Николаевны, отчего не увезъ ее съ собой, какъ увезъ дьячихина сына? Зачѣмъ бросилъ ее, одинокую, предоставивъ самой выбиваться, какъ знаетъ, на волю? Но въ этой-то, повидимому, нелогичной и слишкомъ уже неромантической развязкѣ и концентрируется смыслъ и цѣнность рязановскаго типа, какъ типа общественнаго дѣятеля своей эпохи, а не частнаго охотника за рѣдкостными сердцами.

Въ самомъ дѣлѣ, прослѣдимъ опять-таки все дѣйствіе повѣсти, а не одни лишь ея многочисленные разговоры. Мы замѣтимъ строгую систематичность въ образѣ дѣйствій героя. Съ самаго перваго своего шага онъ обдуманно направляетъ Марью Николаевну къ опредѣленной цѣли—такъ умно однако же, что она этого не замѣчаетъ. Сперва даже она понимаетъ его въ обратномъ смыслѣ, возмущается его „совѣтами“ ея мужу, какъ получше прижимать мужиковъ, и... именно путемъ этого возмущенія уясняетъ себѣ, какъ не слѣдуетъ обращаться съ ними. Характерна исторія съ ея затѣей учить деревенскихъ ребятъ. Нѣтъ сомнѣнія, что самъ же Рязановъ навелъ ее на эту мысль, хотя и ни словомъ не намекнулъ на что-либо подобное; когда же Марья Николаевна серьезно взялась за дѣло,—рѣзко осмѣялъ и даже обругалъ весь замыселъ (конечно, считая неэкономной тратой силъ дѣло обученія въ годину закрытія воскресныхъ школъ и пресѣченія всякой частной инициативы),—такъ что она тутъ же и бросила свои приготовленія. Дальше, онъ, словно нечаянно, переворачиваетъ всю душу нѣжной дамы жестокимъ зрѣлищемъ порки мужиковъ. Такимъ путемъ она успѣваетъ сама исподоволь прояснить въ своемъ сознаніи скрытую отъ нея ранѣе идею единственнаго „настоящаго“ дѣла.

Образъ дѣйствій Рязанова нельзя назвать пропагандой въ тѣсномъ смыслѣ, въ смыслѣ прямой передачи готовыхъ идей: это

скорѣй—искусная педагогія, рассчитанное воспитаніе молодой души, со ступеньки на ступеньку, путемъ личнаго опыта. И въ концѣ романа, повидимому, Рязановъ не считаетъ еще воспитанія бывшей помѣщицы законченнымъ—слишкомъ малое еще разстояніе отдѣляетъ ее отъ ея исходнаго пункта. Онъ, какъ кажется, находитъ, что для ея рѣшимости повести „новую жизнь“ необходимъ послѣдній и самый трудный искусъ—искусъ одинокаго пробиванія себѣ дороги къ этой „новой жизни“. Какъ онъ самъ ей заявляетъ (стр. 407), онъ всегда „желаетъ, чтобы она дѣлала именно то, что ей хочется“, т.-е. чтобы къ своимъ рѣшеніямъ приходила сама, своей волей, а не подъ дѣйствіемъ толчка со стороны. Какъ видно, по мнѣнію Рязанова, такія рѣшенія—самыя прочныя. Устоитъ она на своемъ рѣшеніи, какъ бы ни были сильны препятствія, она—цѣнный для дѣла человѣкъ. Иначе ея цѣнность невелика.

Любопытно все же, что Рязановъ оказывается много строже къ Марѣ Николаевнѣ, чѣмъ къ дьячихину сыну. Но это понятно со стороны естественнаго, классоваго врага „баръ“, разночинца, по отношенію къ избалованной дворянкѣ. Вспомнимъ горькіе сарказмы Рязанова по поводу своего отца, пьяницы-попа, и своей матери и сестеръ съ ихъ „неимовѣрными драками“: понятно, что поповскій сынъ больше вѣрилъ своему брату - „кутейнику“, прошедшему такую же желѣзную школу,—чѣмъ барынѣ, никогда не знавшей ежовыхъ рукавицъ жизни.

Для полной характеристики Рязанова слѣдуетъ прибавить, что этотъ проницательный стратегъ воспитанія „новыхъ людей“ самъ отнюдь не рисуется у Слѣпцова какимъ-либо сверхчеловѣкомъ, лишеннымъ человѣческихъ слабостей. Онъ—живое лицо, лишь полуголовой выше остальныхъ. Есть у него и живыя ноты утомленія жизнью, страданія. О своей жизни онъ говоритъ: „Это и не жизнь, а такъ, чортъ знаетъ что, дребедень такая же, какъ и всѣ прочія“. Щетинина онъ увѣряетъ: „На жизненномъ пиру тоже мы съ тобой не очень раскутимся. Мѣста-то наши тамъ заняты давно“. Затѣмъ къ Марѣ Николаевнѣ онъ далеко не равнодушенъ, хотя и долго скрываетъ это подъ маской холодной ироніи. Когда она уходила отъ него съ послѣднимъ „прощайте!“, онъ, „схвативъ себя обѣими руками за волосы, бросился впередъ... но тутъ же остановился...“

Онъ счелъ нужнымъ умертвить свою страсть, чтобы она не затемнила правды его дѣла. Да кромѣ того, возможно, что, поставляя новобранцевъ въ армію будущихъ борцовъ, онъ хладнокровно взвѣсилъ самого себя и нашелъ себя способнымъ лишь на данную ступень дѣла, а для дальнѣйшихъ ступеней, для самой борьбы, быть можетъ, онъ и не чувствуетъ силъ. Слѣдовательно, Марѣ Николаевнѣ съ нимъ будетъ и не по дорогѣ! Не оттого ли на всей, въ общемъ, крѣпкой и энергичной фигурѣ Рязанова лежитъ, словно пыльный налетъ, отпечатокъ грусти самопознанія? Но это, во всякомъ случаѣ,—не хандра пассивныхъ „лишнихъ людей“. Это больше напо-

минаетъ предсмертныя жалобы Добролюбова на „обидную шутку“ жизни...

Что касается Щетинина, то этотъ типъ (слабо намѣченный еще въ очеркѣ „Вечеръ“) — живая переходная стадія отъ бывшаго крѣпостного барина къ буржуазнаго характера сельскому хозяину: онъ уже стыдится прибѣгать къ крѣпостному кулаку и еще стыдится послѣдовательной буржуазной эксплуатаціи „по всей строгости законовъ“. Двойной стыдъ сильно связываетъ его свободу дѣйствій и дѣлаетъ его вялымъ въ чувствахъ и поступкахъ. Но это — до поры, до времени. Онъ уже благополучно освободился отъ сѣтей злокозненнаго социализма, куда было запуталъ его нечаянно выше сказанный стыдъ, и къ концу повѣсти отчетливо принимается твердить о „капиталѣ“, безъ котораго „никакое серьезное, прочное дѣло невозможно“.

Въ своей повѣсти Слѣпцову впервые удалось достичь внутренней необходимой и естественной, художественной композиціи цѣлаго. Характеры ярки и глубоко-жизненны, въ діалогахъ авторъ еще больше усовершенствовалъ свой даръ тонкаго комизма и сжатаго, мѣткаго языка. Но при всемъ томъ повѣсть не производитъ того непосредственно-сильнаго впечатлѣнія, какого можно бы ожидать. Это связано съ почти полнымъ отсутствіемъ въ ней явственной для взгляда драматической коллизіи. Дѣйствующія лица вслѣдствіе этого живутъ передъ нами больше въ своихъ бесѣдахъ, прогулкахъ, случайныхъ встрѣчахъ, чѣмъ въ дѣйствіяхъ, въ борьбѣ, — когда человѣкъ обнаруживается всего неподдѣльнѣе. Недостатокъ дѣйствія, движенія — хотя бы шаблонной любовной „интриги“ — заставлялъ читателя, быть можетъ, недооцѣнивать эту замѣчательную повѣсть. Съ другой стороны, при скрытномъ, принципиально-сдержанномъ характерѣ героя движенію заранѣе не могло быть дано авторомъ простора. „Интрига“ же, какъ мы видѣли, подрѣзана собственноручно Рязановымъ.

Повидимому, черты героя создавались авторомъ изъ элементовъ самой жизни — въ частности, какъ намъ кажется, заимствованы изъ чертъ самого „учителя“ Чернышевскаго. По крайней мѣрѣ, изъ всѣхъ современныхъ свидѣтельствъ, Николай Гавриловичъ рисуется именно такимъ осторожнымъ и дальновиднымъ общественнымъ воспитателемъ, любившимъ скрывать свои мысли за притчами, баснями, неожиданными сопоставленіями, видимыми логическими скачками. Всегдашній методъ Рязанова (по преимуществу, „нигилистическій“) — ироническое *reductio ad absurdum* — тоже весьма свойственъ Чернышевскому. Если вѣрно это наше сближеніе, то вся повѣсть принимаетъ видъ какъ бы благоговѣйнаго напоминанія обществу о той крупной фигурѣ, которая еще недавно дѣйствовала въ средѣ, напоминанія, вполне естественнаго со стороны продолжателя общественнаго дѣла вождя. Недаромъ и Рязановъ говоритъ „въ раздумьи“ Марья Николаевна: — „Да, были люди. Это правда“. — А теперь? — „И теперь, пожалуй, еще съ пятокъ наберется...“

Такъ разрѣшалъ Слѣпцовъ вопросъ „Что дѣлать?“, поставленный Чернышевскимъ же. Жизнь того момента оправдала это рѣшеніе...

Послѣ „Труднаго времени“ Слѣпцовъ уже очень мало написалъ. Въ 1866 г. „Современникъ“ былъ разгромленъ, Слѣпцовъ подвергся аресту (правда, всего на 6 нед.) и лишился возможности открыто работать въ литературѣ. Лишь въ „От. Запискахъ“ 1868 г. (ред. Некрасова) онъ помѣстилъ, подъ инициалами В. С., два прозаическихъ фельетона, довольно, впрочемъ, любопытныхъ, подъ заглавіемъ „Записки метафизика“, гдѣ народъ (въ этомъ случаѣ—рабочіе) рисуется машинально живущимъ „лунатикомъ“ (терминъ, общій Слѣпцову и Чернышевскому). Потомъ лишь въ 1871 г. появилось начало романа „Хорошій человѣкъ“, гдѣ изображается „хождение по пустымъ мѣстамъ“ тогдашняго фантазера-революціонера (вродѣ Кельсіева или Н. Утина) въ весьма тоже скептическомъ свѣтѣ.

Послѣ этого литературная дѣятельность Слѣпцова прекратилась, частью по тяжелой болѣзни, но еще больше, вѣроятно, вслѣдствіе расхожденія со вкусами публики, требовавшей идеализаціи общины и изображенія „деревенскихъ Лассалей“ (выраженіе С. А. Венгерова). Наставала пора Наумова, Златовратскаго, Засодимскаго, и пока еще не предчувствовалась самокритика народничества въ позднѣйшихъ вещахъ Гл. Успенскаго.

4.

Александръ Ивановичъ Левитовъ.

(1835—1877).

И. Н. Игнатова.

Неопредѣленные мечтанія, постоянное томленіе въ смутныхъ перспективахъ далекаго отъ земли существованія, олицетвореніе природы, горе общее, стихійное, не только крестьянское, не только человѣческое,—такова атмосфера лучшихъ произведеній Левитова. Можно ли назвать его „народникомъ“? Много народнаго горя изображено современными Левитову такъ же, какъ предшествовавшими и послѣдовавшими писателями. Описывали матеріальную нужду, изображали зависимость крестьянина отъ помѣщика, нравственный гнетъ, личное страданіе и общественныя тяготы, „долю русскую, долюшку женскую“, которой „врядъ-ли труднѣе сыскать“. Но все это какъ-то неизбѣжно связывалось съ ежедневнымъ существованіемъ, съ причинами характера личного или общественнаго. Левитовъ—поэтъ стихійнаго горя, которое сливается со всей російской обстановкой, которое поднимается отъ полей, отъ проселочныхъ дорогъ, отъ разва-

лившихся хатъ, отъ грязныхъ трактировъ, отъ лохмотьевъ, пьяныхъ рѣчей, легендарныхъ разсказовъ. Природа и человѣкъ соединяются въ своихъ ощущеніяхъ, въ своемъ страданіи и мечтахъ, въ томъ воплѣ, который они посылаютъ куда-то, въ загубленности, несчастіи и безнадежномъ порывѣ къ чему-то сладостному и высокому. Гдѣ здѣсь „народникъ“, писатель, печалющийся о народѣ, какъ о чемъ-то приниженномъ и оскорбленномъ жизнью другихъ сословій или другихъ классовъ? Да и не народъ, въ томъ смыслѣ, какъ это понимали писатели-народники, изображалъ Левитовъ,—не деревню, не крестьянина. Были въ его изображеніяхъ и крестьяне, но главную часть „сель, дорогъ и городовъ“ образовалъ тотъ неопредѣленный элементъ, значительную часть котораго составляли описанные потомъ „босяки“. Левитовъ не скрывалъ отрицательныхъ сторонъ этого элемента. Напротивъ, онѣ быють въ глаза въ его произведеніяхъ: и пьянство, и лѣнь, и грязь, и озорство, и ложь наполняютъ села, дороги и города. Но подъ этой виѣшной извращенностью чувствуется человѣческое страданіе, не только страданіе этого лица или этого класса, но мученіе человѣчества, тѣсно связанное съ томленіемъ краcивой, но страдающей природы.

Левитову пришлось въ ранней молодости пройти пѣшкомъ изъ Тамбовской губерніи въ Москву. Онъ продѣлалъ потомъ также на собственныхъ ногахъ дорогу отъ Вологды до Лебедяни. Безъ денегъ, безъ чужой поддержки онъ принужденъ былъ нерѣдко останавливаться на дорогѣ, работать за деньги, чтобы потомъ съ ничтожной заработанной суммой двигаться дальше. При такихъ условіяхъ ему не приходилось идеализировать народъ. Онъ сталкивался лицомъ къ лицу съ порокомъ, съ виѣшной личиной жестокости и неправды человѣческихъ отношеній. Того близкаго знакомства съ отдѣльными людьми, которое даже за виѣшной неприглядностью позволяетъ видѣть „Божью искру“ и которое смягчаетъ горечь перваго впечатлѣнія, у него не могло быть. И тѣмъ не менѣе въ первыхъ очеркахъ Левитова вы не видите злобы, не видите огульнаго осужденія людей.

Онъ идетъ, напрімѣръ, по степи, утомленный и жаждущій отдыха. Встрѣчная деревня, въ которой онъ думаетъ найти ночлегъ, отвѣчаетъ на его просьбы суровымъ отказомъ и насмѣшками. „Цыцарцы идутъ“, кричатъ дѣти; „чортъ ты проклятый“, „идолъ ты этакой“, визжать бабы; мужики отказываютъ въ пріютѣ и насмѣшливо совѣтуютъ постучаться, „наsupротивъ“; оттуда полураздраженные, полунасмѣшливые слышатся также совѣты попробовать счастья „наsupротивъ“. Одинъ мужикъ подвергаетъ его экзамену, разсматривая крестъ, заставляя читать молитвы, и въ концѣ-концовъ отказывается въ ночлегѣ, потому „что языкъ, братецъ, у тебя что-то не больно-то твердъ, не пушу ночевать, какъ хочешь, кто тебя знаетъ, какой ты такой на семь свѣтѣ человѣкъ есть“. Въ одномъ мѣстѣ его травятъ собаками. Такъ нигдѣ „наsupротивъ“ не находитъ онъ ночлега... Измученный, усталый, осмѣянный и оскорбленный онъ выходитъ изъ

деревни, чтобы ночевать въ степи. „Противъ воли моей я начинаю припоминать неудачныя происшествія дня, пересчитываю ихъ по пальцамъ и хотя, по собственному моему сознанію, сердиться тутъ было не на что, я какъ будто въ одно и тоже время и сержусь и люблю ихъ“... У Слѣпцова въ „Отрывкѣ изъ дорожныхъ замѣтокъ пѣшехода“ есть совершенно аналогичная сцена. Также не пускаютъ прохожаго ночевать, также глумятся надъ нимъ — „шуваликъ, кислая шерсть, знать пробрало морозомъ - то, нѣтъ, ты постой, покайся“, — также находятъ онъ пріютъ у двороваго, преданнаго барамъ, старика. Но той примиряющей ноты, которою оканчиваются злоключенія Левитова, нѣтъ и въ поминѣ. Слова „какъ будто въ одно и то же время и сержусь на нихъ и люблю ихъ“ относятся у Левитова не только къ людямъ, такъ или иначе причинившимъ ему зло, но и къ собственному страданію, и ко всеобщему горю, и къ той атмосферѣ мучительной сладости, которая проникаетъ степь, ночь, природу.

Знакомясь съ очерками Левитова, читатель не знаетъ, какъ относиться къ страданію, къ разлитому вездѣ горю. Оно страшно, оно тяжело, но оно вноситъ поэзію въ міръ, оно зажигаетъ челоуѣка сладостнымъ томленіемъ по несуществующему, оно рисуетъ перспективы какой-то отрѣшенной отъ земли, далекой и заманчивой жизни. Объ этой жизни помышляютъ не отдѣльные люди, хотя Левитовъ, въ противоположность нѣкоторымъ современникамъ, и пробовалъ изображать отдѣльныхъ людей, рисовать ихъ въ одиночку. Но, можетъ быть, помимо его желанія, всѣ описываемые имъ отставные солдаты, пьяные мастеровые, босяки и крестьяне сливаются въ нѣчто общее, въ народную массу. И эта масса стонетъ, недоумѣваетъ, гибнетъ. Она боится какихъ-то невидимыхъ силъ, какой-то постоянной власти и злости природы, и эту злость олицетворяетъ въ неопредѣленныхъ формахъ, не рѣшаясь даже назвать чорта собственнымъ именемъ. Для этой массы все удивительно; ей удивительно, когда рассказываютъ, странно, когда отдають свое время чтенію, непостижимо, когда носятъ нѣмецкое платье и очки. Когда крестьянинъ одной деревни выучивается читать и получаетъ любовь къ чтенію, односельчане рѣшаютъ, что къ нему въ сонномъ видѣніи прилетала Варвара-мученица вся въ брилліантахъ („Сельскія тревоги“). Живя въ ожиданіи необычнаго, эти люди видятъ странные сны: „будто бы какой-то ненашинскій царь такъ тебя мучилъ, жегъ онъ тебя на огнѣ, щипалъ разожженными желѣзными щипцами, дикими звѣрями травилъ и, наконецъ, велѣлъ отрубить голову“ („Дворянка“), будто „старичекъ сѣденькій входитъ и говоритъ: спасенія душъ вашихъ нужно“ („Сладкое житье“) и т. д.

Но и дѣйствительность вся окружена снами и легендами. „За Іерусалимомъ-то, слышь, и земля кончается, — тамъ ужъ, онъ говорить, пошла вода одна да высь поднебесная; страшно, надобно быть, какъ тамъ это вода - то около города ходитъ?“ („Цѣловаль-

ничиха“). И до такой стѣпени это страшно, что нѣтъ силъ назвать нечистую силу ея настоящимъ именемъ, приходится прибѣгать къ таинственнымъ „она“, „они“... Сядешь на карапъ, съ корабля по чугункѣ. Вотъ гдѣ страсти. Бѣда. Она вотъ съ церкву съ нашу, вся желѣзная. Запрягутъ ихъ въ нее, он и сейчасъ головы на бокъ, рога-а-тия, свистнутъ и пошелъ“... „Они глядятъ изъ воды, глаза большіе, большіе, сами пузатые“ („Старое бревно“).

И когда эти рассказы о нихъ, о ней, о водѣ, которая ходитъ около города, о концѣ свѣта и страшной стѣнѣ, отдѣляющей насъ отъ неизвѣстнаго міра,—когда эти рассказы достигаютъ ушей слушателей, что-то, кромѣ страха, охватываетъ ихъ,—что-то заманчивое, влекущее къ себѣ, имѣющее удивительную притягательную силу. „Опять тишина и уныніе, потому что головы, только что съ страшнымъ напряженіемъ внимавшія солдатскому разсказу, теперь опять горемычно поникли, стараясь отгадать ту великую тайну, которая отъ вѣка жила за конечной стѣной. Неизреченныя ли красоты райскихъ садовъ привлекли къ себѣ солдатъ, наполнивши душу ихъ необоримымъ желаніемъ уйти скорѣе изъ этого грѣшнаго несправедливаго міра туда, гдѣ сіяніе Вѣчной Славы, заставляетъ забывать про всякія слезы, гдѣ за всякую рану полагается вѣнецъ мученика, или, можетъ быть, все существо откомандированнаго человѣка содрогнулось при видѣ пылавшаго за стѣною ада и въ конецъ сокрушилось отъ грязной думы о тѣхъ мученіяхъ“... и т. д.

Страждущее человѣчество живетъ одними чувствами съ природой, хотя трудно выяснить опредѣленно ихъ отношенія. Власть природы представляется порою страшной, какъ будто несчастія людей проистекаютъ именно отъ ея жестокостей; иногда, наоборотъ, природа утѣшаетъ; чаще всего она страдаетъ сама. Но она всегда живетъ, всегда полна стремленій, порывовъ, тяжелыхъ или сладостныхъ переживаній. Иногда она, въ видѣ степи, олицетворяетъ жизнь, полную горя и страданій, „и самое равнодушное сердце не можетъ не биться усиленно при видѣ этой картины одного общаго, всецѣлаго, такъ сказать, страданія; и, казалось вамъ, тѣмъ тяжелѣе страдала природа, что не было слышно ни одного звука, обыкновеннаго въ этихъ случаяхъ, только одни глаза видѣли во всемъ какую-то удушющую, гнетущую полноту“. Это страданіе природы сливается съ тяжелой мукой истомленныхъ трудною работою людей. Отъ всей степи, отъ нагнувшихся надъ спѣлой рожью жнецовъ и жницъ, отъ одинокихъ ветлѣ, отъ размѣстившихся тутъ птицъ, отъ опаленной солнцемъ травы, кажется автору, несется одинъ общій стонъ. „Я остановился и слушалъ эти рыданія по степному, почти общему горю: по всему полю тяжкимъ стономъ стояли они, и, слушая ихъ, мнѣ казалось, что имъ мало этого поля; я желалъ, чтобы слезы, вызвавшія ихъ, рѣкой многоводной зашумѣли по всему лицу земному, потому что плакала ими неутѣшная мать“...

Такъ въ представленіи Левитова и люди съ ихъ вѣрованіями и

страданіями, и природа съ ея удивительной, многообразной жизнью сливались въ одно. Это единое не переставало жаловаться, страдать, но близость природы дѣлала человѣческое горе и болѣе сложнымъ и легче переносимымъ. Даже существованіе рядомъ съ человѣкомъ какого-то злого, завистливаго, вѣчно подкарауливающаго и стремящагося вредить міра нечистыхъ существъ дѣлало сложнѣе, осмысленнѣе и привлекательнѣе человѣческую жизнь. Когда возвращающіеся домой крестьяне забываютъ вѣремя поворотить на нужную дорогу и видятъ въ этомъ забытіи дѣло нечистаго, который ихъ „обошелъ“, когда, вздыхая и крестясь, они обмѣниваются другъ съ другомъ страшными помыслами по этому поводу, читатель не можетъ не остановиться передъ вопросомъ: насколько безсодержательнѣе, безотраднѣе была бы ихъ жизнь, если бы не было этого олицетворенія природы въ видѣ нечистой силы? Поэзія, мечта, хотя бы и подавляющая, хотя бы и кишащая страхами, скрашиваетъ существованіе левитовскихъ героевъ, придаетъ тяжкому „горю сель, дорогъ и городовъ“ привлекательность и красоту. И многіе герои Левитова—поэты и мечтатели. Поэтическими описаніями полны рассказы солдатъ, проходящихъ по деревнямъ; поэзіей проникнуты суетвѣрія и сны; и большинство пьяницъ, воровъ, погибшихъ людей въ своихъ пьяныхъ выкрикиваніяхъ, воровскихъ поступкахъ, унижительныхъ просьбахъ обнаруживаютъ стремленіе все къ той же области поэтическихъ грезъ и мечтаній.

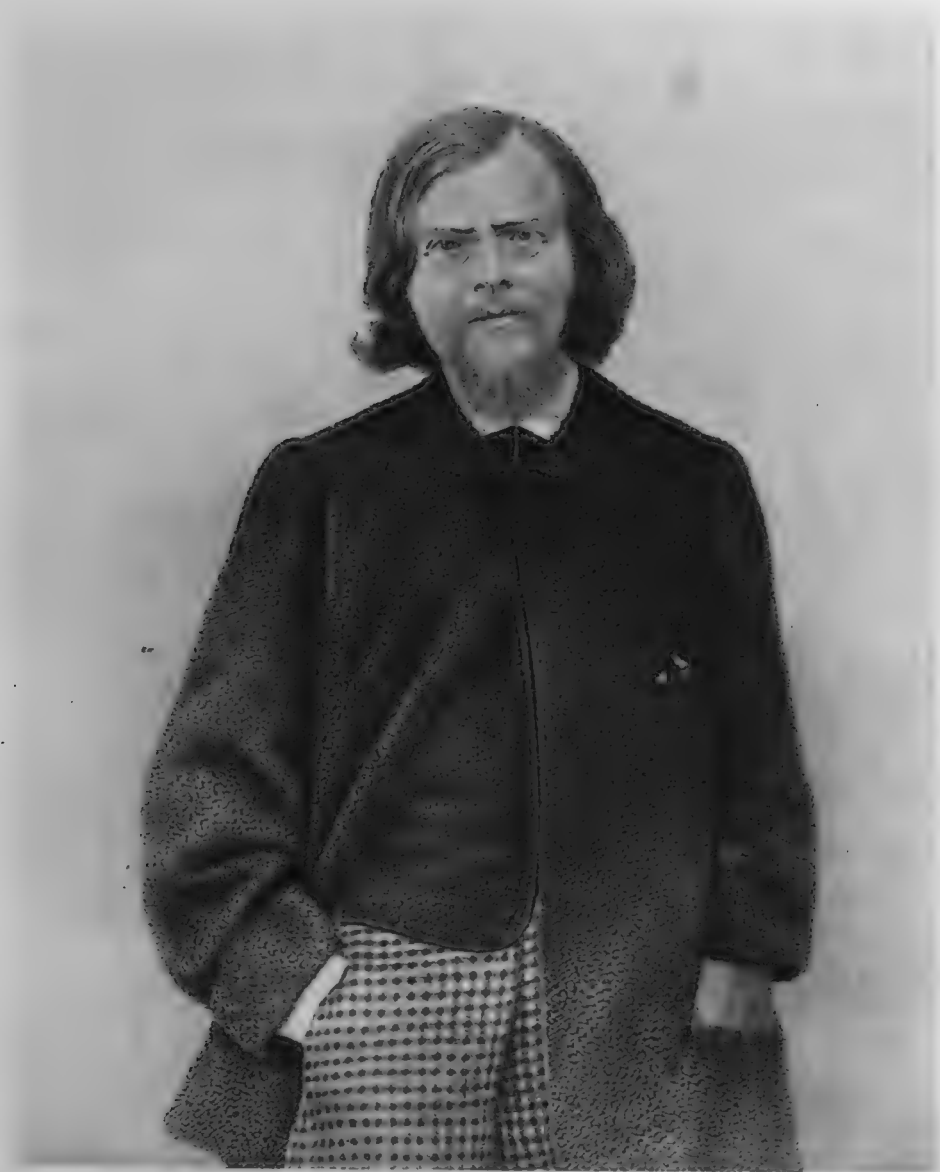
Всѣ они стремятся уйти отъ обыденщины, коснуться чего-то, что не напоминаетъ эту надоѣвшую, скучную, отяготительную жизнь. Даже самые прозаичные люди, вродѣ пухлыхъ купеческихъ дѣвицъ, мечтающихъ о „военномъ“, обнаруживаютъ эту тягу къ поэзии и „потусторонности“. Одной изъ такихъ дѣвицъ, Глафирѣ, которая потомъ была позорно наказана на тѣлѣ своимъ возлюбленнымъ, даже ей снился капитанъ, непремѣнно играющій на гитарѣ, „а на гитарѣ вмѣсто струнъ птички какія то сидятъ райскія и сладкозвучно человѣческими голосами поютъ“...

Таковъ Левитовъ большинства своихъ первыхъ произведеній. Мечтатель и поэтъ, проникнутый болѣзненной чувствительностью къ горю человѣческаго существованія, онъ имѣлъ неудержимое стремленіе къ какой-то иной, смутно представляемой, но не похожей на обыденную, жизни. Поэтому каждое явленіе, изображаемое имъ, ярко окрашено его собственнымъ отношеніемъ къ людямъ, къ человѣчеству, къ природѣ. Онъ нѣсколько мѣняется въ позднѣйшихъ произведеніяхъ. Тяжелая матеріальная нужда, несчастныя обстоятельства жизни, бросившія его совершенно неожиданно въ ссылку, на далекой сѣверъ, безпокойная жизнь богемы, пьянство и сознаніе надвигающейся гибели ослабили лучшія свойства его дарованія и поселили ту озлобленность, которой не было замѣтно въ его первыхъ произведеніяхъ. И въ этотъ періодъ своего литературнаго творчества онъ субъективенъ, но здѣсь все чаще и больше проявляется недруже-

Александръ Ивановичъ Левитовъ.

Изъ „Собранія русскихъ гравюръ“ Ровинскаго.
(Румянцевскій музей въ Москвѣ.)

Российский музей в Москве.
"Собрания русских ибисов" Ровникова.
Александр Павлович Ровников.



W. A. Albion & Co.

любное отношеніе къ изображаемымъ героямъ, которыхъ прежде онъ считалъ, независимо отъ ихъ хорошихъ или дурныхъ поступковъ, жертвами одного общаго, вселенскаго горя. Часть этихъ произведенийъ написана, очевидно, подъ вліяніемъ того чувства, которое, по свидѣтельству біографовъ, заставило его взять эпиграфомъ одного изъ своихъ очерковъ стихи Полежаева: „я погибалъ, мой злобный геній торжествовалъ“...

Въ біографіи почти каждого писателя-разночинца можно встрѣтить слова: „судьба не баловала его“. Конечно, эти слова стоятъ и въ біографіи Левитова и, можетъ быть, съ бѣльшимъ правомъ, чѣмъ у многихъ его сотоварищей. Мы говоримъ не о внѣшнихъ обстоятельствахъ его жизни, хотя и съ этой стороны Левитовъ былъ далеко не обласканъ судьбою. Но въ самыхъ свойствахъ дарованія Левитова было нѣчто, что не соотвѣтствовало времени и вслѣдствіе этого не могло создать ему виднаго и подобающаго ему мѣста въ исторіи литературы. Писатели, значительно менѣе его одаренные, напримѣръ, Рѣшетниковъ, представляютъ несомнѣнный, хотя, можетъ быть, и не большой этапъ въ исторіи развитія общественныхъ взглядовъ на народъ. Мы уже не говоримъ о такихъ, какъ Николай Успенскій и Слѣпцовъ. Какое мѣсто занимаетъ тамъ Левитовъ? Самые благорасположенные къ нему критики не отвѣтятъ положительно на этотъ вопросъ. Его неопредѣленная мечтательность, его любовь къ природѣ, его одинаковое отношеніе къ крестьянину, купцу, бояку, какъ къ людямъ, одинаково страдающимъ, мало гармонировали съ тѣми требованіями, которыя его время предъявляло къ писателю. Въ противоположность Альфреду Мюссе, который *est venu trop tard dans un monde trop vieux*, Левитовъ слишкомъ рано родился. Его способность олицетворять природу и отыскивать выраженіе для ея темныхъ силъ гораздо болѣе подходила бы къ началу XX вѣка, чѣмъ къ 60 и 70 годамъ XIX столѣтія. Окружающая обстановка съ ея требованіемъ реальныхъ картинъ и ясныхъ положеній не наталкивала его на темы, которыя подходили бы къ его дарованію. Она подсказывала ему нѣчто противоположное его стремленіямъ, и, можетъ быть, даже подъ вліяніемъ этихъ подсказываній онъ писалъ „Московскія комнаты съ небелью“ и другіе очерки въ томъ же родѣ.

Въ результатъ онъ только успѣлъ проявить характеръ своего дарованія, показать его немалые размѣры, а дать читателю толчокъ для новыхъ исканій на какомъ-нибудь пути не могъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

1.

Иванъ Саввичъ Никитинъ.

(1824—1861).

Всеv. Е. Чешихина.

Можно не пересказывать достаточно извѣстной біографіи Никитина. Тяжелый, неудачливый ходъ его рано прерванной жизни ясенъ изъ перечисленія основныхъ фактовъ. Сѣрый кругъ мелкаго провинціального мѣщанства, семинарское образованіе и несбывшіяся мечты объ университетѣ, вмѣсто котораго пришлось стать за лавочную стойку и отпускать овесъ извозчикамъ на постояломъ дворѣ, упоеніе Шекспиромъ и сладость первыхъ поэтическихъ опытовъ среди грязи и копеечныхъ разсчетовъ, бокъ о бокъ съ опустившимся алкоголикомъ-отцомъ; затѣмъ, поддержка со стороны нѣсколькихъ интеллигентныхъ мѣстныхъ дѣятелей, удачное выступленіе въ печати, сознаніе своего призванія, первый литературный заработокъ и какъ вѣнецъ желаній—собственный книжный магазинъ въ Воронежѣ. Тутъ не выдерживаетъ давно надорванное здоровье, и на 37-мъ году „о жизни поконченъ вопросъ“ для нашего поэта, не успѣвшаго ни разу спокойно, безъ помѣхи отдаться ни своему развитію, ни поэтической дѣятельности, ни простому отдыху, не говоря уже о любви и о семейной жизни. Зато Никитинъ за всю жизнь не успѣлъ, вѣрнѣе, не умѣлъ, ни разу упасть духомъ или пожаловаться на свою участь.

Въ этой личности чувствуется своеобразный закалъ, какая-то осядлая, почвенная внутренняя культура и выдержка. Никитинъ—одинъ изъ самыхъ цѣльныхъ и мужественныхъ русскихъ людей. „Это была натура преимущественно мужская, а не женственная, пассивная“, говорить о немъ его біографъ. И эта мужественная, здравомысленная, слегка пессимистическая складка, придающая всей жизни Никитина характеръ какого-то стоицизма и подвижничества, присуща какъ его наружности (см. общераспространенный фотографическій портретъ Никитина, снятый въ 1860 г. въ Петербургѣ),

такъ и другому, еще болѣ точному „зеркалу души“—поэзіи воронежскаго почвенника.

Гюйо въ своемъ сочиненіи „Искусство съ соціологической точки зрѣнія“ различіе между субъективною и объективною художественными натурами сводитъ къ различію силы соціологической симпатіи въ личности художниковъ: субъективный писатель отзывчивъ на небольшой кругъ окружающихъ его явленій, сообразно своему кругозору и соціальному чувству, объективный же охватываетъ умомъ и сердцемъ широкій кругъ жизненныхъ процессовъ, самыхъ разнообразныхъ.

Никитинъ принадлежитъ къ числу субъективныхъ, въ этомъ смыслѣ, художественныхъ натуръ. Поэтому и эпическія его произведенія имѣютъ чисто-личный, лирический складъ; его эпосъ—„лирический эпосъ“; два самыхъ крупныхъ произведенія его въ этомъ жанрѣ—„Кулакъ“ и „Дневникъ семинариста“ носятъ къ тому же характеръ автобіографическій.

„Кулакъ“—поэма исключительно бытового склада. Пріятели изъ кружка Второва сильно хлопотали о томъ, чтобы Никитинъ шелъ по стопамъ Островскаго, только что возвысившагося тогда комедіей „Свои люди—сочтемся“. Поэтому Никитинъ стремился не къ разнообразію и широтѣ дѣйствія, а только къ бытовому реализму. Его герой—мелкій мѣщанинъ Лукичъ; среда—городская, мѣщанская или мелко-купеческая; дѣйствіе—бѣличья суетня трехъ главныхъ персонажей (Лукича, его жены и дочери Саши) въ кругу частно-семейныхъ отношеній, преимущественно ссоръ и раздоровъ.

Лукичъ страдаетъ запоемъ (какъ Савва Никитинъ), тиранитъ домашнихъ, но онъ не золъ. Жена характеризуетъ его словами:

Все осуждать его не надо
Извѣстно—старъ, кругомъ нужда,
На рынкѣ хлопоты всегда,
Вотъ и беретъ его досада.
Онъ ничего... вѣдь онъ не золъ:
На часъ вспылить, и гнѣвъ прошелъ.

Его наружность:

Сюртукъ до пять, въ плечахъ просторенъ.
Картузъ въ пыли—ни рыжъ, ни черенъ.
Спокоенъ строгій, хитрый взглядъ.
Густыя брови внизъ висятъ,
Угрюмо супясь. Лобъ широкій
Изрытъ морщинами глубоко,
И темень волосъ, но съда
Подстриженная борода.

Дочь любитъ столяра, но Лукичъ честолюбивъ, а столяръ „всѣмъ хорошъ, да голь большая“; Лукичъ же намѣтилъ для Саши богатаго жениха. Поэтъ немедленно заступаетъ за своего Лукича, по-своему желающаго дочери добра, и говоритъ читателю:

...Пусть, какъ мученикъ, сквозь пламень
 Прошелъ ты, полный чистоты—
 Остановись, поднявши камень
 На жертву зла и нищеты.
 Корою грубою закрытый,
 Быть можетъ, въ грязной нищѣ
 Добра зародышъ неразвитый
 Горитъ, какъ свѣчка, въ темнотѣ!

и рисуетъ дикое, грубое, жалкое дѣтство Лукича и всю его безрадостную жизнь, до появленія его на рынкѣ въ качествѣ кулака-перекупщика всякой дряни и посредника-фактора.

Поэтъ кончаетъ свою поэму лирическимъ возгласомъ по адресу всѣхъ россійскихъ Лукичей:

Васъ много! Тысячи кругомъ,
 Какъ ты, погибли подъ ярмомъ
 Нужды, невѣжества, разврата!—

и уже обращаясь ко всѣмъ своимъ читателямъ, ко всей Россіи, съ тоскою спрашиваетъ:

„Придетъ ли, наконецъ, пора,
 Когда блеснутъ лучи разсвѣта;
 Когда зародыши добра
 На почвѣ, солнцемъ разогрѣтой,
 Взойдутъ, созрѣютъ въ свой чередъ
 И принесутъ сторичный плодъ;
 Когда минетъ проказа вѣка,
 И воцарится честный трудъ,
 Когда увидимъ человѣка,—
 Добра божественный сосудъ?..

Соціальное значеніе „Кулака“ очевидно—поэтъ пробуждаетъ интересъ къ городскому пролетаріату и мастерски разбирается въ экономической основѣ его умственныхъ и нравственныхъ недостатковъ; Никитинъ обрабатываетъ основной типъ поэмы съ проницательностью, соединенною съ гуманнымъ сочувствіемъ, этимъ первымъ условіемъ истинно-художественнаго созерцанія. Въ то время, когда писалась поэма, литература интересовалась болѣе мужикомъ-бѣднякомъ, чѣмъ городскимъ пролетаріемъ... Съ этой точки зрѣнія „Кулакъ“ является новинкою сенсационною и предтечею „Нравовъ Растверяевой улицы“ Глѣба Успенскаго.

Эстетическое значеніе поэмы, однако, значительно ниже ея значенія соціальнаго. Фигура Лукича выписана превосходно, это правда,—но и только она одна. Весь бытовой фонъ поэмы вѣренъ, но улегся бы гораздо лучше въ прозу, въ которую поминутно проваливается суховатый и блѣдноватый стихъ поэмы.

„Дневникъ семинариста“ можно охарактеризовать двумя словами. Это—записки автобіографическаго характера въ манерѣ „Очерковъ бурсы“ Помяловскаго, которые, впрочемъ, не могли быть извѣстны Никитину, ибо вышли въ 1862 г., позже „Дневника семинариста“. Много теплаго говоритъ Никитинъ о товарищѣ своемъ

Яблочкинѣ, мечтавшемъ объ университетѣ, но преждевременно скончавшемся. Дневникъ ведется отъ имени сына бѣднаго деревенскаго священника и кончается грустнымъ эпизодомъ. Въ отвѣтъ на рѣчь объ университетѣ отецъ говоритъ сыну только: „Видишь?“—и указываетъ на обнаженные поля и пустое гумно...

Настроения никитинской чистой лирики (въ смыслѣ негражданской) могутъ быть подраздѣлены на 1) созерцанія природы, 2) морально-философскія думы и 3) любовныя изліянія. Таковъ порядокъ никитинскихъ настроеній и по числу отражающихъ ихъ стихотвореній: больше всего Никитинъ интересовался природой, затѣмъ морально-философскими (отчасти философско-религіозными) думами и только на третьемъ планѣ—женщинами.

Природа, которою вдохновляется поэтъ,—русская природа степной полосы. Никитинъ любитъ контрасты зимняго оцѣпенѣнія и весенняго пробужденія этой природы. Въ стихотвореніи „Весна на степи“ (1849) онъ спрашиваетъ степь, гдѣ тотъ весенній вѣтерокъ, который

Освѣжалъ твою
Грудь открытую?

и сѣтуетъ на зимній мертвенный сонъ:

А теперь лежишь
Мертвецомъ нагимъ;
Тишина вокругъ,
Какъ на кладбищѣ.

Въ отрывкѣ „Поѣздка на хуторъ“ (1859 г.?) Никитинъ даетъ великолѣпное описаніе лѣта въ степи, которое приводится здѣсь цѣликомъ:

По всей степи—ковыль, по краямъ—все туманъ.
Далеко, далеко отъ кургана курганъ.
Облака въ синевѣ бѣлымъ стадомъ плывутъ,
Журавли въ облакахъ перекличку ведутъ.
Не видать ни души. Тонетъ въ золотѣ день,
Пробѣжать по травѣ вѣтру сонному лѣнь.
А цвѣты-то, цвѣты! Какъ живые стоятъ,
Улыбаются; глазки на солнце глядятъ,—
Словно рѣчи ведутъ, какъ ихъ жизнь коротка,
Коротка да безъ слезъ, отъ заботъ далека.
Вотъ и рѣчка... не вѣрь! то подъ жгучимъ лучомъ
Отливается тонкій ковыль серебромъ.
Высоко, высоко въ небѣ точка дрожитъ,
Колокольчикъ веселый надъ степью звенитъ.
Въ ковылѣ гудовень—и покоть, и жужжать,
Раздаются свистки, молоточки стучать.
Средь дорожки глухой пыль столбомъ поднялась,
Закружилась, въ широкую степь понеслась...
На всѣ стороны путь: ни лѣсочка, ни горь.
Необъятная гладь! Неоглядный просторъ!

„Дрожащая въ небѣ точка“ (жаворонка или далекаго ястреба), серебристый ковыль, похожій на воду, „гудовень“ насѣкомыхъ.

дорожная пыль столбомъ... какіе это все мастерскія штрихи, какъ мѣтко задѣваютъ они зрительныя, слуховыя ощущенія, сливающіяся въ одномъ эстетическомъ чувствѣ степной красоты!..

Во всякомъ случаѣ, природа даетъ поэту оптимизмъ. Конецъ стихотворенія „Поэту“ (1853) гласить:

Пойми живой языкъ природы,
И скажешь ты: прекрасенъ міръ!

Оптимистически-философское чувство близко къ религіозному экстазу и незамѣтно переходитъ въ послѣдній. Философская дума поэта граничитъ съ его молитвою—пантеистическаго склада, какъ у большинства истинныхъ лириковъ. Пантеистическое чувство Никитина непосредственно и наивно, какъ у ребенка; недаромъ Никитинъ въ граціозной идилліи „Лѣсникъ и его внукъ“ (1854) съ большимъ сочувствіемъ описываетъ пантеизмъ мечтательнаго ребенка, возбужденно повѣствующаго „дѣду“:

Вдругъ зашумѣли березы, орѣшникъ, и лепетъ, и говоръ
По лѣсу всюду пошелъ, словно гости пришли на бесѣду,

при чемъ мягко и ласково звучитъ раціоналистическое возраженіе дѣда:

Охъ ты, кудрявый шалунъ, наяву начинаешь ты грезить!
Вѣтеръ въ лѣсу зашумѣлъ,—у него это чудо большое!..

Вообще, Никитинъ довольно рѣдко возносится въ высоты мистическаго экстаза. Его философскія думы чаще всего ограничиваются областью морали. Мораль эта носить ярко-выраженный стоическій характеръ. Въ стихотвореніи Н. Д. (1849) онъ проповѣдуетъ культъ страданія, очищающаго сердце человѣческое:

И если бы отъ самой колыбели
Страданіе досталось тебѣ,—
Какъ человѣкъ, своей высокою цѣли
Не забывай въ мучительной борьбѣ.

Стоицизмъ у Никитина беретъ верхъ надъ уныніемъ. Никитинъ не умѣетъ плакать въ минуты тоски: онъ сердится. Любопытно сравнить элегическій „Дубъ“ Мерзлякова („Среди долины ровныя“) и байроническій „Дубъ“ Никитина (1850); финальный куплетъ этого послѣдняго стихотворенія гласить:

Не знаетъ онъ свѣжей прохлады,
Не видитъ небесной росы,
И только—послѣдней отрады—
Губительной жаждетъ грозы!

Въ стоическомъ стихотвореніи „Тайное горе“ (1850) скрытный поэтъ воспѣваетъ „молчаливое горе“ и „гордое горе“:

Участье—жалкая отрада.
Къ чему колѣни преклонять?
Свободнымъ легче умирать.

Легче ли жить, будучи „свободнымъ индивидуалистомъ“, въ это нашъ русскій стонъ не вникаетъ: онъ не боится смерти.

Одно изъ предсмертныхъ, очень извѣстное стихотвореніе Никитина (1860): „Вырыта заступомъ яма глубокая“—могучій, заключительный аккордъ, достойный всей стонической морально-философской лирики поэта. Какъ герой стихотворенія „Портной“, поэтъ роетъ себѣ могилу еще заживо, но только въ воображеніи, и въ послѣдній разъ прощается съ природой и любимыми своими птицами:

Гостя погоста, пѣвуня залетная,
Въ воздухъ синемъ на волѣ купается,
Звонкая пѣснь серебромъ разсыпается.

Къ людямъ же обращается съ гордыми и отчасти безглыми словами:

Тише! О жизни поконченъ вопросъ!
Больше не нужно ни пѣсень, ни слезъ!

при чемъ въ этихъ же словахъ слышится и моральная строгость къ самому себѣ (не нужно „пѣсень“) и великое благоговѣніе къ божественной силѣ рока, ставящей предѣлы человѣческому существованію, т.-е. чувствуется апоѳеозъ и внѣшняго и внутренняго космоса. „Звѣздное небо надъ нами и нравственный законъ въ насъ—вотъ что всего удивительнѣе въ мірѣ!“ говаривалъ Кантъ. Эти двѣ величественныя мысли, выраженные лишь съ нѣкоторою славянскою мягкостью (вмѣсто „звѣздъ“—„птичка“),—двѣ послѣднихъ поэтическихъ мысли Никитина.

Если никитинская лирика созерцаній природныхъ и морально-философскихъ думъ и грезъ высоко-художественна и прекрасна, то чисто-любовная лирика Никитина слаба и мало интересна. Поэтъ слишкомъ много разсуждаетъ и слишкомъ мало чувствуетъ наединѣ съ женщиной. Въ стихотвореніи „Не повторяй холодной укоризны“ (1853) онъ беретъ любовь съ одной соціальной ея стороны и жалуется... на свою бѣдность.

Никитину свойственъ своеобразный тонъ любовной лирики: вздохи бобыля по невозможному для него семейному счастью. Въ стихотвореніи „У него нѣтъ думы“ (1856) онъ рисуетъ себѣ картину счастья семьянина:

Сядетъ онъ усталый,
Съ милою женою
Отдохнетъ въ бесѣдѣ
Сердцемъ и душою.
На дворѣ невзгода,—
Свѣчка нагараешь...
На полу малютка
Весело играть.

и мрачно думаетъ про свою бобыльскую долю:

Облаку да вѣтру
Горе перескажешь
И съ подушкой думать
Съ вечера приляжешь.

Отчасти въ неуспѣхѣ своей сердечной жизни виновать самъ поэтъ; онъ сознается въ своей эгоистической скрытности (въ стихотвореніи „День и ночь съ тобой жду встрѣчи“, 1856):

Такова моя отрада;
Такъ свой вѣкъ я коротаю:
Тяжело ль—молчать мнѣ надо,
Полюблю ль—любовь скрываю.

Гражданская лирика Никитина затрогиваетъ темы политическаго или общественно-культурнаго значенія.

Никитинъ—патріотъ. Его прославило стихотвореніе „Русь“ (1851), въ которомъ онъ восхищается не только своею родиною, но отечествомъ, во всей совокупности и цѣлостности его природныхъ и историческихъ судебъ. Онъ въ восторгѣ отъ разнообразія климатическихъ условій.

Несмотря на наивность отдѣльныхъ публицистическихъ идеекъ, все стихотвореніе свидѣтельствуетъ объ искренномъ и сильномъ патріотическомъ чувствѣ поэта. Никитинъ любитъ крѣпко централизованную Россію; его идеаль „имперіалистскій“, не безъ примѣси „уваровщины“ (самодержавіе, какъ абсолютизмъ; православіе, какъ монополюльно-государственная религія; народность въ смыслѣ послушанія полицейскому режиму). Со временемъ Никитинъ вноситъ въ это міровоззрѣніе существенную поправку: освобожденіе крестьянъ совершенно испортило, какъ извѣстно, уваровскую тріаду.

Никитинъ ясно видѣлъ связь великой внутренней политической разрухи послѣ севастопольскаго разгрома съ крѣпостнымъ правомъ и относился къ послѣднему съ брезгливымъ отвращеніемъ, которое чувствуется, напримѣръ, въ стихотвореніи „Староста“ (1856).

Гроза крестьянъ—староста на барщинѣ—обрисованъ Никитинымъ рѣзкими и мѣткими штрихами. Не забыты и гаремныя повадки старосты (по примѣру помѣщиковъ) и наказаніе имъ чернобровой непокорной бабы. Заключение самое благополучное... для помѣщика.

Недовольство аграрнымъ безправіемъ чувствуется и въ стихотвореніи „Соха“ (1857) особенно въ заключительныхъ строкахъ:

На межѣ трава зеленая,
Полынь дикая качается;
Не твоя ли доля горькая
Въ ея сокѣ отзывается?
Ужъ и кѣмъ же ты придумана,
Къ дѣлу навѣки приставлена?
Кормишь малаго и стараго,
Сиротой сама оставлена.

Изъ всѣхъ явленій русской соціальной неурядицы всего больнѣе для Никитина бѣдность, да притомъ честная, выбивающаяся изъ силъ работою, бѣдность; онъ воспѣлъ трудовую бѣдность въ стихотвореніи „Уличная встрѣча“ (1855)—въ образѣ золотошвейки Аринушки, про которую рассказываетъ ея мать:

Иванъ Саввичъ Никитинъ.

Съ литографіи Мюнстера.

Изъ „Собранія русскихъ гравюръ“ Ровинскаго.
(Румянцевскій музей въ Москвѣ.)

(Российский музей в Москве)
Издание русское "Российского музея"
Съездом в Москве

Наша Славянская Печать



Wm. H. H. H. H.

Работала, работала,
 Да лишилась глазъ.
 Связала мои рученьки:
 Вѣдь чахнетъ отъ тоски;
 Слѣпа, а вяжетъ кое-какъ
 Носчишки да чулки.
 Чужого калача не съѣстъ,
 А если и возьметъ
 Кусокъ какой отъ голода,
 Все сердце надорветъ.
 И ѣстъ, и плачетъ, глупая,
 Журишь,—отвѣта нѣтъ...
 Вотъ каково, при бѣдности,
 Съ дѣтьми-то жить, мой свѣтъ!

Всего мучительнѣе для поэта видѣть трудовой „потъ бѣдности“. Вспомнивъ о своемъ беззаботномъ дѣтствѣ въ извѣстномъ по хрестоматіямъ стихотвореніи 1856 г. „Помню я, бывало, няня“, Никитинъ описываетъ заботу своей зрѣлости:

Видишь зла и грязи море,
 Племя жалкое невѣждъ,
 Униженіе, голодъ, горе,
 Ключья нищенскихъ одеждъ,
 Потъ на пашняхъ за сохами,
 Потъ въ лѣсу за топоромъ,
 Потъ на гумнахъ за цѣпами,
 На дворѣ и за дворомъ.

Той же трудовой бѣдности посвящены стихотворенія „Помню я, бывало няня“, „Нищій“ (1857).

Самыя наболѣвшія и вдохновенныя, прямо изъ сердца, строки посвящены поэтомъ російской бѣдности въ вступленіи къ стихотворенію „Портной“ (1860):

Пали на долю мнѣ пѣсни унылыя,
 Пѣсни печальныя, пѣсни постылыя.
 Радъ бы не пѣть ихъ—да грудь надрывается.
 Слышу я, слышу, чей плачъ разливается:
 Бѣдность голодная, грязью покрытая,
 Бѣдность несмѣлая, бѣдность забитая!
 Днемъ она гибнетъ, и въ полночь, и за полночь,
 Гибнетъ она—и никто нейдетъ на-помочь;
 Гибнетъ она—и опоры нѣтъ волоса,
 Теплаго сердца, знакомаго голоса...

И апофеозомъ всѣхъ благородныхъ бѣдняковъ, воспѣтыхъ Никитинымъ, является именно этотъ „портной“, просящій могильщика „Христа ради“ вырыть ему могилу заблаговременно, чтобы не вводить въ убытокъ похоронными расходами его несчастной, также чахоточной дочери... Воистину Никитинъ, какъ гражданскій лирикъ, имѣетъ право на почетное прозвище „пѣвца трудовой бѣдности“!

Отрицательная черта нашего полукультурнаго общества—поверхностность и непрочность общественныхъ стремленій—не ушла

отъ сарказмовъ Никитина. Требовательный къ ближнимъ поэтъ-стойкъ клеймитъ своихъ окружающихъ за разладъ между словомъ и дѣломъ въ области общественнаго служенія. Въ стихотвореніи „Покой мнѣ нуженъ“ (1857) онъ восклицаетъ:

Куда бѣжать отъ громкихъ словъ?
Мы всѣ добры и непорочны!
Боготворить себя готовъ
Иной другъ правды безупречный!..
Межъ нами мучениковъ нѣтъ...
На крикъ: „спасите!“ нѣтъ отвѣта!
Не выйдемъ мы на Божій свѣтъ:
Нашъ рабскій духъ боится свѣта.

Презирая своихъ сверстниковъ, поэтъ въ стихотвореніи „Медленно движется время“ (1857) дружески предупреждаетъ молодое поколѣніе о трудностяхъ общественной дѣятельности;

Съялось сѣмя вѣками—
Корни въ землѣ глубоко.
Срубишь лѣса топорами,—
Зло вырывать не легко:
Намъ его въ дѣтствѣ привили,
Дѣды сроднились съ нимъ...
Мертвые въ мирѣ почили,
Дѣло настало живымъ.

При чтеніи стихотворенія „Разговоры“ (1857) кажется, будто поэтъ презрительно цѣдитъ сквозь зубы, говоря о красивыхъ словахъ, до которыхъ всѣ мы такъ охочи:

А приходитъ пора
Добрый подвигъ начать,—
Такъ намъ жаль съ головы
Волосокъ потерять.
Тутъ раздумье и лѣнь,
Тутъ насъ робость возьметъ.
А слова... на словахъ—
Соколиный полетъ!

Жажда полной гармоніи слова и дѣла доводитъ Никитина до несправедливости, до требованія отъ ближнихъ жертвы (вопреки евангельскому правилу: „милости хочу, а не жертвы“). Никитинъ находитъ, на примѣръ, что Некрасовъ слишкомъ мало несъ жертвъ въ своей жизни за свой народническій идеалъ, и въ стихотвореніи „Поэту-обличителю“ (1860) восклицаетъ:

Нищій духомъ и словомъ богатый,
По наслышкѣ о всемъ ты поешь
И безстыдно похвалъ ждешь, какъ платы,
За свою всенародную ложь.

Теперь нѣсколько словъ о виѣшней формѣ всей никитинской поэзіи. Прежде всего онъ стилистъ довольно посредственный.

Стихъ Никитина болѣе привлекаетъ мыслью, чѣмъ образомъ; Никитинъ въ сильной мѣрѣ разсудоченъ, даже изрѣдка пошло-раз-

судочень: напрімѣрь, стихотвореніе „Кладбище“ (1852), на тему „хорошо, какъ есть загробная жизнь, а если ея нѣтъ?“—развитую на двухъ страницахъ водянистыхъ стиховъ; см. также стихотворенія „Успокоеніе“ и „Жизнь и смерть“ (1853) съ претензіей на философію во вкусѣ философскихъ стихотвореній Кольцова или условный клерикализмъ „Моленія о чашѣ“ (1854). Но стихъ Никитина подкупаетъ искренностью и силою въ выраженіяхъ стоической философіи и блещетъ богатыми красками при описаніяхъ бытовой среды и родной природы.

Стихосложеніе у Никитина правильное, но въ довольно однообразныхъ ямбахъ ходячаго склада (4-хъ, 5-ти и 6-ти стопныхъ). Удачно примѣняются „кольцовскіе“ размѣры, которые можно толковать двояко—или какъ комбинаціи двухсложныхъ и трехсложныхъ стопъ, или какъ четырехсложные и пятистопные размѣры во вкусѣ древне-греческаго стихосложенія, открытые Никитинымъ и Кольцовымъ „по слуху“, инстинктомъ. Примѣры:

Что, дремучій лѣсъ,
Приздумался,
Грустью томною
Затуманился? (Кольцова „Лѣсъ“) и
Степь широкая,
Степь безлюдная,
Отчего ты такъ
Стоишь пасмурно? (Никитина „Весна на степи“).

Для обычнаго російскаго „словесника“ это—анapestы:

у у — | у у
у у — | у у

Для знающаго древне-эллинское стихосложеніе—это пятистопный размѣръ „хоровъ“ въ трагедіяхъ Эврипида и Софокла:

у у — у у

Сознательное отношеніе Никитина къ русскому стихосложенію явствуетъ изъ его красивыхъ и вполнѣ „народныхъ“ попытокъ комбинаціи трехсложныхъ и двухсложныхъ стопъ. Примѣры (комбинація anapesta и хорея):

Ну, кажись, я готовъ.
Вотъ мой кафтанишко.
Рукавицы на мнѣ,
Новый кнутъ подъ мышкой.

Ритмическая схема:

у у — | у у —
— у | — у | — у
у у — | у у —
— у | — у | — у

Такія попытки давно узаконены нѣмецкой просодіей; примѣръ изъ Гете („Лѣсной царь“):

„Wer reiset so spät durch Nacht und Wind“,

т.-е. комбинація амфибрахія и ямба: у — у | у — | у — | у — У насъ на Руси при Никитинѣ такія комбинаціи были вновь, за

исключеніемъ прекрасной манеры Гнѣдича перемѣшивать хорей съ дактилемъ въ гекзаметръ:

Гнѣвъ, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына:

— у | — у у | — у у | — у у | — у у | — у

Даже долго послѣ Никитина словесники стараго типа боялись этихъ комбинацій (Минскій въ 1890-хъ гг. перевелъ „Иліаду“ чистыми дактилями); Фетъ и ученикъ его К. Р. уже сознательно ищутъ новыхъ ритмическихъ эффектовъ стихосложенія. Тѣмъ болѣе чести новаторству Никитина въ области стихотворной метрики.

По части риѣмы онъ довольно небреженъ; за риѣму у него сходить простая аллитерація: „брань—христіанъ“, или „вѣра—дѣва“ („Война за вѣру“, 1853).

Намъ остается сдѣлать выводы изъ всего изложеннаго и коснуться вопроса о мѣстѣ Никитина въ исторіи русской литературы.

Никитинъ создалъ интересную поэму („Кулакъ“) и рядъ мелкихъ стихотвореній, посвященныхъ частью мѣткому изображенію быта и нуждъ городского пролетаріата, частью вдохновенной передачѣ оригинальныхъ, мужественныхъ думъ и ощущеній индивидуальнаго и соціальнаго характера; многія изъ этихъ стихотвореній—крупныя жемчужины въ вѣнцѣ всероссійской лирической музыки. Такъ какъ слава—достояніе не одного таланта, но и всей личности (какъ говоритъ Брандесъ), то строгое соотвѣтствіе между высоко-нравственною жизнью Никитина и его задушевною лирикою обезпечиваетъ за поэтомъ весьма долгую, если не вѣчную, память въ благодарномъ потомствѣ.

Что касается мѣста Никитина въ исторіи русской литературы, то, кажется, будетъ правильно признать Никитина посредствующимъ звеномъ между Кольцовымъ и Некрасовымъ въ области народнической лирики.

Кольцовъ—преимущественно поэтъ индивидуальныхъ настроеній; онъ силенъ какъ разъ въ томъ родѣ любовной лирики, какой не давался Никитину. Кольцовъ—поэтъ преимущественно крестьянскаго труда, который, въ качествѣ воронежскаго прасола, поэтъ наблюдалъ болѣе, чѣмъ Никитинъ, почти не выѣзжавшій изъ родного города. Кольцовъ, наконецъ, первый создалъ форму искусственной пѣсни въ народномъ духѣ. Никитинъ въ совершенствѣ усваиваетъ эту форму и при этомъ развиваетъ ее, расширяя содержаніе своей лирики: его нравственная, стоическая философія—явленіе совершенно новое сравнительно съ довольно расплывчатымъ нравственнымъ укладомъ въ личности Кольцова; Никитинъ воспріимаетъ такіе общественные и политическіе идеалы, какіе и не снились Кольцову,—какіе, быть можетъ, испугали бы скромнаго прасола размахомъ и ширию. Никитинъ—одинъ изъ первыхъ пѣвцовъ городского пролетаріата, самое существованіе котораго мало замѣчено Кольцовымъ

(Кольцовъ гораздо энергичнѣе Никитина рвался въ среду высшей петербургской интеллигенціи).

Съ другой стороны, Никитинъ—не болѣе, какъ переходная ступень къ Некрасову, народничество котораго болѣе опредѣленно и глубоко, чѣмъ у Никитина, и связано съ законченнымъ міровоззрѣніемъ демократическаго склада. Огромное преимущество Некрасова передъ Никитинымъ—это законченное публицистическое міровоззрѣніе издателя „Современника“; у Некрасова нѣтъ тѣхъ наивныхъ публицистическихъ промаховъ, какіе мы находимъ въ „гражданской лирикѣ“ Никитина, въ видѣ его патріотическихъ стихотвореній, въ свое время восхищавшихъ реакціонера гр. Д. Н. Толстого. Кромѣ того, Некрасовъ выказалъ свое отрицательное отношеніе къ крѣпостному рабству, этой главной язвѣ дореформенной Россіи, съ такимъ сатирическимъ пыломъ и негодованіемъ, какого не могло быть у воронежскаго дворника уже потому, что, заключенный судьбою въ тѣсную сферу дѣятельности, забитый въ провинціальный уголъ, Никитинъ не могъ уловить связи между крѣпостнымъ правомъ и безправіемъ всероссійской интеллигенціи.

Но, связывая народническую поэзію Кольцова и Некрасова своею лирикою, какъ посредствующимъ звеномъ, Никитинъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, преобладаетъ надъ обоими поэтами, какъ личность, имѣющая нравственное право требовать и отъ нихъ, и отъ всѣхъ другихъ русскихъ общественныхъ дѣятелей стоическаго параллелизма между словомъ и дѣломъ. Никитинъ можетъ позволить себѣ гнѣвно восклицать (въ стихотвореніи „Поэту-обличителю“):

Будь ты проклято, праздное слово!
Будь ты проклята, мертвая лѣнь!
Покажись, съ своей жизнію новой,
Темноту прогоняющій день!—

потомство ему вѣрить!

2.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ.

(1821—1877.)

Вл. П. Кранихфельда.

30-го декабря 1877 г.—Петербургъ явился участникомъ и свидѣтелемъ небывалаго до той поры зрѣлища: хоронили литератора, и русское общество, впервые отъ начала письменности на Руси, могло безпрепятственно оказать его праху послѣднія почести.

Литераторомъ этимъ былъ Николай Алексѣевичъ Некрасовъ.

Безъ предварительнаго сговора, безъ какой бы то ни было организаціи, къ гробу почившаго, несмотря на трескучій морозъ,

собралась огромная, въ нѣсколько тысячъ человѣкъ, толпа, преимущественно молодежи, которая и проводила прахъ поэта къ мѣсту его послѣдняго упокоенія. Эта первая похоронная овація, которой удостоили русскаго писателя поклонники его таланта, должна была даже неисправимыхъ скептиковъ убѣдить въ томъ, что въ лицѣ почившаго общество теряло дѣйствительно „большого человѣка въ русской литературѣ“, какъ не разъ говорилъ о Некрасовѣ его тоже „большой“ современникъ и многолѣтній сотрудникъ Салтыковъ. О томъ, какія именно стороны дѣятельности Некрасова признаны и оцѣнены обществомъ, здѣсь же, у покрытой вѣнками могилы, даны были очень опредѣленные, почти категорическія указанія. Прочитанные здѣсь рѣчи и стихи, точно такъ же, какъ и краткія надписи на траурныхъ лентахъ, особенно выдвигали и подчеркивали роль Некрасова, какъ признаннаго „печальника горя народнаго“. Такую оцѣнку литературныхъ и общественныхъ заслугъ Некрасова можно упрекнуть развѣ въ неполнотѣ, вполнѣ, однако, естественной, если принять во вниманіе условія времени и мѣста, при которыхъ она произведена. Но, во всякомъ случаѣ, здѣсь значеніе Некрасова было схвачено, такъ сказать, въ самомъ выпукломъ моментѣ его литературной дѣятельности, и оно прочно утвердилось въ сознаніи русскаго общества.

Далеко не такъ былъ разрѣшенъ здѣсь вопросъ объ эстетической оцѣнкѣ поэта. Собственно говоря, никто изъ ораторовъ вопроса объ эстетической оцѣнкѣ поэта не ставилъ и не разрѣшалъ, а вышло это какъ-то вдругъ, само собой, какъ будто почитатели Некрасова считали себя не въ правѣ разойтись, пока не будетъ выясненъ и этотъ вопросъ. Эстетическій споръ вспыхнулъ неожиданно во время рѣчи Достоевскаго, прервавъ ее въ тотъ моментъ, когда писатель, остановившись на мысли объ исторической преемственности поэтовъ, вносившихъ въ литературу свое „новое слово“, отвелъ Некрасову мѣсто вслѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ. „Некрасовъ выше Пушкина и Лермонтова!“ крикнулъ кто-то изъ стоявшихъ возлѣ оратора. „Да, выше!“ подхватили голоса молодыхъ энтузіастовъ, окружавшихъ могилу. „Да, выше!“ — „Нѣтъ, ниже!“ раздалось вслѣдъ затѣмъ и за стѣнами кладбища, на страницахъ литературныхъ органовъ, и долго съ той поры самое имя Некрасова произносилось не иначе какъ только въ пылу разгорѣвшихся страстей. О Некрасовѣ уже не писали, а сражались кто за, кто противъ него, при чемъ въ воинственномъ азартѣ и съ той и съ другой стороны въ обиходъ пускался цѣлый рядъ рѣзкихъ и преувеличенныхъ показаній, которыми особенно не стѣсняла себя сторона, враждебно настроенная къ „музѣ мести и печали“.

Строго говоря, это страстное отношеніе къ Некрасову создавалось и даже установилось еще при жизни поэта; если же мы приурочили начало некрасовской борьбы къ похоронному эпизоду, то сдѣлали это потому, во-первыхъ, что выяснившіеся здѣсь размѣры

энтузіазма, съ какимъ относилось къ поэту молодое поколѣніе, раздули литературный споръ до степени огромнаго пожара, и, во-вторыхъ, потому, что смерть поэта поставила спорящихъ друзей и враговъ его внѣ всякихъ границъ.

Проходили годы. Все примиряющее время постепенно вытравляло изъ настроенія читателей тѣ элементы увлеченія и злобы, которые такъ долго мѣшали спокойной и безпристрастной оцѣнкѣ литературной дѣятельности Некрасова. И теперь, наконецъ, о поэтѣ можно говорить безъ недомолвокъ, безъ риска вызвать озлобленную полемику съ той или иной стороны.

I.

Біографія Некрасова даетъ рѣдкій въ исторіи русской литературы примѣръ полнаго поглощенія всей человѣческой жизни литературной работой. Въ его жизни „ученическіе годы“ отсутствуютъ. Онъ не готовился къ литературѣ, а прямо окунулся въ нее, будучи 16-тилѣтнимъ юношей. „Праздникъ жизни—молодости годы—я убилъ подъ тяжестью труда“, съ горечью вспоминаетъ поэтъ о юношескомъ періодѣ своей жизни. По его собственному признанію, онъ написалъ въ теченіе своей жизни болѣе 300 печатныхъ листовъ прозы, изъ которыхъ, конечно, значительная часть падаетъ на молодые годы, посвященные тяжелому подневольному литературному труду. Такимъ образомъ, даже свои ученическія тетради, въ которыхъ только начинала намѣчатся его неустановившаяся еще мысль, онъ цѣликомъ отдалъ литературѣ. Та же часть біографіи Некрасова, которая не соприкасается съ литературой, ограничивается лишь его дѣтскими и отроческими годами. Мы позволимъ себѣ остановиться нѣсколько на этомъ періодѣ жизни Некрасова, такъ какъ здѣсь мы найдемъ уже готовыми тѣ основные элементы, изъ которыхъ сложился характеръ поэта и которыми, пожалуй, опредѣлилась вся послѣдующая его судьба.

Н. А. Некрасовъ родился 22-го ноября 1821 года въ одномъ изъ мѣстечекъ Винницкаго уѣзда, гдѣ въ это время былъ расквартированъ полкъ, въ которомъ служилъ его отецъ, Алексѣй Сергѣевичъ, потомокъ когда-то богатой, но теперь разорившейся помѣщичьей семьи. Во время одного изъ своихъ служебныхъ скитаній Алексѣй Сергѣевичъ познакомился съ семействомъ польскаго магната Закревскаго и тутъ же увлекся дочерью его, Еленой Андреевной. Красивая и образованная польская барышня-аристократка, Елена Андреевна была во всѣхъ отношеніяхъ полной противоположностью русскому офицеру. Она была идеалисткой въ лучшемъ значеніи этого слова,—въ смыслѣ всегдашней готовности своей пренебречь реальными практическими условіями жизни, вслѣдствіе глубокой дѣйственной вѣры въ могущество и торжество высшихъ началъ нравственнаго порядка. Окруженная многочисленными поклонниками,

равными ей по культурѣ и положенію, она остановила свой выборъ на новомъ и почти неизвѣстномъ ей искателѣ ея руки. Несмотря на рѣшительное сопротивленіе отца и мольбы матери, она тайкомъ покинула родительскій домъ и, навсегда отказавшись отъ всѣхъ своихъ дѣвичьихъ привязанностей и отъ привычнаго комфорта, ушла дѣлать скитальческую жизнь своего избранника. Вскорѣ, однако, началась драма, сдѣлавшаяся особенно тяжелою и мучительною, когда Алексѣй Сергѣевичъ вышелъ въ отставку и вмѣстѣ съ женой и дѣтьми переѣхалъ въ свое родовое помѣстье, въ село Грѣшнево, Ярославской губерніи. Здѣсь именно со всею ужающею полнотою раскрылась непримиримая разница двухъ культуръ, характеровъ и настроеній, представителями которыхъ были мужъ и жена. Исполненная чувства долга, она и думать не позволяла себѣ о возможности разорвать брачный союзъ и уйти изъ-подъ непривѣтливаго крова; онъ, признававшій надъ собою только власть собственныхъ страстей и похоти, устраиваетъ тутъ же въ домѣ, на глазахъ жены и дѣтей, грязныя оргіи, въ которыхъ шумно и нагло прорывается наружу весь адъ крѣпостныхъ отношеній. Гордая аристократка, ревниво, даже въ такой подавляющей обстановкѣ, оберегающая достоинство своей человѣческой личности, она въ самыя трагическія минуты своей одинокой жизни не унизила себя обращеніемъ съ какою бы то ни было просьбой о помощи къ близкимъ ей людямъ; онъ, повидимому, легко поступался чувствомъ своей независимости и принялъ должность земскаго исправника. И темныхъ сторонъ этой службы онъ не скрывалъ отъ дѣтей: для собственнаго развлеченія онъ даже таскалъ съ собою на экзекуцію малолѣтняго сына. Не удивительно, что впослѣдствіи Некрасовъ съ ужасомъ и рѣдко со скорбною ироніей трогаетъ эти мрачныя

Воспоминанія дней юности, извѣстныхъ

Подъ громкимъ именемъ роскошныхъ и чудесныхъ.

Не удивительно, что въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда поэтъ говоритъ объ отцѣ, въ тонѣ его каждый разъ слышатся гнѣбныя ноты мстителя за свое поруганное дѣтство, за всѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ имъ. Передъ нами рисуется образъ „угрюмаго невѣжды“, и этотъ „мрачный домъ“,

Гдѣ вторилъ звону чашъ и гласу ликованій

Глухой и вѣчный гулъ подавленныхъ страданій,

И только тотъ одинъ, кто всѣхъ собой давилъ,

Свободно и дышалъ, и дѣйствовалъ, и жилъ...

Совсѣмъ иное отношеніе сохранилъ Некрасовъ въ своемъ сердцѣ къ матери, свѣтлый образъ которой неразрывно связанъ съ лучшими написанными поэтомъ страницами. И дѣйствительно, вліяніе ея на сына было тѣмъ болѣе громаднымъ, что пріемы ея непосредственнаго педагогическаго воздѣйствія на дѣтей тутъ же находили живое подтвержденіе во всемъ поведеніи ея высоко одухотворенной личности.

Стоявшіе на двухъ противоположныхъ полюсахъ этическаго отношенія къ міру, родители поэта, оба сильные и „упорные“, передали своему сыну основныя черты своихъ различныхъ, чуждыхъ другъ другу характеровъ. И та непрерывная борьба, которая происходила въ семьѣ Некрасова между отцомъ и матерью, продолжалась затѣмъ еще въ болѣе острыхъ и тяжелыхъ формахъ въ сынѣ. Въ его душѣ соединились непримиримыя противорѣчія трезвой положительности съ пламенною, страстною жаждой подвига.

Въ этихъ противорѣчіяхъ, безпрестанно растравлявшихся къ тому же встревоженной „больной совѣстью“ той эпохи,—трагедія всей жизни Некрасова. Законченное выраженіе ея далъ въ послѣдствіи младшій современникъ Некрасова, Успенскій, страдальческая жизнь котораго завершилась полнымъ раздвоеніемъ его личности. Успенскому казалось, что въ немъ ведутъ ожесточенную борьбу другъ съ другомъ два начала, воплощенные въ двухъ разныхъ лицахъ. Первое лицо—это „Глѣбъ“, наслѣдовавшій отъ матери лучшія стороны человѣческой природы, второе лицо—это „Глѣбъ Ивановичъ“, или просто „Ивановичъ“, заимствовавшій отъ отца всѣ несимпатичныя проявленія его характера. Приблизительно такая именно борьба между раздвоившейся личностью Некрасова поглощала его здоровое сознаніе. Даже распредѣленіе ролей въ междоусобной борьбѣ Некрасова съ самимъ собою было какъ разъ такое, какимъ оно дано въ галлюцинаціяхъ Успенскаго. Сынъ своей матери, Николай Некрасовъ, одушевленный пламеннымъ и искреннимъ желаніемъ „наполнить жизнь борьбою за идеаль добра и красоты“, долженъ былъ тратить массу энергіи и силъ, чтобы оградить созданный имъ міръ идеала отъ вторженія въ него Николая Алексѣевича, сына своего отца, придававшего несоотвѣтственную цѣнность земнымъ благамъ. Это былъ Николай Некрасовъ, который стремился „идти къ униженнымъ, идти къ обиженнымъ, быть первымъ тамъ“. Это былъ Николай Алексѣевичъ, который въ горькую минуту тяжелыхъ лишеній далъ себѣ клятву „не умереть на чердакѣ“, который, сознательно подавляя свои идеальныя стремленія, по собственному его признанію, развивалъ въ себѣ „практическую жилку“.

Въ сущности никакой видимой крупной побѣды „Алексѣевичъ“ надъ „Николаемъ“ не одержалъ. По свидѣтельству Г. З. Елисѣева, который хорошо зналъ поэта, и къ показаніямъ котораго мы можемъ отнестись съ безусловнымъ довѣріемъ, „Некрасовъ былъ человѣкъ средняго нравственнаго уровня, какъ всѣ тѣ, съ которыми онъ жилъ и вращался въ литературной средѣ, и если онъ былъ не лучше другихъ, то ни въ какомъ случаѣ не хуже“. Но самъ Некрасовъ предъявлялъ къ себѣ неизмѣримо болѣе высокія требованія и, чувствуя себя не въ силахъ подняться до нихъ, переживалъ въ теченіе всей своей жизни минуты, часы и дни мучительнаго разлада, который разрѣшался затѣмъ такъ характерными для Некрасова покаянными нотами. Онъ былъ буквально мученикомъ покаяннаго настроенія,

которое завладѣвало имъ при всякомъ подходящемъ и даже совсѣмъ неподходящемъ случаѣ. Н. К. Михайловскій рассказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о встрѣчѣ съ Некрасовымъ въ редакціи „Отечественныхъ Записокъ“ послѣ того, какъ появилась (въ 1869 г.) брошюра Антоновича и Жуковскаго „Матеріалы для характеристики современной литературы“, гдѣ авторы, бывшіе сотрудники и товарищи Некрасова по „Современнику“, бросали въ него цѣлый рядъ злыхъ обвиненій и ядовитыхъ намековъ. Это былъ тяжелый ударъ для неокрѣпшаго еще журнала, и каждый изъ соредакторовъ, также задѣтыхъ брошюрой, реагировалъ на общую всѣмъ обиду по-своему. Елисѣевъ сидѣлъ молча, въ глубокой задумчивости, Салтыковъ рвалъ и металъ, направляя по адресу авторовъ брошюры совершенно нецензурные эпитеты, а Некрасовъ... „Тяжело было смотрѣть на этого человѣка, — рассказываетъ Михайловскій: — онъ, какъ-то странно заикаясь и запинаясь, пробовалъ что-то объяснить, что-то возразить на обвиненія брошюры, и не могъ: не то онъ признавалъ справедливость обвиненій и каялся, не то имѣлъ многое возразить, но по закоренѣлой привычкѣ таить все въ себѣ не умѣлъ. Это просто невыносимое зрѣлище, — добавляетъ авторъ, — я видѣлъ еще разъ потомъ, въ трагической обстановкѣ предсмертныхъ расчетовъ Некрасова съ жизнью“...

Некрасовъ нисколько не преувеличивалъ, когда писалъ:

Что враги? Пусть клеветаютъ язвительнѣй,
Я пощады у нихъ не прошу,—
Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу.

Было бы, конечно, странно, если бы эта „мучительная казнь“, эта непрерывная борьба двухъ враждующихъ въ сердцѣ Некрасова началъ не нашла себѣ соотвѣтствующаго отраженія въ его поэзіи. То господствующее въ немъ настроеніе, которое онъ, „какъ-то странно заикаясь и запинаясь“, никогда не могъ передать своимъ слушателямъ, онъ сумѣлъ сообщить своимъ читателямъ въ цѣломъ рядѣ трогательныхъ по искренности признаній, незабываемыхъ по силѣ и яркости картинъ. „Пѣснь покаянія“ занимаетъ въ поэзіи Некрасова мѣсто, проглядѣть которое нельзя: она то появляется, варьируя свое содержаніе, въ формѣ самостоятельнаго цѣлаго, то вдругъ неожиданно вторгается въ другія пѣсни скорбными музыкальными аккордами. Отмѣтимъ здѣсь наиболѣе характерныя ея варіаціи.

Въ полномъ собраніи стихотвореній Некрасова мы находимъ первую „покаянную пѣснь“, помѣченную 1847 годомъ. Вещь—безусловно слабая, но такъ какъ позже, на своемъ экземпляръ этого стихотворенія, поэтъ сдѣлалъ отмѣтку: „искренне“, то намъ тѣмъ болѣе не слѣдуетъ пропускать его безъ вниманія. Поэтъ пишетъ, что онъ „глубоко презираетъ себя“ за то, что не сумѣлъ наполнить содержаніемъ свою жизнь; за то, „что потратилъ свой вѣкъ, никого

не любя". Сожалѣніе объ этомъ намъ понятно; читатель могъ бы заразиться настроеніемъ поэта, проникнуться къ нему сочувствіемъ, какъ вдругъ тутъ же оказывается, что огорченіе поэта вызывается еще и тѣмъ, „что, доживши кой-какъ до тридцатой весны, не скопилъ онъ себѣ хоть богатой казны, чтобъ глупцы у его пресмыкались ногъ, да и умникъ подчасъ позавидовать могъ“...

Можно подумать, что въ тотъ моментъ, когда повѣрялъ бумагѣ свои завѣтныя думы Николай Некрасовъ, украдкой пробрался въ комнату Николай Алексѣевичъ и прибавилъ къ стихамъ поэта и свое доброе пожеланіе. Во всякомъ случаѣ, это былъ періодъ, когда противоположныя начала, завѣщанныя Некрасову его родителями, не успѣли еще обнаружиться во всей силѣ ихъ непримиримой вражды и могли иногда мирно уживаться рядомъ *). Если это мирное сожителство было удобно для Некрасова, создавая для него условія временнаго душевнаго покоя, то муза его должна была страдать, лишаясь необходимаго единства настроенія и силы. Надобно оговориться, однако, что такое сожителство было непродолжительно, а цитированное стихотвореніе остается единственнымъ въ своемъ родѣ.

Въ 1854 г. Некрасовъ сумѣлъ объективировать свое собственное покаянное настроеніе въ лицѣ „великаго грѣшника“ Власа. Въ этомъ прекрасномъ стихотвореніи, о которомъ Достоевскій выражается даже—„великій Власъ“,—поэтъ раскрываетъ еще бодрое настроеніе и глубокое довѣріе къ духовной сторонѣ человѣческой природы.

Сила вся души великая
Въ дѣло Божіе ушла,

говоритъ онъ о покаявшемся грѣшникѣ, и чувствуется, что при этомъ имѣетъ въ виду и себя,—и себѣ намѣчаетъ онъ „дѣло Божіе“, чтобы отдать ему всѣ свои силы. А между тѣмъ жизнь, съ ея „мелкими помыслами, мелкими страстями“, властно притягивала поэта къ себѣ. Мысль о подвигѣ оставалась мечтою, красивою, манящею, но очень далекою и недоступною. Сколько разъ, увлекаемый ею, онъ падалъ, поднимался, „снова падалъ и вовсе упалъ“. Разладъ, волнующій душу поэта, достигаетъ высшей точки своего напряженія и въ 1860 г. разряжается замѣчательной по искренности тона, по силѣ и красотѣ покаянной молитвой „Рыцарь на часъ“. Со страшной силой проникновенія работающая мысль поэта дѣлаетъ его ясновидцемъ. Съ отчетливостью, недоступной въ нормальномъ, уравновѣшенномъ состояніи, онъ видитъ и показываетъ читателю и эту осеннюю

*) Какъ разъ именно въ это время Некрасовымъ вмѣстѣ съ Головачевой-Панаевой написанъ большой романъ („Три страны свѣта“), герой котораго самымъ благодушнѣйшимъ образомъ совмѣщаетъ въ себѣ высокаго полета идеальные порывы съ упорнымъ стремленіемъ зашибить деньгу путемъ „честной“, разумѣется, наживы. Для характеристики настроенія Некрасова въ этотъ періодъ (сороковые годы) сопоставленіе „Трехъ странъ свѣта“ съ приведеннымъ выше стихотвореніемъ даетъ вполне опредѣленное показаніе.

морозную ночь, въ лунномъ свѣтѣ которой онъ различаетъ всѣ подробности ландшафта,

Отъ большихъ очертаній картины
До тончайшихъ сѣтей паутины,
Что, какъ иней, къ землѣ прилегли.

и свою собственную „угнетенную“ душу. Несмотря на то, что это стихотвореніе носитъ на себѣ яркую печать субъективнаго происхожденія, что оно связано съ личными воспоминаніями поэта и представляетъ мольбу, обращенную имъ къ тѣни матери, олицетворяющей здѣсь то высокое, къ чему тщетно стремится поэтъ,—несмотря на все это, въ „Рыцарѣ на часъ“ Некрасовъ, больше чѣмъ гдѣ бы то ни было въ своихъ другихъ произведеніяхъ, овладѣлъ тою сокровенною тайной, которая освобождаетъ поэтическіе шедевры отъ условій времени и даетъ имъ право на вѣчность.

Начало 60-хъ годовъ, вызвавшихъ на Руси оживленную критическую и созидательную работу, совпало, разумѣется, и у Некрасова съ творческой производительностью. Мрачная тѣнь отца теперь рѣже посѣщаетъ его, и въ 1863 г. онъ пишетъ стихотвореніе „Что думаетъ старуха, когда ей не спится“, гдѣ онъ единственный разъ въ своей жизни позволяетъ себѣ взглянуть на покаянное настроеніе съ добродушной ироніей. Покаянная скорбь старухи, какъ помнитъ читатель, совершенно не соотвѣтствуетъ тѣмъ прегрѣшеніямъ, которыя представляются ея встревоженному сознанію въ безсонную длинную ночь. „То-то я грѣшница, то-то преступница“, казнить себя старушка, но читателю кажется, какъ будто даже на ея сморщенномъ лицѣ онъ читаетъ лукавую и добродушную усмѣшку.

Спустя три года произошло событіе, которое опять надолго лишило поэта душевнаго покоя. Случилось такъ, какъ будто на поэтическое поприще захотѣлось выступить Николаю Александровичу: желая спасти „Современникъ“, Некрасовъ въ 1866 г. привѣтствовалъ на обѣдѣ въ англійскомъ клубѣ М. Н. Муравьева стихами, въ которыхъ совсѣмъ не было поэзіи, но было много грубой лести. „Современникъ“ онъ этимъ не спасъ, а всю безтактность своей выходки понялъ и оцѣнилъ очень скоро. Въ этомъ же году имъ написано покаянное стихотвореніе „Ликуетъ врагъ, молчитъ въ недоумѣньи вчерашній другъ, качая головой“, а въ слѣдующемъ году онъ пишетъ отвѣтъ „неизвѣстному другу“, приславшему ему стихотвореніе „Не можетъ быть“ *). Здѣсь Некрасовъ, опять ссылаясь на „роковой гнетъ“

*) Въ этомъ стихотвореніи „неизвѣстный другъ“, о которомъ въ бумагахъ Некрасова сдѣлана отмѣтка: „не выдуманный другъ, но точно неизвѣстный мнѣ“, проситъ поэта опровергнуть ходившіе слухи о его двуличности,—слухи, которымъ самъ „неизвѣстный другъ“ рѣшительно не хочетъ и не можетъ вѣрить. Вотъ отрывокъ, по которому можно судить и о цѣломъ стихотвореніи:

Мнѣ говорятъ, что ты душой суровъ,
Что лишь въ словахъ твоихъ есть чувства
пламень,

своихъ дѣтскихъ лѣтъ, приносить публичное покаяніе въ своихъ грѣхахъ. Онъ кается въ томъ, что, „жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ прикованный привычкой и средой, онъ къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ и для нея не жертвовалъ собой“... Здѣсь же, оглядываясь на пройденный уже путь, Некрасовъ впервые, хотя и нерѣшительно, высказываетъ мысль, что на вѣсахъ правосудія, котораго онъ ждетъ отъ родины, должна же будетъ имѣть вѣсъ его поэтическая дѣятельность, къ которой его вдохновляла чистая, безкорыстная любовь къ народу:

За каплю крови общую съ народомъ
Мои вины, о, родина, прости!

Съ годами, разумѣется, мысль о самостоятельной цѣнности произведенной имъ поэтической работы укрѣплялась въ Некрасовѣ, и пройдя длинный путь отъ „великаго грѣшника Власа“ до „великаго грѣшника“ Кудеяра („Кому на Руси жить хорошо“), поэтъ въ 1877 г. закончилъ свои покаянныя муки, а вмѣстѣ съ ними и жизнь, чудною пѣснью прощенія. Въ этой пѣснѣ знакомая намъ муза заговорила вдругъ новымъ для нея спокойно-торжественнымъ языкомъ: казалось, какъ будто загадочное величіе смерти заставило смолкнуть голоса человѣческихъ скорбей, гнѣва и радости, и среди наступившей тишины раздались мѣрные, неземные звуки requiem'a. И это снова была мать поэта, на этотъ разъ явившаяся въ образѣ свѣтлаго генія, съ погребально-колыбельною пѣсней на устахъ:

Не бойся горькаго забвенья,
Ужъ я держу въ рукѣ моей
Вѣнецъ любви, вѣнецъ прощенья,
Даръ кроткой родины твоей...

II.

Но возвратимся, однако, назадъ, въ сельцо Грѣшнево, и посмотримъ, какого свойства матеріалъ, помимо даннаго ему отцомъ и матерью и ихъ взаимными отношеніями, полученъ былъ Некрасовымъ въ дѣтскіе годы, когда только что складывался характеръ ребенка.

Деспотъ-помѣщикъ, какимъ былъ отецъ Некрасова, долженъ былъ предоставить ребенку не мало, разумѣется, случаевъ для нагляднаго изученія крѣпостного права и существовавшихъ на этой почвѣ социальныхъ отношеній. Затѣмъ, сельцо Грѣшнево пользовалось исключительно „удачнымъ“ географическимъ расположеніемъ,

Что ты жестокъ, что стихъ твой весь любовь,
А сердце холодно, какъ камень.
Но отчего жъ весь міръ сильный любить
Мнѣ хочется, отихи твои читая?
И въ нихъ обманъ, а не душа живая?
Не можетъ быть!

имѣя съ одной стороны знаменитую раньше „Владимірку“—почтовый трактъ, по которому отправлялись этапомъ изъ Европейской Россіи въ Сибирь арестанты, а съ другой—берегъ Волги, по которому тянули свои лямки бурлаки, утопая въ пескѣ и оглашая окрестность стономъ, который „у нихъ пѣсней зовется“.

А между тѣмъ и связанные ляжкой бурлаки и закованные въ цѣпи арестанты были постоянной пищей дѣтскаго любопытства. Быть можетъ, при другихъ условіяхъ эти картины человѣческой бѣдности, позора и униженія, сдѣлавшись привычными, уложились бы въ сознаніе ребенка, какъ нѣчто неизбежно-необходимое, и, раздѣливъ родъ человѣческій на два лагеря—угнетателей и угнетаемыхъ,—онъ спокойно, съ полной увѣренностью въ своей правотѣ, поспѣшилъ бы занять въ первомъ лагерѣ положеніе, принадлежащее ему по праву рожденія. Но въ лагерѣ угнетенныхъ находилась и его мать, и сюда именно звала она и сына, возбуждая въ немъ живое чувство состраданія къ окружающему его со всѣхъ сторонъ людскому горю. Къ тому же и самъ ребенокъ постоянно долженъ былъ чувствовать, что въ этомъ мірѣ униженныхъ и оскорбленныхъ онъ дѣлитъ съ другими одинаковую судьбу, и общность положенія сближала его съ тѣми, съ кѣмъ такъ старался разъединить ребенка его отецъ. Никакія преслѣдованія не могли заставить мальчика отказаться отъ общенія съ толпою крестьянскихъ ребятишекъ, которые, какъ магнитъ, тянули къ себѣ маленькаго Некрасова. Этотъ недозволенный и строго преслѣдуемый союзъ съ деревней мальчикъ поддерживалъ и потомъ, когда, отданный въ ярославскую гимназію, пріѣзжалъ на каникулы домой.

Гимназія едва ли внесла что-нибудь положительное въ сознаніе мальчика. Освобожденный изъ-подъ давившей его въ усадьбѣ ферулы отца, но въ то же время лишенный дружеской ласки и поддержки матери, онъ пользуется здѣсь своею относительно свободой далеко не въ интересахъ умственного и нравственного развитія. Дотянувъ до 5-го класса, Некрасовъ долженъ былъ оставить гимназію, чему не въ малой мѣрѣ содѣйствовала, впрочемъ, его упорная страсть къ стихослагательству. При всей безалаберности гимназической жизни, при полномъ равнодушіи къ судьбамъ казенной гимназической науки, мальчикъ много, хотя и безъ разбора, читалъ, многому, хотя и безъ всякой системы, научился. Вмѣстѣ съ любовью къ чтенію развивалась въ немъ и безотчетная страсть къ стихослагательству, которое пока исключительно сводилось къ подражанію образцамъ: „что прочитаю, тому и подражаю“—разсказывалъ впослѣдствіи Некрасовъ объ этой своей страсти. Въ Петербургъ, куда теперь отправляютъ недоучившагося гимназиста, онъ везетъ съ собою цѣлую тетрадку стиховъ, на которую возлагаетъ большія надежды.

Когда Некрасовъ прибылъ въ столицу, ему было 15 и во всякомъ случаѣ не больше 16-ти лѣтъ. Отецъ послалъ сына въ Петербургъ для поступленія въ кадетскій корпусъ, но мать мечтала объ универ-

ситетѣ. И сынъ, послѣ недолгихъ колебаній въ столицѣ, рѣшительно порвалъ съ отцомъ и сталъ дѣятельно готовиться къ университету.

Поступить въ университетъ ему удалось лишь на правахъ вольнослушателя, которымъ онъ и былъ съ 1839 по 1841 г. Все это время онъ терпѣлъ страшную нужду, которая не осталась безъ вліянія для него, отразившись въ послѣдствіи и на физическомъ здоровьѣ и на характерѣ поэта. „Ровно три года,—разсказывалъ онъ въ послѣдствіи,—я чувствовалъ себя постоянно, каждый день, голоднымъ. Приходилось ѣсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ на Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь, бывало, для виду газету, а самъ пододвинешь себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь“... Ютился онъ въ углахъ, часто при совершенно невозможной обстановкѣ, такъ что, напримѣръ, за отсутствіемъ мебели, писать приходилось на полу. А то случалось, что и никакого угла у него не было.

Эти годы тяжелыхъ лишеній и нужды совпадаютъ съ началомъ литературной дѣятельности Некрасова. Чтобы перейти теперь къ оцѣнкѣ этой послѣдней, припомнимъ сначала въ немногихъ словахъ господствовавшія въ тѣ времена литературныя теченія. Это представляется намъ тѣмъ болѣе необходимымъ, что Некрасовъ, если и не сразу, то, во всякомъ случаѣ, очень быстро поднимается на самыя верхи русской литературы, и затѣмъ уже до конца жизни онъ идетъ нога въ ногу рядомъ съ лучшими ея представителями.

Время, непосредственно предшествующее вступленію Некрасова на литературное поприще, было періодомъ наиболѣе полного господства въ русской литературѣ нѣмецкой метафизики. „Самое отношеніе къ жизни, какъ мѣтко характеризуетъ это время Герценъ, сдѣлалось школьнымъ, книжнымъ. Всякое простое, непосредственное чувство возводилось въ отвлеченныя категоріи и возвращалось отсюда безъ капли живой крови, блѣдною алгебраическою тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все было совершенно искренне“.

Восторженное преклоненіе передъ Гегелемъ, достигнувъ своего апогея къ концу 30 годовъ, въ началѣ слѣдующаго десятилѣтія стало постепенно „сдавать“. Прежде всего покинулъ „правовѣрныхъ“ и даже рѣзко разошелся съ правовѣрнѣйшимъ Бѣлинскимъ, Герценъ, который, правда, философію Гегеля не отринулъ, но понялъ ее совсѣмъ иначе, чѣмъ ее понимали его московскіе друзья. Въ началѣ 40-хъ гг. отошелъ отъ правовѣрныхъ и „неистовый Виссаріонъ“. Теперь Бѣлинскій съ высоты „вѣчныхъ идей“ стремительно бросается въ сутолоку живыхъ интересовъ общественной жизни.

Въ 1843 г. состоялось, кажется, первое знакомство Некрасова съ критикомъ и его кружкомъ. И любопытно, что, несмотря на явное, казалось бы, преобладаніе въ нынѣшнемъ настроеніи Бѣлинскаго элементовъ трезвой жизненной положительности, Некрасовъ

все-таки чувствовалъ себя подавленнымъ отвлеченностью мышленія своихъ новыхъ знакомыхъ. „Тяжелое производили на меня впечатлѣніе всѣ эти люди,—вспоминаетъ онъ о своихъ встрѣчахъ съ кружкомъ Бѣлинскаго:—преобладала фраза, діалектика, говорили общія мѣста, говорили больше о Западной Европѣ, видно было незнаніе русской жизни и русскаго народа. Я сознавалъ, что все это не то, что намъ нужно, но въ то же время спорить съ ними не могъ, потому что они знали гораздо больше меня, гораздо больше меня читали. Сознавая все больше и больше, что намъ нужно нѣчто иное, я началъ работать, учиться“.

Некрасовъ смотрѣлъ на Бѣлинскаго какъ на своего учителя и всю жизнь благоговѣлъ передъ нимъ. Но полного сближенія и взаимнаго пониманія здѣсь быть не могло. Между ними лежала та, пока еще неясная, только еще предчувствуемая, рознь поколѣній, которая затѣмъ такъ рѣзко сказалась въ открытомъ и бурномъ столкновеніи, раздѣлившемъ лучшихъ и даровитѣйшихъ представителей литературы 40-хъ и 60-хъ годовъ. Некрасовъ всѣмъ своимъ существомъ, точно такъ же, какъ и лучшими моментами своей творческой производительности, принадлежалъ къ дѣятелямъ 60-хъ годовъ. Онъ какъ бы торопился навстрѣчу къ нимъ, и когда они выступили на литературное поприще, онъ немедленно же соединился съ ними и прочно связалъ съ ихъ работой свою.

Новое отношеніе къ искусству и жизни, формулированное журналистикой и съ энтузіазмомъ признанное молодежью, какъ нельзя болѣе соответствовало личнымъ влеченіямъ Некрасова. То, что другіе выставляли какъ теоретически обоснованное требованіе, онъ принесъ съ собою какъ готовое настроеніе. Глубоко пустившая корни въ 30-хъ годахъ, а теперь гонимая и презираемая нѣмецкая метафизика была совершенно чужда Некрасову, съ его трезвымъ, положительнымъ отношеніемъ къ жизни. Забытая и заброшенная русская дѣйствительность настойчиво требовала къ себѣ вниманія, и Некрасовъ больше чѣмъ кто-нибудь другой могъ откликнуться на этотъ призывъ. Наконецъ, когда на смѣну оторванныхъ отъ жизни созерцателей „вѣчной красоты“ и „вѣчныхъ идей“ потребовался „гражданинъ“, и тутъ Некрасовъ оказался человѣкомъ, вполне подготовленнымъ для новой роли. Онъ принесъ съ собою живое, имъ лично пережитое и пережитое сознаніе социальныхъ противорѣчій. Онъ пришелъ подобный

Рѣкъ, запруженной плотиной,
Готовой хлынуть черезъ край,
Готовой бѣшенымъ потокомъ
Сорвать мосты, разбить суда...

III.

Всѣ эти данныя, повторяемъ, имѣлись у Некрасова въ потенциальной наличности, когда онъ явился въ Петербургъ. Но прежде

Николай Алексѣвичъ Некрасовъ.
Съ картины И. Н. Крамского.
(Третьяковская галлерей въ Москвѣ.)

Третьяковская галерея в Москве.
Ср. каталог Н. Н. Крайского.
Николай Александрович Некрасов.



John H. Henshaw



чѣмъ раскрыть и обнаружить ихъ во всей полнотѣ, ему пришлось пройти тяжелую подготовительную литературную школу. Дебютировалъ онъ въ литературѣ стихотвореніемъ „Мысль“, которое было напечатано въ сентябрьской книжкѣ „Сына Отечества“ за 1838 г., съ примѣчаніемъ отъ редакціи, что это „первый опытъ начинающаго шестнадцатилѣтняго поэта“. При всѣхъ своихъ виѣшнихъ недостаткахъ, это первое стихотвореніе Некрасова заслуживаетъ быть отмѣченнымъ, потому что въ немъ его „угрюмая“ муза уже обнаруживаетъ свое мрачное настроеніе. „Спитъ дряхлый міръ“, начинается поэтъ свое стихотвореніе, выражая надежду, что, можетъ быть, когда „печальный міръ“ проснется отъ дремоты, онъ опять почувствуетъ себя обновленнымъ, „какъ въ первый день созданія природы“. Но надежды не сбываются.

Нѣтъ! тотъ же все проснулся ты,
Такой же дряхлый, обветшалый,
Еще дряхлѣй безъ покрывала...
Скрой безобразье наготы
Опять подъ мрачной ризой ночи.
Поддѣльнымъ блескомъ красоты
Ты не можешь обмануть очи...

Вслѣдъ за этимъ стихотвореніемъ послѣдовалъ рядъ другихъ. Всѣ они печатались въ разныхъ изданіяхъ, но такъ какъ поэта кормили они плохо, то издатель „Пантеона“ Ѳ. А. Кони, отнесшійся къ Некрасову съ большимъ доброжелательствомъ, посоветовалъ ему писать ради хлѣба насущнаго прозой. Юный поэтъ съ горечью долженъ былъ сознаться, что писать прозой онъ рѣшительно не умѣетъ и даже не знаетъ, о чемъ писать. Однако, совѣты и указанія Кони вывели поэта изъ этого почти безвыходнаго положенія, и съ той поры онъ окунается въ литературную работу, что называется, съ головой и, отнюдь не бросая, впрочемъ, стиховъ, пишетъ прозой повѣсти, рассказы, сказки, водевили, мелкія статьи, рецензіи и пр. и пр. Въ своихъ повѣстяхъ и рассказахъ авторъ обыкновенно трактовалъ матеріалъ, заимствованный или изъ его личныхъ мытарствъ, или вообще взятый имъ изъ дѣйствительной жизни. Въ этихъ случаяхъ онъ нерѣдко обнаруживалъ, какъ это отмѣтилъ Бѣлинскій по поводу рассказа „Петербургскіе углы“, „необыкновенную наблюдательность и необыкновенное мастерство изложенія“.

Приблизившись, въ качествѣ рецензента, къ театру, Некрасовъ открылъ для себя новый видъ литературнаго заработка въ сочиненіи и постановкѣ на сцену собственныхъ театральныхъ пьесъ. Перепельскій—таковъ былъ театральнй псевдонимъ Некрасова—пользовался успѣхомъ среди театраловъ того времени.

Однако, всѣ эти водевили, драмы, рассказы и повѣсти являлись въ глазахъ Некрасова только вынужденною литературною работою, а тотъ или иной успѣхъ ихъ—только залогомъ ближайшаго сытаго дня. Душѣ его эта работа не давала никакого удовле-

нія, и встревоженное чувство его настойчиво искало своего выраженія въ стихахъ. „Стихи мои! Свидѣтели живые за міръ пролитыхъ слезъ“, писалъ Некрасовъ въ послѣдствіи, а здѣсь мы можемъ прибавить, что эти же стихи были и свидѣтелями его удивительной настойчивости и въ то же время непосредственными виновниками многихъ его злоключеній.

Печатавшіеся въ газетахъ и журналахъ стихи Некрасова въ 1840 г., при содѣйствіи одного доброжелателя начинающаго поэта, выходятъ въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ подъ заглавіемъ „Мечты и звуки“. Некрасовъ очень серьезно смотрѣлъ на этотъ свой шагъ и, поборовъ на этотъ разъ свою замкнутость и нелюдимость, онъ рѣшается пойти за совѣтомъ даже къ „самому“ Жуковскому. Мастиный старецъ похвалилъ одно стихотвореніе, призналъ наличность таланта въ юношѣ, но издавать стиховъ не совѣтовалъ.

— Вы потомъ пожалѣете, если выпустите эту книгу,—сказалъ Жуковскій.

Но—увы!—послѣдовать благожелательному совѣту было невозможно: книга уже заранѣе, въ значительной части, была оплачена, деньги израсходованы, и Некрасовъ, по совѣту того же Жуковского, могъ сдѣлать только одно: снять съ книги свое имя и замѣнить полную подпись инициалами. Встрѣченные жестокимъ приговоромъ Бѣлинскаго, сказавшаго въ своей рецензій, что „посредственность въ стихахъ нестерпима“, „Мечты и звуки“ сыграли роковую роль въ жизни Некрасова, заставивъ его навсегда разстаться съ университетомъ. Непосредственнымъ поводомъ къ этому послужило то, что профессоръ А. В. Никитенко, зная, что въ числѣ его слушателей находится анонимный авторъ изданной книжки, публично, на лекціи, осмѣялъ ее, сказавъ, что въ ней нѣтъ ни признака таланта, ни толку, ни ладу, а лишь одна вода да пустое рѣмоплетство. Большимъ ударомъ для Некрасова были эти два отзыва, изъ которыхъ одинъ принадлежалъ наиболѣе цѣнному имъ критику, а другой—любимѣйшему профессору, лекціи котораго привлекали его больше, чѣмъ все остальное, что могъ предложить ему университетъ. И тѣмъ не менѣе въ 1843 г. Некрасовъ выпускаетъ новый сборникъ: „Статейки въ стихахъ“. Бѣлинскій съ прежнею суровостью отмѣтилъ сборникъ, окрестивъ его „водевильною болтовней“. Некрасовъ продолжаетъ упорствовать.

Стихи создавали мучительные для его самолюбія моменты. Но Некрасовъ безостановочно идетъ къ своей цѣли, работая надъ собой и совершенствуясь, и уже въ 1845 г. онъ заставляетъ Бѣлинскаго признать въ нѣсколькихъ новыхъ произведеніяхъ своей оскорбленной музы „счастливыя вдохновенія таланта“.

Не переставая работать надъ развитіемъ своего поэтическаго дарованія, Некрасовъ въ эти же годы, изошряясь въ борьбѣ съ нуждой, открылъ, наконецъ, для приложенія своихъ силъ новое и богатое поле дѣятельности. Онъ нашелъ для себя дѣло, которое

упрочило его матеріальное положеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ дало ему возможность оказать русской журналистикѣ рядъ крупныхъ услугъ, которыя не забудутся въ исторіи русской литературы. Мы имѣемъ въ виду его издательскую дѣятельность. Будучи долгое время, такъ сказать, поваренкомъ на литературной кухнѣ, имѣя постоянныя дѣла съ разными часто темнаго свойства литературными предпринимателями, Некрасовъ при своей острой наблюдательности, могъ до тонкости изучить условія издательскаго дѣла. Первые робкія попытки съ изданіемъ собственныхъ произведеній, изъ которыхъ „Статейки въ стихахъ“ имѣли даже нѣкоторый матеріальный успѣхъ, дали Некрасову извѣстный навыкъ. И вотъ въ 1845 г. онъ выпускаетъ въ свѣтъ двухтомный сборникъ статей: „Физиологія Петербурга, составленная изъ трудовъ русскихъ литераторовъ“. За этимъ сборникомъ, встрѣченнымъ очень сочувственно и критикой и публикой, Некрасовъ въ слѣдующемъ году выпускаетъ уже цѣлыхъ два; изъ нихъ одинъ носитъ вычурное названіе „Первое апрѣля, комическій иллюстрированный альманахъ“, а второй — просто „Петербургскій сборникъ“. Въ сборникахъ, рядомъ съ прозой и стихами Некрасова, мы встрѣчаемъ имена Бѣлинскаго, Искандера, Тургенева, Достоевскаго, Григоровича, Ап. Майкова, Гребенки, Луганскаго и др. Нѣкоторые изъ названныхъ авторовъ (напр., Достоевскій и Григоровичъ) только дебютировали въ сборникахъ Некрасова, другіе имѣли уже заслуженное почетное прошлое. Обыкновенно говорятъ, что Некрасовъ былъ „счастливъ“ въ выборѣ своихъ сотрудниковъ. Но дѣло здѣсь не въ счастьѣ, а въ тонкомъ критическомъ чутьѣ, присутствіе котораго и здѣсь, въ сборникахъ, а еще въ большей степени потомъ, въ журналахъ, Некрасовъ доказалъ съ ясною очевидностью. Припомнимъ здѣсь, между прочимъ, что Некрасовъ первый (въ 1850 г.) оцѣнилъ и высоко поставилъ талантъ мало извѣстнаго тогда поэта Тютчева, что спустя два года, прочитавъ въ рукописи первое произведеніе гр. Л. Н. Толстого: „Дѣтство“, онъ сразу же оцѣнилъ литературное значеніе рукописи и поспѣшилъ поощрить и ободрить начинавшаго писателя. Несомнѣнный успѣхъ, который выпалъ на долю изданныхъ Некрасовымъ сборниковъ, соблазнилъ Бѣлинскаго, всю жизнь свою работавшаго на другихъ. И у него явилось желаніе издать сборникъ, хотя, далекій отъ житейской практики, онъ окончательно утвердился въ своемъ рѣшеніи лишь тогда, когда Некрасовъ, горячо сочувствовавшій намѣреніямъ Бѣлинскаго, взялъ на себя всѣ хлопоты по изданію и переговоры о кредитѣ. Придуманно было названіе сборника, собранъ для него рядъ статей, но такъ какъ къ этому времени (въ 1847 году) подошла покупка Некрасовымъ и И. И. Панаевымъ „Современника“, къ редакціи котораго заранѣе примкнулъ и Бѣлинскій, то всѣ подготовленные для „Левіаѳана“ рукописи перешли сюда. Руководимый Некрасовымъ журналъ, едва влачившій подъ редакціей Плетнева жалкое существованіе, теперь стянулъ къ себѣ всѣ лучшія силы

современной литературы и быстро поднялся на высоту первенствующаго органа русской журналистики.

Такимъ оставался „Современникъ“ до самаго конца, т.-е. до 1866 г., когда онъ былъ прекращенъ по предложенію гр. М. Н. Муравьева, связавшаго направленіе журнала съ покушеніемъ Каракова на жизнь императора Александра II.

Сжившійся съ нервною журнальною работою Некрасовъ упорно ищетъ выхода и послѣ двухъ лѣтъ невольнаго бездѣйствія (въ 1868 г.) беретъ въ аренду у Краевского „Отечественныя Записки“, которыя подъ новой редакціей дѣлаются, по литературному типу и общественному вліянію, прямымъ продолженіемъ „Современника“. Г. З. Елисѣевъ, бывшій членомъ редакціи „Современника“, какъ потомъ и „Отечественныхъ Записокъ“, характеризуетъ Некрасова—редактора, какъ „человѣка, отъ природы, несомнѣнно, умнаго, съ сильно развитымъ эстетическимъ и критическимъ чувствомъ“. Некрасовъ, рассказываетъ его бывшій сотрудникъ, „ограничивался выборомъ подходящихъ сотрудниковъ и предоставлялъ дѣлу идти, какъ оно могло идти, не подражая тѣмъ малоопытнымъ и неискуснымъ кучерамъ, которые безъ-толку дергаютъ лошадей и мѣшаютъ имъ бѣжать спокойно и ровно... И дѣло, дѣйствительно, шло хорошо, какъ только могло идти при данныхъ наличныхъ силахъ“. Съ своей стороны, Н. К. Михайловскій, опровергая мнѣнія „пустопорожнихъ, а иногда просто презрѣнныхъ людей“, утверждавшихъ, будто Некрасовъ ради выгоды писалъ и издавалъ журналъ въ извѣстномъ тонѣ, замѣчаетъ: „Некрасовъ былъ, прежде всего, необыкновенно уменъ. Для меня нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что на любомъ поприщѣ, которое онъ избралъ бы для себя, онъ былъ бы однимъ изъ первыхъ людей уже въ силу своего ума. Онъ былъ бы, если бы захотѣлъ, блестящимъ генераломъ, выдающимся ученымъ, богатѣйшимъ купцомъ. Онъ выбралъ литературу, потому что любилъ ее; въ литературѣ онъ выбралъ извѣстное направленіе, потому что вѣрилъ въ него“.

IV.

Какъ ни велика, съ точки зрѣнія историко-литературной и общественной, та роль, которую игралъ Некрасовъ, какъ основатель и руководитель двухъ лучшихъ органовъ нашей журналистики, но несомнѣнно, что самъ онъ смотрѣлъ и на свое редакторство точно такъ же, какъ и на черновую ученическую работу начала своей литературной карьеры, главнымъ образомъ какъ на условія, благопріятствующія его общенію съ музой. Поэтическое творчество было основною задачей его жизни, и самъ онъ желалъ, чтобы его цѣнили и судили прежде всего какъ поэта. Но именно этого-то онъ и не добился: ни при жизни, ни даже много лѣтъ спустя послѣ смерти Некрасова нельзя указать ни одного твердо установившагося взгляда на его поэзію. Напротивъ, въ оцѣнкѣ некрасовской музыки долгое

время продолжалъ царить хаосъ, полный удивительныхъ противорѣчій.

Мы уже знаемъ, что Бѣлинскій, съ такимъ рѣзкимъ отпоромъ встрѣтившій первые шаги Некрасова въ области поэзіи, немедленно же призналъ въ немъ поэта, какъ только муза его предстала передъ критикомъ въ томъ простомъ, чуждомъ вычурныхъ украшеній, нарядѣ, въ какомъ она знакома и намъ по „Полному собранію стихотвореній“ Некрасова *). Добролюбовъ, печатавшійся исключительно въ „Современникѣ“, не рѣшился открыто и ясно высказаться о поэтическомъ творествѣ Некрасова, но взглядъ его, хотя и замаскированный слегка, достаточно опредѣленно прорывается въ слѣдующемъ отрывкѣ: „Послѣ нихъ (Пушкина, Лермонтова и Кольцова) нуженъ былъ поэтъ, который бы умѣлъ осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные и какъ бы безотчетные порывы Кольцова и вложить въ свою поэзію положительное начало, жизненный идеалъ, котораго не доставало Лермонтову“. Дальше критикъ, не называя поэта по имени, утверждаетъ, что естественный ходъ жизни произвелъ такого поэта, что это не предположеніе и не выводъ, а „совершившійся фактъ“. Писаревъ со свойственной ему прямолинейностью высказываетъ увѣренность, что беллетристика увядаетъ, а „стихотвореніе находится при послѣднемъ издыханіи, и, конечно, этому слѣдуетъ радоваться, потому что есть надежда, что ни одинъ дѣйствительно умный и даровитый человѣкъ нашего поколѣнія не истратитъ своей жизни на пронизываніе чувствительныхъ сердецъ убійственными ямбами и анапестами“. И тѣмъ не менѣе къ нѣкоторымъ беллетристамъ, а изъ поэтовъ къ одному только Некрасову критикъ снисходитъ: „Если Некрасовъ,—замѣчаетъ онъ,—можетъ высказываться только въ стихахъ, пусть пишетъ стихи“. И дальше, присоединивъ къ Некрасову Тургенева и Чернышевскаго (какъ автора романа „Что дѣлать“), Писаревъ поясняетъ: „Этимъ людямъ есть что высказать, и потому общество слушаетъ ихъ со вниманіемъ и не остается въ накладѣ“.

Затѣмъ есть рядъ писателей, которые вмѣстѣ съ Салтыковымъ признаютъ въ Некрасовѣ „большого человѣка въ русской литературѣ“, но затрудняются дать опредѣленную оцѣнку его поэтической дѣятельности.

И, наконецъ, мы знаемъ писателей, и даже весьма крупныхъ писателей, которые относятся къ поэзіи Некрасова съ безусловнымъ отрицаніемъ. Такъ, Тургеневъ, вступаясь въ 1870 г. („С.-Петербургск. Вѣдомости“, № 8) за поэтическое достоинство Полонскаго, ядовито противопоставляетъ послѣднему Некрасова, у котораго, по словамъ Тургенева, „поэзіи-то и нѣтъ на грошъ“. Можно было бы подумать, что данная въ такой категорической формѣ оцѣнка „музы мести и

*) Свои первые ученическіе опыты Некрасовъ не только не ввелъ въ „Полное собраніе“, но даже старался уничтожить ихъ совершенно, скупая для этой цѣли у книгопродавцевъ „Мечты и звуки“.

печали“ заключаетъ въ себѣ много элементовъ личнаго противъ Некрасова раздраженія. Но нѣтъ, Тургеневъ то же самое могъ бы сказать о Некрасовѣ въ самомъ спокойномъ состояніи, въ какомъ, напримѣръ, недавно повторилъ о немъ буквально то же самое гр. Л. Н. Толстой. Великій писатель земли русской въ предисловіи, написанномъ къ роману фонъ-Поленца „Крестьянинъ“, призналъ Некрасова „совершенно лишеннымъ поэтического дара“.

Не трудно, намъ думается, замѣтить, что всѣ сгруппированныя выше разнообразныя оцѣнки некрасовской музыки—положительныя, неопредѣленныя и отрицательныя—имѣютъ въ виду исключительно одну только ея рѣзкую особенность, а именно ея, такъ сказать, чересчуръ обнаженный реализмъ, ея разсудочную ясность.

Совершенно отрицая поэзію Некрасова, Тургеневъ чувствовалъ большую симпатію къ Полонскому, который, по удачному выраженію Влад. Соловьева, былъ поэтомъ „полусонныхъ, сумеречныхъ, слегка бредовыхъ ощущеній“. Затѣмъ изъ другихъ современныхъ Некрасову поэтовъ Тургеневъ особенно высоко цѣнилъ Тютчева; къ этому поэту Тургеневъ относился почти восторженно, его же не прочь противопоставить Некрасову и Л. Толстой *). И дѣйствительно, по мотивамъ, преобладающимъ въ поэзіи Тютчева, этотъ поэтъ является полною противоположностью Некрасову. Тютчевъ—поэтъ-философъ, „поэтъ для немногихъ цѣнителей“, какъ выразился о немъ Тургеневъ. Мотивы, которые трактуетъ философская поэзія Тютчева, касаются преимущественно мистическихъ основъ бытія и таинственной сущности земной жизни человѣка. Поэтъ скорбитъ о связанной ограниченности человѣческаго знанія и человѣческой любви, о призрачности и ничтожности человѣческой личности; проникнутый пантеистическимъ настроеніемъ, онъ одухотворяетъ природу и жадно ищетъ полного сліянія съ космосомъ. Словомъ, поэзія Тютчева является прямымъ отзвукомъ тѣхъ смутныхъ запросовъ человѣческаго духа, которые, оставаясь безотвѣтными, не перестаютъ тревожить мысль и которые, какъ мы знаемъ, не одинъ разъ мучительными, требовавшими безотлагательнаго рѣшенія проблемами вставали передъ страстнымъ искателемъ истины Л. Н. Толстымъ.

Въ ранней юности Некрасовъ испыталъ себя и въ философской поэзіи (въ „Мечтахъ и звукахъ“), воспѣвалъ старческую дряблость міра, устремлялся въ неопредѣленныя выси,

Къ безмятежному эвиру,
Гдѣ, одѣтая въ порфиру,
Блещетъ яркая звѣзда.

*) Конструкція всей фразы, въ которой Л. Толстой даетъ оцѣнку современнымъ поэтамъ, такова: „Послѣ Пушкина и Лермонтова (Тютчевъ обыкновенно забывается) поэтическая слава переходитъ сначала къ весьма сомнительнымъ поэтамъ—Майкову, Полонскому и Фету, потомъ къ совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, къ искусственному и прозаическому стихотворцу Алексѣю Толстому, потомъ...“ и т. д. Курсивъ принадлежитъ намъ. Вл. Кр.

Затѣмъ пускался онъ въ темныя закоулки аллегорической поэзіи („Статейки въ стихахъ“), извлекая изъ нѣдръ земли тѣни усопшихъ и заставляя ихъ исповѣдываться передъ „духомъ жизни“. Ютясь въ подвалѣ, онъ проникалъ фантазіей своею въ роскошныя чертоги бароновъ и графовъ (разсказъ „Пѣвица“). Но и въ безмятежномъ эѳирѣ, и въ графскихъ чертогахъ онъ одинаково терпѣлъ полнѣйшую неудачу. И только тогда почувствовалъ онъ дѣйствительную близость музыки, только тогда признали въ немъ поэта и другіе, когда онъ перешелъ къ реалистическому изображенію, отвѣчавшему самому складу его ума, трезвому и дѣловому.

Онъ открылъ въ себѣ поэта-реалиста, и, сдѣлавъ это открытіе, онъ прежде всего сталъ заботиться о точности воспроизведенія жизни. По словамъ сестры Некрасова, „Орина, мать солдатская“, сама разсказала поэту свою ужасную жизнь. Разсказъ вдохновилъ поэта, но, опасаясь сфальшивить, онъ нѣсколько разъ дѣлаетъ крюкъ, чтобы, снова разспросивъ разсказчицу, точно запомнить ея характерную рѣчь. Такія произведенія, какъ „Коробейники“, „Крестьянскія дѣти“, Некрасовъ пишетъ тотчасъ же по возвращеніи изъ своихъ охотничьихъ экскурсій, и въ этихъ стихотвореніяхъ дѣйствительно чувствуется свѣжесть только что полученныхъ непосредственныхъ впечатлѣній. „Размышленія у параднаго подѣзда“ написаны подъ живымъ впечатлѣніемъ сцены, которую Некрасовъ видѣлъ изъ окна квартиры Панаева. „На Волгѣ (Дѣтство Валежникова)“ съ буквальной точностью передаетъ разсказъ Некрасова одному изъ друзей о дѣтскихъ его впечатлѣніяхъ. „Княгиня Волконская“ написана подъ живымъ впечатлѣніемъ ея „Записокъ“ и т. д.

Къ тому же Некрасовъ обладалъ огромною памятью, изъ которой онъ во всякое данное время могъ извлекать впечатлѣнія отдаленныхъ лѣтъ. Этою способностью онъ въ широкой мѣрѣ воспользовался, когда писалъ свою самую крупную, но, къ сожалѣнію, неоконченную поэму: „Кому на Руси жить хорошо“.

Заговоривъ объ этой поэмѣ на смертномъ одрѣ, Некрасовъ сказалъ, что „хотѣлъ внести въ нее весь опытъ, данный ему изученіемъ народа, всѣ свѣдѣнія о немъ, накопленныя „по словечку“ въ теченіе 20 лѣтъ, и создать книгу полезную, понятную народу и правдивую“. Когда читаешь это признаніе, то какъ-то забываешь, что его сдѣлалъ поэтъ. Объ „опытѣ“, о „накопленныхъ свѣдѣніяхъ“, объ изданіи „полезной книги“ могъ говорить сельскій хозяинъ, учитель, но съ поэзіей все это вяжется какъ будто и мало. А между тѣмъ къ музыкѣ Некрасова какъ разъ эти именно выраженія чрезвычайно подходятъ, такъ какъ и въ самомъ дѣлѣ его поэзія не выходитъ изъ предѣловъ опыта и накопленныхъ свѣдѣній, какіе даетъ ему окружающая дѣйствительность.

Онъ слишкомъ трезвъ для того, чтобы переживать сумеречныя настроенія Полонскаго, и слишкомъ связанъ съ реальными интересами земли для того, чтобы задумываться надъ сложными пробле-

мами мірозданія. Онъ можетъ понимать и цѣнить Тютчева, но онъ не пойдетъ за нимъ. Онъ не измѣняетъ себѣ даже тогда, когда лицомъ къ лицу сталкивается съ явленіями, передъ таинственной сущностью которыхъ невольно смущается мысль. Два раза, одержимый тяжелымъ недугомъ, стоялъ онъ на самомъ краю могилы. Но и тутъ, у дверей, готовыхъ каждую минуту открыться и пропустить его туда, „откуда путникъ не возвращался къ намъ“, трезвая ясность мысли не оставляетъ его. Онъ волнуется, мучится, но во всякомъ случаѣ тревожитъ его не то, что ждетъ его по ту сторону дверей, а то, что оставляетъ онъ по эту ихъ сторону“. „А рано смерть идетъ“, пишетъ онъ въ 1853 г., когда и русскіе, и иностранные врачи, поставивъ невѣрный діагнозъ болѣзни, признали его положеніе безнадежнымъ:

И жизни жаль мучительно. Я молодъ,
Теперь поменьше мелочныхъ заботъ,
И рѣже въ дверь мою стучится голодъ:
Теперь бы могъ я сдѣлать что-нибудь.
Но поздно...

О томъ, что волновало Некрасова на смертномъ одрѣ, мы говорили раньше. Здѣсь прибавимъ только, что, кромѣ „Баюшки-баю“, въ 1877 г. на ту же тему написано поэтомъ нѣсколько другихъ стихотвореній, но и въ нихъ нѣтъ ни одного намека на вопросы метафизической сущности смерти. Тою же ясностью мысли и настроенія отмѣчены стихи: на смерть сына поэта („Поражена потерей невозвратной“), на смерть Добролюбова („Я покинулъ кладбище унылое“), Писарева („Не рыдай такъ безумно надъ нимъ“) и другіе. Вообще же, во всѣхъ своихъ стихотвореніяхъ, гдѣ рѣчь идетъ о смерти, художникъ умѣетъ каждый разъ найти какую-то такую черту, которая какъ бы смягчаетъ, сглаживаетъ впечатлѣніе утраты; смерть превращается какъ бы въ вѣчный сонъ, потому что связь уснувшего съ міромъ живыхъ не прекращается. Въ этомъ смыслѣ намъ кажется весьма типичнымъ для Некрасова стихотвореніе „Похороны“, и особенно его окончаніе:

Будутъ пѣсни къ нему хороводныя
Изъ села по зарѣ долетать,
Будутъ нивы ему хлѣбородныя
Безгрѣховные сны навѣвать...

„Неизъяснимыхъ“ волненій любви, окрыленные которыми поэты совершаютъ обыкновенно свои наиболѣе рискованные полеты въ предѣлы надчувственныхъ міровъ, у Некрасова точно такъ же вы не ищите. Одна только исключительная привязанность къ матери, привязанность, граничащая съ молитвеннымъ благоговѣніемъ, озаряетъ иногда его поэзію таинственнымъ свѣтомъ романтики. Что же касается любви къ женщинѣ, то рѣшительно во всѣхъ своихъ стихотвореніяхъ, посвященныхъ этому мотиву, Некрасовъ продолжаетъ оставаться неисправимымъ реалистомъ.

Реальная ясность поэзии Некрасова особенно поражает, когда мы застаем поэта в минуты самых высоких подъемов его настроения. Вспомним, например, уже цитированное нами стихотворение „Рыцарь на час“. Здѣсь, в первой части стихотворения, выражено далеко не будничное настроение. Поэтъ поднялся до высоты молитвеннаго экстаза, и все-таки онъ прочно стоитъ на землѣ; все-таки слишкомъ опредѣленно, слишкомъ ясно это „земное“ противопоставленіе реальныхъ благъ міра такой же реальной жертвѣ.

Эта ясность, „оскорбительная ясность“, какъ выразился одинъ изъ критиковъ поэзии Некрасова, и составляетъ ту точку, въ которую преимущественно цѣлили и цѣляютъ всѣ, кто пытается установить къ Некрасову опредѣленное отношеніе. Для Писарева въ этой ясности заключалось высшее достоинство Некрасова, тогда какъ, напримеръ, Н. Страховъ никогда не могъ простить поэту этой его особенности. Онъ глубоко возмущался тѣмъ, что къ Некрасову никто не подойдетъ съ вопросомъ, который толпа поставила его геніальному предшественнику:

О чемъ бречить? Чему насъ учить?
Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучить,
Какъ своенравный чародѣй?

Если поэзія, отражая жизнь, должна показывать ее только подъ полупрозрачнымъ покровомъ сумерекъ; если безъ таинственнаго не можетъ быть поэзія; если, наконецъ, обязательными для поэзія должны быть признаны лишь тѣ настроенія, въ которыхъ выражается смутное стремленіе къ безконечному, то Некрасовъ и въ самомъ дѣлѣ „совершенно лишенъ поэтическаго дара“.

Самъ Некрасовъ оцѣнивалъ поэтическія достоинства своей музыки очень сурово. Правда, въ 1845 г. онъ выказалъ было слишкомъ смѣлую увѣренность въ томъ, что „мечтатели осмѣяны давно“. Но на самомъ дѣлѣ осмѣяны были не мечтатели, а его дѣтскіе „Мечты и звуки“, и поэтъ учелъ свой промахъ. Спустя десять лѣтъ онъ смотритъ на дѣло совсѣмъ иначе и уже горько сожалеетъ о безсиліи собственной мечты:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ.
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства...

Однако, онъ сдаваться не хочетъ и тутъ же, въ защиту музыки, прибавляетъ:

Но кипитъ въ тебѣ живая кровь,
Торжествуетъ мстительное чувство,
Догорая, теплится любовь...

Это „но“ очень характерно съ точки зрѣнія самооцѣнки Некрасова, и мы должны принять его въ расчетъ, разъ мы желаемъ выяснитъ своеобразную фізіономію музыки поэта. Это значитъ: гг. цѣнители искусства, не спѣшите умозаключать о моей музыкѣ по одной только ея особенности, которую я замѣчаю не хуже васъ и

къ которой отношусь не снисходительнѣе васъ; но это только одна ея сторона, а для полноты оцѣнки я напоминаю вамъ и о другой сторонѣ; сопоставьте ихъ и тогда судите.

Мы цѣликомъ принимаемъ это предложеніе, съ одною развѣ поправкою, а именно: если разсудочная ясность, вообще говоря, составляетъ недостатокъ въ поэзіи, то Некрасовъ въ значительной мѣрѣ смягчаетъ, а нерѣдко и совсѣмъ устраняетъ его выборомъ мотивовъ, въ которыхъ ясность какъ бы естественно вытекаетъ изъ темы, требуется ею. Недостатокъ скрадывается и превращается въ простое свойство, въ особенность, и мы считаемъ себя въ правѣ поэтому, признавъ ясность одною характерною особенностью некрасовской музыки, перейти, безъ дальнѣйшихъ поясненій, къ разсмотрѣнію другой ея особенности—силы.

V.

Могучую силу поэзіи Некрасова признають всѣ, не исключая даже наиболѣе злостныхъ его критиковъ. Даже Тургеневъ по поводу выхода перваго сборника стихотвореній поэта (въ 1856 г.) выражается въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Е. Я. Колбасину: „А Некрасова стихотворенія, собранныя въ одинъ фокусъ, жгутъся“. Ап. Григорьевъ сознавался, что въ поэзіи Некрасова „чувствуется какая-то сила, но,—добавлялъ онъ,—сила грубая, необработанная“. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ о „молотѣ, которымъ съ плеча бьетъ чувство Некрасова“. Такое же, такъ сказать, металлическое сравненіе дѣлаетъ и Бѣлинскій, восторгаясь Некрасовымъ въ одномъ частномъ письмѣ: „Что за талантъ у этого человѣка! И что за топоръ его таланты!“ Въ этомъ же тонѣ выражается о своей музы и ея ласкахъ и самъ Некрасовъ:

Съ желѣзной грудью надо быть,
Чтобъ этимъ ласкамъ отвѣчать,
Объятыя эти выносить...

Въ предисловіи къ стихотвореніямъ Некрасова, переведеннымъ на французскій языкъ, Вогюэ очень удачно дополняетъ давно уже признанный за поэтомъ эпитетъ „реалистъ“ новымъ, многое поясняющимъ, эпитетомъ—„экзальтированный реалистъ“. Вогюэ бросаетъ это замѣчаніе какъ бы мимоходомъ, вскользь, но мы остановимся на немъ, такъ какъ экзальтированность Некрасова является источникомъ многихъ интересныхъ для насъ особенностей его личности и его музыки. Мы поймемъ теперь, почему Некрасовъ съ такою упорною настойчивостью, несмотря на совѣты и насмѣшки, тяготѣлъ къ поэтической формѣ, въ которой одной лишь онъ и могъ передать учащенную пульсацію своего сильно бьющагося сердца. Мы поймемъ, почему съ такою необычною чуткостью, съ такимъ неумолимымъ осужденіемъ относился онъ къ собственнымъ слабостямъ, которыхъ тысячи людей снисходительно не замѣчаютъ въ себѣ, но

которыя Некрасовъ такъ страстно бичевалъ въ своихъ покаянныхъ пѣсняхъ. Мы поймемъ, наконецъ, почему иногда, въ минуты повышеннаго настроенія, Некрасовъ терялъ чувство мѣры и допускалъ въ своихъ стихахъ такія, какъ выражается г. Андреевскій, „коварныя преувеличенія“, которыя даже раздражаютъ читателя своею неправдой. Но если этимъ недостаткомъ, усиленно подчеркнутымъ нѣкоторыми критиками (Н. Н. Страховымъ и С. А. Андреевскимъ), и грѣшитъ муза Некрасова, то, во всякомъ случаѣ, дѣйствительныя размѣры его не надо утрировать. И мы лично склонны удивляться не тому, что Некрасовъ впадалъ иногда въ грѣхъ преувеличенія, а тому, что онъ такъ рѣдко впадалъ въ этотъ грѣхъ, хотя, по силѣ вкладываемаго въ свое творчество настроенія, онъ былъ всегда близокъ къ нему.

Онъ могъ оставаться спокойнымъ только тогда, когда писалъ прозу,—ей онъ отдавалъ только свою мысль и излагать ее на бумагѣ онъ могъ, сидя за письменнымъ столомъ и даже лежа на диванѣ. Когда же онъ переходилъ къ стихамъ, спокойствіе оставляло его: онъ весь взвинчивался, весь приходилъ въ движеніе. Онъ творилъ, шагая по комнатѣ и вслухъ произнося складывающіяся строфы, и только тогда, когда процессъ творчества оканчивался, онъ подходилъ къ столу и результаты своего вдохновенія записывалъ на первомъ попавшемся клочкѣ бумаги. И уже не иногда, а часто, сплошь и рядомъ, его приподнятое настроеніе выливалось въ строфы, которыя по своей энергіи и выразительности очень близко граничили съ преувеличеніемъ, но эту роковую грань все-таки не переходили. Врожденный тактъ спасалъ поэта, а безусловная искренность чувства сдерживала энтузіаста въ границахъ безыскусственной правды. Можно ли прибавить, на примѣръ, хоть одну лишнюю черту, не нарушивъ правды, къ этой поразительной по силѣ картинѣ „ночи“, „которую теперь мы доживаемъ боязливо,

Когда свободно рыскалъ звѣрь,
А человѣкъ бродилъ пугливо“.

А именно къ такимъ, не поддающимся дальнѣйшему сгущенію, краскамъ художникъ прибѣгалъ часто, когда писалъ свои выразительныя и въ то же время правдивыя картины русской общественности.

Когда читаешь его сжатые характеристики, въ которыхъ словамъ тѣсно, а мысли просторно, то невольно вспоминаются извѣстныя заключительныя строки „Орины“, въ которыхъ поэтъ противопоставляетъ бѣдность словъ силѣ чувства:

Мало словъ, а горя рѣченька,
Горя рѣченька бездонная...

Таково впечатлѣніе, которое оставляютъ многія стихотворенія Некрасова, гдѣ часто однимъ замѣчаніемъ, а то даже однимъ сло-

вомъ освѣщается картина, и въ большинствѣ случаевъ картина печальная—„горя рѣченька бездонная“...

Поютъ они безъ голосу,
А слушать—дрожь по волосу,

вставляетъ замѣчаніе одинъ изъ слушателей „Голодной“, и тягучія слова вахлацкой пѣсни сразу же пріобрѣтаютъ для васъ какой-то новый ужасный смыслъ. Рисуется онъ уличную суету: воръ укралъ у торговки калачъ („На улицѣ“), и одного слова достаточно Некрасову, чтобы заставить васъ понять глубокий трагизмъ эпизода, оканчивающагося арестомъ вора. „Закушенный калачъ дрожалъ въ его рукѣ“. Вдумайтесь въ значеніе подчеркнутого нами слова, и передъ вами развернется новая самостоятельная картина человѣческихъ лишений и страданій,—картина, для изображенія которой заурядный поэтъ потратилъ бы не мало словъ и слезъ. Съ такою же желѣзною силой сжимаетъ поэтъ огромное содержаніе въ извѣстныхъ теперь всѣмъ и каждому эпитетахъ: „безпокойная ласковость взгляда“, „убогая роскошь наряда“ и др.

Извѣстная часть современной Некрасову критики жестоко преслѣдовала поэта за то, что онъ, выражаясь словами Алмазова, рисовалъ „ненормальные, уродливыя явленія жизни, которыхъ должно избѣгать въ поэзіи“. Были, разумѣется, критики и даже немало, которые, напротивъ, ставили поэту въ особую заслугу его отрицательное отношеніе къ современной русской дѣйствительности и за это одно, игнорируя другія стороны его поэзіи, готовы были увѣнчать его. Очевидно, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ новой существенной особенностью поэта, и намъ предстоитъ выяснить ея роль и значеніе въ поэзіи Некрасова вообще.

Мы уже указывали, съ какимъ настроеніемъ, подготовленнымъ дѣтскими и закрѣпленнымъ юношескими годами, вступилъ Некрасовъ въ литературу. Къ этому мы прибавимъ здѣсь, что по свойствамъ своего ума Некрасовъ былъ строгимъ аналитикомъ,—мысль его всегда шла регрессивнымъ путемъ, отъ явленій къ ихъ причинамъ и только въ рѣдкихъ, даже, быть можетъ, исключительныхъ случаяхъ,—отъ основаній къ выводамъ. Словомъ, въ немъ въ готовомъ видѣ имѣлось все, что нужно сатирику, и мы нимало не преувеличимъ, если скажемъ, что именно сатирикомъ поэтъ и является въ своихъ произведеніяхъ. Въ лирикѣ онъ съ беспощаднымъ гнѣвомъ казнить самого себя, казнить любовь, въ которой, какъ мы указывали выше, Некрасовъ видѣлъ прежде всего драму ея неразрѣшимыхъ противорѣчій; въ остальныхъ своихъ стихотвореніяхъ онъ вскрываетъ противорѣчія общественной жизни и такъ или иначе протестуетъ противъ нихъ. Онъ подходитъ къ самымъ основнымъ темамъ русской общественности, чутко отражая въ своихъ стихотвореніяхъ всѣ думы и настроенія передовыхъ слоевъ современнаго ему общества. Въ этомъ смыслѣ, пожалуй, правъ былъ Авсѣенко,

давший Некрасову ироническую кличку „поэта журнальных мотивов“. Да, такимъ былъ Некрасовъ, поскольку журналистика отзывалась на жгучіе вопросы общественной жизни.

Мы поставили бы себѣ слишкомъ обширную задачу, если бы вздумали прослѣдить, какія именно стороны русской жизни, подъ какимъ угломъ зрѣнія освѣщала сатира Некрасова. Но чтобы не оставить совсѣмъ безъ отвѣта этотъ, во всякомъ случаѣ, интересный вопросъ, посмотримъ, какъ встрѣтилъ поэтъ нѣкоторые наиболее выдающіеся моменты нашей общественности.

На первомъ планѣ, разумѣется, надо поставить реформу 19 февраля 1861 г. Мы знаемъ, что Некрасовъ былъ пламеннымъ и непримиримымъ врагомъ крѣпостного режима, и въ дореформенный періодъ своей поэтической дѣятельности онъ упорно цѣлилъ въ одну точку, стараясь, насколько возможно, дискредитировать крѣпостничество въ общественномъ сознании. Но вотъ совершилась реформа, и Некрасовъ въ этомъ же 1861 году посвящаетъ ей стихотвореніе „Свобода“. Наше вниманіе останавливаютъ, прежде всего, незначительные сравнительно размѣры стихотворенія — только 16 строкъ. Затѣмъ, хотя онъ, разумѣется, привѣтствуетъ освобожденіе, но тутъ же вставляетъ и расхолаживающую читателя оговорку:

Знаю—на мѣсто сѣтей крѣпостныхъ
Люди придумали много иныхъ.

Позже, нѣсколько лѣтъ спустя, онъ сообщаетъ намъ, почему именно его не удовлетворила реформа:

Порвалась цѣпь великая,
Порвалась—разсочилась:
Однимъ концомъ по барину,
Другимъ по мужику.

Но, во всякомъ случаѣ, для Некрасова, какъ сатирика, въ высшей степени характерна оговорка, сорвавшаяся съ его пера въ минуту общаго ликовація на Руси всѣхъ друзей народа.

Другія реформы 60-хъ годовъ встрѣтили въ поэзіи Некрасова не менѣе трезвую оцѣнку.

Сатирикъ, разившій зло не бичомъ, а молотомъ, Некрасовъ направлялъ его удары туда, гдѣ всего сильнѣе и ярче раскрывались социальныя противорѣчія. И наиболѣе страдавшіе отъ этихъ противорѣчій имѣли право на его преимущественное вниманіе,—это были дѣти, женщины и крестьянская масса—народъ, въ особенности народъ, въ озареніи жизни котораго лучами сознанія поэтъ видѣлъ даже свое прямое назначеніе.

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣнъ емъ изумляющій народъ.
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.

Изображенію различныхъ сторонъ народной жизни Некрасовъ посвящаетъ цѣлый рядъ картинъ, въ которыхъ и дореформенная и

пореформенная Русь нашла себѣ достаточно полное выраженіе. Въ своихъ большихъ произведеніяхъ („Коробейники“, „Морозъ Красный-Носъ“, „Кому на Руси жить хорошо“) онъ подходитъ даже къ такимъ проявленіямъ народной жизни, которыя требуютъ не гнѣвной скорби сатирика, а задушевной теплоты эпического поэта, и Некрасовъ удовлетворяетъ этимъ требованіямъ въ объемѣ, какого только можетъ пожелать самый придирчивый эстетикъ. Но въ поэзіи Некрасова это лишь случайные вставные эпизоды; все же вниманіе его сосредоточено на тѣхъ сторонахъ народной жизни, жесткія краски которыхъ одинаково поражали мысль и другого нашего сатирика—Щедрина. „Невозможно ни на минуту усомниться, — говоритъ Щедринъ въ письмахъ о провинціи 1868—1870 гг.,—что русскій мужикъ бѣденъ, дѣйствительно бѣденъ всѣми видами бѣдности, какіе только возможно себѣ представить, и—что всего хуже—бѣденъ сознаніемъ этой бѣдности“. И вотъ разные виды этой бѣдности—голодъ, холодъ, невѣжество, безправіе—Некрасовъ и обнаруживаетъ передъ русскимъ обществомъ, при чемъ, подобно Щедрину, и онъ больше всего пораженъ „бѣдностью сознанія бѣдности“. Эту горшую изъ всѣхъ бѣдностей онъ не перестаетъ подчеркивать въ теченіе всей своей поэтической дѣятельности, то рыдая надъ нею, то негодуя и возмущаясь. Уже въ 1858 г. онъ съ тревогой впервые задаетъ этотъ страшный вопросъ:

Ты проснешься ль, исполненный силъ,
Иль, судебъ повинуюсь закону,
Все, что могъ, ты уже совершилъ,—
Создалъ пѣсню, подобную стону,
И духовно навѣки почилъ?

Разъ поставленный, вопросъ этотъ настойчиво повторяется во многихъ стихотвореніяхъ Некрасова. Здѣсь передъ Некрасовымъ, какъ и передъ другими представителями стараго народничества, вышалась непроницаемая каменная стѣна, въ которой каждый изъ народниковъ старался пробить брешь по своимъ силамъ и разумѣнію. Ниже мы скажемъ особо объ общественныхъ надеждахъ и идеалахъ Некрасова, а здѣсь отмѣтимъ одну любопытную черту, характерную для него, какъ реалиста.

Некрасовъ могъ лелѣять въ душѣ своей самыя смѣлыя надежды на отдаленное будущее, могъ обливаться слезами „надъ вымысломъ“, созданнымъ собственнымъ воображеніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не могъ обойтись безъ какого-нибудь отвѣта, пригоднаго для текущаго дня. „Братство, Истина, Свобода“, воспѣтыя имъ надъ колыбелью Еремушки,—это хорошо, но это въ будущемъ, а чѣмъ же, какими чарами, держится нынѣшній день, не дающій вольныхъ впечатлѣній? Чары эти, отвѣчаетъ Некрасовъ,—забвеніе или, еще проще, хмель. Въ 1845 г., которымъ открывается „Полное собраніе“, поэтъ уже намѣчаетъ эту мысль, говоря, что „жизнь въ трезвомъ положеніи куда не хороша“. А въ послѣдствіи, уже въ 70-хъ годахъ,

онъ рассказываетъ Гл. Успенскому о предполагаемомъ окончаніи поэмы „Кому на Руси жить хорошо“. Оказывается именно, что, не найдя на Руси счастливаго, странствующіе мужики возвращаются къ своимъ деревнямъ—Горѣлову, Неѣлову и т. д. Деревни эти смежны, стоятъ близко другъ отъ друга, и отъ каждой идетъ тропинка къ кабаку. Вотъ у этого-то кабака встрѣчаютъ они спившагося съ круга человѣка, „подпоясаннаго лычкомъ“, и съ нимъ, за чарочкой, узнаютъ, кому жить хорошо.

Собственно говоря, на возможность такого неожиданнаго эпизода въ самой поэмѣ даны вполне опредѣленные намеки. Вспомните „Пьяную ночь“ и горячую апологію пьющей деревни, произнесенную Якимомъ Нагимъ. Якимъ, который „до смерти работаетъ, до полусмерти пьетъ“, не можетъ представить себѣ, какъ могла бы деревня справиться съ подавляющей ее безысходной нуждою и горемъ, если бы она не находила забвенія въ винѣ.

Сдѣлаемъ еще два-три сопоставленія. Вспомнимъ стихотвореніе „Вино“ („Не водись-ка на свѣтѣ вина, тошенъ былъ бы мнѣ свѣтъ...“), гдѣ поэтъ высказываетъ ту же мысль. Вспомнимъ „Отрывокъ“, съ пожеланіемъ „доброй ночи“ (только доброй ночи) тому, „кто все терпитъ во имя Христа“, или напominаніе о деревнѣ въ „Рыцарѣ на часъ“:

Пожелай ей покойнаго сна—
Утомилась кормилица наша...

Вспомнимъ „Плачь дѣтей“, гдѣ маленькіе труженики мечтаютъ о снѣ въ полѣ, какъ о высшемъ доступномъ для нихъ благѣ, потому что, жалуются они,

Сладко намъ и дома не забыться:
Встрѣтитъ насъ забота и нужда.

Вино и сонъ, короткія минуты забвенія „въ безпросвѣтной, глубокой ночи, безъ понятія о правѣ, о Богѣ“—вотъ всѣ тѣ радости, которыя оставляла суровая дѣйствительность тому, кому Некрасовъ „посвятилъ свою лиру“. Трудно придумать взглядъ безотрадиѣ этого. Увлекаемый однимъ настроеніемъ, поработанный одною мыслью, поэтъ какъ бы утрачивалъ способность замѣчать всю сложность и разносторонность человѣческой психики, онъ забывалъ глубокое и тонкое замѣчаніе Лира о томъ, что даже „жалкій нищій среди нищеты имѣетъ свой избытокъ“. Это былъ какой-то страшный кошмаръ, овладѣвшій душою поэта. Правда, онъ нерѣдко, особенно въ послѣднемъ періодѣ своей литературной дѣятельности, освобождался отъ этого кошмара. Во многихъ, главнымъ образомъ въ большихъ, своихъ произведеніяхъ онъ охотно останавливалъ свой взоръ и на „избыткѣ нищаго“, отмѣчая въ народной жизни поэтическія стороны труда, любовныхъ и семейныхъ отношеній, общенія съ природой и людьми и т. д. Но мрачное настроеніе преобладало въ Некрасовѣ и окрасило всю его поэзію однимъ въ высшей степени характернымъ для нея скорбнымъ тономъ. И поэтому именно поэзія Некра-

сова дѣйствуетъ на читателя, какъ сильное наркотическое вещество: въ небольшихъ дозахъ она волнуетъ, возбуждаетъ, тогда какъ воспринятая сразу въ большихъ дозахъ она утомляетъ читателя.

Нашъ слухъ, впрочемъ, въ достаточной мѣрѣ приспособился теперь къ скорбнымъ звукамъ; къ нимъ приучили насъ многіе поэты, выступившіе въ литературѣ послѣ Некрасова. Но для его современниковъ, которые находились подъ обаяніемъ недавно замолкнувшихъ дивныхъ звуковъ свѣтлой, чарующей поэзіи Пушкина, скорбныя ноты некрасовской музыки звучали особенно рѣзко. Сравненіе Некрасова съ Пушкинымъ въ этомъ именно смыслѣ, къ невыгодѣ перваго, напрашивалось самою собою. И Некрасовъ считаетъ себя вынужденнымъ поэтоу выяснитъ значеніе своей музыки изъ сопоставленія ея съ музыкой своего геніальнаго предшественника. Онъ пишетъ „Музу“. Правда, имя Пушкина въ стихотвореніи ни разу не произнесено, но сопоставленіе слишкомъ очевидно, если мы припомнимъ слѣдующія строки, которыя Пушкинъ посвятилъ своей жизнерадостной музы:

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила
И семистольную цѣвницу мнѣ вручила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой...
.....
И радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ она свирѣль брала.
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.

Некрасовъ такъ и начинаетъ свое стихотвореніе словомъ „нѣтъ“, сразу же обнаруживая сущность своей задачи:

Нѣтъ, музы ласково поющей и прекрасной
Не помню надъ собой я пѣсни сладкогласной.
.....
Но рано надо мной отяготѣли узы
Другой, неласковой и нелюбимой, музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рожденныхъ для труда, страданья и оковъ...
.....
Она пѣвала мнѣ, и полонъ былъ тоской
И вѣчной жалобой напѣвъ ея простой...

Нѣсколько позже, въ извѣстномъ діалогѣ „Поэтъ и гражданинъ“, Некрасовъ опять возвращается къ задачѣ самоопредѣленія, при чемъ на этотъ разъ уже прямо сопоставляетъ себя и Пушкина:

Нѣтъ, ты не Пушкинъ. Но покуда
Не видно солнца ни откуда,
Съ твоимъ талантомъ стыдно спать.
Еще стыднѣй въ годину горя
Красу долинь, небесъ и моря
И ласку милой воспѣвать...

И въ этомъ стихотвореніи, точно такъ же, какъ и въ „Музѣ“, Некрасовъ, отнюдь не пытаясь поставить свой „талантъ“ рядомъ съ

„геніємъ“ Пушкина, имѣть въ виду, путемъ сопоставленія, объяснить происхожденіе скорбнаго тона своей поэзіи и вмѣстѣ съ тѣмъ недостатки ея формъ. И то и другое, утверждаетъ онъ, обусловливается особеннымъ содержаніемъ его поэзіи. Съ своей точки зрѣнія поэтъ былъ безусловно правъ. Окрашивая современную ему русскую дѣйствительность своимъ безнадежно-мрачнымъ настроеніемъ, поэтъ не видѣлъ „солнца ни откуда“ и былъ увѣренъ, что солнца „не видно“ вообще. А такъ какъ эта дѣйствительность и составляла содержаніе его поэзіи, то послѣдняя вполне естественно давала скорбные отзвуки. Ошибка Некрасова, и ошибка вполне понятная, заключалась въ томъ, что свое отношеніе къ жизни онъ отождествлялъ съ самою жизнью. Но если въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ правдой субъективнаго характера, то элементы объективной правды, несомнѣнно, имѣются налицо въ той части объясненія Некрасова, гдѣ онъ устанавливаетъ зависимость часто несовершенныхъ формъ своей поэзіи отъ содержанія послѣдней.

Казалось, что послѣ Пушкина, давашаго русской поэзіи образцы совершенной красоты и граціозности формъ, стало немыслимымъ появленіе поэта съ болѣе или менѣе рѣзкими диссонансами и другими дефектами стиха. И роль Пушкина въ этомъ направленіи представлялась тѣмъ болѣе значительной и рѣшающей, что и въ самомъ дѣлѣ выступающій за нимъ цѣлый рядъ поэтовъ поражаетъ красотой и звучностью стиха, который раньше, до Пушкина, былъ совершенно недоступенъ нашимъ поэтамъ. Вмѣстѣ съ Некрасовымъ, напримѣръ, выступаютъ въ поэзіи его сверстники—Фетъ, Майковъ, Мей,—которые играютъ стихомъ съ легкостью виртуозовъ. И это вполне понятно: каждый изъ этихъ поэтовъ являлся прямымъ и непосредственнымъ продолжателемъ Пушкина въ какой-нибудь одной опредѣленной области; каждый изъ нихъ бралъ у Пушкина уже готовое содержаніе и, разрабатывая его, вмѣстѣ съ тѣмъ имѣлъ передъ собою и готовые образцы формы, которые онъ могъ варіировать, совершенствовать, но которые, во всякомъ случаѣ, становились для него обязательными. Некрасовъ же внесъ въ поэзію свое новое содержаніе—содержаніе политической и соціальной сатиры. Предшественниковъ и учителей у него не было, точно такъ же какъ не было для новаго содержанія готовыхъ и уже испытанныхъ формъ, если не считать единственнаго въ этомъ родѣ стихотворенія „На смерть Пушкина“, которое одно сближаетъ Некрасова съ Лермонтовымъ и дѣлаетъ этого послѣдняго какъ бы непосредственнымъ предшественникомъ Некрасова. Такимъ образомъ, въ то время какъ поэты пушкинской школы совершали свои полеты на Парнасъ по протоптанымъ уже путямъ, имѣя достаточно и досуга, и душевнаго спокойствія для того, чтобы разукрашать своихъ пегасовъ вырощенными ихъ великимъ предшественникомъ цвѣтами, Некрасовъ о своемъ Пегасѣ съ полной искренностью могъ сказать:

Не розы—я вплетаю крапиву
 Въ его размашистую гриву
 И гордо покидалъ Парнасъ.

Не удивительно, что при такихъ условіяхъ поэтъ не всегда могъ выбрать для выраженія своего настроенія подходящую форму, не всегда могъ найти соотвѣтствующій содержанію размѣръ. Къ тому же и настроенія, выраженіемъ которыхъ служили его стихотворенія, никоимъ образомъ нельзя причислить къ той категоріи чувствъ, которыя могутъ быть вынашиваемы въ душѣ. По собственному признанію поэта, онъ не любилъ выправлять и отдѣлывать своихъ стихотвореній,—ему казалась „скучною“ такая работа. Разъ высказавшись и давъ исходъ экзальтированному опредѣленнымъ импульсомъ чувству, онъ не считалъ возможнымъ потомъ искусственно поднимать своего настроенія для того, чтобы еще разъ возвратиться къ использованной уже темѣ; онъ не могъ этого сдѣлать, потому что его стихи—это, дѣйствительно, „внезапно хлынувшія слезы съ огорченнаго лица“.

Можно быть очень требовательнымъ къ Некрасову; можно поставить на видъ его музѣ, кромѣ только что указанныхъ, и другіе недочеты въ формѣ, какъ-то: невыдержанность, а иногда даже неряшливость стиха, неудачныя, переходящія иногда въ гиперболы, метафоры, погрѣшности противъ музыкальной мелодіи, но, тѣмъ не менѣе, нельзя не признать, что всѣ эти недостатки съ избыткомъ перевѣшиваются и покрываются достоинствами формы. Не говоря уже о томъ, что сила, которою дышитъ поэзія Некрасова, сама по себѣ есть красота, не надо забывать, что онъ въ совершенствѣ могъ владѣть формой. Если же онъ не всегда овладѣвалъ ею, то это происходило потому, что самъ онъ гораздо больше значенія придавалъ новому содержанію своей поэзіи, чѣмъ поискамъ соотвѣтствующихъ этому содержанію новыхъ формъ. „Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ“, коротко выразилъ эту мысль самъ поэтъ. Однако, и въ пылу борьбы онъ ошибался не часто, и въ эти моменты онъ умѣлъ находить нужную для своего настроенія новую оболочку, такъ что въ наши дни своеобразный „некрасовскій стихъ“ сталъ даже нарицательнымъ терминомъ, и терминомъ, во всякомъ случаѣ, лестнаго свойства. Затѣмъ, чѣмъ меньше элементовъ гражданскаго чувства входило въ его настроеніе, чѣмъ спокойнѣе становился поэтъ, тѣмъ легче онъ овладѣвалъ формой. Онъ могъ играть стихомъ, могъ подчинять себѣ форму съ удивительною виртуозностью. Напомнимъ такія, напримѣръ, вещи, какъ „Саша“—поэму, проникнутую нѣжною музыкальною мелодіей, или еще болѣе музыкальную, граціозную пѣсню изъ „Медвѣжьей охоты“ („Отпусти меня, родная, отпусти не споря“); поэму „Коробейники“, въ которой богатая, полная разнообразныхъ оттѣнковъ оболочка какъ бы господствуетъ надъ содержаніемъ, подавляетъ его; трогательную сцену свиданія въ тюрьмѣ княгини Волконской съ мужемъ и т. д., и т. д. Полные обаятельной прелести

и красоты эти и подобные имъ плоды вдохновенія Некрасова могутъ быть смѣло поставлены рядомъ съ шедеврами русской поэзіи *). Долговѣчность этихъ стихотвореній Некрасова не можетъ подлежать спору. Споръ идетъ лишь о той части его поэзіи, гдѣ „муза мести“ съ скорбнымъ гнѣвомъ обнажаетъ передъ нами и оплакиваетъ язвы нашего общественнаго организма. Говорятъ, что эта часть некрасовской поэзіи отжила свое время и спокойно можетъ быть сдана въ архивъ; было бы безплодно опровергать это мнѣніе, которое появилось давно, еще при жизни Некрасова, и поэтъ самъ возражалъ на него въ „Элегіи“ (1874 г.). Но если спорить бесполезно, то отвѣтить все же надо, и мы отвѣтимъ прекрасными словами одного изъ стихотвореній, написанныхъ на смерть поэта:

О, долговѣчны вы, пѣсни, поющія
Муки народныя, по сердцу бьющія.
Пѣснь твоей, о, страданій пѣвецъ,
Будетъ не скоро желанный конецъ:
Тамъ онъ, гдѣ горе людское кончается,
Тамъ онъ, гдѣ счастья зоря занимается... **)

VI.

Переходимъ теперь къ оцѣнкѣ общественной программы Некрасова.

Какъ ни мрачно относился поэтъ къ современной ему дѣйствительности, пессимистомъ его назвать, однако, никакъ нельзя. Напротивъ, въ основѣ его гнѣвной сатиры лежала искренняя любовь къ народу и глубокая вѣра въ его непробудившіяся еще, непочатыя силы. Нерѣдко высказываемая вслухъ, вѣра въ свѣтлое будущее народа чувствуется сама собою даже въ самыхъ желчныхъ, въ самыхъ беспощадныхъ его обличеніяхъ дѣйствительной жизни. И намъ кажется поэтому въ высшей степени удачной формула, въ которой

*) Легкость, съ какой Некрасовъ овладѣвалъ формой, особенно наглядно можетъ быть раскрыта въ тѣхъ рѣдкихъ и даже исключительныхъ случаяхъ, когда поэтъ брался за передѣлку своихъ стихотвореній. Яркимъ примѣромъ служить стихотвореніе „Буря“. Написанное въ 1850 г., оно заключало въ себѣ 49 строкъ и страдало шероховатостями. Въ 1853 г. поэтъ передѣлалъ его, совершенно измѣнивъ размѣръ и сжавъ стихотвореніе въ 20 строкахъ. Результаты получились блестящіе, о чемъ можно судить даже по первымъ строкамъ этого изящнаго стихотворенія:

Долго не сдавалась Любушка-сосѣдка,
Наконецъ шепнула: „есть въ саду бесѣдка,
Какъ темнѣе станетъ—понимаешь ты...“
Ждать я, изстрадался, ночки-темноты... и т. д.

Въ первоначальной редакціи оно начиналось такъ:

Не любилъ я ни грому, ни бури
И боялся, когда по лазури,
Разрушеніе и гибель тая,
Пробѣжить золотая змѣя... и т. д.

**) „На смерть Некрасова“. „Отеч. Записки“ 1878 г., кн. I-я.

только что цитированное стихотвореніе „На смерть Некрасова“ подводит общіе итоги его литературной дѣятельности:

Маршемъ побѣднымъ, друзья, намъ звучать
Скорбныя пѣсни поэта.

Печальна русская жизнь, „во многомъ насъ опередили иностранцы“, говорить поэтъ въ poemѣ „Несчастные“ устами Крота:

Но мы догонимъ въ добрый часъ.
.....
Покажетъ Русь, что въ ней есть люди,
Что есть грядущее у ней.
..... Въ ея груди
Бѣжитъ потокъ живой и чистый
Еще нѣмыхъ народныхъ силъ,
Такъ подъ корою Сибири льдистой
Золотоносныхъ много жилъ.

Но вотъ вопросъ: кто и что выведетъ эти силы изъ ихъ нѣмотствующаго состоянія. Группировка дѣйствовавшихъ въ то время общественныхъ силъ въ Россіи предоставляла современникамъ Некрасова возможность остановить выборъ или на бюрократіи, или на дворянствѣ, или, наконецъ, на буржуазіи. Но если бюрократія, противопоставляя себя началамъ общественной самостоятельности, совершенно не могла рассчитывать на какія бы то ни было симпатіи Некрасова, то не много надеждъ подавало ему и дворянство, въ достаточной мѣрѣ скомпрометировавшее себя въ эпоху реформъ полнымъ непониманіемъ своей политической роли, какъ организованнаго цѣлаго. Дворянство на глазахъ Некрасова растворялось въ бюрократіи и быстро теряло значеніе, которое, по мнѣнію такихъ идеологовъ сословія, какъ, напримѣръ, Катковъ, оно должно было и могло имѣть. Оставалась буржуазія. Къ ней, какъ извѣстно, тяготѣли многіе лучшіе современники Некрасова, ожидая отъ нея, по аналогіи съ Западомъ, рѣшительнаго толчка по водворенію у насъ гражданственности. Но буржуазія, какъ классъ, еще не опредѣлилась, и Бѣлинскій, признавшій въ 1848 г., что „всякій прогрессъ зависитъ отъ одной буржуазіи“, могъ только мечтать о ея появленіи въ Россіи. Въ эти годы и Некрасовъ, находившійся подъ замѣтнымъ вліяніемъ Бѣлинскаго, идеализировалъ буржуазію, какъ это ясно видно изъ написаннаго имъ въ сотрудничествѣ съ Головачевой-Панаевой романа „Три страны свѣта“. Но по мѣрѣ того какъ буржуазія, дѣйствительно, завоевывала себѣ положеніе, привлекая въ свои ряды наиболѣе вліятельныхъ представителей дворянства и бюрократіи, Некрасовъ отворачивался отъ нея. Онъ призналъ въ ней только „хищника“, обладавшаго громадными аппетитами и громадною же приспособляемостью, и отвергъ ея положительное значеніе для русской общественности.

„Интеллигенція“—вотъ все, что, при наличной комбинаціи общественныхъ силъ, осталось Некрасову для того, чтобы онъ могъ въ

реальной дѣйствительности на что-нибудь опереть свои общественные идеалы. И Некрасовъ принялъ эту опору. Онъ всѣ свои надежды и упованія перенесъ на интеллигенцію и прежде всего, разумѣется, на лучшихъ ея представителей—героевъ, въ которыхъ призналъ двигателей исторіи. Въ своей поэтической дѣятельности онъ создалъ цѣлый культъ героевъ, богатырей, которые должны, путемъ борьбы и жертвъ, создать на Руси условія для осуществленія его общественнаго идеала. Въ 70-е годы нашей общественности онъ принесъ съ собой настроеніе, которое вполне соответствовало завѣтнымъ думамъ лучшихъ представителей этого періода: Какъ и въ три предшествовавшія десятилѣтія, Некрасовъ съ полнымъ правомъ, и нимало не измѣняя себѣ, занимаетъ и теперь положеніе въ авангардѣ русской общественной мысли.

Первымъ образцомъ героизма была для него, какъ мы знаемъ, его мать, которая, быть можетъ, была вмѣстѣ съ тѣмъ и первопричиной этого имѣ созданнаго культа. Затѣмъ, онъ не разъ подчеркивалъ и воспѣвалъ героизмъ Бѣлинскаго, Грановскаго, Добролюбова, высказывая при этомъ свое глубокое убѣжденіе, что если бы природа такихъ людей не посылала міру, „заглохла бы нива жизни“. Въ двухъ, или вѣрнѣе въ трехъ, большихъ поэмахъ—„Дѣдушка“ и „Русскія женщины“—онъ воспѣлъ героизмъ декабристовъ и ихъ женъ. Въ поэмахъ „Несчастье“ и „Кому на Руси жить хорошо“ онъ съ особенною любовью останавливается на различныхъ проявленіяхъ героизма изображаемыхъ имъ личностей, при чемъ въ „Несчастныхъ“ подъ именемъ арестанта-героя Крота угадывается Бѣлинскій, а въ послѣдней поэмѣ среди другихъ героевъ опять фигурируетъ Добролюбовъ въ образѣ Гриши. И если поэтъ, какъ онъ рассказывалъ Успенскому, хотѣлъ окончить эту поэму указаніемъ на счастье „пьянаго“, то на самомъ дѣлѣ поэма, въ томъ видѣ, въ какомъ она сдѣлалась извѣстной намъ, заканчивается опредѣленнымъ указаніемъ на счастье „героя“.

Быть бы нашимъ странникамъ подъ родною крышею,
Если бъ знать могли они, что творилось съ Гришею.
Слышалъ онъ въ груди своей силы необъятныя,
Услаждали слухъ его звуки благодатныя, —
Звуки лучезарныя гимна благороднаго—
Пѣлъ онъ воплощеніе счастья народнаго...

При встрѣчѣ съ совершенно неизвѣстнымъ ему юношей, котораго поэтъ не только не знаетъ, но и лицо-то котораго онъ едва могъ разглядѣть, онъ проникается къ нему полнымъ сочувствіемъ, какъ только въ немъ явилась увѣренность, что этотъ неизвѣстный—герой. „Братъ, удаляемый съ поста опаснаго, есть ли тамъ смѣна? Прощай!“ съ душевной теплотою привѣтствуетъ онъ юношу, промчавшагося мимо него въ сопровожденіи усаха-жандарма. Та же теплота чувствуется и въ стихотвореніи „Еще тройка“, посвященномъ той же темѣ.

Можно подумать, что этотъ культъ героевъ даже теоретически разработанъ Некрасовымъ и послѣдовательно проведенъ имъ черезъ всю русскую исторію, освѣщая и разъясняя ему ее. На это предположеніе наводятъ, по крайней мѣрѣ, слѣдующія строки изъ „Медвѣжьей охоты“:

Мудреными путями Богъ ведетъ
Тебя, многострадальная Россія.
Попробуй, усомнись въ твоихъ богатыряхъ
Доисторическаго вѣка,
Когда и въ наши дни выносятъ на плечахъ
Все поколѣнье два-три человѣка.

Какъ бы тамъ ни было, но въ этомъ культѣ или въ этой теоріи героевъ-богатырей былъ одинъ недочетъ, который особенно больно ощущался самимъ поэтомъ. Если этотъ культъ и удовлетворялъ его во многихъ отношеніяхъ, во-первыхъ, тѣмъ, что онъ давалъ его вѣрѣ въ непочатыя силы народа видимую опору въ фактахъ исторической и современной русской дѣйствительности, и, во-вторыхъ, тѣмъ, что осмысливалъ въ его глазахъ его собственную общественную миссію поэта-борца, то, съ другой стороны, онъ совершенно скрывалъ отъ него возможные историческія перспективы. Въ соціологическія построенія поэта врывался элементъ случайности, устранить который было не въ его силахъ. Вся его дѣятельность была освѣщена живою вѣрою въ лучшее будущее, но когда и при какихъ условіяхъ оно наступитъ и замѣнитъ безотрадное настоящее, онъ не зналъ и страдалъ отъ своего незнанія.

Душно! Безъ счастья и воли
Ночь безконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли!
Чаша съ краями полна.

Въ этомъ коротенькомъ, въ восемь строкъ, стихотвореніи сжата громадная энергія неподдѣльной гражданской скорби. Быть можетъ, это было отчаяніе? Возможно, но въ такомъ случаѣ нельзя не признать, что даже въ отчаяніи этого мятежно настроеннаго человѣка слышится что-то возбуждающее, зовущее,—звуки того же „побѣднаго марша“, подъ мощный аккомпанементъ котораго „муза мести“ пѣла всѣ свои скорбныя пѣсни.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

1.

Гр. Алексѣй Константиновичъ Толстой.

(1817—1875)

Ө. Д. Батюшкова.

Съ рѣдкимъ самосознаніемъ критически относящагося къ себѣ поэта гр. Алексѣй Толстой писалъ за годъ до своей смерти профессору Де-Губернатисъ, сообщая о запрещеніи для сцены второй драмы его трилогіи, „Царь Ѳедоръ“: „Изо всего, что мною написано въ стихахъ и прозѣ, это лучшее, что я сдѣлалъ“... И если бы онъ написалъ одну только эту драму, ея было бы вполнѣ достаточно, чтобы обезпечить А. Толстому выдающееся значеніе въ исторіи нашей драматической литературы. Однако, въ „Царѣ Ѳедорѣ“ далеко не весь Толстой. На ряду съ „лучшимъ“ у него есть хорошее, и много хорошаго. Красивый, задушевный талантъ лирическаго поэта, мыслителя-идеалиста, не лишеннаго также юмора и умѣющаго порой облечь остроумное слово въ неприхотливый стихъ, хотя бы обличенія не всегда были направлены по надлежащему адресу,—этотъ талантъ, если примѣнить къ нему собственное выраженіе А. Толстого, лишь слегка видоизмѣнивъ,—„усердно бросалъ святое сѣмя въ борозды, оставленныя всѣми“, и не могъ бы пожаловаться, что „жатва дней его была скудна“.

„Оставленныя борозды“ были въ эпоху, къ которой относится расцвѣтъ литературной дѣятельности А. Толстого, т.-е. съ 50-хъ до половины 70-хъ годовъ минувшаго столѣтія, главнымъ образомъ для культа чистой красоты, и Толстой прежде всего видѣлъ свою заслугу въ томъ, что онъ „пѣвецъ, державшій стягъ во имя красоты“. По созданному имъ же крылатому слову, которое неизмѣнно припоминается всякій разъ, когда заходитъ рѣчь объ опредѣленіи общественнаго облика Толстого, онъ былъ „двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный“, и затѣмъ онъ же призывалъ: „Дружно гребите во имя прекраснаго противъ теченія“.

Однако, эстетизмъ Толстого далеко не опредѣляетъ его сущности. Не менѣе эстетическаго имъ владѣлъ этическій идеалъ. И за всѣмъ тѣмъ, какъ справедливо было отмѣчено еще Влад. Соловьевымъ, „гр. А. К. Толстой былъ поэтомъ мысли воинствующей—поэтомъ борцомъ“. Его фраза „двухъ становъ не боецъ“ имѣетъ, такимъ образомъ, условное значеніе: не этихъ двухъ становъ, славянофильскаго и западническаго, онъ боецъ; и въ своихъ политическихъ воззрѣніяхъ не консерваторъ и не радикалъ, онъ былъ пѣвцомъ какого-то третьяго стана, который онъ самъ себѣ отмежевалъ, отчасти создалъ, какъ создалъ себѣ представленіе о „западномъ славизмѣ“, который онъ считалъ настоящимъ и противопологалъ теоріямъ славянофиловъ и антиславизму тогдашнихъ нашихъ западниковъ.

Но прежде чѣмъ быть поборникомъ тѣхъ или иныхъ политическихъ воззрѣній, къ которымъ мы все же вернемся, прежде чѣмъ дать волю „мысли воинствующей“ въ отстаиваніи тѣхъ или иныхъ отвлеченныхъ тезисовъ, А. Толстой былъ поэтомъ, родился имъ и остался художникомъ до конца жизни. Поэтомъ онъ былъ, какъ говорится, „Божьей милостью“ и на жизнь посмотрѣлъ въ своихъ созданіяхъ какъ на „творимую легенду“. Богато одаренный, но не геніальный, не Пушкинъ, не Лермонтовъ и даже не Некрасовъ, по объему, оригинальности и силѣ таланта, А. Толстой былъ все же изъ числа первыхъ между вторыми. Разностороннѣе, чѣмъ Фетъ, жизненнѣе, чѣмъ Тютчевъ, свободнѣе и сердечнѣе, чѣмъ А. Майковъ, ярче и содержательнѣе, чѣмъ Полонскій, А. Толстой, быть можетъ, и уступаетъ въ другихъ отношеніяхъ поэтамъ современнаго ему поколѣнія, но все же выдѣляется нѣкоторыми, присущими ему одному свойствами и занимаетъ особое мѣсто въ русскомъ поэтическомъ Пантеонѣ. При жизни онъ подвергался суровой критикѣ, исходящей отъ представителей двухъ противоположныхъ лагерей, на что онъ любилъ указывать и что не мѣшало распространенію его произведеній, переведенныхъ на нѣсколько иностранныхъ языковъ. Послѣ смерти онъ вскорѣ былъ квалифицированъ „забываемый поэтъ“ („Русск. Вѣсти.“, т. CXXXVIII), но вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстность его росла, и черезъ 25 лѣтъ послѣ смерти имъ начали усерднѣе заниматься. Рядъ очерковъ, правда, весьма неравнаго достоинства, посвященъ его памяти, но до сихъ поръ мы не имѣемъ обстоятельной біографіи его; главнымъ источникомъ свѣдѣній о жизни поэта и эволюціи его творчества остаются понынѣ его автобіографія и напечатанные отрывки изъ его писемъ (въ „Вѣсти. Евр.“ въ 1895 и 97 гг.), правда, довольно многочисленные, но все же оставляющіе многіе пробѣлы въ выясненіи его личности.

При разсмотрѣніи общаго характера и сущности поэзіи А. Толстого намъ приходится считаться лишь съ нѣсколькими моментами въ его біографіи. Важенъ начальный періодъ его жизни: вслѣдствіе особыхъ семейныхъ обстоятельствъ Алексѣй Толстой былъ увезенъ

еще шести недѣль своей матерью въ Малороссію, и настоящимъ отцомъ его сталъ родной братъ его матери, А. А. Перовскій, который воспитывалъ его, руководилъ занятіями, а восьмилѣтнимъ ребенкомъ повезъ за границу. Итакъ, съ одной стороны—раннія впечатлѣнія малорусской природы, съ другой—очень сильныя и яркія впечатлѣнія изъ поѣздки въ Италію, которая для мальчика-поэта, посидѣвшаго на колѣняхъ у Гёте, стала второй родиной (въ Италіи онъ побывалъ уже 13 лѣтъ), пробудила и воспитала чувство кросоты и любовь къ искусству. Если онъ по возвращеніи на родину, какъ самъ сообщаетъ, рыдалъ по ночамъ, вспоминая Италію и ея художественныя сокровищницы, то намъ понятенъ позднѣйшій широкій европеизмъ Толстого, его убѣжденіе въ общечеловѣческомъ характерѣ искусства, которое не знаетъ ни государственныхъ, ни національных перегородокъ. Но, съ другой стороны, именно пребываніе въ чужихъ странахъ, куда онъ и позже неоднократно возвращался, совершая почти ежегодныя заграничныя поѣздки, развило и даже обострило въ немъ жилку патріотизма, который въ области поэзіи выразился въ старательномъ исканіи національных сюжетовъ. Давно замѣчено, что первое пробужденіе національнаго чувства у народностей связано съ исторіей ихъ столкновений съ другими народностями. На этой почвѣ главнымъ образомъ и создавался національный эпосъ у разныхъ народовъ. Аналогичный психологическій процессъ способствуетъ развитію національнаго чувства и въ отдѣльной личности. „Страшно сказать,—писалъ А. Толстой въ частномъ письмѣ,—не только любишь больше свою страну издали, но и видишь ее лучше и лучше ее понимаешь“. Онъ никогда не былъ націоналистомъ въ узкомъ смыслѣ слова, но изъ скрещивавшихся въ немъ впечатлѣній—съ одной стороны залегшихъ въ немъ съ дѣтства картинъ малорусской природы и позже—русской деревни, въ которой онъ много и подолгу живалъ, какъ страстный охотникъ, съ другой—поѣздокъ за границу, онъ выработалъ себѣ сознаніе, что, сохраняя духовную связь съ Европой, онъ долженъ создать что-то свое, русское, поэтически разрабатывать по преимуществу сюжеты изъ русской исторіи и искать себѣ настоящую почву въ прошломъ своей родины. Иностраннымъ сюжетамъ онъ удѣлялъ мало вниманія: заимствовавъ тему „Донъ Жуана“ изъ европейскихъ литературъ, онъ постарался придать ей совершенно оригинальную обработку, согласно личнымъ этическимъ воззрѣніямъ, нѣсколько въ духѣ славянофильскаго идеализма. Сюжеты поэмъ „Грѣшница“ и „Іоаннъ Дамаскинъ“, по своей религіозной основѣ, остаются внѣ представленій о какой-нибудь опредѣленной національности; они трактуются лишь въ ихъ общечеловѣческомъ значеніи. И только поэма „Драконъ“, развивающая съ чрезвычайной виртуозностью дантовскимъ метромъ старинное итальянское преданіе, является поздней данью (поэма написана незадолго до кончины автора) раннему увлеченію, почти влюбленности въ Италію А. К. Толстого, подпавшаго еще ребенкомъ обаянію чудесной страны, про которую французы

сложили поговорку, что она можетъ быть второй родиной для всякаго. А. К. Толстой писалъ въ одномъ частномъ письмѣ: „Римъ никому не чуждъ, всякій находитъ въ немъ свою родину, съ какого бы края свѣта онъ ни пришёлъ“. Но въ другомъ письмѣ, приглашая пріятеля на охоту на глухарей, онъ писалъ ему, что это еще „лучше Рима“...

„Іоаннъ Дамаскинъ“ выдвигаетъ другую сторону біографіи А. Толстого, являясь исповѣдью нѣкоторыхъ личныхъ переживаній. Возгласъ Дамаскина: „О, отпусти меня, калифъ, дозвожь дышать и пѣть на волѣ“, вырывался не разъ изъ груди самого поэта, жаждавшего всѣмъ сердцемъ отдаться свободной художественной дѣятельности, но силою обстоятельствъ, происхожденіемъ, родствомъ, близостью ко двору, какъ товарищъ дѣтскихъ игръ Александра II—онъ былъ приневоленъ къ жизни, сопряженной съ извѣстными служебными обязанностями, для того, чтобы занимать опредѣленное положеніе въ высшемъ обществѣ и подчиняться требованіямъ придворнаго этикета. „Я родился художникомъ,—писалъ А. К. Толстой въ частномъ письмѣ (1850 г.),—но всѣ обстоятельства и вся моя жизнь до сихъ поръ противились тому, чтобы я сдѣлался вполнѣ художникомъ. Я не вижу, отчего съ людьми не было бы того же самаго, что и съ матеріалами. Одинъ матеріалъ годенъ для постройки домовъ, другой—для бутылокъ и т. д. Но у насъ—камень или стекло, ткань или металл—всѣ пользай въ одну форму—служебную“. И когда, уже въ 1857 г., А. Толстому удалось, наконецъ, освободиться отъ тяготившаго его служебнаго положенія, онъ написалъ императору Александру II: „я счастливъ предложить Вашему Величеству быть безстрашнымъ сказателемъ правды—единственная должность, которая мнѣ подходитъ и, къ счастью, не требуетъ мундира“. Въ этой „должности“ А. К. Толстой выступалъ не разъ, какъ сохранило намъ преданіе, скрѣпленное историческими документами, ходатаемъ за гонимыхъ, правда, съ неравнымъ успѣхомъ. Еще въ 1853 году ему удалось содѣйствовать возвращенію Тургенева изъ ссылки въ деревню за его статью о Гоголѣ. Въ 1859 году онъ пытался спасти Аксакова, но старанія его не увѣнчались успѣхомъ, точно такъ же, какъ не дослушано было его ходатайство за Чернышевскаго въ 1865 г., на царской охотѣ, гдѣ ему пришлось стоять на облавѣ рядомъ съ государемъ. Однако, гр. А. К. Толстой все же попытался „сказать правду“, хотя самъ принадлежалъ къ другому литературному направленію, чѣмъ Чернышевскій. Въ 1869 году онъ „дерзнулъ“ въ бытность въ Одессѣ провозгласить тостъ „за всѣхъ подданныхъ государя императора, какая бы ни была ихъ нація“, не побоявшись дѣйствительно посыпавшихся на него упрековъ въ потворствѣ полякамъ: „патріотизмъ“ А. Толстого побуждалъ его прежде всего относиться съ величайшимъ уваженіемъ ко всякой національности, отстаивать права каждой изъ нихъ на то, что въ современной терминологіи мы бы назвали самоопредѣленіемъ націи.

Для характеристики сердечныхъ чувствованій А. К. Толстого

мы не можем не припомнить его свойств „однолюба“: ему было, правда, уже около 38 лѣтъ, когда онъ встрѣтилъ въ Одессѣ Софью Андреевну Миллеръ, рожденную Бахметьеву, которая, послѣ случайнаго знакомства въ обществѣ, ухаживала за нимъ, какъ сидѣлка, когда, зачислившись въ стрѣлковый полкъ императорской фамиліи, Толстой долженъ былъ принять участіе въ Крымской кампаніи, но заболѣлъ тифомъ. Встрѣча оказалась рѣшающей на всю жизнь. И много, много лѣтъ позже его письма къ той женщинѣ, которая послѣ развода съ полковникомъ Миллеромъ стала его женой, проникнуты все тѣмъ же чувствомъ глубокой, неизмѣнной любви и величайшей нѣжности. Ихъ счастье длилось до самой смерти поэта, находившаго и неизмѣнный источникъ вдохновенія въ той, которую онъ когда-то встрѣтилъ „среди шумнаго бала случайно, въ тревогѣ мірской суеты“...

А. К. Толстой сообщилъ намъ самъ въ своей автобіографіи, что онъ началъ писать стихи очень рано, съ шестилѣтняго возраста, и что „какъ ни нелѣпы были первые опыты, въ метрическомъ отношеніи они были безупречны“; но въ печати онъ выступилъ лишь въ 1842 году нѣсколькими рассказами въ прозѣ, а стихотворенія сталъ печатать впервые лишь тогда, когда ему было подъ сорокъ лѣтъ (съ 1855 г.). Онъ былъ, такимъ образомъ, не только вполне „зрѣлымъ“, но и вполне сложившимся человѣкомъ, въ смыслѣ выработки главныхъ основъ своего міросозерцанія, когда началъ свою литературную карьеру. Позднее выступленіе свидѣтельствуетъ также о большой душевной стойкости и такихъ свойствъ поэтического темперамента, которыя не находятся въ зависимости отъ молодыхъ порывовъ періода „кипѣнія страстей“ въ человѣкѣ. И то значеніе, которое имѣютъ въ его поэзіи элементы этической и религіозной мысли, само по себѣ указываетъ на уже пройденный путь первыхъ ощущеній бытія въ молодомъ возрастѣ, о которомъ поэтъ лишь вспоминаетъ: „О, юность! о, надежды!“, „То было въ утро нашихъ лѣтъ“...

Восполнить этотъ пробѣлъ ранняго періода его творчества,—по имѣющимся у насъ даннымъ, мы теперь не въ состояніи. Но попытаемся намѣтить основныя черты того, „третьяго стана“, котораго онъ выступилъ пѣвцомъ, самъ не давъ ему опредѣленія. Этотъ „третій станъ“ слагался изъ нѣсколькихъ элементовъ. Культъ красоты игралъ въ немъ, несомнѣнно, весьма важную роль; затѣмъ, въ немъ проступали черты широкой европейской образованности, несомнѣнно, гуманные мотивы, стоявшіе въ связи съ общимъ благороднымъ обликомъ по-рыцарски настроеннаго человѣка, который писалъ о себѣ: „я бы хотѣлъ быть способнымъ лгать, чтобы убить ложь“; былъ въ немъ и патріотизмъ, по сознательной противоположности къ типу западнаго европейца—француза, нѣмца, итальянца и т. д., ибо никѣмъ изъ нихъ въ частности поэтъ не хотѣлъ быть, объявляя себя „непріателемъ славянъ“ лишь тогда, когда они нападаютъ на евро-

пеизмъ. А. Толстой хотѣлъ быть патріотомъ, сохраняя свой европеизмъ, и дѣйствительно онъ этого достигъ, какъ сейчасъ будетъ указано. Наконецъ, въ немъ были—яркія черты романтизма, глупокій идеализмъ и религіозное чувство, которое поэтъ считалъ „органически присущимъ человѣческой природѣ“, такъ что его „никакой Бюхнеръ не сумѣетъ wegsophisteln“.

Назвать А. Толстого просто религіознымъ, вѣрующимъ человекомъ значило бы неполно и неточно опредѣлять его дѣйствительное отношеніе къ сверхчувственному міру. Религіозность его,—вѣра въ единого Бога и Его власть надъ міромъ, въ божественную истину, которая „для сердца несомнѣнна“ и лишь „для разума темна“,—эта религіозность высшаго порядка, которая съ достаточной ясностью выразилась и въ „Дамаскинѣ“ и въ „Грѣшницѣ“, въ прологѣ и вводныхъ сценахъ „Донъ Жуана“, въ нѣкоторыхъ лирическихъ стихотвореніяхъ, уживалась въ немъ рядомъ съ вѣрой въ болѣе непосредственное общеніе таинственныхъ загробныхъ силъ съ явленіями реальной жизни. Этотъ физически необыкновенно сильный и здоровый человѣкъ, способный гнуть подковы, обладалъ несомнѣнной склонностью къ мистицизму, признавалъ чудесное въ жизни, вмѣшательство какихъ-то сверхчувственныхъ существъ въ обиходъ жизни простыхъ смертныхъ. Отсюда его склонность къ фантастическимъ темамъ, переплетающимся съ явленіями повседневной жизни, его пристрастіе къ повѣріямъ и суевѣріямъ, которыя въ его изложеніи почти всегда находятъ себѣ оправданіе въ дѣйствительныхъ происшествіяхъ, его отвращеніе къ приемамъ реалистическаго искусства. „Что касается до нынѣшней натуральной школы,—писалъ онъ въ одномъ частномъ письмѣ, это просто дурной хламъ, инвентарій мебели и пустые разговоры; просто жалко!“ А къ поборникамъ этой „натуральной школы“ онъ относилъ и Писемскаго и Достоевскаго, о которыхъ высказывался далеко не лестно. Протестовалъ въ немъ не только романтикъ, но мистикъ или, во всякомъ случаѣ, мистически настроенный человѣкъ, который во многомъ придавалъ больше вѣры ирраціональному надъ раціональнымъ въ объясненіи феноменовъ жизни.

Уже первый напечатанный имъ рассказъ „Упырь“ представляетъ въ полномъ смыслѣ „творимую легенду жизни“, гдѣ элементъ фантастическаго такъ искусно сплетенъ съ обыденными, вполне реальными сценами, что все время чтенія чувствуешь себя въ какомъ-то промежуточномъ состояніи между сномъ и бодрствованіемъ. Пусть въ этомъ и слѣдующемъ, напечатанномъ по-французски, рассказѣ „Семья Вурдалака“ (русс. перев. Маркевича) сказалось отчасти литературное вліяніе его дяди Перовскаго, писавшаго также рассказы на фантастическіе сюжеты,—все же въ А. Толстомъ вѣра въ чудесное является раннимъ органическимъ свойствомъ его натуры. Онъ бредилъ еще ребенкомъ возможностью оживанія картины и рассказалъ намъ въ позднемъ возрастѣ эпизодъ изъ дѣтской жизни—про маль-

чика, влюбленного въ чей-то портретъ, который оживаетъ, сходить съ полотна и оставляетъ даже вещественное доказательство, что видѣніе не было просто сномъ (поэма „Портретъ“). Толстой самъ сообщилъ въ частномъ письмѣ, что эта поэма „что-то вродѣ *Dichtung und Wahrheit*, воспоминаніе дѣтства, наполовину правдивое“. Тотъ же мотивъ—оживаніе картины—введенъ и въ „Упырь“, гдѣ также въ концѣ-концовъ читатель остается подѣ впечатлѣніемъ, что кошмаръ больного не былъ простымъ кошмаромъ, что розказни сумасшедшаго (Рыбаренко) не были только бредомъ сумасшедшаго, что Семень Семеновъ, щелкающій языкомъ при отсутствіи зубовъ, пожалуй, дѣйствительно какой-нибудь „упырь“, пришелецъ съ того свѣта, какъ и Дашина бабушка, бригадирша Сугробина... И старинная баллада о злодѣяніи, совершенномъ въ венгерскомъ замкѣ, за которое расплачиваются отдаленные потомки, служить лишь канвой для сплетенія происшествій реальной жизни съ фантастикой легендарнаго преданія, принятаго тоже какъ нѣкая реальность. А. Толстой вѣрилъ въ спиритизмъ, какъ въ несомнѣнное явленіе общенія между здѣшнимъ и загробнымъ міромъ. Онъ былъ въ близкихъ сношеніяхъ со знаменитымъ медиумомъ Юмомъ, даже былъ шаферомъ на его свадьбѣ и въ письмахъ неоднократно сообщаетъ о разныхъ „чудесахъ“ на спиритическихъ сеансахъ. Спиритизмъ плохо вяжется со строгой религіозностью, а у А. Толстого вѣра въ чудесное принимала именно характеръ непосредственныхъ откровеній сверхчувственного воспріятія. Мы выдѣляемъ здѣсь эту черту какого-то мистическаго ясновидѣнія, принимающаго у поэта разнообразныя формы, потому что она стоитъ въ связи съ нѣкоторыми приѣмами его творчества, поясняетъ, почему онъ и въ „Князѣ Серебряномъ“ изображалъ столь точное исполненіе фантастическихъ заговоровъ и колдованія мельника, освѣщая событія дѣйствительности народными повѣртіями и суевѣртіями. Это не просто поэтическая концепція сюжета, а субъективная вѣра въ возможность чудесъ и предсказаній. И Грозный у него умираетъ въ тотъ самый Кириллинъ день, какъ предсказано ему волхвами, и слабая попытка „раціонализировать“ исполненіе пророчества представлена лишь въ томъ, что Годуновъ, возбуждая душевное волненіе въ царѣ, вопреки предписанію врачей, тѣмъ самымъ ускоряетъ его смерть. Отстаивая въ письмахъ къ частнымъ лицамъ необходимость появленія статуи Командора въ „Донѣ Жуанѣ“, онъ прибѣгаетъ къ кабалистикѣ, ссылается на какую-то „астральную силу“: „мысль кабалистическая, встрѣчающаяся почти во всѣхъ герметическихъ сочиненіяхъ и повторяющаяся въ наше время невидимо во всякомъ дѣйствіи нашей воли и видимо во всѣхъ опытахъ магнетизма или магіи“.

И способность не только чувствовать, но и переживать суевѣрные представленія обусловила такую мастерскую обработку темы, изъ народныхъ повѣрій, какъ баллада „Волки“.

Указанное психическое свойство А. Толстого побуждало его

нѣсколько свысока относиться къ дѣйствительности, какъ таковой, не дорожить реальной правдой и даже, вообще, точностью изображеній, отдавая преимущество правдѣ идеальной, вымышленной. Его поэзія, пропитанная вся идеализмомъ положительныхъ стремленій человѣка, представляется въ чертахъ „возвышающаго обмана“. Въ этомъ ея сила, по способности заражать душевными настроеніями; въ этомъ и ея слабыя стороны, по недостаточной объективной цѣнности созданныхъ имъ образовъ и оторванности отъ историческаго момента, къ которому относится его литературная дѣятельность.

А. К. Толстой жилъ особнякомъ, своей личной жизнью и не сумѣлъ вполне обособиться отъ нѣкоторыхъ сословныхъ взглядовъ и навыковъ той среды, къ которой онъ принадлежалъ по рожденію и обстоятельствамъ жизни. И его идеализмъ слегка окутанъ именно свойствами прекраснодушія, возвращеннаго при комфортабельныхъ условіяхъ жизни, среди красивой обстановки, въ кругу избранныхъ представителей общества. Его побужденія отличаются чистотой и благородствомъ, его идеалы вполне гуманны и стремленія прогрессивны, въ просвѣтительномъ духѣ, но нельзя не ощущать нѣкоторой дѣланности, искусственности во всѣхъ его построеніяхъ, отсутствія или малой степени реальныхъ наблюденій, нѣсколько брезгливое отношеніе къ такъ называемой правдѣ жизни. Онъ никогда не погружался въ „гущу жизни“, ограждалъ себя и близкихъ ему отъ впечатлѣній, могущихъ нарушить, такъ сказать, цѣломудренную чистоту идеалистическаго міропониманія. И съ исторической правдой онъ обходился такъ же, какъ съ правдой житейской, многое игнорируя. И съ передовыми людьми своего времени у него произошелъ довольно рѣшительный расколъ. Н. А. Котляревскій представилъ интересную попытку объяснить этотъ расколъ простымъ недоразумѣніемъ и связать поэзію А. Толстого съ прогрессивными идеями русскаго общества въ эпоху великихъ реформъ. Но, кромѣ указанія на очень общіе мотивы гуманности, вышучиванія отрицательныхъ сторонъ бюрократіи, представленія о просвѣщенной монархіи при сравнительной свободѣ, предоставляемой развитію личности, и совѣщательномъ органѣ народнаго представительства, эта связь не имѣетъ иныхъ обоснованій. Многое къ тому же авторомъ замолчено. Рознь заключалась главнымъ образомъ въ томъ, что А. Толстой нисколько не интересовался тѣмъ, что было главнымъ лейтъ-мотивомъ движенія прогрессивныхъ круговъ въ шестидесятыхъ годахъ, — „приматомъ общественности“, давая надъ ней перевѣсъ личной жизни. Рознь — въ отрицательномъ отношеніи ко всему наслѣдію великой французской революціи и совершенномъ равнодушіи къ какому-либо соціальнымъ идеаламъ, хотя бы и утопическаго характера. Какъ свѣтскій человѣкъ высшаго общества онъ нѣсколько иронизировалъ надъ „бюрократами“, ибо въ такъ называемомъ „свѣтѣ“ принято считать свѣтскихъ людей выше чиновниковъ, которые въ салонахъ не занимаютъ столь виднаго положенія. Какъ

близкій придворнымъ кругамъ, онъ объединялъ въ одно жаргонное слово „красное“ всѣ прогрессивныя стремленія интеллигентныхъ слоевъ общества и писалъ своему товарищу Маркевичу: „Вы знаете, насколько я ненавижу все красное...“ Въ полушутливой фразѣ онъ писалъ, что „мои дарованія слишкомъ діаметрально противоположны дарованіямъ передовыхъ людей“, и въ шутливой же формѣ, но съ большимъ постоянствомъ, изобличалъ въ стихахъ отрицательныя и смѣшныя стороны именно „передовыхъ людей“ своего времени. Онъ ненавидѣлъ деспотизмъ, но съ меньшей ненавистью относился къ „эгалитарности, глупой выдумкѣ 93 года“, пусть во имя принципа индивидуальности, но безъ оговорки объ эгалитарности въ смыслѣ уравниенія правъ, а не нивелировки личностей. И Беранже у него только „апостоль безиравственности“, Луи-Бланъ—„свинья“, потому что любилъ хорошо покушать; въ А. Мюссе онъ видѣлъ только циника, „танцующаго канканъ въ стихахъ“, поэтому отговаривалъ свою жену читать Мюссе. Онъ предостерегалъ ее и противъ знакомства съ Некрасовымъ: „я не буду доволенъ, если ты познакомишься съ Некрасовымъ. Наши пути разные...“ Онъ отрицалъ всякій талантъ въ Писемскомъ, „развѣ только талантъ commissaire-priseur“, и Достоевскаго считалъ скучнымъ и утомительнымъ...

Нѣтъ, Алексѣй Толстой не есть выразитель эпохи шестидесятихъ годовъ и его связь съ ними, вѣрнѣе лишь съ общимъ направленіемъ предпринятыхъ реформъ „царемъ - освободителемъ“, не идетъ дальше идейной близости къ самымъ общимъ, мы сказали бы элементарнымъ положеніямъ просвѣщеннаго европейца, взглянувшего съ ужасомъ на пережитки татарщины или того, что принято было за наслѣдіе татарскаго господства надъ Русью. Отсюда же и стремленіе къ крайней идеализаціи древней Руси до-московскаго періода. И въ этомъ А. Толстой былъ, несомнѣнно, вполне послѣдователенъ: „моя ненависть къ московскому періоду есть идиосинкразія, и я не подвинчиваю себя, чтобы говорить о немъ то, что я говорю. Это не тенденція — это я самъ. Русскіе — европейцы, а не монголы“. Все тотъ же припѣвъ насчетъ европеизма, обособлявшаго его и отъ кружка славянофиловъ, съ которыми, казалось, должно было у него установиться болѣе тѣсное сліяніе. Но А. Толстой писалъ между прочимъ: „отъ славянофильства Хомякова меня тошнитъ, когда онъ ставитъ насъ выше Запада, ради нашего православія“. „Выше Запада“, по А. Толстому, ни въ какихъ отношеніяхъ насъ ставить нельзя: ни въ религіозномъ, ни въ особенности по отношенію къ нашему пресловутому общинному началу, и самую общину онъ ненавидѣлъ не менѣе западной „эгалитарности“.

Стало быть, все „недоразумѣніе“ между А. Толстымъ и передовыми дѣятелями, писателями и мыслителями русскаго общества шестидесятихъ годовъ сводилось лишь къ тому, что онъ не былъ консерваторомъ-крѣпостникомъ, что онъ, несомнѣнно, сочувствовалъ реформамъ, предпринятымъ центральной властью, мечталъ о пре-

имуществахъ „древнерусскаго вѣча“, но все идейное броженіе русской интеллигенціи того времени прошло мимо него. Онъ увидѣлъ только ея смѣшныя стороны и въ особенности обидѣлся за пренебреженіе къ культу красоты. На общественныя темы онъ почти не реагировалъ и, уйдя въ свою личную жизнь, какъ разъ въ годы, непосредственно предшествовавшіе освобожденію крестьянъ, работалъ надъ историческимъ романомъ „Князь Серебряный“ и въ 1861 году закончилъ драматическую поэму „Донъ-Жуанъ“. Впослѣдствіи онъ даже счелъ нужнымъ какъ бы извиниться за эту, какъ онъ выразился, „неучтивость“, поясняя, что его „Донъ-Жуанъ“ былъ „случайнымъ и невольнымъ протестомъ противъ практическаго направленія нашей беллетристики“. Потребность оправдываться указываетъ на то, что онъ все-таки чувствовалъ себя не вполне правымъ, вѣрнѣе—чувствовалъ себя стоящимъ особнякомъ отъ главнаго русла русской литературы. Вотъ тутъ-то онъ и поплылъ „противъ теченія“.

„Князь Серебряный“ раскрылъ способности автора къ колоритнымъ описаніямъ, эффектнымъ картинамъ, внѣшней занимательности происшествій, обнаружилъ его ненависть къ деспотизму и... привнесъ аристократическому началу древнебоярскаго думца: „Милитантъ царь и кладетъ земные поклоны. Смотрятъ на него звѣзды въ окно косячатое, смотрятъ свѣтлыя, притуманившись,—притуманившись, будто думая: ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ. Ты затѣялъ дѣло не въ добрый часъ, ты затѣялъ насъ не спрашивая: не расти двумъ колосьямъ въ уровень, не сравнивать крутыхъ горъ съ пригорками, не бывать на землѣ безбоярщинѣ“. Однако, эта аристократическая тенденція въ романѣ не проступаетъ слишкомъ впередъ, заслоненная болѣе яркими картинами безчинствъ опричины, ужасами казней грознаго царя-деспота, и подкупаютъ фигуры благородныхъ разбойниковъ, изображеніе переряженныхъ каликъ-перехожихъ и т. д. и т. д. Авторъ взглянулъ на древнерусскую жизнь сквозь призму народнаго пѣсеннаго творчества, представилъ ее въ очертаніяхъ поэтическихъ прикрасъ, отгнѣняя красоту внѣшнихъ описаній лишь контрастомъ совершаемыхъ въ ту пору злодѣйствъ по ошибочнымъ расчетамъ отуманеннаго идеей самовластия правителя. Ни психологія персонажей, ни соблюденіе исторической правды въ точномъ значеніи слова не занимали автора. Въ „Донъ-Жуанѣ“, наоборотъ, онъ все вниманіе сосредоточилъ на психологическомъ главнаго дѣйствующаго лица, но оставилъ въ пренебреженіи историческій и бытовой колоритъ (исключеніемъ представляется лишь одна пѣсенка: „Гаснутъ дальней Альбухарры“...). Донъ-Жуанъ—идеалистъ, Донъ-Жуанъ—мечтатель, потерпѣвшій раннее разочарованіе въ жизни и потому за что-то мстящій всѣмъ женщинамъ, извѣрившись въ любовь и признавая одну лишь чувственность, которую онъ вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько презираетъ. И лишь временно подавленный, но не упраздненный идеализмъ въ душѣ Донъ-Жуана восторжествовалъ побѣду, когда онъ встрѣтилъ безкорыстную

самоотверженную привязанность. Онъ полюбилъ и возродился, овѣрилъ всему тому, что временно отвергалъ, и покался, и умеръ въ смиренномъ сознаніи своихъ ошибокъ. Гордый человѣкъ смирился; но мы видѣли не столько гордаго, какъ разочарованнаго человека, не вполне ясно постигая причину его разочарованности, видѣли человека, тоскующаго по идеальной привязанности, не столько завоевателя и виртуоза въ дѣлахъ любви по мотиву, который вложенъ въ уста Боабдила въ той же пьесѣ: „Нашедши кладъ, я рассудилъ бы тотчасъ, что большій кладъ еще найти возможно, — и большій бы отыскивать я началъ“, на что Донъ-Жуанъ отвѣчаетъ: „Мы схожи нравомъ“, но съ оговоркой—„въклады я не вѣрю ужъ давно“, и тотчасъ же принимается мечтать о Доннѣ-Аннѣ, — какъ ищущаго разрѣшенія этической проблемы о возможности единой любви на всю жизнь. Это, конечно, не испанскій и не международный типъ Донъ-Жуана мировой литературы, хотя вариантъ легенды о Донъ-Жуанѣ де Морена давалъ автору вѣншее оправданіе въ измѣненіи обычнаго конца и изображеніи раскаявшагося обольстителя, ставшаго монахомъ. Толстой соединилъ вмѣстѣ окончанія обоихъ вариантовъ легенды, которая въ своей основѣ, по всей вѣроятности, клерикальнаго происхожденія, поэтому и тотъ и другой финалы, т.-е. отправляется ли Донъ-Жуанъ прямо въ адъ, или спасается въ монастырь, съ точки зрѣнія церковной одинаково возможны. У А. Толстого своя задача—показать, что черезъ любовь къ женщинѣ, когда объектъ любви достоинъ избранія, человѣкъ приходитъ къ вѣрѣ въ Бога, въ истину, во всѣ положительные идеалы человечества. Романтизмъ въ союзѣ съ этикой приводитъ къ торжеству нравственнаго начала въ жизни. Это — „славянскій“ Донъ-Жуанъ и даже слегка славянофильскій, съ религіозной санкціей этическому перерожденію человека.

Ищущій Бога уже носитъ Его въ своемъ сердцѣ—это Донъ-Жуанъ Толстого. Любящій Бога—любовно относится ко всему міру, видя въ немъ отраженіе Божества. Это его Іоаннъ Дамаскинъ, поэма, раньше имъ написанная (1857), отразившая также его стремленіе, о которомъ уже сказано, освободиться отъ официальныхъ служебныхъ обязанностей и въ чудесныхъ стихахъ провозгласить:

Благословляю васъ, лѣса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу
И голубыя небеса.

И еще новое предстоитъ испытаніе пѣвцу, посвятившему себя лишь прославленію Христа,—испытаніе, внушенное суровымъ аскетическимъ требованіемъ полного обезличенія служителя Единого Бога. Но:

Надъ вольной мыслью Богу неугодны
Насиліе и гнѣтъ:
Она, въ душѣ рожденная свободно,
Въ оковахъ не умереть.

Свободную мысль и права личности А. Толстой отстаивалъ съ неизмѣннымъ постоянствомъ и даже какъ-то выразился въ одномъ письмѣ: „убить человѣка—дурно, но убить мысль, умъ—хуже“. Мысль произвольна, произвольно и поэтическое творчество. И не думываетъ отъ себя художникъ своихъ твореній: „Вѣчно носились они надъ землею, незримыя оку“. Онъ долженъ лишь напречь „душевный слухъ“ и „душевное зрѣніе“, чтобы уловить „рисунка черту, созвучье, слово“, и такъ возникаетъ произведеніе искусства, вовлеченное художникомъ „въ нашъ міръ удивленный“. Поэтъ долженъ окружить себя мракомъ и молчаніемъ: „Будь одинокъ и слѣпъ, какъ Гомеръ, и глухъ, какъ Бетховенъ“. Это принципъ, діаметрально противоположный принципу реального искусства, требующаго, наоборотъ, большой зоркости отъ художника, умѣнья видѣть и наблюдать. Можно было бы возразить А. Толстому, что „слѣпой Гомеръ“ лишь обозначеніе собирателя и въ крайнемъ случаѣ объединителя народныхъ пѣсенныхъ преданій, ихъ пересказчикъ, опиравшійся, стало быть, на наблюденія тысячи другихъ зрячихъ глазъ, что Бетховенъ не родился глухимъ... Мыслимъ ли былъ бы и великій однофамилецъ Алексѣя Константиновича — Левъ Николаевичъ Толстой, если бы онъ лишенъ былъ зрѣнія, окруженъ мракомъ и молчаніемъ? Рѣчь идетъ, очевидно, о разныхъ пониманіяхъ пріемовъ искусства, и А. Толстой, отстаивая идеалистическое творчество, какъ бы самъ намѣтилъ грани своего искусства, отрѣшеннаго отъ жизненной правды. Идеализмъ, дѣйствительно, имѣетъ обратную сторону, и А. Толстой не избѣгъ его дефектовъ.

Какъ его Донъ-Жуанъ не есть типическій испанскій грандъ, такъ въ его переложеніяхъ русскихъ былинъ Алеша Поповичъ совсѣмъ не русскій богатырь, скандинавскій Гаральдъ—романическій герой позднѣйшей эпохи, Владиміръ, князь, принявшій крещеніе, сразу, невѣроятнымъ образомъ, становится чуть что не святымъ, Борисъ Годуновъ превращенъ въ идеалиста, мечтавшаго о престолѣ „въ свѣтѣ лучезарномъ“, надѣявшагося, хотя бы цѣною преступленія, купить „свѣтлый міръ“ и горько разочарованнаго въ своихъ ожиданіяхъ и т. д. Поэтъ дѣйствительно „окружилъ себя мракомъ“ и пренебрегалъ реальной и исторической правдой, чтобы создавать вымышленные образы, напрягая лишь душевный слухъ и душевное зрѣніе.

За всѣмъ тѣмъ приходится его брать такимъ, какимъ онъ былъ, и съ его точки зрѣнія посмотреть на значеніе имъ созданнаго. Въ его переложеніяхъ былинъ, въ балладахъ и притчахъ на сюжеты изъ древнерусской жизни остается неорганичность формы и содержанія,—формы, густо изукрашенной старинными выраженіями, внѣшними аксессуарами далекаго намъ быта, въ нѣсколько вылощенной, какъ бы лакированной окраскѣ маскарадныхъ костюмовъ; содержаніе, почти сплошь навѣянное поздней и именно западно-европейской романтической литературой. Но есть въ нихъ картинность и порою ка-

кой-то захватъ настроенія далекимъ прошлымъ въ представленіи современнаго человѣка. Таковы „Боривой“, „Ругевитъ“, „Ушкуйникъ“ и др. Мотивы свадебныхъ пѣсенъ съ отголоскомъ старинныхъ обрядностей красиво вплетены въ балладу „Сватовство“, а, такъ сказать, бѣглый взглядъ на будущую исторію въ оцѣнкѣ завѣтовъ древней Руси (въ субъективномъ пониманіи автора, конечно), виртуозно изложенъ въ былинѣ о „Змѣѣ Тугаринѣ“. И все же, за исключеніемъ развѣ пѣсни объ Ильѣ Муромцѣ, искусственность переложеній очень понижаетъ ихъ художественную цѣнность. Какъ бы больше хозяиномъ положенія чувствовалъ себя А. Толстой въ историческихъ пѣсняхъ изъ эпохи Грознаго, — „Василій Шибановъ“, „Князь Михайло Репнинъ“. Надъ XVI вѣкомъ русской исторіи онъ, вообще, работалъ долго и старательно, и въ результатъ почти двадцатилѣтнихъ занятій получилась его драматическая трилогія: „Смерть Грознаго“ (1866), „Царь Ѳеодоръ“ (1868) и „Царь Борисъ“ (1870).

Ее называли нашей первой національной драмой, потому что въ ней даютъ себя чувствовать „національныя черты характера и народное міросозерцаніе“, и къ тому же выдвинутъ одинъ изъ главнѣйшихъ вопросовъ нашей исторіи — вопросъ о самодержавіи, въ трехъ разныхъ проявленіяхъ идеи самовласти: у царя-деспота, жестокаго и изступленнаго, у царя, обладающаго высокими нравственными качествами, но лишеннаго мудрости и воли, и у царя съ сильной волей и просвѣщенными взглядами, но лишеннаго „моральной санкціи“. Если мы припомнимъ кстати взглядъ А. Толстого еще на одного представителя самодержавной власти, царя Петра I: „Государь ты нашъ, батюшка, государь, Петръ Алексѣевичъ, что ты изволишь въ котлѣ варить?“, то придется подвести подъ общія скобки его отрицательное отношеніе ко всему, что вытекаетъ непосредственно изъ принципа самодержавія, будь оно съ религіозной и моральной санкціей, но задумано безъ воли и безъ спроса тѣхъ, для кого намѣчаются даже благія реформы. Расхлебывать „кашицу“ будутъ дѣтушки... Можетъ быть, это стихотвореніе о Петрѣ Алексѣевичѣ — случайная вспышка, въ минуту особаго увлеченія тѣмъ идеализированнымъ представленіемъ о древней Руси, которое себѣ составилъ авторъ, забывшій въ этотъ моментъ о своемъ европеизмѣ. Но возможно, что авторъ припомнилъ кавелиновское сближеніе Петра I и Іоанна Грознаго, и на позднѣйшаго самодержца, несмотря на всѣ его просвѣтительныя задачи, перенесъ только за присущую и ему черту деспотизма часть своего великаго гнѣва на Грознаго царя. Онъ уже съ достаточной опредѣленностью выразилъ свое отношеніе къ послѣднему въ романѣ „Князь Серебряный“. Теперь, въ трагедіи „Смерть Грознаго“ онъ подводилъ, такъ сказать, итоги его царствованія и произносилъ свой послѣдній судъ надъ царемъ.

Сюжетъ о Грозномъ былъ боевой темой въ нашей не только специально-исторической, но и публицистической литературѣ, и острый интересъ къ ней лишь не такъ давно сошелъ со сцены, захвативъ

80-е годы. Мы все-таки не рѣшились бы назвать „трилогію“ А. Толстого „національнымъ произведеніемъ“, такъ какъ во всѣхъ трехъ частяхъ ея скорѣе усматриваемъ трагедіи характеровъ, а народное міросозерцаніе почти въ нихъ не затронуто. Авторъ не ставилъ вопроса объ отвлеченномъ значеніи верховной власти самой по себѣ и даже въ одномъ частномъ письмѣ выразился такъ, что „надо быть очень глупымъ, чтобы видѣть въ моемъ „Федоръ“ памфлетъ противъ монархіи. Если бы это было такъ, я первый рукоплескалъ бы запрещенію (ставить пьесу)“. Это не противорѣчило его ненависти къ деспотизму, о которой онъ говоритъ въ томъ же письмѣ. Но не всякій монархъ—деспотъ. Грозный же былъ деспотомъ, и этого А. Толстой со своей точки зрѣнія, конечно, ему простить не могъ.

Въ обрисовкѣ Грознаго А. Толстой почти не внесъ оригинальныхъ чертъ. Но данный характеръ оказался вполнѣ въ его средствахъ выраженія, если слѣдовать толкованію К. Аксакова, что Іоаннъ Грозный былъ природой художественной, что онъ увлекался внѣшней картинностью, любилъ эффекты и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ религіозно проникнутъ уваженіемъ къ своему царскому достоинству, имѣлъ идеальное представленіе о царской власти. Это, конечно, было идеализаціей въ обратную сторону, и А. Толстой сохранилъ намъ эту черту. Онъ началъ драму съ описанія художественнаго или даже просто театральнаго эффекта, который подготовилъ царь, притворно отказываясь отъ престола. Хорошій случай позабавиться надъ боярами. Наивный Сицкій попался на удочку, хитрый Годуновъ уразумѣлъ мистификацію царя и образумилъ остальныхъ бояръ. И царь остался очень доволенъ, что ему удалось разыграть комедію и что онъ нашелъ поводъ къ новому торжественному акту—облечься въ бармы, надѣвъ на голову шапку Мономаха. Съ художественной стороны рисовалось ему и задуманное сватовство за „хастинской невѣстой“. Онъ очень дорожитъ независимостью своихъ распоряженій и не разъ напоминаетъ, что давно прошли времена Сильвестра и Адашева. Въ религіозной санкціи своей власти онъ глубоко убѣжденъ и въ сценѣ съ Гарабурдой бросаетъ послу Стефана Баторія гнѣвный окрикъ: „Да ты забылъ, собака, что предъ тобой не избранный король? Помазанника Божья смѣешь ты на поле звать?“ И эта власть не должна быть иной, какъ только наслѣдственной. На этомъ основаніи Іоаннъ отказывается и отъ польской короны: „учиниться вашимъ королемъ, не сдѣлавъ власть мою наслѣдной властью, за благо мнѣ не разсудилось“. Онъ говоритъ Годунову, что „устрояетъ“ престолъ Руси „въ долготу вѣковъ“. Но устроеніе все основано на гнетѣ произвола и самовласти. И въ послѣднюю минуту всѣ надежды царя рушатся, за неимѣніемъ достойнаго, по его взглядамъ, преемника. Сцена съ Феодоромъ кончается этимъ горькимъ признаніемъ царя, послѣ чего мы присутствуемъ, такъ сказать, лишь при „смерти грѣшника“, который убѣ-

дился въ тщетѣ своихъ стремленій. Бесѣда съ Годуновымъ, а также со схимникомъ даетъ ретроспективный взглядъ на всѣ совершенныя Іоанномъ казни, свидѣтельствуя о его настоящемъ полномъ одиночествѣ. Онъ бросается отъ вѣры къ суевѣрію, заставляетъ волхвовъ гадать о своей судьбѣ, старается преодолѣть предсказаніе, но это искусственное возбужденіе челоѣка, который уже чувствовалъ смерть въ своей груди, не предотвращаетъ катастрофы; надъ итогами его жизни трагической ироніей прозвучалъ шутовской хоръ скомороховъ, вбѣгающихъ къ царю въ то время, когда онъ уже находился въ агоніи.

Предсказанія волхвовъ, касавшихся не только судьбы царя, но и будущности Годунова, служатъ внѣшней связующей нитью всѣхъ трехъ частей трилогіи; она проведена нѣсколько искусственно и точное исполненіе прорицанія въ послѣдней части, „Царѣ Борисѣ“, нѣсколько заслоняетъ чисто психологическую разработку характера Бориса. Эта часть трилогіи не изъ лучшихъ. Характеръ Годунова, ясно очерченный въ первой части, выдержанный и во второй, въ роли полновластнаго совѣтника царя Ѳеодора и замыслившаго убіеніе Димитрія изъ личныхъ тщеславныхъ мотивовъ, въ третьей—идеализованъ, представленъ съ морализующей окраской. А. Толстой не внялъ совѣту Бѣлинскаго, требовавшаго еще по поводу Годунова Пушкина, чтобы Борисъ былъ изображенъ въ чертахъ челоѣка умнаго, талантливаго, энергичнаго, но лишеннаго геніальности, тогда какъ именно въ его положеніи требовалось быть геніальнымъ. Концепція А. Толстого почти не отличается отъ пушкинской. Разница лишь въ томъ, что толстовскій Годуновъ не подавленъ съ самаго начала укорами совѣсти, но онъ постепенно приходитъ къ сознанію, что убійство царевича Димитрія было роковой ошибкой въ въ его жизни. Это сознаніе и сводитъ его въ могилу. Оригинально и именно въ стилѣ балладъ Алексѣя Толстого очерченъ имъ образъ датскаго царевича Христіана и, въ общемъ, въ развитіи сюжета онъ не повторяетъ Пушкина. Но пьеса въ цѣломъ написана безъ геніальности, съ длиннотами, ненужнымъ первымъ актомъ, вставкой почти цѣликомъ какъ бы одной главы изъ „Князя Серебрянаго“ (сцена въ разбойничьемъ станѣ), гдѣ совершенно эпизодически и безъ связи съ цѣлымъ промелькнулъ Григорій Отрепьевъ; эта драма обладаетъ лишь качествами умѣлой инсценировки.

Вполнѣ оригинально задуманъ и мастерски очерченъ образъ царя Ѳеодора во второй части „Трилогіи“, которую, какъ мы видѣли, и самъ Толстой признавалъ лучшимъ изъ всего имъ написаннаго. Вопросъ объ исторической правдѣ изображенія тутъ не существенъ: пускай Ѳеодоръ представляется лишь поэтическимъ вымысломъ, хотя есть въ пьесѣ и „эпоха“—боярство и простой народъ,—образъ облеченъ въ плоть и кровь, а для созданія его автору въ особенности понадобились тѣ „душевные слухъ и зрѣніе“, которые одни только и могли помочь ему раскрыть совершенно исключи-

тельные душевные и сердечные качества въ лишенномъ всякаго практическаго разумѣнія правителѣ. Ошибки и промахи Феодора отнюдь не затушеваны, но въ то же время рельефно отгѣнена и сила „простоты святости“, какъ выразился князь Иванъ Петровичъ Шуйскій, задумавшій подняться на царя; онъ же потомъ обращается съ рѣчью къ народу, выражая пожеланіе, чтобы „святой царь“ и „царица его святая“ много лѣтъ здравствовали. Пожеланіе, конечно, несбыточное и въ ущербъ интересамъ государства. Вся надежда на умъ и распорядительность Годунова, при младенчески неустойчивомъ и младенчески своевольномъ монархѣ. Шуйскій знаетъ, что проигралъ ставку. Феодоръ знаетъ, что не управится ему съ дѣлами безъ Годунова. Онъ дѣйствительно не отъ міра сего, и какое-то щемящее, тоскливое чувство вызываетъ послѣдняя картина одинокаго царя съ царицей и нищими: только они одни и остались на площади передъ Архангельскимъ соборомъ, послѣ шумной народной сцены и дѣятельныхъ распоряженій Годунова. „Послѣдній въ родѣ“ не властенъ даже удалиться въ монастырь. Тепличный цвѣтокъ, выставленный на открытое мѣсто, не въ силахъ противодѣйствовать стихійнымъ явленіямъ, но его ли только вина въ его неудачахъ? Будь міръ лучше устроенъ, было бы въ немъ мѣсто и безхитростному, чистому сердцемъ, исполненному довѣріемъ и любовью къ людямъ, неумѣющему лишь „государить“ невольному правителю, такъ искренне желавшему всѣмъ добра.

А. Толстой оставилъ еще незаконченную драму „Посадникъ“, въ которой выставленъ герой-республиканецъ, приносящій высшую жертву въ интересахъ общества, а именно—принимая чужой грѣхъ на свою душу. Для сторонника вѣчевого начала, какимъ заявлялъ себя А. Толстой, изображеніе вѣчевыхъ порядковъ въ древнемъ Новгородѣ дано не въ особенно привлекательномъ видѣ. Но автора занимала въ особенности моральная задача представить такую форму героизма, при которой человѣкъ жертвовалъ бы своей честью и добрымъ именемъ изъ высокаго побужденія послужить родинѣ. Онъ писалъ объ этомъ замыслѣ еще раньше, чѣмъ нашелъ подходящий матеріалъ для его воплощенія, и такимъ образомъ сюжетъ былъ, такъ сказать, подогнанъ къ заранѣе намѣченной темѣ.

Тема сама по себѣ служить новымъ подтвержденіемъ высокаго образа мыслей и благородства характера поэта, увлеченнаго ею. Но нигдѣ свойства личности такъ полно и непосредственно не выражаются, какъ въ области интимной лирики. И въ этихъ своихъ лирическихъ произведеніяхъ А. Толстой плѣняетъ не только ласкающей слухъ музыкальностью формы, но и какой-то цѣломудренной, хрустально-чистой основой своихъ вдохновеній. Онъ пѣвецъ весны и весенней поры любви, но кто лучше его сумѣлъ передать и устойчивость длительной привязанности, которая подобно морской волнѣ, за временнымъ отливомъ, вновь возвращается съ прежнею лаской на берегъ. Онъ чувствуетъ природу и въ цѣломъ,

сливаясь съ ней „въ одинъ порывъ неудержимый“ (стр. „Земля цвѣла. Въ лугу, весной одѣтомъ...“), и въ мимолетныхъ картинахъ— „на тягѣ“, въ разные моменты дня и времени года настраиваясь соотвѣтственно полученному случайному впечатлѣнію отъ окружающихъ явленій. И нѣкоторыя картины, какъ запѣвъ степной пѣсенки „Колокольчики мои“, мы бы охотно приняли и безъ ихъ продолженія въ иносказательномъ смыслѣ. Колебанія чувства, въ ихъ прихотливыхъ извивахъ, переданы съ изящной простотой вполне искренняго признанія, и въ немногихъ, но сильныхъ строкахъ намѣчена цѣлая душевная драма борьбы слабѣющей воли „съ возрастающей бурей желанья“ („Онъ водилъ по струнамъ“). А. Толстой самъ назвалъ общій тонъ своей поэзіи „мажорнымъ“, а выражается она то въ чѣстныхъ строкахъ, мѣрно текущихъ, какъ ручей, чистый и прозрачный, то въ порывахъ сильнаго подъема чувствъ, которыя вырываются, какъ смѣлый крикъ, въ рядѣ возгласовъ („Край ты мой, родимый край! — конскій бѣгъ на волѣ!“ и т. п.). И сила его поэзіи въ томъ, что чувствуется ея произвольность, какъ указано поэтомъ и въ балладѣ про слѣпого пѣвца, который продолжаетъ пѣть и послѣ того, какъ всѣ слушатели его разошлись: „А пѣсня ему не въ хвалу и не въ судъ—зане онъ надъ нею не воленъ“.

А. Толстому ставили въ укоръ нѣкоторую небрежность технического характера—неточныя рѣзны, произвольная перемѣна удареній. Русскій языкъ не обладаетъ строгостью точно установленныхъ удареній въ словахъ, поэтому нѣкоторыя вольности съ перемѣщеніемъ ударенія допустимы. А. Толстой порой пересаливалъ и, соблюдая размѣръ стиха, мѣнялъ произвольно ударенія, напримѣръ: продолжить вмѣсто продѣлжить, призракъ вмѣсто прѣзракъ, срѣтикъ вмѣсто еретикъ и т. д. (Беремъ наудачу нѣсколько примѣровъ изъ „Донъ-Жуана“.) Что касается неточныхъ рѣзнь, онъ самъ какъ-то выразился: „я иногда пишу дурныя рѣзны, но не дурные стихи“. И онъ правъ. Стоило ему договориться и возвести въ принципъ простыя созвучья вмѣсто рѣзнь, онъ имѣлъ оправданіе своимъ новшествами, какъ нынѣ такъ называемые свободные размѣры, часто даже обращающіеся въ отсутствіе всякаго размѣра, все же стали принятой формой стихотворной рѣчи. Но если А. К. Толстому иногда измѣнялъ природный слухъ въ обхожденіи съ рѣзнями и удареніями, онъ все же строго относился къ структурѣ стиха. И „дурные стихи“, дѣйствительно, избѣгалъ писать.

„Мажорный тонъ“ поэзіи Толстого и общее возвышенное настроеніе, вдохновившее и его посланіе къ И. С. Аксакову, которому онъ писалъ: „гляжу съ любовью на землю, но выше просится душа“, оставили все же небольшой уголокъ его творчеству, совсѣмъ въ иномъ направленіи. „Я шутиль отъ природы“, писалъ онъ, и шутка вторглась въ его поэзію, породивъ рядъ юмористическихъ произведеній, въ которыхъ, однако, врядъ ли слѣдуетъ заподозривать, какъ это дѣлалось раньше, жало сатирика. Именно „природной“ склон-

ностью къ незлобивой шуткѣ, къ острому, порою же просто къ смѣшному слову, а иногда и къ легкой мистификаціи, объясняется его связь съ пресловутымъ Кузьмой Прутковымъ, подъ псевдонимомъ котораго онъ выступалъ еще въ 50-хъ годахъ со своими двоюродными братьями Жемчужниковыми. Выдѣлить степень участія А. Толстого въ этомъ коллективномъ творествѣ нынѣ представляется невозможнымъ, да это и не такъ существенно. Поэзія Кузьмы Пруtkова—наполовину свѣтская забава въ пріисканіи смѣшныхъ „ирраціональностей“. Разбивать построенія логической мысли неожиданностью противорѣчій имъ—это забава, которая при неудачѣ старающагося придумывать глупости, не имѣя на это достаточнаго ума, мѣтко пародирована въ „Плодахъ просвѣщенія“; при удачѣ—это лучшія страницы въ произведеніяхъ Кузьмы Пруtkова. Придумывались они сообща, въ веселую минуту дружеской бесѣды, и трудно въ нихъ уловить отпечатокъ чьей-либо индивидуальности. За шуточными афоризмами, смѣшными сценками и побасенками слѣдуютъ уже вполне личныя юмористическія произведенія А. Толстого, которыя распадаются на двѣ группы: одни изъ нихъ представляются въ „либеральномъ“ духѣ, какъ „Посланіе къ М. Н. Лонгинову о дарвинизмѣ“, „Сонъ Попова“, „Посланіе къ Ѳ. М. Толстому“, Пѣсенка про „Дцу-Кинь-Дциня“, „Русская исторія отъ Гостомысла до Тимашева“ и т. п.; другія направлены противъ „передовыхъ“ дѣятелей 60-хъ годовъ, осмѣивая нѣкоторыя стороны тогдашней интеллигенціи. Таковы извѣстныя строфы въ „Потокъ богатырь“, „Два лада“, „Пантелей-цѣлитель“ и т. д. Эти стихотворенія доставили А. Толстому болѣе всего враговъ въ прогрессивныхъ кругахъ общества. Ихъ главное оправданіе—поверхностность „сатиры“, если только возможно придавать такое названіе юмористическимъ произведеніямъ, которыя, въ общемъ, все же представляются вспышками темперамента оскорбленнаго эстетика и идеалиста, не всегда умѣвшаго за формой разглядѣть чуждую ему сущность. Но во вспышкахъ все же чувствуется нѣкоторый задоръ „бойца третьяго стана“, мечущаго стрѣлы, хотя и безъ всякаго яда. Обѣ эти группы произведеній болѣе всего привязываютъ поэзію А. Толстого къ опредѣленному историческому моменту, но вѣдь въ то же время онъ менѣе всего опредѣляютъ сущность его творчества и его дѣйствительное значеніе.

Отмѣчая нѣкоторую изолированность А. Толстого въ пережитой имъ эпохѣ отъ главнаго теченія русской прогрессивной мысли въ духѣ общественности, перевѣса надъ запросами индивидуальной жизни помысловъ объ общемъ благѣ, мы видимъ его настоящее значеніе въ иномъ. Онъ выдвинулъ принципъ, которому суждено было сыграть большую роль въ послѣдующей эволюціи русской мысли, ставъ даже девизомъ позднѣйшихъ поколѣній. А. Толстой имъ въ особенности близокъ не только какъ поборникъ независимой личности, но какъ поэтъ, по преимуществу черпавшій свои вдохновенія изъ данныхъ личнаго сознанія. И увѣренность въ своей

Александръ Николаевичъ Островскій.

Съ портрета В. Г. Перова.

(Третьяковская галлерея въ Москвѣ.)

Александр Николаевич Островский.

С портрета В. Л. Перова.

(Гравюра в альбоме в Москве).



Алек. Никол. Осиповскій.

безусловной искренности и въ томъ, что онъ слѣдовалъ лишь указаніямъ своей совѣсти, подсказали ему смѣлый вызовъ, брошенный недругамъ и друзьямъ: „Пусть тотъ, чья честь не безъ укора, страшится мнѣнія людей, пусть ищетъ шаткой онъ опоры въ рукоплесканіяхъ друзей. Но кто въ самомъ себѣ увѣренъ, того хулы не потреплютъ; его глаголь не лицемѣренъ, ему чужой не нуженъ судъ...“

И удѣляя мимолетное, случайное вниманіе всему преходящему въ окружающей его жизни, онъ славилъ въ особенности „истинное, вѣчное, абсолютное, что не зависитъ ни отъ вѣка, ни отъ моды, ни отъ вѣянія, ни отъ какой-нибудь fashion“... „Этому я отдаюсь всецѣло“, писалъ А. Толстой, заканчивая письмо возгласомъ: „Да здравствуетъ абсолютное, т.-е. человѣчество и поэзія“.

2.

Александръ Николаевичъ Островскій.

(1823—1886.)

К. И. Арабажина.

1.

Репертуаръ сороковыхъ годовъ въ русскомъ театрѣ былъ тотъ е, что живъ три дцатыхъ годахъ. Сцена была наводнена патріотическими пьесами Кукольника и Полевого, водевилистами-передѣльвателями; часто шли мелодрамы, иногда Шекспиръ или Шиллеръ. Оскудѣніе было полное. Въ 1846 году умеръ князь А. А. Шаховской, давшій сценѣ болѣе полсотни комедій, изъ коихъ ни одна не осталась въ репертуарѣ нашего театра, а въ это время зачиналась дѣятельность другого драматурга, которому суждено было явиться преобразователемъ театра и создателемъ чисто народной драмы.

А. Н. Островскій написалъ около 50 пьесъ, и всѣ онѣ, за немногими исключеніями, составляютъ художественное сокровище русской литературы, почти всѣ шли съ огромнымъ успѣхомъ на сценѣ, содѣйствуя пріому обновленію вкусовъ театральной публики и возрожденію русскаго театра.

Александръ Николаевичъ Островскій родился 31 марта 1823 года въ Москвѣ, а въ 1847 году появилась его первая пьеса—отрывокъ „Картины семейнаго счастья“, напечатанный въ „Московскомъ Листкѣ“ В. П. Драшусова (№ 7); съ этого года начинается непрерывающаяся до самой смерти, полная заслуженныхъ успѣховъ, драматическая дѣятельность Островскаго ¹⁾. Жизнь Островскаго и въ осо-

¹⁾ Еще въ 1885 году Островскій напечаталъ драму въ 3-хъ дѣйствіяхъ „Изъ отъ міра сего“, а въ 1886 издалъ два тома драматическихъ переводовъ, куда вошли и передѣлки, а также Интермедіи Сервантеса. 2-го іюня 1886 года его не стало.

бенности его дѣтство и молодость, о которыхъ не мало данныхъ въ воспоминаніяхъ Т. И. Филиппова и С. В. Максимова, протекли въ условіяхъ, благопріятствующихъ развитію его таланта и особому направиленію его народнаго, правильнѣе этнографическаго творчества.

Предки Островскаго—костромичи, духовнаго званія: его дѣдъ постригся въ одномъ изъ московскихъ монастырей, старшій сынъ Николай, отецъ драматурга, окончивъ московскую духовную академію, не пошелъ въ священники, а поступилъ на гражданскую службу въ канцелярію общаго собранія департаментовъ сената. Мать Островскаго—дочь просвири. Москва въ ея коренныхъ обитателяхъ была хорошо знакома Островскому съ дѣтства.

Міръ приказныхъ ему былъ и лично близокъ по службѣ, такъ какъ, не кончивъ университета по недоразумѣнію съ профессорами, Островскій поступилъ на службу въ сентябрѣ 1843 года канцелярскимъ служителемъ въ московскій совѣстный судъ. Особенно цѣннымъ приобрѣтеніемъ для его будущей писательской дѣятельности явилась служба въ московскомъ коммерческомъ судѣ, гдѣ онъ работалъ по „словесному столу“, разбирая дѣла о торговой несостоятельности и знакомясь со всѣми хитроумными уловками и крючками, къ которымъ прибѣгаютъ купцы въ отношеніи къ своимъ кредиторамъ. Передъ нимъ раскрывался купеческій міръ во всей своей неприглядной наготѣ.

Большое значеніе для ознакомленія съ народнымъ бытомъ имѣла для Островскаго поѣздка на Волгу въ командировку, которая предложена была ему, какъ и нѣкоторымъ другимъ писателямъ (Максимову, Писемскому, Афанасьеву-Чужбинскому), великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ для изслѣдованія „быта жителей, занимающихся морскимъ дѣломъ и рыболовствомъ“.

Островскому поручено было объѣхать верховья Волги до Нижняго-Новгорода, и онъ исполнилъ это порученіе съ полнымъ тщаніемъ и добросовѣстностью. У него набралась груда цѣнныхъ матеріаловъ, изъ коихъ только ничтожная часть была разработана имъ и напечатана въ „Морскомъ сборникѣ“ за 1859 годъ.

Но и изъ напечатаннаго небольшого отрывка видно, что Островскій внимательно изучалъ бытъ и нравы населенія той мѣстности, которую поручено было ему обслѣдовать только въ специальныхъ цѣляхъ.

Природа, люди, обычаи занимали молодого писателя. Онъ любовался красивыми видами Волги возлѣ Городни, которые перенесъ потомъ въ свою „Грозу“; сюда же внесъ онъ и картины семейной жизни Торжка: вольную жизнь дѣвушекъ, которымъ не воспрещалось имѣть предметъ до брака, и тѣсныя рамки семейнаго быта. Одинъ изъ эпизодовъ дороги далъ матеріалъ для комедіи „На бойкомъ мѣстѣ“.

Отъ внимательнаго взора наблюдателя не ускользали ничтожныя мелочи жизни и давали ему богатый матеріалъ для его позд-

нѣйшихъ произведеній. Полная поэзіи жизнь „кормилицы Волги“ съ ея ширью и мощью близка была сердцу Островскаго, возбуждала его творчество, отразилась и въ его исторической драмѣ „Сонъ на Волгѣ“ (Воевода), дала опредѣленный этнографическій, великорусскій колоритъ общему тону его произведеній.

„Самымъ памятнымъ днемъ“ въ жизни Островскаго было четырнадцатое февраля 1847 года, когда Островскій прочелъ въ домѣ профес. Шевырева въ присутствіи А. С. Хомякова, критика А. А. Григорьева и другихъ гостей свою комедію, „Банкротъ“. Шевыревъ былъ въ восторгѣ отъ пьесы, присутствующіе—тоже. „Съ этого дня,—разсказываетъ Островскій,—я сталъ считать себя русскимъ писателемъ и уже безъ сомнѣній и колебаній повѣрилъ въ свое призваніе“.

Общественное положеніе Островскаго долго не измѣнялось. Кругъ его знакомствъ былъ прежній. Онъ попрежнему служить, а свободное отъ службы время отдаетъ литературѣ и литературнымъ кружкамъ.

Кружокъ пріятелей собирается въ трактирѣ Гурина, въ такъ называемой печкинской кофейнѣ. Здѣсь выдѣлялся остроумный торговецъ русакъ Шанинъ; бывали и Писемскій, и Т. И. Филипповъ, и Горбуновъ. Народная пѣсня принималась въ этомъ кружкѣ съ тѣмъ романтическо-этнографическимъ восторгомъ, которымъ характеризуется эпоха возрожденія народности. А сороковые годы были не только временемъ торжества официальной народности—этимъ символомъ государственнаго мѣщанства и бюрократическаго самовластья,—эти годы характеризуются искреннимъ увлеченіемъ идеей народности. Славянофилы и украинофилы одинаково съ радостнымъ возбужденіемъ и большими надеждами кинулись „въ народъ“, изучая его бытъ, нравы, его міровоззрѣніе, и старались почерпнуть изъ этого освѣжающаго источника народной жизни новыя силы и указанія и для „оторвавшейся“ отъ почвы интеллигенціи. Появленіе такого яркаго и самобытнаго таланта, какъ Островскій, тѣ художественныя и народныя откровенія, которыя вносило его творчество, приводили въ восторгъ, умиляли и окрыляли надеждами романтиковъ народности. Въ творествѣ Островскаго видѣли не только картины быта опредѣленнаго класса людей, почти не затронутого въ литературѣ, а нѣчто большее: именно откровенія,—раскрытіе души и сердца народнаго, воплощеніе въ творествѣ типичнѣйшихъ чертъ русскаго народа.

Но и западники не менѣе горячо привѣтствовали высокоталантливаго писателя-реалиста съ его неподражаемыми картинами русскаго самодурства въ темномъ царствѣ (Добролюбовъ).

Островскій не присталъ ни къ западникамъ, ни къ славянофиламъ, хотя къ кружкамъ этихъ послѣднихъ онъ и былъ нѣсколько ближе. Съ ними связывала его дружба съ Григорьевымъ, этимъ талантливымъ критикомъ, влюбленнымъ въ Островскаго и русскую народность. Островскій былъ для Григорьева провозвѣстникомъ новаго

слова, которое через драмы Островскаго говорилъ самъ русскій народъ. Островскій сталъ не только кумиромъ, но и душой и средоточіемъ молодой редакціи „Москвитянина“, издававшагося Погодинымъ.

Тутъ, въ этомъ кружкѣ, созидалась теорія безхитростной чистой русской души, воплощенной въ Любимѣ Торцовѣ, тутъ велись горячія рѣчи о духовной красотѣ русскаго народа, тутъ завершилось первое образованіе Островскаго; тутъ бурнымъ взрывомъ восторга привѣтствовались первыя драматическія произведенія Островскаго, и Гоголь слушалъ пьесу „Банкротъ“ въ чтеніи автора и артиста Садовскаго („Свои люди сочтемся“). Среда, въ которой вращался Островскій, и знакомство съ купеческимъ и подъяческимъ бытомъ какъ нельзя болѣе подготовляли Островскаго къ его драматической дѣятельности.

II.

Уже въ 1846 году Островскимъ написано было нѣсколько сценъ изъ купеческаго быта и намѣчена комедія „Банкротъ“, впоследствии извѣстная публикѣ подъ другимъ названіемъ: „Свои люди сочтемся“. Въ написаніи этой пьесы какое-то весьма отдаленное участіе принималъ артистъ драматической сцены Горевъ, но и по тону, и по стилю, и по выведеннымъ въ ней типамъ пьеса вполне принадлежитъ творчеству Островскаго. А. Н. Островскій долго и усердно обрабатывалъ это первое свое произведеніе; передѣлывалъ отдѣльныя сцены и фразы, исправлялъ согласно требованіямъ цензуры; но несмотря на эту упорную работу, въ общемъ длившуюся около четырехъ лѣтъ, комедія вылилась необычайно цѣлостно и ограниченно и встрѣчена была восторженно въ московскихъ литературныхъ кружкахъ: Катковъ, Погодинъ, Шевыревъ, Григорьевъ, нѣсколько позже Добролюбовъ привѣтствовали талантъ начинающаго драматурга и признавали большое литературное значеніе за первой комедіей Островскаго.

Правда, теоретики старой школы, какъ, напримѣръ, профессоръ Давыдовъ, укоряли Островскаго въ недостаткѣ дѣйствія, но, очевидно, это пресловутое „дѣйствіе“, вопреки теоретикамъ сцены, не составляетъ еще существеннаго элемента драмы. Комедіи Островскаго чужды сценическихъ эффектовъ (по сравненію съ пьесами ему современными), въ нихъ преобладаетъ по временамъ лирико-эпическій тонъ, но искренность повѣсти, правда жизни дѣлаютъ то, что пьеса Островскаго и слушается и смотрится на сценѣ съ большимъ интересомъ. Раскрылась цѣлая полоса русской жизни, цѣлый міръ новыхъ отношеній „темнаго царства“. Сильной и смѣлой рукой сорвалъ Островскій завѣсу, скрывающую отъ насъ картину власти денегъ и ихъ всесторонняго и разлагающаго вліянія.

Добролюбовъ назвалъ этотъ міръ темнымъ царствомъ, — царствомъ самодуровъ и объяснялъ его существованіе преимущественно

отсутствіемъ образованія и безпросвѣтнымъ невѣжествомъ. Уже Орестъ Миллеръ справедливо отмѣтилъ, что передъ нами—не только міръ самодуровъ и не только вся бѣда—въ недостаткѣ образованія. Но и Миллеръ не отмѣтилъ, однако, главной основы „темнаго“ царства—именно власти денегъ. А между тѣмъ, думается намъ, деньги, нажива, купеческая лихва—вотъ тотъ стержень, около котораго вращается весь чиновно-купеческій міръ; богатство и бѣдность—вотъ источникъ почти всѣхъ конфликтовъ въ темномъ царствѣ; вотъ средоточіе и причина возникающихъ жизненныхъ отношеній. Смутно рисовалась Островскому проблема власти денегъ въ ея теоретическихъ принципіальныхъ основахъ, — Островскій не былъ теоретикомъ и отвлеченнымъ мыслителемъ, но власть денегъ—тѣсная связь всѣхъ жизненныхъ взаимоотношеній и денегъ—чувствовалась имъ сильно и ярко и вызывала въ немъ ряды художественныхъ образовъ и обобщеній. Выхода изъ-подъ гнета денегъ художникъ не видѣлъ; но тѣмъ сильнѣе чувствовалъ гнетъ ихъ; тѣмъ очевиднѣе казалась ему неизбѣжная зависимость всѣхъ и каждого отъ денегъ.

Въ созданномъ его творчествомъ мірѣ темныхъ людей и самодуровъ тяжело живется не потому, что мало хорошихъ людей, мало свѣта и много произвола, а потому, что тамъ, гдѣ власть денегъ ничѣмъ не ограничена, нѣтъ мѣста свѣту и хорошимъ людямъ, а самодурство неизбѣжно, хотя бы оно и принимало подъ тѣми или иными культурными воздѣйствіями новыя, болѣе мягкія формы своего проявленія. Островскій не видитъ этого, какъ мыслитель, но даетъ намъ нужный для выводовъ безупречный матеріалъ, добытый его художественнымъ талантомъ и его творческимъ ясновидѣніемъ. Для Островскаго - „философа“ все дѣло обстоитъ просто. Жизнь была бы гораздо лучше, если бы люди были добрѣе, скромнѣе, не обижали своихъ приказчиковъ и служащихъ, любили женъ и не держали ихъ въ повиновеніи страхомъ. Положительные и отрицательные идеалы Островскаго удивительно безхитростно сформированы приказчикомъ Платономъ въ комедіи „Правда хорошо, а счастье лучше“, „Всякій человѣкъ, что большой, что маленькій,—это все одно,—если онъ живетъ по правдѣ, какъ слѣдуетъ, хорошо, честно благородно, дѣлаетъ свое дѣло себѣ и другимъ на пользу, вотъ онъ и патріотъ своего отечества. А кто проживаетъ только готовое, ума и образованія не понимаетъ, дѣйствуетъ только по своему невѣжеству, съ обидой и насмѣшкой надъ человѣчествомъ и только себѣ на потѣху, тотъ мерзавецъ своей жизни“..

Драматургъ не пошелъ дальше идеализаціи доброй русской души, честной и простой, безхитростной и правдивой, любящей, смиренной и смирной—тѣхъ именно чертъ русскаго народа, которыя почвенная теорія народниковъ въ духѣ Григорьева считала коренными особенностями русскаго національнаго типа.

III.

Талантъ Островскаго не знаетъ долгаго пути развитія. Онъ выросъ какъ-то сразу. Въ 1847 году онъ помѣщаетъ въ „Московскомъ Городскомъ Листкѣ“ свои первыя произведенія: „Несостоятельный должникъ“, „Картины семейнаго счастья“ и „Записки замоскворѣцкаго жителя“. Отрывокъ „Несостоятельный должникъ“ цѣликомъ вошелъ въ комедію, которую онъ уже тогда обдумалъ и которая была окончательно обработана и появилась въ печати въ 1851 году въ „Москвитянинѣ“ Погодина подъ названіемъ „Свои люди сочтемся“, она же—„Банкротъ“; всѣ почти сразу признали въ Островскомъ „новое драматическое свѣтило“—по выраженію Шевырева.

Эта комедія вводитъ насъ въ темное царство плутней, самодурства, безсердечія и почти полнаго отсутствія человѣческихъ чувствъ. Старуха мать, Аграфена Кондратьевна,—глупая и безвольная женщина, думающая по старинѣ; не менѣе глупа дочка Липочка, хватившая чуточку образованности въ какомъ-то пансіонѣ и мечтающая о женихѣ офицерѣ, что не мѣшаетъ ей помириться на приказчикѣ Подхалюзинѣ, если онъ сбреетъ бороду; самодуръ Самсонъ Силычъ Большовъ, его приказчикъ пройдоха Подхалюзинъ, мальчикъ Тишка,—все это лица, давно сдѣлавшіяся извѣстными всей русской читающей и посѣщающей театръ публикѣ. Тишка, Подхалюзинъ, Большовъ—это три стадіи развитія почти одного и того же типа.

Въ пьесѣ „Свои люди сочтемся“ намѣчены основныя черты купеческаго быта, какъ его понималъ и изображалъ Островскій и въ послѣдующихъ произведеніяхъ. Различіе было только въ оттѣнкахъ и разнообразіи жизненныхъ положеній, но основныя черты—всюду тѣ же. Большовъ—самодуръ такъ же, какъ и Гордѣй Карпычъ Торцовъ и Титъ Титычъ Брусковъ, Дикой и многіе другіе. Капризь, самоуправство, сознаніе своей безнаказанности, своей руки владыки, полное подчиненіе своей волѣ всѣхъ окружающихъ, упоеніе властью, опирающейся на силы денегъ и традиціи—вотъ основныя черты самодурства. „Мое дѣтище: хочу съ кашей ѣмъ, хочу съ масломъ пахтаю“, говоритъ самодуръ, увѣренный въ своемъ правѣ и своей безнаказанности.

Вся та толща произвола, гнета, насилія, которая тяготѣла во внѣшнемъ мірѣ надъ совершенно безправнымъ купцомъ, ставя его въ полное подчиненіе отъ власти чиновничества и дворянства, воспитывала и подготавливала въ купеческой средѣ тѣ же привычки насилія, но только на болѣе узкой почвѣ—семьи и лавки, насилія надъ родными, близкими людьми и служащими.

Большовъ—типичный представитель стараго купечества первоначальной стадіи хищническаго накопленія богатства. Это богатство приходитъ къ купцу самыми первобытными, примитивными путями: откровенное хищничество, переходящее даже въ открытый грабежъ на большой дорогѣ („На бойкомъ мѣстѣ“), прижимъ служащихъ,

обманы покупателей, мошенничество. Принципъ торговли еще азіатскій: не обманешь, не продашь. Честность вообще не признается сколько-нибудь реальной цѣнностью. Отсюда излюбленный пріемъ, чтобы разбогатѣть,—дурное банкротство. Деньги припрятываются или передаются въ вѣрныя руки родственниковъ, а кредиторы приглашаются на чашку чаю и получаютъ по гривеннику за рубль. Въ купеческой средѣ всѣ обманываютъ другъ друга. Нравственное разложеніе купеческой среды, однако, такъ велико, растлѣвающее вліяніе безправія, обмана и самодурства такъ неотразимо, что даже на родную дочь, даже на собственнаго зятя, любимаго и облагодѣтельствованнаго приказчика положиться нельзя: Подхалюзинъ спокойно оставляетъ Большова въ „ямѣ“ и не хочетъ прибавить ни копейки сверхъ положеннаго гривенника. Черты мошенника подчеркнуты въ Подхалюзинѣ еще ярче, чѣмъ въ Большовѣ. Онъ безстыдно обманываетъ сваху, которой обѣщалъ шубу, обманываетъ и чиновника Ризположенскаго, которому не доплачиваетъ тысячи полторы за содѣйствіе въ мошенничествѣ, потому что у того нѣтъ документа.

Комедія „Свои люди сочтемся“—превосходная жанровая картина, сценичная не столько техническими пріемами сценизма, сколько живой, яркой обрисовкой характеровъ. Наибольшаго напряженія драматизма достигаетъ авторъ только въ сценѣ бесѣды съ Подхалюзинымъ Большова, приведеннаго изъ ямы. Очень эффектенъ и конецъ пьесы: бесѣда съ Ризположенскимъ. Появленія полиціи и посрамленія порока, какъ извѣстно, не имѣлось въ виду авторомъ въ первоначальномъ текстѣ пьесы, и эти сцены вставлены только по требованію цензуры. Но и въ такомъ изувѣченномъ видѣ пьеса была разрѣшена только для печати, но не для постановки на сценѣ. Въ театрѣ эта комедія была впервые поставлена только черезъ десять лѣтъ, въ 1861 году, а въ первоначальной редакціи—только черезъ тридцать лѣтъ—въ 1881 году.

Всѣ пьесы Островскаго можно раздѣлить приблизительно на нѣсколько группъ. Въ одну изъ нихъ слѣдуетъ включить пьесы изъ купеческаго быта въ строгомъ значеніи этого слова. Въ другую войдутъ комедіи изъ народнаго быта. Ихъ всего двѣ: „Не такъ живи, какъ хочется“ и „На бойкомъ мѣстѣ“. Третью группу составляютъ пьесы изъ чиновничьяго быта. Особую группу образуютъ комедіи и драмы, изображающія типы актерской среды; совсѣмъ особнякомъ стоятъ пьесы на историческіе сюжеты изъ эпохи Ивана Грознаго и смутнаго времени. Кромѣ того, въ особую группу можно отнести пьесы, изображающія темное царство въ дворянской средѣ и новые типы дѣльцовъ пореформенной эпохи,—культурныхъ „волковъ“.

Въ хронологическомъ порядкѣ вслѣдъ за комедіей „Свои люди сочтемся“ наибольшій успѣхъ имѣла „Бѣдная невѣста“, особенно умилившая Григорьева своимъ „народнымъ характеромъ“. Здѣсь чрезвычайно трогательна сцена встрѣчи съ торжествующимъ Беневоленскимъ дѣвушки, которую онъ любилъ и которой измѣнилъ. Отъ ея

прощанія съ постылымъ вѣтъ грустью покорнаго примиренія съ фактомъ и какой то особенной добротой. Дѣвушка не ропщетъ на измѣнника за обманъ. И не для скандала пришла она въ церковь. Она пришла проститься, то-есть прежде всего простить его за погубленную молодость, за жалкія радости любовныхъ встрѣчъ. И скорбя о своей погибшей жизни, Дуня способна думать о другой,—той, которая соединить свою хрупкую жизнь съ „бесовѣстнымъ чело-вѣкомъ“: „только сумѣешь ли ты съ такою женой жить?“—спрашиваетъ она его и усовѣщиваетъ: „ты смотри, не забуди чужого вѣка даромъ. Грѣхъ тебѣ будетъ. Остепенись, да живи хорошенько“.

За эту пьесу Тургеневъ назвалъ талантъ Островскаго замѣчательнымъ. Въ комедіи „Не въ свои сани не садись“ нарисованы положительныя черты купческаго быта. Старикъ Русаковъ—семьянинъ въ лучшемъ значеніи слова. Онъ крѣпко держится патріархальныхъ взглядовъ и потому убѣжденъ, что вся власть и по праву, и по правдѣ должна принадлежать главѣ дома. Женскій волосъ дологъ, да умъ коротокъ. А потому взрослая дочь не должна выходить изъ повиновенія отцу. Онъ ее искренне любитъ, онъ и устроить ея счастье. Увлеченіе молодой дѣвушки Вихоревымъ, ищущимъ только богатаго приданаго, до добра не доводитъ. Отставной кавалеристъ, къ счастью, во-время разоблаченъ, и добродушный Бородинъ прощаетъ Дуню ея увлеченіе и беретъ въ жены. Доброта Бородина, по вѣрному замѣчанію Скабичевскаго, идетъ здѣсь черезчуръ далеко для купчества и является своего рода уступкой славянофильству со стороны автора. Въ этой комедіи купческій бытъ вырисовывается въ очень привлекательныхъ чертахъ. Есть еще семьи, гдѣ живутъ по-хорошему и гдѣ царятъ совѣтъ да любовь. Только дура сестра Русакова, Арина Ѳедотовна, набравшаяся откуда-то модныхъ глупостей, тяготеетъ къ барской жизни и за это несетъ кару общаго осужденія.

Не чужда сильной идеализаціи слѣдующая комедія Островскаго „Бѣдность не порокъ“. Здѣсь передъ нами два купца: самодуръ Гордѣй Карпычъ Торцовъ—глупый и надменный чело-вѣкъ, вдругъ очарованный фабрикантомъ Коршуновымъ, хищникомъ, но съ новыми вкусами: его жизнь по модѣ плѣняетъ Гордѣя Торцова, и онъ готовъ отдать за него свою единственную дочь Любовь. Безвольная, забитая и глупая жена Гордѣя не въ силахъ противо-дѣйствовать этому неравному браку безъ любви и съ громаднымъ различіемъ въ возрастѣ, и въ послѣднюю минуту дѣло разстраиваетъ промотавшійся братъ Торцова Любимъ, пьяница и бездомный забулдыга, но съ благороднымъ сердцемъ. „Маленькій чело-вѣкъ, червякъ ползущій, ничтожество изъ ничтожествъ“, всѣмъ давно простившій, давно примирившійся со своей судьбой и присмирѣвшій, выступаетъ грознымъ обличителемъ Коршунова, умѣло вызываетъ взрывъ самодурства въ своемъ братѣ, самолюбіе котораго уязвлено замѣчаніями Коршунова, и устраиваетъ бракъ молодой дѣвушки съ бѣднымъ, но любящимъ ее приказчикомъ.

Любимъ Торцовъ пришелся какъ-то особенно по вкусу московскимъ купцамъ, и комедія имѣла особенно шумный успѣхъ, доставивъ Островскому громадную популярность. Нельзя не подчеркнуть въ этой пьесѣ нѣкоторой идеализаціи „пьянаго человѣка“, который въ концѣ-концовъ, при всемъ своемъ пропойствѣ, все-таки оказывается чуднымъ человѣкомъ, съ благороднымъ и честнымъ сердцемъ.

Объ комедіи—„Не въ свои сани не садись“ и „Бѣдность не порокъ“,—нравились публикѣ и чисто бытовыми сценами; тутъ и пѣсни, и свадебные обряды, и веселыя посидѣлки въ домѣ свирѣпаго самодура,—все это придавало пьесамъ особую привлекательность и чисто народный этнографическій колоритъ, сближая ихъ съ очень аналогичными по безхитростному содержанію и настроенію пьесами изъ малорусскаго быта,—Котляревскаго, Квитки, Кропивницкаго и другихъ украинскихъ писателей.

Въ комедіи „Не такъ живи, какъ хочется, а какъ Богъ велитъ“—тотъ же этнографическій матеріалъ освѣщается не особенно глубиной, но привычной для изображаемой среды религіозной идеей. Петръ, увлекаемый чувственностью, дурно живетъ со своей женой. Старикъ отецъ, Илья, уходитъ отъ сына потому, что не хочетъ быть свидѣтелемъ его несправедливой, непутевой жизни. Гордый и самовольный Петръ не смущается угрозами и наставленіями отца. Онъ увлеченъ темными силами стихійной страсти. Онъ весь подъ властью охватившаго его увлеченія и готовъ пожертвовать всѣмъ для своей Груши, которой выдаетъ себя за холостого. И когда та, узнавши правду, отказывается отъ него, онъ готовъ итти за плутоватымъ Еремкой,—циникомъ и колдуномъ, обѣщающимъ ему приворожить Грушу съ помощью нечистой силы. Любовь Петра какая-то мрачная и суровая. Передъ нами сильная, незаурядная личность. Петръ—протестантъ противъ семейнаго начала, силы его еще не ушли, они не укладываются въ сложившіяся и освященные традиціей рамки. Ему тѣсно въ семьѣ, и, можетъ быть, не мало символическаго нужно вложить въ его рѣчи о томъ, что дома „угарно“.

— Какой угаръ, что ты выдумалъ,—говорятъ ему дома.

— А я говорю, что угарно, такъ и будь по-моему.

Но въ душѣ Петра крѣпка еще религіозная закваска. Ему страшно стать окаяннѣвшимъ, отдаться темнымъ силамъ. Благовѣсть спасаетъ его у темной проруби, которая уже раскрылась передъ нимъ на рѣкѣ, и Петръ возвращается въ семью.

Воплощеніемъ смиренія и кротости являются родители жены Петра, Агаѣонъ и Степанида. Это поборники традицій и установленнаго порядка по установленной формулѣ: „Отцы наши такъ жили, не жаловались, не роптали. Ужели мы умнѣе ихъ?“ Какъ ни тяжело ихъ дочери жить съ самодурствующимъ мужемъ, но она—жена и во всемъ должна покоряться мужу. Они не одобряютъ ея попытки бѣжать и возвращаютъ ее домой.

По первоначальному плану пьеса кончалась катастрофой, но подъ вліяніемъ славянофиловъ конецъ былъ измѣненъ въ духѣ торжества религіозно-семейнаго и „народнаго“ начала.

Наиболѣе яркимъ и въ высшей степени привлекательнымъ является образъ молодой дѣвушки „разлучницы“. Веселая, жизнерадостная, умная, живая, она хочетъ счастья, радости, свободы. Она счастлива своей дѣвичьей самостоятельностью и независимостью. Гуляетъ, пока молода и не связана бракомъ. Она смѣла и энергична. Она добра. Обманъ Петра возмущаетъ ее, а страданія Дарьи глубоко трогаютъ ее, и она въ силахъ безъ колебаній вырвать изъ своего сердца любовь, ея недостойную. Гордо и съ сознаніемъ своего дѣвичьяго достоинства выпроваживаетъ она Петра, хотя ей и тяжело, и горько, и больно на душѣ; но она сладитъ со своимъ горемъ и не поддастся ему. Но чувствуется, что смѣлость и радостность ея не перешагнуть порога семьи, въ которую она войдетъ законной женой.

„Не такъ живи, какъ хочется“—пьеса, въ которой Островскій еще вѣритъ въ народные устои и хочетъ видѣть въ нихъ мудрость и правду. Жить еще можно; нужно только быть вѣрнымъ народной и семейной правдѣ; и все „образуется“.

Иной характеръ уже носить бытовая трагедія „Гроза“. Русская жизнь въ купеческой средѣ уже не кажется здѣсь Островскому красивымъ фономъ для всевозможныхъ идиллій. Она окутана туманомъ, выросла на почвѣ дикости и невѣжества. Жестокіе нравы царятъ въ томъ городѣ, гдѣ живетъ Катерина, и ни откуда не видно никакого выхода.

Дикость, невѣжество, самодурство, тьма, мыслебоязнь.

Робко проникаетъ сюда просвѣщеніе, взрощенное на Ломоносовѣ и Державинѣ. Въ мѣщанинѣ Кулигинѣ нашло оно своего скромнаго приверженца; въ немъ чувствуется впервые робкая общественная мысль, выдвигающая интересы цѣлаго надъ узкимъ эгоизмомъ хищника купца и забитаго обывателя. Кулигинъ хлопочетъ передъ Дикимъ о громоотводѣ и получаетъ за это „разбойника“.

— Ну, какъ ты не разбойникъ! Гроза посылается намъ въ наказаніе, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами, прости Господи, обороняться.

— Савель Прокофѣичъ, ваше степенство, — возражаетъ Кулигинъ, — Державинъ сказалъ: „я тѣломъ въ прахъ истлѣваю, умомъ громамъ повелѣваю!..“

— А за эти слова тебя къ городничему отправить, такъ онъ тебѣ задастъ!—грозится одичалый купецъ.

Въ царствѣ Кабановыхъ и Дикихъ существуетъ еще своя космографія съ тремя китами, на которыхъ держится міръ, и пупомъ земли, своя географія съ песьеголовцами и бѣлыми арапами, Литвой, упавшей съ неба, и судьями неправедными Махмуда турецкаго и Махмуда персидскаго, къ которымъ такъ и обращаются: „суди меня, судья неправедный...“ Здѣсь зловѣщія старухи страшатъ геенной огненной

за всякую радость жизни. Здѣсь почтенныя купчихи, какъ услышать слово „жупелъ“, такъ руки и ноги и затрясутся. Здѣсь особая метеорологія дѣлать дни на легкіе и тяжелые.

Въ этомъ царствѣ все еще сильны традиціи кулака, трепетнаго подчиненія старшимъ и полного приниженія и ломки человѣческой личности во имя требованій авторитета старшихъ. Жестокой и неуклонной блюстителницей традицій является сильная волей, властью и внутреннимъ убѣжденіемъ въ своей правотѣ вдова Кабаниха. Выхода никакого! Или подчиниться, убивъ въ себѣ всякую инициативу, превратясь въ жалкаго, безвольнаго раба, какъ Тихонъ, или направить свою энергію на окольные пути и подъ внѣшней маской покорности, вести за стѣнами семьи свою разгульную жизнь, пока не поймали и не уличили, какъ дѣлаетъ это Варвара, или умереть, такъ какъ бѣжать некуда, какъ дѣлаетъ это правдивая Катерина.

— По-моему, дѣлай что хочешь,—говоритъ Варвара Катеринѣ,—только бы шито да крыто было. Безъ обмана нельзя прожить. У насъ вѣдь домъ на томъ держится.

Но Катерина не можетъ примириться ни съ гнетомъ, ни съ обманомъ. Всѣмъ памятна статья Добролюбова о „лучѣ свѣта въ темномъ царствѣ“,—такъ называетъ онъ Катерину. Съ этимъ мнѣніемъ въ свое время не согласился еще Д. Писаревъ, утверждая, что только „личный развитой умъ“—дѣйствительно вѣрный признакъ свѣтлыхъ явленій, а Катерина не развита. „Катерина,—по утверженію другого критика,—только страстный темпераментъ, а не нравственная сила. Ея духовная жизнь загромождена ужасами и видѣніями, навѣянными дикой болтовней странницъ и кликушъ. Она смотритъ на міръ сквозь густой туманъ суевѣрій и предрасудковъ темнаго царства. Она—законное дѣтище этого царства, и только врожденная страстность мѣшаетъ ей окончательно подчиниться родному самодурству... Катерина не только противорѣчитъ основамъ темнаго царства,—она даже доказываетъ ихъ непреодолимую силу“ (И. И. Ивановъ).

Съ такимъ мнѣніемъ, однако, нельзя согласиться. Катерина—натура незаурядная, съ сильными задатками добра, высокопоэтическая. Можно только удивляться, какъ въ царствѣ тьмы и произвола могутъ еще развиваться такіе свѣтлые задатки лучшаго. Даровитая, впечатлительная, пылкая и энергичная дѣвушка, вся пронизанная лучами поэзіи и религіозности! Нужды нѣтъ, что эта религіозность расцвѣтала по традиціонному фону, что она могла быть потомъ извращена и даже вела къ изувѣрству и ханжеству,—увлеченіе религіей—лучшее свидѣтельство идеалистическихъ мотивовъ души, показатель высокаго душевнаго строя, высшихъ запросовъ духа, исканій добра, правды, красоты.

Конечно, у Катерины страстный темпераментъ. Но вѣдь только люди съ горячей кровью и сильнымъ темпераментомъ и чувствуютъ гнеть, тяготѣющій надъ личностью. Но одна страстность не создала

бы еще Катерины. Варвара — тоже страстная натура, съ сильнымъ темпераментомъ, но она пошла на компромиссъ и нашла выходъ въ системѣ лицемерія и обмана. Въ Катеринѣ насиліе и гнетъ встрѣчаютъ горячій протестъ и горячій отпоръ. „Катерину нельзя принизить и сдѣлать безотвѣтной и безмолвной“ (Незеленовъ). Она вѣритъ въ себя и знаетъ себѣ цѣну. „Что мнѣ только захочется, то и сдѣлаю“, говоритъ она съ какой-то безшабашной отвагой. Это натура патетическая и роковая. Такія, какъ она, или побѣждаютъ, или гибнутъ.

Не ея вина, что вокругъ пустыня и тьма. Дряблые люди, и выхода нѣтъ. Катерина убѣждаетъ Бориса бѣжать. Но Борисъ не можетъ бѣжать, нѣтъ у него смѣлости, да, пожалуй, и нѣтъ возможности бѣжать. Куда бѣжать съ чужой законной женой? Вѣдь ее вернуть домой къ законному супругу черезъ полицію. Вѣдь темное царство не только въ средѣ купечества, а и во всей Бѣлой Арапіи дореформенной поры, которая называется иначе крѣпостнической Россіей. И Катерина не примиряется съ этой Бѣлой Арапіей. Если нѣтъ выхода здѣсь, на землѣ,—можно уйти дальше.

— Коли оченъ мнѣ здѣсь опостынетъ, такъ не удержутъ меня никакой силой,—говоритъ она Варварѣ.—Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь.

И Волга поглотила мятежную душу.

Конечно, Катерина не поколебала основъ темнаго царства и не отъ единоличныхъ протестовъ вообще рушатся стѣны Иерихона, а отъ болѣе сложныхъ причинъ соціального и экономического характера. Но и смерть Катерины не пройдетъ безслѣдно для царства тьмы и произвола; самая возможность появленія такихъ свѣтлыхъ натуръ въ разлагающейся средѣ—несомнѣнный лучъ свѣта, несомнѣнный залогъ лучшаго будущаго, свидѣтельство прекрасныхъ возможностей, заложенныхъ природою въ русскій народъ.

IV.

Уходъ изъ темнаго царства—обычный мотивъ въ пьесахъ Островскаго. Герои его, отмѣченные чувствомъ правды и чести, не умѣютъ бороться, оставаясь въ рамкахъ тяжелой жизни. Творческая борьба имъ не по силамъ, да, можетъ быть, и невозможна. Одинъ Кулыгинъ прекраснодушничаетъ и, несмотря на званіе „разбойника“, продолжаетъ увѣщевать и декламировать изъ Державина. Русской натурѣ опредѣленной эпохи не была свойственна активная способность къ протесту. Въ старину, когда тѣсно и худо жило, уходили въ степи, на Волгу, въ Сибирь, къ Черному морю и тамъ на просторѣ строили новую жизнь. Быть можетъ, эти привычки наслѣдственно живутъ и въ душѣ многихъ героевъ Островскаго. Образованія имъ не хватаетъ. Отнестись критически къ самимъ устоямъ жизни они не умѣютъ. И вотъ уходъ—единственный способъ покончить съ непра-

вильной жизнью. Уходить изъ семьи сына отецъ Илья, не желая смотрѣть на несправедную жизнь. Уходить въ „Горячемъ сердцѣ“ молодая дѣвушка, не желающая мириться съ пьянымъ самодурствомъ почти выжившаго изъ ума отца. Вѣчно скитается не чуждый благо-родства Несчастливцевъ въ „Лѣсѣ“. Уходить дѣдушка Архипъ въ комедіи „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“. А если нельзя уйти, то остается послѣдній выходъ—смерть. Его избрала Катерина. Кто знаетъ, не такъ ли кончитъ и воспитанница Уланбековой, Надя. Остается еще одинъ путь протеста, излюбленный слабыми и без-характерными людьми,—спиться съ кругу по принципу, что пья-ному—море по колѣни. Такой путь чуть не избралъ Брусковъ, из-бираютъ и многіе другіе герои Островскаго. Одна Марья Андреевна въ „Бѣдной невѣстѣ“ пробуетъ найти исходъ не въ смерти, не въ примиреніи съ жизнью, а въ медленной, но упорной борьбѣ за луч-шее. Не встрѣтивъ никакой поддержки въ ничтожныхъ молодыхъ людяхъ, ее окружающихъ, она спасаетъ себя мыслью о томъ, что можетъ исправить Беневоленскаго; она посвятитъ всю свою жизнь этой, можетъ быть, и неблагоприятной цѣли; но въ ней она найдетъ смыслъ жизни и этимъ подвигомъ спасетъ свою душу. Сюда же, пожалуй, слѣдуетъ отнести и героиню комедіи „Сердце не камень“, посвятившую себя благотворительности.

Мужчины у Островскаго рѣдко обладаютъ сильнымъ характе-ромъ и готовностью протестовать. Они дряблы и безвольны. Силь-ному и честному человѣку не ужиться въ старомъ купеческомъ укладѣ. Есть что-то роковое въ подгнившемъ строѣ жизни. Крас-новъ—сильная, энергическая натура, горячо и хорошо любить свою жену; но измѣна прокралась въ женскую душу. Купечество не при-влекаетъ болѣе, культурный міръ, барство влечетъ неудержимо. Таня Краснова не можетъ удержаться отъ соблазна и поддается обаянію „культурной“ ласки. Ея мимолетный романъ съ молодымъ помѣщи-чьимъ сыномъ Бабаевымъ стоилъ ей жизни. Красновъ не въ силахъ помириться съ измѣной. Онъ чувствуетъ свою правоту. Онъ оскор-бленъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ къ женѣ. Онъ видитъ все ни-чтожество своего соперника барина, и тѣмъ большей обидой для него является непонятное увлеченіе его жены пустымъ и ничтож-нымъ человѣкомъ. Въ этомъ столкновеніи двухъ міровъ, изъ коихъ купеческій представленъ сильнымъ и яркимъ типомъ Краснова, а дворянскій—ничтожнымъ срывателемъ „цвѣтовъ удовольствія“, всѣ симпатіи автора на сторонѣ перваго. Драма „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“ написана мастерски: съ большой силой языка, съ экспрес-сіей и яркостью положеній и сценическимъ движеніемъ, которое обычно составляетъ слабую сторону техники Островскаго. Конечъ драмы—въ тонѣ обычнаго народнаго міровоззрѣнія. Въ послѣднихъ рѣчахъ дѣдушки Архипа слышится выраженіе народной совѣсти:

„Что ты сдѣлалъ? говоритъ онъ убійцѣ.—Кто тебѣ волю далъ? Нешто она передъ тобой однимъ виновата? Она прежде всего передъ

Богомъ виновата, а ты гордый, самовольный человекъ, ты самъ своимъ судомъ судить захотѣлъ“. Но несмотря на эту роль народной совѣсти, Архипъ не идеализованъ Островскимъ. Съ большимъ художественнымъ тактомъ авторъ изображаетъ его незлобивымъ, но крайне ограниченнымъ, ненаблюдательнымъ и совершенно безпольнымъ старичкомъ. Божій человекъ никакой пользы не можетъ принести въ разыгрывающейся передъ нимъ драмѣ. Среда патріархальныхъ отношеній явно разлагается и неизбежно ведетъ сильнаго человека къ трагическому концу.

V.

Изъ другихъ пьесъ Островскаго ближайшее отношеніе имѣетъ въ первой группѣ пьесъ изъ купческаго быта слѣдующія: „Праздничный сонъ до обѣда“, „Свои собаки грызутся, чужія не приставай“, „За чѣмъ пойдешь, то и найдешь“, „Тяжелые дни“, „Шутники“, „Горячее сердце“, „Въ чужомъ пиру похмелье“, „Не все коту масленица“, „Правда хорошо, а счастье лучше“, „Послѣдняя жертва“, „Сердце не камень“. Сюда мы включили и трилогію о Бальзаминоѣ, такъ какъ хотя герой этотъ трилогіи и его матушка принадлежатъ къ мелкочиновничьей средѣ, но территория его подвиговъ—міръ свахъ и богатыхъ купческихъ невѣстъ. Фигура Бальзамина со съ его мечтой о голубомъ плащѣ на бархатной подкладкѣ—это бессмертное созданіе юмора Островскаго. Маленькій чиновникъ, глупый и лѣнивый, но глубоко убѣжденный въ томъ, что у него „много вкуса“ и потому онъ имѣетъ право на богатство. Исторія его неудачъ, „непріятностей“ въ достиженіи поставленной цѣли и, наконецъ, глупой удачи, по пословицѣ—дуракамъ счастье, и составляетъ сюжетъ трехъ комедій: „Праздничный сонъ до обѣда“, „За чѣмъ пойдешь, то и найдешь“ и „Свои собаки грызутся“. Характеристика Бальзамина это одна изъ лучшихъ страницъ творчества Островскаго. Въ пьесахъ, посвященныхъ Бальзаминоѣ, такъ много неподдѣльнаго юмора, такъ много чисто комедійной жизни и веселья, такъ много настоящей сценичности, такъ много лукавой насмѣшливости и наблюдательности ума, что на сценѣ эти пьесы не скоро еще утратятъ свой интересъ. Очень хороши здѣсь и фигуры купчихъ: Капочки, купческой дочери, пламенно желающей выйти замужъ за Бальзамина, потому что „для ея чувствъ нѣтъ границъ“, а всѣ купцы носятъ бороды, и вдовы Антрыгиной и купчихи Ничкиной, невѣроятной дуры даже для купческой вдовы, и наконецъ суженой Бальзамина—Бѣлотѣловой.

Въ двухъ комедіяхъ: „Въ чужомъ пиру похмелье“ и „Тяжелые дни“, фигурируетъ купецъ самодуръ Титъ Титычъ Брусковъ, человекъ хотя и плутоватый, но темный—по характеристикѣ квартирной хозяйки Ивановыхъ. „Онъ только въ своемъ домѣ свирѣпъ, а то съ нимъ что хочешь дѣлай: дуракъ дуракомъ; на пустомъ спугнуть

можно“. Титъ Титычъ творить безобразіе: потому что увѣренъ въ возможности откупиться деньгами.

— Настасья! смѣть меня кто обидѣть,—спрашиваетъ Брусковъ жену.

— Никто, батюшка, Китъ Китычъ, не смѣетъ васъ обидѣть. Вы сами всякаго обидите.

— Я обижу, я и помилую, а то деньгами заплачу. Я за это много денегъ заплатилъ на своемъ вѣку.

Титъ Титычъ убѣжденъ, что за деньги можно сослать въ Сибирь учителя Иванова, а заразъ и его дочь, и хозяйку. Своему сыну онъ мѣшаетъ учиться на скрипкѣ, ходить въ театръ. Но наталкиваясь на стойкій отпоръ и безкорыстіе скромнаго учителя, онъ невольно проникается уваженіемъ къ непонятному для него поведенію. Въ пьесѣ „Тяжелые дни“ Брусковъ куролеситъ и дуритъ еще больше прежняго. Онъ побилъ промышляющаго своей фizioноміей барина и совсѣмъ запутался въ лапахъ приказныхъ. Въ благодарность честному Досужеву, выручившему его изъ бѣды, онъ разрѣшаетъ сыну жениться на дочери Иванова, и все оканчивается къ общему благополучію. Въ пьесѣ превосходны сцены, посвященныя изображенію отношеній безпомощнаго и глупаго самодура къ приказнымъ. Слабъ и блѣденъ образъ добродѣтельнаго педагога Иванова. Интересна фигура сравнительно честнаго чиновника Досужева, котораго мы встрѣчаемъ и въ „Доходномъ мѣстѣ“. Это одинъ изъ немногихъ типовъ Островскаго, взятыхъ изъ чиновничьей среды и изображенныхъ болѣе или менѣе положительными чертами. Въ пьесѣ „Не все коту масленица“ выведенъ наказанный самодуръ Аховъ. Фигура нѣсколько карикатурная. Ахову приглянулась молодая дѣвушка Агнія. Онъ убѣжденъ, что у „нищей братіи“ ничего нѣтъ завѣтнаго—все продажное“, и хочетъ сдѣлать дѣвушку своей содержанкой. Наталкивается на твердое и достойное поведеніе матери. Готовъ жениться; но и тутъ отказъ. Хочетъ потѣшить свое самолюбіе тѣмъ, что невѣста и выбранный ею женихъ согласятся за деньги вынести ему дворъ, но и тутъ терпитъ пораженіе. Съ досады онъ раздражается тирадой противъ новыхъ порядковъ, при которыхъ міръ долго не простоитъ.

Чѣмъ позже писаны Островскимъ его пьесы изъ купеческой среды, тѣмъ все жестче и язвительнѣе его сатира. Въ „Горячемъ сердцѣ“, въ „Сердце не камень“ купеческое безобразіе почти переходитъ границы художественной мѣры, а купцы являются какими-то невмѣняемыми дикобразами. Оба купца въ „Горячемъ сердцѣ“,—совершенно спившіеся люди, дошедшіе до полнаго отупѣнія и разнузданности. Таковъ Коркуновъ („Сердце не камень“), который хочетъ, чтобы молодая жена его осталась ему вѣрна и послѣ его смерти. Кстати отмѣтимъ—въ лицѣ жены Коркунова Островскимъ выведенъ симпатичный образъ женщины доброй, всецѣло посвятившей себя помощи бѣднымъ, твердой и честной, открыто и правдиво признаю-

щей, что сердце—не камень, что послѣ смерти старика мужа она не прочь выйти замужъ и не можетъ этого скрывать, даже если бы ей грозило лишеніе наслѣдства. Образъ симпатичной женщины нарисованъ съ какой-то особенной мягкостью красокъ и любовью.

При всей карикатурности типовъ, выведенныхъ въ этихъ послѣднихъ комедіяхъ Островскаго, чувствуется, что правда жизни писателемъ не нарушена. Исчезло только прежнее отношеніе къ сюжету,—почти эпическое, величаво-спокойное. Чувствуется что-то отъ Щедрина и вовсе не видно никакого оскуднѣнія таланта, напротивъ, въ нѣкоторыхъ новыхъ приѣмахъ письма чувствуется чисто шекспировская смѣлость выдумки и шутки. Вопреки преобладающему мнѣнію критики мы не можемъ не признать „Горячее сердце“ одной изъ лучшихъ пьесъ Островскаго.

Могучимъ талантомъ вѣетъ отъ этой полной юмора и злости, тонкой и умной картины русской жизни. Сколько наблюдательности и остроумія, какой могучей волной разлиты въ пьесѣ молодость и увлеченіе, какъ яркъ смѣхъ и какъ смѣла сатира. Вотъ ужъ поистинѣ русская пьеса, близкая каждому русскому сердцу. Подъ многими сценами могъ бы подписаться самъ Гоголь безъ умаленія для своего имени. Такова, на примѣръ, сцена суда „по душѣ“, творимаго городничимъ, идиллически возсѣдающимъ на скамеечкѣ передъ домомъ у рѣки и творящимъ дореформенную расправу. Вотъ онъ же съ достоинствомъ идетъ съ рынка. Вотъ перевязанныя веревкой кипы законовъ, по которымъ никто не хочетъ судиться. Все равно вѣдь, Градобоевъ по какому закону захочетъ, по такому и судить. И уstraшенные обыватели сами просятъ судить не по закону, а „по душѣ“. Какъ много въ этой пьесѣ, сорокъ лѣтъ назадъ написанной, близкаго и родственнаго даже нашимъ днямъ. Въ пьесѣ Островскаго переливается всѣми цвѣтами и красками наша русская жизнь. Безобразная, пьяная и въ то же время полная лирическихъ порывовъ; тупая и жестокая и одновременно созидающая благородныя „горячія сердца“; полная неправды черной и въ то же время мечтающая о праведномъ житіи; дикая и невѣжественная въ своихъ отношеніяхъ къ женщинѣ (Курслѣповъ убѣждаетъ пріятеля сѣсть къ женѣ задомъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ создающая такихъ мечтателей съ нѣжной душой, какъ приказчикъ Гаврила, печалющийся о томъ, что у насъ послѣдній мужиченко считаетъ себя выше женщины. Старая пьеса, рисующая дореформенный бытъ, а сколько въ ней современнаго! Курслѣповы и Хлыновы попрежнему безобразничаютъ, увѣренные въ силѣ капитала. Попрежнему рвется къ свѣту молодая женская душа. Попрежнему творится кругомъ дикое безобразіе, и, какъ сорокъ лѣтъ назадъ, хочется вмѣстѣ съ авторомъ спросить: „Что вы за нація такая? Отчего вы всякій срамъ любите? Другіе такъ боятся сраму, а для васъ это первое удовольствіе“. Все тотъ же прежній темный русскій народъ, наивный и забитый, о которомъ приказчикъ Наркисъ съ одобреніемъ говоритъ: „хаарошій народъ—

его грабить можно". Все та же картина сонной мысли и общей задушенности. А развѣ устарѣли рассказы Градобоева о нашей тактикѣ на войнѣ: „Какъ они повалятъ изъ крѣпости, наши сейчасъ отступать, отступать... все ихъ заманиваютъ дальше, чтобъ у нихъ куражъ-то вышелъ!..“

Измѣнились формы, но многое по существу схвачено Островскимъ чрезвычайно мѣтко и проникновенно. Въ техническомъ отношеніи чувствуется нѣкоторая недоконченность женскаго образа: героиня пьесы Параша—вся порывъ, вся увлеченіе,—только набросокъ, вѣрный и интересный въ основѣ, но мало разработанный. Типична фигура ярыги - городничаго, Градобоева. Допущенный Островскимъ элементъ буффонады не вредитъ художественности впечатлѣнія (такова, напр., сцена переодѣванія разбойниками) и остается въ законныхъ границахъ искусства. Вообще позднія пьесы Островскаго отличаются болѣе сложной интригой и часто неожиданными подробностями и неожиданной развязкой.

Въ комедіи „Правда хорошо, а счастье лучше“ какъ *deus ex machina* является унтеръ Грозновъ, напоминающій нравной старухѣ ея клятву. Въ комедіи „Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ“ скряга Крутицкій кончаетъ самоубійствомъ изъ-за части утерянныхъ денегъ и оставляетъ молодой наслѣдницѣ всѣ остальные. Творческая изобрѣтательность Островскаго въ изображеніи купческаго быта видимо исчерпывалась.

Но міромъ купцовъ не было исчерпано все творчество художника. Островскій далъ намъ нѣсколько мѣткихъ и сильныхъ картинъ и дворянскаго темнаго царства. Старуха Уланбекова въ „Воспитанницѣ“—фигура не менѣе яркая, чѣмъ Кабаниха въ „Грозѣ“.

Развратная и лицемерная старуха создала самодурство на почвѣ безконтрольнаго хозяйничанія своими крѣпостными и своими воспитанницами. Ужасъ помѣщичьяго темнаго царства изображенъ съ потрясающимъ реализмомъ. Та же картина дополняется въ „Волкахъ и овцахъ“ фигурой хищницы Мурзавецкой и удивительнымъ портретомъ племянника ея, жалкаго и умственно убогаго, но увѣреннаго въ себѣ прапорщика въ отставкѣ Аполлона Мурзавецкаго. Сюда же нужно прибавить и Турусину изъ комедіи: „На всякаго мудреца“, окруженную приживалками, юродивыми, гадалками и предсказательницами, старую ханжу, пріискивающую дочери мужа по указаніямъ Манефы. Типичны и помѣщица Гурмыжская въ „Лѣсѣ“ и мамаша Лидіи Чебоксаровой въ „Бѣшеныхъ деньгахъ“.

Типы чиновниковъ Ризположенскаго, Беневоленскаго, Добро-творскаго, Хлудова, Бальзамина, Вишнеvsкаго, Юсова, Бѣлогубова даютъ намъ полное представленіе о нашемъ дореформенномъ мірѣ приказныхъ. Въ этомъ направленіи Островскій не ограничился дореформеннымъ подъячимъ; онъ пошелъ и дальше, нарисовавъ намъ чиновническія отношенія, возникшія въ эпоху начинавшихся преобразованій.

Въ этомъ смыслѣ комедія „Доходное мѣсто“ (1857) въ свое время пользовалась большимъ, хотя и не вполне заслуженнымъ успѣхомъ. Въ комедіи много неестественнаго и непродуманнаго. Благородный чиновникъ Жадовъ все же по протекціи получаетъ свое мѣсто, а смѣлое поведеніе его въ значительной мѣрѣ обусловлено родственнымъ положеніемъ въ домѣ начальника. Благородныя рѣчи Жадова крайне наивны. Его пониманіе гражданскихъ и служебныхъ обязанностей не идетъ дальше „честной“ службы, безъ всякой оцѣнки того дѣла, которому приходится служить; а просьба о доходномъ мѣстѣ въ концѣ пьесы совершенно убиваетъ всякое къ нему уваженіе и сочувствіе.

Зато великолѣпную фигуру представляетъ собою Юсовъ, это воплощеніе убѣжденнаго взяточника, доходящаго въ своей хищнической искренности до трогательной наивности. Типичны мамаша Крутикова и ея двѣ дочки—Полинька и Юлинька. Прекрасное дополненіе къ Молчалину—захлебывающійся отъ восторга и трепета передъ начальствомъ добродушный, но „убѣжденный“ взяточникъ Бѣлогубовъ.

Несмотря на внѣшне симпатичное отношеніе Островскаго къ Жадову, какъ-то чувствуется, что писатель считалъ „оппозицію“ Жадова несерьезной и благородство людей образованнаго міра казалось ему всегда мало импонирующимъ.

Съ гораздо большимъ сочувствіемъ привѣтствуетъ Островскій новыхъ дѣловыхъ людей, идущихъ на смѣну отживающему типу дореформеннаго купечества. Правда, въ „Волкахъ и овцахъ“ онъ заклеилъ новыхъ дѣятелей именемъ хищниковъ—волками, передъ которыми старая волчиха Мурзавецкая и ея помощникъ Чугуновъ кажутся курами и голубями, клюющими по зернышку, но въ другихъ комедіяхъ Островскій рѣшительно становится идеологомъ новаго класса дѣльцовъ и промышленниковъ. Въ этомъ отношеніи комедія „Бѣшенныя деньги“ представляетъ большой интересъ какъ этапъ въ творчествѣ Островскаго и какъ выраженіе живого сочувствія новому „дѣловому теченію“. Его выразителемъ является Васильковъ; представителями промотавшагося барства—Телятевъ, Кучумовъ, Чебоксаровы мать и дочь Лидія. Всѣ симпатіи Островскаго на сторонѣ Василькова. Это дѣлецъ, который умѣетъ даже любовь приспособить къ дѣлу. Онъ увлеченъ изящной Лидіей; но имѣетъ опредѣленные на нее планы; ему нужна блестящая хозяйка въ салонѣ, гдѣ должны бывать и министры, и хотя онъ и не пожалѣетъ денегъ на представительство, но предупреждаетъ сломленную обстоятельствами жену, что „изъ бюджета не выйдетъ“.

Очень интересно задумана Лидія Чебоксарова,—типъ, нѣсколько опередившій свою эпоху. Лидія смѣла и цинична; въ ней есть что-то новое, что мѣшаетъ видѣть въ ней только свѣтскую куклу. Она способна приспособиться къ новымъ требованіямъ жизни и, понявъ, что деньги перешли къ Васильковымъ, готова подчиниться новымъ

требованіямъ, работать и заслужить расположеніе, чтобы опять пользоваться роскошью и красивыми туалетами. Лидія—сложный, но не вполне обрисованный типъ. Она умна, хотя и пуста; она цинична, но въ своемъ цинизмѣ правдива. Она холодна, но можетъ и полюбить. Она влюблена только въ себя; но поэтому постарается нравиться и Василькову; она легко ориентуруется въ новыхъ условіяхъ и готова признать новаго „идола жизни“, которому имя Бюджетъ.

Въ „Послѣдней жертвѣ“ тоже побѣда достается дѣловому капиталисту Флору Федуловичу, который получаетъ руку, сердце и капиталы молодой вдовы Юліи, убѣдившейся въ ничтожествѣ искателя богатыхъ невѣстъ Дульгина.

Взаимоотношенію дѣльцовъ къ недѣльцамъ и выясненію ихъ нравственныхъ и житейскихъ контактовъ посвящены почти всѣ пьесы семидесятыхъ годовъ. Въ „Богатыхъ невѣстахъ“ фигурируетъ породистый волкъ генераль Гнѣвышевъ, покупающій женщинъ и умѣло сплавляющій ихъ впослѣдствіи своимъ подчиненнымъ въ жены. Въ „Трудовомъ хлѣбѣ“ страданія молодой дѣвушкѣ причиняетъ ловкій и изящный хищникъ Копровъ. Въ „Безприданницѣ“ самый блестящій и самый представительный изъ волковъ—судохозяинъ и баринъ Паратовъ, привыкшій къ самому шикарному и удалому прожиганію жизни. Чтобы спасти блескъ и богатство своей широкой натуры, Паратовъ принужденъ продать себя богатой купчихѣ. Почти мимоходомъ губить онъ своей минутной прихотью безприданницу.

Такъ на почвѣ безличія и безправія расцвѣтаютъ и благоденствуютъ породистые волки.

Нѣсколько особнякомъ стоитъ комедія-фарсъ „На всякаго мудреца довольно простоты“, рисующая намъ карьеру Глумова и то бюрократическое общество, въ которое онъ втирается. Въ пьесѣ много неправдоподобнаго по формѣ, но жизненнаго по существу. Глумовъ очень типичная фигура умнаго карьериста, дѣльца и вмѣстѣ съ тѣмъ Молчалина новаго фасона: презирающаго тѣхъ, у кого онъ хочетъ выслужиться, дѣльца-сатирика, плута, но умницу. Бросается въ глаза сходство положенія и поведенія Глумова и героя пьесы Ибсена Стенгора изъ „Союза молодежи“. Пьесы обоихъ драматурговъ написаны одновременно. Какъ ни карикатурны лица, выведенныя въ пьесѣ, но въ нихъ мы узнаемъ добрыхъ знакомыхъ изъ щедринской галлерей. Это почти все противники „реформъ“, авторы удивительныхъ проектовъ и записокъ о нендобности реформъ по существу вообще. Таковъ проектъ генерала Крутицкаго, который вмѣстѣ съ тѣмъ полагаетъ, что для поддержанія благородныхъ чувствъ нужно въ театрѣ ставить для дворянства трагедію, а для народа давать горячій сбитень. Фигуры, не потерявшія свѣжести и въ наши дни. Не потеряла значенія и злая картина ханжествующей среды: всѣ эти Манеѣы, „странные“ люди, „блаженные чловѣки“ напоминаютъ отчасти современныхъ іоаннитовъ. Вообще отношеніе Островскаго

къ „странной“ брати во всѣхъ пьесахъ болѣе чѣмъ скептическое, полное лукавой наблюдательности и злой насмѣшки. Блѣдными и мало правдивыми являются у Островскаго люди печати. Совсѣмъ неправдоподобно, напримѣръ, что какой-то журналистъ могъ напечатать въ газетѣ портретъ Глумова и приложить къ нему біографію, разоблачающую его интимную жизнь, его хитрости и подвохи въ достиженіи карьеры. Такой оригинальной „свободы“ печати у насъ никогда не было.

VI.

По своему положенію драматурга Островскому пришлось хорошо изучить театральнѣй міръ. Въ немъ онъ принималъ участіе и не только какъ писатель. Благодаря усиліямъ Островскаго въ 1866 году возникъ московскій артистическій кружокъ. Ему же принадлежитъ крупная заслуга учрежденія общества русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ, несмѣняемымъ предсѣдателемъ коего онъ и состоялъ до самой смерти. Его интересовало и театральное школьное дѣло; онъ организовалъ при обществѣ чтенія о сценическомъ искусствѣ, устроилъ образцовую сцену. Московское филармоническое общество и музыкально-драматическое училище возникли подѣ влияніемъ учреждений, созданныхъ Островскимъ. Ему же принадлежитъ записка о театральнѣхъ школахъ, изъ которой видно, какое громадное значеніе придавалъ Островскій общему образованію въ дѣлѣ подготовки хорошихъ актеровъ. Съ 1885 года Островскій завѣдывалъ репертуарной и художественной частью Императорскихъ московскихъ театровъ и театральнымъ училищемъ. Но многого сдѣлать въ этомъ „омутѣ“ онъ, конечно, не могъ ¹⁾.

Въ пьесахъ, посвященныхъ театру, впервые указаны положительныя свойства представителей актерской среды. Въ высшей степени популярна фигура мелодраматическаго трагика Несчастливцева и пройдохи и пьяницы комика Аркашки Счастливцева, выступающаго еще въ „Безприданницѣ“ подѣ именемъ Робинзона. Закулисныя интриги, дразги, типы актеровъ и актрисъ: комикъ Шмага, водевильная актриса, первый любовникъ, режиссеръ, суфлеръ, влюбленный въ искусство и талантливую артистку, театральные завсегдатаи и богатые ухаживатели,—все это живыя лица и подлинныя факты еще весьма недавняго театральнаго прошлаго.

Будучи мало знакомъ съ крестьянскимъ бытомъ, какъ горожанинъ, Островскій далъ всего двѣ пьесы до извѣстной степени изъ этой среды: „На бойкомъ мѣстѣ“ и „Не такъ живи, какъ хочется“. Но благодаря своей наблюдательности онъ умѣлъ и мимоходомъ разбрасывать въ своихъ произведеніяхъ яркія и колоритныя фигуры

¹⁾ Н. А. Кропачевъ. А. Н. Островскій на службѣ при Императорскихъ театрахъ. М. 1901. Ср. П. И. Вейнбергъ, біограф. оч. Спб. Полн. сбор. сочин. подѣ редакц. М. И. Писарева. Т. X.

представителей разныхъ общественныхъ классовъ и профессій. Чрезвычайно удачны фигуры слугъ въ „Невольницахъ“, вѣрнаго раба, камердинера Потапыча въ „Воспитанницѣ“, унтера въ „Правда хорошо“, приживалокъ (напр., Улита въ „Лѣсъ“), странницъ, приказчиковъ, подъячихъ и проч.

Послѣднія двѣ пьесы Островскаго: „Красавецъ мужчина“ (1883) и „Не отъ міра сего“, говорятъ объ упадкѣ творчества писателя и въ литературномъ и сценическомъ отношеніяхъ не представляютъ интереса.

VII.

Особую группу составляютъ историческія пьесы Островскаго: „Козьма Мининъ Сухорукъ“, „Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“, „Тушино“, „Комикъ XVII вѣка“, „Василиса Мелентьева“, „Воевода“. Изъ этихъ пьесъ наибольшимъ успѣхомъ пользуется драма изъ эпохи Ивана Грознаго „Василиса Мелентьевна“. „Дмитрій Самозванецъ“, дважды имъ написанный, не былъ встрѣченъ благосклонно критикой, утверждавшей, что Островскій пользовался преимущественно Костомаровымъ, но Костомаровъ самъ опровергнулъ это мнѣніе. „Комикъ XVII столѣтія“ довольно удачно рисуетъ нравы Москвы въ вѣкъ Алексѣя Михайловича; при чемъ московскіе нравы рисуются Островскому въ чертахъ, очень близкихъ купеческому быту его другихъ пьесъ.

Два раза по цензурнымъ причинамъ приходилось Островскому передѣлать и пьесу „Воевода“. Это талантливая картина русскаго безправія въ XVI—XVII вѣкахъ, вся одушевленная любовью къ русской старинѣ, Волгѣ матушкѣ, кормилицѣ народной, избавительницѣ отъ тѣсноты и произвола, царившихъ въ городахъ. Передъ нами старинные волжскіе добрые молодцы разбойнички, хищникъ воевода, смѣлыя и отважныя женщины. На всемъ произведеніи лежитъ печать чисто лирическаго увлеченія старинной ширью и удалью русской жизни. Но фантастическій элементъ какъ-то слабо и неумѣло связанъ со всѣмъ теченіемъ пьесы.

Одновременно съ „Комикомъ XVII столѣтія“ Островскій написалъ одно изъ поэтичнѣйшихъ произведеній русской поэзіи—сказку „Синѣгурочку“, по матеріаламъ русскихъ народныхъ сказокъ. Звучный, поэтический стихъ, трогательныя сцены любви, не чуждыя тонкаго юмора картины жизни берендеевъ, высокій лиризмъ тона составляютъ неотразимую прелесть этой поэтической сказки, точно созданной для музыкальнаго воспроизведенія (Чайковскій, Римскій-Корсаковъ).

Драматическая дѣятельность доставила Островскому много терній. Многочисленныя придирки цензуры, матеріальныя лишенія, пренебрежительное отношеніе къ драматургу дирекціи Императорскихъ театровъ,—все это волновало, разстраивало Островскаго и преждевременно свело въ могилу.

Какъ драматургъ, Островскій вмѣстѣ съ Гоголемъ могутъ считаться создателями русскаго театра. Драмы Островскаго только на Императорскихъ сценахъ принесли за время отъ 1853 по 1872 годъ два милліона дохода казнѣ. Не утеряти онѣ бытового и художественнаго значенія и въ наше время. Какъ художникъ, поражающій рѣдкимъ чувствомъ правды и художественной честности, Островскій стоитъ гораздо выше, чѣмъ какъ мыслитель и публицистъ. Онъ умѣлъ наблюдать, но судить и осуждать — это не было его задачей. Онъ драматургъ-этнографъ прежде всего. Его идеалы не много выше той среды, которую онъ изображалъ. Но онъ и не собирался быть обличителемъ, полагая, по его собственному выраженію, что „обличители найдутся и безъ насъ“.

Полное собраніе произведеній А. Н. Островскаго съ небольшою библіографіей и біографіей, составленной П. И. Вейнбергомъ, сдѣлано подъ редакціей М. И. Писарева, въ 12 томахъ. Спб. Книгоиздательство товарищества „Просвѣщеніе“.

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.

1.

Федоръ Ивановичъ Тютчевъ.

(1803—1873)

А. Г. Горнфельда.

Трудно принять историческую точку зрѣнія на Тютчева, трудно отнести его творчество къ одной опредѣленной и законченной эпохѣ въ развитіи русской литературы. Для него не настала исторія. Въ общемъ историко-литературномъ обзорѣ, гдѣ надо же приурочить писателя къ установленному моменту, принято отводить поэзіи Тютчева мѣсто въ эпохѣ реформъ Александра II, въ самомъ началѣ которой Тютчевъ былъ признанъ и оцѣненъ не только кружкомъ любителей, но и болѣе широкими кругами русскихъ читателей. Но это внѣшнее приуроченіе пока еще не подкрѣплено детальнымъ изученіемъ той поэтической преемственности, которая нашла выраженіе въ творествѣ Тютчева, а возрастающій для насъ смыслъ его поэзіи внушаетъ намъ какъ бы особую, внѣ-историческую точку зрѣнія на него. Неумирающій и жизненно-дѣятельный спутникъ и выразитель современной души, онъ какъ-то ускользаетъ отъ историческаго воззрѣнія и хочетъ быть понятъ не столько въ взаимодействіи съ судьбами родной литературы, сколько въ цѣльности его сложнаго творчества и интересной личности. Ихъ должно изучать вмѣстѣ, и для этого мы располагаемъ уже теперь достаточными данными.

Не велико его литературное наслѣдіе: нѣсколько публицистическихъ статей и около сорока переводныхъ и двухсотъ пятидесяти оригинальныхъ стихотвореній, среди которыхъ далеко не всѣ удачны. Среди остальныхъ зато есть рядъ перловъ философской лирики, безсмертныхъ и недосягаемыхъ по глубинѣ мысли, по силѣ и сжатости выраженія, по размаху вдохновенія. Дарованіе Тютчева, столь охотно обращавшееся къ стихійнымъ основамъ бытія, само имѣло нѣчто стихійное; въ высшей степени характерно, что поэтъ, по его собственному признанію, выражавшій свою мысль тверже по-фран-

цузски, чѣмъ по-русски, всѣ свои письма и статьи писавшій только на французскомъ языкѣ и всю свою жизнь говорившій почти исключительно по-французски, самымъ сокровеннымъ порывамъ своей творческой мысли могъ давать выраженіе только въ русскомъ стихѣ; нѣсколько французскихъ стихотвореній его совершенно незначительны. Авторъ „*Silentiū*“, онъ творилъ почти исключительно „для себя“ подѣ давленіемъ необходимости высказаться предъ собой и тѣмъ уяснить себѣ самому свое состояніе. Въ связи съ этимъ онъ исключительно лирикъ, чуждый всякихъ эпическихъ элементовъ. Съ этой непосредственностью творчества И. С. Аксаковъ, зять и біографъ поэта ¹⁾, пытался привести въ связь ту небрежность, съ которой Тютчевъ относился къ своимъ произведеніямъ: онъ терялъ лоскутки бумаги, на которыхъ они были набросаны, оставлялъ нетронутой первоначальную, иногда небрежную, концепцію, никогда не отдѣлывалъ своихъ стиховъ и т. д. Последнее указаніе опровергнуто новыми изслѣдованіями; стихотворныя и стилистическія небрежности, дѣйствительно, встрѣчаются у Тютчева, но есть рядъ стихотвореній которыя онъ передѣлывалъ, даже послѣ того какъ они были въ печати. Безспорнымъ, однако, остается указаніе на „соотвѣтственность таланта Тютчева съ жизнью автора“, сдѣланное еще Тургеневымъ: „этѣ его стиховъ не вѣсть сочиненіемъ, они всѣ кажутся написанными на извѣстный случай, какъ того хотѣлъ Гете, т.-е. они не придуманы, а выросли сами, какъ плодъ на деревѣ“.

I.

Извнѣ его жизнь шла ровнымъ путемъ баловня судьбы. Онъ вышелъ изъ общественнаго круга, представителямъ котораго заранѣе обезпечено возможно безболѣзненное и беззаботное существованіе,—и онъ пользовался этимъ благомъ во всей его полнотѣ. Отпрыскъ богатой и родовитой семьи, въ которой исключительное господство французскаго языка и внѣшнихъ формъ отлично уживалось съ приверженностью ко всѣмъ особенностямъ старо-русскаго дворянскаго и православнаго уклада, онъ уже въ ранней юности имѣлъ счастье быть сближеннымъ съ интересами литературы больше, чѣмъ этого можно было ожидать въ грибоѣдовской Москвѣ, столь чуждой всякимъ духовнымъ запросамъ. Своевременно онъ былъ дипломатомъ, либеральнымъ цензоромъ, популярнымъ въ обществѣ сановникомъ. Его знали литература и дворъ. Блестящій, тонкій и образованный собесѣдникъ, яркія и остроумныя замѣчанія котораго передавались изъ устъ въ уста, проницательный и школою жизни испытанный мыслитель, съ равной увѣренностью разбиравшійся въ высшихъ вопросахъ бытія и въ текущей исторической жизни, самостоятельный даже тамъ, гдѣ онъ не выходилъ за предѣлы ходячихъ въ его

¹⁾ Біографія О. И. Тютчева. М. 1886.

Издательство "Ленинградский университет"
С. Петербург, 1989 г.
(Издательство "Ленинградский университет")

Федоръ Ивановичъ Тютчевъ.
Съ портрета С. О. Александровскаго.
(Третьяковская галлерей въ Москвѣ.)



Enoch

кругу воззрѣній, человѣкъ проникнутый культурностью во всемъ, отъ внѣшняго обращенія до пріемовъ мышленія,—онъ производилъ обаятельное впечатлѣніе особою, отмѣченною Никитенкомъ *), „любезностью сердца“, состоявшей не въ соблюденіи свѣтскихъ приличій (которыхъ онъ никогда и не нарушалъ), но въ деликатномъ человѣческомъ вниманіи къ личному достоинству каждаго. Впечатлѣніе нераздѣльнаго господства мысли—таково было преобладающее впечатлѣніе, которое производилъ этотъ хилый и хворый старикъ, всегда оживленный неустанной творческой работой. Поэта-мыслителя чтить въ немъ, прежде всего, и русская литература.

Его оцѣнили рано и прочно великіе мастера поэзій. Еще Пушкинъ печаталъ его стихотворенія въ своемъ „Современникѣ“; но первую опредѣленную и очень высокую оцѣнку далъ ему вскорѣ послѣ его переселенія въ Петербургъ Некрасовъ **), а затѣмъ Тургеневъ ***); онъ сталъ печататься въ русскихъ журналахъ, и читатели узнали его имя. Одновременно съ этимъ онъ занялъ видное служебное положеніе—быть можетъ, благодаря своимъ политическимъ стихамъ и статьямъ, хорошо выражавшимъ мнѣнія, уже ставшія популярными въ правящихъ кругахъ.

Легко, свѣтло и красиво прошла эта жизнь. Такъ свѣтлы, легки и прекрасны лежащія на горахъ облака, озаренныя солнцемъ; они волшебнo-дивны для того, кто смотритъ на нихъ снизу, но тотъ, кого они окутали на горной вершинѣ, видитъ въ нихъ сѣрую, промозглую, холодную массу: одни бѣгутъ отъ нея; другіе ежятся, дрогнуть—и мирятся. Таковъ былъ Тютчевъ.

Не разсуждай, не хлопочи...
Безумство ищеть, глупость судить;
Дневныя раны сномъ лѣчи,
А завтра быть тому, что будетъ.

Живя, умѣй все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать, о чемъ тужить?
День пережить—и слава Богу.

Вотъ его житейская философія, его отношеніе къ міру мелкихъ человѣческихъ интересовъ, захватывающихъ наше существо. Онъ покорялся имъ, уходя въ себя. Не надо думать, что ему это было совсѣмъ легко. Онъ сравнивалъ свое существованіе со свиткомъ, сгорающимъ въ раскаленной золѣ даже безъ пламени.

Такъ грустно тлится жизнь моя
И съ каждымъ днемъ уходитъ дымомъ.

Такъ постепенно гасну я
Въ однообразьи нестерпимомъ.

Но въ немъ было нѣчто отъ того міра, который его душилъ. Тютчевъ любилъ одинъ образъ и повторялъ его: образъ мѣсяца, мѣняющаго свой обликъ—ярко горящаго ночью и безцвѣтно-прозрачнаго днемъ. Онъ представлялъ себѣ того, кто, зная его только съ одной стороны, „въ кругу большого свѣта“, могъ видѣть въ немъ

*) „Русская Старина“, 1873 г., № 8.

**) „Современникъ“, 1850 г., № 4.

***) „Современникъ“, 1854 г., № 4.

лишь дипломата и царедворца, въ лучшемъ случаѣ лишь своеправнаго чудака, и потому легко могъ „презрѣть поэта“; и онъ отвѣчалъ ему любимымъ сравненіемъ:

На мѣсяцъ взглянь: весь день, какъ облакъ тощій,
Онъ въ небесахъ едва не изнемогъ;
Настала ночь—и, свѣтозарный богъ,
Сіяетъ онъ надъ усыпленной рощей...

Въ этой двойственности покладистаго человѣка большого свѣта, умѣло приспособляющагося къ его тяготамъ, и свободнаго мыслителя, истерзаннаго его оковами, прошла вся жизнь Тютчева. Въ его поэзіи она оставила глубокій слѣдъ: и самъ онъ въ своей духовной высотѣ, и глубочайшія его порыванія были чужды самымъ близкимъ ему и любимымъ людямъ,—кому же онъ могъ раскрыть ихъ, какъ не своей наперсницѣ-музѣ?

О, вѣщая душа моя,	Пускай страдальческую грудь
О, сердце, полное тревоги,	Волнуютъ страсти роковыя,
О, какъ ты бьешься на порогѣ	Душа готова, какъ Марія,
Какъ бы двойного бытія...	Къ ногамъ Христа павѣкъ прильнуть.

„Страсти роковыя“ это были тѣ чары жизни, которыя влекли къ себѣ поэта, несмотря на всецѣло владѣвшее имъ глубокое сознание, что эти чары представляютъ собою не зерно жизни, а ея шелуху. Поэтъ чувствовалъ порою—знаменательное признаніе—

Какъ рвется изъ густого слоя,	Какъ все удушливо-земное
Какъ жаждетъ горнихъ наша грудь,	Она хотѣла бъ оттолкнуть.

Но онъ сознавался, что самъ „свилъ гнѣздо въ долину“; порываніе „изъ густого слоя“ житейскихъ мелочей было безсильно; могущество „страстей роковыхъ“ было непреодолимо, и душа поэта оставалась „жилищемъ двухъ міровъ“, на „порогѣ двойного бытія“. Эта двойственность была обычнымъ мотивомъ его поэзіи; еще важнѣе: она была безразлучной атмосферой его жизни и мысли, и она была той объясняющей обстановкой, въ которой выросло безотрадное міроотношеніе Тютчева.

Одна исходная мысль охватываетъ все разнообразіе философскихъ идей и настроеній, вдохновлявшихъ его: мысль объ ограниченности человѣческой личности. Человѣкъ безсильнъ въ природѣ, безконечно одинокъ въ обществѣ и преходящъ въ видѣ личности; онъ отдается жизни и земнымъ цѣлямъ, но все это—ненастоящее, ненужное, призрачное; реально только непознаваемое: необъятное море мрака, въ которомъ затерялся утлый челнъ нашего бытія. Жизнь—„удушливо-земное“, ею можно наслаждаться, но истинное наслажденіе—уйти отъ нея. Куда?

Прежде всего въ одиночество. И поэтъ находитъ рядъ убѣжищъ: природа, ночь, молчаніе—вотъ что можетъ отдѣлить насъ отъ жизни и дать самодовлѣющее и удовлетворяющее существованіе.

То, что у Тютчева названо молчаніемъ, не имѣетъ ничего общаго съ угрюмой несообщительностью. Ограниченность человѣческой личности находитъ наиболѣе сильное выраженіе въ невыразимости нашей мысли. Думать можно лишь про себя и для себя: душа скрываетъ цѣлый міръ „таинственно-волшебныхъ думъ“, которыя „зрѣютъ въ душевной глубинѣ“; ихъ „заглушить наружный шумъ, дневные возмутятъ лучи“. И когда эти думы, охраненныя отъ сутолоки виѣшнихъ впечатлѣній, созрѣютъ, ими невозможно подѣлиться съ другимъ, ибо онъ не пойметъ, ибо сердце не можетъ высказать себя, ибо „мысль изреченная есть ложь“. И потому:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои.

Отдѣлись отъ міра, „лишь жить въ самомъ себѣ умѣй“—и молчи, молчи. Таковъ завѣтъ „Молчанія“. Великая пропія—авторъ знаменитаго „Silentium“ былъ не только замѣчательнымъ поэтомъ, но еще извѣстнымъ блестящимъ собесѣдникомъ. Какъ это хорошо рисуетъ его „двойное бытіе“.

Поэтъ хотѣлъ молчать, хотѣлъ бы жить въ себѣ самомъ, но ему не позволятъ. И онъ жаждалъ тихой ночи, которая дастъ ему желанный покой. Глубинами души безконечно чуждый дѣловой жизни исправнаго чиновника и привѣтливаго царедворца, поэтъ тяготѣлъ къ ночи, дарившей ему вожделѣнный „тихій сумракъ“ одиночества, позволявшей сбросить съ себя оковы свѣтской жизни, обнажавшей передъ нимъ покровы бытія, возвращавшей его къ родному міру—міру сосредоточеннаго проникновенія въ сокровенные вопросы бытія. Никто глубже его не проникъ въ настроеніе этого темнаго и полнаго раздумья „часа явленій и чудесъ“, когда

Живая колесница мірозданья
Открыто катится въ святилищѣ небесъ.

Міръ умолкаетъ: сознаніе покинуло его.

Лишь музы дѣвственную душу
Въ пророческихъ тревожатъ боги снахъ.

II.

Знаменательно, что ночь—источникъ успокоенія и одиночества—является также условіемъ творчества; оба эти момента объединяетъ также другое утѣшеніе, другое убѣжище поэта—природа. Она жила для него всей полнотой дѣятельной и самостоятельной жизни. Высшее наслажденіе онъ находилъ въ безраздѣльномъ сліяніи съ ней, изъ котораго также выносилъ перлы мысли:

Бродитъ безъ дѣла и безъ цѣли
И непаракомъ, на лету,

Набрестъ на свѣжій духъ синели
Или на свѣтлую мечту.

Едва ли у какого поэта всеохватывающее желаніе слиться съ природой, раствориться въ ней до потери личности, до небытія получало болѣе яркое и настойчивое выраженіе, чѣмъ у Тютчева.

Игра и жертва жизни частной,	Приди—струей его эфирной
Приди жъ, отвергни чувствъ обманъ	Омой страдальческую грудь
И ринься бодрый, самовластный	И жизни божески-всѣмїрной
Въ сей животворный океанъ.	Хотя на мигъ причастенъ будь.

На мигъ—это не случайно. Только на мигъ можно испытать это совершенно неопредѣлимое чувство.

Мотылька полетъ незримый	Часъ тоски невыразимой.
Слышенъ въ воздухѣ ночномъ...	Все во мнѣ—и я во всемъ...

И поэтъ съ напряженнымъ прозрѣніемъ находитъ подходящія формы для уясненія этого состоянія:

Сумракъ тихій, сумракъ сонный,	Чувства мглой самозабвенья
Лейся въ глубь моей души,	Переполни черезъ край,
Тихій, томный, благовонный,	Дай вкусить уничтоженья,
Все залей и утиши.	Съ міромъ дремлющимъ смѣшай...

Такъ проникнуться физическимъ самоощущеніемъ, чтобы почувствовать себя неотдѣлимой частью природы,—вотъ что удавалось Тютчеву болѣе, чѣмъ кому-либо. Этимъ чувствомъ и питаются его замѣчательныя „описанія“ природы, или, вѣрнѣе, ея отраженій въ душѣ поэта. Среди его произведеній они довольно многочисленны, и между ними есть стихотворенія различной цѣнности; но нѣсколько образцовъ среди нихъ—и не изъ самыхъ извѣстныхъ—могутъ стать наравнѣ съ наивысшими образцами лирическаго воспроизведенія природы. Напомнимъ лишь немногія стихотворенія, знакомыя всякому съ дѣтства по мертвящимъ страницамъ хрестоматіи и лишь много позже воскрешаемыя самостоятельной душевной жизнью, наполняющею ихъ живымъ содержаніемъ лично пережитого: „Весенняя гроза“ („Люблю грозу въ началѣ мая“), „Весеннія воды“ („Еще въ поляхъ бѣлѣетъ снѣгъ“), „Не остывшая отъ зноя“, „Тихой ночью, позднимъ лѣтомъ“. Но менѣе извѣстны, хотя столь же своеобразны, его картины осенняго настроенія или хотя бы этотъ „Полдень“:

Лѣниво дышитъ полдень мгlistый,	И всю природу, какъ туманъ,
Лѣниво катится рѣка,	Дремота жаркая объемлетъ,
И въ тверди пламенной и чистой	И самъ теперь великій Панъ
Лѣниво таютъ облака.	Въ пещерѣ нимфъ спокойно дремлетъ.

Элементарная простота этого стихотворенія сообщаетъ ему дѣйствіе безсознательно-стихійное. Читателя вслѣдъ за поэтомъ охватываетъ это бездѣятельное, насквозь физическое—даже не настроеніе—состояніе. Поэтъ какъ бы добился своего: „вкусилъ уничтоженія“ своей личности, „смѣшался съ дремлющимъ міромъ“, подобно льдинѣ, еще недавно своеобразно индивидуальной, потерялъ свою индивидуальность въ весеннихъ водахъ.

Это послѣднее сравненіе взято изъ стихотворенія Тютчева, которое показываетъ, что это ощущеніе потери личности было для него не только блаженнымъ физическимъ состояніемъ, но имѣло связь съ однимъ изъ основныхъ элементовъ его міровоззрѣнія: съ взглядомъ на человѣческую личность. Изслѣдованіе, еще не произведенное, выяснитъ связь этого воззрѣнія Тютчева съ ходячими ученіями нѣмецкой философіи, популярными въ эпоху его пребыванія за границей; знаменательно, напримѣръ, знакомство съ Шеллингомъ. Во всякомъ случаѣ стихотвореніе это, которое, несмотря на обиліе панегирическихъ эпитетовъ въ нашей характеристикѣ, должно назвать замѣчательнымъ, даетъ ясное представленіе о воззрѣніи поэта на сущность индивидуальности и, быть можетъ, даже должно считаться ключомъ къ его философіи. По склону рѣчныхъ водъ, вновь ожившихъ весною, плывутъ другъ за другомъ льдины; онѣ кажутся разнообразными; одиѣ блещутъ радужно на солнцѣ, другія проходятъ мимо насъ въ ночной темнотѣ. Но судьба ихъ одна:

Всѣ вмѣстѣ—малыя, большія,
Утративъ прежній образъ свой,

Всѣ безразличны, какъ стихія,
Сольются съ бездною роковой...

Вотъ что было для Тютчева образомъ человѣческой личности:

О, нашей мысли обольщенье,
Ты—человѣческое я.
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Ограниченности личности соответствуетъ, конечно, ограниченность главнаго и могучаго орудія, которымъ она стремится выйти за свои предѣлы,—человѣческой мысли. Прообразомъ этого неустаннаго, неистребимаго, но тщетнаго стремленія является для поэта струя фонтана, бьющая вверхъ и неизмѣнно падающая на землю:

О, смертной мысли водометъ,
О, водометъ неистощимый,
Какой законъ непостижимый,
Тебя стремить, тебя мятеть?

Какъ жадно къ небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой лучъ упорный преломляя,
Свергаетъ въ брызгахъ съ высоты...

III.

И мысль останавливается на порогѣ познанія, окутанная мракомъ невѣдомаго, охваченная неопредѣлимымъ чувствомъ тайны. За міромъ, ею осмысленнымъ, уясненнымъ, приведеннымъ въ систему и организованнымъ, ей чудится иной міръ, быть можетъ, столь же или даже болѣе родной ей, но непостижимый и потому страшный; за видимостью жизни она смутно постигаетъ ея мистическую и хаотическую первооснову. „И самъ Гёте,—говоритъ Владиміръ Соловьевъ, съ наиболѣе возможной ясностью и силой опредѣлившій этотъ мотивъ тютчевской поэзіи,—не захватывалъ, быть можетъ, такъ глубоко, какъ нашъ поэтъ, темный корень міроваго бытія, не чувство-

валъ такъ сильно и не сознавалъ такъ ясно ту таинственную основу всякой жизни,—природной и человѣческой,—основу, на которой зиждется и смыслъ космическаго процесса, и судьба человѣческой души, и вся исторія человѣчества. Здѣсь Тютчевъ дѣйствительно является вполне своеобразнымъ и если не единственнымъ, то навѣрное самымъ сильнымъ во всей поэтической литературѣ. Цѣлый рядъ его стихотвореній—„О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной“, „На мѣрѣ таинственный духовъ“, „О, вѣщая душа моя“, „Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной“, „Ночные голоса“, „Ночное небо“, „День и ночь“, „Безуміе“, „Malatia“, и др.—представляетъ собою особую лирическую философію хаоса, стихійнаго безобразія, безпорядка, безумія, какъ „глубочайшей сущности міровой души и основы всего мірозданія“. И описанія природы и отзвуки любви проникнуты у Тютчева однимъ всепоглощающимъ сознаніемъ: за видимою оболочкой явленій съ ея призрачной ясностью и простотою скрывается ихъ роковая сущность, таинственная, съ точки зрѣнія нашей земной жизни отрицательная и страшная. Ночь съ особенной силой раскрывала предъ поэтомъ эту ничтожность и призрачность нашей сознательной жизни сравнительно съ „пылающей бездною“ стихій непознаваемаго, но чувствуемаго хаоса.

Мы видѣли, какъ любилъ Тютчевъ ночь, смѣнявшую томительный дѣловой день и дававшую поэту желанный покой одиночества. Въ этомъ настроеніи онъ говорилъ, что „ему не страшенъ мракъ ночной, не жаль скудѣющаго дня“. Но съ мыслью о ночи соединялись у него иныя представленія, дѣлавшія для него ночь символомъ и вмѣстилищемъ совсѣмъ другихъ идей и настроеній. Эти идеи связаны съ глубинами философскаго міровоззрѣнія поэта. Почему онъ такъ легко позволялъ себѣ уходить отъ жизни? Потому что въ его представленіи не было ничего болѣе случайнаго, призрачнаго, ненастоящаго, чѣмъ внѣшній міръ нашего бытія. Суть, настоящую реальную основу этого бытія составляетъ бездна непознаваемаго.

Надъ этой бездною безымянной
Покровъ лаброшенъ златотканый
Высокой волею боговъ.
День—сей блистательный покровъ.

Но меркнетъ день, настала ночь;
Пришла—и, съ міра рокового
Ткань благодатную покова
Собравъ, отбрасываетъ прочь.

.....

И въ этомъ страшномъ сумракѣ, скрывшемъ отъ насъ жизнь, мы познаемъ ея существо:

И бездна намъ обнажена
Съ своими страхами и мглами,

И нѣтъ преградъ межъ ей и нами:
Вотъ отчего намъ ночь страшна.

Но этотъ страхъ есть страхъ познанія: ночь страшна, ибо страшна истина. Настала ночь, эта мрачная, хмурая ночь, которая „какъ звѣрь стоокій глядитъ изъ каждаго куста“,—и человѣкъ, всю жизнь полагающій въ днѣ, въ дѣлахъ внѣшняго обихода, вдругъ познаетъ всю призрачность того, что заполняетъ его существованіе, и всю

близость той тьмы, изъ которой онъ пришелъ и въ которую онъ уйдетъ.

И чудится давно минувшимъ сномъ
Теперь ему все свѣтлое, живое.

Сны казались намъ призраками — нѣтъ, это отраженіе той бездны непознаваемого, которая составляетъ нашу истинную духовную атмосферу.

Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной, Настанетъ ночь, и звучными волнами
Земная жизнь кругомъ объята снами. Стихія бьютъ о берегъ свой.

Стихія — нѣчто реальное и первообразное. Сонъ открываетъ ее намъ:

...смертныхъ думъ, освобожденныхъ сномъ,
Мірѣ безтѣлесный, слышный, но незримый,
Теперь роится въ хаосѣ почномъ...

И почти всякое явленіе природы наводитъ поэта все на ту же мысль о хаосѣ: тихая ночь съ ея таинственнымъ молчаніемъ, въ которомъ поэтъ ясно слышитъ „чудный, еженочный, непостижимый“ гулъ „ночныхъ голосовъ“, буря, которую онъ молитъ не пѣть „страшныхъ пѣсень про древній хаосъ, про родимый“. Этотъ послѣдній эпитетъ весьма знаменателенъ: Тютчевъ не разъ напоминаетъ о кровныхъ узахъ, связующихъ человѣка съ той бездною „неразгаданнаго“ и по своей сути не могущаго быть разгаданнымъ, изъ которой онъ вышелъ. Когда „понятымъ сердцу языкомъ“ ночной вѣтеръ, ноея и сѣтуя, „поетъ о непонятной мукѣ“, его пѣснь о родимомъ хаосѣ близка поэту:

Какъ жадно міръ души ночной Изъ смертной рвется онъ души
Внимаетъ повѣсти любимой. И съ безпредѣльнымъ жаждетъ слиться...

Когда ночь,—это для Тютчева основное первичное явленіе,—страхиваетъ съ міра внѣшнюю покрывку дня, и человѣкъ остается лицомъ къ лицу съ темной бездною, то

...въ чуждомъ, неразгаданномъ, ночномъ
Онъ узнаетъ послѣдье роковое...

Чѣмъ могли быть явленія человѣческой жизни для этого поэта и мыслителя, проникнутаго мыслью о всемогущемъ самодержавіи хаоса, какъ не роковымъ порожденіемъ этого хаоса? Въ высшемъ проявленіи человѣческаго чувства—въ любви—онъ видѣлъ „роковое сліянье и поединокъ роковой“.

И чѣмъ одно изъ нихъ нѣжиѣ
Въ борьбѣ неравной двухъ сердець,
Тѣмъ неизбѣжнѣй и вѣрнѣе,
Любя, страдая, грустно мѣя,
Оно изноетъ наконецъ.

Любовь двойственна; сильнѣй ся свѣтлыхъ, дневныхъ элементовъ ся темная сторона. Прекрасенъ открытый, ясный взглядъ любимыхъ очей,

Но есть сильнѣй очарованье:
Глаза потупленные ницъ
Въ минуты страстнаго лобзанья,
И сквозь опущенныхъ рѣсницъ
Угрюмый, тусклый огонь желанья.

Любовь не спасаетъ, не возвышаетъ, не очеловѣчиваетъ;

Въ буйной слѣпотѣ страстей
Мы то всего вѣрнѣ губимъ,
Что сердцу нашему милѣй.

Другая вершина человѣческой мысли и чувства—религія—также не побѣждаетъ „темнаго корня бытія“, а лишь борется съ нимъ. Космосъ и хаосъ непримиримы, и тамъ, гдѣ хаосъ считается основой бытія, нѣтъ мѣста иному началу. Къ Божеству обращался Тютчевъ не разъ въ своей поэзіи, но вѣра не проникала его. Онъ вѣрилъ и не вѣрилъ—и не безъ мысли о себѣ писалъ о нашемъ вѣкѣ:

Онъ жаждетъ вѣры... но о ней не проситъ.

И, быть можетъ, крикомъ также его души „предъ запертою дверью“ былъ возгласъ отчаянія:

Впусти меня. Я вѣрю, Боже мой,
Приди на помощь моему невѣрью.

На этомъ болѣзненно-рѣзкомъ и неразрѣшенномъ диссонансѣ мы могли бы разстаться съ поэзіей Тютчева: эта трагическая двойственность—такой ясный и всеобъемлющій символъ всего его творчества. И не примиряется, но какъ бы прикрывается она однимъ излюбленнымъ настроеніемъ Тютчева. Въ неразрѣшенной трагедіи бытія какъ бы статика его творчества; отчаяніе всегда неподвижно. Но эта трагическая непрерывность не ограничиваетъ поэзіи Тютчева. Въ ней есть динамика, есть порывъ; высшая красота ея въ молитвенно-созерцательномъ движеніи ввысь.

Тютчевъ любилъ всю природу во всей ея прелести и чистотѣ, правдѣ и разнообразіи. Но былъ одинъ образъ, къ которому онъ обращался особенно охотно, то явно символизуя въ немъ свое глубочайшее порываніе, то непосредственно изображая пейзажъ, всегда захватывавшій его мысль; это—картина горныхъ вершинъ. Сидя въ альпійской долині, онъ неизмѣнно подымалъ свой взглядъ вверхъ и видѣлъ:

А тамъ, въ торжественномъ покоѣ,
Разоблаченная съ утра,

Сіяетъ Бѣлая гора,
Какъ откровенье неземное...

И, наконецъ, не отрывая взгляда отъ „недоступныхъ громадъ“ съ ихъ „непорочными снѣгами“ и отблескомъ полета ангеловъ, онъ связывалъ съ ними свое непреходящее и неутолимое стремленіе ввысь:

Хоть я и свилъ гнѣздо въ долині,
Но чувствую порою и я,

Какъ животворно на вершинѣ
Бѣжитъ воздушная струя.

И съ этимъ взоромъ, неизмѣнно и благоговѣнно обращеннымъ ввысь, пребываетъ всегда образъ Тютчева въ нашей мысли. Въ концѣ-концовъ лучшимъ наслѣдіемъ, переданнымъ намъ въ его лирикѣ, остается то, что всегда составляетъ лучший нравственный выводъ изъ всякаго истинно художественнаго и истинно философскаго произведенія: неумолкающее увѣщаніе: „горѣ имѣемъ сердца“.

И поэзія Тютчева дорога намъ именно тѣмъ внутреннимъ смысломъ, тѣмъ „души высокимъ строимъ“, который онъ сумѣлъ такъ хорошо подмѣтить и опредѣлить въ жизни и творествѣ другого поэта:

И этотъ-то души высокій строй,
Создавшій жизнь его, проникшій лиру,
Какъ лучший плодъ, какъ лучший подвигъ свой
Онъ завѣщалъ взволнованному міру.

IV.

Въ этомъ обзорѣ лирики Тютчева мы до сихъ поръ намѣренно обходили одинъ элементъ, высоко любопытный, весьма характерный для двойственности поэта, а по силѣ поэтическаго размаха стоящій наравнѣ съ философской лирикой Тютчева. Тютчевъ не только величайшій лирикъ въ русской философіи, но также сильнѣйшій изъ русскихъ политическихъ поэтовъ.

Для того, кто вынесъ опредѣленное представленіе о міровоззрѣніи Тютчева на основаніи его философской лирики, кто привыкъ цѣнить эту философію, привлекательную въ своей безпощадности, и это настроеніе, возвышенное въ своемъ безотрадномъ спокойствіи, для того политическія стихотворенія Тютчева представляютъ собою явленіе загадочное. Онъ силенъ и въ нихъ; даже больше: въ этомъ родѣ поэзіи, требующемъ силы и выразительности по преимуществу, онъ далъ образцы, едва ли превзойденные кѣмъ-либо у насъ. На разнообразныя явленія исторической жизни онъ отозвался лирическими произведеніями, звучная яркость которыхъ способна произвести художественное впечатлѣніе даже на того, кто безконечно далекъ отъ политическихъ идеаловъ поэта. Но „борьба мѣшаетъ быть поэтомъ“—и политической лирикѣ Тютчева недостаетъ именно того, чѣмъ мы привыкли восторгаться въ прочей его поэзіи: глубины и своеобразія мысли. Это великолѣпное выраженіе весьма общепринятыхъ мыслей; отъ Тютчева мы ждемъ иного.

Онъ самъ лучше всѣхъ оцѣнилъ истинную суть своего существа, когда говорилъ:

Душа моя—элизіумъ тѣней,
Ни замысламъ години буйной сей,
Ни радостямъ, ни горю непрічастныхъ.

Глубины его души были въ самомъ дѣлѣ непрічастны впечатлѣніямъ „години буйной“, которую переживалъ вокругъ него чело-

вѣческій міръ, и та поэзія, которою онъ отзывался на „горе и радости“ своего политическаго направленія, творилась не въ этихъ глубинахъ, а внѣ ихъ. Ни въ чемъ „двойная жизнь“ Тютчева не нашла столь конкретнаго выраженія, какъ въ этой противоположности двухъ элементовъ въ поэзіи. Мыслитель былъ поэтомъ, политикъ былъ ораторомъ. Людямъ, не раздѣляющимъ взглядовъ поэта, остается поклониться предъ предопредѣленіемъ, направившимъ эту силу противъ нихъ, и радоваться тому, что бессмертный Тютчевъ—не въ его политическихъ обличеніяхъ, какова бы ни была ихъ яркость.

Оригинальнаго въ политическихъ воззрѣніяхъ Тютчева не много; конечно, не было никакого внутренняго противорѣчія въ этомъ сочетаніи очень умѣреннаго либерализма съ суровымъ націонализмомъ, мистическимъ въ своей идейной окраскѣ („Въ Россію можно только вѣрить“) и сурово-дѣйственнымъ въ реальномъ политическомъ примѣненіи. Докладная записка Тютчева, поданная мюнхенскимъ дипломатомъ Николаю I въ разгарѣ революціи 1848 года, представляетъ собою теоретическое обоснованіе непосредственно засимъ слѣдующаго русскаго вмѣшательства въ австро-венгерское столкновеніе. Здѣсь Россія противопоставлена Европѣ, какъ воплощеніе христіанства. Наоборотъ, Европа, не справившаяся съ могуществомъ революціи посредствомъ иллюзій правового строя, есть сама воплощенная революція—начало не только политическое, но по преимуществу противорелигіозное. Поэтому походъ противъ европейской смуты есть крестовый походъ; это обязанность монархической Россіи, хранительницы священныхъ завѣтовъ вѣнскаго конгресса. Государственныя нестроенія Россіи, черная неправда ея строя—незначительная подробность въ сопоставленіи съ ея историко-религіознымъ призваніемъ: стать всемірною монархіей, скованной воедино не насиліемъ, „не желѣзомъ и кровью“—намекъ на слова Бисмарка,—но любовью. Какъ и въ иныхъ подобныхъ случаяхъ, этотъ возвышенный идеалъ обращался у Тютчева при столкновеніи съ живой политической дѣйствительностью въ свою противоположность. Въ эпоху перваго польскаго возстанія поэтъ обращался къ поработанному народу съ „необычной у патріотическихъ пѣвцовъ гуманностью“:

Ты жъ, братскою стрѣлою пронзенный,
Судебъ свершая приговоръ,
Ты палъ, орелъ одноплеменный,
На очистительный костеръ.

Вѣрь слову русскаго народа:
Твой пепелъ мы свято сбережемъ,
И наша общая свобода,
Какъ фениксъ, возродится въ немъ.

Но возстаніе 1863 года уже встрѣтило новое отношеніе, и въ прочувствованномъ четверостишіи поэтъ отождествлялъ враговъ Россіи съ врагами Муравьева-Вилenskaго, который едва ли любовью старался спаять разноплеменные части великой родины.

Можно быть яростнымъ противникомъ политическихъ воззрѣній Тютчева—не столько даже націоналиста, сколько государственника,—нельзя, однако, отвергнуть поэтическую цѣнность его политической

лирики. Однако, такой благосклонный судья, какъ И. С. Аксаковъ, въ письмахъ, не предназначенныхъ для публики, находилъ возможнымъ говорить, что эти произведенія Тютчева „дороги только по имени автора, а не сами по себѣ; это не настоящіе тютчевскіе стихи съ оригинальностью мысли и оборотовъ, съ поразительностью картинъ“ и т. д. Въ нихъ, какъ и въ публицистикѣ Тютчева, есть нѣчто разсудочное,—искреннее, но не отъ сердца идущее, а отъ головы. Чтобы быть настоящимъ поэтомъ того направленія, въ которомъ писалъ Тютчевъ, надо было любить непосредственно Россію, знать ее, раздѣлять ея вѣрованія. Этого, по собственнымъ признаніямъ Тютчева, у него не было. Онъ вѣрилъ въ Россію, но не вѣрилъ съ нею вмѣстѣ. Пробывъ съ восемнадцатилѣтняго до сорокалѣтняго возраста за границей, поэтъ не зналъ родины и въ цѣломъ рядѣ стихотвореній („На возвратномъ пути“, „Вновь твои я вижу очи“, „Итакъ, опять увидѣлъ я“, „Глядѣлъ я, стоя надъ Невой“) признавался, что родина ему не мила и не была „для души его родимымъ краемъ“. Отношеніе его къ народной религіи хорошо характеризуется отрывкомъ изъ письма къ женѣ (1843), приведеннымъ у Аксакова (рѣчь идетъ о томъ, какъ предъ отъѣздомъ Тютчева въ его семьѣ молились, а затѣмъ ѣздили къ Иверской Божіей Матери): „Однимъ словомъ, все произошло согласно съ порядками самаго взыскательнаго православія... Ну, что же? Для человѣка, который пріобщается къ нимъ только мимоходомъ и въ мѣру своего удобства, есть въ этихъ формахъ, такъ глубоко историческихъ, въ этомъ мірѣ русско-византійскомъ, гдѣ жизнь и вѣрослуженіе составляютъ одно, ... есть во всемъ этомъ для человѣка, снабженнаго чутьемъ для подобныхъ явленій, величіе поэзіи необычайное, такое великое, что оно преодолеваетъ самую ярую враждебность... Ибо къ ощущенію прошлаго—и такого уже стараго прошлаго—присоединяется фатально предчувствіе не-соизмѣримаго будущаго“. Это признаніе бросаетъ свѣтъ на религіозныя убѣжденія Тютчева, имѣвшія въ основѣ, очевидно, совѣмъ не простую вѣру, но прежде всего теоретическія политическія воззрѣнія, въ связи съ нѣкоторымъ эстетическимъ элементомъ. Разсудочная по происхожденію, политическая поэзія Тютчева имѣетъ, однако, свой паѳосъ—паѳосъ убѣжденной мысли. Отсюда сила нѣкоторыхъ его поэтическихъ обличеній („Прочь, прочь австрійскаго Іуду отъ гробовой его доски“, или о римскомъ папѣ: „Его погубитъ роковое слово: свобода совѣсти есть бредъ“). Онъ умѣлъ также давать выдающееся по силѣ и сжатости выраженіе своей вѣрѣ въ Россію (знаменитое четверостишіе „Умомъ Россію не понять“, „Эти бѣдныя селенія“), въ ся политическое призваніе („Разсвѣтъ“, „Пророчество“, „Восходъ солнца“, „Русская географія“ и др.).

Значеніе Тютчева въ развитіи русской лирической поэзіи опредѣляется его историческимъ положеніемъ: младшій сверстникъ и ученикъ Пушкина, онъ былъ старшимъ товарищемъ и учителемъ лириковъ послѣ-пушкинскаго періода. Какъ и предсказывалъ Тур-

гневъ, онъ остался до сихъ поръ поэтомъ немногихъ цѣнителей; волна общественной реакціи лишь временно расширяла его извѣстность, представляя его пѣвцомъ своихъ настроеній. По существу онъ остался все тѣмъ же „непошлымъ“, могучимъ въ лучшихъ, безсмертныхъ образцахъ своей философской лирики учителемъ жизни для читателя, учителемъ поэзіи для поэтовъ. Частности въ его формѣ бываютъ не безукоризненны; въ общемъ она безсмертна, и трудно представить себѣ тотъ моментъ, когда, напр., „Сумерки“ или „Фонтанъ“ теряютъ свою поэтическую свѣжесть и обаяніе. Наиболее полное собраніе сочиненій Тютчева (Спб., 1900) заключаетъ его оригинальныя (246) и переводныя (37) стихотворенія и четыре политическія статьи. Новое изданіе (Маркса, подъ ред. П. В. Быкова) выйдетъ въ началѣ 1910 г. Главнымъ біографическимъ источникомъ служить книга зятя поэта И. С. Аксакова: „Біографія Федора Ивановича Тютчева“ (М., 1886).

2.

Аѳанасій Аѳанасіевичъ Фетъ-Шеншинъ.

(1820—1892)

В. Ѳ. Саводника.

Какъ личность, Фетъ представляетъ любопытную психологическую загадку. Можно сказать, что характеръ его складывается изъ коренныхъ внутреннихъ противорѣчій. Трудно представить себѣ болѣшую противоположность, чѣмъ та, которая существовала между А. А. Шеншинымъ, расчетливымъ и практичнымъ хозяиномъ-пріобрѣтателемъ, авторомъ „Деревенскихъ писемъ“, исполненныхъ самыхъ враждебныхъ нападокъ на крестьянскую реформу, „закоренѣлымъ крѣпостникомъ и поручикомъ стараго закала“, по выраженію Тургенева,—и между Фетомъ, поэтомъ тончайшихъ и нѣжнѣйшихъ движеній человѣческой души, въ поэзіи котораго нѣтъ мѣста никакимъ мрачнымъ и злобнымъ чувствамъ, въ которой живетъ и дышитъ „только ласковой думы волненье, только сердца невольная дрожь“. Получается такое впечатлѣніе, что передъ нами два совершенно разныхъ лица, между которыми нѣтъ ничего общаго. Приходится предположить, что въ моменты поэтическаго вдохновенія въ душѣ Фета происходило нѣчто вродѣ „раздвоенія личности“, и сквозь обыденныя черты его характера проступали новыя, чуждыя ему въ повседневной жизни. Или, выражая ту же мысль въ метафизическихъ терминахъ: если въ фактахъ повседневной жизни сказывался его „эмпирический характеръ“, то въ поэтическомъ творчествѣ нашло себѣ выраженіе его „трансцендентальное я“ (въ кантовскомъ смыслѣ). Эту черту Фета подмѣтилъ и со свойственной

ему простодушной ироніей выразилъ Л. Н. Толстой; въ письмѣ отъ 7 декабря 1876 г. онъ пишетъ по поводу присланнаго ему Фетомъ стихотворенія („Среди звѣздъ“): „Стихотвореніе это не только достойно васъ, но оно особенно и особенно хорошо, съ тѣмъ самымъ философски-поэтическимъ характеромъ, котораго я ждалъ отъ васъ... Хорошо тоже, что на томъ же листкѣ, на которомъ написано это стихотвореніе, излиты чувства скорби о томъ, что керосинъ сталъ стоить 12 коп. Это побочный, но вѣрный признакъ поэта“. Вдохновенныя мечты, полныя красоты и поэзіи, и тутъ же рядомъ прозаическія жалобы на дороговизну керосина, — таковъ Фетъ въ своихъ двухъ аспектахъ, въ постоянной смѣнѣ противорѣчивыхъ настроеній. Самъ Фетъ, повидимому, чувствовалъ эту двойственность своего существа (см. стих.: „Муза“). Болѣе того, въ этой двойственности заключается, быть можетъ, ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ важнѣйшихъ особенностей его поэзіи, — и прежде всего, его отрѣшенности отъ окружающей жизни, его стремленія уйти отъ повседневной дѣйствительности въ свѣтлое царство мечты, въ царство,

Гдѣ грозы пролетаютъ мимо,
Гдѣ дума страстная чиста—
И, посвященнымъ только зрима,
Цвѣтеть весна и красота.

Въ минуты вдохновенія, поэтического экстаза, поэтъ уходилъ не только отъ жизни и отъ людей, отъ жизненной „пошлости и прозы“, — онъ уходилъ и отъ самого себя, сбрасывалъ съ себя все „человѣческое, слишкомъ человѣческое“, что составляло его повседневное я, что держало его въ своей власти въ обычной жизни. Моменты поэтического вдохновенія были для Фета вмѣстѣ съ тѣмъ моментами нравственного подъема, внутренняго просвѣтленія, очищенія отъ всяческой скверны. Это былъ для него тотъ душевный „катарзисъ“, который, въ другой плоскости духа, у натуръ религіознаго склада, выражается въ покаянной молитвѣ, въ порывѣ самозабвенія.

Въ своемъ творествѣ Фетъ постоянно уносится изъ міра „возможнаго“ въ міръ „волшебной сказки“, въ міръ музыкальныхъ грезъ. Но это вовсе не міръ какого-либо трансцендентальнаго, потусторонняго бытія, безплотныхъ серафическихъ видѣній, — нѣтъ, это нашъ земной, тѣлесный міръ, но только озаренный, насквозь пронизанный лучами красоты. Въ міросозерцаніи Фета нѣтъ дуализма, нѣтъ раздѣленія земнаго и небеснаго; то, что онъ ищетъ въ жизни и въ искусствѣ, это — красота, а красота вездѣ разлита въ Божьемъ мірѣ, только люди не умѣютъ ее видѣть, не цѣнятъ ее, забываютъ о ней въ заботахъ повседневности — „и не слышенъ имъ зовъ соловьиный въ ревѣ стадъ и плесканьи вальковъ“ („Ключъ“). Красота въ глазахъ Фета отнюдь не является субъективной психологической категоріей: нѣтъ, она имѣетъ самостоятельное объективное значеніе, она самобытна и присуща явленіямъ са-

мимъ по себѣ („Кому вѣнецъ: богинѣ ль красоты“...). Поэтому между міромъ дѣйствительности, „возможнаго“, и міромъ „волшебной сказки“ нѣтъ рѣзкой, непреходимой грани: ихъ раздѣляетъ лишь тонкая завѣса, мгновенно падающая при прикосновеніи чудеснаго жезла поэзіи. Достаточно одного только мгновеннаго прикосновенія — и новый міръ открывается передъ глазами, душа окрыляется, и чувствуешь, — „какъ будто изъ дѣйствительности чудной уносишься въ волшебную безбрежность“...

Красота освѣщаетъ все, до чего коснется: даже страданіе оказывается просвѣтленнымъ, и мы примиряемся съ нимъ, когда видимъ его въ ореолѣ вѣчной красоты: поэзія открываетъ намъ дверь туда, „гдѣ радость теплится страданья“, высшая радость, дарующая намъ „исцѣленіе отъ муки“ („Муза“). Но красота не только вноситъ въ нашу душу примиреніе съ жизнью и судьбой: она вмѣстѣ съ тѣмъ является высшимъ „оправданіемъ“ бытія, со всѣми его противорѣчіями, съ его зломъ и страданіями. „И вѣрить хочется, — говоритъ поэтъ, —

...что все, что такъ прекрасно,
Такъ тихо властвуетъ въ прозрачный этотъ мигъ,
По небу и душѣ проходитъ не напрасно,
Какъ оправданіе стремленій роковыхъ.

„Роковыя стремленія“ — это, въ устахъ ученика и переводчика Шопенгауэра, почти равносильно „волѣ къ бытію“ нѣмецкаго философа. Если красота является „оправданіемъ“ жизни, то понятна та высокая роль, которая отводится Фетомъ искусству и поэзіи. Поэтъ-художникъ уловляетъ проблески красоты въ мірѣ явленій, въ потокѣ быстротекущей дѣйствительности, и увѣковѣчиваетъ ихъ въ нетлѣнныхъ образахъ, даетъ имъ новое, непреходящее бытіе: „Этотъ листокъ, что изсохъ и свалился, золотомъ вѣчнымъ горитъ въ пѣснопѣни“. Въ моменты творчества поэтъ высоко поднимается надъ людскою толпою — „въ ту свѣжѣющую мглу, гдѣ беззавѣтно лишь привольно свободной пѣснѣ и орлу“. На этой „незапятнанной“ высотѣ для него уже не существуетъ моральныхъ категорій добра и зла, такъ какъ онъ знаетъ только одинъ законъ, законъ красоты („Добро и зло“). Творчество поэта Фетъ уподобляетъ религіозному служенію жреца: „Съ головою сѣдою верховный я жрецъ“, говоритъ онъ про самого себя, и онъ, дѣйствительно, чувствовалъ себя жрецомъ, потому что въ красотѣ онъ видѣлъ высшее проявленіе Божественнаго начала на землѣ.

Языкъ лирической поэзіи есть по преимуществу языкъ чувства въ его непосредственномъ выраженіи. Главная задача поэта-лирика заключается въ томъ, чтобы вызвать въ душѣ читателя извѣстное настроеніе. Художественные образы играютъ обыкновенно въ лирикѣ служебную роль, являются лишь средствомъ для яркаго и нагляднаго выраженія внутреннихъ переживаній. Поэтъ-лирикъ обращается преимущественно къ чувству — и въ этомъ сходство лириче-

ской поэзии съ музыкой, живущей только эмоціями. Поэтому музыкальные элементы рѣчи: ритмъ, размѣръ стиха, игра созвучій, имѣютъ въ лирикѣ гораздо болѣе значеніе, чѣмъ въ другихъ видахъ поэзии. Этими музыкальными элементами Фетъ умѣлъ пользоваться, какъ никто въ русской поэзии. Стихи Фета удивительно пѣвучи: они словно насыщены музыкой, неотдѣлимы отъ сопровождающей ихъ внутренней мелодіи. Поэзія Фета богата не столько пластическими, сколько музыкальными образами, которые часто дополняютъ то, что не можетъ быть выражено словомъ, потому что „людскія такъ грубы слова“. Эта внутренняя музыкальность придаетъ стихамъ Фета особенную выразительность и особенную прелесть. Чайковский, создавшій на слова Фета цѣлый рядъ вдохновенныхъ романсовъ, писалъ въ одномъ письмѣ къ великому князю Константину Константиновичу: „Можно сказать, что Фетъ въ лучшія свои минуты выходитъ изъ предѣловъ, указанныхъ поэзии, и смѣло дѣлаетъ шагъ въ нашу область (т.-е. въ область музыки). Поэтому часто Фетъ напоминаетъ мнѣ Бетховена, но никогда Пушкина или Гёте, Байрона или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрогивать такія струны нашей души, которыя недоступны художникамъ, хотя бы и сильнѣйшимъ, но ограниченнымъ предѣлами слова. Это не просто поэтъ, скорѣе поэтъ-музыкантъ, какъ бы избѣгающій такихъ темъ, которыя легко поддаются выраженію словомъ. Отъ этого также его часто не понимаютъ“.

И дѣйствительно, стихи Фета иногда вовсе не поддаются строго-логическому анализу и разсудочному пониманію. Смыслъ ихъ болѣе чувствуется, чѣмъ отчетливо воспринимается разумомъ. Въ особенности это относится къ тѣмъ стихотвореніямъ, въ которыхъ Фетъ пытался изобразить тѣ мгновенныя, смутныя, часто безотчетныя ощущенія, которыя смѣняются другъ друга въ душѣ человѣка, не доходя до яснаго сознанія. Онъ самъ считалъ эту способность наиболѣе характерной чертой всякаго истиннаго поэта:

Лишь у тебя, поэтъ, крылатый сердца звукъ
Хватаетъ на лету и закрѣпляетъ вдругъ
И сонный бредъ души, и травъ неясный запахъ...

Фетъ самъ сознательно противопоставлялъ логическое мышленіе поэтической интуиціи. Его излюбленный художественный приѣмъ заключается въ необыкновенно смѣломъ и стремительномъ полетѣ фантазіи, вдохновенно и свободно переносящейся съ одного предмета на другой, открывающей совершенно неожиданныя сочетанія, соотвѣтствія и перспективы. Это — могучій полетъ орла, или, еще чаще, — воздушные зигзаги „стрѣльчатой“ ласточки. Чтобы слѣдить за этимъ вдохновеннымъ полетомъ, читателю самому нужно на мгновеніе стать поэтомъ, проникнуться силой поэтического одушевленія, экстаза. Этотъ поэтический экстазъ Фетъ съ замѣчательной силой изобразилъ въ стихотвореніи „Пѣвицѣ“ („Уноси мое сердце въ звенящую даль...“).

Для того, кто никогда не испытывал подъема поэтического чувства, эти стихи, по вѣрному замѣчанію Чайковского, лишены всякаго смысла, представляютъ собой наборъ звучныхъ словъ. И дѣйствительно, анализировать ихъ, подвергать логическому разбору или даже просто пересказать ихъ содержаніе невозможно: ихъ можно лишь прочувствовать. Поэтъ говоритъ только намеками, но въ каждомъ намекѣ таится необыкновенно богатое внутреннее содержаніе:

Можно ли трезвой то высказать силой ума,
 Что опьяненному Муза прошепчетъ сама?
 Я назову лишь цвѣтокъ, что срываетъ рука,—
 Муза раскроетъ и сердце, и запахъ цвѣтка;
 Я расскажу, что тебя безпредѣльно люблю,—
 Муза повѣдаетъ, что я за муки терплю.

Экстазъ поэтического вдохновенія, творческое „опьянѣніе“, Фетъ противопоставляетъ „трезвой силѣ ума“, и это противопоставленіе повторяется у него неоднократно. „Какъ богатъ я въ безумныхъ стихахъ“, восклицаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ. „Нѣтъ, не жди ты пѣсни страстной. Эти звуки — бредъ неясный, томный звонъ струны“, говоритъ онъ въ другомъ стихотвореніи. Для Фета поэтическое творчество было своего рода таинствомъ, откровеніемъ, которому онъ отдавался съ чисто-религіознымъ благоговѣніемъ. Ключъ поэтического вдохновенія билъ откуда-то изъ глубокихъ, безсознательныхъ нѣдръ его существа, и онъ въ моменты творчества только робко прислушивался къ тревожному лепету своей Музы, стараясь не проронить ни единого звука своего голоса и даже не заботясь о томъ, чтобы найти ключъ къ пониманію этихъ лепечущихъ звуковъ:

Звонкимъ роемъ налетѣли,
 Налетѣли и запѣли
 Въ звонкой вышнѣ.
 Какъ ребенокъ, имъ внимаю,
 Что сказалось въ нихъ—не знаю,
 И не нужно мнѣ...

Но это подчиненіе поэта безсознательному творческому началу приводило иногда къ неясности и непонятности его образовъ и поэтическихъ концепцій. Фетъ необыкновенно причудливъ въ своемъ творествѣ. У него—своя логика и своя грамматика. Неожиданные переходы отъ одного образа къ другому, на первый взглядъ не имѣющему съ нимъ ничего общаго, неправильный языкъ, неожиданныя словосочетанія,—все это подчасъ затрудняетъ пониманіе его произведеній. Такимъ же затрудненіемъ для пониманія является и крайняя сжатость его поэтической рѣчи; но вмѣстѣ эта сжатость придаетъ его стихамъ особенную силу и выразительность. Толстой въ одномъ письмѣ къ Фету чрезвычайно мѣтко опредѣлилъ эту особенность его стиховъ: „Очень они компактны и сіяніе отъ нихъ очень далекое. Видно, на нихъ тратится ужасно много поэтического запаса. Долго накапливается, пока кристаллизируется“. У Фета совсѣмъ нѣтъ лиш-

Аѳанасій Аѳанасіевичъ Шеншинъ (Фетъ).

Съ портрета И. Е. Рѣпина.

(Третьяковская галлерея въ Москвѣ.)

Российская Академия Наук (РАН)

Институт Физики

(Москва)



А. А. Мещинский.



нихъ словъ, пустыхъ мѣсть, нѣтъ того, что музыканты называютъ „remplissage“. Зато у него нерѣдко встрѣчаются художественные образы необыкновенной силы, а въ его яркихъ „солнечныхъ“ эпитафияхъ открываются иногда безконечно далекія перспективы, мгновенныя прозрѣнія въ глубь вещей.

Большинство стихотвореній Фета производятъ впечатлѣніе вдохновенныхъ импровизаций, внезапно и какъ бы помимо воли самого художника вылившихся изъ глубины его взволнованной души. Эти мгновенныя импровизаціи представляютъ собою отраженіе чувствъ и настроеній, овладѣвшихъ поэтомъ въ данный моментъ. Въ этомъ отношеніи Фетъ также является типичнымъ лирикомъ, такъ какъ, въ то время какъ эпосъ и драма изображаютъ извѣстные душевные процессы, протекающіе во времени и служащіе выраженіемъ различныхъ динамическихъ силъ нашего духа, лирика по преимуществу уловляетъ и воплощаетъ отдѣльныя душевныя состоянія, хотя бы и весьма сложныя по своему внутреннему составу. Эта характерная черта лирической поэзіи проявляется у Фета съ особенной яркостью. Рѣдко у кого найдемъ мы такую полноту ощущенія текущей минуты, какъ у Фета: недаромъ критики давно уже прозвали его „поэтомъ мгновенія“. Вся поэзія Фета является выраженіемъ непосредственнаго чувства жизни, въ ея высшей потенціи, въ моменты наивысшаго подъема. Какъ часто въ такіе моменты поэтъ, словно опьяненный полнотою собственнаго чувства, готовъ обратиться къ мгновенію съ фаустовскимъ призывомъ: „Остановись, ты такъ прекрасно“.

Тихою движется мой конь
По вешнимъ заводямъ луговъ,
И въ этихъ заводяхъ огонь
Весеннихъ свѣтитъ облаковъ.
И освѣжительный туманъ
Встаетъ съ оттаявшихъ полей.

Заря, и счастье, и обманъ,—
Какъ сладки вы душѣ моей.
Какъ нѣжно содрогнулась грудь
Надъ этой тѣнью золотой.
Какъ къ этимъ призракамъ прильнуть
Хочу мгновенною душой.

Но нигдѣ эта полнота ощущенія, это стремленіе всецѣло уйти въ переживаемое мгновеніе, это радостное утвержденіе текущей минуты не сказались съ такой силой, какъ въ извѣстномъ стихотвореніи:

Только въ мірѣ и есть, что тѣнистый
Дремлющихъ кленовъ шатерь;
Только въ мірѣ и есть, что лучистый,
Дѣтски-задумчивый взоръ;

Только въ мірѣ и есть, что душистый
Милой головки уборъ;
Только въ мірѣ и есть этотъ чистый
Влѣво бѣгушій роборъ.

Фетъ—поэтъ вѣчной юности. Вся его поэзія насквозь проникнута юношеской жизнерадостностью, свѣтлой и ликующей „радостью бытія“, вся она представляетъ собою восторженное утвержденіе „воли къ жизни“, съ ея красотой, богатствомъ и наслажденіями. Фетъ опьяненъ полнотою жизни, влюбленъ въ вѣчную красоту ея. Весеннею свѣжестью, радостью майскаго утра вѣетъ надъ всею его

поэзіей. Всего охотнѣе онъ изображалъ тѣ мгновенія, когда „безумнаго счастья томительный трепетъ горячимъ приливомъ по сердцу струится“. Взоръ Фета постоянно былъ обращенъ къ свѣтлой, праздничной сторонѣ жизни; ея мрачная, трагическая сторона почти вовсе остается внѣ сферы его поэзіи, а отъ жизненныхъ будней съ ихъ „проклятыми“ вопросами и злободневнымъ шумомъ онъ старательно и сознательно отворачивается. Даже тамъ, гдѣ Фетъ касается предметовъ грустныхъ, онъ старается и на нихъ взглянуть съ эстетической точки зрѣнія; такъ, напр., въ стихотвореніи: „Былъ чудный майскій день въ Москвѣ“, изображая похороны ребенка, поэтъ рисуетъ великолѣпную картину, насквозь проникнутую красотой и свѣтлымъ весеннимъ настроеніемъ (даже звонъ колоколовъ напоминаетъ ему жужжаніе весеннихъ пчелъ: „какъ пчелы, звуки вдаль жужжали съ колоколенъ“), и даже „гробикъ розовый“ не вноситъ диссонанса въ эту картину:

За гробомъ шла, шатаясь, мать,—
Надгробное рыданье.
Но мнѣ казалось, что легко
И самое страданье.

И эту отзывчивость къ жизни, эту юношескую свѣжесть чувства, этотъ трепетъ молодого восторга Фетъ сумѣлъ сохранить навсегда, несмотря на различные жизненные испытанія. Только съ годами это эстетическое наслажденіе жизнью стало какъ-то еще тоньше, какъ будто безтѣлеснѣе, лишившись своей эгоистической остроты: поэтъ научился „въ чужой восторгъ переселяться“, радоваться чужою радостью. Въ одномъ изъ послѣднихъ стихотвореній Фета это чувство восторженнаго умиленія передъ юностью и красотой, умиленія, чуждаго какого-либо эгоистическаго помысла и полного тихой резигнаціи, получило удивительно трогательное выраженіе:

Роящимся мечтамъ летѣть давъ волю	Передъ тобой—во храмѣ сердечной—
Къ твоимъ стопамъ,	Я затворюсь,
Тебя никакъ смущать я не позволю	И юности, ласкающей и вѣчной,
Любви словамъ.	Я помолюсь.
.....	

Со стороны своего содержанія поэзія Фета не отличается особеннымъ разнообразіемъ. Два главныхъ мотива, которыми онъ чаще всего вдохновляется, эта—любовь и природа. Фетъ—пѣвецъ любви и пѣвецъ природы. Но если область его поэтического вдохновенія узка, то, съ другой стороны, она имѣетъ общечеловѣческое значеніе, потому что она обнимаетъ чувства, знакомыя и доступныя каждому, чувства вѣчныя, коренящіяся въ самомъ существѣ человѣческой природы. При этомъ въ любовной лирикѣ Фета самая индивидуальность поэта какъ бы ступшевывается передъ изображеніемъ овладѣвшаго имъ чувства, и личность его расширяется до типическаго, общечеловѣческаго значенія. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же

конкретное лицо самого поэта въ такихъ стихотвореніяхъ, какъ знаменитое „Шопоть, робкое дыханье...“, или „На зарѣ ты ея не буди“, или „Я пришелъ къ тебѣ съ привѣтомъ“? Здѣсь не единичное лицо—здѣсь человѣческая душа, взятая въ моментъ ея высшаго поэтическаго подъема, волнуется, любитъ, наслаждается или мучится, выражая въ „сладкихъ звукахъ“ то, что живетъ въ груди каждаго человѣка, но для чего только поэтъ можетъ подыскать достаточно яркое слово. Вся поэзія, все обаяніе свѣтлой юношеской любви дышитъ въ стихахъ Фета. Не „поединкомъ роковымъ“ представляется ему любовь, не „борьбой неравной двухъ сердецъ“, а трогательнымъ и нѣжнымъ союзомъ двухъ душъ,—союзомъ, озаряющимъ праздничнымъ свѣтомъ человѣческое существованіе. Фетъ изображаетъ и первое, робкое, бессознательное пробужденіе молодого, еще дѣтски-наивнаго чувства, недоумѣвающего передъ собственной силой („Въ темнотѣ на треножникѣ яркомъ...“); изображаетъ также сладкія волненія и мученія любви, иногда съ замѣчательною художественною простотою и психологической правдивостію, какъ, напримѣръ, въ извѣстномъ стихотвореніи, могущемъ послужить характернымъ образцомъ ранней „манеры“ Фета, выразившейся въ его строго-законченныхъ, мастерски отдѣланныхъ антологическихъ пьесахъ:

О, долго буду я въ молчаньи ночи темной
Коварный лепетъ твой, улыбку, взоръ случайный,
Перстамъ послушную волосъ густую прядь
Изъ мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, одинъ, никѣмъ незримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
Въ словахъ, которыя произносила ты;
Шептать и поправлять былыя выраженья
Рѣчей моихъ съ тобой, исполненныхъ смущенья,
И въ опьянѣніи, наперекоръ уму,
Завѣтнымъ именемъ будить почную тьму.

Но еще чаще воспѣвалъ Фетъ счастливую, удовлетворенную, „торжествующую“ любовь. Впрочемъ, любовь въ поэзіи Фета не бурная, всесокрушающая и всепоглощающая страсть, овладѣвающая со стихійной силой всѣмъ существомъ человѣка; при всей своей жизненности и силѣ она отличается у него глубоко-человѣческимъ, одухотвореннымъ характеромъ. Фетъ выразился однажды: „Дохнетъ те п л о л ю б в и“; это случайное выраженіе обронено имъ недаромъ: именно „тепло любви“, а не томительный зной страсти воспѣвалъ онъ въ своихъ стихахъ. Недаромъ также почти всегда образъ любимой женщины, образъ, созданный „изъ тонкихъ линій идеала“, рисуется на фонѣ какого-либо пейзажа, картины природы: любовь никогда не поглощала поэта настолько, чтобы онъ забылъ объ окружающей красотѣ Божьяго міра,—она только еще болѣе усиливала его эстетическое наслажденіе жизнью: и по отношенію къ любви Фетъ былъ прежде всего художникомъ. Конечно, есть въ его стихахъ и извѣст-

ная доля здоровой молодой чувственности, но и эта чувственность является какой-то облагороженной, одухотворенной.

Съ годами чувство поэта все болѣе очищается отъ примѣси чувственности, становится все болѣе безплотнымъ и идеальнымъ. Глубокой нѣжностью и робкимъ благоговѣніемъ „передъ святыней красоты“ проникнуты его стихи, написанные въ старости. Любимая женщина рисуется ему теперь съ чертами мадонны, съ „чистой и вольной душой, ясной и свѣжей, какъ ночь“, она—„ангелъ кротости и грусти“, съ сердцемъ „дѣвственнымъ и чистымъ“. Съ умиленіемъ преклоняется поэтъ передъ этимъ идеаломъ вѣчно-женственного, какъ предъ высшимъ воплощеніемъ духовной красоты.

Особую группу среди любовной лирики Фета составляютъ довольно многочисленныя пьесы, навѣяныя воспоминаніемъ о какой-то погибшей юношеской любви, погибшей по его винѣ и оставившей въ душѣ поэта никогда незаживающую рану („Солица лучъ промѣжъ тучъ...“, „Старыя письма“, „Ты отстрадала, я еще страдаю...“ „Нѣтъ, я не измѣнилъ“, „Въ тиши и мракѣ таинственной ночи“, лирическая поэма „Сонъ поручика Лосева“ и др.). Всѣ эти стихотворенія исполнены задушевной нѣжности и глубокой, неисцѣлимой грусти: въ нихъ слышится отголосокъ подавленныхъ рыданій, врывающійся неожиданнымъ диссонансомъ въ свѣтлую и радостную поэзію Фета. Разгадать заключающіеся въ этихъ стихахъ намеки и объяснить ихъ отношеніе къ личной жизни поэта, это—задача его будущаго біографа. Для насъ достаточно отмѣтить, что въ этихъ стихотвореніяхъ Фета чувство любви взято не только съ его эстетической, болѣе внѣшней стороны, но затронута и его глубокая мистическая сущность: любовь—какъ предопредѣленіе, какъ роковое тяготѣніе двухъ родственныхъ душъ, какъ ничѣмъ непобѣдимая сила, устанавливающая связь даже между царствомъ живыхъ и мертвыхъ („Alter ego“).

Другою неизмѣнною вдохновительницей Фета была природа. Ни у кого изъ русскихъ поэтовъ, за исключеніемъ Тютчева, чувство природы не получило такого значенія въ поэтическомъ творествѣ, какъ у Фета. При этомъ у него чувство природы совпадало съ чувствомъ родины: въ то время какъ въ представленіи Тютчева родной край рисовался, какъ „сѣверъ безобразный“, отъ котораго онъ постоянно уносился мечтою къ „блаженному югу“, Фетъ, напротивъ того, всею душою былъ привязанъ именно къ этому родному и близкому его сердцу сѣверу. Побывавъ въ Италіи и во Франціи, онъ почти не вывезъ оттуда живыхъ поэтическихъ впечатлѣній; но зато простая, русская, „безпорывная“, по дивному выраженію Гоголя, природа отразилась въ его поэзии во всей своей непритязательной, понятной лишь любящему взору красотѣ. Въ поэзии Фета мы можемъ даже различить черты определенной мѣстности, именно той части великорусской равнины, гдѣ область лѣсовъ граничитъ съ просторомъ степей и гдѣ сквозь меланхолическую красоту сѣвернаго пейзажа уже явственно проступаютъ свѣт-

лая, радующія глазъ и сердце краски близкой Малороссіи. Это та самая полоса великорусской Украйны, картины которой въ такомъ обиліи разсыпаны въ произведеніяхъ Тургенева. Надъ поэзіей Фета носится свѣжій запахъ русскаго чернозема, въ его стихахъ раскрываются безконечныя дали полей и луговъ, прерываемыхъ лишь кое-гдѣ цѣпью зеленѣющихъ кургановъ да сверкающей полосой медленной степной рѣчки, притаившейся въ глубинѣ оврага. Въ поэтическихъ пейзажахъ Фетъ обнаружилъ много тонкой наблюдательности, умѣнье немногими чертами нарисовать цѣлую живую картину. Такія стихотворенія, какъ „Степь ночью“, „На Днѣпрѣ въ половодье“, „Весенній дождь“, „Опять незримыя усилья“, „Старый паркъ“, представляютъ прекрасныя образцы такихъ яркихъ и законченныхъ картинъ, слагающихся изъ ряда мѣтко схваченныхъ чертъ, дающихъ въ совокупности отчетливый зрительный образъ. Но еще болѣе характеренъ для Фета другой, импрессионистическій методъ изображенія природы, сила котораго заключается не столько въ яркости и наглядности, сколько въ вѣрной передачѣ общаго впечатлѣнія картины, при которомъ самая неясность отдѣльныхъ образовъ искупается присущей имъ суггестивностью. Прекраснымъ образцомъ этой фетовской манеры можетъ послужить стихотвореніе „Вечеръ“:

Прозвучало надъ ясною рѣкою,
Прозвенѣло въ померкшемъ лугу,
Прокатилось надъ рощей нѣмою,
Засвѣтилось на томъ берегу...
Далеко, въ полумракѣ, луками
Убѣгаетъ на западъ рѣка;

Погорѣвъ золотыми каймами,
Разлетѣлись, какъ дымъ, облака.
На пригоркѣ то сыро, то жарко,
Вздохи дня есть въ дыханьи ночью...
А зарница ужъ теплится ярко
Голубымъ и зеленымъ огнемъ.

Если въ этомъ стихотвореніи живописный элементъ еще имѣетъ существенное значеніе, то во многихъ другихъ пьесахъ Фета онъ вводится лишь настолько, насколько это необходимо для передачи извѣстнаго настроенія. *Paysage intime*—вотъ излюбленный жанръ Фета, въ которомъ онъ является настоящимъ мастеромъ-чародѣемъ. Чудесное сліяніе души человѣческой съ вѣчною жизнью природы, живое и непосредственное ощущеніе ея дыханія, наполняющее сердце радостнымъ трепетомъ и какимъ-то любовнымъ счастьемъ,—вотъ что придаетъ такое обаяніе изображенію природы въ стихахъ Фета. Но и въ своихъ отношеніяхъ къ природѣ Фетъ остался вѣренъ себѣ: соотвѣтственно общему характеру его поэзіи, природа выступаетъ у него преимущественно со своей свѣтлой, праздничной стороны, во всемъ своемъ блескѣ и великолѣпіи. Поэтому Фетъ такъ часто и такъ охотно изображалъ весеннее пробужденіе ея, когда „дышитъ грудь свѣжо и емко“, „цвѣты глядятъ съ тоской влюбленной, безгрѣшно чисты, какъ весна“, надъ цвѣтущей степью поютъ жаворонки, „къ безотчетному веселью подымаясь въ небеса“, а по ночамъ „кличетъ соловей серебряные сны“.

Весеннее настроеніе, сладостное и томительное опьянѣніе полнотою радостныхъ ощущеній („Пчелы“) переходитъ иногда у поэта въ чувство молитвеннаго умиленія предъ красотою міровой жизни:

Пришла—и таетъ все вокругъ,	И вздохи неба принесло
• Все жаждетъ жизни отдаваться,	Изъ растворенныхъ вратъ Эдема...
И сердце, плѣнникъ зимнихъ вьюгъ,	Нельзя заботы мелочной
Вдругъ разучилося сжиматься.	Хотя на мигъ не устыдиться,
Заговорило, зацвѣло	Нельзя предъ вѣчной красотой
Все, что вчера томилось нѣмо,	Не пѣть, не славить, не молиться.

Особенно глубоко прочувствовалъ Фетъ красоту ночного пейзажа: недаромъ среди его стихотвореній есть цѣлый обширный отдѣлъ, озаглавленный: „Вечера и ночи“. „Каждое чувство бываетъ понятнѣй мнѣ ночью,—говоритъ поэтъ,—и каждый образъ пугливой нѣмой дольше трепещетъ во мглѣ“. Среди таинственно-молчаливой ночной природы душа словно омывается росистою влагой ночи, становится болѣе чуткой, болѣе воспримчивой ко всему высокому, настраивается на торжественный ладъ. Самое наслажденіе утрачиваетъ свой эгоистическій характеръ, дѣлается чище и возвышеннѣе. Все мелкое, обыденное, узко-личное отпадаетъ, и предъ лицомъ звѣзднаго неба душа открывается, наконецъ, впечатлѣніямъ вѣчности.

На стогъ сѣна, ночью южной,	Я ль неся къ безднѣ полунощной,
Лицомъ ко тверди я лежалъ,	Иль сонмы звѣздъ ко мнѣ неслись?
И хоръ свѣтилъ, живой и дружный,	Казалось, въ чьей-то длани мощной
Кругомъ раскинувшись, дрожалъ.	Надъ этой бездною я повисъ.
Земля, какъ смутный сонъ, нѣмая,	И съ замираньемъ и смятеньемъ
Безвѣстно уносила прочь,	Я взоромъ мѣрилъ глубину,
И я, какъ первый житель рая,	Въ которой съ каждымъ я мгновеньемъ
Лицомъ къ лицу увидѣлъ ночь.	Все невозвратнѣе тону.

Характерно, какую важную роль играли вообще звѣзды въ поэзіи Фета. Чаше, чѣмъ кто-либо изъ русскихъ поэтовъ, за исключеніемъ, пожалуй, Лермонтова, обращалъ онъ свои взоры ввысь, къ звѣздному небу, словно тамъ, въ этой мерцающей дали, была для него заключена какая-то вѣщая, чарующая тайна, волнующая и успокоительная въ одно и то же время. Красота звѣздной ночи дѣйствовала на него, какъ нѣкое откровеніе, смутное, но могучее. Еще въ одномъ изъ юношескихъ своихъ стихотвореній онъ говорилъ:

Я долго стоялъ неподвижно,	Я думалъ... не помню, что думалъ,
Въ далекія звѣзды вглядясь:	Я слушалъ таинственный хоръ...
Межъ тѣми звѣздами и мною	И звѣзды тихонько дрожали—
Какая-то связь родилась.	И звѣзды люблю я съ тѣхъ поръ.

Когда-то давно, можетъ быть, еще въ дѣтствѣ, поэтъ заглядѣлся на звѣздное небо, и съ тѣхъ поръ между его душой и далекими звѣздами установилась навсегда какая-то таинственная связь. Въ часы, когда вокругъ „царитъ всны таинственная сила, съ звѣз-

дами на челѣ“, ему кажется, что „всѣ звѣзды до единой тепло и кротко въ душу смотрять вновь“. Звѣзды—не чужія для него, отъ нихъ вѣтъ чѣмъ-то роднымъ, предъ ихъ мерцающимъ взоромъ довѣрчиво раскрывается сердце: „Отъ людей утѣться возможно, но отъ звѣздъ ничего не сокрыть“.

Звѣзды—нетлѣнные свидѣтели его счастья: „И я знаю, взглянувши на небо порой, что взирали на нихъ мы, какъ боги, съ тобой“. Даже въ очахъ любимой женщины онъ стремится уловить ихъ таинственное отраженіе,—онъ ждетъ, „чтобы въ глазахъ ея, загадочныхъ, какъ ночь, затрепетали звѣзды счастья“. Но и въ тяжелыя минуты, въ минуты горестныхъ воспоминаній и сердечныхъ угрызений, взоръ его неизмѣнно обращается къ небу, и ему чудится, что „въ звѣздномъ хорѣ знакомыя очи горятъ въ степи надъ забытой могилой“, а когда сгустится вокругъ него „мракъ жизни вседневной“ и сердце мучительно сожмется отъ житейскаго холода, въ далекомъ небѣ,

...какъ зовъ задушевный,
Сверкають звѣздъ золотыя рѣсницы.

Созерцаніе звѣзднаго неба неизмѣнно дѣйствовало на душу поэта умиротворяющимъ и возвышающимъ образомъ. Оно просвѣтляло его сознаніе, снимало съ него путы эгоистическихъ страстей, приводило его къ мысли о вѣчности и о Богѣ. Вмѣстѣ съ мерцающимъ свѣтомъ до чуткаго уха поэта доносился отъ звѣздъ и таинственный голосъ: „вѣчность—мы, ты—мигъ“...

Намъ нѣтъ числа. Напрасно мыслью жадной
Ты думы вѣчной догоняешь тѣнь:
Мы здѣсь горимъ, чтобъ въ сумракъ непроглядный
Къ тебѣ просился беззакатный день.
Вотъ почему, когда дышать такъ трудно,
Тебѣ отрадно такъ поднять чело
Съ лица земли, гдѣ все темно и скудно,
Къ намъ, въ нашу глубь, гдѣ пышно и свѣтло.

Но въ этой мысли о вѣчности, предъ которой такой ничтожной кажется доля человѣка, не было для поэта ничего подавляющаго: его не страшили, какъ Паскаля, безконечныя дали звѣздныхъ пространствъ. Напротивъ того, въ таинственномъ общеніи съ міромъ звѣздъ ему какъ бы открывалась природа собственной души, ея глубочайшая сущность, и эта сущность оказывалась близкой, родственной съ тою міровой жизнью, которая дышала вокругъ, которая горѣла „и мощно, и нѣжно“ въ „яркомъ молчаніи“ далекихъ свѣтилъ.

Мой духъ, о ночь, какъ падшій серафимъ,
Призналъ родство съ нетлѣнной жизнью звѣздной,
И, окрыленъ дыханіемъ твоимъ,
Готовъ летѣть надъ этой тайной бездной.

Отъ этого непосредственнаго чувства изначальной связи между человѣкомъ и окружающей природой поэтъ естественно приходитъ

къ признанію внутренняго единства всей міровой жизни, какъ чувственнаго воплощенія и отраженія Божественнаго начала. Въ извѣстномъ стихотвореніи „Измученъ жизнью“..., проникнутомъ глубокимъ пантеистическимъ чувствомъ, онъ говоритъ:

И все, что мчится по безднамъ ээира, Твой только отблескъ, о солнце міра,
И всякій лучъ, плотской и безплотный, — И только сонъ, только сонъ мимолетный...

Все въ жизни—„лишь сонъ мимолетный“, но этотъ сонъ прекрасенъ, потому что въ немъ чувствуется дыханіе вѣчности. Въ художественномъ, созерцательномъ пантеизмѣ Фета нашло себѣ примиреніе живое ощущеніе мгновенія съ мыслью о безконечномъ. Въ юности—пѣвецъ мгновенія, онъ въ старости становится поэтомъ вѣчности.

Въ его позднѣйшихъ философскихъ стихотвореніяхъ нѣтъ особенной глубины и оригинальности, но и они по своему содержанію удивительно гармонируютъ съ общимъ бодрымъ, оптимистическимъ настроеніемъ его поэзіи. Въ міросозерцаніи Фета не было элементовъ трагизма: роковыя „противорѣчія бытія“ не смущали его мысли и не волновали его нравственнаго сознанія, потому что, рѣшая эти вѣчные вопросы о добрѣ и злѣ, о жизни и смерти, о Богѣ и человѣкѣ, онъ оставался тѣмъ же художникомъ - созерцателемъ, для котораго высшимъ критеріемъ познанія является красота,—та красота, которая нѣкогда, по слову Достоевскаго, „спасетъ міръ“. Этой вѣчной, божественной красотѣ Фетъ ревностно служилъ всю свою жизнь, ее одну искалъ онъ въ свѣтѣ и воплощалъ въ своихъ стихахъ, и если дѣйствительно исполнится пророчество Достоевскаго, и красота обновитъ нашъ бѣдный міръ, то имя Фета должно навѣки сохраниться, какъ одного изъ самыхъ вѣрныхъ апостоловъ и провозвѣстниковъ ея грядущаго царства.

3.

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ.

(1821—1897)

А. А. Дивильковскаго.

А. Н. Майковъ принадлежитъ къ тѣмъ русскимъ поэтамъ, творчество которыхъ вошло уже въ плоть и кровь общества, стало неотдѣлимой частью нашей наслѣдственной психологіи. Часто мы даже сами не подозреваемъ, что имѣемъ дѣло съ идеями, чувствами, навѣянными поэзіей Майкова. И этотъ процессъ полубезсознательнаго впитыванія его поэзіи продолжается и сейчасъ: романсы, исполняемые въ концертахъ на слова Майкова, стихи его въ хрестоматіяхъ, эпиграфы и цитаты изъ его стиховъ совершаютъ свой круго-

воротъ въ жилахъ общества, часто безъ упоминанія имени ихъ творца.

Майковъ можетъ быть названъ баловнемъ судьбы. Происходя изъ древнѣйшаго дворянскаго рода, онъ съ дѣтства росъ въ средѣ талантовъ, искусства и красоты. Отецъ его былъ талантливый художникъ, мать—литературно-образованная женщина, сама участвовавшая въ литературѣ. Учителемъ Майкова въ русской словесности былъ И. А. Гончаровъ. Въ домѣ Майковыхъ собирались лучшіе художники и литераторы того времени.

Въ такой-то эстетической теплицѣ, какъ бы въ яркомъ оазисѣ посреди мрачной пустыни тогдашней крѣпостной Россіи, рано и безмятежно распустился этотъ душистый цвѣтокъ поэзіи. А. Н. Майковъ сталъ писать стихи 15-ти лѣтъ, и безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что первыя его стихотворенія уже ничѣмъ не уступаютъ въ изяществѣ формы и силѣ выраженія его лучшимъ, позднѣйшимъ вѣщамъ. Эта же ровная поэтическая сила сохранялась въ немъ 60 лѣтъ, почти вплоть до смерти.

Въ первый періодъ своего творчества, примѣрно, до 1843 г. (до возвращенія изъ Италіи), Майковъ выступаетъ передъ нами чистой воды „антологистомъ“, поклонникомъ-пѣвцомъ древней, греко-римской культуры въ ея прекрасныхъ подробностяхъ. Такимъ онъ и доселѣ сохраняется въ представленіи многихъ, несмотря на то, что въ послѣдующей своей литературной дѣятельности онъ круто измѣнилъ свое отношеніе къ классической древности. Но покамѣстъ, въ началѣ 40-хъ годовъ, всѣ поэтическія настроенія Майкова имѣютъ одну общую исходную точку: восторгъ передъ античностью. Это до того вѣрно, что даже въ чисто-русской, сѣверной картинѣ „Зимнее утро“ онъ явно сбивается на Овидія, почему и русскимъ крестьянамъ даетъ названіе „звѣролова“ и „рыбака“, а не просто мужика. И названія его стихотвореній все: „Вакханка“, „Плющъ“, „Пріапу“, „Горный ключъ“, „Горы“ и т. п.

Интересно отмѣтить, что, воспѣвая въ 1841 г. горы въ великолѣпномъ стихотвореніи, замѣчательно схватывающемъ дико-нестройную фізіономію огромныхъ гранитныхъ хребтовъ, Майковъ еще ни разу въ жизни не бывалъ въ горахъ! Это и показываетъ, что въ тѣ годы талантъ его питался не столько непосредственнымъ вдохновеніемъ жизни и природы, сколько глубокимъ эстетическимъ проникновеніемъ въ чужія созданія—другихъ людей, умершихъ народовъ.

Но и самостоятельность Майкова, какъ поэта, сказала въ этотъ періодъ именно предпочтеніемъ къ классическому,—послѣ того, какъ предшествующіе поэты уже заложили фундаментъ народно-реального искусства. Эта видимая аберрація отъ господствующаго теченія коренилась какъ въ основательномъ классическомъ образованіи Майкова по подлинникамъ такъ, безъ сомнѣнія, и въ томъ фактѣ, что онъ готовился сперва къ поприщу живописца, а не поэта, и

обнаружилъ здѣсь большія способности. Въ живописи же тогда еще безраздѣльно царствовала древность (вспомнимъ К. Брюллова и его сюжеты). Вліяніемъ живописи можно объяснить и „пластичность“ ранней майковской антологіи, ея объективно-зрительный характеръ. Впослѣдствіи Майковъ все больше уходилъ отъ этой созерцательной, живописной поэзіи въ сторону чистой лирики и музыки словъ, хотя все же остался навсегда образцовымъ „Живописцемъ въ Лирикѣ“.

„Любованіе красотою жизни“, въ художественномъ преобразованіи послѣдней,—вотъ тонъ этого періода Майкова, со стороны содержанія. Наиболѣе ярко этотъ тонъ звучитъ въ двухъ „эпикурейскихъ пѣсняхъ“ (1840): „Мирта Киприды мнѣ дай“... и „Блеститъ чертогъ; горитъ елей“... Но тутъ же видна уже и болѣе глубокая подкладка его: ужасъ поэта передъ неминуемымъ уничтоженіемъ прекрасной жизни (образъ скелета на пиру). Эта поэтическая антиномія—первый зародышъ той антиноміи, которая даетъ, т. ск., общую тональность дальнѣйшему творчеству Майкова: ужасъ передъ грубыми, слѣпыми силами дѣйствительности, восхищеніе скрытою, „свободной“ красотой внутренняго человѣка. Въ „эпикурейскихъ пѣсняхъ“ антиномія носитъ еще наивно-матеріальную форму.

Конецъ „антологическому“ періоду поэта положенъ былъ очною ставкою съ развалинами Рима. Въ 1842 г. Николай I взыскалъ поэта своею милостью за сборникъ стиховъ и велѣлъ выдать ему 1000 р. на поѣздку въ Италію. Майковъ пробылъ годъ въ странѣ, гдѣ камни слишкомъ наглядно вопіютъ о безвозвратномъ паденіи прошлаго. И въ стихахъ поэта отразился душевный переломъ.

Все такъ же благоговѣтъ онъ передъ древностью (см. „Древній Римъ“):

Какъ пастырь посреди пустыни одинокой
Находитъ на скалѣ гиганта слѣдъ глубокой,
Въ благоговѣннй глядитъ и, полнъ тревогъ,
Онъ мыслить: здѣсь прошелъ не человѣкъ, а богъ...

Но „богъ“ этотъ для него оказывается уже умершимъ, безсильнымъ въ современности. А это—моральный приговоръ и надъ исторической цѣнностью тѣхъ началъ, началъ гордой силы и матеріальной красоты, которыми плѣняла поэта древность. Особенно ярко вылилось это разочарованіе въ прежнемъ идеалѣ въ стихотвореніи „Campagna di Roma“ (1844).

„Святость“ античной культуры не выдержала испытанія въ душѣ поэта. Но этимъ колебалась его вѣра въ самую красоту. Вѣдь онъ былъ все же вѣрнымъ ученикомъ великаго реалиста Пушкина въ томъ отношеніи, что искалъ и жаждалъ красоты въ реальной жизни, во всемъ обществѣ, въ ежедневности. Оттого лишь онъ и былъ влюбленъ въ полную ежедневной красоты античность. А нашедъ въ Италіи лишь обломки да осколки...

Поэтъ ищетъ выхода изъ этихъ противорѣчій. Сперва онъ было обратился къ Греціи, какъ воплощенію мирной красоты, противъ

Рима, который ему сталъ казаться лишь грубымъ и жестокимъ насильникомъ, врагомъ прекрасно-человѣческаго. Таково стих. „Игры“. Но потомъ быстро отдѣлался отъ новаго миража: вѣдь и изящныя Аѳины создались на жестокой почвѣ рабства, Римъ же лишь усвоилъ и распространилъ греческую культуру... И тутъ впервые пробилась у Майкова идея „Смерти Люція“ и „Двухъ міровъ“—о замѣнѣ эпохи виѣшней, насильнической красоты Греціи и Рима новою эпохой духовной красоты христіанства.

Съ этихъ поръ Майковъ будетъ все больше отворачиваться отъ всякой дѣйствительности, какъ отъ скучной и пошлой прозы, гдѣ нѣтъ мѣста истинной красотѣ, гдѣ „одна случайность роковая являлась въ ней и намъ самимъ“, какъ говоритъ христіанинъ-патрицій Марцеллъ въ „Двухъ мірахъ“. Истинную поэзію онъ будетъ находить въ мечтѣ, въ добромъ чувствѣ, въ невѣсомомъ, неосязаемомъ. Майковъ послѣ Италіи побывалъ въ Парижѣ и друг. мѣстахъ Зап. Европы, и европейская современность показалась ему еще гнуснѣе древняго насильника Рима. Тамъ, казалось ему, было хоть величіе дѣлъ, героизмъ борьбы, здѣсь—

Всѣмъ благамъ есть одинъ итогъ:
Набитый туго кошелекъ;
Сей ключъ подѣ всѣ подходитъ двери;
Вѣсь, слава, честность, прямота,

Великодушье, красота,
Честь, умъ—или, по крайней мѣрѣ,
Названье „умный человѣкъ“—
Все купишь золотомъ въ нашъ вѣкъ...

Такъ говоритъ у Майкова самъ „Духъ вѣка“ въ поэтическомъ діалогѣ съ „юношей“ (1844). Вообще, вся нынѣшняя западно-европейская цивилизація представлялась, повидимому, Майкову чѣмъ-то ложнымъ, какъ бы дутымъ, вродѣ грибовъ-паразитовъ на изгнившихъ остаткахъ міровой славы Рима. И, словно нищій мальчикъ среди развалинъ римскаго цирка (Стих. „Campagna di Roma“), бродятъ здѣсь толпы безпріютныхъ со злобнымъ крикомъ: „мы голодны!..“ Царствуетъ одинъ законъ—жадность.

У Майкова стало нарастать убѣжденіе, что лишь въ одной Россіи остается оплотъ противъ духа разложенія. Правда, въ эти годы убѣжденіе это находитъ еще мало выраженія. Майковъ сходится даже съ Бѣлинскимъ и „западническимъ“ кружкомъ „Современника“, также съ Петрашевскимъ *). Но туда привлекали его больше всего, надо думать, именно мечты о братствѣ людей, словомъ, „гуманная“ или „христіанская“ сторона дѣла, а никакъ не „западничество“ само по себѣ и не экономическіе проекты Фурье, Прудона и Луи Блана **). Поэтому-то онъ ближе всѣхъ сошелся

*) С. А. Венгеровъ, Оч. по истор. русск. литературы, 2 изд., стр. 28: „Долго и усердно посѣщалъ пятницы Петрашевскаго Ап. Майковъ, но спасся отъ преслѣдованія только потому, что случайно прекратилъ свои посѣщенія къ тому времени, когда за пятницами былъ организованъ надзоръ“. Ср. также: В. Семевскій, „Изъ ист. обществ. идей въ Россіи въ концѣ 40 гг.“ (СПб., 1905).

**) См. собственное свидѣтельство объ этомъ Майкова въ письмѣ Висковитову.—Златковскій, „Біографія А. Н. Майкова“, стр. 45.

здѣсь съ *Θ. М. Достоевскимъ*, съ которымъ у него и впоследствии было такъ много общаго.

Гораздо тѣснѣй примыкаетъ вскорѣ затѣмъ Майковъ къ новославянофильской редакціи „Москвитянина“. Тутъ онъ окончательно опредѣляетъ для себя идею избраннаго народа русскаго, народа-богоносца, „3-го Рима“, народа-христіанина, по преимуществу. И въ своихъ новыхъ стихахъ онъ принимается разрабатывать параллельно мотивы „внутренней свободы“, душевной красоты и мотивы русско-націоналистическіе. Тѣмъ не менѣе, какъ ни былъ патріотически-миролюбиво настроенъ поэтъ, но ужасные годы реакціи (1848—1855) вырвали и у него негодующій вопль, хотя снова въ привычной ему „римской“ оболочкѣ. Я имѣю въ виду драматизированную поэму „Три смерти“ (или „Смерть Люція“). Всѣ три героя этого трагическаго отрывка—эпикурецъ Люцій, стоикъ Сенека и поэтъ Луканъ,—готовятся къ смерти (по приговору Нерона за участіе въ заговорѣ Пизона), выражаютъ въ своихъ рѣчахъ глубокую гражданскую скорбь и „тацитовское“ негодованіе.

Но въ то же время у Майкова зрѣла вѣра въ особо прекрасное будущее русскаго народа. Если въ „Трехъ смертяхъ“ мы видимъ еще чистое отрицаніе дѣйствительности, выражающееся въ пассивномъ бѣгствѣ отъ нея (даже у стоика Сенеки, убѣжденнаго въ существованіи лучшаго, другого, загробнаго міра), то другія стихотворенія этого періода стремятся уже извлечь изъ нѣдръ русской души, русскаго народа какія-то поруки положительнаго торжества красоты надъ черной дѣйствительностью. Въ задушевной „идилліи“ „Дурочка“ (1851) Майковъ даетъ намъ жизненный, дѣйствительно народный типъ юродивой дѣвочки (впрочемъ, изъ помѣщичьей среды), совершенно ни къ чему негодной въ условной, „культурной“ жизни. II вотъ эта бѣдная Дуня, „безумная невѣста“, все бредитъ, что есть какой-то „городъ великій“,

Гдѣ рабы со всякихъ странъ;
Царь въ томъ городѣ предикій
И гонитель христіанъ;
Что онъ травитъ ихъ тамъ львами,
Чтобъ отъ вѣры отеклись;
Что ихъ кровь течетъ ручьями—
А они все не сдались...

Мечты ея смѣшны и нереальны, но зато поднимаютъ ее надъ всѣми окружающими, неудержимо привлекаютъ къ ней простыя сердца, особенно дѣтскія. И когда она умерла жертвою своихъ утопій,—

Хоть пути въ ней было мало
И вся жизнь ея былъ бредъ,
Безъ нея-жъ замѣтно стало,
Что души-то въ домѣ нѣтъ...

Лирическія поэмы „Савонаролла“ (1851) и „Клермонтскій соборъ“ (1853) опредѣленно выступаютъ противъ „искаженнаго“, за-

паднаго христiанства, гдѣ водворилась, подъ маскою любви, ненависть къ людямъ и „геній смерти“. Во второй изъ этихъ поэмъ выдвигается цѣлая историческая теорiя моральнаго крушенiя Запада и правъ Россiи, какъ единственнаго наслѣдника истиннаго Христа. При этомъ христiанскiя притязанiя Майкова явно принимаютъ здѣсь воинственный, „государственный“ отпечатокъ: роковое недоразумѣнiе, котораго поэтъ не замѣчалъ всю свою жизнь, но которое и позволяло ему беззаботно нести чиновничью лямку.

Впрочемъ, воинственность здѣсь происходила также и отъ влiянiя времени. Патрiотизмъ Майкова задѣтъ былъ столкновениемъ съ Западомъ въ Крымской войнѣ. Поэтъ выпустилъ сборникъ стиховъ „1854 годъ“, проникнутый крайнимъ націонализмомъ. Послѣднiй доходитъ до славословія всему существующему порядку, какъ, напр., въ стих. „Посланiе въ лагерь“:

....Тотъ гордый идеалъ, который, окрыляя
Любовію нашъ духъ въ годину горькихъ бѣдъ,
Все осязательнѣй и ярче тридцать лѣтъ
Осуществляется подъ скиптромъ Николая.

Здѣсь звучитъ, несомнѣнно, неискренняя нота лести. Такъ или иначе, „севастопольскiй“ сборникъ стоилъ Майкову сильнаго охлажденiя публики. Некрасовъ помѣстилъ въ „Соврем.“ язвительную рецензію, гдѣ, подъ формой похвалы добрымъ чувствамъ поэта, указывалъ на отсутствiе въ стихахъ обычнаго его таланта. И съ этихъ поръ читательская публика стала относиться къ Майкову, какъ къ жрецу искусства, стоящему въ сторонѣ отъ прогрессивныхъ чаянiй эпохи, склонному къ реакціи.

Майковъ же, въ сущности, продолжалъ итти намѣченнымъ ранѣе путемъ внутренняго развитiя. Лишь среда давила поэта подъ общее ярмо сильнѣе, чѣмъ онъ желалъ. И, конечно, начало новаго царствованiя, облегчившее цензурную тяжесть, и для Майкова оказалось благотворнымъ. На эти годы (начиная съ 1856) приходится большое число тѣхъ лирическихъ стихотворенiй Майкова, которыя наиболѣе остаются въ русской памяти. Стоитъ лишь перечислить ихъ здѣсь: „Весна“, „Весна! выставляется первая рама“, „Боже мой! вчера ненастье“... „Поле зыблется цвѣтами“..., „Подъ дождемъ“, „Утро“ („преданiе о виллисахъ“), „Въ лѣсу“, „Все вокругъ меня, какъ прежде“, „Вотъ бѣдная чья-то могила“..., „Журавли“, „Облачка“, „Ласточки“, „Осеннiй лѣсъ“, „Осень“, „Сѣнокосъ“, также стихотворенiя: „Дочери“, „Мать“ и др. Сюда же надо прибавить общеизвѣстныя стихотворенiя по поводу крестьянской „воли“: „Картинка“ („Посмотри, въ избѣ, мерца“...), „Поля“ и „Нива“ („По нивѣ прохожу я узкою межою“...). Интересно, что большая часть изъ всѣхъ названныхъ выше стихотворенiй относится къ одному году—къ 1857-му.

Содержанiе большинства этихъ пѣсенъ какая-то ускользающая, неопредѣленная тоска по чѣмъ-то скрытомъ отъ нашего взора, по какой-то великой тайнѣ, дающей жизни всю ея цѣну и радость.

Словомъ, это—какъ разъ то „внутреннее“, то „божье“, что открылъ поэтъ въ своей дурочкѣ Дунѣ и что открываетъ онъ теперь въ людяхъ, вообще, и въ природѣ. Зато здѣсь почти нѣтъ и слѣда былой живописной, „пластической“, „земной“ красоты. Даже въ „гражданскихъ“ стихахъ Майковъ выступаетъ пѣвцомъ невѣдомой широкой „дали“, открывающейся передъ народомъ.

Такъ, въ геніально-простомъ и нѣжномъ 8-мистишин „Весна“ поэтъ какъ бы хочетъ подслушать скрытый, „божій“ смыслъ перехода отъ послѣднихъ остатковъ злой зимы къ первымъ проблескамъ радости—весны:

Голубенькій, чистый
Подпѣвникъ-цвѣтокъ!
И тутъ же сквозистый
Послѣдній снѣжокъ...

Послѣднія слезы
О горѣ быломъ,
И первая греза
О счастьѣ иномъ...

Приведемъ еще „Облачка“, въ виду того, что здѣсь поэтъ прямо выражаетъ сущность своего интимнаго, душевнаго разговора съ природой:

Въ легкихъ нитяхъ, бѣлой дымкой
На лазурь сквозясь,
Облачка бѣгутъ по небу,
Съ вѣтеркомъ рѣваясь.
Любо ихъ слѣдить очами...
Выше—вѣчность, Богъ!
Взоръ безъ нихъ остановится-бъ
Ни на чемъ не могъ...

Страсти сердца! сны надежды!
Вдохновенья бредъ!
Быль бы чуждѣ безъ васъ и страшенъ
Сердцу Божій свѣтъ!
Васъ развѣять съ неба жизни,—
И вся жизнь тогда—
Силь слѣпыхъ, законовъ вѣчныхъ
Вѣчная вражда.

Въ наиболѣе общей формѣ, впрочемъ, лирическая философія природы выражена Майковымъ гораздо позднѣе—въ 1870 г., въ звучащемъ, какъ музыка эльфовъ, гимнѣ природы „Панъ“. Богъ Панъ (говоритъ въ примѣч. поэтъ)—„олицетвореніе природы; по-гречески Πᾶν значитъ: все“. Майковъ изображаетъ жаркій, тихій полдень въ лѣсу, какъ сонъ бога Пана, грезящаго о чемъ-то сокровенномъ. О чемъ же? Въ томъ и отличіе лирическаго пантеизма Майкова отъ объективнаго пантеизма, напр., спинозиста—Гёте, что майковский Панъ видитъ сны, которые слетаютъ къ нему „изъ самой выси святыхъ небесъ“. Это,—такъ сказать, языческій Панъ, крещеный въ христіанство, символъ сокровеннаго нравственнаго міропорядка, творимаго любвеобильнымъ Богомъ.

Такъ выяснялъ себѣ поэтъ самого себя... Въ это же время, время общаго оживленія на Руси, Майковъ получилъ (отъ Морского вѣдомства), на ряду съ десяткомъ другихъ писателей, командировку въ путешествіе. Поѣхалъ онъ въ Грецію моремъ, и плодомъ этой поѣздки было двѣ серіи стихотвореній: „Неаполитанскій альбомъ“ (1858—59) и „Новогреческія пѣсни“ (1858—62). Сопоставляя ихъ между собою, мы снова находимъ существенную разницу въ отношеніи поэта къ православному Востоку и „гнилому“ Западу. Въ „Неаполитанскомъ альбомѣ“, правда, крайне живо схвачены черты кра-

сивой страсти, вольнаго веселья Італіи, къ которымъ не остается равнодушенъ поэтъ. Но въ глубинѣ каждой пьески „альбома“ вы видите скептически-насмѣшливое лицо поэта, не вѣрящаго ни въ эту красоту, ни въ эту волю.

Новогреческія же пѣсни, безъ всякой задней мысли, рисуютъ намъ героическую борьбу за вѣру и свободу маленькаго христіанскаго народца противъ варваровъ - азіатовъ. Очевидно, симпатія автора причислила и этихъ „паликаровъ“ и „капитановъ“ къ избранному народу родины.

Понятно изъ всего предыдущаго, что, вернувшись домой, гдѣ какъ разъ открылся среди интеллигенціи расколъ между „отцами“ и „дѣтьми“—между представителями старой, дворянской, идеалистической культуры и новыми, разночинными „матеріалистами“ - пришельцами, Майковъ цѣликомъ присталъ къ „отцамъ“. Можно даже сказать, что мало кто изъ „отцовъ“ такъ ненавидѣлъ „нигилистовъ“, какъ благодушный Майковъ. Слѣдъ этой ненависти сохранился, напр., въ стих. „Два бѣса“ (1876) и въ типѣ грязнаго Циника въ „Двухъ мірахъ“.

60-ые годы гораздо бѣднѣе творчествомъ въ жизни нашего поэта, чѣмъ прежнія 10-лѣтія. Это, впрочемъ, зависитъ болѣе всего отъ того, что онъ весь отдался теперь созданію своей большой лирической трагедіи, которую считалъ дѣломъ жизни. Изъ этого промежутка мы лишь упомянемъ, кромѣ ранѣ отмѣченныхъ,—„Приговоръ“ (Легенда о Констанцкомъ соборѣ), „Карамзинъ“, „Упраздненный монастырь“ и „Кто онъ?“, послѣднія три—дальнѣйшее развитіе „патріотической“ стороны идей Майкова.

Въ 1872 г. Майковъ кончилъ трагедію „Два міра“.

Въ ней, какъ въ фокусѣ, сходятся всѣ отдѣльные лучи поэзіи Майкова. Съ ея высоты легко услѣдить всѣ развѣтвленія его идей, вплоть до самыхъ мелкихъ его твореній. Центральная же идея самой трагедіи—столкновение погибающаго Рима съ новорожденной религіей рабовъ, христіанствомъ,—ясно отзывается философіей исторіи Гегеля. Конечно, Майковъ рѣшаетъ задачу по-своему, но постановкой ея онъ обязанъ нѣмецкой философіи конечно, черезъ посредство русскихъ гегельянцевъ—Бѣлинскаго и славянофиловъ.

Съ художественной стороны трагедія вообще говоря, производитъ непосредственное и сильное впечатлѣніе. Но глубокій внутренній разладъ, ей присущій, становится замѣтенъ, какъ только обратимся къ идейнымъ цѣлямъ автора. Онъ, конечно, ставитъ въ идеалъ для русскаго читателя, для всего народа самоотверженную вѣру римскихъ рабовъ. Изъ этого получается нерѣдко „рабья“ тенденція.

Въ уста своихъ христіанъ онъ не разъ влагаєтъ похвалу той „свободѣ“, какая царствуетъ въ области духа; здѣсь оказывается даже полная, равноправная духовная демократія. Но эта „свобода“ достигается бѣгствомъ отъ жизни, отъ дѣйствительности, т.-е. почти

отъ всякаго дѣйствія, поведенія. Задача невысказанная, утопическая, хотя и признававшаяся поэтомъ всю жизнь за высшую мудрость. Опасность ея видна хотя бы изъ словъ Марцелла (2-ой актъ): „Наше тѣло есть кесаря. Нашъ духъ всецѣло Господень“. Еще раньше онъ говоритъ о кесарѣ:

... Поставленъ

Отъ Бога онъ царемъ племенъ.
Во всемъ, чѣмъ можетъ быть прославленъ
Онъ на землѣ и вознесенъ—
Побѣдой надъ неправдой, славой
Въ защитѣ сирыхъ, торжествомъ
Хотя-бъ меча и мзды кровавой
Надъ буйной силой, надъ врагомъ
Ему повѣреннаго царства,—
Служить ему нашъ Богъ судилъ...

Вотъ что значитъ: „отдавать кесарево кесарю“. Въ концѣ-концовъ въ земной жизни люди всегда остаются рабами внѣшней силы, складывая съ себя лишь отвѣтъ за свои рабскія дѣянія. „Свобода“ остается лишь для вольной смерти да для взаимнаго утѣшенія въ обидахъ отъ „кесаря“... Но это вѣдь полный отказъ отъ строенія „земной“ жизни и фактическое одобреніе всякой, самой черной дѣйствительности!

„Двумя мірами“ закончилось развитіе таланта Майкова. Въ дальнѣйшемъ онъ пишетъ еще немало крупныхъ вещей—напр., „Емшанъ“, „Пульчинелль“, „Весна“ („Уходи, зима сѣдая“...), „Excelsior“ (рядъ стих.), „Судъ предковъ“ (родъ художественнаго обоснованія дворянскаго консерватизма) и проч. Но все это—больше перепѣвы старыхъ пѣсенъ Майкова. Усерднѣе всего занимается онъ наклонѣнъ лѣтъ стилистической чисткой прежнихъ произведеній и переводами. Въ переводахъ („Кассандра“—отрыв. траг. Эсхила „Агамемнонъ“; „Слово о полку Игоревѣ“) интересенъ, главнымъ образомъ, выборъ поэтомъ темъ, рисующихъ также столкновеніе „двухъ міровъ“; въ частности, въ „Сл. о полку Иг.“ самъ Майковъ видитъ столкновеніе высшей культуры „Дажьбожьихъ внуковъ“ (т.-е. дѣтей Солнца—русскихъ) съ „Дивовыми сынами“ (сынами Тьмы, степными варварами). И даже въ прозаическихъ „Разсказахъ изъ русской исторіи“ для народа Майковъ преслѣдуетъ ту же идею столкновенія культуръ: русской съ татарской, Востока съ Западомъ.

Идея „Двухъ міровъ“ доминируетъ надъ всѣмъ творчествомъ поэта съ юности до могилы. Это понятно для писателя эпохи, когда совершился переломъ русской исторіи. Крѣпостное рабство уступило мѣсто высшимъ формамъ культуры. Правда, поэтъ, корнями своими неразрывно связанный съ однимъ изъ крѣпостническихъ классовъ—дворянскимъ, не въ силахъ былъ обнять весь смыслъ огромнаго явленія; но онъ живо чуялъ его своей поэтической душой и отразилъ въ своихъ созданіяхъ, какъ могъ. Его хрупкая, „неземная“ концепція новаго міра слишкомъ узка, ограничена; но она все же

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ.

Съ портрета В. Г. Перова. 1872 г.
(Третьяковская галлерей въ Москвѣ.)

Яполонъ Николасъ Мейковъ.

Ср подіе В. П. Перова. 1872 г.
(Тетраковская галерея в Москвѣ).



Аном. Инок. Маѣковъ.



живая концепція, вѣрно схватывающая хотя часть нравственныхъ чертъ грядущаго общества, именно—идею великой цѣнности каждой человѣческой личности. Майковъ не отразилъ другой, быть можетъ, болѣе важной части: идей реальной борьбы, героизма практическаго дѣйствія, творчества дѣйствительности. Но не его въ томъ вина.

Въ общемъ, онъ оставилъ намъ замѣчательное наслѣдство. И оно будетъ жить въ памяти народа и тогда, когда загложнетъ память о всякихъ дворянско-патріотическихъ тенденціяхъ, которымъ, какъ „кесарю“, отдастъ поэтъ невольную земную дань.

4.

Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ.

(1825—1893)

П. И. Сакулина.

1.

Потомокъ стараго дворянскаго рода, изъ котораго нѣкогда вышелъ знаменитый митрополитъ Алексѣй, Плещеевъ находился въ классовомъ и духовномъ родствѣ съ лучшими писателями николаевской эпохи. Все въ немъ, начиная съ наружности и манеръ и кончая психологіей и міровоззрѣніемъ, живо переноситъ насъ въ ту социальную среду, которая дала Станкевича, Грановскаго, Герцена и Тургенева.

Высокая фигура поэта, съ длинными вьющимися волосами, съ мягкими умными глазами, дышала простотой и благородствомъ. Плещеевъ, вспоминалъ В. П. Острогорскій,—былъ „личностью въ высшей степени цѣльной... Это былъ настоящій джентльменъ въ самомъ лучшемъ смыслѣ слова“. Глубоко правдивая, честная, сердечная и поэтическая натура Плещеева привязывала къ нему друзей и обезоруживала враговъ. Онъ до такой степени былъ полонъ кроткой благожелательности, что даже стрѣлы, которыя временами онъ посылалъ негодующей рукой въ непріятельскій станъ, не причиняли злыхъ уколовъ и неизлѣчимыхъ ранъ.

Уступая многимъ изъ своихъ современниковъ въ силѣ таланта и въ широтѣ образованія, Плещеевъ въ мѣру своей индивидуальности отразилъ наиболѣе специфическія стороны умственной жизни середины XIX в.

Какъ водилось, родители предназначали Плещеева для военной карьеры, но будущій поэтъ очень скоро промѣнялъ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ на университетъ (въ 1843 г.). Правда, и петербургскій университетъ, несмотря на привѣтливость П. А. Плетнева, не надолго удержалъ въ своихъ аудиторіяхъ юношу, искавша-

го свободной и напряженной жизни. Его неудержимо притягивалъ къ себѣ водоворотъ новыхъ, чарующихъ идей, который бурлилъ за стѣнами университета. Литература сороковыхъ годовъ и критика Бѣлинскаго увлекали его не менѣе, чѣмъ Щебнева и Городкова (въ его разсказѣ „Благодѣяніе“ 1859 г.). Поэтъ, уже довольно удачно выступившій въ печати, покидаетъ университетъ и сближается съ идейными кружками петербургской молодежи. Въ срединѣ сороковыхъ годовъ мы видимъ его „петрашевцемъ“.

Плещеевъ не игралъ и не могъ играть здѣсь руководящей роли. Онъ былъ не болѣе, какъ преданнымъ неофитомъ усвоеннаго ученія и добрымъ товарищемъ въ несчастіи. Плещеевъ посѣщалъ пятницы Бутаевича-Петрашевскаго. Много лѣтъ спустя онъ свято хранилъ въ своей благодарной памяти образъ „труженика съ высокою душой“, кто заронилъ въ его грудь „зерно благихъ, возвышенныхъ стремленій“, зажегъ „огонь любви къ добру и вѣры въ человека“. Однако, тѣснѣе всего онъ примыкалъ къ группѣ С. Θ. Дурова.

Въ теченіе зимы 1848—9 гг. Плещеевъ устраивалъ собранія и у себя, на которыхъ бывали братья Θ. М. и М. М. Достоевскіе, С. Θ. Дуровъ, А. И. Пальмъ, Н. А. Спѣшневъ, А. П. Милюковъ, Н. А. Момбелли, Н. Я. Данилевскій (будущій авторъ „Россіи и Европы“) и Порф. Ив. Ламанскій. На этихъ собраніяхъ, между прочимъ, Спѣшневъ проектировалъ издавать за границей книги, запрещаемыя русской цензурою, при чемъ Данилевскій предлагалъ прежде всего напечатать популярное изложеніе ученія Фурье, а Милюковъ однажды читалъ статью Герцена „Петербургъ и Москва“. Немного вообще числилось дѣяній за участниками „заговора идей“, но много было передумано ими и перечувствовано. Плещеевъ принадлежалъ къ болѣе умѣренной части петрашевцевъ. Онъ оставался глухъ къ рѣчамъ своихъ радикальныхъ товарищей, которые идею личнаго Бога замѣняли „истиной въ природѣ“, которые проповѣдывали республиканизмъ, отвергали семью и бракъ. Чуждый рѣзкостей, онъ всѣ идеи и страсти стремился подчинить мѣрѣ, привести къ гармоніи. Впитывая въ себя общій ароматъ социалистическаго идеализма, Плещеевъ избѣгалъ крутой ломки своихъ вѣрованій и незамѣтно сливалъ религію социализма съ евангельскимъ ученіемъ о правдѣ и любви. Недаромъ съ такимъ вниманіемъ прислушивался онъ къ автору „Paroles d'un croyant“ *). Изъ этого произведенія Ламнэ онъ взялъ, между прочимъ, эпиграфъ для стихотворенія „Сонъ“, выражавшій дорогую для поэта мысль: „La terre est triste et desséchée; mais elle reverdira. L'haleine du méchant ne passera pas éternellement“.

*) Интересно отмѣтить, что А. П. Милюковъ одну главу изъ „Paroles“ Ламнэ перевелъ на церковнославянскій языкъ и читалъ ее у Дурова. Милюковъ, кстати сказать, такоже не могъ сблизиться съ самимъ Петрашевскимъ, а дружилъ съ Плещеевымъ и Дуровымъ: Петрашевскій оттолкнулъ его „рѣзкой парадоксальностью взглядовъ и холодностью ко всему русскому“.

sur elle, comme un souffle qui brûle“ („Земля—печальна и изсушена, но она снова зазеленѣтъ. Дыханіе злого не будетъ вѣчно проноситься надъ нею, какъ палящее дуновение“).

Внѣ всякаго сомнѣнія, Плещеевъ сочувствовалъ толкамъ петрашевцевъ о необходимости уничтоженія крѣпостного права, о свободѣ печати, о гласномъ судопроизводствѣ и т. п.: когда появилось извѣстное письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, онъ поспѣшилъ въ копіи переслать его изъ Москвы своимъ петербургскимъ друзьямъ. Но надъ всѣмъ міромъ новыхъ понятій, ощущеній и стремленій рѣяли идеи общечеловѣческой правды, несмотря на свою неуволнимую общность столь много говорившія тогдашнему поколѣнію. Идя „путемъ тернистой правды“, Плещеевъ и его товарищи были готовы отдать странѣ своей родной „весь запасъ духовныхъ силъ“. Они „клялись идти къ высокой цѣли, не измѣняя клялись ей до конца“.

Крылатая мысль уносила ихъ воображеніе въ заманчивую даль, гдѣ въ туманной синевѣ едва маячили очертанія утопическаго острова. „Блѣдетъ парусъ мой, и звѣзды зажглись въ тверди голубой“, говорилъ нашъ поэтъ: „... часъ насталъ; и въ путь нетерпѣливымъ плескомъ зоветъ меня серебристый валъ“. Но въ моментъ торжественныхъ и суетливыхъ сборовъ на самомъ берегу пловцовъ неожиданно застигла суровая гроза: петрашевцы были арестованы и понесли тяжелыя наказанія. Плещеевъ „за распространіе письма Бѣлинскаго“ 19 дек. 1849 г. былъ приговоренъ къ отдачѣ въ рядовые Оренбургскаго батальона. Только въ апрѣлѣ 1857 г. онъ былъ возстановленъ въ своихъ гражданскихъ правахъ, а въ 1859 г. получилъ право жить въ столицахъ.

Катастрофа вызвала большой перерывъ въ литературной работѣ Плещеева. Въ 1856 г. „съ робостью новичка“, по выраженію Добролюбова, онъ вновь появляется въ печати, чтобы всецѣло отдаться литературнымъ занятіямъ. Дѣятельность его въ этомъ отношеніи была довольно разнообразна: онъ выступаетъ передъ нами поэтомъ, беллетристомъ, переводчикомъ, авторомъ научно-популярныхъ компиляцій, издателемъ и т. д. Широкое литературное образованіе всюду дѣлало Плещеева полезнымъ работникомъ. Но съ наибольшей продуктивностью его талантъ проявился въ беллетристикѣ и особенно поэзіи.

II.

По своему содержанію беллетристика Плещеева обнимаетъ время съ середины сороковыхъ до конца шестидесятихъ годовъ и самымъ тѣснымъ образомъ связана съ развитіемъ „натуральной школы“ сороковыхъ годовъ. Пушкинъ для Плещеева—мѣрило эстетическаго совершенства, Гоголь—„великій поэтъ“. Изъ многочисленныхъ представителей соціального романа на Западѣ и у насъ Плещеевъ болѣе всего испыталъ на себѣ вліяніе Жоржъ-Сандъ и Тур-

генева. Отголоски Жоржъ-Сандъ, поддержанной общимъ вліяніемъ французской соціалистической литературы, чувствуются у Плещеева какъ въ характерѣ сюжетовъ, такъ и въ отдѣльныхъ ситуаціяхъ его произведеній. Имя знаменитой романистки то и дѣло попадаетъ на страницахъ его повѣстей. Къ Тургеневу же Плещеевъ былъ близокъ какъ по своему общему міровоззрѣнію, такъ и по свойствамъ своего литературнаго таланта. Еще Добролюбовъ совершенно справедливо отнесъ его къ тургеневской школѣ беллетристовъ. Только пейзажъ, составляющій столь характерную и сильную сторону тургеневского творчества, почти отсутствуетъ у Плещеева (м. б., потому, что дѣйствіе его рассказовъ почти всегда происходитъ въ городѣ).

Плещеевъ обладалъ скромнымъ, но живымъ беллетристическимъ талантомъ. Въ его рассказахъ много непосредственной наблюдательности, мягкаго юмора, легкаго остроумія и бойкости изложенія. Сюжеты по большей части жизненны и интересны, но они не поражаютъ читателя сложностью концепціи. Замыселъ плещеевскихъ рассказовъ обыкновенно простъ и ясенъ отъ начала до конца, иногда даже анекдотиченъ. Психологія героевъ прозрачна, какъ стекло, и понятна до осязательности; чтобы у читателя не оставалось рѣшительно никакихъ сомнѣній насчетъ героя, авторъ снабжаетъ дѣйствующихъ лицъ обстоятельной и нерѣдко предварительной характеристикой, и при каждомъ новомъ поворотѣ повѣствованія предупредительно останавливается, чтобы дать читателю необходимыя поясненія. Легко и незамѣтно катится потокъ его рассказа, не натываясь на угловатые камни запутанной психологіи и не расплываясь въ зыбучемъ пескѣ смутныхъ настроеній.

Той же незамысловатой отчетливостью отличается и самая схема соціальныхъ взаимоотношеній, составляющая главное содержаніе плещеевской беллетристики. На сценѣ обычно—представители двухъ слоевъ общества: классъ крупнаго (но не высшаго) чиновничества и „чистенькая бѣдность“ (маленькій чиновникъ, учитель, трудящаяся дѣвушка). Между ними происходитъ коллизія всегда на почвѣ любви, и посредствующимъ звеномъ обыкновенно является излюбленный Плещеевымъ типъ слабовольнаго интеллигента идеалиста (Ивельевъ въ „Шалости“, Ломтевъ въ „Дружескихъ совѣтахъ“, Баклаевъ въ „Наслѣдствѣ“, Будневъ). Самъ жертва воспитанія и окружающей „среды“, онъ нерѣдко становится пассивнымъ орудіемъ несчастья для бѣдняковъ. Раскрывая всю пустоту и безнравственность „порядочныхъ людей“ общества, нравы *maisons bourgeoises et honnêtes*, авторъ идеализируетъ честную бѣдность и съ сочувствіемъ изображаетъ участь „лишнихъ людей“, которымъ нѣтъ мѣста въ суровыхъ соціальныхъ условіяхъ. Какъ видимъ, Плещеевъ-беллетристъ разрабатываетъ многія очередныя проблемы нашего соціального романа 40-хъ годовъ. Въ шестидесятыхъ годахъ общественная сатира Плещеева пріобрѣтаетъ больше энергіи и идейной опредѣленности подѣ

очевиднымъ вліяніемъ Щедрина-Салтыкова. Въ тонѣ „Губернскихъ очерковъ“ Щедрина и онъ обличаетъ чиновничество и общество Мутноводска (вѣроятно, Оренбурга), Красноводска, Желторѣцка, Ухабинска и пр. Авторъ не просмотрѣлъ и новыхъ людей, выдвинутыхъ историческимъ переворотомъ. Онъ сочувственно набросалъ намъ портретъ разночинца (Мекешинъ въ „Пашинцевѣ“, Борисовъ въ „Призваніи“ и Никита Знаменскій въ „Лотереѣ“), но сдѣлалъ это довольно бѣгло. Плещеевъ понимаетъ и до извѣстной степени сочувствуетъ демократической интеллигенціи, но, подобно Герцену и Тургеневу, не можетъ слиться съ ней. Онъ дѣлаетъ вылазки противъ „сухого, узкаго реализма“, противъ утилитаристовъ и разрушителей эстетики. Бывшаго петрашевца не увлекаетъ и социализмъ шестидесятниковъ. Плещееву болѣе близокъ прежній интеллигентъ сороковыхъ годовъ, видимо, эволюционирующий въ сторону новыхъ требованій жизни. „Пылкія мечтанія“, „святыя грезы“ Плещеевъ попрежнему будетъ считать дорогой принадлежностью молодости (какъ у Костина въ „Двухъ карьерахъ“ и Городкова въ „Благодѣяніи“), но его „положительные“ герои шестидесятыхъ годовъ уже надѣлены „прямымъ, здравымъ смысломъ“, не обольщаютъ себя „несбыточными грезами“ (Борисовъ въ „Призваніи“), отказываются отъ „соціальныхъ утопій“ юности (Заворскій въ „Пашинцевѣ“), проповѣдуютъ трудъ на пользу общества и народа (Глыбинъ въ „Пашинцевѣ“), стараются быть гуманными помѣщиками, честными чиновниками, идейными учителями, — словомъ, прогрессивными дѣятелями въ реальныхъ условіяхъ наличной дѣйствительности, какихъ желалъ видѣть и Тургеневъ. Шатровъ („Житейскія сцены“) цѣлью своей жизни считалъ „долгъ и самоотверженіе“ но находилъ преступнымъ „пренебрегать своими обязанностями во имя какой-нибудь отвлеченной цѣли... Не ищите себѣ дѣятельности далеко, она у васъ всегда подъ рукою“.

Промежуточное положеніе среди двухъ эпохъ не прошло даромъ и Плещееву. Жизнь научила его осторожности, привила недовѣрчивость къ широкимъ замысламъ утопическихъ умовъ и оставила грустный слѣдъ въ его идейномъ настроеніи. Беллетристика Плещеева даетъ достаточно конкретнаго матеріала для сужденія о томъ, какъ онъ реагировалъ на русскую дѣйствительность. Лирика раскрываетъ намъ наиболѣе интимныя переживанія поэта-идеалиста, то, что испытывалъ онъ въ минуты наивысшаго подъема своихъ духовныхъ силъ.

III.

Въ поэзіи Плещеевъ значительно болѣе ярокъ и самобытенъ, чѣмъ въ беллетристикѣ. Даже обиліе у него переводныхъ стихотвореній не опровергаетъ этого заключенія: онъ переводилъ лишь то, въ чемъ находилъ нѣчто родное для себя, и никогда не былъ простымъ подражателемъ. Гейне, поэты „молодой Германіи“, Байронъ, Роб. Соути, Томасъ Муръ, Шевченко и т. п. — вотъ имена, опре-

дѣляющія кругъ его поэтическихъ и вмѣстѣ общественныхъ симпатій.

Диапазонъ плещеевскаго таланта сравнительно не великъ. Нашъ поэтъ не только неизмѣримо ниже Пушкина и Лермонтова, но значительно уступаетъ Некрасову, Майкову, Фету. Въ его поэзи — мало творческой силы, въ его стихѣ, при всей его плавности и пѣвучести, мало образности, мало пластической выразительности. Но творчество Плещеева подкупаетъ своей безпритязательной простотой, непосредственной граціей и дѣтской задушевностью общаго тона. Оно носитъ не слишкомъ яркую и не многоцвѣтную, но все же собственную окраску. Чувствуется истинный поэтъ, который жадно воспринималъ красоту, въ чемъ бы она ни проявлялась: въ картинахъ природы, въ звукахъ шубертовской музыки, въ улыбкѣ ребенка, въ любви женщины или, наконецъ, въ смѣломъ подвигѣ и возвышенной идеѣ. Когда на его глазахъ воздвигли гоненіе протівъ романтизма и эстетики, его сердце никакъ не могло помириться съ тѣмъ, „что бредъ поэзія ничтожный, что правда вѣчная—мечта“. И въ „вѣкъ полезный“ онъ не переставалъ поклоняться „красотѣ“.

Амплитуда плещеевскаго творчества не особенно значительна: по природѣ своей онъ прежде всего лирикъ. Его жизнь—непрерывная эмоція; всѣ его переживанія немедленно претворяются въ мягкій, нѣсколько расплывающійся лиризмъ. Въ его поэзи нѣтъ большихъ, законченныхъ художественныхъ образовъ и очень немного конкретныхъ мотивовъ: все тонетъ въ тихо колеблющихся волнахъ субъективныхъ настроеній и выражается въ общихъ лирическихъ формулахъ.

Юношескія стихотворенія Плещеева—это по преимуществу лирика социальнаго или, точнѣе, социалистическаго идеализма 40-хъ годовъ. Сборникъ его стихотвореній 1846 г. снабженъ характернымъ для того времени эпиграфомъ: „Homo sum, et nihil humani a me alienum puto“. Это, ставшее уже шаблоннымъ, изреченіе обозначало тогда идею гармонической полноты жизни, и его можно было прочесть въ числѣ важнѣйшихъ тезисовъ въ „Grundsätze der Philosophie der Zukunft“ Л. Фейербаха (см. изд. 1843 г., стр. 81, § 56).

Кто истинѣ, вѣрный призванью,
Себя безвозвратно обрекъ—
И домъ и семью безъ роптанья
Оставить, сказалъ намъ Пророкъ.

Плещеевъ обрекаетъ себя на религіозное служеніе великой истинѣ и свое поэтическое призваніе опредѣляетъ словами любимаго поэта, Огюста Барбье: „le poète doit être un protestant sublime du droit et de l'humanité“ („поэтъ долженъ быть возвышеннымъ защитникомъ права и гуманности“) *). Какъ герой его повѣсти „Двѣ карьеры“ (1859)—Костинъ, Плещеевъ въ искусствѣ всегда видѣлъ

*) Барбье сильно интересовалъ и С. О. Дурова, который перевелъ изъ него стихотвореніе „Кіая“ (Финскій Вѣстникъ, 1846, т. X).

„не забаву, а такое же служеніе истинѣ и человѣчеству, какимъ должна быть и всякая другая общественная дѣятельность“.

Въ лунную ночь въ сонномъ видѣніи посѣтила поэта богиня и благословила его на подвигъ пророка. Народъ поднимаетъ на него каменя за то, что онъ будетъ обличать своимъ могучимъ словомъ „рабовъ грѣха, рабовъ постыдной суеты“, за то, что онъ возвѣститъ „мщенія грозный часъ тому, кто въ тинѣ зла и праздности погразъ, чье сердце не смущалъ гонимыхъ братьевъ стонъ, кому закономъ былъ отцовъ его законъ“. Можетъ быть, поэта-пророка ожидаютъ даже цѣпи и мрачная темница. Но богиня ободряетъ своего „избраннаго левита“, вселяя надежду, что голосъ его не даромъ въ мірѣ прозвучитъ.

Зерно любви въ сердца глубоко западетъ,
Придетъ пора—и дастъ оно роскошный плодъ.
И человѣку той поры недолго ждать,
Недолго будетъ онъ томиться и страдать.
Воскреснетъ къ жизни міръ... Смотри—ужь правды лучъ
Прозрѣвшимъ племенамъ сверкаетъ изъ-за тучъ!

Поэтъ проникся этой вѣрой; какъ святыню, заключилъ онъ въ своей душѣ одну скорбную думу:

Вхожу ли я порой въ палаты золотыя,
Гдѣ въ наслажденьяхъ жизнь проводитъ сибаритъ;
Гляжу ль я на дворцы, на храмы вѣковыя—
Все мнѣ о вѣковыхъ страданьяхъ говоритъ.
Сижу ли окруженъ шумящею толпою
На пиршествѣ большомъ, мнѣ слышенъ звукъ цѣпей;
И предстасть вдали, какъ призракъ, предо мною
Распятый на крестѣ Великій Назарей!

Когда водворится на землѣ „священной истины законъ“,—любовь и свобода войдутъ въ человѣческую жизнь, смолкнетъ ненависть племенъ, сильные перестанутъ угнетать слабыхъ, не будетъ на землѣ ни горя, ни страданій. Итакъ, „впередъ—безъ страха и сомнѣнья на подвигъ доблестный, друзья!“ призываетъ вдохновенный бардъ.

Зарю святого искупленья
Ужъ въ небесахъ завидѣлъ я!

Пылкій энтузіастъ, который „міръ считалъ своей отчизной и человѣчество—семьей“, въ мажорныхъ звукахъ своей юношеской лирики запечатлѣлъ искренніе порывы воодушевленія, охватывавшаго его сотоварищей при мысли о грядущемъ счастьѣ всего человѣчества. Съ полслова понимали они другъ друга, въ самыя, казалось бы, прозаическія слова влагали многозначительный смыслъ. Правда, Бѣлинскій („Взглядъ на русскую литературу 1846 г.“) непривѣтливо встрѣтилъ книжечку Плещеева (не называя, впрочемъ, его имени) и отнесъ ее къ „эфемернымъ явленіямъ“ литературы; въ его „современномъ направленіи“, при ограниченности таланта, критикъ уви-

дѣлъ простое „плѣнной мысли раздраженіе“. Этотъ чрезвычайно строгій приговоръ не раздѣляла та молодежь, которой было ближе извѣстно настроеніе Плещеева. А. П. Милюкову понравились въ книжкѣ Плещеева, „съ одной стороны, неподдѣльное чувство и простодушіе, а съ другой — свѣжесть и юношеская пылкость мысли“. Другой петрашевецъ, Вал. Ник. Майковъ, призналъ въ Плещеевѣ преемника Лермонтова и выразителя „духа времени“; „онъ сильно сочувствуетъ вопросамъ своего времени,—писалъ Майковъ,—страдаетъ всѣми недугами вѣка, болѣзненно мучится несовершенствами общества и сгораетъ не тщетно жаждою споспѣшествовать его совершенствованію и торжеству на землѣ истины, любви и братства“.

Ссылка и за ней—новый періодъ жизни Плещеева. Многія упованія поэта безвозвратно утрачены, отошли въ разрядъ „утопій“.

Пепель сомнѣнія сѣрымъ налетомъ покрылъ изстрадавшуюся душу поэта. Меланхолическія ноты то и дѣло вторгаются въ музыку его задумчивой лиры. Порой онъ готовъ казнить себя за рабское безсилье, за равнодушіе „къ призывамъ правды строгой“; порою лишь отъ смерти ждалъ онъ покоя „душѣ больной, измученной тревогой“. Въ такія мгновенья поэтъ ищетъ утѣшенія на лонѣ матери-природы, въ надеждѣ, что „лѣсовъ немолчный шумъ и нивъ элатистыхъ колыханье, лазурь небесъ и водъ журчанье разгонятъ мракъ гнетущихъ думъ“. Плещеевъ зналъ тяжелые дни, когда „и сердце спитъ, и умъ въ оцѣпенѣннѣ“. Но онъ самъ страшился этихъ дней, нетерпѣливо искалъ просвѣта—и его вѣрующая душа находила то, къ чему стремилась.

Но пусть ничѣмъ душа больная не согрѣта,
А съ жизнью все-таки разстаться было бѣ жаль,
И хоть не вижу я отраднаго разсвѣта,
Еще невольно взоръ съ надеждою смотритъ вдаль,—

говоритъ Плещеевъ. Съ нимъ—дорогія воспоминанія юности, заветные идеалы, которые, правда, не выдержали суровой пробы, отодвинулись далеко впередъ, но все же не назадъ, не утратили своей внутренней правды и даже своего чарующаго блеска. Выстраданные идеалы стали какъ бы еще дороже.

Сборникъ стихотвореній 1858 г. Плещеевъ посвятилъ „друзьямъ погибшихъ юныхъ лѣтъ“: имъ онъ остался вѣренъ „среди бурь, въ дни горя и печали“. Пусть съ годами „гасла вѣра въ идеалъ“, въ „несбыточную мечту“ юности, но поблекнувшія ланиты поэта покрываются румянцемъ жгучаго стыда всякій разъ, какъ онъ слышитъ „изъ юныхъ устъ восторженное слово“.

И кажется мнѣ пошlostью бездушной
Вся эта мудрость опытныхъ людей,
Которой я принесъ, какъ рабъ послушный,
Вась въ жертву, грезы юности моей!

Глубокимъ негодованіемъ заклеятъ поэтъ всѣхъ идейныхъ ренегатовъ, холодныхъ мудрецовъ, отринувшихъ „чистыя химеры

души возвышенной“, лжеучителей, „жрецовъ грѣха, пророковъ тьмы“. проповѣдниковъ „середины золотой“ и самодовольныхъ филистеровъ, которыхъ поглотилъ „пошлости омутъ бездонный“. Нѣтъ, выше ихъ благоразумія и мнимой мудрости поэтъ поставитъ чистоту невиннаго ребенка и поэзію юношескаго идеализма. Плещеева неудержимо притягивала къ себѣ наивно-непосредственная жизнь дѣтей, ихъ своеобразный міръ, весь сотканный изъ поэтическихъ грезъ, свободный отъ холодной, житейской прозы. „Будьте, какъ дѣти!“ какъ бы говорилъ нашъ авторъ, показывая намъ истинные перлы дѣтской души въ своихъ незатѣйливыхъ, но теплыхъ и поэтическихъ рассказахъ изъ дѣтской жизни. Молодость плѣняла Плещеева своей постоянной готовностью, „во имя блага покинувъ все, семью и домъ, идти на битву съ мощнымъ зломъ“. Пылая „къ отважной юности любовью“, онъ ободрялъ ее своимъ сочувствіемъ и восторженно училъ нести „твердою рукой святое знамя жизни новой“. Среди послѣдовательной смѣны поколѣній Плещеевъ неизмѣнно оставался благожелательнымъ дѣдомъ, „въ комъ не гаснетъ жаръ святой“, кто сердечной молитвой напутствуетъ молодежь въ путь-дорогу, хотя и не безъ страха за ея будущее.

Несмотря на все свое разочарованіе и грусть, Плещеевъ лучшее свое вдохновеніе продолжалъ почерпать въ мірѣ молодыхъ мечтаній. Онъ снова „страданья и волненья чашу полную испить до дна готовъ“, вѣря, что „каждый честный бой оставить долженъ слѣдъ“; онъ предпочтетъ „гибель безъ возврата“, „чѣмъ миръ постыдный съ тьмой и зломъ“. Воодушевляющимъ примѣромъ стоятъ передъ нимъ тѣни страдальцевъ, „что обрѣли вѣнецъ терновый, толпѣ указывая путь“.

Толпѣ указывать путь—вотъ великая задача для поэта. Вѣрный этому призванью, Плещеевъ горячо напоминаетъ о долгѣ передъ тѣми, „кто сирѣ, и нагъ, и бѣденъ“. Ему понятна „святая тишина убогихъ деревень, гдѣ труженикъ, задавленный невзгодой, молился небесамъ, чтобъ новый, лучший день надъ нимъ взошелъ—великій день свободы“. Вмѣстѣ съ Некрасовымъ и другими Плещеевъ воспѣлъ этотъ день свободы, всей душой желая, чтобъ не меркнулъ

Правды лучъ въ краю родномъ,
Чтобъ волной широкой знанье
Разлилось повсюду въ немъ
И чтобъ мира кроткій геній
Осѣнилъ его крыломъ.

Въ годину раздоровъ и войнъ онъ молилъ небеса, „чтобъ низошла въ сердца озлобленныхъ любовь“,

Чтобъ, позабывъ вражду и ненависть свою,
Покорные Христа высокому ученью,
Всѣ племена слились въ единую семью.

„Дѣтямъ слабымъ скептическаго вѣка“ онъ непрестанно указываетъ на Христа, на его заповѣдь „братства и любви“.

Иль вамъ не говорить могучій образъ тотъ
О напаченіи великомъ челоуѣка
И волю спящую на подвигъ не зоветъ?
О нѣтъ, не вѣрю я! Не вовсе заглушили
Въ насъ голосъ истины корысть и суета:
Еще настанетъ день. Вдохнетъ и жизнь, и силу
Въ нашъ обветшалый міръ ученіе Христа!

„И до конца я вѣры не утрачу,—повторяетъ Плещеевъ,—что озаритъ нашъ міръ любви и правды свѣтъ“. Поэтъ видѣлъ, что кругомъ „служенье инымъ свершается богамъ“, но его не покидало сознание, что ужъ „столько свергнуто кумировъ и что сильнѣй всѣхъ сильныхъ міра сталъ мысли животворный трудъ“. Какъ весталка, онъ благоговѣнно воскурялъ ейміамъ на жертвенникѣ высшей правды, источникъ которой видѣлъ тамъ же, гдѣ Достоевскій и Л. Н. Толстой. Плещеевъ до конца оставался пророкомъ „истины святой“, жрецомъ космополитическаго и евангельскаго идеализма.

Правда, Плещеевъ не зналъ тѣхъ жгучихъ нравственныхъ страданій, которыя переживали Достоевскій, Л. Н. Толстой или даже Некрасовъ и Помяловскій. Диссонансы жизни, вызывая въ немъ, несомнѣнно, искреннюю печаль, облекались въ закругленно-гармоническую форму; какое-то непобѣдимое благодущіе притупляло остроту его скорби, какая-то прѣсная примѣсь отнимала иногда соль и горечь у его лирики. Идейное настроеніе Плещеева—большой и цѣнный алмазъ, но распавшійся на нѣсколько мелкихъ осколковъ. „Онъ—прекрасный поэтъ,—саркастически замѣтилъ о Плещеевѣ Достоевскій,—но какой-то онъ во всемъ блондинъ“. Въ Плещеевѣ никогда не умиралъ неисправимый, мягкосердечный идеалистъ сороковыхъ годовъ, у котораго навертывалась слеза умиленія, когда онъ слышалъ „слова любимаго поэта“ или „науки голосъ строгій о правдѣ вѣчной“. Нужно особое, также юное настроеніе, чтобы воспринимать его поэтическія идеи, какъ живые принципы. Но еще Чернышевскій высказалъ справедливую мысль, что поэзія Плещеева, несмотря на всѣ свои слабыя стороны, есть „искренній голосъ“, заступающійся „за лучшую сторону нашей природы“, и что „поэты съ такимъ благороднымъ и чистымъ направленіемъ, какъ направленіе Плещеева, всегда будутъ полезными для общественнаго воспитанія и найдутъ путь къ молодымъ сердцамъ“.

Творчество Плещеева—тихий и неглубокій заливъ, но въ живописной морской мѣстности, съ красивыми перспективами въ голубую даль.

5.

Яковъ Петровичъ Полонскій.

(1819—1898)

Н. О. Лернера.

Музу Полонскаго, какъ музу Боратынскаго, никто не назоветъ красавицей, но есть въ ея лицѣ тоже что-то „необщее“, что сразу не поражаетъ, а, если пристально взглянуть, незамѣтно входитъ въ душу и уже прочно остается въ ней. Ею не увлечешься „наповаль“, до самозабвенія,—ее просто полюбишь. У Полонскаго нѣтъ поклонниковъ, пылкихъ и ретивыхъ, но едва ли у какого-нибудь другого русскаго поэта есть столько друзей. Словами пѣвца Демона, пѣвца мучительной тоски и сердечныхъ ранъ, можно сказать о Полонскомъ:

... съ отвагою свободной
Поэтъ на будущность глядитъ,
И мѣръ мечтою благородной
Предъ нимъ очищенъ и обмытъ...

И онъ, впрочемъ, зналъ сомнѣнія и рефлексію:

И я сынъ времени, и я
Былъ на дорогѣ бытія
Встрѣчаемъ демономъ сомнѣнья;
И я, страдая, проклиналъ
И, отрицая Провидѣнье,
Какъ благодати, ожидалъ
Послѣдняго ожесточенья...

Но это было несерьезно, неглубоко и недолго, — это за Полонскимъ гналась „тѣнь Печорина“, и онъ счастливо ушелъ отъ нея. Самъ собою

среди мятежныхъ думъ,	И какъ великъ мой новый храмъ,
Среди мучительныхъ сомнѣній	Нерукотворенъ куполь вѣчный,
Установился шаткій умъ	Гдѣ ночью путь проходить млечный,
И жаждетъ новыхъ откровеній...	Гдѣ ходить солнце по часамъ,
Весь мѣръ открытъ моимъ очамъ,	Гдѣ все живетъ, горитъ и дышитъ,
Я снова гордъ, могучъ, спокоенъ...	Гдѣ раздастся вѣчный хоръ...

Такъ, въ молодые годы безъ особыхъ душевныхъ бореній построился этотъ храмъ, и установилась внутренняя самостоятельность поэта. Полонскій старался быть спокойнымъ, увѣреннымъ, отдавался теченію жизненныхъ волнъ.

О, подними свое чело!—

проповѣдывалъ онъ:

Чтобъ жизнь была тебѣ понятна,
Иди впередъ и невозвратно.
Не бойся душу предавать
Потоку чувствъ и мыслей новыхъ,

Своимъ стремленіемъ готовыхъ
Тебя-невольню увлекать
Туда, гдѣ впереди такъ много
Сокровищъ спрятано у Бога.

Но необоримой вѣры въ общаемыя „сокровища“ у самого Полонскаго было мало. Наоборотъ, онъ жестоко трусилъ жизни, которая иной разъ представлялась ему какимъ-то бессмысленнымъ чудовищемъ.

Сознавая это, онъ все-таки не смѣлъ бросить вызовъ враждебной силѣ, какъ бросалъ его Лермонтовъ, а боязливо закрывалъ глаза и фаталистически подчинялся неизбежному. Вотъ почему замкнулъ онъ себя въ рамки обыденнаго и конкретнаго, вотъ почему, при всемъ разнообразіи и творческихъ мотивовъ, и внѣшней обстановки, такъ мало у него размаха и вовсе нѣтъ дерзновенія. Въ мірѣ Полонскому было страшно и холодно, ничтожные пригорки казались ему недоступными вершинами. Ему полная противоположность—Тютчевъ, титанъ, которому мала казалась земля, который принималъ въ свою душу весь космосъ, широко раскрытыми глазами слѣдилъ въ ночномъ небѣ бесѣду демоновъ глухонѣмыхъ. Для Полонскаго слишкомъ громаденъ, неуютенъ, громоздокъ нашъ міръ, который онъ спѣшитъ прикрыть куполомъ; ему хочется умалить эту пугающую громаду. И вотъ, люди уменьшаются до насѣкомыхъ и въ лучшей поэмѣ Полонскаго превращаются въ свѣтляковъ, бабочекъ, кузнечиковъ, и тогда поэту легко имѣть съ ними дѣло и на миниатюрной сценѣ свободно заставить ихъ разыграть трогательную драму страстей. И вотъ, самъ Богъ для него—не тотъ Неизмѣримый, Невыразимый, Вездѣсущій, а домовитый хозяинъ мірозданія, который укладываетъ спать уставшее солнце, или просто Ткачъ, хотя бы и съ прописной буквы, но все-таки только ткачъ, добрый работникъ, который

ткань звѣздную ведетъ
И выводитъ онъ узоры—
Голубыя волны, горы,
Степи, пажити, лѣса,
Облака и небеса...

Міръ уменьшенъ, но выросъ человѣкъ. Ирраціональное отброшено, замолчано, забыто,—и тогда міръ простъ, ясенъ и законченъ. Пусть сильна случайность, но не слаба и воля человѣческая. Могучъ человѣкъ:

Не мои ли страсти
Поднимаютъ бурю?
Съ бурями бороться
Не въ моей ли власти?

Могучъ поэтъ:

Духъ поэта—вѣтеръ, но когда онъ вѣетъ,
Въ небѣ облака съ грозой плывутъ,
Подъ грозой тучной родная нива зрѣетъ,
И цвѣты роскошнѣе цвѣтутъ...

Не даромъ у Царь-дѣвицы, которая полюбила поэта младенцемъ и благословила его поэтическимъ вѣнцомъ,

На челѣ сіяло солнце,
Мѣсяцъ прятался въ косъ,
По косицамъ рдѣли звѣзды...

И онъ становится товарищемъ боговъ, участникомъ ихъ игры:

Ночи текли,—звѣзды трепетно въ бездну лучи свои сѣяли..
Капали слезы,—рыдала любовь,—и алѣлъ
Жаркій разсвѣтъ,—и тѣ грезы, что въ сердцахъ мы тайно лелѣяли,
Трель соловья разносила,—и бурей шумѣлъ
Моря сердитаго валъ,—думы зрѣли,—и рѣяли
Сѣрыя чайки... Игру эту боги затѣяли...

Миръ сводится къ игрѣ, къ свободному, вольному движенію, къ чему - то веселому, интимному, теплomu, задушевному, — и Полонскому не скучны пѣсни земли, и не тоскуетъ онъ по звукамъ небесъ. Отсюда—его увѣренность въ непреложности добра, ибо можетъ ли быть игра безъ легкости душевной, безъ благихъ ожиданій! „Геній человѣка“ обреченъ скорби, но пусть онъ улыбается природѣ и вѣритъ знаменованью:

Нѣтъ конца стремленью,
Есть конецъ страданью...

Кто играетъ, тотъ полонъ любви, — игра не для сумрачныхъ, скупыхъ душъ. Полонскій любилъ людей — и мысленно обращался къ великому поэту-гуманисту, Шиллеру:

У разноразличныхъ, у разнородныхъ,
У враждебныхъ странъ во всѣхъ вѣкахъ
Только два и было неизмѣнныхъ,
Всѣмъ сердцамъ понятныхъ языка:
Не кричитъ ли міру о союзѣ кровномъ
Каждого ребенка первый крикъ,
Не для всѣхъ ли націй въ родникѣ духовномъ
Черплетъ силу генія языкъ?..
Лучшихъ дней не скоро мы дождемся:
Лишь поэты, вѣстники боговъ,
Говорятъ, что всѣ мы соберемся
Мирно раздѣлять плоды трудовъ,—
Что безумный произволъ свобода свяжетъ,
Что любовь прощеньемъ свяжетъ грѣхъ,
Что побѣда мысли путь укажетъ
Къ торжеству, отрадному для всѣхъ.

Отъ шестидесятихъ годовъ, эпохи юности молодой, положительной науки, Полонскій заимствовался вѣрой въ непобѣдимую, всеразрѣшающую мысль:

Царство науки не знаетъ предѣла,
Всюду слѣды ея вѣчныхъ побѣдъ—
Разума слово и дѣло,
Сила и свѣтъ...

Иногда онъ трезво подсмѣивался надъ этими „фантазіями бѣднаго малаго“, но все-таки „внутренній голосъ“, жившій въ его сердцѣ, твердилъ ему: „я тотъ, кто въ благости своей законы далъ звѣздамъ алмазнымъ, свободу далъ душѣ твоей“. Свобода души требуетъ широкихъ внѣшнихъ проявленій, требуетъ свободы политической: „къ познанію нѣтъ пути намъ безъ пути къ свободѣ“. Была бы свобода, а все остальное приложится. Во имя свободы поэтъ смиряется передъ своимъ личнымъ врагомъ, который „изъ-за фразы осужденъ идти въ тюрьму“:

даже злая ложь
Облекается въ сіяніе добра,
Если ей грозитъ насилья острый ножъ,
А не сила неподкупнаго пера.

Во имя свободы этотъ чиновникъ (мало того—цензоръ) трогательно воспѣлъ русскую дѣвушку, молодую „кающуюся дворянку“, которая оставила родительскій домъ для труда и науки:

если бъ даже въ этотъ мигъ	Такъ дѣтски наслаждалась ты
Предсталъ тебѣ самъ Донъ-Жуанъ,	Зарей свободы, такъ была
Чтобъ за улыбку устъ твоихъ	Полна возвышенной мечты
Отдать и сердце, и карманъ,	И цѣломудренно смѣла,
Ты бъ на него какъ на шута	Такъ вѣрила, что жизнь и трудъ
Взглянула,—такъ была свята,	Для всѣхъ рай Божій создадутъ...

Но вотъ юная пропагандистка въ тюрьмѣ, и ея горькая доля не даетъ заснуть поэту, хотя—

Что мнѣ она!—не жена, не любовница
И не родная мнѣ дочь.

Въ способности отзываться на горести и радости гражданской жизни народной сказывается большая или меньшая связь поэта съ эпохой, которую Полонскій формулировалъ:

Писатель, если только онъ—	Писатель, если только онъ
Волна, а океанъ—Россія,	Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не возмущенъ,	Не можетъ быть не пораженъ,
Когда возмущена стихія.	Когда поражена свобода.

Такимъ нервомъ Полонскій былъ, хотя и не особенно чувствительнымъ, неспособнымъ возвыситься до покоряющаго сердца пафоса. Полонскій сознавалъ это и откликнулся Некрасову, великому гражданскому поэту, измученному скорбью, озлобленному неправдой и позавидовавшему долѣ незлобиваго поэта:

Блаженъ озлобленный поэтъ...
Онъ, какъ титанъ, колеблеть тьму,
Ища то выхода, то свѣта,
Не людямъ вѣрить онъ—уму,
И отъ боговъ не ждетъ отвѣта...
Онъ самъ страдаетъ подъ ярмомъ

Противорѣчій очевидныхъ...
 Невольный крикъ его—нашъ крикъ,
 Его пороки—наши, наши!
 Онъ съ нами пьетъ изъ общей чаши,
 Какъ мы, отравленъ—и великъ.

Къ озлобленному поэту Полонскій относится критически, указываетъ на противорѣчія, которыхъ не можетъ побороть гражданскій поэтъ, но его „злюбъ“ сочувствуетъ.

Одно изъ лучшихъ стихотвореній Полонскаго говоритъ о мучительныхъ колебаніяхъ, которыя переживалъ онъ, прикасаясь къ самымъ кореннымъ вопросамъ космическаго и нравственнаго порядка:

То въ темную бездну, то въ свѣтлую бездну,
 Крутятся, шаръ земли погружаетъ меня;
 Питаютъ, пытаются мой разумъ и вѣру
 То призраки ночи, то призраки дня.
 Не вѣрю я мраку, не вѣрю и свѣту,—
 Они—грезы духа, въ нихъ ложь и обманъ...
 О, вѣчная правда, откройся поэту,
 Отвѣй отъ него разноцвѣтный туманъ,
 Чтобъ могъ онъ, великій въ сознаньи обмана,
 Ничтожный какъ всплескъ посреди океана,
 Постичь, какъ сливаются вѣчность и мигъ,
 И сердцемъ проникнуть въ святая святыхъ!

Но не хватало душевной силы для твердой вѣры, не знающей сомнѣній, — поэтъ могъ только надѣяться. Вѣчно колеблясь, вѣчно двоясь душой, Полонскій посѣтилъ на „двухъ корабликахъ“ прошедшее и будущее. Одинъ корабликъ привезъ изъ прошлаго тяжкій грузъ идей и рой тѣней, которыя твердятъ поэту: „безъ горя жизни нѣтъ, надежда—глупый сонъ“. Но свѣтлые призраки, которыхъ привезъ изъ будущаго другой корабликъ, заглушаютъ жалобы отжившихъ: „у насъ — иная жизнь, бывшее — глупый сонъ!“ Одинъ только разъ удалось ему заглянуть въ таинственную глубину:

видѣлъ я сонъ, будто свѣтитъ
 Какая-то страшная ночь...

Весь незримый міръ погибъ въ эту ночь,

И мракъ непроглядный
 Одѣлъ мертвый черепъ земли..
 и тьму обнималъ я,
 И тьма обнимала меня.

Но вѣщій сонъ ничего не оставилъ, кромѣ впечатлѣнія какой-то чудовищной фантазмагоріи, кромѣ ужаса, отъ котораго: умное старое дитя тревожно бросилось къ обычной внѣшней жизни, какъ въ объятья няни:

Сквозь щели
 Затворенныхъ ставень сквозятъ
 Лучи золотые! то солнца
 Глаза золотые глядятъ.

Глядеть и смѣются,—и сердце
Очнулось и, жизни привѣтъ
Почуя, взыграло, какъ будто
Впервые увидѣло свѣтъ.

По таланту значительно уступая Некрасову и Фету, Полонскій занимаетъ въ поэзіи второй половины XIX вѣка центральное мѣсто, какъ разъ посрединѣ между ними. Не было въ душѣ его ни той могучей тяги къ землѣ, которая даетъ такую силу и искренность Некрасову, ни тѣхъ орлиныхъ крыльевъ, которыя возносили Фета въ заоблачныя выси индифферентнаго эстетизма. Полонскій былъ эклектикъ, и душѣ его были милы обѣ стихіи. Его полетъ, почти всегда на грани поэзіи и прозы, былъ невысокъ, какъ полетъ ласточки надъ землею, и такъ же милъ, рѣзвъ и живъ, и эта красота и живость запечатлѣлись въ лучшей части его наслѣдія — въ лирикѣ сердца. Если Полонскій плохо понималъ жизнь, плохо ее осмысливалъ, лишь безотчетно надѣясь на что-то благое, прекрасное въ грядущемъ, зато онъ чувствовалъ жизнь съ отзывчивостью тонкаго, нѣжнаго, артистическаго сердца. Кто знаетъ, „для кого расцвѣла, для чего развилась“ эта пышная красавица, для чего жизнь, для чего все чувствуемое, зримое и слышимое, но ощущалъ, слышалъ, видѣлъ Полонскій съ необычайной остротою:

Что звенить тамъ вдали,—и звенить, и зоветь?
И зачѣмъ тамъ, въ степи, пыль столбами встаетъ?
И зачѣмъ та рѣка широко разлилась?
Оттого ль разлилась, что весна началась!
И откуда, откуда тотъ вѣтеръ летитъ,
Что, стряхая росу, по цвѣтамъ шелеститъ,
Дышитъ запахомъ липъ и, концами вѣтвей
Помавая, влечетъ въ сумракъ влажныхъ аллей?

Откуда, зачѣмъ, отчего? — Полонскій не знаетъ отвѣта, но что-то шелеститъ, звенить, зоветь, влечетъ, и поэтъ слышитъ шелестъ, звонъ, зовъ, повинуется влеченію и влечетъ и насъ въ садъ поэзіи. Сквозь всякія преграды внималъ онъ этому зову, обращенному къ душѣ человѣка:

За моею стѣной бездушной
Чью-то душу слышу я,
Въ струнныхъ звукахъ чье-то сердце
Долетаетъ до меня.

Оттого самое подходящее для Полонскаго, опредѣляющее слово — задушевность. Онъ искрененъ, онъ простъ, съ нимъ нельзя спорить. Слабѣя онъ сразу впадаетъ въ честный прозаизмъ, но не покушается на павосъ, не пытается отуманить читателя роскошнымъ парентирсомъ. Полонскій убѣдителенъ: тѣни ночи, которыя пришли и стали на стражѣ у дверей счастливаго любовника, не смѣлая, надуманная метафора, а живыя, хотъ таинственныя, существа, и когда „покачнулись тѣни ночи, бѣгутъ шатаяся назадъ“, мы ихъ видимъ какъ живыхъ, мы вѣримъ, что онѣ живы. Полонскій любитъ жен-

Яковъ Петровичъ Полонскій.
Съ портрета И. Н. Крамского.
(Третьяковская галлерея въ Москвѣ.)

Российская Федерация
Министерство культуры
Музей истории России
Учреждение культуры
Музей истории России
(Москва)



Яковъ Петровъ. Полонскій.



скую красоту, но ея чары для него не источник трагедіи, какъ для Кольцова, не святыня, предъ которой богомольно благоговѣтъ Пушкинъ. Женская красота не обжигаетъ, не ослѣпляетъ Полонскаго, а ласкаетъ и грѣтъ:

О, вы, лѣтніе дни золотые!
Я люблю солнца жаръ...
Полюби мой загаръ,
Полюби мои кудри густыя, —
Божій даръ...

Нѣтъ трагизма, а только тихая грусть въ разставаніи цыганки съ милымъ другомъ. Тепломъ семейнаго уюта вѣетъ отъ окна, за которымъ „въ тѣни мелькаетъ русая головка“, отъ стараго дома „въ одной знакомой улицѣ“...

Одинокое сердце оглянется
И забьется знакомой тоской:
Вспомню домикъ твой, дворикъ, увѣшанный
Виноградными кистями, тѣнь,
Гдѣ, твоимъ лепетаньемъ утѣшенный,
Я вкушалъ безмятежную лѣнь...

Эротика Полонскаго стыдлива и цѣломудренна: это настоящая эротика семейнаго быта, уютнаго домика съ завѣшеннымъ окномъ:

Ея волосъ моей небрежной
Рукой измятое кольцо...
... И тамъ, гдѣ локоны плеча ея касались,
Мои уста касались иногда...

Отсвѣтъ этой милой интимности, тѣнь этого дворика, въ оградѣ котораго такъ счастливо и скромно замкнула себя безмятежная лирика Полонскаго, остались навсегда въ русской поэзіи, и давно уже поетъ народъ про костеръ цыганки, про русую головку затворницы, про старый домъ въ знакомой улицѣ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

ТОМЪ III.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ (1855—1868).

	<i>Стр.</i>		<i>Стр.</i>
ГЛАВА I.		Революціонное настроеніе въ обще-	
Историческій очеркъ эпохи		ствѣ	
60-хъ годовъ.		Адреса тверскаго дворянства	
А. А. Корнилова.		Польское возстаніе 1863 г. и обще-	
Конецъ Крымской войны и начало		ственная реакція	
эпохи великихъ реформъ	9	Правительственныя реформы	
Выстрѣлъ Каракозова и конецъ осво-		Рескриптъ на имя Валуева	
бодительнаго періода	9	Законъ о печати 6 апрѣля 1865 г.	
Вліяніе неудачъ Крымской войны на		4 апрѣля 1866 г.	
общество и правительство	10	Конецъ реформаторской дѣятельности	
Матеріальныя условія, вызвавшія не-		правительства и разгаръ реакціи	
обходимость реформъ	11		
Волненія крестьянъ въ связи съ ма-		ГЛАВА II.	
нифестомъ объ ополченіи — какъ		Общественныя и умственныя	
одна изъ причинъ, толкнувшихъ		теченія 60-хъ годовъ и ихъ	
правительство на путь реформъ	12	отраженіе въ литературѣ.	
Распространеніе идеи освобожденія въ		Р. В. Иванова-Разумника.	
образованномъ обществѣ	12	Появленіе разночинца на обществен-	
Промышленный расцвѣтъ 1855—56 гг.		ной аренѣ	
и кризисъ 1857 г.	15	Первый и второй періоды эпохи ре-	
Секретный комитетъ	17	формъ	
Заявленіе литовскихъ дворянъ и ре-		Эпоха довѣрія и начало дифферен-	
скриптъ 20 ноября 1857 г.	17	ціаціи въ обществѣ	
Рескриптъ и передовая печать	18	Чернышевскій, какъ характерный	
Губернскіе комитеты	19	представитель первой половины	
Редакціонныя комиссіи и враждебное		60-хъ годовъ	
отношеніе къ нимъ дворянъ	23	„Прологъ“	
Дворянскіе депутаты 1 и 2-го при-		Поворотъ общественной мысли въ	
глашенія	24	сторону революціоннаго соціа-	
Разрывъ между правительствомъ и		лизма	
печатью	26	Вліяніе разночинца въ области ум-	
Отношеніе общества и крестьянъ къ		ственныхъ теченій и бытовыхъ от-	
манифесту 19 февраля 1861 г.	27	ношеній	
Первые симптомы реакціи	28		

Разрывъ съ лѣвымъ гегельянствомъ и переходъ къ Фейербаху	52
Антропологическій принципъ въ фи- лософіи	55
„Что дѣлать“	57
Вторая половина 60-хъ годовъ и Пи- саревъ	59
„Кающійся дворянинъ“ — представи- тель эпохи	60
Нигилизмъ и нигилисты	63
Эволюція типа разночинца-шестиде- сятника	64

ГЛАВА III.

Литературное и критическое движеніе шестидесятыхъ го- довъ.

Ч. Вѣтринскаго (Вас. Е. Чешихина).

Медовый мѣсяцъ русскаго прогресса и обличительная литература	71
„Губернскіе Очерки“, „Искра“	72
„Эстетическія отношенія искусства и дѣйствительности“ и „Очерки гого- левскаго періода русской литера- туры“	77
Добролюбовъ и реальная критика	80
Крайняя правая литературно-критиче- скихъ взглядовъ	84
60-е годы, какъ время переоцѣнки цѣнностей	86
Тургеневъ	87
„Обломовъ“	89
„Тысяча душъ“, „Былое и думы“, пер- вые произведенія Л. Толстого и Достоевскаго	90
Лирика и драма 60-хъ годовъ	94
Школа чистаго искусства	96
Расцвѣтъ творчества Некрасова	98
Островскій	101
Разслоеніе русской интеллигенціи; „Отцы и дѣти“	103
Базаровъ и Писаревъ	105
„Новые люди“ и ихъ апологія въ тен- денціозной беллетристикѣ	113
Походъ охранительной печати и бел- летристики противъ нигилизма	116
Аполлонъ Григорьевъ	118
Рационалистическій радикализмъ и Достоевскій	121
„Война и миръ“	123
Тяга къ народу	124
Заключеніе	128

ГЛАВА IV.

1.

Герценъ - эмигрантъ.

Г. В. Плеханова.

Второй періодъ пребыванія Герцена за границей	131
Послѣдніе годы пребыванія въ Россіи	132
Разочарованіе въ Зап. Европѣ	134
Что привело Герцена къ мысли о ростѣ смерти „западнаго ста- рика“	136
Герценъ и „идея отрицанія“	140
Попытка Герцена построить матеріа- листическую теорію прогресса	142
Идеалистическія основы взглядовъ Герцена	143
Противопоставленіе Россіи Западу	145
Роль „молодого дворянства“ и „дре- млющей общины“	146
Вліяніе Фейербаха	148
Герценъ и Прудонъ	149
Успѣхъ „Колокола“ въ Россіи	152
Причины паденія вліянія Герцена	153
Пріостановка „Колокола“	156
Отношеніе представителей европей- ской демократіи къ Герцену	157
Послѣдніе годы Герцена	159

2.

Николай Гавриловичъ Чернышевскій.

(1828—1829)

Г. В. Плеханова.

Биографическій очеркъ	160
Чернышевскій, какъ беллетристъ	161
Философскія статьи Чернышевскаго	162
Чернышевскій, какъ продолжатель дѣла Бѣлинскаго	163
Исторія философскаго развитія Чер- нышевскаго	163
Чернышевскій и „идея отрицанія“	164
Чернышевскій о діалектическомъ ме- тодѣ	166
Антропологическій принципъ	169
„Характеръ человѣческаго знанія“	173
Этическія воззрѣнія Чернышевскаго	174
Материализмъ Чернышевскаго въ об- ласти вопросовъ „общаго физиоло- гическаго содержанія и его идеа- лизмъ въ вопросахъ, специально относящихся къ человѣческой жи- зни“	177
Преувеличеніе роли интеллигенціи	179

Зачатки матеріалистическаго объясненія явленій въ философско-исторической области и въ ученіи о нравственности	181
Эстетическіе взгляды Чернышевскаго	184
Чернышевскій, какъ литературный критикъ	188
Общественно-политическія воззрѣнія Чернышевскаго	190
Переходъ къ пропагандѣ общихъ принциповъ социализма	198
Значеніе Чернышевскаго въ исторіи развитія русской мысли	203

ГЛАВА V.

1.

Николай Александровичъ Добролюбовъ.

(1836—1861)

Д. Н. Овсянко-Куликовского.

Общая характеристика Добролюбова, какъ писателя, общественнаго дѣятеля и человека	204
Научный характеръ его критическихъ пріемовъ	207
Морально-публицистическое направленіе критической дѣятельности Добролюбова	209
Народническія и социалистическія симпатіи Добролюбова	210
Добролюбовъ, какъ представитель интеллигентно-разночинской среды	214
Изслѣдованіе обломовщины, какъ одна изъ величайшихъ заслугъ Добролюбова	215
Заключеніе	217

2.

Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

(1840—1868)

Вл. П. Краинихфельда.

Причины вліянія Писарева	218
Біографическій очеркъ	219
Что далъ Писаревъ своему поколѣнію	222
Утилитаризмъ въ морали и искусствѣ	225
Писаревъ, какъ выразитель „средняго сословія“	226
Мыслящіе реалисты	228
Базаровъ—Писаревъ	229

ГЛАВА VI.

1.

Алексѣй Теофилактовичъ Писемскій. (1820—1881)

Ч. Вѣтринскаго (Вас. Е. Чешихина).

Личность Писемскаго	232
Московскій періодъ его литературной дѣятельности. „Москвитянинъ“ и „Современникъ“	234
Идейная близость Писемскаго къ „Москвитянину“	235
Переездъ въ Петербургъ и періодъ наибольшей извѣстности Писемскаго	236
Фельетонъ Писемскаго въ „Библіотекѣ для чтенія“	236
Паденіе популярности Писемскаго. Сотрудничество въ „Русскомъ Вѣстникѣ“	238
Писемскій, какъ художникъ - реалистъ	239
Отсутствіе глубины и сложности въ міровоззрѣніи Писемскаго	240
Писемскій, какъ бытописатель провинціи. „Тысяча душъ“	242
Произведенія изъ народнаго быта. „Горькая судьбина“	246
Пессимизмъ и идеализмъ сердца	247
Протестъ противъ современности и вѣра въ народный здоровый смыслъ	248
Историко-бытовыя трагедіи Писемскаго	251
Причины забвенія Писемскаго	252

2.

Иванъ Александровичъ Гончаровъ.

(1812—1891)

Е. А. Ляцкого.

Неразрывная связь жизни съ творчествомъ у Гончарова	252
Біографическій очеркъ	254
Гончаровъ, какъ бытописатель переходной эпохи	253
Отношенія съ кружкомъ Бѣлинскаго	258
Общественное значеніе романовъ Гончарова	261
„Обыкновенная исторія“, „Обломовъ“, „Обрывъ“	261

ГЛАВА VII.

Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

(1818—1883)

А. Е. Грузинскаго.

Отношеніе критики къ Тургеневу . . .	278
Развитіе Тургенева до „Записокъ Охотника“	280
Періодъ „Записокъ Охотника“.	286
1850—1856 гг.; ссылка, деревня, сближеніе съ Аксаковыми	291
Типы лишнихъ людей, Рудинъ, „Дворянское гнѣздо“	300
„Наканунъ“, „Отцы и дѣти“	309
Тургеневъ въ 60-ые годы. „Дымъ“.	318
„Новъ“. Послѣдній періодъ жизни. Заключение	322

ГЛАВА VIII.

1.

Николай Герасимовичъ Помяловскій.

(1835—1863)

П. Н. Сакулина.

Личная жизнь и развитіе таланта Помяловскаго	332
Отсутствіе вліянія литературныхъ предшественниковъ	336
Воспитаніе и взаимоотношеніе барства и плебейства, какъ основная тема произведеній Помяловскаго	337
Женскій вопросъ и общественныя низы	338
Заключеніе	341

2.

Федоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ.

(1841—1871)

И. Н. Игнатова.

Условія, въ которыхъ сложился талантъ Рѣшетникова	342
Народъ въ его произведеніяхъ. Подлинновцы	345

3.

Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ.

(1836—1878)

А. А. Дивильковскаго.

Начало литературной дѣятельности Слѣпцова	348
Политическія и социальныя тенденціи	

произведеній Слѣпцова, его участіе въ „Современникѣ“	349
„Трудное время“	351

4.

Александръ Ивановичъ Левитовъ.

(1835—1877)

И. Н. Игнатова.

Субъективизмъ произведеній Левитова	356
---	-----

ГЛАВА IX.

1.

Иванъ Саввичъ Никитинъ.

(1824—1861)

Всев. Е. Чешихина.

Личность Никитина	362
Лирико-субъективный характеръ его поэзіи	363
Гражданская лирика Никитина	368
Внѣшняя форма поэзіи Никитина	370
Мѣсто Никитина въ русской литературѣ	372

2.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ.

(1821—1877)

Вл. П. Кранихфельда.

Биографическій очеркъ	373
Начало литературной и издательской дѣятельности. „Современникъ“	383
Отношеніе современниковъ Некрасова къ его поэзіи	388
Самооцѣнка Некрасова	393
Оцѣнка общественныхъ взглядовъ Некрасова	403

ГЛАВА X.

1.

Гр. Алексѣй Константиновичъ Толстой.

(1817—1875)

Ө. Д. Батюшкова.

Общій характеръ и сущность поэзіи А. Толстого	407
Соціально-политическіе взгляды А. Толстого	414
„Князь Серебряный“, „Донъ-Жуанъ“, „Іоаннъ Дамаскинъ“	416
„Драматическая трилогія“ и лирическія произведенія	419
Заключеніе	424

2.

Александръ Николаевичъ Островскій.
(1823—1886)

К. И. Арабакина.

А. Н. Островскій до 1846 г.	425
„Темное царство“ и отношеніе къ нему Островскаго	428
Купеческій міръ въ изображеніи Островскаго	430
Дворяне и чиновники	441
Новые люди и отношеніе къ нимъ Островскаго	442
„На всякаго мудреца довольно простоты“	443
А. Н. Островскій и театр	444
Историческія произведенія его	445

ГЛАВА XI.

1.

Федоръ Ивановичъ Тютчевъ.
(1803—1873)

А. Г. Горнфельда.

Общая характеристика Ф. И. Тютчева.	446
Ограниченность человѣческой личности	451
Ночь и природа, какъ источникъ успокоенія	452
Мистическая и хаотическая первооснова міра	454
Трагическая двойственность поэзіи Тютчева	457
Любовь къ природѣ и молитвенно-созерцательный порывъ въвысь	457
Политическая лирика	458
Заключеніе	460

2.

Аѳанасій Аѳанасьевичъ Фетъ-Шеншинъ.
(1820—1892)

В. Ф. Саводника.

Личность поэта	461
Роль красоты въ міросозерцаніи Фета	462

Музыкальный элементъ въ поэзіи Фета	463
Бессознательный характеръ его творчества	465
Жизнерадостность поэта	466
Главные мотивы его поэзіи	467

3.

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ.
(1821—1897)

А. А. Дивильковскаго.

Антологическій періодъ въ развитіи Майкова	475
Поворотъ въ его міросозерцаніи, сближеніе съ „Москвитяниномъ“	477
Природа въ поэзіи Майкова	480
Трагедія „Два міра“	481

4.

Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ.
(1825—1893)

П. Н. Сакулина.

Общая характеристика	483
Беллетристика Плещеева	486
Лирический характеръ его поэзіи	488
Вліяніе ссылки	490
Идеализмъ Плещеева	492

5.

Яковъ Петровичъ Полонскій.
(1819—1898)

Н. О. Лернера.

Сомнѣнія и страхъ передъ жизнью	491
Міръ—игра, и отсюда непреложность добра и любви	493
Отзывчивость на горести и радости жизни гражданской	494
Отношеніе поэта къ вопросамъ космическаго и нравственнаго порядка	495
Задушевность и интимность поэзіи	497

Иллюстраціи, помѣщенные въ III томѣ.

	<i>Стр.</i>
Герценъ, Александръ Ивановичъ, съ портрета Н. Н. Ге (Третьяковская галерея въ Москвѣ)	131
Гончаровъ, Иванъ Александровичъ, съ портрета И. Н. Крамского (Третьяковская галерея)	257
Добролюбовъ, Николай Александровичъ, съ гравюры изъ собранія Ровинскаго (Румянцевскій музей въ Москвѣ)	208
Левитовъ, Александръ Ивановичъ, съ гравюры изъ собранія Ровинскаго (Румянцевскій музей)	360
Майковъ, Аполлонъ Николаевичъ, съ портрета В. Г. Перова (Третьяковская галерея)	480
Некрасовъ, Николай Алексѣевичъ, съ портрета И. Н. Крамского (Третьяковская галерея)	384
Никитинъ, Иванъ Саввичъ, съ литографіи Мюистра изъ собранія Ровинскаго (Румянцевскій музей)	368
Островскій, Александръ Николаевичъ, съ портрета В. Г. Перова (Третьяковская галерея)	424
Писаревъ, Дмитрій Ивановичъ, съ гравюры изъ собранія Ровинскаго (Румянцевскій музей)	224
Писемскій, Алексѣй Теофилактовичъ, съ портрета И. Е. Рѣпина (Третьяковская галерея)	240
Плещеевъ, Алексѣй Николаевичъ, съ портрета Н. А. Ярошенко (Собственность М. Н. Ярошенко)	488
Полонскій, Яковъ Петровичъ, съ портрета И. Н. Крамского (Третьяковская галерея)	496
Помяловскій, Николай Герасимовичъ, съ гравюры В. Матѣ (Историческій музей въ Москвѣ)	336
Рѣшетниковъ, Ѳедоръ Михайловичъ, съ гравюры изъ собранія Ровинскаго (Румянцевскій музей)	344
Толстой, Алексѣй Константиновичъ, съ портрета И. Е. Рѣпина (Третьяковская галерея)	408
Тургеневъ, Иванъ Сергѣевичъ, съ портрета В. Г. Перова (Третьяковская галерея)	288
Тютчевъ, Ѳедоръ Ивановичъ, съ портрета С. Ѳ. Александровскаго (Третьяковская галерея)	448
Чернышевскій, Николай Гавриловичъ, съ фотографіи 80-хъ годовъ (Румянцевскій музей)	160
Шеншинъ (Фетъ), Аѳанасій Аѳанасьевичъ, съ портрета И. Е. Рѣпина (Третьяковская галерея)	464

15 p

90

100

110

120

130

140

150

160

